

АНТОЛОГИЯ САМИЗДАТА

НЕПОДЦЕНЗУРНАЯ ЛИТЕРАТУРА В СССР

1950-е — 1980-е

ББК 63.3(2)6-7
УДК 94(47).084.9

Под общей редакцией *В.В. Игрунова*

Автор проекта и составитель *М. Ш. Барбакадзе*
Редактор *Е. С. Шварц*

Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950-е – 1980-е. / Под общей редакцией В.В. Игрунова. Составитель: М.Ш. Барбакадзе. – М.: Международный институт гуманитарно-политических исследований, 2005. – В 3-х томах, ил.

«Антология самиздата» открывает перед читателями ту часть нашего прошлого, которая никогда не была достоянием официальной истории. Тем не менее, в среде неофициальной культуры, порождением которой был Самиздат, выкристаллизовались идеи, оказавшие колоссальное влияние на ход истории, прежде всего, советской и постсоветской. Молодому поколению почти не известно происхождение современных идеологий и современной политической системы России. «Антология самиздата» позволяет в значительной мере заполнить этот пробел.

В «Антологии» собраны наиболее представительные произведения, ходившие в Самиздате в 50 – 80-е годы, повлиявшие на умонастроения советской интеллигенции. В сборнике представлен широкий жанровый и идеологический спектр, наилучшим образом показывающий разноплановость неподцензурной культуры. Кроме того, «Антология» дает представление о возникновении независимых общественных движений в СССР.

Международный институт гуманитарно-политических исследований.

Почтовый адрес:
125009, Россия, Москва, Газетный пер., дом 5, офис 506, ИГПИ

Электронная почта:
antology@igpi.ru

Адрес в сети Интернет:
<http://antology.igrunov.ru>
<http://www.igpi.ru>

ISBN 5-89793-035-X
ISBN 5-89793-031-7 (Том 1 книга 1)

АНТОЛОГИЯ САМИЗДАТА

НЕПОДЦЕНЗУРНАЯ ЛИТЕРАТУРА В СССР

1950-е — 1980-е

**ТОМ 1
КНИГА 1**

до 1966 года



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

МОСКВА, 2005

Хорошо известно, что существует два типа героизма: мужество воина — защитника отечества, спасателя — защитника близких людей. Оно заслуживает всяческого уважения и восхищения. Но есть и другой героизм — мужество гражданское, мужество невооруженного гражданского человека отстаивающего права, свободы, достоинство свое и других людей. Часто ему неизвестных. Отстаивающего их от огромной, превосходящей силы, зачастую силы мощного государства. Это не меньшее мужество. Именно таким мужеством обладала героическая плеяда правозащитников, возвысивших голос против советского тоталитарного произвола. Их лозунг «Уважайте собственную конституцию» стал знаменем сопротивления 60-70 гг. Знаменем демократических преобразований 90-х гг.

Я очень рад тому, что данный сборник позволит молодым читателям приобщиться к бессмертному, поистине историческому достоянию нашей Родины.

Владимир Лукин,
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации

...Самиздат был явлением действительно свободной литературы, свободной мысли и настоящего гражданского мужества. Я думаю, эти три качества уже определяют значимость и важность этого многотомного цикла...

Ясен Засурский,
декан факультета журналистики
МГУ им. М.В. Ломоносова

В 60-е годы появился знаменательный анекдот:

– Бабушка, ты зачем «Войну и мир» на машинке перепечатываешь?

– Для внука стараюсь. Он ничего кроме самиздата не читает.

Самиздат был импульсивной реакцией нашего поколения на тотальную несвободу.

Юлий Ким,
писатель, драматург, бард.

Послевоенное семилетие — годы впервые за все советское время остановленной литературной эволюции: нового литературного качества не порождается, идет штамповка одних и тех же образцов. Именно литературный Самиздат запустил в середине 50-х годов маятник остановленного механизма. Часы литературы пошли.

Мариэтта Чудакова,
литературовед, культуролог

В 1960-80-е годы самиздат казался информационным протезом той части общественной жизни, души и тела, которую, по мнению начальства, следовало ампутировать и объявить несуществующей. Для авторов, издателей и читателей самиздата его существование было способом воссоздания этой усеченной реальности во всей ее полноте, мостом в запрещаемое духовное прошлое, в мир, находившийся за строго охраняемыми границами одной шестой и органическим, т.е. свободным способом рассуждений о будущем.

Теперь кажется уже общепризнано: этот культурный феномен — неотъемлемая часть советского прошлого, которое не может без него быть понятным и осмысленным.

Владимир Тольц,
сотрудник «Радио Свобода»

ПРЕДИСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЯ

Первое мое знакомство с самиздатом произошло в конце 50-х годов во время учебы в институте: как сейчас помню слепые, затертые листочки открытого письма Раскольниковца Сталину и варварский перевод «По ком звонит колокол», где все ругательства были даны по-английски и по-испански. И стихи — Гумилев (до сих пор храню подаренный уж не помню кем, аккуратно переплетенный томик с плохо читающимся текстом — четвертая или пятая закладка), Ахматова, Цветаева, Мандельштам, Есенин, а потом Коржавин, Бродский, барды: Окуджава, Галич, Высоцкий, Ким и многие, многие другие.

Но это в начале — дальше пошла мемуарная литература, философские трактаты, социально-экономические исследования и, конечно, проза. Гораздо более серьезная, чем та, которой нас пичкали в школе: многократные лауреаты Сталинских премий, всякие там Бабаевские-Семушкины-Прилежаевы-Закруткины-Грибачевы-Сафроновы-Чаковские (это я содрал у Юза Алешковского), многотысячные тиражи романов которых пылились на полках книжных магазинов, складов и библиотек, ни в какое сравнение не шли как с давно ставшей раритетной литературой 20-30-х годов (Булгаков, Пильняк, Хармс и др.), так и с произведениями неизвестных молодых авторов (Солженицын, Максимов, Шаламов, Синявский, Даниэль и др.).

Да что там сравнивать, достаточно сказать, что произведения четырех из пяти русских Лауреатов Нобелевской премии по литературе — И.А. Бунин, Б.Л. Пастернак, А.И. Солженицын, И.А. Бродский — запрещенные в открытой печати, пришли к нам из Самиздата.

Двадцать лет прошло с тех пор, как в результате горбачевских реформ сквозь открытые шлюзы гласности на бывший (а, может быть, и не такой уж бывший) советский народ хлынул целый поток литературы, до этого скрытый от основной массы населения. Тиражи газет и журналов, печатавших эти литературные новинки двадцати-тридцати, — а то и семидесятилетней давности выросли в десятки, если не в сотни раз.

Очень многое, ходившее в свое время в Самиздате или опубликованное в Тамиздате, было переиздано в периодической печати или вышло отдельными книгами. Переполнен такого рода текстами и Интернет.

И, тем не менее, трудно отделаться от мысли, что масштабы этого уникального явления, не имевшего прецедента ни в отечественной, ни в зарубежной истории, не оценены по достоинству и современному читателю, особенно молодому, неоткуда получить сколько-нибудь целостное представление о составе текстов Самиздата и распространенности их в подцензурное время.

Конечно, существует Архив самиздата, созданный в обществе Мемориал, и ряд других реализованных проектов, но известность их, а, главное, доступность рядовому читателю, сомнительна.

С сожалением приходится констатировать, что обобщающий и сколько-нибудь исчерпывающий труд, который с достаточной полнотой характеризовал бы корпус текстов, входивших в Самиздат, на сегодняшний день отсутствует.

Хотя такого рода попытки предпринимались: сборники «Средь других имен» («Московский рабочий», 1990), «Возвращение» (Москва, «Советский писатель», 1991, выпуск первый, увы, последующих не было) и ряд других.

Казалось, таким изданием должен был бы стать том под названием «Самиздат века», вышедший в 1997 г. в издательстве «Терра», входящий в состав многотомной подписной серии «Итоги века. Взгляд из России», основанной в 1994 г. издательством «Полифакт» под редакцией А. Стреляного.

Книга в полиграфическом смысле действительно является прекрасным памятником «одному из чудес XX века», как назвал Самиздат составитель сборника А. Стреляный в предуведомлении, напечатанном на суперобложке: в коробке, в прекрасном переплете, на мелованной бумаге, с дивными иллюстрациями. Словом — полиграфический шедевр.

Однако, на мой взгляд, своей задачи это издание не выполнило: даже беглое знакомство с оглавлением приводит в недоумение — что же понимают составители под Самиздатом и чем руководствовались они при отборе авторов и произведений.

Заявка составителей сборника: «В томе «Самиздат века» собраны самые значительные и яркие неподцензурные произведения, созданные в России в XX веке», очевидно не реализована.

Большая и очень полезная работа проделана составителями сборника «Самиздат Ленинграда», в котором с почти исчерпывающей полнотой представлены авторы, периодические издания и сборники северной столицы. Но это издание носит энциклопедический характер: в нем отсутствуют сами тексты, и, будучи бесценным справочным материалом для исследователей, оно вряд ли заинтересует молодого читателя, мало знакомого с проблематикой Самиздата.

Очень интересна «Антология выстаивания и преобразования» (Век двадцатый): собранные в ней тексты являют собой ярчайшие образцы антитоталитарной литературы и публицистики. Однако желание познакомить читателя с большими по объему фрагментами текстов не позволило составителям представить сколько-нибудь широкий спектр авторов, писавших по данной проблематике.

Мы хотим представить читателю, и, прежде всего, молодому, проект под названием «Антология самиздата».

В основу проекта положены следующие принципы.

Историчность — подбор авторов и произведений отражает исторические реалии того времени, когда они создавались и публиковались (или не публиковались), а не сегодняшние представления об их значимости, художественной ценности, известности или воздействии на читателя.

Объективность — на формирование состава авторов не должны оказывать влияния политические, идеологические и, тем более, личностные пристрастия составителей антологии, как бы далеко не разошлись сегодняшние взгляды, положение и партийная принадлежность тех и других.

Представительность — антология (anthologia — букет цветов по-гречески) — подборка наиболее значительных сочинений разных авторов, безотносительно к степени их нынешней известности и количеству предыдущих публикаций.

Самиздат формировался из нескольких источников:

– текстов давно опубликованных, но либо изъятых и запрещенных,

либо за давностью лет ставших библиографической редкостью (это, прежде всего, стихи);

– научных, публицистических и художественных произведений, отвергнутых цензурой (или, даже, не дошедших до неё и «самоцензурированных» редакторами, а то и самими авторами) по «политическим» соображениям;

– научных, публицистических и художественных произведений, отвергнутых редакциями из-за их низкого качества (чего греха таить, и такого было достаточно), но двинутых в Самиздат авторами либо из-за завышенной самооценки, либо из желания приобщиться к диссидентству, что было модно среди фрондирующей интеллигенции;

– наконец, существовала масса текстов, прежде всего стихов, написанных просто графоманами, которые существовали, и будут существовать во все времена и при всех политических режимах, и являвшихся достоянием узкого круга людей (одной-двух кухонь), никогда не ходивших сколько-нибудь широко в Самиздате.

Ну, а анекдоты, рассказываемые всеми и везде, и частушки, распеваемые в подпитии так же всеми, никто и не держал за Самиздат (хотя и за них изредка сажали).

Мы попытались выбрать из бескрайнего моря литературы Самиздата наиболее представительные и характерные тексты самых разных жанров, оставив в стороне анонимное творчество — анекдоты, байки, частушки и пр.

Имея возможность свободно читать сегодня любую литературу, многие уже забыли, а молодое поколение и вовсе не знает, что же скрывалось десятилетиями от народа, за что рискнувшие открыто высказывать свои мысли, заплатились свободой, а кто и жизнью.

Собранные вместе эти произведения, различные по жанру, уровню мастерства авторов, иногда и по актуальности дадут яркую картину, куда наше общество может прийти (или вернуться?), если не сумеет опровергнуть ставшую уже прописной истину: единственный урок истории, который можно извлечь из истории, состоит в том, что народы никогда не извлекают уроков из своей истории.

Приятная обязанность — благодарности.

Идея создания «Антологии» родилась в долгих беседах с И.Н. Хохлушкиным — светлая память и огромная благодарность ему.

Ф.А. Хохлушкина передала мне для использования часть семейного архива и большое количество Тамиздата.

М.Г. Завельский один из немногих сохранил значительное количество самиздатских рукописей, которые были использованы при составлении Антологии.

Я благодарен моим друзьям Ю.З. Крелину, В.Н. Рассадину, Л.Б. Гуревичу за их советы в ходе работы над «Антологией».

М.О. и А.П. Чудаковы любезно предоставили материалы из своего архива.

Я.М. Уринсон способствовал получению финансовой поддержки для реализации проекта.

*Марк Барбакадзе,
член-корреспондент Международной Академии информатизации,
составитель «Антологии самиздата».*

ВВЕДЕНИЕ

«Антология самиздата» — весьма необычное издание. Прежде всего, потому что самиздат — это корпус письменных текстов, насчитывающий многие тысячи произведений самых разных жанров, распространяемых в рукописных списках, машинописных и компьютерных копиях, отпечатанных на гектографе или даже на типографских станках. Ну и, конечно, нельзя рассматривать самиздат без «тамиздата», полиграфических изданий, приходивших в СССР из-за рубежа и служивших матрицей для фото- или машинописных копий, а к концу Советской власти все больше вытеснявших самиздат в его классическом виде. И трудно было бы объединить эти произведения — от лирических стихов Сергея Есенина до научного трактата Льва Гумилева, от слепых копий на папиросной бумаге до добротнo изданных книг, — если бы не одно обстоятельство: Самиздат — явление литературное лишь отчасти, и потому далеко не только литературные критерии лежат в основе антологии. Многообразная неподцензурная литература — это часть важнейшего общественного явления, получившего название «Самиздат». Самиздат с большой буквы — это сложившийся в 50-60-х годах двадцатого столетия общественный институт функционирования параллельной культуры в Советском Союзе [1], который стал кровеносной системой общественного движения, сыгравшего важную роль в становлении новых идеологий, ставшего зачатком гражданского общества и повлиявшего на трансформацию коммунистической системы. В соответствии с этим, антология самиздата — это срез как литературной, так и общественно-политической жизни страны на протяжении трех десятилетий, слабо представленный в официальных летописях. И отбор произведений в настоящее издание проводился с учетом не только литературных достоинств, но и с учетом того общественного звучания, которое приобретал тот или иной документ, журнал или книга.

У меня нет сомнений, что вполне ученические стихи Юрия Галанскова вряд ли войдут в поэтические антологии или хрестоматии русской литературы. Но они, несомненно, составляют важную часть антологии самиздата. Прежде всего, потому что эти стихи читались на площади, тогда, когда это было крамолой, переписывались и перепечатывались молодыми людьми, которые смутно чувствовали свое отпадение от удушливой советской казенщины. Эти стихи воодушевляли мужественных людей на гражданские поступки, следствием которых были преследования со стороны власти, утрата свободы и даже гибель — да и сам Галансков погиб в заточении. Общественный

[1] «...Сегодня в России мы наблюдаем явление беспрецедентное: существование двух разных и, даже более того, двух антагонистических культур — официальной и подпольной. Литература подпольная (или «вторая литература», как называет ее А. Синяевский) четко противостоит литературе официальной в своих художественных критериях, в своем формотворчестве, в своих мировоззренческих и философских позициях, и это дает право рассматривать подпольную литературу как явление самостоятельное». Ю. Мальцев. Вольная русская литература. 1955 — 1975. Frankfurt/Main: Possev-Verlag, V. Goradiek KG, 1976.

протест, генезис которого тесно связан с публичными чтениями у памятника Маяковскому [2], в конце концов, стал силой, преобразующей советское общество и повлиявшей на изменение общественного сознания во всем мире. Понять динамику советской истории без стихов Галанскова, наверное, так же трудно, как трудно понять российскую пореформенную историю XIX века без Некрасова или Чернышевского. Стихи Галанскова интересны не только тем, что они были манифестом для группы людей, сыгравших важную роль в становлении общественного движения в СССР, но и тем, что литературный путь Галанскова типичен для огромного числа начинавших поэтов той эпохи — то же подражание Маяковскому, тот же нравственный протест, те же образы и метафоры. Для многих молодых граждан страны поэтическое творчество стало ступенью к общественной деятельности — и непропорционально велико число поэтов среди участников демократического движения в СССР. В этом смысле феномен Галанскова представляет интерес и для историков культуры.

И точно так же в антологии самиздата должны быть представлены тексты А. Авторханова и В. Набокова, А. Кестлера и М. Джиласа, написанные и изданные за рубежом. И не только потому, что эти книги размножались в Советском Союзе фотоспособом, на допотопных электрографических машинах «Эра», а иногда и на машинке, но и потому, что они становились частью интеллектуальной и, шире, культурной жизни в СССР. «Тамиздат» — книги, изданные за границей главным образом для советского читателя и попадавшие в страну множеством способов, — представляют собой неотъемлемую часть того культурного процесса, который начался с появлением Самиздата.

Литература Самиздата чрезвычайно разнообразна. И в жанровом отношении — здесь есть все: романы, новеллы, пьесы, афоризмы, произведения, чей жанр трудно определить, есть научные исследования и публицистика, мемуары и частная переписка, декларации и манифесты, жалобы в прокуратуру и открытые письма протеста. Невероятно и разнообразие идеологическое. В самиздате легко найти произведения ортодоксально большевистские и с той же легкостью можно найти произведения троцкистские и неомарксистские или вовсе посвященные критике марксизма. Здесь можно найти авторов с классическим либеральным мировоззрением и монархистов, можно обнаружить патриотов-почвенников и их антиподов-космополитов. Обычны произведения религиозно-философские или сугубо религиозные. И здесь же присутствует напряженный диалог, далеко выходящий за пределы обычного советского дискурса. Те, кто был хорошо знаком с самиздатом, несомненно, чувствовал напряженный пульс поиска, поиска без наперед заданных ответов, который, на мой взгляд, в значительной степени оказался забытым и не востребуемым в последующую эпоху, как, впрочем, и сами деятели общественного движения 60-80-х годов. С начала 90-х годов основной тон общественному развитию задавали не те люди, которые искали ответы на ими же и поставленные вопро-

[2] См., например, книгу Л. Поликовской «Мы предчувствие, предтеча...» Площадь Маяковского. 1958 — 1965. М.: Звенья, 1996

сы, а те, кто ответы знал. Впрочем, иначе быть и не могло — мир меняют те, кто говорит «я знаю»[3].

Удивительна судьба Самиздата: став инфраструктурой независимой мысли в СССР, он послужил одним из главных источников того идейного многообразия, которое захлестнуло страну в последние годы Перестройки, и как будто бесследно растворился в прошлом. Многие его произведения и его деятели оказались забыты. Сам этот факт является ярким свидетельством справедливости того описания состояния общественного сознания, которое дал в своем романе «1984» Д. Оруэлл, и требует специального исследования. Но, прежде всего, требует возвращения в нашу культуру история Самиздата и история общественно-го движения в СССР.

Для множества образованных людей сегодня непонятно, почему «Вехи» или романы Хемингуэя были чтением подпольным. Точно так же, как не укладывается в уме, что за чтение «Собачьего сердца» Булгакова человек мог угодить в сумасшедший дом или оказаться в тюрьме. Атмосфера недавнего прошлого настолько глубоко канула в Лету, что реконструировать интеллектуальный и общественный контекст, в котором создавались те или иные произведения самиздата трудно даже человеку, жившему в те времена, а молодому человеку, как правило, и вовсе не по силам. Однажды, беседуя с молодым преподавателем политологии, я услышал насмешливо-снисходительную оценку «1984»-го Джорджа Оруэлла. Моему собеседнику это произведение показалось достаточно примитивным, не более чем гротеском. И я остро вспомнил свое отношение к роману в 1968 году. Оно было столь же критичным — и помешало мне прочесть его с первого раза. Только в 1972-м я испытал истинное удовольствие от чтения книги, найдя в ней точные метафорические описания советской действительности. Тем не менее, прошли еще десятилетия, прежде чем я осознал, что подмеченные Оруэллом характеристики общества носят фундаментальный, архетипический характер.

Сегодняшняя жизнь так сильно отличается от советской действительности, что прочесть Оруэлла и увидеть в нем проницательного социолога еще труднее, чем жителю Советского Союза. И вместе с тем, «1984» и сегодня является предостережением. «Дыры памяти» описанные в романе, были не такой уж сильной гиперболой — жизнь предъявляла аналогичные образцы. Но «дыры памяти» не обязательно нуждаются в техническом воплощении, поскольку незримо существуют в человеческом обществе. Сталинские печи для сжигания книг и документов только эксплуатировали особенности общественного сознания, а не создавали их. И эти особенности не ушли в прошлое с исчезновением тоталитаризма. Их и сегодня эксплуатируют политики — отнюдь не только российские! — для выстраивания собственных амбициозных проектов. Забыв значительную часть своей истории, Россия остается «страной с непредсказуемым прошлым». А значит, не закрыты пути в оруэлловский ад.

[3] И это резко контрастирует с мироощущением советских диссидентов:

А бояться-то надо только того,
Кто скажет: «Я знаю, как надо!»

А. Галич, «Поэма о Сталине».

Общественное движение 60-х-80-х годов в СССР сделало невероятно много для преодоления этой угрозы. Скрупулезное восстановление истории, внимание равно к масштабным процессам и к частным фактам общественной жизни породили не только замечательный массив исторических документов и исследований, не только журналистику, поразительную по своей точности, честности и мужественности. Они породили также высокий уровень гражданской ответственности, напряженную философскую мысль и сделали возможным удивительное по ясности видение будущего. Достаточно вспомнить, хотя бы, «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» Андрея Амальрика. Сегодня часто можно встретить скептический взгляд: «Это же было совершенно понятно, что Советский Союз распадется». Однако не так думали современники. Людей, которые приняли сценарий Амальрика, во всем мире можно было по пальцам сосчитать. Даже окружавшие его люди, в большинстве своем, полагали, что Советский Союз будет существовать если не вечно, то слишком долго для человека [4]. И, тем не менее, Амальрику удалось предсказать не только сроки гибели этой великой державы [5], но и характер развития постсоветских государств. Удалось Амальрику сделать и много других точных предсказаний и анатомических карт советского общества. Он опередил профессиональных исследователей на полтора-два десятилетия. Однако его книг не найдешь в книжных магазинах — их не переиздавали в современной России. Как и книг ряда других авторов, внесших важный вклад в интеллектуальное и духовное развитие нашей страны.

Впрочем, это касается далеко не всех авторов Самиздата. Нынешний читатель без труда найдет на полках магазинов книги Солженицына, Гроссмана, Бердяева, Франка, Булгакова, Хемингуэя, Цветаевой, Мандельштама и десятков авторов, которые еще недавно самиздатскими тиражами распространялись из рук в руки. Иные книги изданы тиражами, не многим превосходящими их тиражи в Самиздате, но, все же, они доступны. Тем не менее, будучи прочитаны врозь, эти книги составят в представлении читателя, особенно молодого, совершенно независимые множества. И, несомненно, произведут абсолютно иное впечатление, чем производили они в сознании советских людей, у которых Камю или Набоков окрашивались отсветом книг Мельгунова и Марченко, а чтение протоколов судебных заседаний сопровождалось размышлением над текстами Кьеркегора и Померанца, Юнга и Бердяева. Пильняк или Зиновьев, Кришнамурти или Флоренский оставляют сегодня ощущение принадлежности к тому или иному литературному или философскому направлению и уже совершенно утратили образ кровотока повседневности советского бытия. Вместе с тем, без погружения в тот синкретический интеллектуальный бульон, в котором вырастала инакомыслящая интеллигенция, без переживания нерасчлененности культурного многообразия этого мира и, одновременно, чуждости, противо-

[4] «... мне очень нравилась эта книга — я, когда читала, я просто хохотала, мне очень все это нравилось, это такой эпатаж. Никому не приходило в голову и в 80-м году тоже никому не приходило, что в 84-м Советский Союз развалится». (Из интервью Л.М. Алексеевой, 2004 г.)

[5] Незадолго до смерти Амальрик сделал некоторые уточнения, которые оказались верными.

поставленности и невероятной отдаленности советского культурного космоса и космоса диссидентства невозможно понять современной российской истории. Невозможно понять, почему люди той эпохи оказались на обочине исторических событий, вызванных, казалось, едва ли не прежде всего, их усилиями.

И одновременно нужно отметить, что практически все идеи, проявившиеся в ходе распада и преобразования советского общества, были разработаны в Самиздате. И ответ на вопрос, почему в период Перестройки возобладали либерально-демократические ценности, в то время как последующие события привели к расцвету националистических и державнических идеологий, также следует искать, в частности, в истории общественного движения в СССР, тесно связанного с Самиздатом. И точно так же свободная мысль уже ушедшей эпохи может стать одним из источников нашего понимания пути в будущее. Именно поэтому антология самиздата должна занять место на полке у тех, кто всерьез изучает новейшую отечественную историю, и у тех, кто озабочен анализом современного российского общества и российской государственности. Нужна она и тем, кто знаком с историей своей родины только по школьным учебникам, старательно избегающим освещения недоосмысленного прошлого.

Конечно, «Антология самиздата», которую мы предлагаем читателям, не может претендовать на исчерпывающую полноту. Перед составителями стояла трудная задача отбора относительно компактного собрания текстов из тысяч и тысяч материалов, написанных и опубликованных в Самиздате на протяжении трех десятилетий. При ограниченных возможностях издания потери неизбежны. Поэтому мы решили ограничиться публикацией материалов, имевших наибольшее распространение, и, напротив, отказались от включения в антологию текстов, хотя, несомненно, распространявшихся в Самиздате, но имевших относительно ограниченное хождение, даже тогда, когда считали эти материалы ценными. Мы включали только те материалы, которые, безусловно, широко обсуждались в диссидентской и околодиссидентской среде. Возникли также у нас и проблемы с хронологическими рамками. Самиздат, как, вероятно, и любое значительное явление культуры, не появился вдруг. Он опирался на древнюю традицию распространения списков неподцензурных текстов, на опыт подпольной борьбы, на размывание советской идентичности, на появление новых средств тиражирования. Практически все исследователи считают началом Самиздата вторую половину 50-х годов, когда в обращении оказались доклад Хрущева на XX съезде КПСС и стихотворения из «Доктора Живаго» Пастернака. Эти произведения вызвали буквально взрыв неконтролируемого размножения, за которым последовало и целенаправленное, осмысленно-свободное издание неподцензурных материалов. Но, тем не менее, до появления Самиздата, как общественного института, в обществе распространялись рукописные и машинописные списки текстов, которые постепенно готовили почву для Самиздата. Многие из них распространялись и позднее, став неотъемлемой частью самиздатских библиотек. И мы решили открыть нашу «Антологию» этими текстами. «Антология» завершается публикациями середины 80-х годов, когда общественное движение в СССР переживало период угасания, и Самиздат как единое целое стал распадаться на локальные пространства.

Здесь нет нужды подробно описывать проблему хронологии — она достаточно хорошо изложена в статье А. Даниэля, предваряющей текст собственно антологии самиздата. Хотелось бы, однако, оспорить некоторые положения, выдвинутые в этой статье. А. Даниэль относит к самиздату исключительно материалы, изготовленные самими читателями. Действительно, именно таким образом — самопрорастанием в обществе формировалась капиллярная сеть Самиздата. Но коль скоро она создалась, в нее хлынули тексты, изготовленные уже целенаправленно для распространения. Если кружковая и подпольная литература распространялась вслепую, а потому становилась источником быстрого разоблачения и ареста ее изготовителей, то Самиздат стал удобным каналом относительно безопасного распространения литературы, в том числе основной приблизительно на тех же принципах, что и литература подпольная. Тексты ленинградских «Колокола» [6] или ВСХСОН [7], являвшихся типично подпольными документами, принципиально не отличаются от самиздатских документов, таких как сахаровский трактат «Размышление о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» и солженицынский «Письмо вождям Советского Союза». Уже «Синтаксис» Гинзбурга, с которого справедливо Даниэль отсчитывает историю Самиздата, не укладывается в рамки указанного критерия. И Самиздат отнюдь не оставался на всем протяжении своего существования стихийным явлением. Разумеется, он не был спланирован и осуществлен из одного центра, но, начиная с определенного времени, стихийные перепечатки оставались только на периферии этого института. Несмотря на репрессии, Самиздат постепенно приобретал своих издателей, посредническую сеть, зачатки рынка — со всеми вытекающими из этого позитивными и негативными последствиями.

Одесская библиотека самиздата, чей опыт мне хорошо известен и аудитории которой составляли читатели от Западной Украины до Восточной Сибири и от Ленинграда и Риги до Симферополя и Нальчика, вовсе не выпадала из общей логики Самиздата. С самого начала своего существования она создавалась небольшой группой людей вполне промышленными способами, в то время как сотни и даже тысячи людей были ее читателями. И хотя собирание самиздата для его целенаправленного распространения в обществе было, по-видимому, редким явлением, тем не менее, индустриальное производство текстов вполне обычно для Самиздата. Людмила Алексеева рассказывает о «цехе» производства са-

[6] «Колокол» — ленинградский нелегальный общественно-политический журнал, выпускавшийся подпольной марксистской группой, состоявшей из выпускников Технологического института. Их программным документом была книга, написанная в 1962 г. членами кружка Валерием Ронкиным и Сергеем Хахаевым «От диктатуры бюрократии к диктатуре пролетариата». При подготовке третьего выпуска журнала «Колокол» члены кружка были арестованы. (Подробнее см. в книге Людмилы Алексеевой «История инакомыслия в СССР. Новейший период» (М.: ЗАО РИЦ «Зацепа», 2001 или в Интернете на сайте <http://www.memo.ru>).

[7] Всероссийский Социал-Христианский союз освобождения народа. Ленинградское подпольное общество, организованное «для преобразования СССР на национально-православной основе» в 1964 г. и раскрытое в 1967 г. См. об этом подробнее в книге Людмилы Алексеевой «История инакомыслия в СССР. Новейший период» (М.: ЗАО РИЦ «Зацепа», 2001 или в Интернете на сайте <http://www.memo.ru>).

миздата Эрнста Руденко [8]. Да и сама Алексеева размножала неподцензурную литературу на вполне рыночных основаниях [9], а я уже в 1968 г. ездил в Москву, чтобы купить книги Солженицына по более-менее рыночным ценам. Хорошо известен случай типографского размножения «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына, организованного Гамсахурдиа и Костава, по-видимому, в Грузии. Факт типографского изготовления книги не выводит его за пределы Самиздата. И таких изданий было довольно много. Мне хорошо известна, например, багтисская литература, изготовленная на гектографах и типографских станках. Изготовление «Хроники текущих событий» — стержня Самиздата и правозащитного движения, по точному определению Даниэля, — также было довольно централизовано. Существовал и рынок «тамиздата», который вливал в самиздатскую кровеносную систему порядочную долю литературы. Не способ изготовления текста, а форма его обращения в рамках неконтролируемых государством сетей является определяющей для Самиздата.

Вероятно, избранное определение самиздата диктует А. Даниэлю и представление о верхней границе Самиздата как явления. По его мнению, к концу 70-х годов, по крайней мере, в Москве и Ленинграде самиздат практически исчезает, уступая место тамиздату, когда составитель или автор готовит материал только для передачи на Запад, где к тому времени было налажено тиражирование. Действительно, в 77-м я столкнулся с непреодолимыми препятствиями, когда попытался заполучить экземпляр альманаха «Память» для его тиражирования в СССР. Никакие убеждения в целесообразности подобного шага не смогли сломить установку на отказ от внутреннего размножения. Однако далеко не все авторы Самиздата имели «ходы» на Запад даже в Москве, где самиздат к этому времени был почти обыденным явлением. В провинции же возможность получения тамиздата была настолько ограниче-

[8] «Ещё я знала такого Эрика Руденко. Он никогда ничего не подписывал и вёл себя очень осторожно. При этом он очень страдал от того, что ничего не подписывает, и никто не знает, какой он заядлый диссидент. «Светиться» он не хотел из-за того, что у него была самиздатская «фирма», — машинистки, которые печатали самиздат за деньги. Он находил таких машинисток, давал им книжку на перепечатку, забирал потом напечатанное и сам продавал. Он имел с этого что-то за комиссию, но это, конечно, не были большие деньги. И это предприятие не было прибыльным, потому что риск не оправдывал тех небольших денег, которые он с этого имел. Основана же эта его деятельность была, в первую очередь, на убеждениях и энтузиазме. Поскольку ему было очень горько от того, что он ничего не подписывает, Эрик и открыл мне тайну про эту свою контору с тем, чтобы я знала, почему он ничего не подписывает, и сказал, что если мне надо, то он всегда может запустить какой-то текст в производство. И я этим несколько раз пользовалась, когда нужно было изготовить тираж чего-либо и когда на это имелись деньги». (Из интервью Л.М. Алексеевой, 2004 г.)

[9] «В то время, поскольку мы подписывали письма, нас с мужем обоих выгнали с работы, и муж устроился на очень низкооплачиваемую работу, а у меня вообще не было работы. И в это время как раз мой младший сын кончил школу. Ему надо в университет идти, а у него уже в 9 — 10 классе школьная форма — вот так вот рукава, вот так вот брюки и залатанные колени — ну, в общем, надо одеть. И выяснилось, что покупать надо все: костюм, пальто, ботинки, ну все-все-все. Ну откуда деньги взять? И я подумала-подумала, и в то лето, когда он сдавал экзамены в университет, напечатала несколько самиздатских книг. И тем же математикам продала потом, и в самиздат одела своего сына — то есть не дорого, но во все новое в университет!» (Из интервью Л.М. Алексеевой, 2002 г.)

на, что машинописные копии продолжали изготавливаться до самой Перестройки. Тамиздатские книги также попадали в руки читателям ненадолго, и фотокопирование было довольно распространено. Я изготавливал пленки еще в первой половине 80-х. Если бы СССР просуществовал дольше, возможно, тамиздат вытеснил бы самиздат на периферию общественной самоорганизации, изменив весь характер культурной жизни в стране. Но история такова, какова она есть — общественное движение к 1983 году переживало стадию распада, а вскоре нагрянула горбачевская «не оттепель, а распутица», как тогда говорили старые диссиденты, и наступила эпоха, в которой самиздату не было места, а термин «тамиздат» лишился смысла.

Но с приходом Горбачева самиздат исчез не сразу. Всевозможные варианты выступления Ельцина на ноябрьском пленуме МГК КПСС заполнили Москву в конце 1987 г. и ходили даже еще в конце 1988-го. «Новый самиздат», возникший в среде политических клубов в 1986-87 гг., принципиально не отличался от самиздата 70-х. Разве что преследования были безобидны по сравнению с репрессиями брежневского застоя. Упомянутый Даниэлем «Хронограф» был вполне самиздатским изданием, ксерокопировался читателями и даже перепечатывался на машинках. В этом смысле «Хронограф» был близок каноническим образцам самиздата. И все же, к этому времени эпоха Самиздата закончилось. Отмена цензуры превратила публикацию текстов в частное дело их авторов. Это можно было бы считать достижением целей общественного движения и Самиздата. Если бы не одно обстоятельство: сегодня мы все еще не уверены в отсутствии ограничений свободы печати.

В заключение несколько слов о проекте «Антология самиздата». Автором этого проекта является Марк Барбакадзе, чья убежденность в необходимости «Антологии» вкуче с недюжинной энергией превратили этот замысел в реальность. Марку Барбакадзе принадлежит и основная работа по подбору материалов, подготовке фрагментов для публикации. Им же подготовлено значительное число справок. Огромную работу проделала также и Елена Шварц, которая не только реализовала электронную версию «Антологии», но и приняла на себя основной груз редакторской работы. Ее усилия в высшей степени способствовали сокращению сроков появления этого издания. Значительную работу проделал Алексей Пятковский, взявший множество интервью об истории Самиздата. И хотя не все они вошли в полиграфический вариант издания, большая часть их помещена в электронной версии «Антологии», antology.igrunov.ru.

Большую часть справок об авторах составляли М.Ш. Барбакадзе и Е.С. Шварц, собирая материал для них из разного рода энциклопедий и словарей. Справки о «самиздатской» судьбе некоторых произведений написали члены общества «Мемориал» Дмитрий Зубарев и Геннадий Кузовкин, ими же были написаны справки о большинстве периодических изданий и сборников. А справки о ряде литературных журналов («Сирена», «Чу!», «Авангард», «Коктейль», «37», «Часы»), так же как и справка о тамиздатском журнале «Грани» принадлежат Людмиле Поликовской.

Значительную помощь редакторам оказали своими советами Д. Шалаева и Г. Суперфин, а Б. Беленкин и Т. Хромова — участием в подборе текстов.

Издание «Антологии самиздата» не могло бы быть осуществлено без помощи Национального фонда в поддержку демократии (National Endowment for Democracy).

Авторский коллектив «Антологии самиздата» выражает также благодарность РАО ЕЭС за финансовую поддержку проекта.

С публикацией «Антологии самиздата» работа над проектом не завершается. Электронная версия будет продолжена, а если окажется, что «Антология» нашла своего читателя, то редакторы будут рады опубликовать более совершенный ее вариант. Поэтому мы обращаемся к читателю с предложением направлять нам все свои предложения и пожелания, дополнения, исправления и уточнения по адресу:

Москва, Газетный пер., дом 5, офис 506, ИГПИ, Вячеславу Игрунову, или по электронному адресу antology@igpi.ru

*Вячеслав Игрунов,
директор ИГПИ*

ИСТОКИ И СМЫСЛ СОВЕТСКОГО САМИЗДАТА

Прежде чем обсуждать проблему, — как и когда появился в СССР Самиздат, как и когда он прекратил своё существование, — необходимо договориться о терминах. Чтобы говорить о Самиздате, надо сначала дать ему определение, причем такое, которое позволило бы очертить его границы внутри общего потока неподцензурной литературы, не растворяя его среди смежных явлений культуры. И не ради игры ума или упражнений в дефинициях. Просто без четких классифицирующих признаков не решить ни проблему собирательства, ни проблему научного описания текстов, ни проблему их изучения, ни даже не вырабатать структуру библиографической цитации и форму ссылок.

Мне кажется, что под словом «самиздат» имеет смысл подразумевать не сам текст, а способ его бытования. Я бы предложил такое определение (увы, не очень операционное): *Самиздат — это специфический способ бытования общественно значимых неподцензурных текстов, состоящий в том, что их тиражирование происходит вне авторского контроля, в процессе их распространения в читательской среде.* Автор может лишь «запустить текст в Самиздат», дальнейшее не в его власти.

При этом одно и то же произведение может быть последовательно фактом домашней, кружковой и самиздатской литературы, может перейти из неподцензурной литературы в «официальную» (не затрагивая лавины перестроечных публикаций, сошлюсь, например, на стихотворение или, скорее, небольшую поэму Ахмадулиной «Дождь», на тексты песен Окуджавы, на судьбу русского перевода романа Хемингуэя «По ком звонит колокол», на новомировские публикации отдельных искандеровских рассказов из цикла «Сандро из Чегема»). Или, наоборот, из подцензурной литературы в неподцензурное распространение (рассказы Солженицына после изъятия их из библиотек или просто самодельные копии малотиражных или не переиздающихся книг).

Правда, предложенное определение не дает возможности установить «начало Самиздата». Ведь неподцензурная литература распространяется в списках в течение столетий — по крайней мере столько же, сколько существует сама цензура. С другой стороны, мы можем теперь отсечь модернистское толкование термина: так, неформальная пресса 1987-1990 гг., пусть нелитованная, самиздатом в этом смысле не является — вопреки многим современным библиографам. И это хорошо, ибо, что ни говори, «Хроника текущих событий» и «Экспресс-хроника» не соприродны друг другу, как не соприродны друг другу «диссидентство» шестидесятых-восьмидесятых годов и «демократическое движение» 1987-1991 гг.

Сомнительно, что рукописную литературу, порождавшуюся юными подпольщиками 1940-1950-х гг., можно назвать самиздатом, — эти тексты не выходили за пределы самих кружков. Иногда, правда, дело доходило до листовок. Известны и случаи, когда эти листовки пытались распространять. Но и в этом случае о самиздате едва ли правомерно говорить: нет решительно никаких свидетельств о вторичном размножении этих листовок кем-то

помимо их авторов. Новую эпоху в истории неподцензурной литературы определил выбор термина.

Само слово «самиздат» входит в употребление именно в середине сороковых годов. Его автором, по-видимому, был московский поэт Николай Глазков, чьи стихи и прозаические миниатюры полуабсурдистского толка были хорошо известны в окололитературной среде, но почти не печатались при его жизни. Глазков придумал такую забавную литературную игру: составлял небольшие машинописные сборники своих стихов и прозы, сшивал их в брошюры форматом в пол-листа и дарил друзьям. А на титуле ставил им самим придуманное слово «самсебяздат».

На рубеже 1960-х или несколькими годами ранее термин был подхвачен литературной молодежью, которая усилила его «игровое» звучание, редуцировав его до «самиздат» — уже прямое передразнивание «государственного» наименования — Госиздат. (Впрочем, во второй половине пятидесятых сохранялся еще и старый термин: мне приходилось видеть ранние, 1957-1959 годов, машинописные сборники Горбаневской, тогда — поэта, входившего в круг Леонида Черткова, помеченные как «самсебяздат».)

Собственно, нет ничего нового в том, что автор дарит друзьям копии своих произведений. Игровой момент был именно в оформлении, в пародировании официального книгоиздания, в этом самом словечке «самсебяздат».

Попробуем теперь взглянуть на историю советского Самиздата послевоенного периода с заявленной выше позиции. Конечно, это будет лишь пунктирный обзор, и называемые имена неизбежно окажутся достаточно случайными; их выбор носит, скорее, иллюстративный характер.

По мемуаристике и устным воспоминаниям современников, в сороковых — начале пятидесятых годов в списках ходили почти исключительно стихи, в первую очередь — стихи Гумилева, Ахматовой, Мандельштама, Ходасевича, Вяч. Иванова. Чтение и переписывание этой литературы, по всей вероятности, рассматривалось читателями-переписчиками как часть современной читателю культурной жизни; скорее, это было полусознанная попытка «воспоминания» об ушедшей культуре, о Серебряном веке русской поэзии, воспринимавшемся в те годы как век золотой. Списки неопубликованных стихов современных читателю авторов тоже существовали (стихи Коржавина или упомянутого выше Глазкова, или многих других известных и неизвестных литераторов конца сороковых); но они, как правило, не выходили за пределы узкого круга друзей и почитателей данного автора или литературных салонов, в которых этот автор появлялся; эти списки, таким образом, следует, на наш взгляд, отнести, скорее, к «кружковой» или «студийной» литературе, чем к самиздату.

В 1950-е эта планка была взята: неопубликованные стихи Слуцкого, Корнилова, Окуджавы, Евтушенко, Аронова, Ахмадулиной и ряда других вышла за пределы дружеских кружков и литературных студий, став фактом Самиздата в нашем понимании этого слова. Чуть позднее, благодаря «Синтаксису» (см. ниже), это же произошло с поэзией Сапгира, Холина и других поэтов «лианозовского круга», со стихами Вс. Некрасова, М. Павловой, В. Бурича, С. Красовицкого, Р. Мандельштама и великого множества других. В Литве аналогичная метаморфоза произошла, например, с творчеством

Т. Венцловы, на Украине — со стихами Б. Чичибабина, В. Симоненко, Л. Костенко и других. Здесь, если не считать случая с Чичибабиным, роль куколки, в какой-то момент превращающейся во взрослую бабочку-имаго, сыграли полуофициальные творческие объединения: киевский Клуб творческой молодежи и львовский «Пролісок».

Ближе к концу 1950-х Самиздат освоил прозаические и далеко не всегда беллетристические тексты. Поразительно, но, если не считать письмо Раскольникова Сталину, в первую очередь это были переводные тексты: Кестлер, Оруэлл, Кафка, «Письмо к заложнику» Сент-Экзюпери, Нобелевская лекция А. Камю. Конечно, выбирались произведения, созвучные отечественной проблематике. К сожалению, мы лишь в редких случаях знаем имена переводчиков (так, «Тьма в полдень» А. Кестлера была впервые переведена, если не ошибаюсь, И. Голомштоком где-то в 1958-1960 г.). В сущности, именно они, переводчики, были первыми литераторами, осознанно использовавшими механизм самиздата.

Что касается отечественной прозы, то в пятидесятые годы это была проза Платонова, Зощенко и «Доктор Живаго» Пастернака, который распространялся по стране не столько в машинописи, сколько в виде фотокопий с зарубежных изданий. Ну, и конечно, особый жанр, который хочется назвать «републикациями самиздата» — произведения, когда-то опубликованные в СССР и не переиздававшиеся в течение десятилетий: письма Короленко Луначарскому, «Несвоевременные мысли» Горького, Пильняк, Замятин, Булгаков и т. д.

В начале шестидесятых Самиздат подхватил мемуары Евгении Гинзбург, рассказы Шаламова (причем явно не в качестве художественной прозы, а как историко-философские произведения), философские эссе Г. Померанца. Сюда же надо отнести и актуальную отечественную публицистику. Чаще всего это были тексты, осмысляющие феномен сталинизма или дополняющие и расширяющие официально дозволенные разоблачения «культы личности» — классическими примерами таких текстов являются знаменитое «Открытое письмо Эрнста Генри Илье Эренбургу» и одна из самых, кажется, толстых книг в мире — работа Роя Медведева о сталинизме «К суду истории». (Последний пример лишний раз показывает, что в шестидесятые годы объем вещи не имел еще решающего значения для того, будет ли она подхвачена Самиздатом, или нет.)

Видимо, где-то в это же время в Самиздате начали циркулировать сборники «Вехи», «Из глубины», работы Бердяева и других религиозных философов начала века. Чуть позже Самиздат (вероятно, не без участия эмигрантских организаций) включил в себя и откровенно политическую литературу, поступавшую с Запада — Джиласа, Авторханова, программные документы солидаристов. Как и «Доктор Живаго», эти книги распространялись, по преимуществу, в виде фотокопий.

На рубеже шестидесятых-семидесятых годов усиленно распространялись в Самиздате исторические документы, например, секретная инструкция ВЧК 1918 г.

С конца 1950-х Самиздат — это не просто механизм распространения запрещенных или полузапрещенных текстов. Он становится главным инструментом «второй культуры», т. е., культуры, которая не просто реализует себя в обход цензурных ограничений, а вообще игнорирует эти ограничения. Речь уже идет не о рукописях, отвергнутых цензурой, а о руко-

писях, изначально не предназначенных для цензуры. Люди начинают «писать в Самиздат», как раньше «писали в стол». Иными словами, Самиздат становится социально-культурной институцией.

Начало этого процесса я бы датировал 1959 годом. Именно тогда молодому журналисту из «Московского комсомольца» Александру Гинзбургу (возможно, не без участия поэта Генриха Сапгира) пришла в голову дерзкая идея выпускать машинописный поэтический сборник, состоящий из произведений разных авторов, по тем или иным причинам не прошедших цензуру либо вовсе не предлагавшихся в печать. Это предприятие разом превратило самиздат — в Самиздат, т.е., в инструмент альтернативной культуры, в институцию.

Вероятно, Гинзбурга отчасти вдохновляла практика поэтов лианозовского круга, многие из которых время от времени составляли и пускали по рукам собственные сборники. Впрочем, первый же номер «Синтаксиса» (так был назван альманах) состоял отнюдь не только из стихов лианозовцев. Но главное не в этом. Одно дело — авторский сборник, мало чем отличающийся от обычных поэтических подборок тогдашнего самиздата, и совсем другое дело — альманах, да еще и периодический, да еще и с указанием имени составителя на первой странице. Быть может, сегодня трудно уловить этот нюанс, однако современникам «Синтаксиса» он был абсолютно внятен: издание сборника стало своего рода Декларацией независимости культурного процесса. Внятен он был и госбезопасности: в 1961 г. Гинзбурга, выпустившего уже в 1959-1960 годах три номера журнала и готовившего четвертый номер, арестовали, и против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в «антисоветской агитации».

Но пример был показан, и джинн выпущен из бутылки. Необязательность печатного станка для самореализации культуры была продемонстрирована с предельной наглядностью. Не стану перечислять многочисленные (по большей части, эфемерные) самиздатские альманахи и журналы, выпущенные в подтверждение этого тезиса. Упомяну лишь создававшийся в это же время и в этом же кругу сборник «Феникс» (сейчас его обычно называют «Фениксом-61», в отличие от «Феникса-66» — сборника, подготовленного Юрием Галансковым пятью годами позже). Характерно, на мой взгляд, что в тот период составлением сборников и альманахов занимаются, по преимуществу, маргиналы с площади Маяковского. По-видимому, этот жанр интуитивно ощущается как нечто качественно отличное от обычной самиздатской деятельности, как новый шаг, требующий большей степени независимости от системы.

Прежде чем перейти к следующему этапу становления независимой общественной активности — возникновению правозащитного Самиздата, я хотел бы сделать две оговорки.

Во-первых, все сказанное отнюдь не означает, что я выдвигаю абсурдный тезис о полной аполитичности Самиздата 50-х — начала 60-х годов. Это, конечно, не так. Почти во всех наиболее распространенных самиздатских текстах того времени присутствует отчетливый оттенок оппозиционности, содержащейся в самом тексте или привнесенной обстоятельствами. Этот оттенок мог возникнуть из-за имени автора, темы произведения, упоминания определенных реалий и в силу сотни других причин. Но, так или иначе, в Самиздат, как правило, уходили тексты, которые не имели шансов пройти цензуру или даже прямо были

запрещены ею к публикации. Уже в силу одного этого обстоятельства самиздатская активность воспринималась как оппозиционная если не власти, то, по крайней мере, системе запретов, ею порождаемой. Моё утверждение о неполитическом и неидеологическом характере самиздата (и «протодиссидентской» активности, зеркалом которой стал Самиздат) сводится всего лишь к утверждению о неполитической и неидеологической сущности этой оппозиционности.

Во-вторых, уже в 1950-е годы в самиздате циркулировала не только поэзия и не только художественная проза. Первыми правозащитными текстами в истории советского Самиздата и предтечами будущей диссидентской эпохи стали два текста, которые можно отнести к правозащитной тематике, хотя формально они были связаны, как и следует ожидать, с литературой (точнее, с репрессивной реакцией власти на независимую литературу). Включив в себя эти тексты, самиздат забил колья на территории прежде чуждых ему газетных жанров — публицистики, документалистики, судебного очерка. Я имею в виду даже не тексты публичных обсуждений разных литературных событий второй половины 1950-х, вроде выступления Паустовского на обсуждении романа Дудинцева «Не хлебом единым». Я имею в виду тексты, высекавшиеся из столкновений между литературой и политическим преследованием, политической репрессией. Это, прежде всего, два текста — запись общего собрания московских писателей осенью 1958 г., где шельмовали Пастернака, и, конечно же, запись процесса 1964 г. над Бродским, сделанная Фридой Вигдоровой. Насколько мне известно, запись 1958 г. велась официально, в Самиздат она попала в результате утечки из Секретариата СП (вот бы узнать, кто и зачем уволок из Секретариата эту запись и запустил ее в Самиздат!). А вот Фрида Вигдорова уже вела свои записи как «частное лицо». И не столь существенно, делала ли она это, заранее предполагая пустить их в Самиздат, или она всего лишь намеревалась использовать их как подсобный материал в дальнейших ходатайствах за осужденного поэта. Важно другое. Запись суда, сделанная Вигдоровой, в тысячах экземпляров распространилась по стране, а сама Вигдорова вольно или невольно стала основоположником нового самиздатского жанра — правозащитного документа. Более того, ее записи задали формат всей будущей деятельности советских правозащитников. Ибо в чём, в сущности, состояла правозащитная активность диссидентов, если не в документировании произвола и последующем предании его гласности?

Правозащитный самиздат — это, на мой взгляд, большая методологическая проблема. Правозащитная активность порождала огромное количество письменных текстов, в основном, впрочем, посвященных одной-единственной теме — политическим преследованиям. Но все ли они являются Самиздатом? С моей точки зрения, далеко не все. Основная масса этих материалов — «письма протеста» — при всей важности их изучения, остались все же однодневками, которые, вероятно, не могли бы сами по себе иметь достаточно широкого распространения.

Среди «писем протеста» попадаются блистательные образцы отечественной публицистики, — достаточно назвать имена Анатолия Яковсона, Лидии Чуковской, Раисы Лерт. Но чем дальше, тем чаще правозащитный документ — петиция в советские органы, обращение к различным межгосударственным или об-

щественным международным структурам, к прессе, отечественной или опять-таки зарубежной, к западным правительствам, общественным или политическим деятелям, наконец, «открытое письмо» (универсальный по формальной адресации жанр) — и не предназначался для свободной циркуляции внутри страны. Автор мог, например, передать его за рубеж в надежде, что его опубликует какая-нибудь западная газета, или что «Голос Америки» и «Свобода» озвучат этот текст в своих передачах. Автор мог передать его в Московскую Хельсинкскую Группу или в «Хронику текущих событий» в качестве информации о каком-то происшествии. МХГ на базе этого письма составит собственный документ, а в «Хронике текущих событий» появится короткое информационное сообщение. Но никому и в голову не придет перепечатать его и пускать по рукам. И что это тогда за самиздат, который никто ни разу не перепечатал?

Поймите меня правильно: это очень ценные тексты, они имеют двоякую ценность. Во-первых, как свидетельства о преследованиях, о нарушении прав человека в СССР, свидетельства, содержащие конкретные даты, имена, факты. А во-вторых, как свидетельства сопротивления режиму: ведь само написание и отсылка такого письма — это уже акт Сопротивления. Но к Самиздату все это не имеет никакого отношения. В данном случае я предпочел бы не называть такие тексты «самиздатскими»; я бы определил их каким-нибудь более нейтральным термином. Давайте назовем их например, просто «документами диссидентского движения». Далеко не все документы диссидентского движения являются событиями самиздата. Повторяю, это ни в коей мере не выводит их из сферы наших интересов. Просто эти документы имеют самостоятельную научную ценность, независимо от способа их бытования. Но и принципы их классификации и описания, и методика изучения будут совсем другими.

Какие же тексты, связанные с правозащитным движением, будут все-таки, с моей точки зрения, текстами самиздата? Давайте взглянем на то, как развивалось само это движение после 1964 г., после процесса Бродского.

Ход событий хорошо известен. В 1966 г., на процессе Синявского и Даниэля (опять литературная тематика!) жены подсудимых уже вполне целенаправленно записывали ход судебных заседаний, осознанно следуя примеру Вигдоровой. А Александр Гинзбург, вечный изобретатель новых технологий для независимых общественных инициатив, составляя в конце 1966 г. «Белую книгу» (самиздатский документальный сборник об этом деле), прямо обозначил своего предшественника, поставив на титульном листе посвящение «Памяти Фриды Вигдоровой».

Подобные документальные сборники стали очень заметным и значимым явлением в самиздатском потоке диссидентского периода. Вскоре после «Белой книги» появилось сразу несколько таких сборников: «Дело о демонстрации 22 января 1967 г.» Павла Литвинова (1967), его же «Процесс четырех» (1968), «Полдень» Натальи Горбаневской (1969), сборник «Четырнадцать последних слов», составленный Юлиусом Телесиным (1970), и некоторые другие. Самиздат становится основным способом реализации правозащитной активности и в этом качестве принимается на вооружение всеми диссидентами.

Чуть позднее, к середине семидесятых, самиздатские альманахи вышли за рамки чисто правозащитной тематики, стали появляться философско-религиозные и общественно-политические сборники, такие как «Из-под глыб» (1974) и

«Жить не по лжи». (Можно отметить еще неудавшуюся попытку собрать альтернативный «Глыбам» сборник под условным названием «Через топь»). Впрочем, первой ласточкой такого рода был, по-видимому, все же галансковский «Феникс-66», часть материалов которого носила даже беллетристический характер.

Ясно, что эта тенденция не могла не привести к возникновению уже откровенно повременных изданий — «толстых» и «тонких» самиздатских журналов. За пределами изящной словесности пионером самиздатской журналистики, был, по-видимому, Рой Медведев, выпускавший с 1965-го и по начало 1970-х гг. машинописные журналы «Политический дневник» и «XX век», имевшие, впрочем, довольно ограниченное хождение. (Когда я говорю о Медведеве как пионере этого рода журналистики, я, разумеется, имею в виду только те издания, которые имели хоть какой-нибудь общественный резонанс). К концу этого периода в Самиздате возникло еще несколько «толстых» журналов, например, «Вече» и «Евреи в СССР», представлявшие, соответственно, «новую русскую правую» (диссидентскую компоненту почвенничества) и еврейское (по преимуществу, эмиграционное) национальное движение.

Но настоящий «журнальный бум» случился во второй половине 1970-х. Подробный разговор об этом важнейшем этапе развития самиздатской периодики занял бы слишком много времени и места. Отмечу только, что центрами самиздатской журналистики стали Ленинград, Москва, Прибалтика (по преимуществу, Литва), Украина. Несколько попыток издания журналов были предприняты в Грузии и Армении. Мы не имеем сведений о журналистике в российской провинции, за исключением изданий подпольных политических группировок, но, может быть, это объясняется недостаточностью наших сведений. В целом можно сказать, что период 1970-х — это период журналистики. (Библиография самиздатских журналов будет, несомненно, насчитывать многие десятки наименований).

Нет никакого сомнения, что большинство повременных изданий с актуальной общественной тематикой имеют прямое отношение к «самиздатской культуре». Их составляли для читателя, а не для будущего историка; и читательский спрос — во всяком случае, на первых порах — вполне соответствовал предложению. По крайней мере до середины 1970-х эти сборники распространялись или с помощью классического механизма Самиздата, или в виде фотокопий с зарубежных изданий, нелегально просачивавшихся в СССР с Запада.

Отсюда вытекает простой и вполне операционный критерий для библиографа: аналогом «публикации» в «Самиздате» правозащитного или иного общественно-политического текста может считаться появление его в том или ином самиздатском периодическом издании или сборнике, «самиздатность» которого сомнений, как правило, не вызывает.

Конечно, этот критерий, говоря математическим языком, достаточный, но не необходимый. С одной стороны, найдется изрядное количество диссидентских текстов (особенно относящихся ко второй половине шестидесятых — началу семидесятых годов), которые вполне интенсивно размножались Самиздатом самостоятельно, вне всяких сборников и иных конволютов. С другой стороны, некоторые поздние повременные издания (например, исторический сборник «Память») ходили в рукописи в весьма ограниченном круге читателей, и их

распространение шло, в основном, за счет издания за рубежом и последующего нелегального ввоза «тамиздатных» экземпляров в СССР.

Однако за основу для составления библиографического справочника этот принцип, думается, можно было бы принять. Я только хотел бы еще раз подчеркнуть, что я предлагаю его не для всякого самиздата, а для самиздата общественно-политического содержания, порожденного правозащитным движением после его консолидации в 1968 г. Потому что, во-первых, для общественно-политических неподцензурных текстов более раннего времени не требовалось включения ни в какие конволюты. (Примеров тьма. Назову только два — открытое письмо Э. Генри И. Эренбургу и не менее знаменитая запись обсуждения книги А. Некрича «22 июня 1941 года» в Институте истории АН СССР). А, во-вторых, не требовал такого включения и литературный, художественный Самиздат, который продолжал существовать в своей традиционной форме: по-прежнему самиздатскому распространению подвергались отдельные произведения: романы, рассказы, пьесы, стихи и пр. Впрочем, в некоторых общественно-политических самиздатских альманахах и повременных изданиях — например, в «Поисках» — печатались и произведения беллетристические, литературные. Но собственно литературных изданий, таких как московские «Метрополь» и «Каталог» или некоторые ленинградские журналы, было не так уж много. Поэтому мой критерий годится только для «правозащитного» и иного «общественно-политического» самиздата.

И дело Бродского, и первая публичная петиционная кампания, возникшая вокруг дела Синявского и Даниэля, показали, что Самиздат — прекрасный инструмент не только для реализации творческой свободы литераторов, философов и историков, но и для выражения гражданского протеста. Вторая петиционная кампания, 1967-1968 гг., толчком к которой стало дело Гинзбурга и Галанскова, уже включает в себя такие общественно значимые вопросы, как практика политических репрессий (осенью 1967 г. в Самиздате появилась книга Анатолия Марченко «Мои показания» — первое документальное свидетельство о современных политических лагерях), гонения на свободу совести (к активистам правозащитной борьбы присоединились «диссиденты от православия», протестовавшие против вмешательства государства в дела Церкви), некоторые национальные проблемы (с московскими правозащитниками установили постоянный контакт лидеры движения крымских татар за возвращение на родину).

Все это привело к возникновению «Хроники текущих событий» — машинописного информационного бюллетеня правозащитников и, по совместительству, первой и единственной газеты Самиздата. (Кстати, именно тогда, на рубеже шестидесятых и семидесятых годов, слово «Самиздат» стали писать с большой буквы). День выхода первого выпуска «Хроники» можно считать и датой окончательного оформления правозащитного движения в СССР. Ведь на протяжении 15 лет (1968-1982) «Хроника» была общепризнанным стержнем этого движения.

Слово «стержень» применимо к «Хронике текущих событий» в нескольких отношениях. Начнем с того, что вместе с «Хроникой» пространство диссента приобрело временное измерение. Предыдущий период не мог быть отрефлексирован общественным сознанием в категориях исторического времени: экзистенциаль-

но мотивируемое сопротивление имманентному злу не знает этих категорий. Даже многие из тех, кто был склонен описывать это зло в политических терминах (например, персонифицировал его в Советской власти, коммунизме etc., — а таких с каждым годом становилось все больше), ощущали свое противостояние как нравственное или даже эстетическое, а стало быть, находящееся вне исторической перспективы. Какая при этом может быть «хроника»?

Какие «события»? Что на что повлияло: название бюллетеня на мироощущение правозащитников или, наоборот, выбор названия был обусловлен наметившимся сдвигом в мироощущении? Честно говоря, не знаю. Как бы то ни было, «Хроника» создала ось времени, вокруг которой выстраиваются дальнейшие события советского диссента, переосмыслила каждый данный акт Сопротивления как момент истории диссидентов, сформировала представление (скорее всего, ложное) о «диссидентском движении».

Косвенным указанием здесь может служить история названия бюллетеня, его переосмысления. Первоначально составители считали его названием первую строчку титульного листа — «Год прав человека в Советском Союзе». Слова «хроника текущих событий», стоявшие на титульном листе бюллетеня и имевшие своим очевидным источником одну из рубрик радиопередач Би-Би-Си на русском языке, были задуманы, как подзаголовок, указывающий на жанр издания. Читательское восприятие, однако, внесло коррективы в замысел издателей: иначе, как «Хроникой» новое издание не называли, а первая строчка титульного листа прочитывалась ими как нечто вроде девиза. Забавно, что когда 1968 год, объявленный ООН Годом прав человека, истек, то составитель, уже именовавший свой бюллетень, как и все, «Хроникой текущих событий», вынес на титульный лист шестого выпуска новый девиз, буквально пропитанный пафосом безвременья: «Год прав человека в Советском Союзе продолжается!» Этот девиз сохранялся в течение всего 1969 года и лишь в двенадцатом выпуске, датированном 28 февраля 1970 г., был заменен на: «Движение в защиту прав человека в Советском Союзе продолжается».

Я хорошо помню, как в период приостановки выхода «Хроники текущих событий» (1973 г.) у меня и у моих друзей возникло чисто физическое чувство возвращения в безвременье. Это чувство, разделенное не только кругом моего личного общения, сыграло, возможно, некоторую роль в возобновлении издания в 1974 г. При этом до «перерыва» все мы были достаточно далеки от непосредственного участия в выпуске бюллетеня и не очень регулярно читали выходившие номера. Нам было достаточно знать, что «Хроника» — есть.

Кроме обретения временной перспективы, правозащитное движение обязано «Хронике текущих событий» первыми шагами в обретении внутренней структуры. Вновь подтвердилась правота В.И. Ленина, который, в связи, правда, с другой подпольной газетой, произнес формулу «не только» (добавлю от себя — и не столько) «коллективный агитатор и коллективный пропагандист, но и коллективный организатор». Бюллетень, первоначальный редакционный «тираж» которого составлял обычно 10-12 экземпляров (так называемая «нулевая закладка»), расходился по стране в сотнях машинописных копий. Срабатывал традиционный самиздатский механизм — тиражирование текста по ходу его распространения.

Одновременно — и это стало принципиально новой особенностью издания — те же разветвляющиеся цепочки распространения очередного выпуска работали в обратном направлении в качестве каналов сбора информации для следующих номеров. Эта своеобразная и, насколько мне известно, нигде больше в советском Самиздате не применявшаяся система обратной связи с читателем была лаконично описана самой «Хроникой текущих событий» в ее пятом выпуске, датированном 31 декабря 1968 г.: «каждый, кто заинтересован в том, чтобы советская общественность была информирована о происходящих в стране событиях, легко может передать известную ему информацию в распоряжение «Хроники». Расскажите ее тому, у кого вы взяли «Хронику», а он расскажет тому, у кого он взял «Хронику» и т.д.»

Правда, лапидарная инструкция бюллетеня, адресованная не просто читателю, а читателю, готовому взять на себя функции корреспондента, заканчивалась характерным предупреждением: «Только не пытайтесь единолично пройти всю цепочку, чтобы вас не приняли за стукача». Эта оговорка, по видимости, ставит под вопрос открытый характер диссидентской активности. На самом деле противоречие это — кажущееся: элементы «подполья» (анонимность редакционного коллектива и авторов отдельных сообщений, определенные «конспиративные» предосторожности, принимавшиеся редакторами в ходе работы над выпусками бюллетеня, и т.п.) обеспечивали лишь техническую возможность выпускать «Хронику».

Образовавшаяся вокруг «Хроники» система ветвящихся цепочек, построенных первоначально на личных знакомствах, и была, по всей видимости, «протоструктурой» диссидентского сообщества. Крайне важно, что эта система цепочек, первоначально ограниченная несколькими крупными городами (Москва, Ленинград, Киев, Новосибирск, Рига, Таллин, Вильнюс, Горький, Одесса), довольно быстро охватила все крупные города страны. Ведь каждое новое географическое название, появлявшееся в бюллетене, как правило, означало нового корреспондента — постоянного или хотя бы *ad hoc*.

И, наконец, «Хроника» структурировала пространство советского диссента, если так можно выразиться, тематически. В первых выпусках бюллетеня присутствовало всего несколько тем. Прежде всего, это отчеты о разного рода репрессиях, связанных с громкими политическими процессами конца 1960-х и, прямо или косвенно, восходящих к описанному выше «литературоцентричному» Сопротивлению предыдущих лет — делу Гинзбурга и Галанскова и т.п. Правозащитное движение, так, как его представляла «Хроника», сохраняло отчетливую память о своем происхождении. К этой же традиционной сфере интересов советской интеллигенции относился и библиографический раздел бюллетеня — «Новости Самиздата».

Но уже в первый номер «Хроники» попали и материалы движения одного из «наказанных народов», а именно крымских татар, уже более десяти лет борющихся за право вернуться в родные места, откуда их выслали в 1944 г. Почему изо всех национальных проблем в поле зрения «Хроники» в первую очередь попали именно крымскотатарские, а не, скажем, армянские или месхетинские проблемы (совсем уж аналогичные крымскотатарским)? Прежде всего, в силу ряда субъективных обстоятельств: в кругу московских правозащит-

ников оказались люди, которые к 1967 г. уже в течение ряда лет боролись именно за права крымских татар (С. Писарев, А. Костерин). Но и не только поэтому: крымскотатарская проблематика, в отличие от литовской или армянской, легко излагалась в терминах права вообще и прав человека в частности. Кроме того (возможно, в силу именно этого обстоятельства) методы борьбы крымских татар были изначально близки столичным правозащитникам, так как включали петиции, самиздатские информационные листки (возможно даже, что при создании московской «Хроники» крымскотатарские информации являлись неким образцом, прототипом издания) и т.п. А, например, в армянском или литовском национальном движении в этот период еще преобладали подпольные и к тому же политически и национально маркированные формы протеста. Соответственно, информация «Хроники» о происходящем в Литве или Армении стала постоянной и достоверной лишь в 1970-е гг., когда тамошние диссиденты (очевидно, уже ориентируясь на опыт российских правозащитников) взяли на вооружение если не правозащитную идеологию, то, по крайней мере, правозащитную фразеологию.

Тогда же в среде украинских диссидентов зародился аналог московской «Хроники» — «Украинский вестник», а чуть позже литовские католики начали выпускать свой информационный бюллетень — «Хронику Литовской Католической Церкви». Позднее, уже в конце 1970-х, стал выходить «Бюллетень комиссии по расследованию случаев злоупотребления психиатрией» и ряд других. И по жанру, и по самому своему смыслу эти бюллетени, равно как и более ранний — «Бюллетень Совета родственников узников евангельских христиан-баптистов» (издание Совета Церквей ЕХБ — общины баптистов-инициативников, ставших «диссидентами» еще в начале 1960-х), были не чем иным, как самиздатскими газетами, и они стали важным дополнительным источником информации для московской «Хроники». Неважно, что интервалы между выпусками составляли от полутора-двух месяцев до полугода. Характер и формы подачи материала, стилевые и интонационные черты, способы сбора информации и распространения тиража — всё это сближает перечисленные бюллетени с такой, например, газетой, как герценовский «Колокол». Только «Колокол» печатался типографским способом в Лондоне и нелегально ввозился в страну в готовом виде, а тиражирование правозащитных изданий происходило, до поры до времени, в соответствии с самиздатской традицией, самопроизвольно и распродоточенно, по ходу распространения, самими читателями.

Другой, столь же важный источник информации о «партикулярных» диссидентских движениях обеспечивался карательной политикой государства: до 1972 г. Мордовские лагеря и Владимирская тюрьма оставались единственными местами в СССР, куда отправляли осужденных за «особо опасные государственные преступления» (с 1972-го к ним прибавились Скальнинские, или Пермские, лагеря). Тему политлагерей и политзаключенных интеллигентная публика открыла для себя в 1966-1967 гг., после суда над Синявским и Даниэлем, а книга Анатолия Марченко «Мои показания» прочно включила ее в список актуальных общественных проблем. В первом же выпуске «Хроники текущих событий» возникает раздел, посвященный политзаключенным. Вскоре некоторым из читателей лагерных писем Даниэля, мемуаров Марченко и выпусков

«Хроники» пришлось изучать эту проблему «в полевых условиях». К началу 1970-х политические лагеря стали чем-то вроде форума различных диссидентских движений: политзаключенные из числа правозащитников встречались там с националистами, религиозными активистами, подпольщиками и так далее.

Все это, с одной стороны, способствовало расширению тематического спектра правозащитного движения, а с другой — переходу тех или иных диссидентских движений к правозащитной терминологии и правозащитному инструментарию борьбы (что, впрочем, почти одно и то же). Ход обоих процессов и корреляцию между ними легко проследить все по той же «Хронике». Столь же легко проследить и параллельный процесс — постепенное ослабление интереса правозащитного движения к специфическим проблемам творческой интеллигенции. В частности, в библиографических разделах «Хроники» — «Письма и заявления» и «Новости Самиздата» — намечается тематическое обособление правозащитного и публицистического Самиздата. Аннотации на эту категорию текстов явно преобладают; прочие же бесцензурные тексты, циркулирующие в стране, представлены редко и отобраны почти случайным образом, иногда — просто потому, что автор является заметным участником правозащитного движения.

Существовали и более важные обстоятельства, разводящие две струи советского диссента — «гражданский» и «культурный» — и, соответственно, два типа Самиздата, в разные русла. Во-первых, изменялся сам смысл общественного протеста: от экзистенциального выражения несогласия («не могу молчать!») к вполне профессиональной постановке общественной задачи («сбор, верификация, систематизация и доведение до сведения заинтересованных лиц и организаций сведений о нарушении прав человека в Советском Союзе»). Но, поскольку «заинтересованные лица» внутри страны, благодаря предыдущей активности диссидентов, в общем, уже имели представление о ситуации с правами человека в СССР, а «заинтересованных организаций», помимо диссидентских, в СССР не существовало, адресатом правозащитной активности постепенно становилось не столько советское общественное мнение, сколько Запад. Этому способствовало и второе обстоятельство: постепенное перенесение акцентов с традиционно самиздатской формы бытования неподцензурных текстов на иные способы распространения информации — в первую очередь, на т.н. «тамиздат».

«Тамиздат» (термин, пародийно повторяющий слово «самиздат», которое, напомним, в свою очередь пародировало официальное «Госиздат») — это, в советском словоупотреблении 1970-х годов, тексты, опубликованные в зарубежных издательствах и нелегально ввезенные в СССР. «Тамиздат» как явление возник еще в середине 1950-х годов. Первыми известными миру советскими «тамиздатчиками» стали Б. Пастернак, А. Синявский, Ю. Даниэль, А. Есенин-Вольпин, М. Нарича, Е. Евтушенко, В. Тарсис. На рубеже десятилетий переход произведения из Самиздата в «тамиздат» становится типичным элементом его судьбы. А в 1970-е гг. это уже явление едва ли не массовое: значительная часть советских литераторов, даже из числа принадлежащих к культурному истеблишменту, принимается отправлять свои рукописи на Запад, невзирая на неудовольствие властей (которое принимало самые разнообразные формы, но, после скандального процесса Синявского и Даниэля, почти никогда не доходило до уголовного преследования). При этом ряд авторов — Солженицын и дру-

гие писатели, не желавшие откровенно ссориться с советской властью, ранние диссиденты — объясняли публикацию своих текстов за рубежом ссылкой именно на самиздатское их распространение. Насколько эти декларации были искренними и соответствовали ли они реальности, т. е. в какой степени утечка рукописей происходила действительно вне ведома и контроля их авторов, — другой вопрос. К середине семидесятых правилом становится и противоположное направление дрейфа — из «тамиздата» в Самиздат (чаще всего, в виде фотокопий). Еще позднее, когда каналы возвращения текстов в страну стали относительно хорошо отлаженными, размножение их самими читателями перестало быть необходимостью, во всяком случае, в Москве и Ленинграде.

Сказанное касается и диссидентской, в частности, правозащитной литературы. Даже «Хроника текущих событий», начиная примерно с пятидесятого — пятьдесят пятого выпусков приходила к читателю в основном, в виде нью-йоркского переиздания или через зарубежное радиовещание на русском языке. Что же касается большинства других диссидентских текстов, то их хождение и «саморазмножение» к концу семидесятых было настолько незначительным, что говорить о них как о произведениях Самиздата (а не как о «кружковой литературе») можно лишь с весьма серьезными оговорками.

Ко второй половине 1970-х этот сектор «серой зоны», — возможность публиковаться за рубежом, минуя Главлит и ВААП и при этом не обеспечивая себе место на нарах и не становясь стопроцентным изгоем, — был обществом отвоеван. И, принимая во внимание все возрастающую ветхость «железного занавеса» (к этому времени во многих слоях советского общества уже возникли систематические неофициальные контакты с западным миром), эта победа общества над властью нанесла колоссальный удар по традиционному Самиздату: он становится неконкурентоспособен. Зарубежные типографские станки оказываются определенно предпочтительнее громоздкого и опасного машинописного размножения, — предпочтительнее и для читателей, и для авторов. Ранее бесцензурные тексты попадали из СССР на Запад из Самиздата (или, по крайней мере, так считалось), теперь же самиздатская стадия рассматривается как промежуточная и необязательная. Именно об этом свидетельствует серия заявлений, в которых кто-то «берет на себя ответственность за распространение» того или иного текста. Это не только заявление Великановой, Ковалева и Ходорович 1974 г. о взятии на себя ответственности за возобновление «Хроники». Это, например, почти одновременные заявления Е. Барабанова, Г. Суперфина и Е. Боннер о том, что именно он (она) передал(а) за рубеж «Дневники» Эдуарда Кузнецова — написанные им в лагере ретроспективные мемуары о следствии, суде, пребывании в камере смертников. Процесс перехода от Самиздата к «тамиздату» распространился на все жанры: гуманитарные исследования, эссеистику, публицистику, правозащитные материалы. Романтический век бесцензурной литературы закончился. Начался закат Самиздата.

В завершение коснемся вопроса о временных рамках самиздата. Что касается нижней границы, то, как уже сказано выше, не существует принципиальной разницы между Самиздатом пушкинской и хрущевской эпохи. Хотя, конечно, распространение запрещенной литературы в списках смогло стать значимым общественным явлением лишь с вхождением в быт пишу-

щих машинок. (В конце 1980-х один огоньковский журналист, предлагал поставить на московской площади памятник пишущей машинке. Звучит несколько патетически, но по существу правильно: появление пишущих машинок в личном владении стало для свободы мысли тем же, чем изобретение Гуттенберга для культуры в целом).

А вот вопрос о верхней границе несколько более сложен. Ясно, что исчезновение Самиздата не могло произойти позже, чем летом 1990 г., когда в СССР была отменена цензура как государственный институт. Однако Самиздат (в нашем понимании этого слова) исчез, несомненно, раньше. Когда же: в 1987 г. — с началом перестройки? В начале восьмидесятых — с усилением репрессий?

Я полагаю, что упадок самиздатской деятельности наступил еще намного раньше, в конце семидесятых годов, и был связан не с репрессиями, а наоборот, благодаря появлению новых альтернативных возможностей. В первую очередь, благодаря «тамиздату».

Я категорически не отношу к Самиздату неподцензурные издания «неформалов» времен перестройки, типа «Хронографа», общие тиражи которых в 1987-1990 годах исчислялись миллионами экземпляров, и которые библиограф А. Суетнов называет «новым самиздатом». Мне кажется, это уже совсем другой вид неподцензурной литературы. И вовсе не потому, что ее распространение уже не каралось. Во всяком случае, не это главное.

Если вернуться к определению, с которого мы начали: самиздат — это литература, размножающаяся в процессе своего распространения самими читателями. В чём специфика распространения самиздата, начиная с XVII века? Именно в слиянии функций читателя, пользователя литературы и издателя. В самиздатском процессе издатель и читатель — это одно и то же лицо.

К большинству изданий «нового самиздата» конца 1980-х это определение не подходит — у них были вполне определенные издатели. Не авторы, не составители (эти роли существовали и в «классическом» Самиздате), а именно издатели, организаторы тиражирования и распространения. Читатели к этой части процесса отношения уже не имели. Я, по крайней мере, не знаю случаев перепечатки самими читателями неподцензурной литературы неформалов 1988-1990 годов. Может быть, такие примеры и были, но, наверное, только в самом начале этого периода. А затем произошло разделение функции издателя и читателя, и самиздат перестал быть самиздатом.

Иногда можно встретить в литературе термин «рынок самиздата»: мол спрос всегда рождает предложение, и если существовал спрос на самиздат, то должно было возникнуть и предложение.

Но механизм самиздата именно в том, что спрос и предложение в нем неразделимы. Поэтому предложение принципиально не может превышать спрос. Самиздатский механизм в том и состоит, что предложение всегда адекватно спросу. Я как-то обсуждал с одним специалистом по истории книги вопрос о тиражах самиздата, и он очень точно заметил, что применительно к самиздату нельзя говорить о тиражах. Каждая новая машинописная «закладка» текста — это переиздание. Поэтому тираж всегда один — четыре экземпляра или восемь, если на тонкой бумаге, или, если на совсем тонкой, так можно было и двенадцать сделать. Вот и всё.

Попытки «рыночных» тиражей существовали, но они были, как мне кажется, маргинальными по отношению к основному механизму. Однажды, году примерно в 1971, два народных умельца соорудили из какого-то хлама подобие печатающего устройства типа ротапринта или ротатора. И начали на нем шлепать один за другим экземпляры «Хроники текущих событий» — 18-й, кажется, выпуск. И нашлепали тысячи две, наверное. А потом не знали, куда девать этот выпуск, разве что вместо обоев поклеить. Не было такого спроса.

Далее. Распространение «нового самиздата», — неподцензурной прессы неформалов перестроечного периода, — сопровождается возникновением еще одного аспекта рыночных отношений: коммерциализацией. Проще говоря, эту литературу начинают продавать и покупать за деньги.

Отметим, для корректности, что изредка такие случаи возникали и раньше, в эпоху «классического самиздата». Например, в калужском деле о распространении религиозного самиздата (начало 1980-х) даже обвинение было предъявлено не в «антисоветской пропаганде», а в «занятиях запрещенным промыслом». Самый же крупный известный мне эпизод торговли самиздатом относится к 1974 г. Тогда Звиад Гамсахурдиа с Мерабом Костава буквально чемоданами привозили в Москву «Архипелаг ГУЛАГ» — маленькие желтые томики почти карманного формата, что-то вроде копий зарубежного издания ИМКА-Пресс, выполненных на каком-то множительном устройстве и переплетенных, помнится, в клеенчатую обложку. Они продавали эти томики по 20 рублей штука (тогда это были большие деньги) и продали, наверное, несколько тысяч экземпляров. Гамсахурдиа утверждал, что создал в Грузии подпольную типографию и что он продает эти книги только для того, чтобы окупить расходы на издание (или копирование и переплетные работы?) и что цена равна себестоимости экземпляра. Автор, грешным делом, полагает, что насчет «подпольной типографии» Гамсахурдиа присочинял: просто сунул деньги каким-нибудь работникам какого-нибудь вполне официального учреждения, где была копировальная техника. Но насчет отсутствия прибыли — склонен верить. Скорее всего, это тоже было не совсем коммерческое предприятие.

Было еще уголовное дело крупного чиновника шереметьевской, кажется, таможни, который конфисковывал у иностранцев и советских граждан запрещенную литературу, которую они пытались ввезти в СССР, а потом продавал эти конфискованные книжки на чёрном рынке. (Вот у кого не было проблем с себестоимостью!) Но можно ли это назвать «коммерческим предприятием»? Сомнительно. Кроме того, дело опять-таки идет уже о «тамиздате», а не Самиздате.

Есть данные, что рыночные отношения возникали в некоторых специфических секторах Самиздата, в фан-клубах, например, где продавали и покупали всякую научную фантастику.

Но в мейн-стриме самиздатского процесса коммерция почти отсутствовала. А вот в новой неподцензурной литературе второй половины 1980-х уже всю фигурируют товарно-денежные отношения. Понятно, почему: когда человек делает тираж для себя и для своих друзей (а Самиздат основан на личных связях), то рынок, основанный на деньгах, не может сформироваться. Лишь иногда люди скидываются, чтобы заплатить машинистке или сделать ксерокопию. А как только роли «издателя» и «читателя/потребителя» в процессе ти-

ражирования и распространения литературы отделяются друг от друга, между ними возникает пространство для коммерческих отношений.

Несколько слов о технической стороне дела.

Самиздат в привычном понимании этого слова возникает с того момента, когда пишущая машинка становится предметом обихода. До этого тоже был в некотором смысле самиздат. Например, переписывали от руки стихи. Но от руки много не перепишешь. Поэтому как социально значимое явление Самиздат возникает не раньше, чем когда в личном пользовании массово начинают появляться пишущие машинки, то есть, не раньше, чем в начале 1950-х. Несколько лет назад мне случилось беседовать на эту тему с Г.Г. Суперфином, крупнейшим историком Самиздата, работающим с коллекцией Института изучения Восточной Европы при Бременском университете. (Это, по всей видимости, третья в мире по объему коллекция советского самиздата. Первая — архив самиздата Радио Свобода — хранится сейчас в Центрально-Европейском университете в Будапеште, а вторая — в Москве, в обществе «Мемориал»). Он полагает, что в прокате пишущие машинки стали появляться примерно в середине 1950-х годов, а в свободной продаже, стало быть, не намного раньше — наверное, где-то в начале 1950-х. Вопрос, конечно, требует дополнительного изучения.

Но самиздатское распространение литературы, пишущей машинкой не ограничивалось. Например, еще в конце 1950-х делались фотокопии запрещенных книг, изданных до революции или в 1920-е годы, или же за рубежом. Такое компактное хранение очень удобно, особенно для объемных текстов; и в «подпольной публичной библиотеке», организованной Вячеславом Игруновым и Петром Бутовым в Одессе в первой половине 1970-х, фото пленки и микрофильмы уже преобладали. Помнится, у Игрунова был некий знакомый, который в своей фотолаборатории в Симферополе специально готовил для него эти фото пленки и микрофильмы.

Фотоспособ — тоже не единственная альтернатива пишущей машинке. Например, среди ходивших по рукам непропущенных в печать произведений братьев Стругацких автору попадались не только фотокопии (в том числе, в таком например, замечательном варианте, как фотокопия с вёрстки повести «Гадкие лебеди»!), но и распечатки на АЦПУ — автоматическим цифровом печатающем устройстве. АЦПУ — это не принтер к нынешнему персональному компьютеру, а периферийное печатающее устройство для больших ЭВМ, работающих с перфокарт или перфолент, или магнитных носителей — лент или дисков. Ну, диски — вещь подотчетная и довольно громоздкая; а вот уже магнитные ленты — не очень. И получается очень удобно: никто же не видит простым глазом, что у тебя там на бобине хранится — данные для расчетов какой-нибудь АСУ или «Москва-Петушки» Венечки Ерофеева. Пришел, поставил ленту на лентопротяжку, улучил момент, когда в машинном зале все свои, запустил программу — и пошел печататься текст на АЦПУ. Вылезает широкая такая бесконечная бумажная лента, сантиметров пятьдесят шириной, а на ней — «Истоки и смысл русского коммунизма» Бердяева. Очень колоритная форма самиздата.

Еще одну замечательную своей ненаказуемостью форму распространения самиздата изобрел Л.Н. Гумилёв. Он в начале 1970-х годов был необыкновенно популярен среди московской интеллигенции; его авантюрно-этнологические

труды, которые ему удавалось каким-то образом пробивать через цензуру, зачитывались до дыр. Но вот главная его книга — «Этногенез и биосфера Земли» — точно не могла быть напечатана официально, по причине совсем уж немарксистской, чтобы не сказать «антимарксистской», методологии. Если бы Гумилев пустил ее в Самиздат, то, несмотря на ее объем и, между нами говоря, довольно-таки занудное содержание, Самиздат наверняка подхватил бы ее, — ведь Гумилев был в моде. Но Лев Николаевич был хитрый и битый человек. Он поступил по другому: депонировал ее в качестве рукописи в ВИНТИ. Дальнейшее понятно: согласно статусу хранения депонированных рукописей, всякий, кто хочет получить копию рукописи, может заказать ее за деньги. Деньги, правда, немаленькие — 30 рублей, дороже солженицынского «Архипелага». Хорошо помню, что, когда мне и двум моим приятелям захотелось иметь вышеупомянутый труд Гумилева, мы просто устроили складчину — скинулись по червонцу на троих.

Вообще, в 1970-е гг. существовали (скорее всего, по недосмотру) всего два способа официального размножения нелитованных текстов. Все остальное, вплоть до афиш, подлежало литованию.

Один способ описан выше — депонирование рукописи в ВИНТИ. А второй — Мосгорсправка. Возможно, кое-кто из читателей помнит: были на улицах Москвы такие застекленные щиты для частных объявлений. А в Телеграфном переулке была контора этой самой Мосгорсправки. Вы приносили туда текст своего объявления (например, «готовлю к экзамену по литературе в ВУЗ по умеренной цене») в нужном вам количестве экземпляров, указывали на каких именно досках это объявление следует разместить (у каждой городской доски — свой номер), и потом бабушки, работавшие в этой конторе, сами шли по указанным адресам и расклеивали ваш текст на соответствующих досках. За небольшие деньги. И ни через какой Главлит, ни через какую предварительную цензуру этот текст не проходил. Единственной государственной инстанцией, в которую полагалось сдавать образцы частных объявлений, была, по понятным причинам, налоговая инспекция. Но она, сколько помнится, получала эти образцы не *до* расклейки, а *после*.

Так что теоретически можно было придти в эту контору с ворохом листовок «Долой Советскую власть!» и оплатить их расклейку. Правда, насколько мне известно, никто такой эксперимент почему-то не проводил.

*Александр Даниэль,
член Правления общества «Мемориал»*

КАК ЧИТАТЬ «АНТОЛОГИЮ САМИЗДАТА»

На первый взгляд может показаться, что «Антология самиздата» представляет собой собрание разнородных текстов, организованных совершенно хаотически. В действительности произведения и документы, вошедшие в «Антологию», распределены в соответствии с двумя основными принципами: хронологическим и жанровым. При отборе же самих текстов мы ориентировались на степень их распространенности и идейной или художественной значимости, т.е. это должны были быть произведения, достаточно широко читавшиеся и ценные содержательно (в немногочисленных случаях эти два условия совместить не удавалось).

Принцип хронологии означает в данном случае, что при размещении произведений мы руководствовались, в первую очередь, той очередностью, в которой они появлялись в неподцензурной печати.

«Антология самиздата», несмотря на попытки ограничить ее объем, разрослась на четыре книги, собранные в три тома. Эти тома соответствуют этапам развития Самиздата и связанного с ним общественного движения. Первый том включает материалы, попавшие в Самиздат в 50-е годы и в первой половине 60-х. Это был период стихийного складывания Самиздата, когда в нем преобладали стихи, а затем и художественная проза.

Первым историческим рубежом для нас был 1965 г. — год ареста Синявского и Даниэля. Второй том «Антологии» открывается текстами 1966 г.: с этого момента начинается всплеск публицистики и правозащитной литературы, проявляется глубокий интерес к историческим и философским книгам, возникает масса самиздатских периодических изданий. Именно такого рода литература и составляет значительную часть 2-го тома. Художественная проза и поэзия, также развивающиеся бурными темпами, отступают, все же, на второй план, поэтому размещены за публицистикой и документами.

Следующим рубежом, отделяющим второй том от третьего, стал 1973 г. — год возобновления выпуска информационного бюллетеня «Хроника текущих событий». Поскольку тон эпохи всего начала 1970-х годов задавала эпопея травли Александра Солженицына и академика Сахарова, мы посчитали правильным открыть третий том материалами, имеющими отношение к этой «анти-солженицынской» и «анти-сахаровской» кампании. В основном же корпус третьего тома составляют тексты, относящиеся к последнему десятилетию Самиздата. Самиздат этого времени отличается большей самоорганизованностью, появлением прочных сетей, увеличением роли тамиздата. Самиздат этого времени — уже продукт зрелой контркультуры.

Внутри каждого тома тексты сгруппированы по жанрам: «Поэзия», «Художественная проза» и «Публицистика, документы, мемуары, эссе», а также «Периодика и сборники». Поскольку настоящее издание не претендует на академичность и рассчитано на широкий круг читателей, то мы не вдавались в литературоведческие тонкости и включали в раздел «Художественная проза» все художественные нестихотворные тексты, как русскоязычных авторов, так и

переводные. В раздел же «Документы, мемуары, публицистика, эссе» попали столь разнородные тексты, что все жанры обозначить в названии рубрики было весьма затруднительно, поэтому мы ограничились четырьмя основными. Раздел «Периодика и сборники» содержит справки о наиболее заметных неподцензурных периодических изданиях и сборниках периода и, в ряде случаев, — тексты, иллюстрирующие данные издания.

Порядок размещения этих разделов связан с тем, какой жанр был в данную эпоху преобладающим. Внутри же подразделов тексты организованы, в основном, сообразно их тематике и, по возможности, с учетом порядка их появления в Самиздате. Впрочем, хронологическая организация целого ряда публицистических текстов, относящихся ко второй половине 60-х — началу 70-х, была просто невозможна, так как большинство документов в то время писалось специально для немедленного тиражирования в Самиздате и потому начинало ходить «по рукам» почти одновременно.

Тем не менее, в силу того, что в основе деления на тома лежал все-таки принцип хронологии, далеко не всегда все произведения данного автора помещены в одном месте (что может несколько удивить неподготовленного читателя). Так, например, фрагменты из повестей «Дьяволиада» и «Роковые яйца» Булгакова помещены в первом томе, а из «Собачьего сердца» — во втором. Это связано как раз с тем, что с первыми двумя произведениями рядовой читатель самиздата мог познакомиться уже в конце 50-х годов, а с «Собачьим сердцем» — лишь спустя почти десятилетие. Это, конечно, не отменяет того факта, что отдельные читатели вполне могли держать в руках то же «Собачье сердце» гораздо раньше этого времени, иные же — гораздо позже. Таким образом, размещая тексты в том или ином порядке, мы ориентировались на то, когда данное произведение стало получать именно широкое распространение, т.е., фиксировали момент его превращения в факт культуры (разумеется, неофициальной). Для меня, человека уже другого поколения, чтение «Антологии самиздата» от первого тома к последнему — это следование за историей советского общества с конца 50-х до начала 80-х. Каждое новое произведение или документ — своего рода примета времени. Вот ко мне попадают первые, перепечатанные на пишущей машинке (а то и вовсе переписанные от руки), стихи Цветаевой и Мандельштама, вот я читаю нелегально размноженную секретную речь Хрущева на XX съезде КПСС, вот застенографированное заседание Союза писателей, где травят Пастернака, а вот уж и сам Пастернак со своим «Доктором Живаго» (которого большинство советских людей «не читали, но гневно осуждали»). Вот появляются первые самиздатские сборники «Синтаксис» и «Феникс», а вот в моих руках оказываются и открытые письма и номера «Хроники», и даже кое-какие тексты с Украины, где борцы за права национальной культуры подвергаются репрессиям, часто гораздо более суровым, чем столичные диссиденты за аналогичные деяния [1]...

[1] Разумеется, вышесказанное не означает, что Вы непременно должны читать антологию подряд. Просто если Вы вдруг станете это делать, то выбранный стиль организации текстов должен создать ощущение движения во времени.

Сразу оговорюсь, что «национальному» самиздату мы уделили очень мало места в этом издании в силу нескольких причин. Во-первых, всего в одной антологии не охватишь, во-вторых, самиздат Украины, Латвии, Литвы, Грузии и др. оставался в силу языковых преград в большинстве случаев фактом общественной жизни лишь этих республик да узкого круга московских правозащитников, в то время как нас интересовала, прежде всего, культурная среда, формировавшаяся среди интеллигенции всего Советского Союза. Тем не менее, мы посчитали необходимым сделать некоторое исключение для украинского национально-культурного движения, поскольку оно занимало чрезвычайно большое место в диссидентской активности 60-70-х. Из-за определенных языковых трудностей, мы были вынуждены ограничиться лишь текстами Вячеслава Черновила и Ивана Дзюбы, как наиболее заметных авторов украинского самиздата и ключевых фигур украинского национального движения. Несколько фрагментов из их произведений мы перевели специально для антологии. У нас был большой соблазн включить также стихи таких украинских поэтов как Стус и Калинец, однако, перевод их поэзии потребовал бы от нас слишком много времени и усилий и затянул бы издание «Антологии самиздата».

Кроме национального, мы вынуждены были пожертвовать также самиздатом на экономическую тематику, а также весьма широко распространявшейся прозой Алешковского (из-за обилия в ней ненормативной лексики — ведь предполагается, что наша антология сможет служить также и учебным пособием в школе).

Несмотря на то, что наш сборник посвящен литературе Самиздата, в одном месте мы дали тексты вовсе несамиздатского характера. Речь идет о нескольких наиболее выразительных материалах из секретных партийных архивов и публикаций в центральной прессе о мерах по пресечению «вредного воздействия» Сахарова и Солженицына. Эти материалы, размещенные в самом начале 3-го тома, предваряют собственно самиздатские документы на ту же тему и даны с единственной целью — чтобы читатели почувствовали разницу между официальным общественным мнением в СССР и тем мнением и оценками, которые тогда разделяли советские диссиденты.

Наконец, назначение справочного аппарата сборника — превратить разрозненные элементы «самиздатской» мозаики в единую, логически завершенную, картину (насколько это удалось — судить читателю). К сожалению, по разным причинам у нас не было технической возможности снабдить все справки об авторах их портретами. Мы надеемся, что в будущем этот недостаток удастся устранить, и в этом мы рассчитываем в том числе и на помощь читателей.

И самое последнее: несмотря на то, что в наших справках мы придерживались строгих правил в написании слова «самиздат», в авторских текстах мы оставляли вариант того издания, которым мы пользовались в качестве источника.

И вот теперь, после всех напутствий, мне остается только пожелать Вам, уважаемый читатель, с интересом и пользой для себя провести время за чтением этой книги.

*Елена Шварц,
к.б.н., эксперт ИГПИ*

ПОЭЗИЯ

Волошин (Кириенко-Волошин) **Максимилиан Александрович** (1877–1932)



Русский поэт, художник, литературный критик, искусствовед.

Родился в Киеве в семье коллежского советника. В три года остался без отца. Детство и отрочество провел в Москве. В 1893 г. мать приобрела земельный участок в Коктебеле, где Волошин в 1897 г. окончил гимназию. Поступив на юридический факультет Московского университета, втянулся в революционную деятельность. За причастность к Всероссийской студенческой забастовке (февраль 1900 г.), а также за «отрицательное мирозерцание» и «склонность ко всякого рода агитациям» был отстранен от занятий. Во избежание иных последствий, отправился осенью 1900 г. рабочим на строительство Ташкентско-Оренбургской железной дороги.

После возвращения из Средней Азии Волошин много путешествовал по Европе, слушал лекции в Сорбонне. Наездами бывал в С.-Петербурге и Москве, в промежутках жил в своем коктебельском «доме поэта», который стал своего рода культурным центром для людей искусства. В разное время там бывали В. Брюсов, А. Белый, М. Горький, А. Толстой, Н. Гумилев, М. Цветаева, О. Мандельштам, Г. Иванов, Е. Замятин, В. Ходасевич, М. Булгаков, К. Чуковский и многие другие писатели, художники, артисты, ученые.

Не без влияния своей первой жены М. Сабашниковой увлекся мистикой, оккультизмом, теософией, что нашло выражение и в его поэзии, и в публицистике. В 1899г. дебютировал как литературный критик (журнал «Русская мысль» опубликовал его маленькие рецензии, пока без подписи). Его многочисленные искусствоведческие статьи (36 — о русской литературе, 28 — о французской, 35 — о русском и французском театре, 49 — о событиях культурной жизни Франции) провозглашают и утверждают художественные принципы модернизма, вводят новые явления русской литературы (в особенности творчество «младших» символистов) в контекст современной им европейской культуры. Первые стихи опубликовал в 1900 г.

С весны 1917 г. Волошин поселился в Коктебеле навсегда. В период Гражданской войны он укрывал в своем доме и красных и белых, пряча их друг от друга.

Написал глубоко трагический цикл стихов о революции, гражданской войне и красном терроре (сборник стихов «Демоны глухонемые» (1919), Стихи о терроре (Берлин, 1923), книги «Неопалимая Купина. Стихи о войне и революции» (1924) и «Путями Каина. Трагедия материальной культуры» (1915)).

В 1923 г. началась официальная травля Волошина. С 1928 по 1961 г. в СССР в печати не появилось ни одной его строчки.

В 20-е годы Волошин, не будучи в состоянии публиковаться как поэт и искусствовед, много рисует, преимущественно акварельные крымские пейзажи. Умер он в 1932 году от воспаления легких.

Основные сборники стихотворений:

«Стихотворения» (1910), «Anno mundi ardentis» (1916), «Иверни» (1918), книга статей «Лики творчества» (1914), цикл стихов «Демоны глухонемые» (1919).

После революции написал несколько философских поэм: «Россия» (1924); стихи «Дом поэта» (1927), «Владимирская Богоматерь» (1929).

ДОМ ПОЭТА

Дверь отперта. Переступи порог.
Мой дом раскрыт навстречу всех дорог.
В прохладных кельях, беленных известкой,
Вздыхает ветер, живет глухой раскат
Волны, взмывающей на берег плоский,
Польнный дух и жесткий треск цикад.
А за окном расплавленное море
Горит парчой в лазоревом просторе.
Окрестные холмы вызорены
Колючим солнцем. Серебро полыни
На шиферных окалинах пустыни
Торчит вихром косматой седины.
Земля могил, молитв и медитаций —
Она у дома вырастила мне
Скупой посев айлантов и акаций
В ограде тamarисков. В глубине
За их листвой, разодранной ветрами,
Скалистых гор зубчатый окоем
Замкнул залив алкеевым стихом,
Ассиметрично-строгими строфами.
Здесь стык хребтов Кавказа и Балкан,
И побережьям этих скудных стран
Великий пафос лирики завещан
С первоначальных дней, когда вулкан
Метал огонь из недр глубоких трещин
И дымный факел в небе потрясал.
Вон там — за профилем прибрежных скал,
Запечатлевшим некое подобье
(Мой лоб, мой нос, ощечье и подлобье), —
Как рухнувший готический собор,
Торчащий непокорными зубцами,
Как сказочный базальтовый костер,
Широко вздувший каменное пламя,
Из сизой мглы, над морем вдалеке
Встает стена... Но сказ о Карадаге
Не выцветить ни кистью на бумаге,
Не высловить на скудном языке.

Я много видел. Дивам мирозданья
Картинами и словом отдал дань...
Но грудь узка для этого дыханья,
Для этих слов тесна моя гортань.
Заклепаны клокочущие пасти.
В остывших недрах мрак и тишина.
Но спазмами и судорогой страсти
Здесь вся земля от века сведена.
И та же страсть, и тот же мрачный гений
В борьбе племен и смене поколений.
<...>

Усобица, и голод, и война,
Крестя мечом и пламенем народы,
Весь древний Ужас подняла со дна.
В те дни мой дом, слепой и запустелый,
Хранил права убежища, как храм,
И растворялся только беглецам,
Скрывавшимся от петли и расстрела.
И красный вождь, и белый офицер,
Фанатики непримиримых вер,
Искали здесь, под кровлею поэта,
Убежища, защиты и совета.
Я ж делал всё, чтоб братьям помешать
Себя губить, друг друга истреблять,
А сам читал в одном столбце с другими
В кровавых списках собственное имя.
Но в эти дни доносов и тревог
Счастливый жребий дом мой не оставил.
<...>

25 декабря 1926-го

Источник: Волошин М.А. Дом поэта. Л.: Детская литература, 1991.

РОССИЯ Поэма

1

С Руси тянуло выстуженным ветром.
Над Карадагом сбились груды туч.
На берег опрокидывались волны
Нечастые и тяжкие. Во сне
Как тяжело больной вздыхало море,
Ворочаясь со стоном. Этой ночью
Со дна души вздувалось, нагрубало

Мучительно-бесформенное чувство —
Безмерное и смутное:

Россия...

Как будто бы во мне самом легла
Бескрайняя и тусклая равнина,
Белесою лоснящаяся тьмой,
Остуженная жгучими ветрами.
В молчании вился морозный прах...
Ни выстрелов, ни зарев, ни пожаров.
Мерцали солью топи Сиваша,
Да камыши шуршали на Кубани,
Да стыл Кронштадт... Украина и Дон,
Урал, Сибирь и Польша — все молчало.
Лишь горький снег могилы заметал...
Но было так неизъяснимо томно,
Что старая всей пережитой кровью,
Усталая от ужаса душа
Все вынесла бы — только не молчанье.
С дворцами цвета пламени и мяса,
С белесоватым мороком ночей,
С алтарным камнем финских чернобогов,
Растоптанным копытами коня,
И с озаренным лаврами и гневом
Безумным ликом медного Петра.
<...>

3

Минует век, и мрачная фигура
Встает над Русью: форменный мундир,
Бескровные щетинистые губы,
Мясистый нос, солдатский узкий лоб.
И взгляд неизреченного бесстыдства
Пустых очей из-под припухших век.
У ног ее до самых бурых далей
Нагих равнин — казарменный фасад
И каланча: ни зверя, ни растенья...
Земля судилась и осуждена:
Все грешники написаны в солдаты.
Всяк холм понизился и стал как плац.
А над землей солдатскою шинелью
Провис до крыш разбухший небосвод.
Таким он был написан Джорджем Доу —
Земли российской первый коммунист —
Граф Алексей Андреич Аракчеев.
Он вырос в смраде гатчинских казарм,
Его избрал, взрастил и всхолил
Павел. «Дружку любезному» вставлял клистир

Державный мистик тою же рукою,
Что иступила посох Кузьмича
И сокрушила волю Бонапарта.
Его посев взлелеял Николай,
Десятки лет удавыми глазами
Медузивший засеченную Русь.
Раздерганный и полоумный
Павел собой парадный открывает ряд
Штампованных солдатских автоматов,
Расписанных по прусским образцам
(Знак: «Made in Germany»; клеймо: Романов).
Царь козыряет, делает развод,
Глаза пред фронтом пялит растопыркою
И пишет на полях: «Быть по сему».
А между тем от голода, от мора,
От поражений, как и от побед,
Россию прет и вширь и вдаль — безмерно:
Ее сознание уходит в рост,
На мускулы, на поддержанье массы,
На крепкий тяж подпружных обручей.
Пять виселиц на Кронверкской куртине
Рифмуют на Семеновском плацу.
Воле в Тифлис волочат «Грибоеду»,
Отправленного на смерть в Тегеран;
Гроб Пушкина ссылают под конвоем
На розвальнях в опальный монастырь;
Над трупом Лермонтова царь: «Собаке —
Собачья смерть» — придворным говорит;
Промозглым утром бледный Достоевский
Горит свечой, всходя на эшафот...
И все тесней, все гуще этот список...
Закон самодержавия таков:
Чем царь добрей, тем больше льется крови.
А всех добрей был Николай Второй,
Зиявший непристойной пустотою
В сосредоточьи гения Петра.
Санкт-Петербург был скроен исполином.
Размах столицы стал не по плечу
Тому, что стер блистательное имя.
Как медиум, опорожнив сосуд
Своей души, притягивает нежить, —
И пляшет стол, и щелкает стена —
Так хлынула вся бестолочь России
В пустой сквозняк последнего царя;
Желвак Отцу, Ходынка и Цусима,
Филипп, Папюс, Гапонов ход, Азеф...

Тень Александра Третьего из гроба
Заезжий вызывает некромант;
Царице примеряют от бесплодья
В Сарове чудотворные штаны.
Она, как немка, честно верит в мощи,
В юродивых и в преданный народ...
И вот со дна самой народной гущи –
Из тех же недр, откуда Пугачев –
Рыжебородый с оморошным взглядом –
Идет Распутин в государев дом,
Чтоб честь двора, и церкви, и царицы
В грязь затоптать мужицким сапогом
И до низов осланить власть цареву.
И все хмельней, все круче чертогон...
В Юсуповском дворце, на Мойке –
Старец с отравленным пирожным в животе,
Простреленный, – грозит убийце пальцем:
«Феликс, Феликс, царице все скажу...»
Раздутая войною до отказа,
Россия расседается, и год
Солдатчина гуляет на просторе...
И где-то на Урале, среди лесов,
Латышские солдаты и мадьяры
Расстреливают царскую семью
В сумятице поспешных отступлений:
Царевич на руках царя, одна
Из женщин мечется, подушкой прикрываясь,
Царица выпрямилась у стены...
Потом их жгут и зарывают пепел.
Все кончено. Петровский замкнут круг.
<...>

5

Все имена сменились на Руси.
(Политика – расклейка этикеток,
Назначенных, чтоб утаить состав),
Но выверты мышления все те же:
Мы говорим: «Коммуна на земле
Немыслима вне роста капитала,
Индустрии и классовой борьбы.
Поэтому не Запад, а Россия
Начнет собою мировой пожар».
До Мартобря (его предвидел Гоголь!)
В России не было ни буржуа,
Ни классового пролетариата...
Была земля, купцы, да голытьба,
Чиновники, дворяне, да крестьяне...

Да выли ветры, да орал сохой
Поля доисторический Микула...
Один поверил в то, что он буржуй,
Другой себя сознал, как пролетарий,
И началась кровавая игра.
На все нужна в России только вера:
Мы верили в двуперстие, в царя,
И в сон, и в чох, в распластанных лягушек,
В матерьялизм и в Интернационал.
Позитивист ощупывал руками
Не вещество, а тень своей мечты;
Мы бредили, переломав машины,
Об электрификации; среди
Стрельбы и голода — о социальном рае
И ели человечью колбасу.
Политика была для нас раденьем,
Наука — духоборчеством, марксизм —
Догматикой, партийность — аскетизмом.
Вся наша революция была
Комком религиозной истерии:
В течение пятидесяти лет
Мы созерцали бедствия рабочих
На Западе с такою остротой,
Что приняли стигматы их распятий.
Все наши достижения в том, что мы
В бреду и в корчах создали вакцину
От социальных революций: Запад
Переживет их вновь, и не одну,
Но выживет, не расточив культуры.
Есть дух Истории — безликий и глухой,
Что действует помимо нашей воли,
Что направлял топор и мысль Петра,
Что вынудил мужицкую Россию
За три столетья сделать перегон
От берегов Ливонских до Аляски.
И тот же дух ведет большевиков
Исконными российскими путями.
Грядущее — извечный сон корней:
Во время революций водоверти
Со dna времен взмывают древний ил
И новизны рыгают стариною.
Мы не вольны в наследии отцов,
И вопреки бичам идеологий
Колеса вязнут в старой колее:
Неверы очищают православье
Гоненьями и вскрытием мощей.

Большевики отстраивают зданья
На цоколях снесенного Кремля,
Социалисты разлагают рати,
Чтоб год спустя опять собрать в кулак.
И белые, и красные Россию
Плечом к плечу взрывают, как волы, —
В одном ярме — сохой междоусобья,
И вновь Москва сшивает лоскуты
Удельных царств, чтоб утвердить единство.
Истории потребен сгусток воль:
Партийность и программы — безразличны.

6

В России революция была
Исконнейшим из прав самодержавья.
(Как ныне — в свой черед — утверждено
Самодержавье правом революций.)
Крижанич жаловался до Петра:
«Великое народное несчастье
Есть неумеренность во власти: мы
Ни в чем не знаем меры да середины,
Все по краям да пропастям блуждаем,
И нет нигде такого безнарядья.
И власти нету более крутой»...
Мы углубили рознь противоречий
За двести лет, что прожили с Петра:
При добродушии русского народа,
При сказочном терпении мужика.—
Никто не делал более кровавой
И страшной революции, чем мы.
При всем упорстве Сергиевой веры
И Серафимовых молитв, — никто
С такой хулой не потрошил святыни.
Так страшно не кощунствовал, как мы.
При русских грамотах на благородство.
Как Пушкин, Тютчев, Герцен, Соловьев.—
Мы шли путем не их, а Смердякова —
Через Азефа, через Брестский мир.
В России нет сыновнего преемства,
И нет ответственности за отцов.
Мы нерадивы, мы нечистоплотны,
Невежественны и ущемлены.
На дне души мы презираем Запад,
Но мы оттуда в поисках богов
Выкрадываем Гегелей и Марксов,
Чтоб, взгромоздив на варварский Олимп,

Куриль в их честь стираксою и серой
И головы рубить родным богам,
И год спустя — заморского болвана
Тащить к реке, привязанным к хвосту.
Зато в нас есть бродило духа — совесть
И наш великий покаянный дар,
Оплавивший Толстых и Достоевских
И Иоанна Грозного...В нас нет
Достоинства простого гражданина,
Но каждый, кто перекипел в котле
Российской государственности, — рядом
С любым из европейцев — человек.
У нас в душе некошеные степи.
Вся наша непашь буйно заросла
Разрыв-травой, бьльем да своевольем.
Размахом мысли, дерзостью ума,
Паденьями и взлетами — Бакунин
Наш истый лик отобразил вполне.
В анархии — все творчество России:
Европа шла культурою огня,
А мы в себе несем культуру взрыва.
Огню нужны — машины, города,
И фабрики, и доменные печи,
А взрыву, чтоб не распылить себя —
Стальной нарез и маточник орудий.
Отсюда — тяж советских обручей
И тугоплавкость колб самодержавья.
Бакунину потребен Николай,
Как Петр — стрельцу, как Аввакуму — Никон,
Поэтому так непомерна Русь
И в своеволии, и в самодержавьи.
И в мире нет истории страшней,
Безумней, чем история России.

1924

Источник: Волошин М. «Средоточье всех путей»: Стихотворения и поэмы. Проза. Критика. Дневники. М.: Моск. рабочий, 1989.

Гумилев
Николай Степанович
(1886–1921)



Поэт, критик.

Родился в Кронштадте в семье военно-морского врача. Вырос в Царском Селе. Учился в гимназии, где директором был Иннокентий Анненский, прививший Гумилеву любовь к литературе. Первый поэтический сборник «Путь конкистадоров» опубликован в 1905 г. Изучал французскую литературу в Сорбонне (1907-1908). Путешествовал по Африке (1907, 1910, 1913). В 1910 г. женился на А. Горенко (Ахматовой), в 1912 родился сын Лев.

До войны 1914 г. стал известной литературной фигурой: поэт (сборники «Романтические цветы», «Жемчуга», «Чужое небо»), член редколлегии и литературный критик Петербургского журнала «Аполлон», создатель и глава поэтической школы акмеистов («Цех поэтов», куда входили А. Ахматова, О. Мандельштам, С. Городецкий, В. Нарбут, М. Зенкевич – акмеистов было только шесть!)

В 1914 г. добровольно пошел на войну, дважды награжден Георгиевским крестом. Военные впечатления послужили материалом для книги «Записки кавалериста» и стихотворного сборника «Колчан».

После 1917 г. Гумилев активно занят литературной работой: он член редколлегии горьковской «Всемирной литературы», лектор Пролеткульта, литературный критик, переводчик. В 1921 г. сменил А. Блока в должности руководителя Петербургского отделения Всероссийского союза поэтов. Выходят поэтические сборники «Костер» (1918), «Шатер» (1921), «Огненный столп» (после смерти поэта).

3 августа 1921 г. арестован по делу Таганцева, обвинен в организации контрреволюционного монархического заговора и 24 августа расстрелян в числе 61 участника заговора. Место погребения неизвестно – Николай Гумилев открыл скорбный перечень загубленных Советской властью поэтов, могилы которых затеряны в массе братских захоронений безвинных зеков.

Хотя после гибели стихи Гумилева не переиздавались, они постоянно ходили в списках, особенно начиная с 50-х годов, момента возникновения Самиздата.

Наиболее полным изданием творческого наследия Н. Гумилева является «Собрание сочинений» в четырех томах, под редакцией проф. Г.П. Струве и Б.А. Филиппова, вышедшее в «Издательстве книжного магазина Victor Kamkin, Inc», Вашингтон, 1962.

Издательство «ТЕРРА-TERRA» в 1991 г. воспроизвело это издание.

**Стихотворение из цикла
«ПУТЬ КОНКИСТАДОРОВ»**

* * *

Я конкистадор в панцире железном,
Я весело преследую звезду,
Я прохожу по пропастям и безднам
И отдыхаю в радостном саду.

Как смутно в небе диком и беззвездном!
Растет туман .., но я молчу и жду,
И верю, я любовь свою найду ...
Я конкистадор в панцире железном.

И если нет полдневных слов звездам,
Тогда я сам мечту свою создам
И песней битв любовно зачарую.

Я пропастям и бурям вечный брат,
Но я вполету в воинственный наряд
Звезду долин, лилею голубую.

**Стихотворения из цикла
«РОМАНТИЧЕСКИЕ ЦВЕТЫ»**

ЯГУАР

Странный сон увидел я сегодня:
Снилось мне, что я сверкал на небе,
Но что жизнь, чудовищная сводня,
Выкинула мне недобрый жребий.

Превращен внезапно в ягуара,
Я сгорал от бешеных желаний,
В сердце – пламя грозного пожара,
В мускулах – безумье содроганий.

И к людскому крался я жилищу
По пустому сумрачному полю
Добывать полуночную пищу,
Богом мне назначенную долю.

Но нежданно в темном перелеске
Я увидел нежный образ девы
И запомнил яркие подвески,
Поступь лани, взоры королевы.

«Призрак Счастья, Белая Невеста» ...
Думал я, дрожащий и смущенный,
А она промолвила: «Ни с места!»
И смотрела тихо и влюбленно.

Я молчал, ее покорный кличу,
Я лежал, ее окован знаком,
И достался, как шакал, в добычу
Набежавшим яростным собакам.

А она прошла за перелеском
Тихими и легкими шагами,
Лунный луч кружился по подвескам,
Звезды говорили с жемчугами.

ОЗЕРО ЧАД

На таинственном озере Чад
Посреди вековых баобабов
Вырезные фелуки стремят
На заре величавых арабов.
По лесистым его берегам
И в горах, у зеленых подножий,
Поклоняются страшным богам
Девы-жрицы с эбеновой кожей.

Я была женой могучего вождя,
Дочерью властительного Чада,
Я одна во время зимнего дождя
Совершала таинство обряда.
Говорили — на сто миль вокруг
Женщин не было меня светлее,
Я браслетов не снимала с рук.
И янтарь всегда висел на шее.

Белый воин был так строен,
Губы красны, взор спокоен,
Он был истинным вождем;
И открылась в сердце дверца,

А когда нам шепчет сердце,
Мы не боремся, не ждем.
Он сказал мне, что едва ли
И во Франции видали
Обольстительней меня,
И как только день растает,
Для двоих он оседлает
Берберийского коня.

Муж мой гнался с верным луком,
Пробегал лесные чащи,
Перепрыгивал овраги,
Плыл по сумрачным озерам
И достался смертным мукам;
Видел только день палящий
Труп свирепого бродяги,
Труп покрытого позором.

А на быстром и сильном верблюде,
Утопая в ласкающей груди
Шкур звериных и шелковых тканей,
Уносила я птицей на север,
Я ломала мой редкостный веер,
Упиваясь восторгом заране.
Раздвигала я гибкие складки
У моей разноцветной палатки
И, смеясь, наклонялась в оконце,
Я смотрела, как прыгает солнце
В голубых глазах европейца.

А теперь, как мертвая смоковница,
У которой листья облетели,
Я ненужно-скучная любовница,
Словно вещь, я брошена в Марселе.
Чтоб питаться жалкими отбросами,
Чтобы жить, вечернею порою
Я пляшу пред пьяными матросами,
И они, смеясь, владеют мною.
Робкий ум мой обессилен бедами,
Взор мой с каждым часом угасает...
Умереть? Но там, в полях неведомых,
Там мой муж, он ждет и не прощает.

Стихотворение из цикла
«КОЛЧАН»

ПАМЯТИ АННЕНСКОГО

К таким неожиданным и певучим бредням —
Зоя с собой умы людей,
Был Иннокентий Анненский последним
Из царскосельских лебедей.

Я помню дни: я, робкий, торопливый,
Входил в высокий кабинет,
Где ждал меня спокойный и учтивый,
Слегка седеющий поэт.

Десяток фраз, пленительных и странных,
Как бы случайно уроня,
Он вбрасывал в пространство безымянных
Мечтаний — слабого меня:

О, в сумрак отступающие вещи
И еле слышные духи,
И этот голос, нежный и зловещий,
Уже читающий стихи!

В них плакала какая-то обида,
Звенела медь и шла гроза,
А там, над шкафом, профиль Эврипида
Слепил горящие глаза.

...Скамью я знаю в парке; мне сказали,
Что он любил сидеть на ней,
Задумчиво смотря, как сини дали
В червонном золоте аллей.

Там вечером и страшно, и красиво,
В тумане светит мрамор плит,
И женщина, как серна боязлива,
Во тьме к прохожему спешит.

Она глядит, она поет и плачет,
И снова плачет и поет,
Не понимая, что все это значит,
Но только чувствуя — не тот.

Журчит вода, протачивая шлюзы,
Сырой травую пахнет мгла,
И жалок голос одинокой музы,
Последней – Царского Села.

**Стихотворение из цикла
«КОСТЕР»**

РАБОЧИЙ

Он стоит пред раскаленным горном,
Невысокий старый человек.
Взгляд спокойный кажется покорным
От миганья красноватых век.

Все товарищи его заснули,
Только он один еще не спит:
Всё он занят отливаньем пули,
Что меня с землею разлучит.

Кончил, и глаза повеселели.
Возвращается. Блестит луна.
Дома ждет его в большой постели
Сонная и теплая жена.

Пуля им отлитая, просвищет
Над седою, вспененной Двиной,
Пуля, им отлитая, отыщет
Грудь мою, она пришла за мной.

Упаду, смертельно затоскую,
Прошлое увижу наяву,
Кровь ключом захлещет на сухую,
Пыльную и мятую траву.

И Господь воздаст мне полной мерой
За недолгий мой и горький век.
Это сделал в блузе светло-серой
Невысокий старый человек.

Цветаева
Марина Ивановна
(1892–1941)



Поэтесса, прозаик, переводчица.

Родилась в Москве в семье профессора искусств и основателя Музея им. Александра III (ныне Музей им. Пушкина). Образование получила в Москве, Швейцарии и Германии. Училась в Сорбонне.

В 1910 г. в доме М. Волошина в Коктебеле познакомилась с С. Эфроном, за которого вышла замуж в 1912 г. (дочь Ариадна (Аля) родилась в 1913 г., сын Георгий (Мур) – в 1925).

Первую книгу стихов «Вечерний альбом» опубликовала в 1910 г., будучи еще гимназисткой. В 1912 г. вышла следующая ее книга – «Волшебный фонарь». К 1917 г. Цветаева – известный и всеми признанный мастер.

Февральская революция и Октябрьский переворот оставили ее равнодушной, но в Гражданской войне она безоговорочно на стороне Белой армии. В 1922 г. эмигрирует в Берлин, затем в Прагу, где учится С. Эфрон, порвавший к тому времени с белым движением и завербованный ГПУ. В 1925 г. с семьей переезжает в Париж. К этому времени она автор новаторских поэм «Поэма горы», «Поэма конца», стихотворного сборника «Ремесло», поэмы «Крысолов», нескольких пьес и множества стихотворений.

Тяжелое материальное положение и неурядицы в семье приводят к ее распаду: после выполнения нескольких заданий ГПУ (самое громкое – убийство перебежчика Игнатия Рейсса) С. Эфрон и Ариадна возвращаются в Советский Союз (1937). Под их воздействием Цветаева с сыном возвращаются на родину (1939), вскоре после чего дочь и муж (расстрелян в 1941 г.) оказываются в ГУЛАГе.

Одиночество, бытовая неустроенность, начавшаяся война и эвакуация сломили Цветаеву, и 31 августа 1941 г. она покончила с собой в Елабуге. Место захоронения величайшей русской поэтессы XX века неизвестно.

Списки многих стихотворений и поэм Цветаевой пользовались большим успехом в Самиздате с середины 50-х годов. Первая публикация произведений поэтессы на родине после почти сорокалетнего перерыва состоялась в 1961 г.

Наиболее полно творческое наследие М. Цветаевой представлено в «Собрании сочинений» в семи томах, выпущенном издательством Эллис Лак в Москве в 1994–97 гг.

* * *

Ветер, ветер, выметающий,
Заметающий следы!
Красной птицей залетающий
В белокаменные лбы.

Длинноногим псом ныряющий
Вдоль равнины овсяной.
– Ветер, голову теряющий
От юбочки кружевной!

Пурпуровое поветрие,
Первый вестник мятежу, –
Ветер – висельник и ветреник, –
В кулачке тебя держу!

Полно баловать над кручами,
Головы сбивать снегам, –
Ты – моей косынкой скрученный
По рукам и по ногам!

За твои дела острожные, –
Расквитаемся с тобой, –
Ветер, ветер в куртке кожаной,
С красной – да во лбу – звездой!

Июль 1920

* * *

В подвалах – красные окошки.
Визжат несчастные гармошки, –
Как будто не было флажков,
Мешков, штыков, большевиков.

Так русский дух с подвалом сросся, –
Как будто не было и вовсе
На Красной площади – гробов,
Ни обезглавленных гербов.

..... ладонь с ладонью –
Так наша жизнь слилась с гармонью.
Как будто Интернационал
У нас и дня не гостевал.

Август 1920

ПЕТРУ

Вся жизнь твоя — в едином крике:
– На дедов — за сынов!
Нет, Государь Распровеликий,
Распорядитель снов,

Не на своих сынов работал, —
Бесам на торжество! —
Царь — Плотник, не стирая пота
С обличья своего.

Не ты б — всё по сугробам санки
Тащил бы мужичок.
Не гнил бы там на полустанке
Последний твой внучок.

Не ладил бы, лба не подъемля,
Ребятчых кораблѐв —
Вся Русь твоя святая в землю
Не шла бы без гробов.

Ты под котел кипящий этот —
Сам подложил углей!
Родоначальник — ты — Советов,
Ревнитель Ассамблей!

Родоначальник — ты — развалин,
Тобой — скиты горят!
Твоею же рукой провален
Твой баснословный град...

Соль высолит, измылил мьльце —
Ты, Государь — кустарь!
Державного однофамильца
Кровь на тебе, бунтарь!

Но нет! Конец твоим затеям!
У брата есть — сестра...
– На Интернационал — за терем!
За Софью — на Петра!

Август 1920

* * *

Есть в стане моем — офицерская прямоть,
Есть в ребрах моих — офицерская честь.
На всякую муку иду не упрямясь:
Терпенье солдатское есть!

Как будто когда-то прикладом и сталью
Мне выправили этот шаг.
Недаром, недаром черкесская талья
И тесный ремённый кушак.

А зорю заслышу — Отец ты мой родный!
Хоть райские — штурмом — врата!
Как будто нарочно для сумки походной —
Раскинутых плеч широта.

Всё может — какой инвалид ошалелый
Над люлькой мне песенку спел...
И что — то от этого дня — уцелело:
Я слово беру — на прицел!

И так мое сердце над Рэ-сэ-фэ-сэром
Скрежещет — корми — не корми! —
Как будто сама я была офицером
В Октябрьские смертные дни.

Сентябрь 1920

ЧУЖОМУ

Твои знамена — не мои!
Врозь наши головы.
Не изменить в тисках Змеи
Мне Духу — Голубю.

Не ринусь в красный хоровод
Вкруг древа майского.
Превыше всех земных ворот —
Врата мне — райские.

Твои победы — не мои!
Иные грезилась!
Мы не на двух концах земли —
На двух созвездиях!

Ревнителю двух разных звезд —
Так что же делаю —

Я, перекидывая мост
Рукою смелою?!

Есть у меня моих икон
Ценней — сокровище.
Послушай: есть другой закон,
Законы — кроющийся.

Пред ним — все клонятся клинки,
Все меркнут — яхонты.
Закон протянутой руки,
Души распахнутой.

И будем мы судимы — знай —
Одною мерою.
И будет нам обоим — Рай,
В который — верую.

Москва, 28 ноября 1920

* * *

Целовалась с нищим, с вором, с горбачом,
Со всей каторгой гуляла — нипочём!
Алых губ своих отказом не тружу,
Прокаженный подойди — не откажу

Пока молода —
Всё как с гуся вода!
Никогда никому:
Нет!
Всегда — да!

Что за дело мне, что рваный ты, босой:
Без разбору я кошу, как смерть косою!
Говорят мне, что цыган — ты — конокрад,
Про тебя еще другое говорят...

А мне что за беда —
Что с копытом нога!
Никогда никому:
Нет!
Всегда — да!

Блещут, плещут, хлещут раны — кумачом,
Целоваться я не стану — с палачом!

Москва, ноябрь 1920

(ВЗЯТИЕ КРЫМА)

И страшные мне снятся сны:
Телега красная,
За ней — согбенные — моей страны
Идут сыны.

Золотокудрого воздев
Ребенка — матери
Вопят. На паперти
На стяг

Пурпуровый маша рукой беспалой
Вопит калека, тряпкой алой
Горит безногого костыль,
И красная — до неба — пыль.

Колеса ржавые скрипят.
Конь пляшет, взбешенный.
Все окна флагами кипят.
Одно — завешено.

Ноябрь 1920

* * *

Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь!
То шатаясь причитает в поле — Русь.
Помогите — на ногах нетверда!
Затуманила меня кровь — руда.

И справа, и слева
Кровавые зевы,
И каждая рана:
— Мама!

И только и это
И внятно мне, пьяной,
Из чрева — и в чрево:
— Мама!

Все рядком лежат —
Не развесть межой.
Поглядеть: солдат.
Где свой, где чужой?

Белый был – красным стал:
Кровь обагрила.
Красным был – белый стал:
Смерть побелила.

– Кто ты? – белый? – не пойму! – привстань!
Аль у красных пропадал? – Ря-азань.

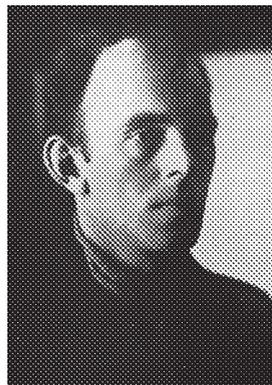
И справа, и слева,
И сзади, и прямо,
И красный, и белый:
– Мама!

Без воли – без гнева –
Протяжно – упрямо –
До самого неба:
– Мама!

Декабрь 1920

Источник: сайт Марины Цветаевой (<http://www.crea.ru/cvetaeva/index.ru>)

Мандельштам Осип Эмильевич (1891–1938)



Поэт, прозаик, критик, переводчик.

Родился в Варшаве в семье купца первой гильдии. Детство провел в Петербурге, где в 1907 г. закончил Тенишевское училище. Учился в Сорбонне (1907-1908), Гейдельбергском (1909-1910) и Петербургском (1911) университетах, где изучал романскую филологию.

Первые стихи опубликованы в журнале «Аполлон» в 1910 г. Еще в Париже знакомится с Н. Гумилевым, затем с А. Ахматовой и входит в «Цех поэтов», примыкая к акмеизму. Однако, поэтическому таланту Мандельштама было тесно в любых формальных рамках, он отходит от акмеизма и вырабатывает собственный неповторимый стиль, сделавший его одним из крупнейших русских поэтов XX века, о чем бесспорно свидетельствуют сборники «Камень» (1916) и «Tristia» (1922).

Подобно большинству русской интеллигенции Мандельштам приветствовал Февральскую революцию и весьма скептически отнесся к Октябрьскому перевороту. В период Гражданской войны утверждал преемственность и всемирное единство человеческой культуры, и абсолютное значение человеческого достоинства. Такая позиция вскоре превратила Мандельштама в отщепенца, стоявшего на обочине светлой столбовой дороги советской литературы, прославлявшей успехи социалистического строительства и вдохновителя и организатора всех наших побед. Вместо этого он рисует на редкость реалистический портрет «кремлевского горца». Этого ему не простили, и после нескольких ссылок. Мандельштама арестовывают и отправляют в ГУЛАГ. Ни время, ни обстоятельства смерти, ни место его погребения точно не известны.

Наиболее представительным изданием произведений О. Мандельштама является «Собрание сочинений» в трех томах под редакцией проф. Г.П. Струве и Б.А. Филиппова, опубликованное «Международным Литературным Содружеством» в 1967-71 гг. Издательство «ТЕРРА-TERRA» в 1991 г. воспроизвело это издание.

* * *

Распространение стихов Мандельштама в Самиздате восходит к началу 1930-х гг. Вернувшись в 1930, после пятилетнего перерыва, к поэтическому творчеству, поэт почти все новые стихи, созданные в 1930-1937 гг., предлагал советским газетам и журналам, однако свет увидели (в 1930-1932 гг.) лишь около десятка его произведений (из почти 200). Стихотворения, не принятые к печати, оставались в редакциях литературных газет, журналов и издательств, зачастую любители поэзии снимали с них копии, иногда неопубликованные стихи даже цитировались в критических статьях для характеристики творчества Мандельштама последних лет. После ареста в мае 1934 г. и ссылки в Воронеж Мандельштам продолжал рассылать свои новые стихи в редакции московских и ленинградских газет и

журналов, пытался опубликовать их и в Воронеже. Но ни одна поэтическая строка, написанная после ареста, в печати не появилась. Освободившись из воронежской ссылки в мае 1937г. Мандельштам в течение года (до нового ареста) предпринимал энергичные усилия для своего возвращения в список действующих литераторов, добивался от руководства СП СССР оценки своего творчества. Стихи поэта продолжали расходиться по стране. Известны случаи, когда уже в конце 1930-х гг. они фигурировали в альбомах любителей поэзии без фамилии автора. Стихотворение, повлекшее за собой арест поэта, «Мы живем, под собою не чуя страны», естественно не предлагалось Мандельштам в печать, однако сохранилось в памяти десятков современников, которым он успел его прочесть до ареста. После смерти Мандельштама в лагере основным хранителем его литературного наследия стала его вдова Н.Я. Мандельштам.

Только после частичной реабилитации поэта в 1956 г., она впервые заявила, что архив Мандельштама находится у нее, добилась создания комиссии СП по литературному наследию поэта, начала знакомить с его неопубликованными произведениями редакции литературных журналов. Тогда же началась работа по подготовке сборника Мандельштама для серии «Библиотека поэта», растянувшаяся на 17 лет (вышел в 1973 г., более трети стихотворений поэта туда не вошло). В 1956 г. зафиксированы первые упоминания о циркулировании стихов Мандельштама в Самиздате (воспоминания Р. Пименова). С начала 1960-х гг. машинописные сборники стихов Мандельштама, включавшие как ранее опубликованные (таковы три из размещаемых в данной подборке – «Зверинец», «Кассандре», «Ленинград»), так и неопубликованные произведения, становятся одними из самых популярных текстов Самиздата и атрибутом почти каждой интеллигентской квартиры не только в столице, но и в провинции. В 1961-1962 гг. основной массив неопубликованных произведений Мандельштама попал за границу и увидел свет там (впервые в альманахах «Воздушные пути» (Нью-Йорк) и «Мосты» (Мюнхен)). Тогда же стали выходить и включавшие эти неопубликованные на родине тексты собрания сочинений Мандельштама (несколько изданий). Попадавшие в СССР тома собраний сочинений использовались самиздатчиками (размножались фотоспособом, перепечатывались на машинках, реже – ксерокопировались[1]). Стихотворные тексты изымались на обысках (у москвичей Т. Хромовой, Д. Каминской и К. Симиса, Н. Рябовой, Ю. Фрейдина, ленинградца А. Кобака и др.), однако на политических процессах (зафиксировано несколько таких случаев) инкриминировались, как правило, не сами тексты Мандельштама, а «антисоветские» предисловия и комментарии эмигрантских литературоведов. Андрею Шилкову (Верховный суд Карельской ССР, 25.11.82) среди прочего было вменено в вину распространение первого тома собрания сочинений Мандельштама со статьями Г. Струве и Э. Райса, Шилков по ст.70 ч.1 УК РСФСР («Антисоветская агитация и пропаганда») был приговорен к трем годам лагеря и – трем ссылки (см. Материалы Самиздата.- 1985.- №40.- АС №5559); тот же том вошел в обвинительное заключение по делу ленинградского диссидента Бориса Митяшина (Вести из СССР.- 1986.- Вып.5-6; Митяшин Ленинградским городским судом был приговорен по ст. 70 ч.1 УК РСФСР к 5 годам лагерей и трем – ссылке).

[1] Москвич Л. Копысов был осужден за «занятие запрещенным промыслом», среди размножавшейся им на ксероксе литературы видное место занимали произведения М. (зарубежные и отечественные) (Вести из СССР.- 1984.- Вып.5-8).

[2] Имеются непроверенные сведения о том, что Г. Хомизури и Р. Папаяну было инкриминировано распространение стихов Мандельштама (Верховный Суд Армянской ССР, 22.07.83) (Вести из СССР.- 1984.- Вып.7-8)

Единственный раз, когда стихи Мандельштама наряду с другими эпизодами вошли в приговор — дело Рейзы Палатник (Одесса, 22-24.06.1971, «Хроника текущих событий», №17, 22)[2] (см. т. 2, стр. 429), по ст. 187-1 УК УССР (= 190-1 УК РСФСР «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй»). Палатник была приговорена к 2 годам лагерей.

С середины 1986 г. в связи с общим пересмотром политики по отношению к инакомыслию и, в частности, к Самиздату изъятие произведений Мандельштама на обысках прекращается, при этом начинают появляться его ранее запрещенных произведений в советской официальной печати, к 1990 г. все наследие Мандельштама было опубликовано на Родине.

ЗВЕРИНЕЦ

Отверженное слово «мир»
В начале оскорбленной эры;
Светильник в глубине пещеры
И воздух горных стран — эфир;
Эфир, которым не сумели,
Не захотели мы дышать.
Козлиным голосом, опять,
Поют косматые свирели.

Пока ягнята и волы
На тучных пастбищах водились,
И дружелюбные садились
На плечи сонных скал орлы, —
Германец выкормил орла,
И лев британцу покорился,
И гальский гребень появился
Из петушиного хохла.

А ныне завладел дикарь
Священной палицей Геракла,
И черная земля иссякла,
Неблагодарная, как встарь.
Я палочку возьму сухую,
Огонь добуду из нее,
Пускай уходит в ночь глухую
Мной всполошенное зверье!
Петух и лев, широкохмурий
Орел и ласковый медведь —
Мы для войны построим клеть,
Звериные пригреем шкуры.
А я пою вино времен —

Источник речи италийской —
И в колыбели праарийской
Славянский и германский лен!

Италия, тебе не лень
Тревожить Рима колесницы,
С кудахтаньем домашней птицы
Перелетев через плетень?
И ты, соседка, не взыщи —
Орел топорщится и злится:
Что, если для твоей пращи
Тяжелый камень не годится?

В зверинце заперев зверей,
Мы успокоимся надолго,
И станет полноводней Волга,
И рейнская струя светлей, —
И умудренный человек
Почтит невольно чужестранца,
Как полубога, буйством танца
На берегах великих рек.

1916, 1935

КАССАНДРЕ

Я не искал в цветущие мгновенья
Твоих, Кассандра, губ, твоих, Кассандра, глаз,
Но в декабре торжественного бденья
Воспоминая мучат нас.

И в декабре семнадцатого года
Всё потеряли мы, любя;
Один ограблен волею народа,
Другой ограбил сам себя...

Когда-нибудь в столице шалой
На скифском празднике, на берегу Невы
При звуках омерзительного бала
Сорвут платок с прекрасной головы.

Но, если эта жизнь — необходимость бреда,
И корабельный лес — высокие дома, —
Я полюбил тебя, безрукая победа
И зачумленная зима.

На площади с броневиками
Я вижу человека — он
Волков горящими пугает головнями:
Свобода, равенство, закон.

Больная, тихая Кассандра,
Я больше не могу — зачем
Сияло солнце Александра,
Сто лет тому назад сияло всем?

1917

Примечание: обращено к А. Ахматовой.

ЛЕНИНГРАД

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда, так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей,

Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург! я еще не хочу умирать!
У тебя телефонов моих номера.

Петербург! У меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,
И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

Декабрь 1930

* * *

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, кует за указом указ:

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него-то малина
И широкая грудь осетина.

Ноябрь 1933

* * *

Пусти меня, отдай меня, Воронеж:
Уронишь ты меня иль проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь, -
Воронеж – блажь, Воронеж – ворон, нож.

Апрель 1935

* * *

Это какая улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чертова –
Как ее ни вывертывай,
Криво звучит, а не прямо.

Мало в нем было линейного,
Нрава он был не лилейного,
И потому эта улица,
Или, верней, эта яма
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама...

Апрель 1935

Источник: сайт Литература (<http://mandelstam.chat.ru>)

Флоренский
Павел Александрович
(Отец Павел Флоренский)
(1882–1937)



Философ, священник, ученый, писатель, поэт.

Родился на Кавказе в семье инженера-железнодорожника. Учился в школе в Тифлисе. Учился на физико-математическом факультете Московского университета (с 1900 г.). В 1904 г. поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 1908 г. Рукоположен в сан священника в 1911 г. С 1914 г. — профессор философии в Духовной академии. Диссертация «Столп и утверждение истины» (1914) принесла ему репутацию одного из интереснейших и оригинальных религиозных мыслителей своего времени. По свидетельству Н. Лосского обладал «сверхчеловеческой эрудицией». В 1918-20 гг. работал в комиссии по охране памятников искусства и старины Троицко-Сергиевой Лавры, а с 1920 г. — преподавал во ВХУТЕМАСе. Затем работал в учреждениях системы Главэлектро, шокируя добропорядочных совслужащих тем, что ходил на работу в одежде православного священника. Один из основных авторов «Советской технической энциклопедии» (1927-1930). После ареста в 1928 г. сослан в Нижний Новгород, но вскоре освобожден. Вновь арестован в 1933 г. и всю оставшуюся жизнь провел в ГУЛАГе на Соловках. Расстрелян. В последствии реабилитирован.

Основные произведения:

«Столп и утверждение истины» (1914).

«Мнимости в геометрии» (1922).

«У водораздела мысли» (1922).

«Философия культа» (1922).

«Детям моим. Воспоминанья прошлых дней» (1925).

«Имена» (1926).

Наиболее полное издание — П. Флоренский. Собрание сочинений в 4-х томах.

См. также: П.А. Флоренский. Сочинения в 2-х томах (трех книгах), приложение к журналу «Вопросы философии», М.: Правда, 1990.

Священник Павел Флоренский. «Детям моим», «Воспоминания прошлых лет», «Генеалогические исследования», «Из соловецких писем», «Завещание». М.: Московский рабочий, 1992.

ОРО
Лирическая поэма

ПРЕДИСЛОВИЕ

Содержание.

Одно из древнейших племен ДВК — ороконы (оленеводы), принадлежащие к группе тунгусов, вымирают, но предания о былом величии продолжают храниться в памяти стариков. Потомство одного когда-то знатного рода уже почти исчезло, и последний представитель этого рода женился по любви на простой ороchonке, так что оказался из-за этого оторванным от своих родичей.

Детей у него нет. В последней надежде, уже пожилой, этот ороchon-охотник обращается к шаману с просьбой о помощи, и тот, во время камлания, предсказывает ему, что родится сын, который будет отличаться глубоким проникновением в природу и прославит племя ороchon, но что родители должны посвятить его духам мерзлоты.

Мальчика, когда он родился, называют Оро, т. е. Олень, именем священного животного ороchon. Он растет, интересуясь лишь природой, особенно мерзлотой, накапливает громадный опыт, своим умом доходит до понимания явлений природы. Но ему хочется и от других получить какую-нибудь помощь. Он спрашивает окружающих о древних преданиях и весь охвачен жаром познания.

В лесу с ним встречается ссыльный грузин, потомок когда-то сосланных польских грандов, озлобленный на жизнь и судьбу, благородный, но глубоко подозрительный и изнервничавшийся человек. Грузин странствует по тайге, изучая мерзлоту. В доме Оро он находит себе приют. Грузин рассказывает о судьбе своего рода, о своей родине — Аджаристане, а старик ороchon — о судьбе своего рода. Все это еще больше раздувает желание Оро учиться. Грузин зовет его с собой на Сковородинскую Опытную Мерзлотную Станцию, действие же происходит в районе головного участка БАМа, в ущелье реки Ольдоя. Отец не отпускает Оро. Но после ухода грузина Оро открывает месторождение интересного редкоземельного минерала и с отцом едет на ОМС показать образцы его. Жизнь станции. Отец, видя хорошее обращение к Оро на ОМС, решается оставить его для обучения. Оро быстро крепнет, делает разные интересные находки (мамонт), предупреждает трагическое столкновение грузина с дирекцией станции, выдвигается. Его направляют, после предварительного обучения, в высшую школу. Он делается большим ученым и вместе с тем работает по просвещению родного народа, в творческие возможности которого глубоко верит.

Задача. Мерзлота, как тройной символ — природы, народа и личности, — таит в себе силы разрушительные и творческие. Выходя наружу, они могут стать губительными. Золото, таящееся в мерзлоте, обращается в золотой пожар, губящий достояние ороchonов — тайгу и мох, разгоняющий дичь — источник их жизни. Пожары производят золотопромышленники — их погоня за золотом — источник бедствий, а потому и вырождения ороchonов, постепенно оттесняемых со своей территории. Вечная мерзлота разрушает, когда ее начинают «обживать» и «освоять». Отсюда — «не трогай мерзлоты» ороchonов.

Но то же — о душе. Прикрытые мерзлотой, таятся в ней горечи, обиды и печальные наблюдения прошлого. Но не надо копать в ее недрах.

Мерзлотная бодрость дает силу справиться с разрушающими силами хаоса.

Мерзлота — это эллинизм.

Автор избрал для своей поэмы четырёхстопный ямб, как наиболее бодрый и быстрый темп. Чтобы исключить женственность, мечтательность, неопределенность, автор запретил себе женские рифмы. Этим были внесены большие трудности при писании, и большой вопрос — оправдываются ли они результатами.

Поэма написана для моего сына Мика и приспособлена к его пониманию, — хотя, быть может, сейчас он и не поймет всех многочисленных намеков этих стихов. Но по многим личным причинам мне необходимо посвятить поэму именно Мику, пусть она будет ему хотя бы впоследствии памятью об отце.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Ты свет увидел, бедный Мик,
Когда спасен был смутный миг.
Отец твой бегством лишь и жил,
Замуровавшись средь могил —
Могил души. Могу ль назвать
Иначе дом умалишенных? Тать
Обхитил разум их, и крик
Застыл пустой. Я к ним проник.
Там воздух по ночам густел
Обрывками сотлевших тел —
Страстей безликих, всё живых;
Там стон страдальцев не затих,
Хотя сменил уже на тьму
Им рок врачебную тюрьму.
Увы, в голодный жуткий год
Какой подарок кто найдет?
Искал кругом, что Мику дать —
И дар нашелся: благодать.
Хотелось мне, чтоб Божья тишь
Тебя укрыла, мой малыш.
Был старец — праведный Давид.
Сам в рое жалящих обид
И жгучих язвий, Бога сил
Он имя сладкое хранил.
Однажды видит он во сне
Судьбу мою, награду мне.
Двойную благодать сулил
Излить провидец Иоил

Во дни предельные скорбей.
Мы не дошли до крайних дней.
Но сон вещал, что Бог двойным
Мне разум просветит Святым
Дыханьем уст Своих, что ждет
Меня и мудрость и почет.
И вот двойную благодать
Тебе решил я передать
И так сказал себе. С тех пор
Спустился я с высоких гор,
Где темно-синь эфир небес,
Во мглу долин, в унылый лес.
Блужданьем темным утомлен,
Я помню прошлое, как сон...
Текли печальные года.
Но никогда, но никогда
Тебя не забывал отец,
Мой хрупкий маленький птенец.
Себе я сердце разорвать
Готов был, только б мир и гладь
Тебя окутали. Полет
Событий кружит и влечет.
В тревоге смутной, средь невзгод
Шел день за днем, за годом год.
Ты рос, но слабый, бледен, мал
И с детства горести познал.
За сроком новый срок скользит.
Но не фосфат же инозит
Удобрит нив душевных новь —
Восполнит ласку и любовь.
Какой сердечный препарат
Слоит сердечный чахлый сад?
Заменил солнечный привет,
Когда тебя со мною нет?
Но знал: не должно мне роптать.
Прошли года (не два, не пять),
А много безуханных лет,
Как звенья внутренних побед.
Себя смиряя вновь и вновь,
Я в жилах заморозил кровь,
Благоуханье теплых роз
Замуровал в ледяной торос.
Так мысли пламенной приборой
Остыв, закован сам собой.
С тобой в разлуке вот опять.
Тебе лишь повесть рассказать

Могу с своих унылых нар —
Любви бессильной жалкий дар.
Но не хотел бы уронить
Из рук ослабших Парки нить,
Стрясти земную пыль и прах,
Пока не выскажусь в стихах.
«Цветы осенние милей
Роскошных первоцветов полей».
Так пусть над кровом мерзлоты
Взрастут последние цветы
8-10 апреля 1936 года

ПЕСНЬ ФАЛАНГИ

Лов рыбки в взмученной воде
Оставь, захватчик КВД:
Ольдоя струями дано
Ущелие под полотно.

Удвоенным путем на БАМ
Грозить сумеем мы врагам.
Спешим мы вдвое, в много раз,
Чтоб путь двойной закончить враз.

От пункта к пункту, в новый пункт
Проводим к морю ж.-д. шунт.
Чтоб общество без классов спас,
Мы строим путь, — не напоказ.

Поет пила, звенит топор,
Рвут аммоналом косогор.
Фаланги песнью звучен лес.
Идут врагу наперерез.

Но шумом жизни удручен
В горах укрылся ороchon.

VII

Он был охвачен жаром — знать,
Еще ребенок, презирать
Круг детских плясок и забав
Он научился. Пылкий нрав

Таил под хладной мерзлотой.
Один, угрюм, своим не свой,

Всходил он на лесной угор,
Вперяя вглубь сверлящий взор.
<...>

Упорной мыслию пронзен,
Вскрыть мерзлоту пытался он.
Какие силы вознесли
Те булгоняхи от земли?

Быть может, ледяной сокрыт
В бугре из мха, ином на вид?
И расчищал он белый мох;
Но, слабый, быстро изнемог

И выбился из детских сил.
Хрустальный купол проступил,
Заголубев, как небосвод.
Но свод небес — не тот же ль лед?

Сверкает бездной пузырьков,
Замкнутых в ледяной покров.
Пустоты ль в бирюзовой мгле
Сокрыты в горном хрустале?

Оро пробить старался свод.
Удар кайла другой зовет.
Вдруг... треск внезапный. Оглушен,
Отброшен и напуган он.

Расселся купол. Бьет фонтан.
Восторгом хладным обуян,
Оро застыл, глаза вперив
В невиданный водоразлив.

Струя текла, журчал ручей
Под сетью иглистых лучей,
И, охлаждаясь, застывал
Слоями в наледный кристалл.

IX

Орочонин принимает у себя странника.
После ужина разговоры.

«Быть может, хочешь ты бежать?»
«Чтоб ни сестра, ни брат, ни зять

Не знали, где я. Чтоб жена
Забыла, роком сражена,

Об имени моем, о мне
Не вспоминала б и во сне.
Я испарился бы с земли,
Как здешний снег, что намели
Нежданно майские ветры.

Устал, измучен, одинок,
Скитаюсь, мой путь далек».

«Я вижу, странник, ты скорбишь.
Вдохни полнее нашу тишь, —
Забудется пред жизнью страх,
И боль замрет у нас на льдах».

– «Ну что ж, ничуть не утаю
Я боль душевную свою,
Озлоблен, мрачен, грустен, дик.
Да, люди чужды мне, старик.
<...>

Твердил и я о том стократ,
Но ошибался: весь свой век
Волк —человеку человек,
Иль злее, уссурийский тигр

Не мучит жертву ради игр,
А человека не нужда,
Не голод — зависть иль вражда
Стезей предательства, измен

Толкает к страсти злобной в плен.
Он в душу ближнему иприт
Налить хотел бы, и горит
От злобы сердце. Другу дал

Приязни знак ты — свой кинжал.
Но в час офелия забыт
Долг благодарности и стыд.
Увидишь ты друзей без маск.

Тобой подаренный дамаск,
Поверь, насколько было сил,

Твой друг в твою же грудь вонзил,
А сам доверчивый твой сон
Хранить клялся надежно он».
<...>

XXVI

Как эльф порхает меж воров
Кудрявый Коленька Быков:
Дощечку ищет с давних пор,
Чтоб укрепить на ней мотор.

В лазури ль места не нашел
Кирилл, что прямо в комсомол
Спустился. И огромный взор
Глядит на неприбранный двор,

Печалью тайною томим.
Так многокрылый серафим
Лежит, падением разбит,
Но песнь небесная звучит.

.....
Так из тайги Оро попал
В тройной Лежандров интеграл.

Сковородино. 1934 г.

Источник: Среди других имен: Сборник. М.: Моск. Рабочий, 1990.

Ахматова (Горенко)
Анна Андреевна
(1889–1966)



Поэтесса, переводчица.

Родилась в Одессе, в семье морского инженера. С материнской стороны принадлежала к старинной дворянской семье. Своим предком по материнской линии она считала ордынского хана Ахмата, от имени которого она и образовала свой псевдоним. Детство и юность ее прошли в Царском Селе. После развода родителей Ахматова вместе с матерью переехала в Евпаторию, затем в Киев, где закончила гимназию и поступила на юридический факультет Высших женских курсов. Вскоре потеряв интерес к юриспруденции, Ахматова переехала в Петербург, где продолжила свое образование на Высших историко-литературных курсах Раева.

В 1910 г. Ахматова вышла замуж за знакомого ей еще по Царскому Селу Николая Гумилева. Именно он ввел Ахматову в литературно-художественную среду Петербурга, в которой ее имя быстро обрело значимость. Вместе с мужем она побывала в Европе, посетив Париж (1910, 1911) и Италию (1912). В 1912 г. родился единственный сын Лев, известный в последствии историк и этнолог.

Писать стихи, по собственным воспоминаниям, начала в 11 лет. Первое стихотворение напечатано в 1907 г. Первый сборник стихов «Вечер» (1912) имел значительный успех, однако подлинную известность Ахматовой принес сборник «Четки» (1914). В 1918 – 23 гг. поэзия Ахматовой пользовалась большим успехом, но с середины 20-х годов началось многолетнее молчание, длившееся до середины 30-х. В 1936-46 гг. стихи Ахматовой довольно часто печатаются (в том числе в «Правде» – «Мужество» (1942)), однако после травли, инспирированной Ждановым, она была выброшена из Союза писателей и не печаталась свыше десяти лет.

Атмосфера массовых репрессий в стране, непосредственно отразившихся и на личной судьбе Ахматовой (расстрел Н. Гумилева, неоднократные аресты сына и мужа (Н. Пунина)), окрасила ее творчество в глубоко трагические тона.

Наиболее сокровенные произведения Ахматовой («Реквием», «Поэма без героя» и др.), которые были широко представлены в Самиздате, увидели свет только через много лет после ее смерти.

Наиболее полно творчество А. Ахматовой представлено:

А. Ахматова. Собрание сочинений в шести томах. М.: Эллис Лак, 1998 – 2001.

Из сборника
«НЕЧЕТ»

ПОБЕДИТЕЛЯМ

Сзади Нарвские были ворота,
Впереди была только смерть...
Так советская шла пехота
Прямо в желтые жерла «Берт».
Вот о вас и напишут книжки:
«Жизнь свою за други своя»,
Незатейливые парнишки –
Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки,
Внуки, братики, сыновья!

29 февраля 1944, Ташкент

Из сборника
«ТРОСТНИК»

БОРИС ПАСТЕРНАК
(Поэт)

Он, сам себя сравнивший с конским глазом,
Косится, смотрит, видит, узнает,
И вот уже расплавленным алмазом
Сияют лужи, изнывает лед.

В лиловой мгле покоятся задворки,
Платформы, бревна, листья, облака.
Свист паровоза, хруст арбузной корки,
В душистой лайке робкая рука.

Звенит, гремит, скрежещет, бьет прибоем
И вдруг притихнет, – это значит, он
Пугливо пробирается по хвоем,
Чтоб не спугнуть пространства чуткий сон.

И это значит, он считает зерна
В пустых колосьях, это значит, он
К плите дарьяльской, проклятой и черной,
Опять пришел с каких-то похорон.

И снова жжет московская истома,
Звенит вдали смертельный бубенец...
Кто заблудился в двух шагах от дома,
Где снег по пояс и всему конец...

За то, что дым сравнил с Лаокооном,
Кладбищенский воспел чертополох,
За то, что мир наполнил новым звоном
В пространстве новом отраженных строф, –

Он награжден каким-то вечным детством,
Той щедростью и зоркостью светил,
И вся земля была его наследством,
А он ее со всеми разделил.

19 января 1936, Ленинград

ВОРОНЕЖ

О. М.

И город весь стоит оледенелый.
Как под стеклом деревья, стены, снег.
По хрусталям я прохожу несмело.
Узорных санок так неверен бег.
А над Петром воронежским – вороны,
Да тополя, и свод светло-зеленый,
Размытый, мутный, в солнечной пыли,
И Куликовской битвой веют склоны
Могучей, победительной земли.
И тополя, как сдвинутые чаши,
Над нами сразу зазвенят сильней,
Как будто пьют за ликование наше
На брачном пире тысячи гостей.
А в комнате опального поэта
Дежурят страх и муза в свой черед.
И ночь идет,
Которая не ведает рассвета.

4 марта 1936

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА

Так просто можно жизнь покинуть эту,
Бездумно и безбольно догореть.
Но не дано – Российскому поэту
Такою светлой смертью умереть.

Всего верней свинец в душе крылатой
Небесные откроет рубежи,
Иль хриплый ужас лапою косматой
Из сердца, как из губки, выжмет жизнь.

1925

**Из сборника
«БЕЛАЯ СТАЯ»**

* * *

Муза ушла по дороге
Осенней узкой, крутой,
И были смуглые ноги
Обрызганы крупной росой.

Я долго ее просила
Зимы со мной подождать,
Но сказала: «Ведь здесь могила,
Как ты можешь еще дышать?»

Я голубку ей дать хотела,
Ту, что всех в голубятне белей,
Но птица сама полетела
За стройной гостьей моей.

Я, глядя ей вслед, молчала,
Я любила ее одну,
А в небе заря стояла,
Как ворота в ее страну.

15 декабря 1915, Царское Село

МОЛИТВА

Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар

– Так молюсь за твоей литургией
После стольких томительных дней,
Чтобы туча над темной Россией
Стала облаком в славе лучей.

1915. Духов день, Петербург. Троицкий мост

Из сборника
«ЧЕТКИ»

ПРОГУЛКА

Перо задело о верх экипажа.
Я поглядела в глаза его.
Томилось сердце, не зная даже
Причины горя своего.

Безветрен вечер и грустью скован
Под сводом облачных небес,
И словно тушью нарисован
В альбоме старом Булонский лес.

Бензина запах и сирени,
Насторожившийся покой...
Он снова тронул мои колени
Почти не дрогнувшей рукой.

Май 1913

СТИХИ О ПЕТЕРБУРГЕ

1

Вновь Исакий в облаченье
Из литого серебра.
Стынет в грозном нетерпеньи
Конь великого Петра.

Ветер душный и суровый
С черных труб сметает гарь.
Ах, своей столицей новой
Недоволен государь.

2

Сердце бьется ровно, мерно.
Что мне долгие года!
Вновь под аркой на Галерной
Наши тени навсегда.
Сквозь опущенные веки
Вижу, вижу — ты со мной,
И в руке твоей навеки
Нераскрытый веер мой.

Оттого, что стали рядом
Мы в блаженный миг чудес,
В миг, когда над Летним садом
Месяц розовый воскрес, –

Мне не надо ожиданий
У постылого окна
И томительных свиданий.
Вся любовь утолена.

Ты свободен, я свободна,
Завтра лучше, чем вчера, -
Над Невою темноводной,
Над улыбкою холодной
Императора Петра.

1913

**Из сборника
«ВЕЧЕР»**

ЛЮБОВЬ

То змейкой, свернувшись клубком,
У самого сердца колдует,
То целые дни голубком
На белом окошке воркует,

То в инее ярком блеснет,
Почудится в дреме левкоя...
Но верно и тайно ведет
От радости и от покоя.

Умеет так сладко рыдать
В молитве тоскующей скрипки,
И страшно ее угадать
В еще незнакомой улыбке.

24 ноября 1911, Царское Село

* * *

Дверь полуоткрыта,
Веют липы сладко...
На столе забыты
Хлыстик и перчатка.

Круг от лампы желтый...
Шорохам внимаю.
Отчего ушел ты?
Я не понимаю...

Радостно и ясно
Завтра будет утро.
Эта жизнь прекрасна,
Сердце, будь же мудро.

Ты совсем устало,
Бьешься тише, глуше...
Знаешь, я читала,
Что бессмертны души.

17 февраля 1911, Царское Село.

Цикл «Реквием»

В течение почти четверти века со времени создания первых стихотворений (1935) и до конца 1950-х цикл «Реквием», состоящий из 14 стихотворений, Ахматова, понимая их потенциальную опасность для себя и читателей, сочиняла в уме и не записывала. Чтобы не забыть текст, она время от времени приглашала к себе своих близких знакомых, которым абсолютно доверяла (среди них наиболее известна Л.Чуковская), при них записывала текст того или иного стихотворения на бумагу, молча показывала для прочтения, чтобы читатель мог запомнить его, и тут же сжигала (эта неоднократно проделываемая процедура описана в книге Л.Чуковской «Записки об Анне Ахматовой» и в комментариях к ней). Однако несколько стихотворений (два) из «Реквиема», в которых тюремно-лагерная тематика неявно выражена, Ахматова сумела опубликовать еще в 1940 г. Стихотворение «Приговор» было напечатано без названия, первые две его строки «И упало каменное слово / на мою еще живую грудь» были, вероятно, восприняты цензурой и недогадливыми читателями в контексте любовной лирики поэтессы; в стихотворении «Уже безумие крылом / души накрыло половину» было заменено только одно слово в строке «час тюремного свиданья». Только в 1962 г., после XXII съезда КПСС, Ахматова рассекретила свой цикл, снабдила его эпиграфом, написала короткое предисловие, поясняющее, как «Реквием» создавался. Хотя цикл был высоко оценен многими советскими литераторами, они не рекомендовали Ахматовой публиковать его. Как и стихи Мандельштама, машинописная копия «Реквиема» была почти в каждом интеллигентном доме.

Иногда строки из «Реквиема» прорывались в подцензурную печать. Например, критик А. Белинков умудрился процитировать две из наиболее крамольных строк: «И если зажмут

мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ» в своей скандально знаменитой публикации «Поэт и толстяк» (Байкал. — Улан-Удэ, 1968, №1), которая привела к смене редколлегии журнала и изъятию этого номера из библиотек (в экз., хранящемся в Исторической библиотеке (Москва), страницы с этой публикацией вырезаны). Текст «Реквиема» был передан за границу в начале 1963 г. московским литературоведом Ю.Г. Оксманом (рукопись вывезла молодая американская славистка Кэтрин Беливо-Фойер, стажировавшаяся в Москве) и опубликован эмигрантским литературоведом Глебом Струве (Грани. - 1964. - №56. - С.11-19; отд. изд.: Мюнхен, 1963. - 24 с.).

Впервые в СССР «Реквием» опубликован в начале горбачевской перестройки, одновременно в двух журналах («Октябрь» и «Звезда») в 1987 г. Наиболее полное комментированное издание, представляющее собой сборник документов, воспоминаний и сопутствующих «Реквиему» текстов — Анна Ахматова : Requiem / Сост. Р.Д. Тименчик. - М.: МПИ, 1989. - 320 с.

РЕКВИЕМ 1935 — 1940

Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

1961

Вместо предисловия.

В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то «опознал» меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом): — А это вы можете описать? И я сказала: — Могу. Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом.

1 апреля 1957 г.

Ленинград

Посвящение

Перед этим горем гнутся горы,
Не течет великая река,
Но крепки тюремные затворы,
А за ними «каторжные норы»
И смертельная тоска.
Для кого-то веет ветер свежий,
Для кого-то нежится закат —
Мы не знаем, мы повсюду те же,
Слышим лишь ключей постылый скрежет

Да шаги тяжелые солдат.
Подымались как к обедне ранней,
По столице одичалой шли,
Там встречались, мертвых бездыханней,
Солнце ниже, и Нева туманней,
А надежда все поет вдали.
Приговор... И сразу слезы хлынут,
Ото всех уже отделена,
Словно с болью жизнь из сердца вынут,
Словно грубо навзничь опрокинут,
Но идет... Шатается... Одна.
Где теперь невольные подруги
Двух моих осатанелых лет?
Что им чудится в сибирской выюге,
Что мерещится им в лунном круге?
Им я шлю прощальный мой привет.

Март 1940 г.

Вступление

Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.
И когда, обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки,
И короткую песню разлуки
Паровозные пели гудки,
Звезды смерти стояли над нами.
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марушь.

I

Уводили тебя на рассвете,
За тобой, как на выносе, шла,
В темной горнице плакали дети,
У божницы свеча оплыла.
На губах твоих холод иконки.
Смертный пот на челе... Не забыть!
Буду я, как стрелецкие женки,
Под кремлевскими башнями выть.

[Ноябрь] 1935 г.

Москва

II

Тихо льется тихий Дон,
Желтый месяц входит в дом.

Входит в шапке набекрень,
Видит желтый месяц тень.

Эта женщина больна,
Эта женщина одна.

Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне.

1938

III

Нет, это не я, это кто-то другой страдает.
Я бы так не могла, а то, что случилось,
Пусть черные сукна покроют,
И пусть унесут фонари...

Ночь.

1939

IV

Показать бы тебе, насмешнице
И любимице всех друзей,
Царскосельской веселой грешнице,
Что случится с жизнью твоей —
Как трехсотая, с передачею,
Под Крестами будешь стоять
И своею слезой горячею
Новогодний лед прожигать.
Там тюремный тополь качается,
И ни звука, — а сколько там
Неповинных жизней кончается...

1938

V

Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой.
Кидалась в ноги палачу,
Ты сын и ужас мой.
Все перепуталось навек,
И мне не разобрать
Теперь, кто зверь, кто человек,
И долго ль казни ждать.
И только пышные цветы,

И звон кафельный, и следы
Куда-то в никуда.
И прямо мне в глаза глядит
И скорой гибелью грозит
Огромная звезда.

1939

VI

Легкие летят недели.
Что случилось, не пойму,
Как тебе, сынок, в тюрьму
Ночи белые глядели.
Как они опять глядят
Ястребиным жарким оком,
О твоём кресте высоком
И о смерти говорят.

Весна 1939

VII Приговор

И упало каменное слово
На мою еще живую грудь.
Ничего, ведь я была готова,
Справлюсь с этим как-нибудь.

У меня сегодня много дела:
Надо память до конца убить,
Надо, чтоб душа окаменела,
Надо снова научиться жить.

А не то... Горячий шелест лета
Словно праздник за моим окном.
Я давно предчувствовала этот
Светлый день и опустелый дом.

[22 июня] 1939
Фонтанный Дом

VIII К Смерти

Ты все равно придешь — зачем же не теперь?
Я жду тебя — мне очень трудно.
Я потушила свет и отворила дверь
Тебе, такой простой и чудной.
Прими для этого какой угодно вид,

Ворвись отравленным снарядом
Иль с гирькой подкрадись, как опытный бандит,
Иль отрави тифозным чадом.
Иль сказочкой, придуманной тобой
И всем до тошноты знакомой, —
Чтоб я увидела верх шапки голубой
И бледного от страха управдома.
Мне все равно теперь. Клубится Енисей,
Звезда Полярная сияет.
И синий блеск возлюбленных очей
Последний ужас застигает.

*19 августа 1939
Фонтанный Дом*

IX

Уже безумие крылом
Души накрыло половину,
И поит огненным вином,
И манит в черную долину.

И поняла я, что ему
Должна я уступить победу,
Прислушиваясь к своему
Уже как бы чужому бреду.

И не позволит ничего
Оно мне унести с собою
(Как ни упрашивай его
И как ни докучай мольбою):

Ни сына страшные глаза —
Окаменелое страданье,
Ни день, когда пришла гроза,
Ни час тюремного свиданья.

Ни милую прохладу рук,
Ни лип взволнованные тени,
Ни отдаленный легкий звук —
Слова последних утешений.

*4 мая 1940
Фонтанный Дом*

Х
Распятие

«Не рыдай Мене, Мати,
во гробе зрящи»

1

Хор ангелов великий час восславил,
И небеса расплавились в огне.
Отцу сказал: «Почто Меня оставил!»
А матери: «О, не рыдай Мене...»

2

Магдалина билась и рыдала,
Ученик любимый каменел,
А туда, где молча Мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.

1940

Фонтанный Дом

Эпилог

1

Узнала я, как опадают лица,
Как из-под век выглядывает страх,
Как клинописи жесткие страницы
Страдание выводит на щеках,
Как локоны из пепельных и черных
Серебряными делаются вдруг,
Улыбка вянет на губах покорных,
И в сухоньком смешке дрожит испуг.
И я молюсь не о себе одной,
А обо всех, кто там стоял со мною,
И в лютый холод, и в июльский зной
Под красною ослепшею стеною.

2

Опять поминальный приблизился час.
Я вижу, я слышу, я чувствую вас:
И ту, что едва до окна довели,
И ту, что родимой не топчет земли,

И ту, что, красивой тряхнув головой,
Сказала: «Сюда прихожу, как домой!»

Хотелось бы всех поименно назвать,
Да отняли список, и негде узнать.

Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.

О них вспоминаю всегда и везде,
О них не забуду и в новой беде,

И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомиллионный народ,

Пусть так же они поминают меня
В канун моего поминального дня.

А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,

Согласье на это даю торжество,
Но только с условием — не ставить его

Ни около моря, где я родилась:
Последняя с морем разорвана связь,

Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,

А здесь, где стояла я триста часов,
И где для меня не открыли засов.

Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забуть громохание черных марушь,

Забуть, как постылая хлопала дверь,
И выла старуха, как раненый зверь.

И пусть с неподвижных и бронзовых век,
Как слезы, струится подтаявший снег,

И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо идут по Неве корабли.

*Около 10 марта 1940
Фонтанный Дом*

«Поэма без героя»

О том, как создавалась «Поэма без героя» — центральное и самое сложное из произведений Ахматовой — сама поэтесса рассказала так: «Она пришла ко мне в ночь с 26-го на 27-ое декабря 1940... Я не звала ее. Я даже не ждала ее в тот холодный темный день моей последней ленинградской зимы... В ту ночь я написала два куска 1-ой части и посвящение. Через несколько дней я, почти не отрываясь, написала «Решку» [название 2-й части. — Сост.], а в Ташкенте [в августе 1942. — Сост.] — «Эпилог», ставший третьей частью поэмы». Сюжет первой части («Тысяча девятьсот тринадцатый год») — трагедия молодого поэта, за год до начала Мировой войны покончившего самоубийством из-за неверности возлюбленной, описываемая на фоне новогоднего маскарада; сюжет второй — размышления автора о грядущей судьбе своей поэмы при попытках ее напечатать и о возможных ее оценках критикой и читателями, переходящие в раздумья о сути поэзии; сюжет третьей части — грандиозная картина Земли, раздираемой Мировой войной, данная с самолета, увозящего автора из блокадного Ленинграда. «Поэма без героя» стала обобщением размышлений Ахматовой о своем поколении — людях «серебряного века» и об испытаниях, которые им принес «Настоящий Двадцатый век», начавшийся в 1914 г. Уже в 1943 г., в Ташкенте, Ахматова, считая поэму законченной, написала к ней предисловие и стала давать для чтения своим друзьям. Списки «Поэмы без героя», перепечатанные ценителями поэзии Ахматовой, быстро разлетелись по стране (поэт Варлам Шаламов вспоминает, что он познакомился с ней еще в годы войны, когда отбывал срок в колымских лагерях). Тогда же, в 1944–45 гг., фрагменты «Поэмы без героя» появились в печати (журн. «Ленинград», 1944, №10/11 — отрывок из «Эпилога»; «Ленинградский альманах», 1945 — фрагменты из первой части). Однако события 1946 — идеологическая казнь Ахматовой, после знаменитого доклада Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград», а также некоторые обстоятельства личной жизни поэтессы — повлекли за собой переработку и расширение замысла поэмы. Среди персонажей 1913 года появляется «Гость из будущего» — человек, с которым Ахматова познакомилась в конце 1945, поэма обрастает новыми посвящениями, вставками, главы предваряются авторским ремарками, что превращает ее в подобие театрального либретто (сама Ахматова считала возможным создание балета на основе первой части поэмы), текст завершают полупародийные «Примечания редактора», поясняющие общеизвестные факты, но оставляющие в тени действительно загадочные намеки, содержащиеся в тексте. С 1956 г. возобновляется публикация фрагментов «Поэмы без героя» в советской печати. Сама Ахматова называла датой окончания поэмы 1962 (тогда же она отдала полный ее текст в редактировавшийся Твардовским «Новый мир»), однако продолжала размышлять над поэмой (собирать отзывы современников, приписывать строфы) до конца жизни (каноническим принято считать текст машинописи, подаренный поэтессой своему старинному другу академику Жирмунскому в 1963 г. с устным указанием, что этот текст — последний и окончательный).

В СССР при жизни Ахматовой опубликовать «Поэму без героя» не удалось, впервые ее полный текст был напечатан в нью-йоркском альманахе «Воздушные пути» (вып.3, 1963), хотя большие фрагменты из нее печатались во всех авторских сборниках поэтессы, начиная с 1958 г. Только в книге «Избранное» (М., 1974) и в составленном Жирмунским сборнике Ахматовой «Стихотворения и поэмы» (Ленинград, 1976) «Поэма без героя» была опубликована целиком. Однако по-прежнему не могли пройти цензуру несколько «пропущенных строф» из «Решки» и «Эпилога» («Ты спроси моих современниц, / каторжанок,

стопятниц, пленниц, / и тебе порасскажем мы, / как в беспамятном жили страхе, / как растили детей для плахи, / для застенка и для тюрьмы... »; «А за проволокой колючей, / в самом сердце тайги дремучей, / я не знаю, который год/ ставший горстью лагерной пыли, / ставший сказкой из страшной были/ мой двойник на допрос идет...»). Эти строки «Поэмы без героя» до 1987 г. распространялись в СССР в Самиздате, любители поэзии вклеивали напечатанные на машинке вставки в книги Ахматовой.

Лучшее издание поэмы Ахматовой — подготовленная Р. Тименчиком книга «Поэма без героя» (М., Изд-во МПИ, 1989), снабженная обширным комментарием, а также стихотворениями, перепиской и воспоминаниями самой Ахматовой и ее современников — прототипов героев поэмы.

ПОЭМА БЕЗ ГЕРОЯ

Часть ПЕРВАЯ

ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ТРИНАДЦАТЫЙ ГОД

Di rider finirai
pria dell'aurora
Don Giovanni

Во мне еще, как песня или горе,
последняя зима перед войной
Белая стая

Посвящение

...А так как мне бумаги не хватило,
Я на твоём пишу черновике.
И вот чужое слово проступает
И, как снежинка на моей руке,
Доверчиво и без упрёка тает.
И темные ресницы Антиноя
Вдруг поднялись, и там зелёный дым,
И ветерком повеяло родным, -
Не море ли? — нет, это только хвоя
Могильная, и в накипаньи пен
Все ближе, ближе... «Marche fun e bre»...
Шопен...

Вступление

Из года сорокового
Как с башни на все гляжу.
Как будто прощаюсь снова
С тем, с чем давно простилась,
Как будто перекрестилась
И под темные своды схожу.
1941. Август (воздушная тревога)
Осажденный Ленинград

I

In my hot youth – when George the Third was King
Don Juan

Я зажгла заветные свечи
И вдвоем с ко мне не пришедшим
Сорок первый встречаю год.
Но... Господняя сила с нами!
В хрустале утонуло пламя,
«И вино, как отравя, жжет».

Это всплески жуткой беседы,
Когда все воскресают бреды,
А часы все еще не бьют.
Нету меры моей тревоге,
Я, как тень, стою на пороге,
Стерегу последний уют.

И я слышу звонок протяжный,
И я чувствую холод влажный,
Каменею, стыну, горю...
И, как будто припомнив что-то,
Повернувшись вполоборота,
Тихим голосом говорю:

Вы ошиблись: Венеция дождей –
Это рядом, но маски в прихожей
И плащи, и жезлы, и венцы
Вам сегодня придется оставить,
Вас я вздумала нынче прославить,
Новогодние сорванцы.

Этот Фаустом, тот Дон Жуаном,
А какой-то еще с тимпаном

Козлоногую приволок.
И для них расступились стены,
Вдалеке завыли сирены,
И, как купол, вспух потолок.

Ясно все: не ко мне, так к кому же!
Не для них здесь готовился ужин
И не их собирались простить.
Хром последний, кашляет сухо...
Я надеюсь, нечистого духа
Вы не смели сюда ввести.

Я забыла ваши уроки,
Краснобаи и лжепророки
Но меня не забыли вы!
Как в прошедшем грядущее зреет,
Так в грядущем прошлое тлеет –
Страшный праздник мертвой листвы.

* * *

Только ряженных ведь я боялась:
Мне всегда почему-то казалось,
Что какая-то лишняя тень
Среди них без лица и названья
Затесалась. Откроем собранье
В новогодний торжественный день.

Ту полночную гофманиану
Разглашать я по свету не стану
И других бы просила...
Постой,
Ты, как будто, не значишься в списках,
В колдунах, звездочетах, лизисках –
Полосатой наряжен верстой, –
Размалеванный пестро и грубо,
Ты – ровесник Мамврийского Дуба,
Вековой собеседник луны.
Не обманут притворные стоны,
Ты железные пишешь законы:
Хаммураби, Ликурги, Солоны
У тебя поучиться должны.

Существо это странного нрава...
Он не ждет, чтоб подагра и слава
Впопыхах усадили его

В юбилейные пышные кресла,
А несет по цветущему вереску,
По пустыням свое торжество.

И ни в чем не повинен — ни в этом,
Ни в другом и ни в третьем. Поэтам
Вообще не пристали грехи.
Проплясать пред Ковчегом Завета
Или сгинуть... да что там, — про это
Лучше их рассказали стихи.

Крик: «Героя на авансцену!»
Не волнуйтесь — дылде на смену
Непременно выйдет сейчас
И споет о священной мести...
Что ж вы все убегаете вместе,
Словно каждый нашел по невесте,
Оставляя с глазу на глаз
Меня в сумраке с черной рамой,
Из которой глядит тот самый
До сих пор неоплаканный час.

* * *

Молодого ль месяца шутки?!
Или вправду там кто-то жуткий
Между печкой и шкафом стоит?!-
Бледен лоб и глаза закрыты...
Значит — хрупки могильные плиты,
Значит — мягче воска гранит.
Вздор, вздор, вздор! — от такого вздора
Я седею сделаюсь скоро
Или стану совсем другой.
Что ты манишь меня рукою?..
За одну минуту покоя
Я посмертный отдам покой.
Это все наплывает не сразу...
Как одну музыкальную фразу
Слышу несколько сбивчивых слов.
После... лестницы плоской ступени,
Вспышка газа и в отдаленьи
Ясный голос: «Я к смерти готов!».
<...>

Андреев
Даниил Леонидович
(1906–1959)



Поэт, писатель, философ.

Родился в Берлине. Отец — известный писатель Леонид Андреев. Мать — А.М. Велигорская — умерла от родовой горячки. Воспитывался в семье сестры матери. Писать начал очень рано. В 20-х годах окончил Высшие литературные курсы. Однако религиозно-мистический характер его стихов не соответствовал времени зарождения и господства социалистического реализма (причуды судьбы: крестным отцом Д. Андреева был ... Максим Горький). О публикации стихов не приходилось и думать. Средства на жизнь давала скромная профессия художника-оформителя. В 1942 г. демобилизован, попадает на Ленинградский фронт и своими глазами видит все ужасы блокады. Вернувшись с фронта, выкапывает из земли стихи и незаконченный роман «Странники ночи» и продолжает работу над ним вплоть до ареста в 1947 г.: 25 лет по ОСО и уничтожение всего архива поэта — роман, поэмы, поэтические симфонии, стихи. В тюрьме продолжает писать, но дважды черновики гибнут во время обысков. В 1956 г. срок был сокращен с 25 до 10 лет и поэт выходит на свободу, будучи уже смертельно больным. Только Божьим промыслом можно объяснить, что заставило начальника Владимирской тюрьмы Д.И. Крота отдать незадолго перед освобождением Д. Андреева его жене, так же только что отсидевшей срок, целый мешок рукописей мужа.

Оставшиеся 23 месяца своей жизни Д. Андреев посвятил напряженной работе над черновиками, чтобы закончить то, что он считал главным делом своей жизни: триптих «Роза мира», «Железная мистерия», «Русские боги». Лишь в 1975 году выходит маленький сборник (Д. Андреев, Ранью заревою, М.: «Советский писатель», 1975). Полностью опубликованы они будут через 30 лет после смерти поэта.

Отдельные отрывки (особенно «Ленинградский апокалипсис») ходили в Самиздате.

Основные произведения Д. Андреева опубликованы в 1989-91 годах:

Д. Андреев. Русские боги, Стихотворения и поэмы. М.: «Современник», 1989.

Даниил Андреев. Железная мистерия: Поэма, М.: Молодая гвардия, 1990.

Даниил Андреев. Роза мира: метафилософия истории. М.: Прометей, 1991.

Поэма «Ленинградский апокалипсис»

Поэма была написана Андреевым в 1949-1953 гг. во Владимирской тюрьме. Лирическому герою поэмы, лежащему в госпитале в блокадном городе, видится мистико-фантастическая картина Отечественной войны — борьба чудовищ, символизирующих русскую и германскую государственность.

Тетрадки, в одной из которых была рукопись поэмы, автору удалось передать на волю в 1956 г. во время свидания с женой (в мешке с вещами). После освобождения (апрель 1957) Андреев успел завершить и перепечатать основной корпус своих стихотворных произведений, созданных в заключении, и скомпоновать из них сборник «Русские боги». «Ленинградский апокалипсис» вошел в этот сборник в качестве шестой главы. Вскоре после смерти Д. Андреева его вдова Алла Андреева передала все автографы мужа, в том числе и тюремные владимирские тетради, его родному брату Вадиму Андрееву, который постоянно жил за границей как сотрудник ООН и ЮНЕСКО. (Вадим и его родственники в 1960-е годы вывезли за границу много Самиздатских рукописей). Брат передал рукописи в Русский архив Университета г. Лидс (Великобритания), где они хранятся и поныне.

Сама же А. Андреева на основании машинописных текстов, подготовленных мужем, сформировала его Самиздатское собрание сочинений, которое в 1960-е-1980-е гг. распространялось в СССР среди любителей поэзии и неортодоксальной философии. Поэма оказала большое влияние на неофициальную культуру: среди авторов Самиздата, давших высокую оценку Андрееву и «Ленинградскому апокалипсису», такие полярные фигуры как Григорий Померанц и Игорь Шафаревич; художник П. Потапов воплотил образы поэмы в одноименной картине. В эмигрантской печати творчество Д. Андреева не вызвало интереса, небольшую подборку стихов опубликовал «Вестник РХД» (но «Ленинградский апокалипсис» туда не вошел). Впервые поэма опубликована в составе сборника «Русские боги» (1989), с этого времени она неоднократно переиздавалась.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ АПОКАЛИПСИС

Поэма

1

Ночные ветры! Выси черные
Над снежным гробом Ленинграда!
Вы — испытанье; в вас — награда;
И зорче ордена храню
Ту ночь, когда шаги упорные
Я слил во тьме Ледовой трассы
С угрюмым шагом русской расы,
До глаз закованной в броню.

2

С холмов Москвы, с полей Саратова,
Где волны зыблются ржаные,
С таежных недр, где вековые
Рождают кедры хвойный гул,

Для горестного дела ратного
Закон спаял нас воедино
И сквозь сугробы, судры, льдины
Живою цепью протянул.

3

Дыханье фронта здесь воочию
Ловили мы в чертах природы:
Мы – инженеры, счетоводы,
Юристы, урки, лесники,
Колхозники, врачи, рабочие –
Мы, злые псы народной псарни,
Курносые мальчишки, парни,
С двужильным нравом старики.

4

Косою сверхгигантов скошенным
Казался лес равнин Петровых,
Где кости пней шестиметровых
Торчали к небу, как стерня,
И чудилась сама пороша нам
Пропахшей отдаленным дымом
Тех битв, что Русь подняли дыбом
И рушат в океан огня.

5

В нас креп утробный ропот голода.
За этот месяц сколько раз мы
Преодолеть пытались спазмы,
Опустошающие мозг!
Но голод пух, мутил нам головы,
И видел каждый: воля, вера,
Рассудок – в этих лапах серых
Податливей, чем нежный воск.

6

Он заволакивал нам зрение,
Затягивал всю душу студнем;
Он только к пище, только к будням
Спешил направить труд ума...
Свои восторги, озарения,
Тоску, наитья, взрывы злобы
Рождает этот дух безлобый,
Бесформенный, как смерть сама.

7

Как страшно чуют эти щупальцы,
Сперва скользкие в желудке,
Потом – в сознание, в промежутке
Меж двух идей, двух фраз, двух слов!
От паутины липкой щурится
И слепнет дух, дичает разум,
И мутный медленный маразм
Жизнь превращает в рыск и в лов.

8

Прости, насыть, помилуй. Господи,
Пошли еще один кусок тем,
Кто после пшенной каши ногтем
Скребет по днищу котелка;
Кто, попадая в теплый госпиталь,
Сестер, хирургов молит тупо:
«Товарищ доктор, супа... супа!» –
О да, воистину жалка

9

Судьба того, кто мир наследовал
В его минуты роковые,
Кого призвали Всеблагие
Как собеседника на пир –
И кто лишь с поваром беседовал
Тайком, в походной кухне роты,
Суля ему за все щедроты
Табак – свой лучший сувенир.

10

Так начинался марш. Над Ладогой
Сгущались сумерки. На юге
Ракет германских злые дуги
Порой вились... Но ветер креп:
Он сверхъестественную радугу
Залить пытался плотным мраком,
Перед враждебным Зодиаком
Натягивая черный креп.

<...>

14

Мы знали все: вокруг «града Ленина»
Блокада петлю распростерла.
Как раненный навывлет в горло,
Дышать он лишь сквозь трубку мог –

Сквозь трассу Ладоги... В томлении
Хватал он воздух узким входом
И гнал по жаждущим заводам
Свой каждый судорожный вдох.

<...>

36

Утих сам голод. Одичание
Усталых воль, сознаний, тела
Забылось. Родина смотрела
На каждого из нас. По льду
Мы шли без слов, без слез, в молчании,
Как входят дети друг за другом
К отцу, что, истомлен недугом,
Встречает смерть в ночном бреду.

37

А там, за выбитыми окнами,
За кусковатою фанерой,
Без дров, без пищи, в стуже серой
Чуть теплились едва-едва
И полумертвыми волокнами
Еще влачились жизни, жизни,
Все до конца отдав отчизне
И не дождавшись торжества.

<...>

72

На этот город, не сдающийся
Пред неизбежною минутой,
Кого спасти от смерти лютой
Не снидет правый серафим;
На люд, в убежищах мятущийся;
На улицы, где каждый камень
Истерт священными веками
И русским гением творим;

73

На все, что в сонных залах заперто
Под хрупкой кровлею дворцовой;
На гордый храм златовенцовый,
Граниты, бронзу, мрамор, туф...
И на несчастных, спящих замертво
В сырых постелях, мерзлых норах,
Старья и рвани пестрый ворох
До глаз в ознобе натянув.

74

О, знаю: зрению телесному
Ты не предстанешь в плотной яви:
Она тесна; Твоей ли славе
Замкнуться в сеть координат?
Но Ты могуч! дорогу крестную
Ты облегчить нам можешь! можешь!
Страна горит; пора, о, боже,
Забывать, кто прав, кто виноват.

75

Нет, не Творца Триипостасного
Я именую этим словом
Теперь, вот здесь, когда громовым
Раскатом град наш потрясен:
Тебя! нас слышащего! страстного,
Живого Ангела Народа,
Творца страны — с минут восхода
И до конца ее времен!..

<...>

87

...Родиться в век духовных оползней,
В век колебанья всех устоев,
Когда, смятенье душ утроив,
Сквозь жизнь зияет новый смысл;
До боли вглядываться в пропасти,
В кипящие извивы бури,
В круги, что чертят по культуре
Концы гигантских коромысл;

88

Годами созерцать воочию
Бой древней сути — с новой сутью,
Лишь для того, чтоб на распутьи,
Когда день гнева наступил,
Стоять, как мальчик, в средоточии
Бушующего мирозданья,
Не разгадав — ни содержанья,
Ни направленья буйных сил...

89

Не причастившись, не покаявшись,
Не умягчась святой обедней,
Вступить на этот край последний,

В его свинцовую пургу,
И этот новый Апокалипсис
Читая полночью бессонной,
Лишь понимать, что смысл бездонный
Расшифровать я не могу.

<...>

Источник: сайт mirosvet.narod.ru

Глазков
Николай Иванович
(1919–1979)



Поэт, переводчик.

Родился в 1919 г. в с. Лысково Нижегородской губ. в семье адвоката. Отец был репрессирован в 1938 г.

Писать стихи начал в 1932 г. В 1938–1940 гг. учился на филологическом факультете Московского государственного педагогического института, исключен в 1940 г. как сын «врага народа». В 1941 г. учился в Литературном институте им. Горького, в 1942 г. закончил Горьковский педагогический институт. Начал работать сельским учителем, с 1944 г. жил в Москве, работал грузчиком, носильщиком, пильщиком дров.

Стихи печатались как официально, так и неофициально — в Самиздате и на Западе. При жизни Глазкова в СССР были опубликованы: «Моя эстрада» (1957), «Зеленый простор» (1960); «Поэтоград» (1962); «Дороги и звезды» (1966), «Пятая книга» (1966); «Большая Москва» (1969); «Творческие командировки» (1971), «Незнамые реки» (1975), «Вокзал» (1976) и др. Именно Н. Глазкову принадлежит первенство в создании термина «Самиздат»: уже с конца сороковых годов он печатал на машинке свои стихи, переплетал их и, пародируя названия Госполитиздат, Профиздат и т.д., печатал на обложке «Самсебяиздат». В таком виде он дарил и давал читать свои книги друзьям и знакомым. Уверенность в значимости своего поэтического творчества Глазков выразил в следующих полушуточных стихах:

Поезд едет ду-ду-ду,
Чрезвычайно скоро.
Он везет не ерунду,
А стихи Глазкова.
И за будущие дни
Я не беспокоюсь,
Потому что искони
Верю в этот поезд.

Наиболее полно творчество Н. Глазкова представлено: Николай Глазков. Избранное. М.: Художественная литература, 1989.

СТИХИ 40-Х ГОДОВ:

* * *

Мне говорят, что «Окна ТАСС»
Моих стихов полезнее.
Полезен также унитаз,
Но это не поэзия...

* * *

Писатель рукопись посеял,
Но не сумел ее издать.
Она валялась среди Расеи
И начала произрастать.

Поднялся рукописи колос,
Над сорняковой пустотой.
Людей громада раскололась
В признание рукописи той

Одни кричали: «Это хлеб,
И надо им засеять степи!»
Другие – что поэт нелеп
И ничего не смыслит в хлебе.

СТИХИ 50-Х ГОДОВ:

На стадионе

Команды мастеров гоняли мяч.
Мяч бешено взлетал, о ноги тычась.
Смотрела на футбольный этот матч
Толпа людей примерно в двадцать тысяч.

Они болели. Я болеть не мог,
И оставался их восторгам чуждым.
Я был на стадионе одинок;
И не был я охвачен стадным чувством!..

Источник: Русская виртуальная библиотека (<http://www.rvb.ru>)

Есенин-Вольпин
Александр Сергеевич
(Род. 1924)



Математик, публицист, поэт. Один из первых участников диссидентского движения.

Родился в Ленинграде в 1924 г. Сын поэта Сергея Есенина. В 1946 г. с отличием окончил механико-математический факультет Московского университета. Во время Отечественной войны не был призван в армию из-за психиатрического диагноза (клеймо душевнобольного сопровождало его все годы жизни в СССР). Еще в студенческие годы он стал известен как поэт, неоднократно выступал публично с чтением стихов. В 1949 г., окончив аспирантуру НИИ математики при МГУ и защитив кандидатскую диссертацию по математической логике, уехал работать в г.Черновицы (Украина). Там он вскоре был арестован органами госбезопасности за чтение своих стихов в кругу близких друзей и отправлен на принудительное лечение в Ленинградскую спецпсихбольницу. В 1950 г. после изменения приговора был выслан в Караганду, где подружился со знакомыми еще по Москве поэтами Наумом Коржавиным и Юрием Айхенвальдом. В 1959 г. Вольпина вновь поместили в психиатрическую больницу и продержали там около 2 лет. Тем временем за границей, по его желанию, были опубликованы его философское эссе под названием «Свободный философский трактат» и сборник стихов «Весенний лист» — второй после дела Бориса Пастернака случай, когда советский гражданин осмелился напечататься за границей под собственным именем без санкции властей. По выходе из больницы в 1961 г., Вольпин стал внештатным научным сотрудником Института научной информации (ВИНИТИ) и работал там до отъезда из СССР. Занимался реферированием и переводами зарубежной математической литературы, писал статьи для «Философской энциклопедии».

Есенин-Вольпин — один из основоположников правозащитной идеологии: он пропагандировал идею апелляции к советским законам с целью оправдания действий инакомыслящих. При этом он не только говорил об этом в кругу друзей, но и предпринял ряд практических шагов в рамках правового подхода к разрешению общественных коллизий. После ареста в сентябре 1965 г. писателей Юлия Даниэля и Андрея Синявского Вольпин составил (совместно с Е. Строевой и В. Никольским) текст «Гражданского обращения» с призывом собраться 5 декабря 1965 г. на Пушкинской площади в Москве на «митинг гласности» (см. т. 1, кн. 2, стр. 345). В конце 1967 — начале 1968 г. Вольпин стал одним из организаторов петиционной кампании вокруг «процесса четырех» (см. т. 2). Написанная им в 1968 г. «Памятка для тех, кому предстоят допросы» служила незаменимым пособием для диссидентов в их правовом противостоянии советской карательной системе.

Очередное заключение Вольпина в психиатрическую больницу (1968) вызвало широкую кампанию протеста среди советских и зарубежных математиков.

В ноябре 1970 г. Вольпин стал экспертом Комитета прав человека — независимой ассоциации, ставившей своими целями изучение проблем прав человека и правовое

просвещение в СССР. Полтора года активно участвовал в работе Комитета, написал несколько докладов (о праве на защиту, о правах психически больных, о международных пактах о правах человека).

В 1972 г. Советское правительство вынудило его эмигрировать в США. Там он продолжал заниматься наукой и правозащитной деятельностью.

НИКОГДА Я НЕ БРАЛ СОХИ

Никогда я не брал сохи,
Не касался труда ручного,
Я читаю одни стихи,
Только их — ничего другого...
Но поскольку вожди хотят,
Чтоб слова их всегда звучали,
Каждый слесарь, каждый солдат
Обучает меня морали:
«В нашем обществе все равны
И свободны — так учит Сталин.
В нашем обществе все верны
Коммунизму — так учит Сталин».
...И когда «мечту всех времен»,
Не нуждающуюся в защите,
Мне суют как святой закон
Да еще говорят: любите, —
То, хотя для меня тюрьма —
Это гибель, не просто кара,
Я кричу: «Не хочу дерьма!»
...Словно я не боюсь удара,
Словно право дразнить людей
Для меня как искусство свято,
Словно ругань моя умней
Простоватых речей солдата...
...Что ж поделаешь, раз весна —
Неизбежное время года,
И одна только цель ясна,
Неразумная цель — свобода!

31 августа 1946

НЕ ИГРАЛ Я РЕБЕНКОМ С ДЕТЬМИ

Не играл я ребенком с детьми,
Детство длилось, как после — тюрьма...
Но я знал, что игра — чепуха,
Надо возраста ждать и ума!

...Подрастая, я был убежден,
Что вся правда откроется мне —
Я прославлюсь годам к тридцати
И, наверно, умру на Луне!

— Как я многого ждал! А теперь
Я не знаю, зачем я живу,
И чего я хочу от зверей,
Населяющих злую Москву!

...Женщин быстро коверкает жизнь.
В тридцать лет уже нет красоты...
А мужья их терзают и бьют
И, напившись, орут, как коты.

А еще — они верят в прогресс,
В справедливый общественный строй;
Несогласных сажают в тюрьму,
Да и сами кончают тюрьмой.

...Очень жаль, но не дело мое
Истреблять этих мелких людей.
Лучше я соврашу на их казнь
Их же собственных глупых детей!

Эти мальчики могут понять,
Что любить или верить — смешно,
Что тираны — отец их и мать,
И убить их пора бы давно!

Эти мальчики кончат петлей,
А меня не осудит никто, —
И стихи эти будут читать
Сумасшедшие лет через сто!

*Караганда — Москва
Апрель 1952 — 25.12.1953*

О СОГРАЖДАНЕ, КОРОВЫ И БЫКИ!

О сограждане, коровы и быки!
До чего вас довели большевики...

...Но еще начнется страшная война,
И другие постучатся времена...

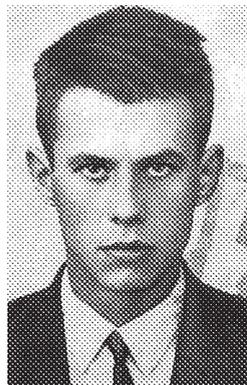
...Если вынесу войну и голодок,
Может быть, я подожду еще годок,
Посмотрю на те невзрачные места,
Где я рос и где боялся так хлыста,
Побеседую с останками друзей
Из ухтинских и устьвымских лагерей, –
А когда пойдут свободно поезда,
Я уеду из России навсегда!
Я приеду в Византию и в Алжир,
Хоть без денег, но заеду я в Каир,
И увижу я над морем белый пар,
За скалою, над которой Гибралтар!
...И настолько ведь останусь я дитя,
Чтобы в Лувре восторгаться не грустя!
И настолько ведь останусь я аскет,
Чтоб надеяться на что-то в сорок лет,
И настолько ведь останусь я собой,
Чтобы вызвать всех католиков на бой!
...Но окажется, что Запад стар и груб,
А противящийся вере – просто глуп,
И окажется, что долгая зима
Выжгла ярость безнадежного ума,
И окажется – вдали от русских мест
Беспредметен и бездушен мой протест!..
...Что ж я сделаю? Конечно, не вернусь!
Но отчаянно напьюсь и застрелюсь,
Чтоб не видеть беспощадной простоты
Повсеместной безотрадной суеты,
Чтоб озлобленностью мрачной и святой
Не испортить чьей-то жизни молодой,
И вдобавок, чтоб от праха моего
Хоть России не досталось ничего!

Караганда – Москва

Апрель 1952 – октябрь 1953

Источник: сайт Русская виртуальная библиотека (<http://www.rvb.ru>)

Галансков
Юрий Тимофеевич
(1939–1972)



Родился в семье московских рабочих. Поступил на исторический факультет Московского государственного университета, но был исключен за независимость суждений. Работал в Литературном музее. Продолжал образование на вечернем отделении Историко-архивного института.

Был одним из активных участников литературных чтений у памятника Маяковского, где впервые прозвучала его поэма «Человеческий манифест». В 1961 г. принял участие в создании поэтического сборника «Феникс» (одного из первых изданий Самиздата, см. т. 1, кн. 2, стр. 350). Пытался создать пацифистскую организацию в СССР, составил проекты программы и устава Всемирного союза сторонников всеобщего разоружения. Один из организаторов «митинга гласности» на Пушкинской площади в Москве 5 декабря 1965 г.

Летом 1966 г. Галансков организовал московскую оппозиционную молодежь, усилиями которой, несмотря на противодействия органов подавления, 5 декабря 1966 г. на площади Пушкина проводится новый митинг общественного несогласия с антиконституционной политикой власти. Одновременно он составил сборник общественно-политических и литературных материалов «Феникс-66» (см. т. 2, стр. 433), а его друг Александр Гинзбург — «Белую книгу по делу Синявского и Даниэля» (см. т. 2, стр. 422). В 1966 г. Галансков сблизился с НТС (Международная организация «Народно-трудовой союз») и стал его членом.

19 января 1967 г. Галанскова арестовывают, и после года пребывания под следствием в Лефортовской тюрьме он (вместе с А.И. Гинзбургом, В.И. Лашковой и А.И. Добровольским) предстает перед судом (т.н. «процесс четырех»). Приговор Галанскову (он получил 7 лет лагерей) и его подельникам вызвал массовые протесты в России и во всем мире.

В мордовском лагере Галансков принимает участие в голодовках протеста, борется против злоупотреблений лагерной администрации, отстаивает права других политзаключенных.

Каторжная работа и систематическое недоедание губительно повлияли на состояние здоровья Галанскова. Тем не менее он категорически отказывался подать просьбу о помиловании, ибо это автоматически означало бы признание своей вины и раскаяние в содеянном.

18 октября 1972 г. в лагерной больнице (поселок Барашево) Галанскову сделали операцию, после которой он скончался (4 ноября 1972).

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ МАНИФЕСТ (Поэма)

1

Все чаще и чаще в ночной тиши
вдруг начинаю рыдать.
Ведь даже крупицу богатств души
уже невозможно отдать.
Никому не нужно:
В поисках Идиота
так измотаешься за день!
А люди идут, отработав,
туда, где деньги и дряни.
И пусть
сквозь людскую лавину
я пройду непохожий, один,
как будто кусок рубина,
сверкающий между льдин.
Не-бо!
Хочу сиять я;
ночью мне разреши
на бархате черного платья
рассыпать алмазы души.

2

Министрам, вождям и газетам — не верьте!
Вставайте, лежащие ниц!
Видите, шарики атомной смерти
у Мира в могилах глазниц.
Вставайте!
Вставайте!
Вставайте!
О, алая кровь бунтарства!
Идите и доломайте
гнилую тюрьму государства!
Идите по трупам пугливых
тащить для голодных людей
черные бомбы, как сливы,
на блюдища площадей.

3

Где они —
те, кто нужны,
чтобы горло пушек зажать,
чтобы вырезать язвы войны
священным ножом мятежа?

Где они?
Где они?
Где они?
Или их вовсе нет? —
Вон у станков их тени
прикованы горстью монет.

4

Человек исчез,
ничтожный, как муха,
он еле шевелится в строчках книг.
Выйду на площадь и городу в ухо
Втисну отчаянья крик!
А потом, пистолет достав,
прижму его крепко к виску...
Не дам никому растоптать
души белоснежный лоскут.
Люди,
уйдите, не надо...
Бросьте меня утешать.
Все равно среди вашего ада
мне уже нечем дышать!
Приветствуйте подлость и голод!
А я, поваленный наземь,
плюю в ваш железный город,
набитый деньгами и грязью.

5

Небо!
Не знаю, что делаю...
Мне бы карающий нож!
Видишь, как кто-то на белое
выплеснул черную ложь.
Видишь, как вечера тьма
жует окровавленный стяг...
И жизнь страшна, как тюрьма,
воздвигнутая на костях!
Падаю!
Падаю!
Падаю!
Вам оставляю лысеть.
Не стану питаться падалью —
как все.
Не стану кишкам на потребу
плоды на могилах срезать.
Не нужно мне вашего хлеба,

замешенного на слезах.
И падаю, и взлетаю
в полубреду,
в полусне.
И чувствую, как расцветает
человеческое
во мне.

6

Привыкли видеть,
расхаживая
вдоль улиц в свободный час,
лица, жизнью изгаженные,
такие же, как и у вас.
И вдруг —
словно грома раскаты
и словно явление Миру Христа,
восстала
растоптанная и распятая
Человеческая Красота!
Это — я,
призывающий к правде и бунту,
не желающий больше служить,
рву ваши черные путы,
сотканые из лжи!
Это — я!
законом закованный,
кричу Человеческий Манифест,
и пусть мне ворон выклевывает
на мраморе тела
крест.

1960

Источник: Юрий Галансков. Ростов-на-Дону: Приазовский край, 1994.

Алешковский
Юз (Иосиф Ефимович)
(Род. 1929)



Писатель. Родился в Сибири в 1929 г. в семье военнослужащего. Во время прохождения действительной службы на флоте совершил ничтожное (характеристика самого Алешковского) уголовное преступление и попал в лагерь. Освобожден по ворошиловской амнистии в 1953 г. По возвращении в Москву, работал шофером, начал писать стихи и рассказы для детей. Сочинял песенки, две из которых стали настолько популярными, что считались народными. В 60-х начал писать прозу, широко ходившую в Самиздате. В середине 70-х эмигрировал в США, где живет и в настоящее время.

Основные произведения:

песни: «Товарищ Сталин, вы большой ученый», «Окурочек»;

романы и повести: «Николай Николаевич», «Кенгуру», «Маскировка», «Рука» и т.д.

Наиболее полное издание: Юз Алешковский. Собрание сочинений в 3 томах (плюс дополнительный), М.: ННН, 1996.

ПЕСНЯ О СТАЛИНЕ

*На просторах родины чудесной,
Закаляясь в битвах и труде,
Мы сложили радостную песню
О великом друге и вожде.*

Товарищ Сталин, Вы большой ученый,
В языкознании знаете Вы толк,
А я простой советский заключенный,
И мне товарищ – серый брянский волк.

За что сижу, воистину не знаю,
Но прокуроры, видимо, правы.
Сижу я нынче в Туруханском крае,
Где при царе сидели в ссылке Вы.

В чужих грехах мы сходу сознавались,
Этапом шли навстречу злой судьбе.
Мы верили Вам так, товарищ Сталин,
Как, может быть, не верили себе.

И вот сижу я в Туруханском крае,
Где конвоиры, словно псы, грубы.

Я это все, конечно, понимаю
Как обостренье классовой борьбы.

То дождь, то снег, то мошкара над нами,
А мы в тайге с утра и до утра.
Вы здесь из искры разводили пламя,
Спасибо Вам, я греюсь у костра.

Вам тяжелей, Вы обо всех на свете
Заботитесь в ночной тоскливый час,
Шагаете в кремлевском кабинете,
Дымите трубкой, не смыкая глаз.

И мы нелегкий крест несем задаром
Морозом дымным и в тоске дождей,
Мы, как деревья, валимся на нары,
Не ведая бессонницы вождей.

Вчера мы хоронили двух марксистов,
Тела одели ярким кумачом.
Один из них был правым уклонистом,
Другой, как оказалось, ни при чем.

Он перед тем, как навсегда скончаться,
Вам завещал последние слова,
Велел в евоном деле разобраться
И тихо вскрикнул: «Сталин — голова!»;

Вы снитесь нам, когда в партийной кепке
И в кителе идете на парад.
Мы рубим лес по-сталински, а щепки,

А щепки во все стороны летят.
Живите тыщу лет, товарищ Сталин,
И пусть в тайге придется сдохнуть мне,
Я верю, будет чугуна и стали
На душу населения вполне.

ОКУРОЧЕК

Из колымского белого ада
Шли мы в зону в морозном дыму.
Я заметил окурочек с красной помадой
И рванулся из строя к нему.

Баб не видел я года четыре,
Только мне, наконец, повезло.

Ах, окурочек, может быть, с Ту-104
Диким ветром тебя занесло.

И жену удавивший татарин,
И активный один педераст
Всю дорогу до зоны шагая, вздыхали,
Не сводили с окурочка глаз.

С кем ты, стерва, любовь свою крутишь?
С кем дымишь сигареткой одной?
Ты во Внукове спьяну билета не купишь,
Чтоб хотя б пролететь надо мной.

В честь твою заряжал я попойки
И французским поил коньяком,
Сам пьянел от того, как курила ты «Тройку»
С золотым на конце ободком.

Проиграл тот окурочек в карты я,
Хоть дороже был тыщи рублей.
Даже здесь не видать мне счастливого фарта
Из-за грусти по даме червей.

Проиграл я и шмутки, и сменку,
Сахарок за два года вперед.
Вот сижу я на нарах, обнявши коленки,
Так как не в чем идти на развод.

Пропадал я за этот окурочек,
Никого не кляня, не вина,
Но зато господа из влиятельных урок
За размах уважали меня.

Шел я в карцер босыми ногами,
Как Христос, и спокоен, и тих.
Десять суток кровавыми красил губами
Я концы самокруток своих.

– Негодяй, ты на воле растратил
Много тыщ на блистательных дам!
– Это да, – говорю, – гражданин надзиратель,
Только зря, – говорю, – гражданин надзиратель! –
Рукавичкой вы мне по губам.

Баркова
Анна Александровна
(1901–1976)



Поэт, прозаик, эссеист.

Родилась в Иваново в семье сторожа гимназии. В 1919 г. после окончания гимназии работала под руководством А.К. Воронского в газете «Рабочий край», где были опубликованы ее первые заметки, очерки и стихи. Первый и единственный прижизненный поэтический сборник «Женщина» был издан в 1922 г. в Петрограде с предисловием А. Луначарского, писавшего: «Я вполне допускаю мысль, что Вы сделаетесь лучшей русской поэтессой за все пройденное время русской литературы». Сборник был замечен и оценен А. Блоком, В. Брюсовым, Б. Пастернаком. В том же году А. Баркова переезжает в Москву и работает в секретариате А. Луначарского. Ее стихи были включены в антологию «Русская поэзия XX века» выпущенную в 1925 г. под редакцией И. Ежова и Е. Шамурина. Первый раз арестованная в 1934 г. с перерывами провела в заключении в общей сложности 22 года (1934–1939, 1947–1956, 1957–1965), в промежутках — в ссылке: итого 30 лет. И все по одной и той же статье 58-10, АСА — антисоветская агитация. Реабилитирована была стараниями А. Твардовского в 1965 г. Но стихи ее не печатались «из-за недостатка в них оптимизма» (из редакторской рецензии).

Однако дух отважной женщины не был сломлен. Вот отрывок из письма семидесятилетней А. Барковой И. Хохлушкину:

«...Я предаюсь дьяволу иронии, бесу противоречия, духу неверия. Но не думайте, что небо мне совершенно чуждо. Простите за цитату, но могу повторить вслед за Гейне: «Я не знаю, где кончается ирония и начинается небо». И вот эта сомнительная, коварно-насмешливая сторона любого явления, любой веры, любого убеждения и принципа — это первое, что я вижу и чувствую и против чего настораживаюсь.

Стать выше ненависти? Стать выше 30 лет своего рабства, изгнаничества, преследований, гнусности всякого рода? Не могу! Я не святой человек. Я — просто человек (подчеркнуто А. Барковой). И только за это колесница истории 30 лет подминала меня под колеса. Но не раздавила окончательно. Оставила сильно искалеченной, но живой».

И дальше в письме приводится едкое, горькое, но пророческое стихотворение 1927 г. («Ненависть к другу»), естественно, неопубликованное.

Лишь в 1990 г. в Иваново вышел второй сборник поэтессы, «Возвращение», была опубликована маленькая заметка М. Дудина «В нее верили Блок и Пастернак...», да в сборнике «Средь других имен» опубликовано три десятка страниц стихотворений.

Публикации:

- «Женщина». Стихи. Предисл. А.Луначарского. (1922)
- «Настасья Костер». Пьеса. (1923);
- «Возвращение». Стихотворения. (1990)
- «Вечно не та» (2002)

ПРОКАЖЕННАЯ

Одинока я, прокаженная,
У безмолвных ворот городских,
И молитвенно славит нетленное
Тяжкозвучный каменный стих.
Дуновенье заразы ужасной
Отвращает людей от меня.
Я должна песнопения страстные
Песнопеньями вечно сменять.
Темноцветные горькие песни
В эти язвы пустили ростки.
Я священные славлю болезни
И лежу у ворот городских.
Это тело проказа источит,
Растерзают сердце ножи;
Не смотрите в кровавые очи:
Я вам издали буду служить.
Моя песнь все страстней и печальней
Провожает последний закат,
И приветствует кто-то дальний
Мой торжественно-грустный взгляд.

Источник: сайт Антология русской поэзии (<http://ruslit.ioso.ru/barkova.htm>)

РОБЕСПЬЕР

Кафтан голубой. Цветок в петлице.
Густо намаженная голова.
Так Робеспьер отправляется молиться
На праздник Верховного Существа.

Походка под стать механической кукле,
Деревянный негибкий стан,
Сельского стряпчего шляпа и букли,
Повадки педанта. И это тиран...

«Шантаж, спекуляцию, гнусный подкуп
Омою кровью, искореню!»
И взгляд голубой, бесстрастный и кроткий...
Улыбнулся толпе и парижскому дню.

А на площади мрачной угрюмо стояла толпа...
Неподкупная, словно он Сам, «Вдова»*

И ударом ножа, скрипя,
Подтверждала его слова.

* Так парижане называли гильотину.

1923

НЕНАВИСТЬ К ДРУГУ

Болен всепрощающим недугом
Человеческий усталый род.
Эта книга – раскаленный уголь,
Каждый обожжется, кто прочтет.

Больше чем с врагом, бороться с другом
Исторический велит закон.
Тот преступник, кто любви недугом
В наши дни чрезмерно отягчен.

Он идет запутанной дорогой
И от солнца прячется как вор.
Ведь любовь прощает слишком много:
И отступничество и позор.

Наша цель пусть будет нам дороже
Матерей и братьев, и отцов.
Ведь придется выстрелить, быть может,
В самое любимое лицо.

Нелегка за правый суд расплата, –
Леденеют сердце и уста.
Нежности могучей и проклятой
Не обременяет тягота.

Ненависть ясна и откровенна,
Ненависть направлена к врагу,
Вот любовь – прощает все измены,
И она – мучительный недуг.

Эта книга – раскаленный уголь.
Видишь грудь отверстую мою?
Мы во имя ненавидим друга,
Мы во имя проклянем семью.

Источник: рукопись, семейный архив Хохлушкиных.

В БАРАКЕ

Я не сплю. Заревели бураны
С неизвестной забытой поры,
А цветные шатры Тамерлана
Там, в степях...

И костры, костры.

Возвратиться б монгольской царицей
В глубину пролетевших веков.
Привязала б к хвосту кобылицы
Я любимых своих и врагов.

Поразила бы мстью дикарской
Я тебя, завоеванный мир,
Побежденным в шатре своем царском
Я устроила б варварский пир.

А потом бы в одном из сражений,
Из неслыханных оргийных сеч
В неизбежный момент поражения
Я упала б на собственный меч.

Что, скажите, мне в этом толку,
Что я женщина и поэт?
Я взираю тоскующим волком
В глубину пролетевших лет.

И сгораю от жадности странной
И от странной, от дикой тоски.
А шатры и костры Тамерлана
От меня далеки, далеки.

1935, Караганда

О ВОЗВЫШАЮЩЕМ ОБМАНЕ

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые.

Ф. Тютчев

Ключья мяса, пропитанные грязью,
В гнусных ямах топтала нога.
Чем вы были? Красотой? Безобразием?
Сердцем друга? Сердцем врага?

Перекошено, огненно, злобно
Небо падает в темный наш мир.
Не случилось вам видеть подобного,
Ясный Пушкин, великий Шекспир.

Да, вы были бы так же разорваны
На клочки и втоптаны в грязь,
Стая злых металлических воронов
И над вами бы так же вилась.

Иль спаслись бы, спрятавшись с дрожью,
По-мышьиному, в норку, в чулан,
Лепеча беспомощно: низких истин дороже
Возвышающий нас обман.

1946

РУСЬ

Лошадьми татарскими топтана,
И в разбойных приказах пытана,
И петровским калечена опытом,
И петровской дубинкой воспитана.

И пруссаками замуштрована,
И своими кругом обворована.
Тебя всеми крутило теченьями,
Сбило с толку чужими ученьями.

Ты к Европе лицом повернута,
На дыбы над бездною вздернута,
Ошарашена, огорошена,
В ту же самую бездну и сброшена.

И жива ты, живьем-живехонька,
И твердишь ты одно: «Тошнехонько!
Чую, кто-то рукою железною
Снова вздернет меня над бездною».

1954

* * *

Загон для человеческой скотины.
Сюда вошел — не торопись назад.
Здесь комнат нет. Убогие кабины.
На нарах брюки. На плечах — бушлат.

И воровская судорога встречи,
Случайной встречи, где-то там, в сенях.
Без слова, без любви.

К чему здесь речи?
Осудит лишь скопец или монах.

На вахте есть кабина для свиданий,
С циничной шуткой ставят там кровать;
Здесь арестантке, бедному созданию,
Позволено с законным мужем спать.

Страна святого пафоса и стройки,
Возможно ли страшней и проще пасть —
Возможно ли на этой подлой койке
Растлить навек супружескую страсть!

Под хохот, улюлюканье и свисты,
По разрешенью злого подлеца...
Нет, лучше, лучше откровенный выстрел,
Так честно пробивающий сердца.

1955

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Вышел Иван из вагона
С убогой своей сумой.
Народ расходился с перрона
К знакомым, к себе домой.

Иван стоял в раздумье,
Затылок печально чесал,
Здесь, в этом вокзальном шуме,
Никто Ивана не ждал.

Он, сгорбившись, двинулся в путь
С убогой своей сумой,
И било в лицо и в грудь
Ночную ветреной тьмой.

На улицах было тихо,
И ставни закрыли дома,
Как будто бы ждали лиха,
Как будто бы шла чума.

Он шел походкой неспорой,
Не чуя усталых ног.
Не узнал его русский город,
Не узнал и узнать не мог.

Он шел по оврагам, по горкам,
Не чуя натруженных ног,
Он шел, блаженный и горький,
Иванушка-дурачок.

Из сказок герой любимый,
Царевич, рожденный в избе,
Идет он, судьбой гонимый,
Идет навстречу судьбе.

1955

РОССИЙСКАЯ ТОСКА

Хмельная, потогонная,
Ты нам опять близка,
Широкая, бездонная,
Российская тоска.

Мы строили и рушили,
Как малое дитя.
И в карты, в наши души,
Сам черт играл, шутя.

Нет, мы не Божьи дети,
И нас не пустят в рай,
Готовят на том свете
Для нас большой сарай.

Там нары кривобокие,
Не в лад с доской доска,
И там нас ждет широкая
Российская тоска.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Героям нашего времени
Не двадцать, не тридцать лет.
Тем не выдержать нашего времени,
Нет!
Мы герои, веку ровесники,
Совпадают у нас шаги.
Мы и жертвы, и провозвестники,
И союзники, и враги.

Ворожили мы вместе с Блоком,
Занимались высоким трудом.
Золотистый хранили локон
И ходили в публичный дом.

Разрывали с народом узы
И к народу шли в должники.
Надевали толстовские блузы,
Вслед за Горьким брели в босяки.

Мы испробовали нагайки
Староверских казацких полков
И тюремные грызли пайки
У расчетливых большевиков.

Трепетали, завидя ромбы
И петлиц малиновый цвет,
От немецкой прятались бомбы,
На допросах твердили «нет».

Мы всё видели, так мы выжили,
Биты, стреляны, закалены,
Нашей родины злой и униженной
Злые дочери и сыны.

Источник: Среди других имен: Сборник. М.: Моск. рабочий, 1990.

Загряжский
Андрей Анатольевич
(1898–1970)



Инженер, офицер.

Участник первой мировой войны. Арестован в начале 30-х годов. Срок отбывал в Воркуте, Дмитровлаге (канал Москва-Волга). После освобождения работал на стройках в различных районах страны. Стихи написаны в заключении в 1935-39 годах.

УХТО-ПЕЧЕРСКИЙ ТРАКТ

День за днем немеркнущие зори,
Облаков бессонный перламутр,
Шум тайги, как дальний ропот моря,
В чуткой дреме полуночных утр.

День за днем свинцом гнетет усталость,
Пыль и пот в дороге жгут глаза,
И кричит свирепо на отсталых
Конвоир, винтовкою грозя.

День за днем над теснотой стоянок
Стелется пахучий дым костров.
И весна – царевна Несмеяна –
Мучит звоном липких комаров.

День за днем в пути мы запеваем,
По команде шаг ровнять бодрей:
– «Человек проходит как хозяин
Необъятной родины своей!»

ВОРКУТА

Черной тундры край зацепив,
Вверх пополз ослепительный шар.
Золотых облаков разлив
Днем полночным томит, как кошмар.

Резкий ветер поет, звеня,
Вагонетки поспешно стучат.
Из бессонного зева дня
Надвигается угольный ад.

Речка в тундре, шахт чернота,
Дым, и пыль, и злорадный гудок, —
Так встречает нас Воркута
На мучительный каторжный срок.

Нас, как скот, считает конвой
И ведет, и командует сесть.
И ползут над пыльной травой
Час за часом, которых не счесть.

Источник: Среди других имен: Сборник. М.: Московский рабочий, 1990.

Тагер Елена Михайловна (1895–1964)

Писатель, поэт, публицист, переводчик.

Родилась в Санкт-Петербурге. Училась на историко-филологическом факультете Высших женских (Бестужевских) курсов. С 1915 г. начала печатать стихи в «Ежемесячном журнале» и студенческом журнале «Арион» под псевдонимом Анна Регатт. Была знакома с А. Блоком, А. Ахматовой, О. Мандельштамом.

В двадцатые годы служила в различных советских учреждениях. Переводила фольклор народов СССР, писала прозу, занималась публицистикой. В тридцатые годы в журналах «Красная новь» и «Литературный современник» опубликовала первые свои повести «Желанная страна» (1934) и «Праздник жизни» (1937). Печаталась в журналах «Наши достижения», «Колхозник», «Резец», переводила фольклор малых народов СССР («Якутский фольклор», «Долганский фольклор»). До своего ареста успела издать книги «Зимний берег», «Поясок» (1929), «Венчики-бубенчики», «Сквозь ветер» (1930), «Ревизоры» (1935).

Арестована в конце 1938 г. в связи с делом председателя ленинградского отделения Союза писателей Николая Тихонова (по которому арестован был и писатель Николай Заболоцкий). Под пытками подписала показания против Заболоцкого. Получила 10 лет лагерей, которые отбыла «от звонка до звонка» на Дальнем Востоке. В 1951 г. в Барнауле получила новый срок (5 лет ссылки в Северном Казахстане). От нее вновь пытались получить показания на Заболоцкого (на него в том же 51-м г. тоже было заведено очередное дело), но на этот раз Тагер не только не дала новых показаний, но и отказалась от подписанных прежде. После 5 лет ссылки была реабилитирована в 1956 г., вернулась в Ленинград. До своей смерти в 1964 г. много работала, писала, переводила. Большая ее «Повесть об Афанасии Никитине» вышла уже после ее смерти, в 1966 г. В конце 50-х годов в Ленинграде начал ходить по рукам машинописный сборник ее лагерных стихов «Сквозь пурги...». Большинство ее стихотворений до сих пор не опубликовано в официальной печати.

* * *

Чтоб тяжести было меньше,
Чтоб меньше было пропаж —
Бросай, доходяга, вещи,
Скидай свой скудный багаж.

Оставь лишь хлеб и консервы;
Уже шумят поезда;
В вагон забирайся первый —

Приедешь первый ТУДА.
Уж ветер, вечный бродяга,
Листвой приветно шуршит...
На Запад крой, доходяга!
На Дальний Запад спеши!

*На подступах к Новосибирску.
«Пятьсот-веселый» эшелон. Август, 1948*

* * *

Сверкала морозная чаша,
Когда кочевали вдвоем
Слепое несчастье ваше
И зоркое горе мое.

Споткнуться на каменной глыбе ль,
В сугробы ли замертво пасть?
Лихая колымская гибель
Над нами разинула пасть.

Считаться родством мы не будем,
Считать мы не будем корысть;
Спасли вы, отпетые люди,
Мою пропадавшую жисть.

По слову седого бандита
Меня усадили к костру;
Воровка ворчала сердито:
– Дай руки-то снегом потру!

Гулящие девочки чаем
Старались меня отогреть:
– Вы пейте. Мы сроки кончаем,
А вам еще сколько терпеть!

И в беглом пустом замечанье
Горячая жалость была...
А звезды в великом молчанье
Смотрели на наши дела.

Бийск, 1950

* * *

Все равно, умру в Ленинграде
И в предсмертном моем бреду
К Воронихинской колоннаде

И к Исакию прибреду.
Будь музеем или собором,
Мавзолеем или мечтой —
Все равно, коснеющим взором
Различу твой шлем золотой.

Ветер Балтики, ветер детства
К ложу смертному прилетит
И растраченное наследство
Блудной дочери возвратит.

И, последнему вняв желанью,
В неземное летя бытие,
Всадник Медный, коснувшись дланью,
Остановит сердце мое.

Северный Казахстан. Весна 1952

* * *

И он умирает, как всякий другой.
Часы прозвонили: «Сегодня!»
Он будет лежать простертый, нагой,
Суда ожидая Господня.

Его гениальность растает, как дым,
Под взором иных поколений —
И страшным парадом пройдут перед ним
Друзей оклеветанных тени.

Северный Казахстан, 4 марта 1953

МОЯ НЕЗНАКОМКА

Идет походкой горделивой,
На ленте песика ведет,
И спаниель нетерпеливый
Ушами улицу метет.

На даме норковая шубка,
Пуховый дорогой платок,
И так мила моя голубка,
Как в поле выросший цветок.

Окликнуть? Нет, таких дерзаний
Не любят люди наших дней.
И что ей до моих терзаний,

До биографии моей?
Ну что ей, прочно защищенной
От наводнений и огня?
Как вдруг — открыто, несмущенно
Глаза взглянули на меня.

Из-под пушистой брови строгой
Они — как Божия гроза;
Такие плакавшие много,
Такие русские глаза...

В них все немислимые чары
Спаленных немцем городов
И все полночные кошмары
Тридцатых роковых годов.

А снег метет свои обломки
И в тишину беззвучных дней
Уносит образ Незнакомки
И Современницы моей.

Нет, я не повторяю Блока,
Но строгий профиль наших дам
Я — без упрека, без намека —
На эстафету передам.

Ленинград. Январь, 1960

Источник: Возвращение: Сборник прозы, поэзии, критики, философских эссе. М.: Советский писатель, 1991.

Фроловский
Михаил Николаевич
(1895 – 1943)



Инженер, служащий.

Впервые был арестован в 1925 г. До 1928 г. отбывал срок на Соловках, после чего был сослан на поселение сначала в Кемь, затем на Урал. В 1941 г. арестован вновь. Умер в заключении. Как поэт в печати не выступал.

СОЛОВКИ
Сонет

Упорно шли на север поколения,
Безмолвною борьбой утомлены,
Измучены, но не побеждены,
Победы предвкушая наслажденья.

Ослабевали страстные виденья
И отступали огненные сны,
Когда высокой вековой стены
Смыкали круг тяжелые камня.

Себя сама не в силах побороть,
Воздвигла их бунтующая плоть,
И, памятник борьбы неумолимой,
Из вздохов, слез, молитвы и постов
Встал монастырь, монах неутомимый,
Над зеленью пустынных островов.

КРЕСТЫ

В морях, где румпель морехода
Не вел ни разу корабля,
Где бьется в камни непогода,
Где в лед закована земля,

Там в пламени зари морозной
Над угловатую скалой

Глядится в море призрак грозный
Три тени смотрят в мрак ночной.

Три крестных тени недвижимы
Над грудой серых валунов,
И море, страж неумолимый,
Хранит их в сумраке веков.

Хранит в пустыне бездорожной
Их моря пенящийся вал,
И белых чаек крик тревожный
Не оглашает черных скал.

Но в час последнего призыва
К безлюдным, тихим берегам
Волной великого прилива
Мы все сольемся к трем крестам.

Из недр земли, со дна пучины
Немой, испуганной толпой,
Комки проснувшиеся глины,
Мы соберемся под скалой.

На неприступные ступени
Поставим влажную стопу,
И трех крестов большие тени
Накроют бледную толпу.

1926

НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ

Мы в семнадцать — учились любить,
В двадцать лет — умирать научились,
Знать, что если позволено жить, —
То еще ничего не случилось.

В двадцать пять — научились менять
Жизнь на воблу, дрова и картофель;
Было некогда нам замечать
Нежной краской зардевшийся профиль.

Жили мы — как в теплушке тряслись,
Дни — миллиарды кидали без счету,
Ну, а в тридцать — за книгу взялись,
Неумелой рукой за работу.

Вместе с юношей мы в тридцать пять
Жизнь сколачивать вдруг начинаем,
Разрушаем и строим опять,
А как строить — и дальше не знаем.

Что ж осталось узнать к сорока? —
Мы так много страниц пропускали.
Разве только, что жизнь коротка.—
Так ведь это и в двадцать мы знали.

19 февраля 1928 года. Кемь

СЫНУ, КОТОРЫЙ БУДЕТ

Я тебя не вижу и не знаю,
Мой в земле таящийся алмаз,
Но в глазах любимых я читаю
Новый блеск мужских спокойных глаз.

Это я, но только помоложе,
Это дед, но только посильней,
Это кровь моя под новой кожей,
Смуглой кожей матери твоей.

1931

Источник: Среди других имен: Сборник. М.: Московский рабочий, 1990.

Чирков
Юрий Иванович
(1919–1988)



Метеоролог, доктор географических наук, профессор.

Арестован в 1935 г. пятнадцатилетним школьником. В заключении находился до 1945 г., после – вечная ссылка. Освобожден в 1954 г. Как поэт в печати не выступал.

* * *

Чернь бескрайняя, холодная
Над застывшею землей.
Жизнь звериная, голодная.
Ах, домой, домой, домой.

Люди-звери, люди-призраки.
Безысходная тоска,
Бред, кошмары, смерти признаки –
Воля снова далека...

Неужель без оправдания
Жизнь свою закончу тут,
И без гроба, без прощания
В мерзлоту мой труп швырнут.

1939

* * *

Еще «от можа и до можа»
Во сне Рыдзь-Смиглы Польшу зрел,
А уж соседи, брань отложив,
Четвертый начали раздел.

Люфтваффе бомбовые лавы
На спящих ринулись с небес,
И в направлении Варшавы
Колонны двинулись эсэс.

И вдруг удар жестокий в спину..
Как удержать такой потоп?

Уланы, сабли гордо вскинув,
Атаковали танки в лоб.

И, утверждая веру, верность,
Те, кто от пыток слаб и нем,
Писали «вильность», «неподлежность»
Своею кровью на стене...

Потом шли долго эшелоны
В неведомый и страшный мир,
Играл «Катюшу» на гармонии
Татарин рыжий – конвоир.

1941 год

Источник: Среди других имен: Сборник. М.: Моск. рабочий, 1990.

Шаламов
Варлам Тихонович
(1907–1982)



Поэт, писатель, журналист.

Родился в Вологде, в семье священника. В 1924 г. уезжает из Вологды в Москву, два года работает дубильщиком на кожевенном заводе, затем поступает на факультет советского права в МГУ. В 1929 г. арестован за распространение завещания В.И. Ленина «Письмо к съезду» (стр. 357) и приговорен к трем годам лагерей, которые отбывает на Северном Урале и Вишере. В 1932 г. возвращается в Москву, работает в ведомственных журналах, печатает статьи, очерки, фельетоны.

1 января 1937 г. новый арест — 5 лет колымских лагерей. В 1943 г. Шаламов получает очередной срок: 10 лет за антисоветскую агитацию (в разговоре назвал Бунина русским классиком).

В 1951 г. освобожден, но вернуться на «материк» не смог. В 1953 г. на два дня приезжает в Москву, встречается с семьей, наносит визит Пастернаку. Живет в Калининградской области, работает на торфоразработках. Начинает писать «Колымские рассказы» (см. т. 1, кн. 2., стр. 101). В 1956 г. реабилитирован, возвращается в Москву, работает в журнале «Москва» внештатным корреспондентом, печатает очерки, зарисовки.

С 1957 г. начинают появляться его стихи, в 1961 г. выходит первый поэтический сборник «Огниво». Рассказы и повести не принимаются редакциями из-за отсутствия показа в них «трудового энтузиазма» и излишнего «абстрактного гуманизма».

С середины 60-х годов в Самиздате широко ходят «Колымские рассказы».

В 1982 г. скончался в интернате Литфонда, так и не увидев напечатанным ни одного прозаического произведения: первые публикации прозы появляются только в 1987 г.

Основные произведения:

Сборники стихов: «Огниво» (1961), «Шелест листьев» (1964), «Дорога и судьба» (1967).

Сборники рассказов: «Колымские рассказы», «Левый берег», «Артист лопаты», «Очерки преступного мира», «Воскрешение лиственницы», «Перчатка или КР-2».

Повести: «Четвертая Вологда», «Вишера», «Федор Раскольников», «Воспоминания», «Антироман».

СТЛАНИК

Л. Пинскому

Ведь снег-то не выпал. И, странно
Волнуя людские умы,

К земле пригибается стланик,
Почувствовав запах зимы.

Он в землю вцепился руками,
Он ищет хоть каплю тепла.
И тычется в стынущий камень
Почти неживая игла.

Поникли зеленые крылья,
И корень в земле — на вершок!..
И с неба серебряной пылью
Посыпался первый снежок.

В пугливом своем напряженье
Под снегом он будет лежать.
Он — камень. Он — жизнь без движения,
Он даже не будет дрожать.

Но если костер ты разложишь,
На миг ты отгонишь мороз, —
Обманутый огненной ложью,
Во весь распрямляется рост.

Он плачет, узнав об обмане,
Над гаснущим нашим костром,
Светящимся в белом тумане,
В морозном тумане лесном.

И, капли стряхнув, точно слезы,
В бескрайность земной белизны,
Он, снова сраженный морозом,
Под снег заползет — до весны.

Земля еще в замети снежной,
Сияет и лоснится лед,
А стланик зеленый и свежий
Уже из-под снега встает.

И черные, грязные руки
Он к небу протянет — туда,
Где не было горя и муки,
Мертвящего грозного льда..

Шуршит изумрудной одеждой
Над белой пустыней земной.

И крепнут людские надежды
На скорую встречу с весной.

* * *

Чем ты мучишь? Чем пугаешь?
Как ты смеешь предо мной
Хохотать, почти нагая,
Озаренная луной?

Ты как правда – в обнаженье
Останавливаешь кровь.
Мне мучительны движенья
И мучительна любовь...

* * *

Модница ты, модница,
Где ты теперь?
Как живется, ходится,
Гуляется тебе?

По волнам бегущая
Через все моря,
Любимая, лучшая,
Милая моя.

В море ли, на острове,
В горе ли, в беде –
Платья твои пестрые
Видятся везде.

Следом горностаевым
Прыгаешь в снегах,
Со снежинкой, тающей
На сухих губах.

Брезгуя столицами,
В летнюю грозу
Скачешь синей птицею
По ветвям в лесу.
И на перьях радуга,
И в слезах глаза...
Повидаться надо бы
Донельзя – нельзя!

* * *

В этой стылой земле, в этой каменной яме
Я дыханье зимы сторожу.
И лежу, как мертвец, неестественно прямо,
И покоем своим дорожу.

Нависают серебряной тяжестью ветви,
И метелит метель на беду.
И в глубоком снегу, в позабытом секрете
И не смены, а смерти я жду.

* * *

Память скрyla столько зла –
Без числа и меры.
Всю-то жизнь лгала, лгала,
Нет ей больше веры.

Может, нет ни городов,
Ни садов зеленых,
И жива лишь сила льдов
И морей соленых.

Может, мир – одни снега –
Звездная дорога.
Может, мир – одна тайга
В пониманье бога.

* * *

Не старость, нет, – все та же юность
Кидает лодку в валуны
И кружит в кружеве бурунов
На гребне выгнутой волны.

И развевающийся парус,
Как крылья чайки, волны бьет,
И прежней молодости ярость
Меня бросает все вперед.

Огонь, а не окаменелость
В рисунке моего герба, –
Такой сейчас вступает в зрелость
Моя горящая судьба.

Ее и годы не остудят,
И не остудят горы льда,
У ней и старости не будет,
По-видимому, никогда...

* * *

Чтоб торопиться умирать,
Достаточно причины,
Но не хочу объектом стать
Судебной медицины.

Я все еще люблю рассвет
Чистейшей акварели,
Люблю луны латунный свет
И жаворонка трели...

* * *

Я, как Ной, над морской волною
Голубей кидаю вперед,
И пустынной белой страную
Начинается их полет.

Но опутаны сетью снега
Ослабевшие крылья птиц,
Леденеют борта ковчега
У последних моих границ.

Нет путей кораблю обратно,
Он закован навек во льду, —
Сквозь метель к моему Арарату,
Задыхаясь, по льду иду.

ИНСТРУМЕНТ

До чего же примитивен
Инструмент нехитрый наш:
Десть бумаги в десять гривен,
Торопливый карандаш —
Вот и все, что людям нужно,
Чтобы выстроить любой
Замок, истинно воздушный,
Над житейскою судьбой.

Все, что Данту было надо
Для постройки тех ворот,
Что ведут к воронке ада,
Упирающейся в лед.

ЗИМНИЙ ДЕНЬ

Свет, как в первый день творенья, –
Без мучительных светил
И почти без напряженья
Пресловутых вышних сил.

Будто светит воздух самый,
Отражая светлый лед,
И в прозрачной райской драме
Освещает людям вход.

Там стоят Адам и Ева,
Не найдя теплей угла,
Чем у лиственницы – древа
Знания добра и зла.

ЖИЛ-БЫЛ

Что ж, зажигай ледяную лампаду
Радужным лунным огнем,
Нынешней ночью и плакать не надо –
Я уж отплакался днем.

Нет, не шепчи и не бойся огласки,
Громко со мной говори.
Эту старинную страшную сказку
В тысячный раз повтори.

Голосом ночи, лунного света,
Горных обрывов крутых:
– Жил-был король, недостойный поэтов
И недостойный святых...

* * *

Луна качает море.
Прилив. Отлив...
Качает наше горе
На лодке рифм.

Я рифмами обманут
И потому спасен.
Качаются лиманы,
И душен сон.

* * *

Придворный соловей
Раскроет клюв пошире,
Бросая трель с ветвей,
Крикливейшую в мире.

Не помнит божья тварь
Себя от изумленья,
Долбит, как пономарь,
Хваленья и моленья.

Свистит, что было сил,
По всей гремя державе,
О нем и говорил
Язвительный Державин, —

Что раб и похвалить
Кого-либо не может.
Он может только льстить,
Что не одно и то же.

* * *

Где жизнь? Хоть шелестом листа
Проговорилась бы она.
Но за спиною — пустота,
Но за спиною — тишина.

И страшно мне шагнуть вперед,
Шагнуть, как в яму, в черный лес,
Где память за руку берет
И — нет небес.

* * *

В воле твоей остановить
Этот поток запоздалых признаний,
В воле твоей — разорвать эту нить
Наших воспоминаний.

Только — тогда разрывай до конца,
Чтобы, связавшая крепко вначале
Если не судьбы, так наши сердца,
Нить, как струна, зазвучала...

ПОЭЗИИ

Если сил не растрочу,
Если что-нибудь значу,
Это сила и воля — твоя.

В этом — песни значенье,
В этом — слов обличенье,
Немудреный секрет бытия.

Ты ведешь мою душу
Через море и сушу,
Средь растений, и птиц, и зверей.

Ты отводишь от пули,
Ты приводишь июли
Вместо вечных моих декаблей.

Ищешь верного броду,
Тащишь свежую воду
К моему пересохшему рту.

И с тобой обрученный,
И тобой облученный,
Не боясь, я иду в темноту.

И на небе — зарницы,
Точно перья жар-птицы
Неизвестных еще островов.

Это — мира границы,
Это — счастья крупницы,
Это — залежь сияющих слов.

Источник: Среди других имен: Сборник. М.: Моск. Рабочий, 1990.

Народные лагерные песни

Среди песенного фольклора есть несколько произведений, получивших благодаря особому созвучию эпохой широчайшее распространение как в ГУЛАГе, так и за его пределами. Часть из них долгое время считалась народными («Товарищ Сталин, вы большой ученый», автор — Юз Алешковский), и действительные их создатели не торопились объявить свое авторство, чтобы не «добавили срока», по поводу других до сих пор идут споры об авторстве («Сиреневый туман»). Важно другое — через полвека после создания их помнят, знают, любят и поют люди, к своему счастью знающие о тюрьмах и лагерях лишь из песен и книг.

ВОРКУТА — ЛЕНИНГРАД (автор — Григорий Шурмак)

По тундре, по железной дороге,
где мчится курьерский «Воркута — Ленинград»,
мы бежали с тобою, ожидая тревоги,
ожидая погони и криков солдат.

Это было весной, одуряющим маем,
когда тундра проснулась и оделась в ковер.
Снег, как наши надежды на удачу, все таял...
Это чувствовать может только загнанный вор!

Слезы брызнут на руку иль на ручку нагана,
там вдали ждет спасенье — золотая тайга.
Мы пробьемся тайгою, моя бедная мама,
и тогда твое слово — мне священный наказ!

По тундре от железной дороги,
где мчится курьерский «Воркута — Ленинград»,
мы бежали с тобою, ожидая тревоги,
ожидая погони и криков солдат.

1942

ВАНИНСКИЙ ПОРТ

Я помню тот Ванинский порт
И вид парохода угрюмый,
Как шли мы по трапу на борт
В холодные мрачные трюмы.

На море спускался туман.
Ревела стихия морская.
Лежал впереди Магадан,
Столица Колымского края.

Не песня, а жалобный крик
Из каждой груди вырывался.
«Прощай навсегда, материк!» —
Хрипел пароход, надрывался.

От качки стонали зэка,
Обнявшись, как родные братья.
И только порой с языка
Срывались глухие проклятья:

– Будь проклята ты, Колыма,
Что названа чудной планетой.
Сойдешь поневоле с ума —
Отсюда возврата уж нету.

Пятьсот километров — тайга.
В тайге этой дикие звери.
Машины не ходят туда,
Бредут, спотыкаясь, олени.

Там смерть подружилась с цингой.
Набиты битком лазареты.
Напрасно и этой весной
Я жду от любимой ответа.

Не пишет она и не ждет
И в светлые двери вокзала, —
Я знаю, — встречать не придет,
Как это она обещала.

Прощай, моя мать и жена!
Прощайте, вы, милые дети.
Знать, горькую чашу до дна
Придется мне выпить на свете!

ЭШЕЛОН

За вагоном проходит вагон
С гулким стуком по рельсовой стали.
Спецэтапом идет эшелон
Из столицы в таежные дали.
Здесь на каждом вагоне замок,
Три доски вместо мягкой постели,
И, закутавшись в сизый дымок,
Мне мигают дорожные ели.

Припев:

Не печалься, любимая!
За разлуку прости меня.
Я теперь далеко от тебя, — дорогая, прости!
Как бы ни был мой приговор строг,
Я вернусь на родимый порог,
И, тоскуя по ласке твоей, я в окно
постучусь...

Завернувшись в тулуп с головой,
Проезжая снега и болота,
Здесь на каждой площадке конвой
Ощетинил свои пулеметы.
Десять лет трудовых лагерей
Подарил я рабочему классу,
Там, где стынут лишь трупы зверей,
Я построил колымскую трассу.

Припев.

Там, где вязнут в снегах трактора,
Даже «Сталинцу» сил не хватало,
Эта песня под стук топора
Над тайгой заунывно звучала...
За вагоном проходит вагон,
С гулким стуком по рельсовой стали,
Спецэтапом идет эшелон
Из столицы в таежные дали...

Припев.

НОВЫЙ ГОД

Новый год, порядки новые,
Колючей проволокой лагерь обнесен,
Везде глядят на нас глаза суровые,
И смерть голодная грозит со всех сторон.

Милая,
Не будь унылая,
Хоть и мучителен тяжелый приговор.
Придет свободы час,
Судьба спасет всех нас,
А за тюрьмы забор сам въедет прокурор.
Конец 1930-х годов

Источник: Среди других имен: Сборник. М.: Моск. Рабочий, 1990.

...Я вернусь к тебе
верящим —
мне дано —
мне дано это много
на годы впредь...
Я вернусь к тебе любящим
все равно,
даже если вернусь
умереть...

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Сначала вымерли бизоны
на островках бизоньей зоны.
Потом подошли бегемоты
от кашля жуткого и рвоты;
козули пали от цынги,
у мух отнялись две ноги
(но мухи сразу не скончались),
дикообразы вдруг легли —
еще колючие вначале —
но вот обмякли, отошли.
Оцепенела вдруг собака,
последним умер вирус рака,
потом скончался человек...
На землю выпал плотный снег;
снег на экваторе искрился,
снег в океане голубел,
но санный след не появился,
и шинный след не проскрипел...
Машины снегом заносило,
чернели трубы — пальцы труб;
земля утрачивала силу,
все превращалось в общий труп;
и только между Марсом, правда,
и между умершей Землей
еще курили астронавты
и подкреплялись пастилой;
сидели молча, как предметы,
с Землей утратившие связь,
и электрического света
на пульте вздрагивала вязь...

ФОНАРИКИ

Когда качаются фонарики ночные
и темной улицей опасно вам ходить,
я из пивной иду,
я никого не жду,
я никого уже не в силах полюбить.

Мне дева ноги целовала, как шальная,
одна вдова со мной пропила отчий дом!
Ах, мой нахальный смех
всегда имел успех,
и моя юность пролетела кувырком!

Лежу на нарах, как король на именинах,
и пайку серого мечтаю получить.
Гляжу, как кот в окно,
теперь мне все равно!
Я раньше всех готов свой факел потушить.

Когда качаются фонарики ночные
и черный кот бежит по улице, как черт,
я из пивной иду,
я никого не жду,
я навсегда побил свой жизненный рекорд!
1953

ПРОКЛЯТИЕ СКУКЕ

Монолог лишнего человека

Монолог лишнего человека:
Боюсь скуки, боюсь скуки!
Я от скуки могу убить,
я от скуки — податливей суки:
бомбу в руки — стану бомбить,
лом попался — рельсу выбью,
поезд с мясом брошу с моста.
Я от скуки кровь твою выпью,
девочка, розовая красота!
Скука, скука... Съем человека.
Перережу в квартире свет.
Я — сынок двадцатого века,
я — садовник его клевет,
пахарь трупов, пекарь насилий,
виночерпий глубоких слез.

Я от скуки делаюсь синим,
как от газа! Скука, наркоз.
Сплю, садятся мухи, жалят.
Скучно так, что — слышно! Как пение...
Расстреляйте меня, пожалуйста,
это я прошу — поколение.

1956

ДОБРОЕ УТРО!

*В Ленинграде у входа на Смоленское кладбище
висел громкоговоритель.*

На кладбище: «Доброе утро!» —
по радио диктор сказал.
И как это, в сущности, мудро:
Светлеет кладбищенский зал.
Встают мертвяки на зарядку,
тряхнув чернозем из глазниц,
сгибая скелеты впрысядку,
пугая кладбищенских птиц.
Затем они слушают бодро
последних известий обзор.
У сторожа — пьяная морда
и полупокойнический взор.
Он строго глядит на бригаду
веселых своих мертвецов:
«Опять дебоширите, гады?»
И мочится зло под крыльцо.
По радио Леня Утесов
покойникам выдал концерт.
Безухий, а также безносый,
заслушался экс-офицер...
А рядом гнилая старушка
без челюсти и без ребра
сказала курносой подружке:
«Какая Утесов — мура!»
Но вот, неизбежно и точно,
курантов ночных перезвон:
«Спокойной, товарищи, ночи!» —
и вежливость, и закон.

1956

Красильников
Михаил Михайлович
(1933–1996)

Поэт, один из пионеров неофициальной культуры.

Родился в Белоруссии, в г.Орше, где проходил военную службу его отец. Затем семья жила в Хабаровске, во время войны – в Сибири, после войны – в Калининграде (Кёнигсберге). С 1948 г. жил в Риге, где закончил школу. В 1951 г. поступил на отделение журналистики филологического факультета ЛГУ. Исключен в 1952 г. после статьи в «Комсомольской правде». Восстановился в университете на русском отделении после смерти Сталина. 7 ноября 1956 г. арестован за выкрикивание антисоветских лозунгов во время демонстрации. Осужден по ст. 58-10 на 4 года. В 1957–1960 гг. находился в Дубровлаге в Мордовии, где вместе с Л. Чертковым и другими составил рукописные альманахи «Троя» и «Пятиречие».

По выходе на свободу сумел восстановиться в университете и получить диплом. Жил в Риге, работал в бюро путешествий. Составил путеводитель по Риге.

Публикации:

Трое с гусиными перьями // «Комсомольская правда», 11.12. 1952. Фельетон, в котором описан перформанс с участием Красильникова, Э. Кондратова и Ю. Михайлова, произошедший 1 декабря того же года.

* * *

Хочу узнать, тоскует вол о ком,
Идя один на водопой,
Когда его потащит волоком
Словак, убогий и скупой.

Им все равно – тяжелый груз ли
Нести куда-то по приказу:
Сердца унылых заскорузли,
Восславив горе и проказу.

Но славен истого искусства лик –
Увечный телом оживает.
Они вели вола без устали
Туда, где веха межевая.

Когда на поле сумрак выпал
И проглотил во тьме слова кар,

Никто не слышал больше хрипа
В икоте бледного словака.

А вол на водопой отправился
И верил всем речам о божье.
Вслед за волком, не видя траверза,
Скупой тащился и убогий.

Мужик хлебал в своей ендове щи,
И этот образ доконал их.
А случай, памятный чудовищам,
Потом навеки исчез в анналах.

1955(6?)

* * *

«Я не знаком с гносеологией», —
сказал мужик, снимая онучи.
«Что наш удел — вноси налоги и
влезай на печь, дела окончив.

Возьмем полати. На полатях
я отдыхаю, возлежа.
Они — реальное понятие». —
На что агностик возражал:

«Мужик, мужик, ты отрицаешь
метафизическую ценность
и этим самым совершаешь
непозволительный трансцензус.

Полати есть удобный символ...»
На что мужик ответил чинно:
«Но я на ярмарке в Касимове
купил для них кусок овчины».

Так был агностик опозорен,
который мудрость Канта вызнал.
Мужик смотрел на вещи в корень,
с позиции материализма.

1957, Потьма, Мордовия

* * *

Огню присуща резкость фресковая
Со стен потомков инков.

Дрова надорванно потрескивают
В подобьи поединка.
Когда они борются кончат
И выгорят в золу,
Воспоминанья станут тонче
О пустоте разлук.
Огонь угаснет понемногу,
И он уснет, огнем растроган.
Потом проснется и пойдет он
В ночную смену на работу.

XI.58

* * *

На улицах было душно,
На улицах было пыльно.
Город от пыли вылинял
И стал равнодушным.
Линии выпрямляя,
Останавливались трамваи.
Осознал красивый троллейбус
Собственную нелепость.
Издерганные прохожие
Не решались остановиться.
Пыль покрывала кожу тел,
Оседала на лицах.
Реактивные самолеты
Тупо летали по небу.
Скука ждала кого-то,
Ждала кого-нибудь...
Человек работал и жил,
Иногда получал премии.
Он не считал этажи —
Не было времени.
А когда подошел к окну,
Уже не успел смекнуть.
Его назойливо звал
Серый асфальт.
Город спрятал зевоту,
Заметался неугомоннее.
Скука нашла кого-то?
Скука нашла кого-нибудь?!
Нашли разбитое тело,
Но понять не сумели —
Просто человеку хотелось
Отпечататься на панели.

VII.57

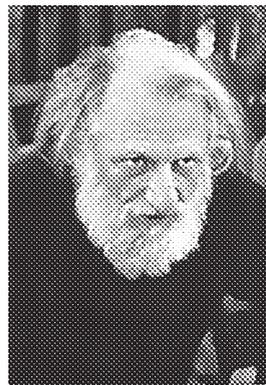
* * *

Он знал, что умрет обязательно,
Сегодня его время.
Смерть непритязательна,
Умеет ладить со всеми.
Небо раздумало быть синим,
Горем человечьим не тронется.
Человек купил в магазине апельсин,
Полюбовался солнцем.
Потом кожуру откинул —
Надоело с солнцем прощаться —
И как-то мимоходом разбил витрину,
Принял за чужое счастье.
В столовой долго думал об овощах,
Выпил водки перед щами.
И хотя нечего было завещать,
Пошел и составил завещанье.
Разнервничался, себя укоряя —
Ни разу не играл в крикет.
Но поскольку в крикет никто не играет,
Выкупался в реке.
К вечеру устал выкидывать номера,
Казался мертвым на треть.
Он лег на диван, чтобы умирать,
И не смог умереть.

VII.57

Источник: Русская виртуальная библиотека (<http://www.rvb.ru>)

Красовицкий
Станислав Яковлевич
(Род. 1935)



Поэт, священник.

Родился в Москве в 1935 г. Закончил Московский институт иностранных языков. Период активного творчества — вторая половина 50-х. В начале 60-х отказывается от поэзии, уничтожает все написанное (стихи, однако, сохранились во многих списках и в памяти друзей). Ныне о. Стефан (Красовицкий) — священник Русской Православной Церкви (зарубежной), живет в Подмоскovie. В последние годы вернулся к поэтическому творчеству.

С 60-х годов стихи Красовицкого публиковались в эмигрантских журналах («Грани», «Эхо» и др.), до этого распространялись в Самиздате.

НАТЮРМОРТ

Полупустым оркестром
шла тропинка скрипки,
и на нее сорил неряха-контрабас
окурки, вечера, прогулки, вечеринки —
и все, что говоришь,
порой не разобрал.

И весь оркестр — набор
фанерных натюрмортов.
Но кто поверит в них?
И не поймет любой,
что за окном фойе
и в переплете марта —
окурки, вечера, прогулки и любовь.

Все это тихо спит
в ловушке колоннады.
Пугают снег грачи.
Уже решен разлад.
Но в переплете март.
И верю —
когда надо,
я все верну назад,
и слова не сказав.

Покажется трамвай.
Его фигура — череп.
И скрипкою тропа пересекает двор.
И ею контрабас заканчивает вчерне
окурки, вечера, прогулки, разговор.

1956

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА

Я видел дом.
Он выползал.
Потом он старился годами.
Слезоточивые глаза его
украшили фундамент.

А рядом дерево бежит.
И той же верною тропой
идет мадонна и кричит,
махая лайковой рукою.

А по закрученным дворам
бредут разнеженно собаки
и предлагают шулерам
сентенцию о верном браке.

Кругом не видно ни души.
Одна ползучая аллея.
И умирают торгаши,
за кисеєю костеня.

И там же я нашел твой след.
Он поперечнее и шире.
Но кто напишет мой портрет,
тому несчастье выйдет в мире.

Ведь за оградой резной,
за украшеньем одалисок
живет владелец закладной
и все заносит в черный список.

1956

ЛЮБОВНИЦА ПАЛАЧА

Он работает где-то в Москве.
Он работает где-то в столице.
Он работает в МВД.
Он похож на хрупкую птицу.

Меня мама спрашивает часто.
Ничего не скажу о нем.
Он похож на воспитателя в яслях.
Он работает палачом.

О, какая страшная читка
срамных знаний в его очах,
о, какая сладкая пытка
быть любовницей палача.

Вот вокруг меня застыли фигуры.
На одной из подмосковных дач,
словно воздух на венском стуле,
задремал, загрустил палач.

Быстрый ветер рассеял тучи
огневых, золотых партэр.
Он сидит, он как бог, только лучше.
Он воздушен, как солитер.

Я тела его не ощущаю.
Поцелуй как соленый грибок.
Одному ему разрешаю.
Только он завладеть мною мог.

Я лежу в постели крича.
Он секет. Я раздета до нитки.
О, какая сладкая пытка
быть любовницей палача.

Я лежу в постели одна.
Ветер студит мои колеса.
Тяжек запах, ни мужа, ни песа.
Я одна в темноте, одна.

Кропивницкий
Евгений Леонидович
(1893–1979)

Поэт, художник, композитор.

Родился в Москве. Окончил Императорское Строгановское художественное училище в 1911 г. со званием «ученый-рисовальщик». В 1912–1920 гг. жил в Москве, учился в университете Шанявского на факультете истории. В 1920–1923 гг. жил и работал в различных городах Севера, Урала и Сибири. С 1923 г. жил с семьей под Москвой. В 20-х годах был близок кругу художников «Бубнового валета».

Стихи писал с 1909 г. До революции публиковался в периодике.

В конце 30-х годов в поэзии (и отчасти в живописи) Е. Кропивницкого происходит поворот в сторону гротескного примитива, во многом определивший всю лианозовскую эстетику и в первую очередь «барачную поэзию» И. Холина и Г. Сапгира. В 50-х годах дом Кропивницких в подмосковной деревне Виноградово (рядом с Долгопрудным) становится одним из центров зарождавшегося московского неофициального искусства. Позднее этот центр переместился в барачную квартиру зятя Е. Кропивницкого, художника Оскара Рабина, в тоже подмосковное тогда Лианозово. Отсюда и название группы, впервые употребленное функционерами КГБ, добившимися в 1963 г. исключения Е. Кропивницкого из МОСХа.

Публикации:

Печально улыбнуться... (стихи и проза). – Париж: Третья волна, 1977.

Земной уют. Избранные стихи. – М.: Прометей, 1989.

* * *

За стеной кого-то били,
Кто-то тонко голосил
Изо всех последних сил.
За стеной кого-то били.

Осень. Сумерки наплыли,
Вечер краски погасил.
За стеной кого-то били,
Кто-то тонко голосил.

1938

* * *

По витринам — из картона
Хлеб и сыр, и колбаса.
Понаделано их тонны,
Разбегаются глаза.

Эти яства — тоже — проба —
Ну-ка, кинь-ка на весы.
Ну-кась выкуси, попробуй
Деревянной колбасы!

1939

* * *

Смята белая перина,
В душной комнате тепло.
После сцены балерина,
Коновалова Ирина,
Парамоновой назло
Пригласила Иванова —
И теперь он пьян и спит...
Ночь в окно глядит сурово,
Острый серп, как нож торчит.

1939

* * *

Светлей луны у нас фонарь,
И свет его весьма приятен,
Он очень круглый, он без пятен,
Наш удивительный фонарь.

Луну певали деды встарь —
Нам этот пафос непонятен:
Ну что луна, когда фонарь
И светел и весьма приятен.

1939

САМООБМАН

Мы тревожимся, орем,
Фантазируем и врем,
Что куда-то мы припрем.

Никуда мы не припрем —
Зря мы трепемся, орем,
Фантазируем и врем.

Пусть наврем, пусть не наврем.
Никуда мы не припрем —
Просто-напросто — помрем.

17 сентября 1952

ПОЛЛИТРОВКА

Пальто мое изношено,
Заплатки на пальто.
Трава в степи покошена,
Косил незнамо кто.

Начальникам не нравится
Потрепанность моя.
Но как мне им понравиться,
Того не чаю я.

Не чаю я, не чаю я,
Не чаю ни черта, —
Хмелею не от чаю я —
Вино моя мечта.

Пол-литра вещь сугубая,
Как выпьешь — благодать.
Личина жизни грубая
Шарахается вспять.

И выглядят умильными
Дома, трамвай, сад.
И носятся всеильными
Мечты, и им я рад.

Унылое заброшено,
Ночное не темно...
Пальто мое поношено,
Но это все равно.

1950

АРЕСТАНТЫ

По дороге в осужденье
Шли толпой.
Человечьи преступленья
Каждый шедший нес с собой.
Тот прельстился женским телом
У моста.
Тот квитанции подделал,
Тот подчистил паспорта.
Тот ограбил на дороге,
Этот в банке сделал взлом,
Взяв с собою для подмоги
Лом.
Этот взял да и зарезал,
Сапоги и брюки сняв.
Этот голову отрезал,
Золотые зубы взяв.
Каждый нес свое бывшее,
Нес с собой.
Окруженные конвоем
Шли толпой.

1949

СТРОИТЕЛЬСТВО

Не стыдись ты роешь ямы...

В. Брюсов

Людьми так много наворочено
Строений на земле сырой.
Как много в земь всего
вколочено —
И лозунг человеческий: Рой!

Рой, колоти и приколачивай,
Строй больше, больше, больше строй;
Загромождай, вбивай, вколачивай,
Рой землю, беспощадно рой!

Не только на земле — подземные
Построил человек ходы:
Воздвигнул вроде бы надземные
Дома; добрался до воды —
И оковал ее, свободную,

Бетонами, попер назад,
Назад попер стихию водную —
И этому безмерно рад.

Он рад застроить земь строеньями,
Рад все в бетоны оковать...
С остервененьем и терпением
Копает человечья рать.

23 нояб. 1952

* * *

Надоело просыпаться,
На работу отправляться,
Поминать в пивнушке «мать».
Эх, кабы все спать и спать!

Надоело просыпаться,
Надоело одеваться.
Чтобы трое суток спать;
Или даже лучше пять.

Надоело просыпаться,
Одеваться, умываться
Остается лишь мечтать.
О великом счастье спать.

Утро. Надо просыпаться,
На работу собираться;
Вечерком, в пивной, опять
Поминать «такую мать».

Источник: Русская виртуальная библиотека (<http://www.rvb.ru>)

Кондратов
Александр Михайлович
(1937–1993)



Поэт, прозаик, ученый, журналист.

Автор нескольких работ по математической лингвистике, а также многочисленных научно-популярных книг и статей.

Стихи ходили в Самиздате и публиковались в эмигрантских журналах, в начале 90-х появились в российских журналах.

МОИ «ТРОИЦЫ»

Три писательских лика:

Прозаик – Поэт – Драматург.

Три прозаических лика:

детектив-фельетон / «нагановиана» / – «я-литература» /
автобиографические романы / – «просто проза» / рассказы + повести /.

Три поэтических лика:

поэзия лирическая / «Лам»-Путь / – поэзия сатирическая / «Скирли» / –
поэзия экспериментальная / «Пузыри» + «Конкрекции» и «Программы» /.

Три драматургических лика:

«Пьесны» / пьесы в стихах / – «Игры и решения» / экспериментальные
пьесы и игры / – «Прикладная драматургия» / для цирка и т.д. /.

Три великих поэта:

Миларепа / йог-поэт Тибета, XI в. / – Данте – Хлебников.

Три ступени генеалогии:

1. Хлебников и русский кубофутуризм / «деды» /.
2. Ранний Заболоцкий и обэриуты / «отцы» /.
3. «Неофутуристы» начала 50-х годов / «старшие братья» /.

Три учителя в прозе:

Генри Миллер – Джойс – Достоевский.

Три учителя в драматургии:
Ионеско — обэриуты — Антонен Арто.

* * *

Дорогие,
смердящие граждане!
Дозвольте ж, любя, полизать
каждому, граждане, каждому
простой мозолистый зад:

не потому, что сан
взят напрокат из книжек,
а потому, что сам
скоро я стану таким же.

* * *

Я хочу в сумасшедший дом
к молодежавым простым идиотам.
Ни умом не хочу, ни трудом —
да пробьет потолок нога! —
я хочу в сумасшедший дом,
где не надо лягать и лгать.

Персонально
каждый
Сходит с ума.
Пускай жажда,
сума,
зима,
пускай в позументах швейцара осень.
Для сумасшедших — всегда кокосы!

... Мечтаешь ты увидеть кактус,
засеять луком огород —
но в жизни все выходит как-то
совсем-совсем наоборот...

* * *

Предоставляем право муравьям
глядеть газеты и клозеты строить!
Планету оставляем муравьям —
из нас не вышли громкие герои,
и мы уйдем с навязчивой земли,

чтоб никогда опять не повториться...
Пускай придут худые муравьи
в рабочих неуклюжих
рукавицах!

* * *

Небо казалось зелёным и кислым.
Бульвары играли: валеты да крали...
В библиотеках пылились истины...
А истина в том,
что нас обокрали.

Нас обокрали не взломом и ломиком —
нас обокрали логикой лобиков.
Правдой неправды
и кривдою правды
нас обокрали авгуры и барды.

Веру — украли.
Волю — украли.
В Конго, Париже,
на Фиджи, Урале
нас обокрали калекою-веком,
гордо гориллу
назвав человеком...

А что — «Магомет!»?
Магомета — нет.
Нет — Магомета
и есть —
клозет.

* * *

Задавили на улице гадину,
а она ведь любила родину
и луну, и жену, и пиво
и на книжку деньги копила...
Задавили на улице гадину,
превратили её — в говядину.

Источник: сетевая версия Антологии новейшей русской поэзии «У голубой лагуны»
(<http://aptechka.agava.ru/bluelagoon/>)

Охрименко
Алексей Петрович
(1923–1993)



Журналист, бард.

Родился, жил и скончался в Москве. Песни писал с 1947 г. на свои стихи, а также совместно с С. Кристи и В. Шрейбергом.

Песни Охрименко (в том числе таких, как «Батальонный разведчик», «Отелло», «Гамлет», «Граф Толстой») долгое время считались народными, и исполнялись без указания автора. В начале и середине 50-х годов чаще всего их пели инвалиды, ходившие с гармошкой или гитарой по подмосковным электричкам, собирая подаяния на жизнь, а чаще просто на выпивку. Все кто слышал эти песни, никогда не забудут надрывные, со слезой, пропитые и прокуренные голоса, клеймившие и «королеву потаскуху», капающую пипеткой в ухо родному мужу, и ревнивца мавра, ни за что удушившего невинную жену, и уж, конечно, «Клаву-шалаву», променявшую героя — батальонного разведчика — на штабного писаришку. С конца 50-х они перекочевали в городской (главным образом студенческий) фольклор, без них не обходилось ни одно застолье, ни один туристский поход. Лишь позже их заменили авторские песни Ю. Визбора, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Галича и других бардов.

*Стихи Алексея Охрименко,
Сергея Кристи,
Владимира Шрейберга*

На мотив песни «Когда б имел золотые горы»

Венецианский мавр Отелло
Один домишко посещал,
Шекспир узнал про это дело
И водевильчик накатал.

Да, посещал он тот домишко,
А кто не знает, почему,
То почитать Шекспира книжку
Мы посоветуем ему.

Девчонку звали Дездемона,
Собой, что белая луна,
На генеральские погоны
Ах, соблазнилася она.

Он вел с ней часто разговоры,
Бедняга мавр лишился сна,
Все отдал бы за ласки, взоры,
Лишь им владела бы она!

Сказала раз она стыдливо,
Ах, это было ей к лицу:
«Не упрекай несправедливо,
Скажи всю правду ты отцу...»

Папаша — дож венецианский
Большой любитель был пожрать,
Любил папаша сыр голландский
Московским пивом запивать.

Любил он спеть романс цыганский —
Свой, компанейский парень был,
Но только дож венецианский
Проклятых мавров не любил.

А не любил он их за дело —
Ведь мавр на дьявола похож,
И предложение Отелло
Ему, что в сердце финский нож!

<Но убедил Отелло дожа,
Что вовсе он не асмодей.
На брак согласие дал вельможа,
И стало все как у людей.>

Был у Отелло подчиненный
По кличке Яшка-лейтенант,
Он был на горе Дездемоны
Ужасно вредный интригант.

Исчез платок! Обман и драма!
Подвоха мавр не уловил,
И, несмотря на то, что дама,
Он Дездемону удавил.

Кончиной потрясен супруги,
Вошел Отелло в страшный раж —
Всех перебил, кто был в округе,
А под конец пырнул себя ж...

Пусть поступил Отелло смело
Или трусливо — вам судить,
Но мавр — он сделал свое дело,
А значит, может уходить!

Девки, девки, взгляд кидайте
Свое да ле носа вы
И никому не доверяйте
Свои платочки носовы!

О ГРАФЕ ТОЛСТОМ — МУЖИКЕ НЕПРОСТОМ

*Алексей Охрименко,
Сергей Кристи,
Владимир Шрейберг*

Жил-был великий писатель
Лев Николаич Толстой,
Мяса и рыбу не кушал,
Ходил по имению босой.

Он очень удачно родился
В деревне наследной своей,
Впоследствии мир удивился,
Узнав, что он графских кровей.

Граф юность провел очень бурно,
На фронте в Крыму воевал.
А в старости очень культурно
В имение своем проживал.

В имении, в Ясной Поляне,
Любых принимали гостей,
К нему приезжали славяне
И негры различных мастей.

Вступал он с правительством в трения,
Но был он народа кумир,
Закончил граф «Анну Каренину»,
А также «Войну и мир».

Но Софья Андревна Толстая,
Напротив, любила поесть,
Она не ходила босая,
Спасая семейную честь.

Великие потрясения
Писатель в быту перенес,
И роман его «Воскресение»
Читать невозможно без слез...

Легко нам понять-догадаться,
Ведь мы все живем на земле,
Что так не могло продолжаться
В старинной дворянской семье.

Наскучило графу все это,
Решил он душой отдохнуть –
Велел заложить он карету
И в дальний отправился путь.

В дороге, увы, простудился,
И на станционном одре
Со всеми беззлобно простился
И милостью Божьей помре.

На этом примере учиться
Мы все, его дети, должны –
Не надо поспешно жениться,
Не выбрав хорошей жены.
Не надо, ребята, поспешно жениться,
Не выбрав хорошей жены,
Нельзя под венец или в ЗАГС торопиться –
Последствия будут грустны!..

1947-1951

БАТАЛЬОННЫЙ РАЗВЕДЧИК

*Алексей Охрименко,
Сергей Кристи,
Владимир Шрейберг*

Я был батальонный разведчик,
А он – писаришка штабной.
Я был за Россию ответчик,
А он жил с моею женой...
Ой, Клава, родимая Клава,
Ужели судьбой суждено,
Чтоб ты променяла, шалава,
Орла на такое говно?!

Забыла красавца-мужчину,
Позорила нашу кровать,
А мне от Москвы до Берлина
По трупам фашистским шагать...

Шагал, а порой в лазарете
Со смертью в обнимку лежал,
И плакали сестры, как дети,
Ланцет у хирурга дрожал.

Дрожал, а сосед мой – рубака,
Полковник и дважды Герой,
Он плакал, накрывшись рубахой,
Тяжелой слезой фронтовой.

Гвардейской слезой фронтовою
Стрелковый рыдал батальон,
Когда я Геройской звездой
От маршала был награжден.

А вскоре вручили протёзы
И тотчас отправили в тыл...
Красивые, крупные слезы
Кондуктор на литер пролил.

Пролил, прослезился, собака,
Но все же содрал четвертак!
Не выдержал, сам я заплакал,
Ну, думаю, мать вашу так!

Грабители, сволочи тыла,
Как носит вас наша земля!
Я понял, что многим могила
Придет от мово костыля.

Домой я, как пуля, ворвался
И бросился Клаву лобзать,
Я телом жены наслаждался,
Протез положил под кровать...

Болит мой осколок железа
И режет пузырь мочевой,
Полез под кровать за протезом,
А там писаришка штабной!

Штабного я бил в белы груди,
Сшибая с грудей ордена...
Ой люди, ой, русские люди,
Родная моя сторона!

Жену-то я, братцы, так сильно любил,
Протез на нее не поднялся,
Ее костылем я маненько побил
И с нею навек распрощался.

С тех пор предо мною все время она,
Красивые карие очи...
Налейте, налейте стакан мне вина,
Рассказывать нет больше мочи!

Налейте, налейте, скорей мне вина,
Тоска меня смертная гложет,
Копейкой своей поддержите меня –
Подайте, друзья, кто сколь может...

1947-1951

Источник: сайт <http://www.bards.ru>

Слуцкий
Борис Абрамович
(1919–1986)



Поэт.

Родился в Славянске. В 1941 г. окончил Литературный институт им. Горького в Москве. Участник Отечественной войны. Член КПСС с 1943 г. Первая книга «Память» опубликована в 1957 г.

Основные произведения:

«Время» (1959), «Сегодня и вчера» (1961), «Работа» (1964), «Годовая стрелка» (1971), «Доброта дня» (1973), «Неоконченные споры» (1978), «Вопросы к себе» (1988).

Приводимые ниже стихотворения в 50-80-х гг. распространялись в Самиздате.

ХОЗЯИН

А мой хозяин не любил меня —
Не знал меня, не слышал и не видел,
А все-таки боялся, как огня,
И сумрачно, угрюмо ненавидел.

Когда меня он плакать заставлял,
Ему казалось: я притворно плачу.
Когда пред ним я голову склонял,
Ему казалось: я усмешку прячу.

А я всю жизнь работал на него,
Ложился поздно, поднимался рано,
Любил его. И за него был ранен.
Но мне не помогало ничего.

А я возил с собой его портрет.
В землянке вешал и в палатке вешал —
Смотрел, смотрел, не уставал смотреть.
И с каждым годом мне все реже, реже

Обидною казалась нелюбовь.
И ныне настроенья мне не губит
Тот явный факт, что испокон веков
Таких, как я, хозяева не любят.

1954

БОГ

Мы все ходили под богом.
У бога под самым боком.
Он жил не в небесной дали,
Его иногда видали
Живого. На мавзолее.
Он был умнее и злее
Того — иного, другого,
По имени Иегова,
Которого он низринул,
Извел, пережег на уголь,
А после из бездны вынул
И дал ему стол и угол.

Мы все ходили под богом.
У бога под самым боком.
Однажды я шел Арбатом.
Бог ехал в пяти машинах.
От страха почти горбата,
В своих пальтишках мышиных
Рядом дрожала охрана.
Было поздно и рано.
Серело. Брезжило утро.
Он глянул жестоко, мудро
Своим всевидящим оком,
Всепроницающим взглядом.

Мы все ходили под богом.
С богом почти что рядом.

1955

ПРО ЕВРЕЕВ

Евреи хлеба не сеют,
Евреи в лавках торгуют,
Евреи раньше лысеют,
Евреи больше воруют.

Евреи — люди лихие,
Они солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в рабкопе.

Я все это слышал с детства,
Скоро совсем постарею,

Но все никуда не деться
От крика: «Евреи, евреи!»

Не торговавши ни разу,
Не воровавши ни разу,
Ношу в себе, как заразу,
Проклятую эту расу.

Пуля меня миновала,
Чтоб говорили нелживо:
«Евреев не убивало!
Все воротились живы!»

ПРОЗАИКИ

*Артему Веселому,
Исааку Бабелю,
Ивану Катаеву,
Александру Лебеденко*

Когда русская проза пошла в лагеря —
В землекопы,
А кто половчей — в лекаря,
В дровосеки, а кто потолковей — в актеры,
В парикмахеры
Или в шоферы, —
Вы немедя забыли свое ремесло:
Прозой разве утетишься в горе?
Словно утлые щепки,
Вас влекло и несло,
Вас качало поэзии море.

По утрам, до поверки, смирны и тихи,
Вы на нарах слагали стихи.
От бескормиц, как палки, тощи и сухи,
Вы на марше творили стихи.
Из любой чепухи
Вы лепили стихи.

Весь барак, как дурак, бормотал, подбирал
Рифму к рифме и строчку к строке.
То начальство стихом до костей пробирал,
То стремился излиться в тоске.

Ямб рождался из мерного боя лопат,
Словно уголь, он в шахтах копался,

Точно так же на фронте из шага солдат
Он рождался и в строфы слагался.

А хорей вам за пайку заказывал вор,
Чтобы песня была потягучей,
Чтобы длинной была, как ночной разговор,
Как Печора и Лена — текучей.

А поэты вам в этом помочь не могли,
Потому что поэты до шахт не дошли.

* * *

Всем лозунгам я верил до конца
И молчаливо следовал за ними,
Как шли в огонь во Сына, во Отца,
Во голубя Святого Духа имя.

И если в прах рассыпалась скала,
И бездна разверзается, немая,
И ежели ошибочка была —
Вину и на себя я принимаю.

И СРАМ И УЖАС

От ужаса, а не от страха,
от срама, а не от стыда
насквозь взмокала вдруг рубаха,
шло пятнами лицо тогда.

А страх и стыд привычны оба.
Они вошли и в кровь и в плоть.
Их
даже
дня
умеет
злоба
преодолеть и побороть.

И жизнь являет, поднатужась,
бесстрашным нам,
бесстыдным нам
не страх какой-нибудь, а ужас,
не стыд какой-нибудь, а срам.

* * *

Уменья нет сослаться на болезнь,
таланту нет не оказаться дома.
Приходится, перекрестившись, лезть
в такую грязь, где не бывать другому.

Как ни посмотришь, сказано умно —
ошибок мало, а достоинств много.
А с точки зренья господа-то бога?
Господь, он скажет: «Все равно говно!»

Господь не любит умных и ученых,
предпочитает тихих дураков,
не уважает новообращенных
и с любопытством чтит еретиков.

* * *

Лакирую действительность —
Исправляю стихи.
Перечесть — удивительно —
И смирны и тихи.
И не только покорны
Всем законам страны —
Соответствуют норме!
Расписанью верны!

Чтобы с черного хода
Их пустили в печать,
Мне за правдой охоту
Поручили начать.
Чтоб дорога прямая
Привела их к рублю,
Я им руки ломаю,
Я им ноги рублю,
Выдаю с головою,
Лакирую и лгу...

Все же кое-что скрою,
Кое-что сберегу.
Самых сильных и бравых
Никому не отдам.
Я еще без поправок
Эту книгу издам!

* * *

Критики меня критиковали,
Редактировали редактора,
Кривотолковали, толковали
С помощью резинки и пера.

С помощью большого, красно-синего,
Толстобочного карандаша.
А стиха легчайшая душа
Не выносит подчеркивания сильного.

Дым поэзии, дым-дымок
Незаметно тает.
Легок стих, я уловить не мог,
Как он отлетает.

Легче всех небесных тел
Дым поэзии, тобой самим сожженной.
Не заметил, как он отлетел
От души, заботами груженной.

Лед-ледок, как в марте, тонок был,
Тонкий лед без треску проломился,
В эту полынью я провалился,
Охладил свой пыл.

* * *

Запах лжи, почти неуследимый,
сладкой и святой, необходимой,
может быть, спасительной, но лжи,
может быть, пользительной, но лжи,
может быть, и нужной, неизбежной,
может быть, хранящей рубежи
и способствующей росту ржи,
все едино — тошный и кромешный
запах лжи.

Источник: Русская виртуальная библиотека (<http://www.rvb.ru>)

Холин
Игорь Сергеевич
(1920–1999)

Поэт, прозаик.

В детстве был беспризорником. Воспитывался в детдоме. В 30-х гг. учился в военном училище. Воевал. Стихи начал писать в 1948 г.

Решающее влияние на формирование «конкретистской» поэтики И.Холина оказало знакомство в конце 40-х гг. с Е. Кропивницким. В середине 50-х годов создает свой знаменитый «барачный» цикл. Некоторые стихотворения были опубликованы в №1 самиздатского журнала «Синтаксис» (в т.ч. все опубликованные ниже). С середины 60-х печатается на Западе (в СССР публикуются только его стихи для детей).

* * *

Дамба, клумба, облезлая липа.
Дом барачного типа.
Коридор. Восемнадцать квартир.
На стене лозунг «Миру – мир».
Во дворе Иванов
Морит клопов.
Он бухгалтер Гознака.
У Макаровых пьянка.
У Барановых драка.

* * *

Ю.Васильеву

Рыба. Икра. Вина.
За витриной продавец Инна.
Вечером иная картина:
Комната, стол, диван.
Муж пьян.
Мычит: Мы-бля-я...
Хрюкает, как свинья,
Храпит.
Инна не спит...

Утром снова витрина.
Рыба. Икра. Вина.

* * *

Жил за городом на даче.
Покупал билет. Кассирша не дала сдачи.
Ругался на весь вокзал.
На последнюю электричку опоздал.
В гостинице без паспорта не пустили в номер,
Ночевал на улице, простудился и помер.

* * *

Кто-то выбросил рогожу,
Кто-то выплеснул помой,
На заборе чья-то рожа —
Надпись мелом: «Это Зоя».

Двое спорят у сарая,
А один уж лезет в драку..
Выходной. Начало мая.
Скучно жителям барака.

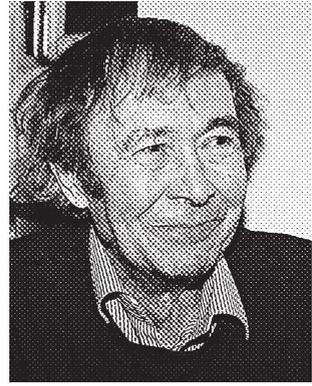
* * *

Познакомились у Таганского метро,
Ночевал у нее дома.
Он — бухгалтер похоронного бюро,
Она — медсестра родильного дома.

* * *

Он говорил ей пошлости
Вроде: не судите по внешности:
Я
Работаю в тресте питания.
Хотите, куплю на воротник мех?
Это имело успех.

Уфлянд
Владимир Иосифович
(Род. 1937)



Поэт, эссеист.

Родился в Ленинграде в 1937 г. Закончил среднюю школу, работал на заводе, служил в армии в окрестностях Печенги. Учился два года на истфаке Ленинградского Университета, снова работал в разных местах: кочегаром, рабочим сцены, рабочим Эрмитажа, рабочим в Географическом обществе и т.п. В 1964 г. вместе с М. Шемякиным, В. Овчинниковым, О. Лягачевым и В. Кравченко участвовал в запрещенной выставке художников-рабочих Эрмитажа.

Писал стихи для детей и детских театров: в журнал «Костёр» 1968 – 1976 гг., стихи к либретто «Волшебник страны Оз», к либретто по книге Корчака о Матиуше, к либретто «Айболит с Петроградской» и т.п. Писал стихи для взрослого музыкального театра, кино, ТВ и переводил для дублированных фильмов. Живёт в Санкт-Петербурге. Публиковался также в эмигрантских журналах и сборниках, некоторые стихи были напечатаны в № 3 самиздатского журнала «Синтаксис» (см. т. 1, кн. 2, стр. 349).

ОТКРОВЕНИЕ ГОРОЖАНИНА

Крестьянин крепок костями.
Он принципиален и прост.

Мне хочется стать крестьянином.
Вступив, если надо, в колхоз.

Судьба у крестьянина древняя.
Жать. В землю зерна бросать.
Да изредка время от времени
Россию ходить спасать.
От немцев, варяг или греков.
Ему помогает Мороз.

И тоже сделаюсь крепок,
принципиален
и прост.

1958

* * *

Уже давным-давно замечено,
как некрасив в скафандре Водолаз.
Но несомненно
есть на свете Женщина,
что и такому б отдалась.

Быть может, выйдет из воды он прочь,
обвешанный концами водорослей,
и выпадет ему сегодня ночь,
наполненная массой удовольствий.
(Не в этот, так в другой такой же раз).
Та Женщина отказывала многим.
Ей нужен непременно Водолаз.
Резиновый. Стальной. Свинцовоногий.

Вот ты,
хоть не резиновый,
но скользкий.
И отвратителен, особенно нагой.

Но Женщина ждет и Тебя.
Поскольку
Ей нужен именно Такой.

1959

РАССКАЗ ЖЕНЩИНЫ

Помню,
в бытность мою девицею
мною увлекся начальник милиции.
Смел. На каждом боку по нагану.
Но меня увлекли хулиганы.

А потом полюбил прокурор.
Приглашал с собой на курорт.
Я была до тех пор домработницей —
обещал, что сделает модницей.
Подарил уже туфли черные.
Но меня увлекли заключенные.

А потом я жила в провинции,
населенной сплошь украинцами.

И меня, увидав возле дома,
полюбил секретарь райкома.
Подарил уже туфли спортивные.
Но меня увлекли беспартийные.

1959

ПОСЛЕ СИМФОНИЧЕСКОГО КОНЦЕРТА*

Я вылеплен не из такого теста,
чтоб понимать мелодию без текста.

Почем узнаю без канвы словесной я:
враждебная она
или советская?

А песню
я люблю:
текст и мелодию.
Она ведь элемент понятия «Родина».
Как дом, дорога, солнца жар.

И в музыке она главнейший жанр.
Знай я хотя бы две хороших песни,
певцом бы сделался уже сегодня я.
Но это неосуществимо,
если
стараются писать одни симфонии.

* * *

Просто стало теплее от тополя,*
вспыхнувшего от спички.
Просто кто-то выпросил, чтобы стало теплее...
И тлело топливо.
А зачем растоптали тело
перед фиолетовым летом?
А зачем, оплывающей горечью,
вечер чахл и ветер горяч?
«Сыпьте деревья и спите».
И кончается ночь,
и кончается день,
и кончается жизнь по ночам.

Так легко им идти по улице —
пусть в лицо кинет капли весло.

Заколдованной песня попала в строку,
в вариант непридуманных слов.

Я скажу вам:
уют нависает углом
над дорогой, ломающей свод.
Я скажу вам, что кто-то опять споет
свою песню.
Из страсти прочитанной
пусть останется белая гавань.
И строка не умрет несосчитанными
и упавшими в ритме словами.

Может, вы и теперь не поверите.
Шире рты, попугай и окуни!
Всё.
Я кончил. —
Ломайте двери!
Бейте пыльные стекла окон.

Источник: Сайт Владимира Уфлянда (<http://www.ufland.narod.ru>)

* Опубликовано в «Синтаксисе», №3.

**ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ПРОЗА**

Бунин
Иван Алексеевич
(1870–1953)



Писатель, поэт, первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе.

Родился в Воронеже в обедневшей дворянской семье. Формального образования не получил. Печатный дебют состоялся в 1887 г., когда столичная газета «Родина» опубликовала его стихотворение «Над могилой Надсона». Первый поэтический сборник вышел в 1891 г. В 1903 г. за блестящий перевод поэмы Г. Логнфелло «Песнь о Гайавате» Бунин получил от Российской академии Пушкинскую премию. В 1902 – 1907 гг. увидело свет первое собрание сочинений Бунина. В 1909 г., получив вторую Пушкинскую премию, Бунин стал почетным академиком по разряду изящной словесности. Враждебно встретил обе революции 1917 года. В 1920 г. навсегда покинул Россию и поселился в Париже. В 1933 г. получил Нобелевскую премию по литературе.

Основные произведения:

«Деревня» (1910), «Суходол» (1911-1912), «Господин из Сан-Франциско» (1915-1916), «Роза Иерихона» (1924), «Митина любовь» (1925), «Солнечный удар» (1927), «Божье дерево» (1931), «Жизнь Арсеньева» (1933), «Окаянные дни» (1935), «Темные аллеи» (1943).

Свое отношение к режиму, установленному большевиками в России, с наибольшей полнотой выразил в двух произведениях, ходивших в Самиздате:

«Под серпом и молотом» (Берлин, 1935);

«Окаянные дни» (Берлин, 1935).

Впервые в России опубликованы: И.А. Бунин. Окаянные дни. Тула: Приокское книжное издательство, 1992.

ПОД СЕРПОМ И МОЛОТОМ

Дозорный

Мне было тогда двадцать лет, я жил у сестры в ее орловском имении. Как сейчас помню, понадобилась мне лишняя полка для книг. Сестра сказала:

– Да позови Костина...

Вечером Костин пришел, взял заказ. Мы разговорились, заинтересовались друг другом и вскоре стали как бы приятелями.

Он был мой ровесник. Помимо наследственного ремесла, — его покойный отец тоже столярничал, — он имел еще и другое: самоучкой одолев грамоту, он добился того, что попал помощником учителя в школу, построенную возле церкви моим шурином, и даже переселился в нее, оставив мать, старшего брата и сестру в избе на деревне, так как уже стыдился мужицкой жизни, а кроме того,

еще и потому, что старший брат, человек хозяйственный, спокойный и здоровый, считал его круглым дураком. И точно, был он довольно странным.

Он был очень высок и миловиден, слегка заикался и, как многие заики, цвет лица имел девичий и поминутно вспыхивал румянцем. Робок и застенчив он был вообще на редкость, больше секунды глядеть в глаза собеседнику никак не мог. Сразу было видно, что он живет в каком-то своем собственном мире, что он втайне съедаем необыкновенным самолюбием, страшной обидчивостью и мучительной завистью совершенно ко всему на свете, из которой проистекало его другое удивительное свойство: ненасытное, чисто идиотическое любопытство и обезьянство.

Видеться и говорить с ним было, в сущности, томительно. Он не говорил, а только все спрашивал. Вся его речь состояла из одних настойчивых и подробных расспрашиваний, выпытываний: что, как и почему? Он с наслаждением повторял всякий ответ и тотчас же ставил следующий вопрос. Держит какую-нибудь вещь, взятую для работы, для поправки или уже сработанную и принесенную, внимательно оглядывает ее, ощупывает, гладит своими большими руками — и мучит вас: расспрашивает буквально обо всем, чего бы случайно ни коснулся разговор, повторяет с удивленной и довольной улыбкой ответы и, видимо, даже на мгновение не сомневается, нужно это ему знать или не нужно. Притом он свято верил положительно всему, что ни скажи. Я раз пошутил, — в Америке все вниз головами ходят, даже волосы у всех висят: он с удовольствием изумился, повторил и поверил. Вообще шуток он не понимал и не чувствовал совершенно.

И с утра до вечера, каждую свободную минуту, он чему-нибудь учился, неустанно обезьянничал: что ни увидит, что ни узнает, всему учится, всему подражает и всегда бесталанно, хотя и довольно точно. Чего только не умел он! Поправлял часы и гармонию, мой велосипед и лавочников аристон, переплетал книги и налаживал перепелиные дудки, на жалейках тайком учился играть и стихи писал... Всего и не упомнишь...

Конечно, он не пил, не курил, — тут его обезьянство уступало той женственности, которая отличала его натуру и, кстати сказать, производила впечатление довольно-таки неприятное; одевался со скромной нарядностью, — тонкие сапоги, пиджачок, вышитая косоворотка, новенький картуз, — и даже носовой платок носил с собой. В руках — неизменно железный костылик.

Школа стояла рядом с церковной караулкой. В большие праздники мужики, приходившие к обедне, дожидались службы, курили и вели оживленные беседы всегда в караулке. Костин являлся туда раньше всех и внимательно слушал все, что говорилось, сам, однако, в разговор не вступая, сидя в сторонке, внимательно что-нибудь разглядывал, — скалка, утюг, зазубренный топор, — и тая на губах чуть заметную довольную усмешку над мужичьей глупостью и болтливостью.

Я часто заходил к нему по вечерам: всегда дома и всегда что-нибудь прилежно работает. Горит тусклая лампочка на столе, а он сидит; гнется возле нее. Косоворотка навывпуск, подпоясана шелковым жгутом с мохрами. Лицо чистое, худощавое, но круглое, глаза с белесой зеленью, светло-желтые волосы, примасленные и причесанные на косой ряд, падают прядью на лоб. Увидя меня, дружелюбно оживает и тотчас же, слегка заикаясь и избегая глядеть в глаза, пускается в расспросы. Иногда вынимает из стола тетрадку и подает мне:

– Йесть новенькие. Прочтите и обкритикуйте.
Я развертываю и читаю:

Резвая струя в лугах бежит,
Есть у нее удачное название,
Как только пловца заманит,
А он погибнет без сознания...

– Это опять акrostих?

– Акrostих. Выходит: река. Только, конечно, ять нельзя вставить...

Хорошо помню, как я зашел к нему в последний раз.

Была поздняя осень, роковые дни для него и для меня — вот-вот надо было ехать в город, ставиться в солдаты. Наступила Казанская, оставалась всего неделя нашей свободы. Утром, чем свет, я, помню, пошел к обедне, зашел в караулку: еще горит лампочка, караулка полным-полна расцвеченными девками, бабами, мужиками и накурена, как овин; мужики галдят, а бабы и девки все поглядывают на нары под полатями, шепчутся и покатываются со смеху, валяются друг на друга; предмет смеха — обычный: Костин; он же сидит, опустив глаза, и что-то разглядывает; на голове высокая шапка серого барашка, на сапогах новые глубокие калоши, одет в новую теплую поддевку черного сукна, лицо алое от обиды, но на губах улыбочка...

А вечером я побрел к нему в школу. Грязь была страшная, тьма хоть глаз выколи. Сверху сыпалась и сыпалась мельчайшая мга. Я шел через сад как слепой, чувствуя только одно — тьму, осеннее тепло, теплую душистую гниль мокрых деревьев, их коры и щекочущую влажную пыль на лице. Наконец забелел туманный огонек впереди — знакомая лампочка на столе возле окна в школе — одинокий, единственный свет во всем селе, уже давно спящем мертвым сном. Костин спокойно сидел за работой — с явным удовольствием оклеивал тонкими пластинками фанеры чью-то шашечную доску.

А на его работу тупо и странно-весело, блестящими кофейными глазами, смотрела сидевшая за партой возле стены небольшая бабочка с кудряшками на крутом лбу, молодая жена церковного сторожа, — совсем бы ничего себе бабочка, если бы не ничтожный носик с заячьими маленькими ноздрями. Мне было не по себе, и я, притворяясь небрежным и шутливым, заговорил о том, что меня томило, — о поездке в город. Но, к крайнему моему удивлению, Костин совершенно не разделил моих чувств: напротив, его эта поездка очень интересовала и потому радовала.

– Ах, жнет, — сказал он, с увлечением продолжая работать и от этого почти не заикаясь: — я бы, кажется, попроситься стал, если бы меня не взяли. Надеюсь непременно попасть в Царство Польское. Два шага до Ппарижа!

И вдруг прибавил, кивая головой на свою молчаливую и все только тупо улыбающуюся гостью:

– Вот она, по глупости, тоже оплакивает меня. Говорит, — влюбилась. А с какой стороны она может быть мне интересна?

Гостья страшно покраснела, смутилась и трогательно-неловко ответила:

– Уж хоть бы не брехал-то! Дюже ты мне надобен!

Он только небрежно усмехнулся.

Через неделю мы поехали с ним ночью на станцию, к шестичасовому поезду. Я взял его к себе в тарантас. Он всю дорогу не спеша расспрашивал меня насчет военной службы в других странах, а тарантас качался в темноте и тумане, невидимые лошади шлепали по лужам, оступались в колдобины, полные воды и грязи. Перед станцией стало трудно и угрюмо светать, стали, приближаясь, обозначаться мутные холодные деревья в станционном дворе... Помню, долго ждали поезда, наконец показался вдаль, в мертвенно бледном рассветном тумане, белый, тяжело и густо клубящийся дым, потом черный паровоз, медленно выплывающий из мглистого моря осенних полей... И еще почему-то помню: рядом с тем вагоном, в который мы сели, был арестантский вагон с железными решетками в квадратных окошечках, и возле одного окошечка стоял, держась за решетку руками в кандалах, худой старик в пенсне на горбатом носу, с красными веками; и очень странным казалось это пенсне в соединении с каторжной фуражкой, с серым блином без козырька...

А в городе было великое множество деревенского народа, с громким и озабоченным говором идущего серединой улицы, возле же земской управы, где шел прием, весь день стояла густая толпа, и чего только в этой толпе не было! Плач, вой, причитания, крики годных, буйно и отчаянно дерущих свои гармонии, — вся эта дикая и жуткая балаганщина, в которую русский человек с наслаждением облакает свое горе, всячески разжигая его в себе. А в приемной зале, от самой входной двери, которая поминутно отворялась, в которую несло ледяной сыростью, и до самого присутственного стола, откуда раздавался необыкновенно звучный выкликающий голос воинского начальника, тянулась страшная шеренга голых тел, — коротконогих, худых (но неизменно пузатых), меловых, с коричневой сыпью от укусов тараканов на кострецах, там, где у каждого на теле была полоса от постоянно врезающейся оборки порток. Мы с Костиным пробрались вперед и тоже стали раздеваться. Воинский начальник, стоявший за столом, в кругу присутствия, перед серебряной пирамидой с Распятием, быстро взглянул на меня и что-то крикнул особенно звучно. Он был молод, красив, затянут в мундир, преисполнен энергии; короткие волосы его курчавились, длинные кудрявые усы торчали, светлые глаза зорким огнем освещали лицо. Костин, сидя и стягивая с себя сапог, замер и, весь алый от натуги и волнения, радостным шепотом спросил меня:

— Он самый главный и есть?

Через час его забрили. А через полмесяца мы с ним расстались — и очень надолго, на целых двадцать лет. Встретились же снова так.

Была осень девятнадцатого года. Наша армия только что оставила К. Я по некоторым причинам задержался на некоторое время, скрываясь всеми правдами и неправдами под видом самого дрянного мужичонка. А город уже наполнялся большевицкими властями и учреждениями, вступавшими войсками и обозами, и чекисты, во главе с каким-то товарищем Дозорным, уже работали не покладая рук. В ледяной солнечный день я шел однажды на главную улицу. Прошел мимо собора, глядя на голый городской сад, черневший напротив него, потом пошел по тротуару вдоль бывших присутственных мест, увешанных красными флагами. Перед этими присутственными местами тянется площадь и идет

дорога под гору, к мосту через реку. И вот, в ту минуту, когда я только что поравнялся с подъездом бывшей судебной палаты, из-под горы вырвался и полным махом прямо на меня понесся небольшой конный отряд, а за ним — длинный могучий серый автомобиль. Все это появилось так неожиданно и очутилось возле подъезда так мгновенно, что я невольно приостановился. Из машины же, меж тем, уже выскакивал высокий человек в белой папахе, в чудесной офицерской поддевке с белым барашковым воротником и необыкновенно щегольских офицерских сапогах. Бледное кошачье лицо его с желтыми усами было оживлено быстрой ездой, белесые глаза расширены. Он глянул — и бегом кинулся ко мне.

— Николой Николаевич, вы? — слегка задохнувшись, быстро спросил он меня и до глаз залился алым румянцем.

И, не дав мне ответить и мучительно заикнувшись, прибавил:

— Йя Костин-Дозорный... И ннаслышан ппро вас... Так что уж — прпростите!

И обернувшись к двум башкирам, с винтовками в руках сидевшим на машине, крикнул, вбегая в подъезд:

— Всад!

Меня скорым шагом, даже не обыскав, провели через площадь в сад, а через сад — к обрыву над речными обрывами и крикнули:

— Задом к речке!

Я стал и, мгновенно выхватив револьвер из кармана зипуна, в упор ударил в нагайскую рожу, стоявшую слева, и тотчас же задом упал с обрыва. Вторая рожка выстрелила по мне, потом сдуру кинулась назад за подмогой. Я сломал себе руку, а все-таки ушел.

8. VI. 24

Горький

Начало той странной дружбы, что соединяла нас с Горьким, — странной потому, что чуть ли не два десятилетия считались мы с ним большими друзьями, а в действительности ими не были, — начало это относится к 1899 году. А конец — к 1917. Тут случилось, что человек, с которым у меня за целых двадцать лет не было для вражды ни единого личного повода, вдруг оказался для меня врагом, долго вызывавшим во мне ужас, негодование. С течением времени чувства эти перегорели, он стал для меня как бы несуществующим. И вот нечто совершенно неожиданное:

— L'ecrivain Maxime Gorki est decede... Alexis Pechkoff connu en litterature sous le nom Gorki, etait ne en 1868 a Nijni-Novgorod d'une famille du cosaques...*

Еще одна легенда о нем. Босьяк, теперь вот казак... Как это ни удивительно, до сих пор никто не имеет о многом в жизни Горького точного представления. Кто знает его биографию достоверно? И почему большевики, провозгласившие его величайшим гением, издающие его несметные писания миллионами экземпляров, до сих пор не дали его биографии? Сказочна вообще судьба этого человека. Вот уже сколько лет мировой славы, совершенно беспримерной по незаслуженности, основанной на безмерно счастливом для ее носителя стечении не толь-

* Скончался писатель Максим Горький... Алексей Пешков, известный в литературе под именем Горького, родился в 1868 году в Нижнем Новгороде в казачьей семье... (франц.).

ко политических, но и весьма многих других обстоятельств, — например, полной неосведомленности публики в его биографии. Конечно, талант, но вот до сих пор не нашлось никого, кто сказал бы наконец здраво и смело о том, что такое и какого рода этот талант, создавший, например, такую вещь, как «Песня о соколе», — песня о том, как совершенно неизвестно зачем «высоко в горы вполз уж и лег там», а к нему прилетел какой-то ужасно гордый сокол. Все повторяют: «боссяк, поднялся со дна моря народного...» Но никто не знает довольно знаменательных строк, напечатанных в словаре Брокгауза: «Горький-Пешков Алексей Максимович. Родился в 69-м году, в среде вполне буржуазной: отец — управляющий большой паровой конторы; мать — дочь богатого купца красильщика...» Дальнейшее — никому в точности не ведомо, основано только на автобиографии Горького, весьма подозрительной даже по одному своему стилю: «Грамоте — учился я у деда по псалтырю, потом, будучи поваренком на пароходе, у повара Смурого, человека сказочной силы, грубости и — нежности...» Чего стоит один этот сусальный вечный Горьковский образ! «Смурый привил мне, дотоле люто ненавидевшему всякую печатную бумагу, свирепую страсть к чтению, и я до безумия стал зачитываться Некрасовым, журналом «Искра», Успенским, Дюма... Из поварят попал я в садовники, поглощал классиков и литературу лубочную. В пятнадцать лет возымел свирепое желание учиться, поехал в Казань, простодушно полагая, что науки желающим даром преподаются. Но оказалось, что оное не принято, вследствие чего и поступил в крендельное заведение. Работая там, свел знакомство со студентами... А в девятнадцать лет пустил в себя пулю, и, прохворав, сколько полагается, ожил, дабы приняться за коммерцию яблоками... В свое время был призван к отбыванию воинской повинности, но, когда обнаружилось, что дырявых не берут, поступил в письмоводители к адвокату Ланину, однако же вскоре почувствовал себя среди интеллигенции совсем не на своем месте и ушел бродить по югу России...»

В 82-м году Горький напечатал в газете «Кавказ» свой первый рассказ «Макар Чудра», который начинается на редкость пошло: «Ветер разносил по степи задумчивую мелодию плеска набегавшей на берег волны... Мгла осенней ночи пугливо вздрагивала и пугливо отодвигалась от нас при вспышках костра, над которым возвышалась массивная фигура Макара Чудры, старого цыгана. Полулежа в красивой свободной и сильной позе, методически потягивал он из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма и говорил: «Ведомо ли рабу воля широкая? Ширь степная понятна ли? Говор морской волны веселит ли ему сердце? Эге! Он, парень, раб!» А через три года после того появился знаменитый «Челкаш». Уже давно шла о Горьком молва по интеллигенции, уже многие зачитывались и «Макаром Чудрой» и последующими созданиями горьковского пера: «Емельян Пиляй», «Дед Архип и Ленька»... Уже славился Горький и сатирами — например, «О чижее, любители истины, и о дятле, который лгал», — был известен, как фельетонист, писал фельетоны (в «Самарской Газете»), подписываясь так: «Иегудиил Хламида». Но вот появился «Челкаш»...

Как раз к этой поре и относятся мои первые сведения о нем; в Полтаве, куда я тогда приезжал порой, прошел вдруг слух: «Под Кобеляками поселился молодой писатель Горький. Фигура удивительно красочная. Ражий детина в широчайшей крылатке, в шляпе вот с этакими полями и с пудовой суковатой ду-

бинкой в руке...» А познакомились мы с Горьким весной 99-го года. Приезжаю в Ялту, иду как-то по набережной и вижу: навстречу идет с кем-то Чехов, закрывается газетой, не то от солнца, не то от этого кого-то, идущего рядом с ним, что-то басом гудящего и все время высоко взмахивающего руками из своей крылатки. Здравуюсь с Чеховым, он говорит: «Познакомьтесь, Горький». Знакомлюсь, гляжу и убеждаюсь, что в Полтаве описывали его отчасти правильно: и крылатка, и вот этакая шляпа, и дубинка. Под крылаткой желтая шелковая рубаха, подпоясанная длинным и толстым шелковым жгутом кремового цвета, вышитая разноцветными шелками по подолу и вороту. Только не детина и не ражий, а просто высокий и несколько сутулый, рыжий парень с зеленоватыми, быстрыми и уклончивыми глазками, с утиным носом в веснушках, с широкими ноздрями и желтыми усиками, которые он, покашливая, все поглаживает большими пальцами: немножко поплюет на них и погладит. Пошли дальше, он закурил, крепко затянулся и тотчас же опять загудел и стал взмахивать руками. Быстро выкурив папиросу, пустил в ее мундштук слюны, чтобы загасить окурок, бросил его и продолжал говорить, изредка быстро взглядывая на Чехова, стараясь уловить его впечатление. Говорил он громко, якобы от всей души, с жаром и все образами, и все с героическими восклицаниями, нарочито грубоватыми, первобытными. Это был бесконечно длинный и бесконечно скучный рассказ о каких-то волжских богачах из купцов и мужиков, — скучный прежде всего по своему однообразию гиперболичности, — все эти богачи были совершенно былинные исполины, — а кроме того, и по неумеренности образности и пафоса. Чехов почти не слушал. Но Горький все говорил и говорил...

Чуть не в тот же день между нами возникло что-то вроде дружеского сближения, с его стороны несколько даже сентиментального, с каким-то застенчивым восхищением мною:

— Вы же последний писатель от дворянства, той культуры, которая дала миру Пушкина и Толстого!

В тот же день, как только Чехов взял извозчика и поехал к себе в Алупку, Горький позвал меня зайти к нему на Виноградную улицу, где он снимал у кого-то комнату, показал мне, морща нос, неловко улыбаясь счастливой, комически-глупой улыбкой, карточку своей жены с толстым, живоглазым ребенком на руках, потом кусок шелка голубенького цвета и сказал с этими гримасами:

— Это, понимаете, я на кофточку ей купил... этой самой женщине... Подарок везу...

Теперь это был совсем другой человек, чем на набережной, при Чехове: милый, шутивно-ломающийся, скромный до самоунижения, говорящий уже не басом, не с героической грубостью, а каким-то все время как бы извиняющимся, наигранно-задушевым волжским говорком с оканьем. Он играл и в том и в другом случае с одинаковым удовольствием, одинаково неустанно, — впоследствии я узнал, что он мог вести монологи хоть с утра до ночи и все одинаково ловко, вполне входя то в ту, то в другую роль, в чувствительных местах, когда старался быть особенно убедительным, с легкостью вызывая даже слезы на свои зеленоватые глаза. Тут обнаружились другие его черты, которые я неизменно видел впоследствии много лет. Первая черта была та, что на людях он бывал совсем не тот, что со мной наедине или вообще без посторонних, — на

людях он чаще всего басил, бледнел от самолюбия, честолюбия, от восторга публики перед ним, рассказывал все что-нибудь грубое, высокое, важное, своих поклонников и поклонниц любил поучать, говорил с ними то сурово и небрежно, то сухо, назидательно, — когда же мы оставались глаз на глаз или среди близких ему людей, он становился мил, как-то наивно радостен, скромн и застенчив даже излишне. А вторая черта состояла в его обожании культуры и литературы, разговор о которых был настоящим коньком его. То, что сотни раз он говорил мне впоследствии, начал он говорить еще тогда, в Ялте:

— Понимаете, вы же настоящий писатель прежде всего потому, что у вас в крови культура, наследственность высокого художественного искусства русской литературы. Наш брат, писатель для нового читателя, должен непрестанно учиться этой культуре, почитать ее всеми силами души, — только тогда и выйдет какой-нибудь толк из нас!

Несомненно, была и тут игра, было и то самоунижение, которое паче гордости. Но была и искренность — можно ли было иначе твердить одно и то же столько лет и порой со слезами на глазах?

Он, худой, был довольно широк в плечах, держал их всегда поднявши и узкогрудо сутулясь, ступал своими длинными ногами с носка, с какой-то, — пусть простят мне это слово, — воровской щеголеватостью, мягкостью, легкостью, — я немало видал таких походов в одесском порту. У него были большие, ласковые, как у духовных лиц, руки. Здороваясь, он долго держал твою руку в своей, приятно жал ее, целовался мягкими губами крепко, врасос. Скулы у него выдавались совсем по-татарски. Небольшой лоб, низко заросший волосами, закинутыми назад и довольно длинными, был морщинист, как у обезьяны — кожа лба и брови все лезли вверх, к волосам, складками. В выражении лица (того довольно нежного цвета, что бывает у рыжих) иногда мелькало нечто клоунское, очень живое, очень комическое, — то, что потом так сказало у его сына Максима, которого я, в его детстве, часто сажал к себе на шею верхом, хватал за ножки и до радостного визга доводил скачкой по комнате.

Ко времени первой моей встречи с ним слава его шла уже по всей России. Потом она только продолжала расти. Русская интеллигенция сходила от него с ума, и понятно почему. Мало того, что это была пора уже большого подъема русской революционности, мало того, что Горький так отвечал этой революционности: в ту пору шла еще страстная борьба между «народниками» и недавно появившимися марксистами, а Горький уничтожал мужика и воспевал «Челкашей», на которых марксисты, в своих революционных надеждах и планах, ставили такую крупную ставку. И вот, каждое новое произведение Горького тотчас делалось всероссийским событием. И он все менялся и менялся — и в образе жизни, и в обращении с людьми. У него был снят теперь целый дом в Нижнем Новгороде, была большая квартира в Петербурге, он часто появлялся в Москве, в Крыму, руководил журналом «Новая Жизнь», начинал издательство «Знание»... Он уже писал для художественного театра, артистке Книппер делал на своих книгах такие, например, посвящения:

— Эту книгу, Ольга Леонардовна, я переплел бы для Вас в кожу сердца моего!

Он уже вывел в люди сперва Андреева, потом Скитальца и очень приблизил их к себе. Временами приближал и других писателей, но чаще всего ненадолго:

очаровав кого-нибудь своим вниманием, вдруг отнимал у счастливица все свои милости. В гостях, в обществе было тяжело видеть его: всюду, где он появлялся, набивалось столько народу, не спускающего с него глаз, что протолпиться было нельзя. Он же держался все угловатее, все неестественнее, ни на кого из публики не глядел, сидел в кружке двух, трех избранных друзей из знаменитостей, свирепо хмурился, по-солдатски (нарочито по-солдатски) кашлял, курил папиросу за папиросой, тянул красное вино, — выпивал всегда полный стакан, не отрываясь, до дна, — громко изрекал иногда для общего пользования какую-нибудь сентенцию или политическое пророчество и опять, делая вид, что не замечает никого кругом, то хмурясь и барабаня большими пальцами по столу, то с притворным безразличием поднимая вверх брови и складки лба, говорил только с друзьями, но с ними как-то вскользь, они же повторяли на своих лицах меняющиеся выражения его лица, и упиваясь на глазах публики гордостью близости с ним, будто бы небрежно, будто бы независимо, то и дело вставляя в свое обращение к нему его имя:

— Совершенно верно, Алексей... Нет, ты не прав, Алексей... Видишь ли, Алексей... Дело в том, Алексей...

Все молодое уже исчезло в нем — с ним это случилось очень быстро, — цвет лица у него стал грубее и темнее, суше, усы гуще и больше, — его уже называли унтером, — на лице появилось много морщин, во взгляде — что-то злое, вызывающее. Когда мы встречались с ним не в гостях, не в обществе, он был почти прежний, только держался серьезнее, увереннее, чем когда-то. Но публике (без восторгов которой он просто жить не мог) часто грубил.

На одном людном вечере в Ялте я видел, как артистка Ермолова, — сама Ермолова и уже старая в ту пору! — подошла к нему и поднесла ему подарок — чудесный портсигарчик из китового уса. Она так смутилась, так растерялась, так покраснела, что у нее слезы на глаза выступили:

— Вот, Максим Алексеевич... Алексей Максимович... Вот я... вам...

Он в это время стоял возле стола, тушил, мял в пепельнице папиросу и даже не поднял глаз на нее.

— Я хотела выразить вам, Алексей Максимович...

Он, мрачно усмехнувшись в стол и, по своей привычке, дернув назад головой, отбрасывая со лба волосы, густо проворчал, как будто про себя, стих из «Книги Иова»:

— «Доколе же Ты не отвратишь от меня взора, не будешь отпускать меня на столько, чтобы слюну мог проглотить я?»

А что если бы его «отпустили»?

Ходил он теперь всегда в темной блузе, подпоясанной кавказским ремешком с серебряным набором, в каких-то особенных сапожках с короткими голенищами, в которые вправлял черные штаны. Всем известно, как, подражая ему в «народности» одежды, Андреев, Скиталец и прочие «Подмаксимки» тоже стали носить сапоги с голенищами, блузы и поддевки. Это было нестерпимо.

Мы встречались в Петербурге, в Москве, в Нижнем, в Крыму, — были и дела у нас с ним: я сперва сотрудничал в его журнале «Новая Жизнь», потом стал издавать свои первые книги в его издательстве «Знание», участвовал в «Сборниках Знания». Его книги расходились чуть не в сотнях тысяч экземпляров, прочие, — больше всего из-за марки «Знания», — тоже не плохо. «Знание»

сильно повысило писательские гонорары. Мы получали в «Сборниках Знания» кто по 300, кто по 400, а кто и по 500 рублей с листа, он — 1000 рублей: большие деньги он всегда любил. Тогда начал он и коллекционерство: начал собирать редкие древние монеты, медали, геммы, драгоценные камни; ловко, кругло, сдерживая довольную улыбку, поворачивал их в руках, разглядывая, показывая. Так он и вино пил: со вкусом и с наслаждением (у себя дома только французское вино, хотя превосходных русских вин было в России сколько угодно).

Я всегда дивился — как это его на все хватает: изо дня в день на людях, — то у него сборище, то он на каком-нибудь сборище, — говорит порой не умолкая, целыми часами, пьет сколько угодно, папирос выкуривает по сто штук в сутки, спит не больше пяти, шести часов — и пишет своим круглым, крепким почерком роман за романом, пьесу за пьесой! Очень было распространено убеждение, что он пишет совершенно безграмотно и что его рукописи кто-то поправляет. Но писал он совершенно правильно (и вообще с необыкновенной литературной опытностью, с которой и начал писать). А сколько он читал, вечный полуинтеллигент, начетчик!

Всегда говорили о его редком знании России. Выходит, что он узнал ее в то недолгое время, когда, уйдя от Ланина, «бродил по югу России». Когда я его узнал, он уже нигде не бродил. Никогда и нигде не бродил и после: жил в Крыму, в Москве, в Нижнем, в Петербурге... в 1905 году, после московского декабрьского восстания, эмигрировал через Финляндию за границу; побывал в Америке, потом семь лет жил на Капри, — до 1914 года. Тут, вернувшись в Россию, он крепко осел в Петербурге... Дальнейшее известно.

Мы с женой лет пять подряд ездили на Капри, провели там целых три зимы. В это время мы с Горьким встречались каждый день, чуть не все вечера проводили вместе, сошлись очень близко. Это было время, когда он был наиболее приятен мне.

В начале апреля 1917 года мы расстались с ним навсегда. В день моего отъезда из Петербурга он устроил огромное собрание в Михайловском театре, на котором он выступал с «культурным» призывом о какой-то «Академии свободных наук», потащил и меня с Шалапиным туда. Выйдя на сцену, сказал: «Товарищи, среди нас такие-то...» Собрание очень бурно нас приветствовало, но оно было уже такого состава, что это не доставило мне большого удовольствия. Потом мы с ним, Шалапиным и А. Н. Бенуа отправились в ресторан «Медведь». Было ведерко с зернистой икрой, было много шампанского... Когда я уходил, он вышел за мной в коридор, много раз крепко обнял меня, крепко поцеловал...

Вскоре после захвата власти большевиками он приехал в Москву, остановился у своей жены Екатерины Павловны, и она сказала мне по телефону: «Алексей Максимович хочет поговорить с вами». Я ответил, что говорить нам теперь не о чем, что я считаю наши отношения с ним навсегда конченными.

1936

Маяковский

Кончая свои писательские воспоминания, думаю, что Маяковский останется в истории литературы большевицких лет как самый низкий, самый цинич-

ный и вредный слуга советского людоедства, по части литературного восхваления его и тем самым воздействия на советскую чернь, — тут не в счет, конечно, только один Горький, пропаганда которого с его мировой знаменитостью, с его большими и примитивными литературными способностями, как нельзя более подходящими для вкусов толпы, с огромной силой актерства, с гомерической лживостью и беспримерной неумоимостью в ней оказала такую страшную преступную помощь большевизму поистине «в планетарном масштабе». И советская Москва не только с великой щедростью, но даже с идиотской чрезмерностью отплатила Маяковскому за все его восхваления ее, за всяческую помощь ей в деле развращения советских людей, в снижении их нравов и вкусов. Маяковский превознесен в Москве не только как великий поэт. В связи с недавней двадцатилетней годовщиной его самоубийства московская «Литературная газета» заявила, что «имя Маяковского воплотилось» в пароходы, школы, танки, улицы, театры и другие долгие дела. Десять пароходов «Владимир Маяковский» плавают по морям и рекам. «Владимир Маяковский» было начерчено на броне трех танков. Один из них дошел до Берлина, до самого рейхстага. Штурмовик «Владимир Маяковский» разил врага с воздуха. Подводная лодка «Владимир Маяковский» топила корабли в Балтике. Имя поэта носят: площадь в центре Москвы, станции метро, переулок, библиотека, музей, район в Грузии, село в Армении, поселок в Калужской области, горный пик на Памире, клуб литераторов в Ленинграде, улицы в пятнадцати городах, пять театров, три городских парка, школы, колхозы...» (А вот Карлу Либкнехту не повезло: во всей советской России есть всего-навсего единственный «Гусиный колхоз имени Карла Либкнехта».) Маяковскому пошло на пользу даже его самоубийство: оно дало повод другому советскому поэту, Пастернаку, обратиться к его загробной тени с намеком на что-то даже очень возвышенное:

Твой выстрел был подобен Этне
в предгорье трусов и трусих!

Казалось бы, выстрел можно уподоблять не горе, а какому-нибудь ее действию, — обвалу, извержению... Но поелику Пастернак считается в советской России да многими и в эмиграции тоже гениальным поэтом, то и выражается он как раз так, как и подобает теперешним гениальным поэтам, и вот еще один пример тому из его стихов:

Поэзия, я буду клясться
тобой и кончу, прохрипев:
ты не осанка сладкогласна,
ты лето с местом в третьем классе,
ты пригород, а не припев.

Маяковский прославился в некоторой степени еще до Ленина, выделился среди всех тех мошенников, хулиганов, что назывались футуристами. Все его скандальные выходки в ту пору были очень плоски, очень дешевы, все подобны выходкам Бурлюка, Крученых и прочих. Но он их всех превосходил силой грубости и

дерзости. Вот его знаменитая желтая кофта и дикарская раскрашенная морда, но сколь эта морда зла и мрачна! Вот он, по воспоминаниям одного из его тогдашних приятелей, выходит на эстраду читать свои вирши публике, собравшейся потешиться им: выходит, засунув руки в карманы штанов, с папирсой, зажатой в углу презрительно искривленного рта. Он высок ростом, статен и силен на вид, черты его лица резки и крупны, он читает, то усиливая голос до рева, то лениво бормоча себе под нос; кончив читать, обращается к публике уже с прозаической речью:

– Желаящие получить в морду благоволят становиться в очередь.

Вот он выпускает книгу стихов, озаглавленную будто бы необыкновенно остроумно: «Облако в штанах». Вот одна из его картин на выставке, — он ведь был и живописец: что-то как попало наляпано на полотне, к полотну приклеена обыкновенная деревянная ложка, а внизу подпись: «Парикмахер ушел в баню»...

Если бы подобная картина была вывешена где-нибудь на базаре в каком-нибудь самом захолустном русском городишке, любой прохожий мещанин, взглянув на нее, только покачал бы головой и пошел дальше, думая, что выкинул эту штуку какой-нибудь дурак набитый или помешанный. А Москву и Петербург эта штука все-таки забавляла, там она считалась «футуристической». Если бы на какой-нибудь ярмарке балаганный шут крикнул толпе становиться в очередь, чтобы получить по морде, его немедля выволокли бы из балагана и самого измордовали бы до бесчувствия. Ну, а русская столичная интеллигенция все-таки забавлялась Маяковскими и вполне соглашалась с тем, что их выходки называются футуризмом.

В день объявления первой русской войны с немцами Маяковский влезает на пьедестал памятника Скобелеву в Москве и ревет над толпой патриотическими виршами. Затем, через некоторое время, на нем цилиндр, черное пальто, черные перчатки, в руках трость черного дерева, и он в этом наряде как-то устраивается так, что на войну его не берут. Но вот наконец воцаряется косоглазый, картавый, лысый сифилитик Ленин, начинается та эпоха, о которой Горький, незадолго до своей насильственной смерти брякнул: «Мы в стране, освещенной гением Владимира Ильича Ленина, в стране, где неумоимо и чудодейственно работает железная воля Иосифа Сталина!» Воцарившись, Ленин, «величайший гений всех времен и народов», как неизменно называет его теперь Москва, провозгласил:

«Буржуазный писатель зависит от денежного мешка, от подкупа. Свободны ли вы, господа писатели, от вашей буржуазной публики, которая требует от вас порнографии в рамках и картинках, проституции в виде «дополнения» к «святому искусству» вашему?».

«Денежный мешок, порнография в рамках и картинках, проституция в виде дополнения...» Какой словесный дар, какой убийственный сарказм! Недаром твердит Москва и другое: «Ленин был и величайшим художником слова». Но всего замечательней то, что он сказал вскоре после этого:

«Так называемая «свобода творчества» есть барский анахронизм. Писатели должны непременно войти в партийные организации».

И вот Маяковский становится уже неизменным слугою РКП (Российской Коммунистической Партии), начинает буянить в том же роде, как буянил, будучи футуристом: орать, что «довольно жить законами Адама и Евы», что пора «скинуть с корабля современности Пушкина», затем — меня: твердо сказал на

каком-то публичном собрании (по свидетельству Е.Д. Кусковой в ее статьях «До и после», напечатанных в прошлом году в «Новом Русском Слове» по поводу моих «Автобиографических заметок»):

«Искусство для пролетариата не игрушка, а оружие. Долой «Буниновщину» и да здравствуют передовые рабочие круги!».

Что именно требовалось, как «оружие», этим кругам, то есть, проще говоря, Ленину с его РКП, единственной партией, которой он заменил все прочие «партийные организации? Требовалась «фабрикация людей с материалистическим мышлением, с материалистическими чувствами», а для этой фабрикации требовалось все наиболее заветное ему, Ленину, и всем его соратникам и наследникам: стереть с лица земли и оплевать все прошлое, все, что считалось прекрасным в этом прошлом, разжечь самое окаянное богохульство, — ненависть к религии была у Ленина совершенно патологическая, — и самую зверскую классовую ненависть, перешагнуть все пределы в беспримерно похабном самохвальстве и прославлении РКП, неустанно воспевать «вождей», их палачей, их опричников, — словом как раз все то, для чего трудно было найти более подходящего певца, «поэта», чем Маяковский с его злобной, бесстыдной, каторжно-бессердечной натурой, с его площадной глоткой, с его поэтичностью ломовой лошади и заборной бездарностью даже в тех дубовых виршах, которые он выдавал за какой-то новый род якобы стиха, а этим стихом выразить все то гнусное, чему он был столь привержен, и все свои лживые восторги перед РКП и ее главарями, свою преданность им и ей. Ставши будто бы яростным коммунистом, он только усилил и развил до крайней степени все то, чем добывал себе славу, будучи футуристом, ошеломляя публику грубостью и пристрастием ко всякой мерзости. Он называл звезды «плевочками», он, рассказывая в своих ухабистых виршах о своем путешествии по Кавказу, сообщил, что сперва поплевал в Терек, потом поплевал в Арагву; он любил слова еще более гадкие, чем плевочки, — писал, например, Есенину, что его, Есенина, имя публикой ослеплено, над Америкой, в которой он побывал впоследствии, издевался в том же роде:

Мамаша
 грудь
 ребенку дала.
Ребенок,
 с каплями на носу,
 сосет
как будто
 не грудь, а доллар —
 занят серьезным бизнесом.

Он любил слова «блевотина», — писал (похоже, что о самом себе):

Бумаги
 гладь
 облеживает
пером,

концом губы поэт,
как блядь рублевая.

Подобно Горькому, будто бы ужасно ненавидевшему золото, — Горький уже много лет тому назад свирепо назвал Нью-Йорк «Городом Желтого Дьявола», то есть золота, — он, Маяковский, золото тоже должен был ненавидеть, как это полагается всякому прихлебателю РКП, и потому писал:

Пока
доллар
всех поэм родовей,
лапя,
хапая,
выступает,
порфиру надев, Бродвей:
капитал —
его препохабие!

Горький посетил Америку в 1906 году, Маяковский через двадцать лет после него — и это было просто ужасно для американцев: я недавно прочел об этом в московской «Литературной газете», в почтенном органе Союза советских писателей, там в статье какого-то Атарова сказано, что на его столе лежит «удивительная, подлинно великая книга прозы и стихов Маяковского об Америке, что книга эта плод пребывания Маяковского в Нью-Йорке» и что после приезда его туда «у американских мастеров бизнеса были серьезные причины тревожиться: в их страну приехал великий поэт революции!».

Стакой же силой, с какой он устрасил и разоблачил Америку, он воспевал РКП:

Мы
не с мордой, опущенной вниз,
мы — в новом, грядущем быту,
помноженном на электричество
и коммунизм...
Поэтом не быть мне бы,
если б
не это пел:
в звездах пятиконечных небо
безмерного свода РКП.

Что совершалось под этим небом в пору писаний этих виршей? Об этом можно было прочесть даже и в советских газетах:

«3-го июня на улицах Одессы подобрано 142 трупа умерших от голода, 5-го июня — 187. Граждане! Записывайтесь в трудовые артели по уборке трупов!»

«Под Самарой пал жертвой людоедства бывший член Государственной

Думы Крылов, врач по профессии: он был вызван в деревню к больному, но по дороге убит и съеден».

В ту же пору так называемый «Всероссийский Староста» Калинин посетил юг России и тоже вполне откровенно засвидетельствовал:

«Тут одни умирают от голода, другие хоронят, стремясь использовать в пищу мягкие части умерших».

Но что до того было Маяковским, Демьянам и многим, многим прочим из их числа, жравшим «на полный рот», носившим шелковое белье, жившим в самых знаменитых «Подмосковных», в московских особняках прежних московских миллионеров! Какое дело было Владимиру Маяковскому до всего того, что вообще свершалось под небом РКП? Какое небо, кроме этого неба, мог он видеть? Разве не сказано, что «свинье неба вовеки не видать»? Под небом РКП при начале воцарения Ленина ходил по колено в крови «революционный народ», затем кровопролитием занялся Феликс Эдмундович Дзержинский и его соподвижники. И вот Владимир Маяковский превзошел в те годы даже самых отъявленных советских злодеев и мерзавцев. Он писал:

Юноше, обдумывающему житье,
решающему —
сделать бы жизнь с кого,
скажу, не задумываясь:
делай ее
с товарища Дзержинского!

Он, призывая русских юношей идти в палачи, напоминал им слова Дзержинского о самом себе, совершенно бредовые в устах изверга, истребившего тысячи и тысячи жизней:

«Кто любит жизнь так сильно, как я, тот отдает свою жизнь за других».

А наряду с подобными призывами не забывал Маяковский славословить и самих творцов РКП, — лично их:

Партия и Ленин —
кто более
матери истории ценен?
Я хочу,
чтоб к штыку
приравняли перо.
С чугуном чтоб
и с выделкой стали
о работе стихов
от Политбюро
чтобы делал доклады Сталин.

И вот слава его, как великого поэта, все растет и растет, поэтические творения его издаются «громадными тиражами по личному приказу из Кремля», в журналах платят ему за каждую строку даже в одно слово гонорары самые что

ни на есть высокие, он то и дело вояжирует в «гнусные» капиталистические страны, побывал в Америке, несколько раз приезжал в Париж и каждый раз имел в нем довольно долгое пребывание, заказывал белье и костюмы в лучших парижских домах, рестораны выбирал тоже наиболее капиталистические, но «поплеывал» и в Париже, — заявил с томной брезгливостью пресыщенного пшюта:

Я не люблю
 парижскую любовь —
любую самочку
 шелками разукрасьте,
потягиваясь, задремлю,
 сказав «тубо»
собакам озверевшей страсти.

«Большим поэтом» окрестил его, кажется, раньше всех Горький: пригласил его к себе на дачу в Мустамяки, чтобы он прочитал у него в небольшом, но весьма избранном обществе свою поэму «Флейта-Позвоночник», и когда Маяковский кончил эту поэму, со слезами пожал ему руку:

— Здорово, сильно... Большой поэт!

А всего несколько лет тому назад прочитал я в журнале «Новоселье», издававшемся тогда еще в Нью-Йорке, нечто уже совершенно замечательное:

«Потуги вычеркнуть Маяковского из русской и всемирной литературы отброшены последними годами в далекое архивное прошлое».

Это начало статейки, напечатанной в «Новоселье» г-ном Романом Якобсоном, очень видным славистом, весьма известным своими работами по изучению «Слова о Полку Игореве», — он, русский по происхождению, когда-то учившийся в одной гимназии с Маяковским в Москве, был сперва профессором в Праге, затем в Нью-Йорке и наконец получил кафедру в Харвардском университете, лучшем в Америке.

Не знаю, кто «тужился» развенчать Маяковского, — кажется, никто. И вообще г. Роман Якобсон напрасно беспокоится: относительно всемирной литературы он, конечно, слегка зарапортовался, рядом со «Словом о Полку Игореве» творения Маяковского навряд будут в ней, но в будущей свободной истории русской литературы Маяковский будет, без сомнения, помянут достойно.

ОКАЯННЫЕ ДНИ

Москва, 1918

<...>

2 марта.

«Развратник, пьяница Распутин, злой гений России». Конечно, хорош был мужичок. Ну, а вы-то, не вылезавшие из «Медведей» и «Бродячих Собак»?

Новая литературная низость, ниже которой падать, кажется, уже некуда: открылась в гнуснейшем кабаке какая-то «Музыкальная табакерка» — сидят

спекулянты, шулера, публичные девки и лопают пирожки по сто целковых штука, пьют ханжу из чайников, а поэты и беллетристы (Алешка Толстой, Брюсов и так далее) читают им свои и чужие произведения, выбирая наиболее похабные. Брюсов, говорят, читал «Гавриилиаду», произнося все, что заменено многоточиями, полностью. Алешка осмелился предложить читать и мне, — большой гонорар, говорит, дадим.

«Вон из Москвы!» А жалко. Днем она теперь удивительно мерзка. Погода мокрая, все мокро, грязно, на тротуарах и на мостовой ямы, ухабистый лед, про толпу же и говорить нечего. А вечером, ночью пусто, небо от редких фонарей чернеет тускло, угрюмо. Но вот тихий переулок, совсем темный, идешь — и вдруг видишь открытые ворота, за ними, в глубине двора, прекрасный силуэт старинного дома, мягко темнеющий на ночном небе, которое тут совсем другое, чем над улицей, а перед домом столетнее дерево, черный узор его громадного раскидистого шатра...

Читал новый рассказ Тренева («Батраки»). Отвратительно. Что-то, как всегда теперь, насквозь лживое, претенциозное, рассказывающее о самых страшных вещах, но ничуть не страшное, ибо автор несерьезен, изнуряет «наблюдательностью» и такой чрезмерной «народностью» языка и всей вообще манеры рассказывать, что хочется плюнуть. И никто этого не видит, не чует, не понимает, — напротив, все восхищаются. «Как сочно, красочно!»

Съезд «Советов». Речь Ленина. О, какое это животное!

Читал о стоящих на дне моря трупах, — убитые, утопленные офицеры. А тут «Музыкальная табакерка».

<...>

12 марта.

Встретил адвоката Малянтовича. И этот был министром. И таким до сих пор праздник, с них все как с гуся вода. Розовый, оживленный:

— Нет, вы не волнуйтесь. Россия погибнуть не может уж хотя бы по одному тому, что Европа этого не допустит: не забывайте, что необходимо европейское равновесие.

Был (по делу издания моих сочинений «Парусом») у Тихонова, вечного прихлебателя Горького. Да, очень странное издательство! Зачем понадобилось Горькому завести этот «Парус» и за весь год издать только книжечку Маяковского? Зачем Горький купил меня, заплатил семнадцать тысяч вперед и до сих пор не выпустил ни одного тома? Что скрывается под вывеской «Паруса»? И, особенно, в каких же отношениях с большевиками вся эта компания — Горький, Тихонов, Гиммер-Суханов? «Борются», якобы, с ними, а вот Тихонов и Гиммер приехали и остановились в реквизированной большевиками «Национальной Гостинице», куда я вошел через целую цепь солдат, сидящих на площадках лестниц с винтовками, после того, как получил пропуск от большевистского «коменданта» гостиницы. Тихонов и Гиммер в ней как дома. На стенах портреты Ленина и Троцкого. Насчет дела Тихонов вертелся: «Вот-вот начнем печатать, не беспокойтесь».

Рассказывал, как большевики до сих пор изумлены, что им удалось захватить власть и что они все еще держатся:

— Луначарский после переворота недели две бегал с вытаращенными глазами: да нет, вы только подумайте, ведь мы только демонстрацию хотели произвести и вдруг такой неожиданный успех!

Перед тем как проснуться нынче утром, видел, что кто-то умирает, умер. Очень часто вижу теперь во сне смерти — умирает кто-нибудь из друзей, близких, родных, особенно часто брат Юлий, о котором страшно даже и подумать: как и чем живет, да и жив ли? Последнее известие о нем было от 6 декабря прошлого года. А письмо из Москвы к В. от 10 августа пришло только сегодня. Впрочем, почта русская кончилась уже давно, еще летом 17 года: с тех самых пор, как у нас впервые, на европейский лад, появился «министр почт и телеграфов». Тогда же появился впервые и «министр труда» — и тогда же вся Россия бросила работать. Да и сатана Каиновой злобы, кровожадности и самого дикого самоуправства дохнул на Россию именно в те дни, когда были провозглашены братство, равенство и свобода. Тогда сразу наступило иступление, острое умопомешательство. Все орало друг на друга за малейшее противоречие: «Я тебя арестую, сукин сын!» Меня в конце марта 17 года чуть не убил солдат на Арбатской площади — за то, что я позволил себе некоторую «свободу слова», послав к черту газету «Социал-Демократ», которую навязывал мне газетчик. Мерзавец солдат прекрасно понял, что он может сделать со мной все, что угодно, совершенно безнаказанно, — толпа, окружавшая нас, и газетчик сразу же оказались на его стороне: «В самом деле, товарищ, вы что же это брезгуете народной газетой в интересах трудящихся масс? Вы, значит, контрреволюционер?» — Как они одинаковы, все эти революции! Во время французской революции тоже сразу была создана целая бездна новых административных учреждений, хлынул целый потоп декретов, циркуляров, число комиссаров, — непременно почему-то комиссаров, — и вообще всяческих властей стало несметно, комитеты, союзы, партии росли, как грибы, и все «пожирали друг друга», образовался совсем новый, особый язык, «сплошь состоящий из высокопарнейших восклицаний вперемешку с самой площадной бранью по адресу грязных остатков издыхающей тирании...» Все это повторяется потому прежде всего, что одна из самых отличительных черт революций — бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана. В человеке просыпается обезьяна.

Одесса, 1919

<...>

«Блок слышит Россию и революцию, как ветер...» О, словоблуды! Реки крови, море слез, а им все нипочем.

Часто вспоминаю то негодование, с которым встречали мои будто бы сплошь черные изображения русского народа. Да еще и до сих пор негодуют, и кто же? Те самые, что вскормлены, вспоены той самой литературой, которая сто лет позорила буквально все классы, то есть «попа», «обывателя», мещанина, чиновника, полицейского, помещика, зажиточного крестьянина, — словом вся и всех, за исключением какого-то «народа», — «безлошадного», конечно, — «молдежи» и босяков.

17 апреля.

«Старый, насквозь сгнивший режим рухнул без возврата... Народ, пламенным, стихийным порывом опрокинул — и навсегда — сгнивший трон Романовых...»

Но почему же в таком случае с первых же мартовских дней все сошли с ума на ужасе перед реакцией, реставрацией?

«Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой...» Как любил рычать это Горький! А и сон-то весь только в том, чтобы проломить голову фабриканту, вывернуть его карманы и стать стервой еще худшей, чем этот фабрикант.

«Революции не делаются в белых перчатках...» Что ж возмущаться, что контрреволюции делаются в ежовых рукавицах?

<...>

Как мы ввали друг другу, что наши «чудо-богатыри» — лучшие в мире патриоты, храбрейшие в бою, нежнейшие с побежденным врагом!

— Значит, ничего этого не было?

Нет, было. Но у кого? Есть два типа в народе. В одном преобладает Русь, в другом — Чудь, Меря. Но и в том и в другом есть страшная переменчивость настроений, обликов, «шаткость», как говорили в старину. Народ сам сказал про себя: «Из нас, как из древа, — и дубина, и икона», — в зависимости от обстоятельств, от того, кто это древо обрабатывает: Сергей Радонежский или Емелька Пугачев. Если бы я эту «икону», эту Русь не любил, не видал, из-за чего же бы я так сходил с ума все эти годы, из-за чего страдал так непрерывно, так люто? А ведь говорили, что я только ненавижу. И кто же? Те, которым, в сущности, было совершенно наплевать на народ, — если только он не был поводом для проявления их прекрасных чувств, — и которого они не только не знали и не желали знать, но даже просто не замечали, как не замечали лиц извозчиков, на которых ездили в какое-нибудь Вольно-Экономическое общество. Мне Скабичевский признался однажды:

— Я никогда в жизни не видал, как растет рожь. То есть, может, и видел, да не обратил внимания.

А мужика, как отдельного человека, он видел? Он знал только «народ», «человечество». Даже знаменитая «помощь голодающим» происходила у нас как-то литературно, только из жажды лишней раз лягнуть правительство, подвести под него лишней подкоп. Страшно сказать, но правда: не будь народных бедствий, тысячи интеллигентов были бы прямо несчастнейшие люди. Как же тогда засесть, протестовать, о чем кричать и писать? А без этого и жизнь не в жизнь была.

То же и во время войны. Было, в сущности, все то же жесточайшее равнодушие к народу. «Солдатики» были объектом забавы. И как сюсюкали над ними в лазаретах, как ублажали их конфетами, булками и даже балетными танцами! И сами солдатики тоже комедничали, прикидывались страшно благодарными, кроткими, страдающими покорно: «Что ж, сестрица, все Божья воля!» — и во всем поддакивали и сестрицам, и барыням с конфетами, и репортерам, ввали, что они в восторге от танцев Гельцер (насмотревшись на которую, однажды один солдатик на мой вопрос, что это такое по его мнению, ответил: «Да черт... Чертом представляется, козлекает...»)

Страшно равнодушны были к народу во время войны, преступно ввали об его патриотическом подъеме, даже тогда, когда уже и младенец не мог не видеть, что народу война осточертела. Откуда это равнодушие? Между прочим, и от ужасно присущей нам беспечности, легкомысленности, непривычки и не-

желания быть серьезными в самые серьезные моменты. Подумать только, до чего беспечно, спустя рукава, даже празднично отнеслась вся Россия к началу революции, к величайшему во всей ее истории событию, случившемуся во время величайшей в мире войны!

Да, уж чересчур привольно, с деревенской вольготностью, жили мы все (в том числе и мужики), жили как бы в богатейшей усадьбе, где даже и тот, кто был обделен, у кого были лапти разбиты, лежал, задерживая эти лапти, с полной беспечностью, благо потребности были дикарски ограничены.

«Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». Да и делали мы тоже только кое-что, что придется, иногда очень горячо и очень талантливо, а все-таки по большей части как Бог на душу положит — один Петербург подтягивал. Длительным будничным трудом мы брезговали, белоручки были, в сущности, страшные. А отсюда, между прочим, и идеализм наш, в сущности, очень барский, наша вечная оппозиционность, критика всего и всех: критиковать-то ведь гораздо легче, чем работать. И вот:

— Ах, я задыхаюсь среди этой Николаевщины, не могу быть чиновником, сидеть рядом с Акакием Акакиевичем, — карету мне, карету!

Отсюда Герцены, Чацкие. Но отсюда же и Николка Серый из моей «Деревни», — сидит на лавке в темной, холодной избе и ждет, когда подпадет какая-то «настоящая» работа, — сидит, ждет и томится. Какая это старая русская болезнь, это томление, эта скука, эта разбалованность — вечная надежда, что придет какая-то лягушка с волшебным кольцом и все за тебя сделает: стоит только выйти на крылечко и перекинуть с руки на руку колечко!

Это род нервной болезни, а вовсе не знаменитые «запросы», будто бы происходящие от наших «глубин».

«Я ничего не сделал, ибо всегда хотел сделать больше обыкновенного».

Это признание Герцена.

Вспоминаются и другие замечательные его строки:

«Нами человечество протрезвляется, мы его похмелее... Мы канонизировали человечество... канонизировали революцию... Нашим разочарованием, нашим страданием мы избавляем от скорбей следующие поколения...»

Нет, отрезвление еще далеко.

<...>

Бог шельму метит. Еще в древности была всеобщая ненависть к рыжим, скуластым. Сократ видеть не мог бледных. А современная уголовная антропология установила: у огромного количества так называемых «прирожденных преступников» — бледные лица, большие скулы, грубая нижняя челюсть, глубоко сидящие глаза.

Как не вспомнить после этого Ленина и тысячи прочих? (Впрочем, уголовная антропология отмечает среди природенных преступников и особенно преступниц и резко противоположный тип: кукольное, «ангельское» лицо, вроде того, что было, например, когда-то у Коллонтай.)

А сколько лиц бледных, скуластых, с разительно асимметрическими чертами среди этих красноармейцев и вообще среди русского простонародья, — сколько их, этих атавистических особей, круто замешанных на мон-

гольском атавизме! Вась, Мурома, Чудь белоглазая... И как раз именно из них, из этих самых русичей, издревле славных своей антисоциальностью, давших столько «удалых разбойничков», столько бродяг, бегунов, а потом хитровцев, босяков, как раз из них и вербовали мы красу, гордость и надежду русской социальной революции. Что ж удивиться результатам?

Тургенев упрекал Герцена: «Вы преклоняетесь перед тулупом, видите в нем великую благодать, новизну и оригинальность будущих форм». Новизна форм! В том-то и дело, что всякий русский бунт (и особенно теперешний) прежде всего доказывает, до чего все старо на Руси и сколь она жаждет прежде всего бесформенности. Спокон веку были «разбойнички» муромские, брынские, саратовские, бегуны, шатуны, бунтари против всех и вся, ярыги, голь кабацкая, пустосвяты, сеятели всяческих лжей, несбыточных надежд и свар. Русь классическая страна буяна. Был и святой человек, был и строитель, высокой, хотя и жестокой крепости. Но в какой долгой и непрестанной борьбе были они с буяном, разрушителем, со всякой крамолой, сварой, кровавой «неурядицей и нелепицей»!

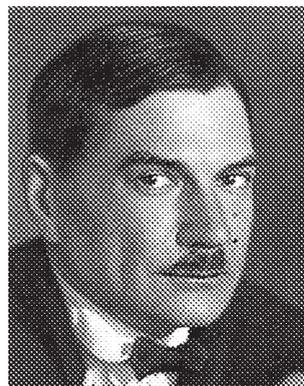
Уголовная антропология выделяет преступников случайных: это случайно совершившие преступление, «люди, чуждые антисоциальных инстинктов». Но совершенно другое, говорит она, преступники «инстинктивные». Эти всегда как дети, как животные, и главнейший их признак, коренная черта — жажда разрушения, антисоциальность.

Вот преступница, девушка. В детстве упорна, капризна. С отрочества у нее резко начинает проявляться воля к разрушению: рвет книги, бьет посуду, жжет свои платья. Она много и жадно читает и любимое ее чтение — страстные, запутанные романы, опасные приключения, бессердечные и дерзкие подвиги. Влюбляется в первого попавшегося, привержена дурным половым наклонностям. И всегда чрезвычайно логична в речах, ловко сваливает свои поступки на других, лжива так нагло, уверенно и чрезмерно, что парализует сомнение тех, кому лжет. Вот преступник, юноша. Гостил на даче у родных. Ломал деревья, рвал обои, бил стекла, осквернял эмблемы религии, всюду рисовал гадости. «Типично антисоциален...» И таких примеров тысячи.

В мирное время мы забываем, что мир кишит этими вырожденками, в мирное время они сидят по тюрьмам, по желтым домам. Но вот наступает время, когда «державный народ» восторжествовал. Двери тюрем и желтых домов раскрываются, архивы сыскных отделений жгутся — начинается вакханалия. Русская вакханалия превзошла все до нее бывшие — и весьма изумила и огорчила даже тех, кто много лет звал на Стенькин Утес, — послушать «то, что думал Степан». Странное изумление! Степан не мог думать о социальном, Степан был «прирожденный» — как раз из той злодейской породы, с которой, может быть, и в самом деле предстоит новая долготелая борьба.

<...>

Замятин
Евгений Иванович
(1884–1937)



Писатель.

Родился в небогатой дворянской семье в Лебедяни близ Липецка. Окончив Воронежскую гимназию с золотой медалью, поступил на кораблестроительный факультет Петербургского политехнического института. После окончания института стал преподавать. Литературный дебют состоялся в 1908 г., а после выхода повести «Уездное» в 1913 г. к Замятину пришла известность.

Несмотря на то, что Замятин был участником Революции 1905 г., а с 1906 г. — членом партии большевиков, после событий 1917 г. и начала Гражданской войны он глубоко разочаровался в социализме и писал о возврате к пещерному существованию: «Боюсь, у русской литературы только одно будущее — ее прошлое». Написанный в 1920 г. роман-антиутопия «Мы» предвосхитил О. Хаксли, Д. Оруэлл, Р. Бредбери и т.д.

В советской печати роман опубликован не был, но широко ходил в списках. В 1924 году «Мы» без ведома автора, был переведен и напечатан в США, в 1929 году — во Франции. После этого Замятин подвергся ожесточенной травле, был вынужден выйти из Всероссийского союза писателей, и находился в полной изоляции. После письма И.В. Сталину в 1931 г. получил возможность выехать во Францию, сохранив советское гражданство.

После 1929 года впервые в СССР был напечатан в 1986 г. Роман «Мы» был опубликован в журнале «Знамя» в 1988 г.

МЫ

Запись 1-я. Конспект:
Объявление. Мудрейшая из линий. Поэма.

Я просто списываю — слово в слово — то, что сегодня напечатано в Государственной Газете:

«Через 120 дней заканчивается постройка «Интеграла». Близок великий, исторический час, когда первый «Интеграл» взвезется в мировое пространство. Тысячу лет тому назад ваши героические предки покорили власти Единого Государства весь земной шар. Вам предстоит еще более славный подвиг: стеклянным, электрическим, огнедышащим «Интегралом» проинтегрировать бесконечное уравнение Вселенной. Вам предстоит благодетельному игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на иных планетах — быть может, еще в диком состоянии свободы. Если они не поймут, что мы несем им математичес-

ки безошибочное счастье, наш долг заставить их быть счастливыми. Но прежде оружия мы испытываем слово.

От имени Благодетеля объявляется всем нумерам Единого Государства:

Всякий, кто чувствует себя в силах, обязан составлять трактаты, поэмы, манифесты, оды или иные сочинения о красоте и величии Единого Государства.

Это будет первый груз, который понесет «Интеграл».

Да здравствует Единое Государство, да здравствуют нумера, да здравствует Благодетель!»

Я пишу это и чувствую: у меня горят щеки. Да: проинтегрировать грандиозное вселенское уравнение. Да: разогнуть дикую кривую, выпрямить ее по касательной — асимптоте — по прямой. Потому что линия Единого Государства — это прямая. Великая, божественная, точная, мудрая прямая — мудрейшая из линий...

Я, Д-503, строитель «Интеграла», — я только один из математиков Единого Государства. Мое привычное к цифрам перо не в силах создать музыки ассонансов и рифм. Я лишь попытаюсь записать то, что вижу, что думаю — точнее, что мы думаем (именно так: мы, и пусть это «МЫ» будет заглавием моих записей). Но ведь это будет производная от нашей жизни, от математически совершенной жизни Единого Государства, а если так, то разве это не будет само по себе, помимо моей воли поэмой? Будет — верю и знаю.

Я пишу это и чувствую: у меня горят щеки. Вероятно, это похоже на то, что испытывает женщина, когда впервые услышит в себе пульс нового, еще крошечного, слепого человечка. Это я и одновременно не я. И долгие месяцы надо будет питать его своим соком, своей кровью, а потом — с болью оторвать его от себя и положить к ногам Единого Государства.

Но я готов так же, как каждый, или почти каждый, из нас. Я готов.

Запись 3-я. Конспект: Пиджак. Стена. Скрижаль.

Просмотрел все написанное вчера — и вижу: я писал недостаточно ясно. То есть все это совершенно ясно для любого из нас. Но как знать: быть может, вы, неведомые, кому «Интеграл» принесет мои записки, может быть, вы великую книгу цивилизации дочитали лишь до той страницы, что и наши предки лет 900 назад. Быть может, вы не знаете даже таких азов, как Часовая Скрижаль, Личные Часы, Материнская Норма, Зеленая Стена, Благодетель. Мне смешно и в то же время очень трудно говорить обо всем этом. Это все равно как если бы писателю какого-нибудь, скажем, 20-го века в своем романе пришлось объяснять, что такое «пиджак», «квартира», «жена». А впрочем, если его роман переведен для дикарей, разве мыслимо обойтись без примечаний насчет «пиджака»?

Я уверен, дикарь глядел на «пиджак» и думал: «Ну к чему это? Только обуза». Мне кажется, точь-в-точь так же будете глядеть и вы, когда я скажу вам, что никто из нас со времен Двухсотлетней Войны не был за Зеленой Стеною.

Но, дорогие, надо же сколько-нибудь думать, это очень помогает. Ведь ясно: вся человеческая история, сколько мы ее знаем, — это история перехода от ко-

чевых форм ко все более оседлым. Разве не следует отсюда, что наиболее оседлая форма жизни (наша) есть вместе с тем и наиболее совершенная (наша). Если люди метались по земле из конца в конец, так это только во времена доисторические, когда были нации, войны, торговли, открытия разных америк. Но зачем, кому это теперь нужно?

Я допускаю: привычка к этой оседлости получилась не без труда и не сразу. Когда во время Двухсотлетней Войны все дороги разрушились и заросли травой — первое время, должно быть, казалось очень неудобно жить в городах, отрезанных один от другого зелеными дебрями. Но что же из этого? После того как у человека отвалился хвост, он, вероятно, тоже не сразу научился сгонять мух без помощи хвоста. Он первое время, несомненно, тосковал без хвоста. Но теперь — можете вы себе вообразить, что у вас хвост? Или: можете вы себя вообразить на улице голым, без «пиджака» (возможно, что вы еще разгуливаете в «пиджаках»). Вот так же и тут: я не могу себе представить город, не одетый Зеленой Стеною, не могу представить жизнь, не облеченную в цифровые ризы Скрижали.

Скрижаль... Вот сейчас со стены у меня в комнате сурово и нежно в глаза мне глядят ее пурпурные на золотом поле цифры. Невольно вспоминается то, что у древних называлось «иконой», и мне хочется слагать стихи или молитвы (что одно и то же). Ах, зачем я не поэт, чтобы достойно воспеть тебя, о Скрижаль, о сердце и пульс Единого Государства!

Все мы (а может быть, и вы) еще детьми, в школе, читали этот величайший из дошедших до нас памятников древней литературы — «Расписание железных дорог». Но поставьте даже его рядом со Скрижалью — и вы увидите рядом графит и алмаз: в обоих одно и то же — С, углерод, — но как вечен, прозрачен, как сияет алмаз. У кого не захватывает духа, когда вы с грохотом мчитесь по страницам «Расписания». Но Часовая Скрижаль каждого из нас наяву превращает в стального шестиколесного героя великой поэмы. Каждое утро, с шестиколесной точностью, в один и тот же час и в одну и ту же минуту мы, миллионы, встаем как один. В один и тот же час единомиллионно начинаем работу — единомиллионно кончаем. И сливаясь в единое, миллионнорукое тело, в одну и ту же, назначенную Скрижалью, секунду, мы подносим ложки ко рту и в одну и ту же секунду выходим на прогулку и идем в аудиториум, в зал Тэйлоровских экзерсисов, отходим ко сну...

Буду вполне откровенен: абсолютно точного решения задачи счастья нет еще и у нас: два раза в день — от 16 до 17 и от 21 до 22 — единый мощный организм рассыпается на отдельные клетки: это установленные Скрижалью Личные Часы. В эти часы вы увидите: в комнате у одних целомудренно спущены шторы, другие мерно по медным ступеням Марша проходят проспектом, третьи — как я сейчас — за письменным столом. Но я твердо верю — пусть назовут меня идеалистом и фантазером, — я верю: раньше или позже, но когда-нибудь и для этих часов мы найдем место в общей формуле, когда-нибудь все 86400 секунд войдут в Часовую Скрижаль.

Много невероятного мне приходилось читать и слышать о тех временах, когда люди жили еще в свободном, т.е. неорганизованном, диком состоянии. Но самым невероятным мне всегда казалось именно это: как тогдашняя — пусть даже зачаточная — государственная власть могла допустить, что люди жили

без всякого подобия нашей Скрижали, без обязательных прогулок, без точного урегулирования сроков еды, вставали и ложились спать, когда им взбредет в голову; некоторые историки говорят даже, будто в те времена на улицах всю ночь горели огни, всю ночь по улицам ходили и ездили.

Вот этого я никак не могу осмыслить. Ведь как бы ни был ограничен их разум, но все-таки должны же они были понимать, что такая жизнь была самым настоящим поголовным убийством — только медленным, изо дня в день. Государство (гуманность) запрещало убить насмерть одного и не запрещало убивать миллионы наполовину. Убить одного, т. е. уменьшить сумму человеческих жизней на 50 лет, — это преступно, а уменьшить сумму человеческих жизней на 50 миллионов лет — это не преступно. Ну разве не смешно? У нас эту математически-моральную задачу в полминуты решит любой десятилетний номер; у них не могли все их Канты вместе (потому что ни один из Кантов не догадался построить систему научной этики, т. е. основанной на вычитании, сложении, делении, умножении).

А это разве не абсурд, что государство (оно смело называть себя государством!) могло оставить без всякого контроля сексуальную жизнь. Кто, когда и сколько хотел... Совершенно ненаучно, как звери. И как звери, вслепую, рожали детей. Не смешно ли: знать садоводство, куроводство, рыбоводство (у нас есть точные данные, что они знали все это) и не суметь дойти до последней ступени этой логической лестницы: детоводства. Не додуматься до наших Материнской и Отцовской Норм.

Так смешно, так неправдоподобно, что вот я написал и боюсь: а вдруг вы, неведомые читатели, сочтете меня за злого шутника. Вдруг подумаете, что я просто хочу поиздеваться над вами и с серьезным видом рассказываю совершеннейшую чушь.

Но первое: я не способен на шутки — во всякую шутку неявной функцией входит ложь; и второе: Единая Государственная Наука утверждает, что жизнь древних была именно такова, а Единая Государственная Наука ошибаться не может. Да и откуда тогда было бы взяться государственной логике, когда люди жили в состоянии свободы, т.е. зверей, обезьян, стада. Чего можно требовать от них, если даже и в наше время откуда-то со дна, из мохнатых глубин, еще изредка слышно дикое, обезьянье эхо.

К счастью, только изредка. К счастью, это только мелкие аварии деталей: их легко ремонтировать, не останавливая вечного, великого хода всей Машины. И для того, чтобы выкинуть вон погнувшийся болт, у нас есть искусная, тяжкая рука Благодетеля, у нас есть опытный глаз Хранителей...

Да, кстати, теперь вспомнил: этот вчерашний, дважды изогнутый, как S, — кажется, мне случалось видеть его выходящим из Бюро Хранителей. Теперь понимаю, отчего у меня было это инстинктивное чувство почтения к нему и какая-то неловкость, когда эта странная I при нем... Должен сознаться, что эта I...

Звонят спать: 22.30. До завтра.

Запись 9-я. Конспект: Литургия. Ямбы и Хореи. Чугунная рука.

Торжественный светлый день. В такой день забываешь о своих слабостях, неточностях, болезнях — и все хрустально-неколебимое, вечное — как наше, новое стекло...

Площадь Куба. Шестьдесят шесть мощных концентрических кругов: трибуны. И шестьдесят шесть рядов: тихие светильники лиц, глаза, отражающие сияние небес — или, может быть, сияние Единого Государства. Алые, как кровь, цветы — губы женщин. Нежные гирлянды детских лиц — в первых рядах, близко к месту действия. Углубленная, строгая, готическая тишина.

Судя по дошедшим до нас описаниям, нечто подобное испытывали древние во время своих «богослужений». Но они служили своему нелепому, неведомому Богу — мы служим лепому и точнейшим образом ведомому; их Бог не дал им ничего, кроме вечных, мучительных исканий; их Бог не выдумал ничего умнее, как неизвестно почему принести себя в жертву, — мы же приносим жертву нашему Богу, Единому Государству, — спокойную, обдуманную, разумную жертву. Да, это была торжественная литургия Единому Государству, воспоминание о крестных днях — годах Двухсотлетней Войны, величественный праздник победы всех над одним, суммы над единицей...

Вот один — стоял на ступенях налитого солнцем Куба.

Белое... и даже нет — не белое, а уж без цвета — стеклянное лицо, стеклянные губы. И только одни глаза, черные, всасывающие, глотающие дыры и тот жуткий мир, от которого он был всего в нескольких минутах. Золотая бляха с номером уже снята. Руки перевязаны пурпурной лентой (старинный обычай: объяснение, по-видимому, в том, что в древности, когда все это совершалось не во имя Единого Государства, осужденные, понятно, чувствовали себя вправе сопротивляться, и руки у них обычно сковывались цепями).

А наверху, на Кубе, возле Машины, — неподвижная, как из металла, фигура того, кого мы именуем Благодетелем. Лица отсюда, снизу, не разобрать: видно только, что оно ограничено строгими, величественными квадратными очертаниями. Но зато руки... Так иногда бывает на фотографических снимках: слишком близко, на первом плане поставленные руки выходят огромными, приковывают взор — заслоняют собою все. Эти тяжкие, пока еще спокойно лежащие на коленях руки — ясно: они — каменные, и колени еле выдерживают их вес...

И вдруг одна из этих громадных рук медленно поднялась — медленный, чугунный жест, — и с трибун, повинувшись поднятой руке, подошел к Кубу номер. Это был один из Государственных Поэтов, на долю которого выпал счастливый жребий — увенчать праздник своими стихами. И загремели над трибунами божественные медные ямбы — о том, безумном, со стеклянными глазами, что стоял там, на ступенях, и ждал логического следствия своих безумств.

...Пожар. В ямбах качаются дома, взбрызгивают вверх жидким золотом, рухнули. Корчатся зеленые деревья, каплет сок — уж одни черные кресты склепов. Но явился Прометей (это, конечно, мы).

И впряг огонь в машину, сталь, И хаос заковал законом.

Все новое, стальное: стальное солнце, стальные деревья, стальные люди.

Вдруг какой-то безумец «огонь с цепи спустил на волю» — и опять все гибнет...

У меня, к сожалению, плохая память на стихи, но одно я помню: нельзя было выбрать более поучительных и прекрасных образов.

Снова медленный, тяжкий жест — и на ступеньках Куба второй поэт. Я даже привстал: быть не может! Нет, его толстые, негрские губы, это он... Отчего же он не сказал заранее, что ему предстоит высокое... Губы у него трясутся, серые. Я понимаю: пред лицом Благодетеля, пред лицом всего сонма Хранителей — но все же... так волноваться...

Резкие, быстрые — острым топором — хорей. О неслыханном преступлении: о кощунственных стихах, где Благодетель именовался... нет, у меня не поднимается рука повторить.

R-13, бледный, ни на кого не глядя (не ждал от него этой застенчивости), спустился, сел. На один мельчайший дифференциал секунды мне мелькнуло рядом с ним чье-то лицо — острый, черный треугольник — и тотчас же стерлось: мои глаза — тысячи глаз — туда, наверх, к Машине. Там — третий чужинный жест нечеловеческой руки. И, колеблемый невидимым ветром, преступник идет, медленно; ступень — еще — и вот шаг, последний в его жизни — и он лицом к небу, с запрокинутой назад головой — на последнем своем ложе.

Тяжкий, каменный, как судьба, Благодетель обошел Машину кругом, положил на рычаг огромную руку... Ни шороха, ни дыхания: все глаза — на этой руке. Какой это, должно быть, огненный, захватывающий вихрь — быть орудием, быть равнодействующей сотен тысяч вольт. Какой великий удел!

Неизмеримая секунда. Рука, включая ток, опустилась. Сверкнуло нестерпимо-острое лезвие луча — как дрожь, еле слышный треск в трубках Машины. Распростертое тело — все в легкой, светящейся дымке — и вот на глазах тает, тает, растворяется с ужасающей быстротой. И — ничего: только лужа химически чистой воды, еще минуту назад буйно и красно бившая в сердце...

Все это было просто, все это знал каждый из нас: да, диссоциация материи, да, расщепление атомов человеческого тела. И тем не менее это всякий раз было — как чудо, это было — как знамение нечеловеческой мощи Благодетеля.

Наверху, перед Ним — разгоревшиеся лица десяти женских номеров, полуоткрытые от волнения губы, колеблемые ветром цветы.

По старому обычаю, десять женщин увенчивали цветами еще не высохшую от брызг юнифу Благодетеля. Величественным шагом первосвященника Он медленно спускается вниз, медленно проходит между трибун — и вслед Ему поднятые вверх нежные белые ветви женских рук и единомиллионная буря кликов. И затем такие же клики в честь сонма Хранителей, незримо присутствующих где-то здесь же, в наших рядах. Кто знает: может быть, именно их, Хранителей, провидела фантазия древнего человека, создавая своих нежно-грозных «архангелов», приставленных от рождения к каждому человеку.

Да, что-то от древних религий, что-то очищающее, как гроза и буря, было во всем торжестве. Вы, кому придется читать это, — знакомы ли вам такие минуты? Мне жаль вас, если вы их не знаете...

Источник: Евгений Замятин. Мы. Сб. Утопия и антиутопия XX века. Вечер в 2217 году. Русская литературная утопия. М.: «Прогресс», 1990.

Булгаков Михаил Афанасьевич (1891–1940)



Писатель, драматург.

Родился в Киеве в семье профессора Киевской духовной академии. Окончил Первую Александровскую гимназию. В 1909 г. поступил на медицинский факультет Киевского университета.

Во время первой мировой войны работал в полевом госпитале хирургом. С 1916 г. заведовал земской сельской больницей. Во время Гражданской войны как врач был мобилизован как красными, так и белыми.

С начала 20-х годов Булгаков начинает печататься в периодических изданиях. В 1921 г. переезжает в Москву. После появления в печати сатирических произведений «Дьяволиада», «Роковые яйца», «Собачье сердце», романа «Белая гвардия» и, особенно, созданной на его основе пьесы «Дни Турбиных», поставленной в МХТ, становится в ряд крупнейших писателей своего времени. Однако, сатирическая направленность творчества Булгакова приводит к тому, что с конца 20-х годов его практически не печатают и снимают со сцены все написанные им пьесы. Вершина творчества писателя — роман «Мастер и Маргарита» увидел свет почти через тридцать лет после его смерти.

Вышедшие в середине 20-х годов произведения Булгакова больше не печатались, и в конце 50 — начале 60-х ходили в Самиздате. Тайну романа «Мастер и Маргарита» вдова писателя Е.С. Шидловская (урожденная Нюрнберг) охраняла столь тщательно, что о нем знали буквально несколько человек из ее ближайшего окружения. В 60-х годах, когда значительная часть забытого или не увидевшего в свое время свет творческого наследия писателя была в СССР издана, Елена Сергеевна предприняла несколько попыток опубликовать роман, но безуспешно. Забавно, что в Самиздате роман появился ... после опубликования его в журнале «Москва» в 1966-67 годах: в тексте было сделано 159 купюр, изъято около 12% текста. Эти купюры с точным указанием мест в журнале, куда их следует вставлять, ходили в Самиздате, а в 1969 г. издательством «Посев» во Франкфурте-на-Майне был напечатан роман, причем места, изъятые в журнальной публикации цензурой, были набраны курсивом.

Первым более или менее полным изданием произведений Булгакова является пятитомное собрание сочинений: М.А. Булгаков. Собрание сочинений в пяти томах. М.: Художественная литература, 1989-90.

«Дьяволиада» и «Роковые яйца»

«Дьяволиада» и «Роковые яйца» — фантастические повести, написанные и опубликованные Булгаковым в первой половине 1920 гг. «Дьяволиада» (ее подзаголовок: «Повесть о том, как близнецы погубили делопроизводителя») была закончена в августе 1923 г.

Ее принял к печати редактор альманахов «Недра», старый большевик и издательский работник Н.С. Ангарский-Клестов — один из немногих коммунистических функционеров, высоко оценивших талант молодого писателя. Повесть была опубликована в вып.4 альманаха «Недра», вышедшем в свет в феврале 1924 г. Фантастический жанр был достаточно распространен в 1920 гг., и, несмотря на сюжет (приключения маленького человека, гибнущего в гигантской бюрократической машине советского учреждения), «Дьяволиада» не вызвала резких откликов критики. Только позднее критики раскусили замысел Булгакова: «для Булгакова наш быт — это действительно фантастическая дьяволиада, в условиях которой человек не может существовать».

Написанная вслед за «Дьяволиадой» (октябрь 1924) научно-фантастическая повесть «Роковые яйца» тоже была впервые опубликована в «Недрах» (вып.6, 1925). В этом произведении, действие которого перенесено автором в недалекое будущее (1928), сатирическое изображение советского общества лишь слегка замаскировано научно-фантастическим сюжетом: поход чудовищных пресмыкающихся на Москву. В отличие от «Дьяволиады», повесть имела большой читательский успех (в том же году была переиздана в журнале «Красная панорама») и широко обсуждалась в прессе. Особенно возмутило рецензентов и анонимных доносчиков ОГПУ то, что превращению безобидных лягушек и змей в гигантских свирепых гадов способствует некий «красный луч», изобретенный великим ученым и попавший в невежественные руки советских работников.

Обе повести были включены в сборник «Дьяволиада», два раза опубликованный издательством «Недра» (1925, 1926) и переизданный за границей, в буржуазной Латвии (1928). Некоторые иностранные информационные агентства пересказали сюжет «Роковых яиц» как сообщение о реальных событиях, имевших место в СССР.

Герой «Роковых яиц», изобретатель «красного луча» профессор Персигов — великий биолог, сосуществующий с глубоко чуждой ему советской властью, превзошел образ профессора Преображенского в «Собачьем сердце».

Именно после выхода в свет повести «Роковые яйца» Булгаков был окончательно классифицирован советской критикой как писатель «буржуазный», идейно глубоко враждебный новому строю. Был заключен договор на инсценировку повести для Московского камерного театра, однако Булгаков, трезво оценив цензурные условия, не довел свою работу до конца. В 1930-1950 гг. сборник «Дьяволиада» был запрещен Главлитом к продаже и изъят из библиотек. В работах официальных советских литературоведов обе повести Булгакова расценивались как проявления «вредных тенденций» в советской литературе 1920 гг., с которыми велась идеологическая борьба.

«Роковые яйца» были переизданы за границей в альманахе «Приглушенные голоса» (Нью-Йорк, 1952), где были собраны произведения советских писателей, произведения которых по разным причинам были запрещены или замалчивались на родине. В 1960 гг., с началом новой волны публикаций прозы Булгакова в СССР, сборник «Дьяволиада» был выпущен из спецхрана и желающие могли с ним познакомиться в крупных библиотеках, он появился в продаже в букинистических магазинах. Однако ввиду маленького тиража его перепечатки стали циркулировать в самиздате. О сомнительном статусе этих повестей Булгакова, распространение которых не поощрялось, но и не запрещалось прямо, свидетельствует тот факт, что литературный эксперт КГБ в 1974 г. назвал их «безыдейными, малохудожественными и вредными» (Хроника текущих событий, №36). Известны случаи, когда сборник изымался на обысках (например, у Т.М. Великановой, Москва, 1979 (Хроника текущих событий, №54)).

В 1977 г. по повести «Роковые яйца» в Италии был снят художественный фильм («Uovi fatali», режиссер U. Gregoretti). До наступления горбачевской эры гласности повести «Дьяволиада» и «Роковые яйца» в СССР не переиздавались. С 1987 г. эти повести издаются массовыми тиражами. В 1995 г. повесть «Роковые яйца» экранизирована в России (режиссер — С. Ломакин).

ДЬЯВОЛИАДА

9. Машинная жуть

Осенний день встретил тов. Короткова расплывчато и странно. Боязливо озираясь на лестнице, он взобрался на 8-й этаж, повернул наобум направо и радостно вздрогнул. Нарисованная рука указывала ему на надпись «Комнаты 302-349». Следуя пальцу спасительной руки, он добрался до двери с надписью

«302 — БЮРО ПРЕТЕНЗИЙ».

Осторожно заглянув в нее, чтобы не столкнуться с кем не надо, Коротков вошел и очутился перед семью женщинами за машинками. Поколебавшись немного, он подошел к крайней — смуглой и матовой, поклонился и хотел что-то сказать, но брюнетка вдруг перебила его. Взоры всех женщин устремились на Короткова.

— Выйдем в коридор, — резко сказала матовая и судорожно поправила прическу.

«Боже мой, опять, опять что-то...» — тоскливо мелькнуло в голове Короткова. Тяжело вздохнув, он повиновался. Шесть оставшихся взволнованно зашумукали вслед.

Брюнетка вывела Короткова и в полутьме пустого коридора сказала:

— Вы ужасны... Из-за вас я не спала всю ночь и решила. Будь по-вашему. Я отдамся вам.

Коротков посмотрел на смуглое с огромными глазами лицо, от которого пахло ландышем, издал какой-то гортанный звук и ничего не сказал. Брюнетка закинула голову, страдальчески оскалила зубы, схватила руки Короткова, притянула его к себе и зашептала:

— Что ж ты молчишь, соблазнитель? Ты покоришь меня своею храбростью, мой змий. Целуй же меня, целуй скорее, пока нет никого из контрольной комиссии.

Опять странный звук вылетел изо рта Короткова. Он пошатнулся, ощутил на своих губах что-то сладкое и мягкое, и огромные зрачки оказались у самых глаз Короткова.

— Я отдамся тебе... — шепнуло у самого рта Короткова.

— Мне не надо, — силло ответил он, — у меня украли документы.

— Тэк-с, — вдруг раздалось сзади.

Коротков обернулся и увидел люстринового старичка.

— А-ах! — вскрикнула брюнетка и, закрыв лицо руками, убежала в дверь.

— Хи, — сказал старичок, — здорово. Куда ни придешь, вы, господин Ко-

лобков. Ну и хват же вы. Да что там, целуй не целуй, не выцелуете командировку. Мне, старичку, дали, мне и ехать. Вот что-с.

С этими словами он показал Короткову сухенький маленький шиш.

— А заявленьице я на вас подам, — злобно продолжал люстрин, — да-с.

Растили трех в главном отделе, теперь, стало быть, до подотделов добираетесь? Что их ангелочки теперь плачут, это вам все равно? Горюют они теперь, бедные девочки, да ау, поздно-с. Не воротись девичьей чести. Не воротись.

Старичок вытащил большой носовой платок с оранжевыми букетами, заплакал и засморкался.

— Из рук старичка подъемные крохи желаете выдрать; господин Колобков? Что ж... — Старичок затрясся и зарыдал, уронил портфель. — Берите, кушайте. Пущай беспартийный, сочувствующий старичок с голоду помирает... Пущай, мол. Туда ему и дорога, старой собаке. Ну, только попомните, господин Колобков, — голос старичка стал пророчески грозным и налился колоколами, — не пойдут они вам впрок, денежки эти сатанинские. Колом в горле они у вас станут, — и старичок разлился в буйных рыданиях.

Истерика овладела Коротковым; внезапно и неожиданно для самого себя он дробно затопал ногами.

— К чертовой матери! — тонко закричал он, и его больной голос разнесся по сводам. — Я не Колобков. Отлезь от меня! Не Колобков. Не еду! Не еду! Он начал рвать на себе воротничок.

Старичок мгновенно высох, от ужаса задрожал.

— Следующий! — каркнула дверь. Коротков смолк и кинулся в нее, свернув влево, миновав машинки, и очутился перед рослым, изящным блондином в синем костюме. Блондин кивнул Короткову головой и сказал:

— Покороче, товарищ. Разом. В два счета. Полтава или Иркутск?

— Документы украли, — дико озираясь, ответил растерзанный Коротков, — и кот появился. Не имеет права. Я никогда в жизни не дрался, это спички. Преследовать не имеет права. Я не посмотрю, что он Кальсонер. У меня украли до...

— Ну, это вздор, — ответил синий, — обмундирование дадим, и рубахи, и простыни. Если в Иркутск, так даже и полущубок подержанный. Короче. Он музыкально звякнул ключом в замке, выдвинул ящик и, заглянув в него, приветливо сказал:

— Пожалте, Сергей Николаевич.

И тотчас из ясеневового ящика выглянула причесанная, светлая, как лен, голова и синие бегающие глаза. За ними изогнулась, как змеиная, шея, хрустнул крахмальный воротничок, показался пиджак, руки, брюки, и через секунду законченный секретарь, с писком «Доброе утро», вылез на красное сукно. Он встряхнулся, как выкупавшийся пес, соскочил, заправил поглубже манжеты, вынул из карманчика патентованное перо и в ту же минуту застрочил.

Коротков отшатнулся, протянул руку и жалобно сказал синему:

— Смотрите, смотрите, он вылез из стола. Что же это такое?..

— Естественно, вылез, — ответил синий, — не лежать же ему весь день. Пора. Время. Хронометраж.

— Но как? Как? — зазвенел Коротков.

— Ах ты. Господи, — взволновался синий, — не задерживайте, товарищ.

Брюнеткина голова вынырнула из двери и крикнула возбужденно и радостно:
— Я уже заслала его документы в Полтаву. И я еду с ним. У меня тетка в Полтаве под 43 градусом широты и 5-м долготы.

— Ну и чудесно, — ответил блондин, — а то мне надоела эта волынка.

— Я не хочу! — вскричал Коротков, блуждая взором. — Она будет мне отдаваться, а я терпеть этого не могу. Не хочу! Верните документы. Священную мою фамилию. Восстановите!

— Товарищ, это в отделе брачующихся, — запищал секретарь, — мы ничего не можем сделать.

— О, дурашка! — воскликнула брюнетка, выглянув опять. — Соглашайся! Соглашайся! — кричала она суфлерским шепотом. Голова ее то скрывалась, то появлялась.

— Товарищ! — зарыдал Коротков, размазывая по лицу слезы. — Товарищ! Умоляю тебя, дай документы. Будь другом. Будь, прошу тебя всеми фибрами души, и я уйду в монастырь.

— Товарищ! Без истерики. Конкретно и абстрактно изложите письменно и устно, срочно и секретно — Полтава или Иркутск? Не отнимайте время у занятого человека! По коридорам не ходить! Не плевать! Не курить! Разменом денег не затруднять! — выйдя из себя, загремел блондин.

— Рукопожатия отменяются! — кукарекнул секретарь.

— Да здравствуют объятия! — страстно шепнула брюнетка и, как дуновение, пронеслась по комнате, обдав ландышем шею Короткова.

— Сказано в заповеди тринадцатой: не входи без доклада к ближнему твоему, — прошамкал люстриновый и пролетел по воздуху, взмахивая лапами крылатки... — Я и не вхожу, не вхожу-с, — а бумажку все-таки подброшу, вот так, хлоп!.. подпишешь любую — и на скамье подсудимых. — Он выкинул из широкого черного рукава пачку белых листов, и они разлетелись и усеяли столы, как чайки скалы на берегу.

Муть заходила в комнате, и окна стали качаться.

— Товарищ блондин! — плакал истомленный Коротков, — застрели ты меня на месте, но выправь ты мне какой ни на есть документик. Руку я тебе поцелую. В мути блондин стал пухнуть и вырастать, не переставая ни на минуту бешено подписывать старичковы листки и швырять их секретарю, который ловил их с радостным урчанием.

— Черт с ним! — загремел блондин, — черт с ним. Машинистки, гей!

Он махнул огромной рукой, стена перед глазами Короткова распалась, и тридцать машин на столах, звякнув звоночками, заиграли фокстрот. Кольша бедрами, сладострастно поводя плечами, взбрасывая кремовыми ногами белую пену, парадом-алле двинулись тридцать женщин и пошли вокруг столов. Белые змеи бумаги полезли в пасти машин, стали свиваться, раскраиваться, сшиваться. Вылезли белые брюки с фиолетовыми лампасами. «Предъявитель сего есть действительно предъявитель, а не какая-нибудь шантрапа».

— Надевай! — грохнул блондин в тумане.

— И-и-и-и, — тоненько заскулил Коротков и стал биться головой об угол блондинова стола. Голове полегчало на минутку, и чье-то лицо в слезах метнулось перед Коротковым.

– Валерьянки! — крикнул кто-то на потолке.

Крылатка, как черная птица, закрыла свет, старичок зашептал тревожно:

– Теперь одно спасение — к Дыркину в пятое отделение. Ходу! Ходу!

Запахло эфиром, потом руки неясно вынесли Короткова в полутемный коридор. Крылатка обняла Короткова и повлекла, шепча и хихикая:

– Ну, я уж им удружил: такое подсыпал на столы, что каждому из них достанется не меньше пяти лет с поражением на поле сражения. Ходу! Ходу!

Крылатка порхнула в сторону, потянуло ветром и сыростью из сетки, уходящей в пропасть...

Источник: Библиотека Мошкова (<http://www.lib.ru>)

РОКОВЫЕ ЯЙЦА

Глава 3. Персиков поймал

Дело было вот в чем. Когда профессор приблизил свой гениальный глаз к окуляру, он впервые в жизни обратил внимание на то, что в разноцветном завитке особенно ярко и жирно выделялся один луч. Луч этот был ярко-красного цвета и из завитка выпадал, как маленькое острие, ну, скажем, с иголку, что ли.

Просто уж такое несчастье, что на несколько секунд луч этот приковал наметанный взгляд виртуоза.

В нем, в луче, профессор разглядел то, что было тысячу раз значительнее и важнее самого луча, непрочного дитяти, случайно родившегося при движении зеркала и объектива микроскопа. Благодаря тому, что ассистент отозвал профессора, амёбы пролежали полтора часа под действием этого луча и получилось вот что: в то время, как в диске вне луча зернистые амёбы валялись вяло и беспомощно, в том месте, где пролегал красный заостренный меч, происходили странные явления. В красной полосочке кипела жизнь. Серенькие амёбы, выпуская ложноножки, тянулись изо всех сил в красную полосу и в ней (словно волшебным образом) оживали. Какая-то сила вдохнула в них дух жизни. Они лезли стаяй и боролись друг с другом за место в луче. В нем шло бешеное, другого слова не подобрать, размножение. Ломая и опрокидывая все законы, известные Персикову как свои пять пальцев, они почковались на его глазах с молниеносной быстротой. Они разваливались на части в луче, и каждая из частей в течении 2 секунд становилась новым и свежим организмом. Эти организмы в несколько мгновений достигали роста и зрелости лишь затем, чтобы в свою очередь тотчас же дать новое поколение. В красной полосе, а потом и во всем диске стало тесно, и началась неизбежная борьба. Вновь рожденные яростно набрасывались друг на друга и рвали в клочья и глотали. Среди рожденных лежали трупы погибших в борьбе за существование. Побеждали лучшие и сильные. И эти лучшие были ужасны. Во-первых, они объемом приблизительно в два раза превышали обыкновенных амёб, а во-вторых, отличались какой-то особенной злостью и резвостью. Движения их были стремительны, их ложноножки гораздо длиннее нормальных, и работали они ими, без преувеличения, как спруты щупальцами.

Во второй вечер профессор, осунувшийся и побледневший, без пищи, взвинчивая себя лишь толстыми самокрутками, изучал новое поколение амёб, а в третий день он перешел к первоисточнику, то есть к красному лучу.

Газ тихонько шипел в горелке, опять по улице шаркало движение, и профессор, отравленный сотой папиросою, полужакрыв глаза, откинулся на спинку винтового кресла.

— Да, теперь все ясно. Их оживил луч. Это новый, не исследованный никем, никем не обнаруженный луч. Первое, что придется выяснить, это — получается ли он только от электричества или также и от солнца, — бормотал Персиков самому себе.

И в течение еще одной ночи это выяснилось. В три микроскопа Персиков поймал три луча, от солнца ничего не поймал и выразился так:

— Надо полагать, что в спектре солнца его нет... гм... ну, одним словом, надо полагать, что добыть его можно только от электрического света.

Он любовно поглядел на матовый шар сверху, вдохновенно подумал и пригласил к себе в кабинет Иванова. Он все ему рассказал и показал амёб.

Приват-доцент Иванов был поражен, совершенно раздавлен: как же такая простая вещь, как эта тоненькая стрела, не была замечена раньше, черт возьми! Да кем угодно, и хотя бы им, Ивановым, и действительно это чудовищно! Вы только посмотрите...

— Вы посмотрите, Владимир Ипатьевич! — говорил Иванов, в ужасе приликая глазом к окуляру. — Что делается?! Они растут на моих глазах... Гляньте, гляньте...

— Я их наблюдаю уже третий день, — вдохновенно ответил Персиков. Затем произошел между двумя учеными разговор, смысл которого сводился к следующему: приват-доцент Иванов берется соорудить при помощи линз и зеркал камеру, в которой можно будет получить этот луч в увеличенном виде и вне микроскопа. Иванов надеется, даже совершенно уверен, что это чрезвычайно просто. Луч он получит, Владимир Ипатьевич может в этом не сомневаться. Тут произошла маленькая заминка.

— Я, Петр Степанович, когда опубликую работу, напишу, что камеры сооружены вами, — вставил Персиков, чувствуя, что заминочку надо разрешить. — О, это не важно... Впрочем, конечно...

И заминочка тотчас разрешилась. С этого времени луч поглотил и Иванова. В то время, как Персиков, худея и истощаясь, просиживал дни и половину ночей за микроскопом, Иванов возился в сверкающем от ламп физическом кабинете, комбинируя линзу и зеркала. Помогал ему механик.

Из Германии, после запроса через комиссариат просвещения, Персикову прислали три посылки, содержащие в себе зеркала, двояковыпуклые, двояковогнутые и даже какие-то выпукло-вогнутые шлифованные стекла. Кончилось все это тем, что Иванов соорудил камеру и в нее действительно уловил красный луч. И надо отдать справедливость, уловил мастерски: луч вышел кривой, жирный, сантиметра 4 в поперечнике, острый и сильный. 1-го июня камеру установили в кабинете Персикова, и он жадно начал опыты с икрой лягушек, освещенной лучом. Опыт эти дали потрясающие результаты. В течение двух суток из икринок вылупились тысячи головастиков. Но этого мало, в течение од-

них суток головастики выросли необычайно в лягушек, и до того злых и прожорливых, что половина их тут же была перелопана другой половиной. Зато оставшиеся в живых начали вне всяких сроков метать икру и в 2 дня уже без всякого луча вывели новое поколение, и при этом совершенно бесчисленное. В кабинете ученого началось черт знает что: головастики расползлись из кабинета по всему институту, в террариях и просто на полу, во всех закоулках завывали зычные хоры, как на болоте. Панкрат, и так боявшийся Персикова как огня, теперь испытывал по отношению к нему одно чувство: мертвенный ужас. Через неделю и сам ученый почувствовал, что шалееет. Институт наполнился запахом эфира и цианистого калия, которым чуть-чуть не отравился Панкрат, не вовремя снявший маску. Разросшееся поколение, наконец, удалось перебить ядами, кабинеты проветрить. Иванову Персиков сказал так:

— Вы знаете, Петр Степанович, действие луча на дейтероплазму и вообще на яйцеклетку изумительно.

Иванов, холодный и сдержанный джентльмен, перебил профессора необычным тоном:

— Владимир Ипатьевич, что же вы толкуете о мелких деталях, об дейтероплазме. Будем говорить прямо: вы открыли что-то неслыханное, — видимо, с большой потугой, но все же Иванов выдал из себя слова: — профессор Персиков, вы открыли луч жизни!

Слабая краска показалась на бледных, небритых скулах Персикова.

— Ну-ну-ну, — пробормотал он.

— Вы, — продолжал Иванов, — вы приобретете такое имя... У меня кружится голова. Вы понимаете, — продолжал он страстно, — Владимир Ипатьевич, герои Уэллса по сравнению с вами просто вздор... А я-то думал, что это сказки... Вы помните его «Пищу богов»?

— А, это роман, — ответил Персиков.

— Ну да, господи, известный же!..

— Я забыл его, — ответил Персиков, — помню, читал, но забыл.

— Как же вы не помните, да вы гляньте, — Иванов за ножку поднял со стеклянного стола невероятных размеров мертвую лягушку с распухшим брюхом. На морде ее даже после смерти было злобное выражение, — ведь это же чудовищно!

<...>

Глава 6. Москва в июне 1928 года

Она светилась, огни танцевали, гасли и вспыхивали. На театральной площади вертелись белые фонари автобусов, зеленые огни трамваев, над бывшим Мюр и Мерилизом, над десятым надстроенным на него этажом, прыгала электрическая разноцветная женщина, выбрасывая по буквам разноцветные слова: «Рабочий кредит». В сквере против Большого театра, где бил ночью разноцветный фонтан, толкалась и гудела толпа. А над Большим театром гигантский рупор завывал:

— Антикуриные прививки в Лефортовском ветеринарном институте дали блестящие результаты. Количество куриных смертей за сегодняшнее число уменьшилось вдвое.

Затем рупор менял тембр, что-то рычало в нем, над театром вспыхивала и угасала зеленая струя, и рупор жаловался басом:

— Образована чрезвычайная комиссия по борьбе с куриной чумой в составе наркомздрава, наркомзема, заведующего животноводством товарища Птахи-Поросюка, профессоров Персикова и Португалола... и товарища Рабиновича!.. Новые попытки интервенции!.. — хохотал и плакал как шакал, рупор, — в связи с куриною чумой!

Театральный проезд, Неглинный и Лубянка пылали белыми и фиолетовыми полосами, брызгали лучами, выли сигналами, клубились пылью. Толпы народа теснились у стен у больших листов объявлений, освещенных резкими красными рефлекторами:

«Под угрозой тяжчайшей ответственности воспрещается населению употреблять в пищу куриное мясо и яйца. Частные торговцы при попытке продажи их на рынках подвергаются уголовной ответственности с конфискацией всего имущества. Все граждане, владеющие яйцами, должны в срочном порядке сдать их в районные отделения милиции».

На крыше «Рабочей газеты» на экране грудой до самого неба лежали куры, и зеленоватые пожарные, дробясь и искрясь, из шлангов поливали их керосином. Затем красные волны ходили по экрану, неживой дым распухал и мотался клочьями, полз струей, выскакивала огненная надпись: «Сожжение куриных трупов на Ходынке».

Слепыми дырами глядели среди бешено пылающих витрин магазинов, торгующих до 3 часов ночи, с двумя перерывами на обед и ужин, заколоченные окна под вывесками: «Яичная торговля. За качество гарантия». Очень часто, тревожно завывая, мимо милиционеров проносились шипящие машины с надписью: «Мосздравотдел. Скорая помощь».

— Обожрался еще кто-то гнилыми яйцами, — шуршали в толпе. В Петровских линиях зелеными и оранжевыми фонарями сиял знаменитый на весь мир ресторан «Ампир», и в нем на столиках, у переносных телефонов, лежали картонные вывески, залитые пятнами ликеров: «По распоряжению — омлета нет. Получены свежие устрицы».

В Эрмитаже, где бусинками жалобно горели китайские фонарики в неживой, задушенной зелени, на убивающей глаза своим пронзительным светом эстраде куплетисты Шрамс и Карманчиков пели куплеты, сочиненные поэтами Ардо и Аргуевым:

Ах, мама, что я буду делать
Без яиц??? —

и грохотали ногами в чечетке.

Театр покойного Всеволода Мейерхольда, погибшего, как известно, в 1927 году при постановке пушкинского «Бориса Годунова», когда обрушились трапедии с голыми боярами, выбросил движущуюся разных цветов электрическую вывеску, возвещавшую пьесу писателя Эрендорга «Курийдох» в постановке ученика Мейерхольда, заслуженного режиссера республики Кухтермана. Рядом, в Аквариуме, переливаясь рекламными огнями и блестя полуобнаженным женским телом, в зелени эстрады, под гром аплодисментов, шло обозрение писателя Ленивцева «Курицыны дети». А по Тверской, с фонариками по бокам

морд, шли вереницею цирковые ослики, несли на себе сияющие плакаты: «В театре Корш возобновляется «Шантеклэр» Ростана».

Мальчишки-газетчики рычали и выли между колес моторов:

– Кошмарная находка в подземелье! Польша готовится к кошмарной войне!!

Кошмарные опыты профессора Персикова!!

В цирке бывшего Никитина, на приятно пахнувшей навозом коричневой жирной арене мертвенно-бледный клоун Бом говорил распухшему в клетчатой водянке Биму:

– Я знаю, отчего ты такой печальный!

– Отциво? — пискливо спрашивал Бим.

– Ты зарыл яйца в землю, а милиция 15-го участка их нашла.

– Га-га-га-га, — смеялся цирк так, что в жилах стыла радостно и тоскливо кровь и под стареньким куполом веяли трапеции и паутина.

– А-ап! — пронзительно кричали клоуны, и кормленая белая лошадь выносила на себе чудной красоты женщину, на стройных ногах, в малиновом трико.

Источник: Библиотека Максима Мошкова (<http://www.lib.ru>)

Пильняк (Boгау)
Борис Андреевич
(1884–1938)



Писатель.

Родился в г. Можайске Московской губ. в семье ветеринарного врача, выходца из немцев Поволжья. Окончил Московский коммерческий институт (ныне Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова) по экономическому отделению. В 1915 году в журналах и альманахах начали появляться первые его рассказы, написанные уже под псевдонимом Пильняк. В 1918 г. выходит первая книга рассказов «С последним пароходом».

В 1920 г. Пильняком был написан роман «Голый год», принесший ему известность и поставивший в первые ряды создателей советской модернистской прозы (стилистически под влиянием Ремизова и Белого).

В 1929 г. вышло собрание сочинений Пильняка в 6 томах, в 1929–1930 гг. был издан восьмитомник. Появились книги «Мать сыра-земля»(1925), «Заволочье», «Корни японского солнца», «Очередные повести», «Расплеснутое время», «Рассказы с Востока» (все – 1927), «Китайская повесть» (1928). К этому времени Пильняк стал Председателем правления Всероссийского союза писателей. Однако, после того как в 1929 году две его повести («Штос в жизни» и «Красное дерево») были опубликованы в одном из берлинских издательств, началась настоящая кампания травли Пильняка, продолжавшаяся до 1931 года. Тем не менее, он продолжал много работать, за оставшиеся ему несколько лет жизни написал еще шесть томов художественной и публицистической прозы.

Арестован в октябре 1937 г. 21 апреля 1938 г. он был осужден Военной коллегией Верховного суда СССР по сфабрикованному обвинению в государственном преступлении и приговорен к смертной казни. Приговор привели в исполнение в тот же день в Москве.

Основные произведения:

«Голый год» (1920);

«Красное дерево» (1929);

«О'КЭЙ (Американский роман)» (1933);

«Созревание плодов» (1935);

«Соляной амбар» (написан в 1937 г., впервые опубликован в 1990 г.).

«Повесть непогашенной луны» была опубликована в «Новом мире», 1926, № 5. Тираж сразу после выхода был конфискован, повесть Пильняка была вырезана и заменена повестью Сытина «Орды аллака». Публиковалась за рубежом, еще в 20-е годы ходила в списках. Впервые опубликована в журнале «Знамя», 1987, № 12.

В первой публикации после реабилитации Пильняка (1956) его произведений: Б. Пильняк, Избранные произведения, М.: Художественная литература, 1976, (хотя комиссия по литературному наследству репрессированного писателя была создана в 1957 г. и предполагала тогда же опубликовать три или четыре тома сочинений, но по прямому доносу

в ЦК КПСС К.Федина издание было признано несвоевременным и отложено на двадцать (!!!) лет) в предисловии некоего В. Новикова стыдливо написано: «Литературная жизнь Б. Пильняка оборвалась в 1937 г. Умер он 9 сентября 1941 г.». Там же «Повесть непогашенной луны» названа необъективным, искажающим советскую действительность произведением.

Несмотря на то, что Пильняк в авторском предисловии к повести отрицает какую бы то ни было связь фабулы со смертью М.В. Фрунзе, и современники, и потомки увидели прообразы описываемых в повести событий: смерть Наркомвоенмора и роль в ней Сталина.

ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ ЛУНЫ

<...>

В полдень к дому номер первый, к тому, что замедлил время, подошел закрытый «ройс». Часовой открыл дверцу, из лимузина вышел командарм. В бою, когда люди бегут в атаку, шумят больше, чем в час, когда бьет артиллерия, — артиллерия ревет громче, чем полк на бивуаке, — в полковых штабах шумнее, чем в дивизионных: в штабах армий должна быть жесткая тишина — на митингах кричат громче, чем в президиуме, — еще тише на заседаниях президиума губисполкома. —

В этом доме улеглась бесшумная тишина, глухо звонили телефоны, не шумели счеты, бесшумно ходили люди, не волновались люди, не горбились люди, прямо стояли стены в плакатах, заменивших картины, красные лежали половики, с красными нашивками стояли люди у дверей. В кабинете в дальнем конце дома окна были полуприкрыты гардинами, — и за окнами бежала улица; в кабинете горел камин; на столе в кабинете — на красном сукне — стояли три телефонных аппарата, чтобы утвердить тишину совместно с потрескивающими в камине поленьями; три телефонных аппарата — три городских артерии приводили в кабинет, чтобы из тишины командовать городом, знать о городе, о всех артериях. В кабинете на письменном столе массивный из бронзы стоял письменный прибор и в подставке для перьев воткнута была дюжина красных и синих карандашей. На стене в кабинете, за письменным столом, был проложен радиоприемник с двумя парами наушников и ротой во фронт выстроилась система электрических звонков — от звонка в приемную до звонка «военной тревоги». Против письменного стола стояло кожаное кресло. За письменным столом в кабинете на деревянном стуле сидел негорбящийся человек. Гардины на окнах были полуприкрыты, и под зеленым абажуром на письменном столе горело электричество, — и лица этого негорбящегося человека не было видно в тени.

Командарм прошел по ковру и сел в кожаное кресло.

Первый — негорбящийся человек:

— Гаврилов, не нам с тобой говорить о жернове революции. Историческое колесо — к сожалению, я полагаю, — в очень большой мере движется смертью и кровью — особенно колесо революции. Не мне и тебе говорить о смерти и крови. Ты помнишь, как мы вместе с тобой вели голых красноармейцев на Екатеринов. У тебя была винтовка, и винтовка была у меня. Снарядом под тобой разорвало лошадь, и ты пошел вперед пешком. Красноармейцы бросились назад, и ты пристрелил одного из нагана, чтобы не бежа-

ли все. Командир, ты застрелил бы и меня, если бы я струсил, и ты был бы, я полагаю, прав.

Второй, командарм:

— Эк, как ты тут обставился, совсем министр, — у тебя здесь курить можно? — Я окурков не вижу.

Первый:

— Не кури, не надо. Тебе здоровье не позволяет. Я сам не курю.

Второй, строго, быстро:

— Говори без предисловий, — зачем вызвал? Не к чему дипломатить. Говори!

Первый:

— Я тебя позвал потому, что тебе надо сделать операцию. Ты необходимый революции человек. Я позвал профессоров, они сказали, что через месяц ты будешь на ногах. Этого требует революция. Профессора тебя ждут, они тебя осмотрят, все поймут. Я уже отдал приказ. Один даже немец приехал.

Второй:

— Ты как хочешь, а я все-таки закурю. Мне мои врачи говорили, что операции мне делать не надо, и так все заживет. Я себя чувствую вполне здоровым, никакой операции не надо, не хочу.

Первый сунул руку назад, нащупал на стене кнопку звонка, позвонил, вошел бесшумный секретарь, — первый спросил: «есть ли на очереди к приему», — секретарь ответил утвердительно. Первый — ничего не ответил, отпустил секретаря.

Первый:

— Товарищ командарм, ты помнишь, как мы обсуждали, послать или не послать четыре тысячи людей на верную смерть. Ты приказал послать. Правильно сделал. — Через три недели ты будешь на ногах. Ты извини меня, я уже отдал приказ.

Звонил телефон, не городской, внутренний, тот, который имел всего-навсего каких-нибудь тридцать — сорок проводов. Первый снял трубку, слушал, переспросил, сказал: «Ноту, французам, — конечно, официально, как говорили вчера. Ты понимаешь, помнишь, мы ловили форелей? Французы очень склизкие. Как? Да, да, подвинти. Пока».

Первый:

— Ты извини меня, говорить тут не о чем, товарищ Гаврилов. Командарм докурил папиросу, всунул окурочек к синим и красным карандашам — поднялся из кресла.

Командарм:

— Прощай.

Первый:

— Пока.

Командарм красными коврами вышел к подъезду, «ройс» унес его в шум улиц. Негорбящийся человек остался в кабинете. Никто больше к нему не приходил. Не горбясь сидел он над бумагами, с красным толстым карандашом в руках. Он позвонил, вошел секретарь, он сказал: «Распорядитесь убрать окурочек вот отсюда, из этой подставки». И опять безмолвствовал над бумагами, с крас-

ным карандашом в руках. Прошли час и другой, человек сидел за бумагами, работал. Однажды звонил телефон, он слушал и ответил: «Два миллиона рублей галошами и мануфактурой для Туркестана, чтобы заткнуть бестоварную дыру. Да, само собою. Да, валяй. Пока». Входил бесшумно коридорный человек, поставил на столике у окна поднос со стаканом чая и куском холодного мяса, прикрытым салфеткой, ушел. Тогда негорбящийся человек вновь позвонил секретарю, спросил: «Секретная сводка готова?» И вновь надолго человек безмолвствовал над большим листом, над рубриками Наркоминдела, Полит- и Экономотделов ОПТУ, Наркомфина, Наркомвнешторга, Наркомтруда. Тогда в кабинет вошли — один и другой, — люди из той тройки, которая вершила.

<...>

Протокол консилиума, в составе проф. такого-то, проф. такого-то, проф. такого-то (так семь раз).

Больной гр. Николай Иванович Гаврилов поступил с жалобой на боль в подложечной области, рвоту, изжогу. Заболел два года назад незаметно для себя. Лечился все время амбулаторно и ездил на курорты — не помогло. По просьбе больного был созван консилиум из вышеозначенных лиц.

Status praesens. Общее состояние больного удовлетворительно. Легкие — N. Со стороны сердца наблюдается небольшое расширение, учащенный пульс. В слабой форме neurastenia. Со стороны других органов, кроме желудка, ничего патологического не наблюдается. Установлено, что у больного, по-видимому, имеется *ulcus ventriculi* и его необходимо оперировать.

Консилиум предлагает больного оперировать профессору Анатолию Кузьмичу Лозовскому. Проф. Павел Иванович Кюкосов дал согласие ассистировать при операции.

Город, число, семь подписей профессоров.

<...>

Гаврилов умер, — то есть профессор Лозовский вышел из его палаты с белым листом бумаги и, склонив голову, печально и торжественно сообщил о том, что больной командарм армии, гражданин Николай Иванович Гаврилов, к величайшему прискорбию, — скончался в час семнадцать минут.

Через три четверти часа, когда доходил второй час ночи, во двор больницы вошли роты красноармейцев, и по всем ходам и лестницам стали караулы. В палату, где был труп командарма, прошли те самые три генштабиста, что приезжали на вокзал встречать командарма, — те самые три человека, для которых Гаврилов — рулевой той громадной машины, которая зовется армией, — был человеком, командовавшим их жизнями; теперь они пришли командовать трупом командира. В этот час в деревнях поют вторые петухи. В этот час по небу ползли облака, и за ними торопилась полная, устающая торопиться луна. В этот час в крытом «ройсе» профессор Лозовский экстренно ехал в дом номер первый: «ройс» бесшумно вошел в ворота с грифами, мимо часовых, стал у подъезда, часовой открыл дверцу; Лозовский прошел в тот кабинет, где на красном сукне письменного стола стояли три телефонных аппарата, а за письменным столом на стене ротой во фронт выстроились звонки. Разговор, бывший у

Лозовского в этом кабинете, — неизвестен, — но он длился всего три минуты; Лозовский вышел из кабинета — из подъезда — со двора — очень поспешно, с пальто и шляпою в руках, похожий на героев Гофмана; автомобиля уже не было; Лозовский шел, покачиваясь, точно он был пьян; улицы были пустынные в этот неподвижный ночной час, и улицы качались вместе с Лозовским.

Улицы качались под луной в неподвижной пустыне ночи, вместе с Лозовским. Лозовский — Гофманом — вышел из кабинета дома номер первый. В кабинете дома номер первый остался негорящий человек. Человек стоял за столом, нависнув над столом, опираясь о стол кулаками. Голова человека была опущена. Он долго был неподвижен. Человека оторвали от его формул и бумаг. И тогда человек задвигался. Его движения были прямоугольны и формульны, как те формулы, которые каждую ночь он диктовал стенографистке. Он задвигался очень быстро. Он позвонил в звонок сзади себя, он снял телефонную трубку. Он сказал дежурному: «Беговую, открытую». Он сказал в телефон тому, кто, должно быть, спал, кто был в тройке первых, — голос его был слаб: — «Андрей, милый, еще ушел человек, — Коля Гаврилов умер, нет боевого товарища. Позвони Потапу, голубчик, мы виноваты, я и Потап».

Шоферу негорящий человек сказал — «в больницу». Улицы не качались. В облаках торопилась, суматошила луна, и, как хлыст, стлался по улицам автомобиль. Черное во мраке здание больницы мигало непокойными окнами. В черных проходах стояли часовые. Дом немотствовал, как надо немотствовать там, где смерть. Негорящий человек — черными коридорами — прошел к палате командарма Гаврилова. Человек прошел в палату, — там на кровати лежал труп командарма, — там удушливо пахло камфарой. Все вышли из палаты, в палате остались негорящий человек и труп человека Гаврилова. Человек сел на кровать к ногам трупа. Руки Гаврилова лежали над одеялом вдоль тела. Человек долго сидел около трупа, склонившись, затихнув. Тишина была в палате. Человек взял руку Гаврилова, пожал руку, сказал:

— Прощай, товарищ! Прощай, брат! — и вышел из палаты, опустив голову, ни на кого не глядя, сказал: — «форточку бы там открыли, дышать нельзя», — и быстро прошел черным коридором, спустился с лестницы.

В деревьях в этот час пели третьи петухи. Человек — молча — сел в машину. Шофер повернул голову, чтобы выслушать приказание. Человек молчал. Человек опомнился, — человек сказал: — «за город! — на всех скоростях».

Машина рванула с места сразу на полной скорости, веером, разворачиваясь, кинула огни, — пошла кроить осколки переулков, вывесок, улиц. Воздух сразу затвердел, задул ветром, засвистал в машине. Летели назад улицы, дома, фонари, — фонари размахивались своими огнями, налетали и стремглав бросались назад. Из всех скоростей машина рвалась за город, стремясь вырваться из самой себя. Уже исчезли рожки пригородных трамваев, уже разбежались овцами в собачьем визге деревенские избы. Уже не видно было полотна шоссе, и то и дело пропадал шум колес, в те мгновения, когда машина летела по воздуху. Воздух, ветер, время и земля свистели, визжали, выли, прыгали, мчались: и в колоссальном этом молчании, когда все мчалось, — неподвижными стали, идущими рядом, стали — только луна за облаками, да эта машина, да человек, покойно сидящий в машине.

У опушки того самого леса, где несколько дней тому назад были Гаврилов и Попов, человек скомандовал: «Стоп!» — и машина сломала скорости, оставив в ненужности пространство, время и ветер, — остановив землю и погнав за облаками луну. Человек не знал, что около этого леса — несколько ночей назад — был Гаврилов. Человек слез с машины и — молча и медленно — пошел в лес. Лес замер в снегу, и над ним спешила луна. Человеку не с кем было разговаривать. Человек из лесу вернулся нескоро. Воротясь, садясь в машину, сказал:

– Поедем обратно. Не спешите.

К городу машина подошла, когда уже рассветало. Красное, багровое, холодное на востоке подымалось солнце. Там внизу — в лиловом и синем — в светлом дыму — во мгле — лежал город. Человек окинул его холодным взглядом. От луны в небе — в этот час — осталась мало заметная, тающая ледяная глышка. В снежной тишине не было слышно рокота города.

Источник: Б. Пильняк. Повесть непогашенной луны. // Сб.: «Расплеснутое время»: рассказы, повести, романы. М.: Советский писатель, 1990.

Хармс (Ювачев)
Даниил Иванович
(1905–1942)



Писатель, поэт, драматург.

Родился в Петербурге. Новатор в поэзии, задолго до Э. Ионеско и С. Беккета создал театр абсурда, создатель жанра «черного юмора». В 1925 г. Хармс — член Ордена заумников, возглавляемого А. Туфановым, продолжателем дела Велемира Хлебникова. В 1926 г. вместе с А. Введенским создает «школу чинарей». В 1928 г. вместе с А. Введенским, И. Бехтеревым, К. Вагиновым, Н. Заболоцким, Б. Левиным организует ОБЕРИУ (объединение реального искусства). С 1928 по 1941 год сотрудничает в детских журналах «Чиж» и «Ёж», выпускает несколько детских книжек. В 1931 г. арестован и выслан на несколько месяцев в Курск. В августе 1941 г. арестован вторично и направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу, где через несколько месяцев скончался. Реабилитирован в 1960 г.

В Самиздате ходили многие его «взрослые» произведения, в том числе короткие миниатюры «Случаи».

Публикации:

Д. Хармс. Сочинения в 2-х томах (1994).

«...Сборище друзей, оставленных судьбою». А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников. «ЧИНАРИ» в текстах, документах и исследованиях. В 2-х томах, 1998.

Из цикла
«СЛУЧАИ»

Голубая тетрадь № 10

Был один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей. У него не было и волос, так что рыжим его называли условно. Говорить он не мог, так как у него не было рта. Носа тоже у него не было. У него не было даже рук и ног. И живота у него не было, и спины у него не было, и хребта у него не было, и никаких внутренностей у него не было. Ничего не было! Так что не понятно, о ком идет речь. Уж лучше мы о нем не будем больше говорить.

1937

Случаи

Однажды Орлов объелся толченым горохом и умер. А Крылов, узнав об этом, тоже умер. А Спиридонов умер сам собой. А жена Спиридонова упала с буфета и тоже умерла. А дети Спиридонова утонули в пруду. А бабушка Спиридонова

спилась и пошла по дорогам. А Михайлов перестал причесываться и заболел паршой. А Круглов нарисовал даму с кнутом и сошел с ума. А Перехрёстов получил телеграфом четыреста рублей и так заважничал, что его вытолкали со службы. Хорошие люди и не умеют поставить себя на твердую ногу.

22 августа 1936 года

Вываливающиеся старухи

Одна старуха от чрезмерного любопытства вывалилась из окна, упала и разбилась. Из окна высунулась другая старуха и стала смотреть вниз на разбившуюся, но от чрезмерного любопытства тоже вывалилась из окна, упала и разбилась. Потом из окна вывалилась третья старуха, потом четвертая, потом пятая. Когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смотреть на них, и я пошел на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль.

<1936-1937>

Сонет

Удивительный случай случился со мной: я вдруг забыл, что идет раньше — 7 или 8. Я отправился к соседям и спросил их, что они думают по этому поводу. Каково же было их и мое удивление, когда они вдруг обнаружили, что тоже не могут вспомнить порядок счета. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 помнят, а дальше забыли. Мы все пошли в комерческий магазин «Гастроном», что на углу Знаменской и Бассейной улицы, и спросили кассиршу о нашем недоумении. Кассирша грустно улыбнулась, вынула изо рта маленький молоточек и, слегка подвигав носом, сказала:

— По-моему, семь идет после восьми в том случае, когда восемь идет после семи. Мы поблагодарили кассиршу и с радостью выбежали из магазина. Но тут, вдумываясь в слова кассирши, мы опять приуныли, так как ее слова показались нам лишеными всякого смысла. Что нам было делать? Мы пошли в Летний сад и стали там считать деревья. Но дойдя в счете до 6-ти, мы остановились и начали спорить: по мнению одних дальше следовало 7, по мнению других — 8.

Мы спорили бы очень долго, но, по счастью, тут со скамейки свалился какой-то ребенок и сломал себе обе челюсти. Это отвлекло нас от нашего спора. А потом мы разошлись по домам.

12 нояб<ря> 1935

Кирпич

Господин невысокого роста с камушком в глазу подошел к двери табачной лавки и остановился. Его черные лакированные туфли сияли у каменной ступенечки, ведущей в табачную лавку. Носки туфель были направлены внутрь магазина. Еще два шага, и господин скрылся бы за дверью. Но он почему-то задержался, будто нарочно для того, чтобы подставить голову под кирпич, упавший с крыши. Господин даже снял шляпу, обнаружив свой лысый череп, и таким образом кирпич ударил господина прямо по голой голове, проломил черепную кость и застрял в мозгу. Господин не упал. Нет, он только пошатнулся от

страшного удара, вынул из кармана платок, вытер им лицо... и, повернувшись к толпе, которая мгновенно собралась вокруг этого господина, сказал:

— Не беспокойтесь, господа, у меня была уже прививка. Вы видите, у меня в правом глазу торчит камушек? Это тоже был однажды случай. Я уже привык к этому. Теперь мне все трын-трава! И с этими словами господин надел шляпу и ушел куда-то в сторону, оставив смущенную толпу в полном недоумении.

Источник: сайт Даниила Хармса (<http://harms.decore.ru>)

Антуан де Сент-Экзюпери (1900–1944)



Французский писатель, летчик, граф.

Сочинения А. Сент-Экзюпери отличает нравственный пафос, вера в возможность понимания и единения людей. Писательство не было для него профессией: его книги и жизнь прочно сплавлены воедино. Погиб в разведывательном полете над Средиземным морем.

Основные произведения:

«Южный почтовый», роман (1929);

«Земля людей», роман (1939);

«Маленький принц», философско-лирическая сказка (1943);

«Цитадель», незаконченная философская книга (1948).

В пятидесятые годы переводы произведений Экзюпери, наряду с переводами некоторых других западных писателей (А. Камю, Э. Хэмингуэй, Ф. Кафка и др.), которые по цензурным соображениям не могли быть официально напечатаны, широко распространялись в Самиздате.

ПИСЬМО К ЗАЛОЖНИКУ

III

Как же творит жизнь то силовое поле, которым мы живы? Откуда она, сила тяготения, которая влечет меня к дому друга? В какие решающие мгновения стал он одним из полюсов, без которых я себя не мыслю? Из каких неуловимых событий сплетаются узы вот такой неповторимой нежности и через нее — любовь к родной стране?

Нет, подлинные чудеса не шумны. И самые важные события очень просты. Случай, о котором я хочу рассказать, так неприметен, что мне надо вновь пережить его в воображении, надо говорить с тобой, друг мой.

Тот день, незадолго до войны, мы провели на берегу Соны, возле Турню. Позавтракать решили в ресторанчике, дощатая веранда его выступала над рекой. Мы уселись за простой деревянный стол, изрезанный ножами посетителей, и спросили два перно. Врач запретил тебе спиртное, но в особых случаях ты плутовал. А это, конечно, был случай особый. Мы сами не знали почему, но так уж оно было. Мы радовались чему-то столь же неосязаемому, как плоть светового луча. И ты решил выпить праздничный стаканчик перно. А в нескольких шагах от нас два матроса разгружали барку, и мы предложили им выпить с нами. Мы окликнули их сверху, с веранды. И они пришли. Просто взяли и пришли. Так естественно

было их позвать — наверно, как раз потому, что в душе у нас, неизвестно отчего, был праздник. Конечно же, они не могли не отозваться. Итак, мы чокнулись!

Пригревало солнце. Теплым медом оно омывало тополя на другом берегу и равнину до самого небосклона. Нам становилось все веселей, а почему — бог весть. Но так надежно, без обмана светило солнце и текла река, и трапеза наша была настоящей трапезой, и матросы пришли на зов, и служанка подавала нам так весело, приветливо, словно возглавляла празднество, которому не будет конца. Ничто не нарушало наш покой, от хаоса и смятения нас защищали прочные устои цивилизации. Мы вкусили некоего блаженства, казалось — все мечты сбылись и не осталось желаний, которые можно бы поверять друг другу. Мы чувствовали себя чистыми, прямодушными, мудрыми и снисходительными. Мы бы не сумели объяснить, что за истина открывалась нам во всей своей очевидности. Но нами владела необычайная уверенность. Уверенность почти гордая.

Так сама Вселенная через нас являла свою добрую волю. Уплотнялись звездные туманности, отвердевали планеты, зарождались первые амебы, исполинский труд жизни вел от амебы к человеку — и все так счастливо сошлось, чтобы через нас завершиться этой удивительной радостью. Право же, это настоящая удача.

Так мы наслаждались, мы без слов понимали друг друга, и наш пир походил на священнодействие. Служанка, будто жрица, скользила взад и вперед, ее движения убаюкивали нас, мы чокались с матросами, точно исповедовали одну и ту же веру, хоть и не сумели бы ее назвать. Один из матросов был голландец. Другой — немец. Когда-то он бежал от нацизма, в Германии его преследовали за то, что он был коммунист, а может быть, троцкист, или католик, или еврей (уже не помню, какой ярлык стал поводом для травли). Но в тот час матроса не определял никакой ярлык. Важна была сущность. Тесто, из которого слеплен человек. Он был просто Друг. И всех нас соединило дружеское согласие. Ты был в согласии с нами со всеми. И я тоже. И матросы, и служанка. О чем мы думали так согласно? О стакане перно? О смысле жизни? О том, какой славный выдался день? Мы бы и это не сумели высказать словами. Но согласие наше было столь полным, столь прочным и глубоким, покоилось на законах столь очевидных в своей сути, хоть их и не вместить в слова, что мы готовы были бы обратить этот деревянный домишко в крепость, и выдержать в нем осаду, и умереть у пулемета, лишь бы спасти эту суть.

Какую же суть?.. Вот это как раз и трудно объяснить! Боюсь, что я сумею уловить не главное, а только отблески. Нередко слова бессильны, и, пожалуй, истина ускользнет. Не знаю, поймут ли меня, скажу одно: мы бы охотно пошли в бой, лишь бы спасти нечто в улыбке матросов, и твоей, и моей, и в улыбке служанки, спасти чудо, сотворенное солнцем, которое неустанно трудилось миллионы лет, — и победным завершением его трудов стала эта наша совсем особенная улыбка.

Самое важное чаще всего невесомо. Здесь как будто всего важнее была улыбка. Часто улыбка и есть главное. Улыбкой благодарят. Улыбкой вознаграждают. Улыбкой дарят тебе жизнь. И есть улыбка, ради которой пойдешь на смерть. Эта особенная улыбка освобождала от гнетущей тоски наших дней, оделяла уверенностью, надеждой и покоем — вот почему, чтобы вернее выразить мою мысль, я не могу не рассказать еще об одной улыбке.

IV

Это случилось в Испании, я там был корреспондентом в дни гражданской войны. Часа в три ночи я опрометчиво явился безо всякого разрешения на товарную станцию посмотреть, как грузят секретное оружие. В полутьме, в суеде погрузки моя дерзость, пожалуй, осталась бы незамеченной. Но я вызвал подозрения у ополченцев-анархистов.

Все вышло очень просто. Я и не слышал, как они, мягко, бесшумно ступая, окружили меня и вот уже обступили вплотную, будто сжалась осторожная рука. Дуло карабина легонько уперлось мне в живот, и молчание показалось мне торжественным. Наконец я догадался поднять руки.

Я заметил, что они пристально смотрят не в лицо мне, а на мой галстук (мода анархистского предместья не одобряла подобных украшений). И невольно съежился. Я ждал выстрела — в те времена суд был скорый. Но выстрела не последовало. Несколько мгновений совершенной пустоты, все замерло, только грузчики двигались словно в каком-то неправдоподобном танце, где-то в ином мире..., а затем мне кивком велели идти вперед, и мы не спеша зашагали через рельсы сортировочной станции. Меня захватили в полном безмолвии, без единого лишнего движения. Так действуют обитатели морских глубин.

Вскоре я очутился в подвале, где размещался теперь сторожевой пост. При чахлом свете убогой керосиновой лампы сидели еще ополченцы и дремали, зажав между колен карабины. Они равнодушно, вполголоса перекинулись несколькими словами с моими провожатыми. Один из них меня обыскал.

Я говорю по-испански, но каталанского не знаю. Все же я понял, что у меня спрашивают документы. А я забыл их в гостинице. Я ответил: «Гостиница... Журналист...» — но совсем не был уверен, что меня понимают. Из рук в руки переходила улика — мой фотоаппарат. Кое-кто из ополченцев, которые прежде зевали, устало обмякнув на колченогих стульях, теперь скучливо поднялся и прислонился к стене.

Да, всего отчетливей здесь ощущалась скука. Скука и сонливость. У этих людей словно уже не осталось сил хоть к чему-то отнестись со вниманием. Пусть бы уж они смотрели враждебно, все же и это — подобие человеческих отношений. Но меня не удостаивали ни малейшим знаком гнева или хотя бы неодобрения. Несколько раз я по-испански пытался протестовать. Все протесты канули в пустоту. Слова мои не вызвали никакого отклика, на меня смотрели, как на рыбешку за стеклом аквариума.

Они ждали. Чего они ждали? Возвращения кого-то из своих? Рассвета? Я говорил себе: «Может быть, они ждут, когда захочется есть...»

И еще я говорил себе: «Экая будет глупость! Это же просто нелепо!..» Куда сильней тревоги было во мне другое чувство — отвращение к бессмыслице. Я говорил себе: «Сейчас они очнутся, захотят действовать, и меня пристрелят!»

Грозил ли мне и вправду опасность? Вправду ли они все еще не понимали, что я не диверсант и не шпион, а журналист? Что документы мои остались в гостинице? Решили они уже, как со мной поступить? Что они решили?

Я знал о них только одно: они ставят к стенке без особых угрызений совести. Застрельщики любых переворотов, к какой бы они партии ни принадлежали.

ли, преследуют не людей (человек сам по себе в их глазах ровно ничего не значит) — они ищут симптомы. Истина, не согласная с их собственной, представляется им заразной болезнью. Заметив подозрительный симптом, носителя заразы отправляют в карантин. На кладбище. Оттого таким зловещим казался мне этот допрос — опять и опять мне бросали односложные непонятные слова, и я не знал, о чем они. Шла игра вслепую, и ставкой была моя шкура. И еще от этого мне неодолимо захотелось доказать им, что я живой, настоящий, крикнуть что-то о себе, подтвердить подлинность моей судьбы какой-то весомой приметой. Хотя бы — сколько мне лет. Возраст — это не шутка! Он вмещает всю твою жизнь. Зрелости достигаешь так медленно, постепенно. Пока ее достигнешь, приходится одолеть столько преград, излечиться от стольких недугов, сколько превозмочь горя, столько победить отчаяния, стольких опасностей избежать, — а львиную долю их ты даже и не заметил. Зрелость рождается из стольких желаний и надежд, из стольких сожалений, забвения и любви. Твой возраст — какой же это груз опыта и воспоминаний! Наперекор всем препонам, ухабам и рытвинам, худо ли, хорошо ли, с грехом пополам движешься вперед, словно надежный воз. И вот благодаря сцеплению многих счастливых случайностей ты чего-то достиг. Тебе уже тридцать семь. И даст бог, надежный воз повлечет груз воспоминаний еще дальше. И так, я говорил себе:

«Вот к чему я пришел. Мне тридцать семь...» Хотелось обременить моих судей столь весомым признанием... Но меня больше ни о чем не спрашивали.

И тогда свершилось чудо. То было чудо очень скромное. Я не захватил с собой сигарет. И когда один из моих стражей закурил, я, сам не знаю отчего, слегка улыбнулся и знаком попросил у него сигарету. Сперва он потянулся, медленно провел рукой по лбу, поднял глаза, посмотрел уже не на мой галстук, а мне в лицо — и, к моему немалому изумлению, тоже чуть улыбнулся. Это было как первый луч рассвета.

Чудо это не стало развязкой драмы, оно просто рассеяло ее — так свет рассеивает тьму. И драмы как не бывало. С виду ничто не переменялось. Убогая керосиновая лампа, бумаги, раскиданные на столе, прислонившиеся к стене люди, краски, запахи — все оставалось прежним. И однако, все преобразилось в самой своей сути. Эта улыбка дала мне свободу. Это был знак столь же несомненный, столь же ясно предвещал он череду событий и столь же был необратим, как восход солнца. Он открывал новую эру. Все оставалось по-старому — и все стало иным. Стол с беспорядочно раскиданными бумагами ожил. Ожила керосиновая лампа. Ожили стены. Будто некое волшебство развеяло скуку, которую источала в этом подземелье каждая мелочь. Словно сызнова потекла по жилам незримая кровь, связуя все здесь воедино и всему возвращая смысл.

И те, кто был в комнате, не шелохнулись, но еще мгновение назад они мне казались непостижимо далекими, словно допотопные чудовища, — и вот возрождались к жизни близкой и понятной. С необыкновенной остротой я ощутил: все мы люди! Все мы живые! И я им сродни.

Юноша, который мне улыбнулся, только что был всего лишь исполнителем, орудием, частицей какого-то чудовищного муравейника — и вот, оказывается, он немного неловок, почти застенчив, и застенчивость эта полна обаяния. Едва ли этот террорист был менее груб, чем любой другой. Но в нем про-

снулся человек — и сразу стало ясно, что где-то в душе он беззащитно мягок! Мы, люди, так часто напускаем на себя неколебимую суровость, но втайне каждый изведаль и колебания, и сомнения, и скорбь...

Ничего еще не было сказано. И однако, все было решено. Анархист протянул мне сигарету, а я благодарно положил руку ему на плечо. И теперь, когда лед был сломан, другие ополченцы тоже снова стали людьми, и я вступил в круг их улыбок, точно в раскрывшуюся передо мной привольную страну.

Я погружался в их улыбки, как когда-то — в улыбки наших спасителей в Сахаре. Товарищи искали нас несколько дней и наконец отыскали, приземлились как можно ближе, и шли к нам широким шагом, и размахивали руками, чтобы мы издали увидели: они несут нам бурдюки с водой. Улыбка спасителей, когда я терпел аварию, улыбка потерпевших аварию, которых спасал я, тоже вспоминается мне словно родина, где я был безмерно счастлив. Подлинная радость — это радость разделенная. И спасая людей, находишь эту радость. Вода обретает чудодейственную силу, лишь когда она — дар сердца.

Заботы, которыми окружают больного, убежище, дарованное изгнаннику, даже прощение вины только тогда и прекрасны, когда праздник этот озаряет улыбка. Улыбка соединяет нас наперекор различиям языков, каст и партий. У меня свои обычаи, у другого свои, но мы исповедуем одну и ту же веру.

V

И разве эта совсем особенная радость — не самый драгоценный плод нашей культуры? Материальные наши нужды могла бы удовлетворить и тоталитарная тирания. Но мы не скот, который надо откармливать. Нас не насытишь благополучием и комфортом. Воспитанные в духе уважения к человеку, мы превыше всего ценим простые встречи, что превращаются порой в чудесные празднества...

Уважение к человеку! Уважение к человеку!.. Вот он, пробный камень! Нацист уважает лишь себе подобных, а значит, он уважает только себя. Он отвергает противоречия — основу созидания, а стало быть, разрушает всякую надежду на движение к совершенству и взамен человека на тысячу лет утверждает муравейник роботов. Порядок ради порядка оскопляет человека, отнимает у него важнейший дар — преображать и мир, и самого себя. Порядок создается жизнью, но сам он жизни не создает.

А нам, напротив, кажется, что движение наше к совершенству еще не закончено, что завтрашняя истина питается вчерашними ошибками и преодоление противоречий — единственно плодородная почва, на которой возможен наш рост. Мы признаем своими и тех, кто с нами не схож. Но какое это своеобразное родство! Его основа — не прошлое, ко будущее. Не происхождение, но цель. Друг для друга мы — паломники и долгими разными и трудными путями стремимся к месту встречи.

Но вот сегодня уважение к человеку — условие, без которого нет для нас движения вперед, — оказалось в опасности. Катастрофы, сотрясающие ныне мир, погрузили нас во тьму. Перед нами запутанные задачи, и решения их про-

тиворечивы. Истина вчерашняя мертва, истину завтрашнего дня надо еще создать. Единого решения, приемлемого для всех, пока не видно, в руках у каждого из нас лишь малая толика истины. Политические верования, которым недостает явной для всех правоты, чтобы утвердиться, прибегают к насилию. Так мы расходимся в выборе средств — и рискуем забыть, что стремимся мы к одной и той же цели.

Если путник, взбираясь в гору, слишком занят каждым шагом и забывает сверяться с путеводной звездой, он рискует ее потерять и сбиться с пути. Если он просто переставляет ноги, лишь бы не застыть на месте, он никуда не придет. Прислужница в храме, чересчур озабоченная сбором платы за стулья, рискует позабыть, что она служит богу. Так и я, увлекшись политическими разногласиями, рискую забыть, что политика лишь тогда имеет смысл, когда она помогает раскрыть духовную сущность человека. В счастливые наши часы мы извели чудо подлинно человеческих отношений — и в них наша истина.

Сколь бы жизненно необходимыми ни казались нам наши действия, мы не вправе забывать, во имя чего действуем, иначе действия наши останутся бесплодными. Мы хотим утвердить уважение к человеку. Мы в одном стане — зачем же нам ненавидеть друг друга? Никто из нас не вправе себе одному приписать чистоту помыслов. Во имя пути, который я избрал, я могу отвергнуть путь, избранный другим. Я могу оспаривать ход его мысли. Ход мысли не всегда верен. Но если человек стремится к той же звезде, мой долг — его уважать, ибо мы братья по Духу.

Уважение к Человеку! Уважение к Человеку!.. Если в сердцах людей заложено уважение к человеку, люди в конце концов создадут такой общественный, политический или экономический строй, который вознесет это уважение превыше всего. Основа всякой культуры прежде всего — в самом человеке. Прежде всего это — присущая человеку слепая, неодолимая жажда тепла. А затем, ошибаясь снова и снова, человек находит дорогу к огню.

VI

Вот потому-то, друг мой, мне так нужна твоя дружба. Мне, как глоток воды, необходим товарищ, который, поднимаясь над спорами, рожденными рассудком, уважает во мне паломника, идущего к этому огню. Мне так нужно хоть изредка заранее вкусить обетованного тепла, немного подняться над собой и отдохнуть на высотах, где мы непременно встретимся.

Я так устал от словесных распрей, от нетерпимости, от фанатизма! К тебе я могу прийти, не облачаясь в какой-либо мундир, не подчиняясь заповедям какого бы то ни было Корана, ни в какой малости не отрекаясь от моей внутренней родины. Перед тобой мне нет нужды оправдываться, защищаться, что-то доказывать; с тобой я обретаю душевный мир, как тогда в Турню. За моими неуклюжими словами, за рассуждениями, в которых я могу и запутаться, ты видишь во мне просто Человека. Ты чтешь во мне посланца тех верований, привычек и пристрастий, которых, может быть, и не разделяешь. Если я чем-то на тебя не похож, я этим вовсе не оскорбляю тебя, а, напротив, одаряю. Ты спрашиваешь меня, словно путешественника.

Как всякий человек, я жажду, чтобы меня поняли, в тебе я чувствую себя чистым — и я иду к тебе. Меня влечет туда, где я чист. Ты узнал меня таким, какой я есть, вовсе не по моим рассуждениям и поступкам. Нет, ты принимаешь меня таким, какой я есть, и потому, если надо, примиришься и с моими рассуждениями, и с поступками. Спасибо тебе за то, что ты принимаешь меня вот таким, какой я есть. Зачем мне друг, который меня судит? Если меня навестил друг и если он хромает, я сажаю его за стол, а не требую, чтобы он пустился в пляс.

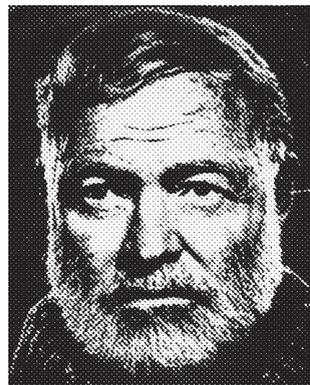
Друг мой, ты нужен мне, как горная вершина, где вольно дышится! Мне нужно еще раз сесть с тобою рядом на щелястой деревянной веранде скромной гостиницы на берегу Соны, и позвать к нашему столу двух матросов, и чокнуться с ними в мирном свете улыбки, подобной восходу солнца.

Если я еще смогу вернуться в строй, я буду сражаться и за тебя. Ты мне нужен, чтобы тверже верилось: он еще настанет, час той улыбки. Мне нужно помогать тебе жить. Я вижу тебя — ты так слаб, тебе грозит столько опасностей, нелегко тебе в пятьдесят лет, дрожа от холода в изношенном пальтишке, долгие часы стоять в очереди у какой-нибудь убогой лавчонки, чтобы кое-как протянуть еще день. Ты француз до мозга костей, и я знаю, смерть грозит тебе вдвойне: за то, что ты француз, и за то, что ты еврей. Я знаю цену общности, которая отвергает распри. Все мы — Франция, мы ветви одного дерева, и я буду служить твоей истине, как ты служил бы моей. Мы, французы, которые оказались вне Франции, призваны в этой войне освободить из-под ледяной толщи посева, стынувшие под гнетом немецкого нашествия. Мы призваны помочь вам, оставшимся во Франции. Призваны возвратить вам свободу на французской земле, ибо здесь ваши корни, и ваше неотъемлемое право — здесь оставаться. Вас сорок миллионов, и все вы - заложники. Новые истины всегда вызревают под гнетом во мраке подземелий: там, во Франции, в сознании сорока миллионов заложников рождается сейчас новая истина. И мы заранее покоряемся этой истине.

Ибо вы укажете нам путь. Не нам нести духовное пламя тем, кто, словно воск свечи, уже питает это пламя всем своим существом. Быть может, вы не станете читать наши книги. Быть может, не станете слушать наши речи. Быть может, отвергнете наши мысли. Сейчас не мы создаем Францию. Мы только можем ей служить. Что бы мы ни делали, мы не вправе ждать благодарности. Не измерить одной мерой свободу битвы и гнет во тьме порабощения. Не измерить одной мерой ремесло солдата и ремесло заложника. Вы — святые.

Источник: сайт Московского авиационного института
(<http://www.mai.ru/projects/flight/exuperi>)

Хемингуэй
Эрнст Миллер
(1899–1961)



Писатель, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1954 год.

Репортером участвовал во всех крупных войнах XX века: Первой мировой («Фиеста», «Прощай оружие»), Гражданской войне в Испании («По ком звонит колокол»), Второй мировой («Острова в океане»).

Произведения Хемингуэя выходили в Советском Союзе еще до войны, однако в послевоенный период из-за слишком откровенных эротических сцен и использования ненормативной лексики (несравнимых однако ни с Генри Миллером, ни с Виктором Ерофеевым, ни даже с Юзом Алешковским), а, главным образом, благодаря вето Долорес Ибаррури (Пассионарии, одной из руководителей Испанской компартии) их не печатали. По ее мнению, изображение Испанской революции в публицистике и художественных произведениях Хемингуэя (особенно «По ком звонит колокол») было предвзятым, поверхностным и карикатурным. Написанный в 1940 г. роман был впервые опубликован в конце шестидесятых, а до этого ходил в самиздате в нескольких переводах.

Заметим, что в начале 60-х годов роман был издан в ограниченном числе экземпляров без указания выходных данных, типографии и тиража, для ознакомления «руководящих» и «ответственных» работников разных уровней. Такая практика была достаточно распространенной в подцензурное время, хотя часто выходила за пределы узаконенного круга читателей и ... становилась основой для самиздатского распространения. Так, в частности, появилась в Самиздате библия нацизма «Моя борьба» А. Гитлера, изданная ограниченным тиражом в середине 30-х годов и целый ряд других произведений, по самым разным причинам не прошедших цензуру.

Впервые роман «По ком звонит колокол» был опубликован в издательстве «Художественная литература» в 1968 году.

Действие романа происходит в Испании, в конце Гражданской войны, которая показана через восприятие главного героя, бойца Интербригады, американского преподавателя испанского языка Роберта Джордана. Находясь в партизанском отряде в глубоком тылу у франкистов, Джордан находит там любовь и смерть, погибая при выполнении ответственного задания руководства республиканцев.

ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ

Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе: каждый человек есть часть Материка, часть Суши; и если Волной снесет в море береговой Утес, меньше станет Европа, и также, если смоем край Мыса или разрушит Замок твой или Друга твоего; смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я один со всем Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе.

Джон Донн

<...>

Он спал в мешке, и когда он проснулся, ему почудилось, что он спит уже очень давно. Он разложил свой мешок недалеко от входа в пещеру, у подножия скалы, защищавшей его от ветра; когда он лег, все мышцы у него сводило от усталости, ноги болели, спину и плечи ломало так, что лесная земля показалась ему мягкой, и томительно-сладко было вытянуться в теплом, подбитом фланелью мешке; но он заворочался во сне и, ворочаясь, наткнулся на револьвер, который был привязан шнуром к его руке и лежал рядом с ним.

Проснувшись, он не сразу понял, где он, потом вспомнил, вытащил револьвер из-под бока и, чтобы опять заснуть, устроился поудобнее, обхватив рукой подушку, сооруженную из аккуратно свернутой одежды, в которую были засунуты его сандалии на веревочной подошве.

Тут он почувствовал прикосновение к своему плечу и быстро обернулся, правой рукой схватившись за револьвер.

— Это ты, — сказал он и, отпустив револьвер, выпростал обе руки из мешка и притянул ее к себе. Обнимая ее, он почувствовал, как она дрожит.

— Забирайся в мешок, — сказал он тихо. — Тебе же холодно там.

— Нет. Не надо.

— Забирайся, — сказал он. — Потом поговорим.

Она вся дрожала, и он одной рукой взял ее за руку, а другой опять легонько обнял. Она отвернула голову.

— Иди сюда, зайчонок, — сказал он и поцеловал ее в затылок.

— Я боюсь.

— Нет. Не надо бояться. Иди сюда.

— А как?

— Просто влезай. Места хватит. Хочешь, я тебе помогу?

— Нет, — сказала она, и вот она уже в мешке, и он крепко прижал ее к себе и хотел поцеловать в губы, но она спрятала лицо в его подушку и только крепко обхватила руками его шею. Потом он почувствовал, что ее руки разжались, и она опять вся дрожит.

— Нет, — сказал он и засмеялся. — Не бойся. Это револьвер. — Он взял его и переложил себе за спину.

— Мне стыдно, — сказала она, не поворачивая головы.

— Нет, тебе не должно быть стыдно. Ну? Ну что?

– Нет, не надо. Мне стыдно, и я боюсь.

– Нет. Зайчонок мой. Ну прошу тебя.

– Не надо. Раз ты меня не любишь.

– Я люблю тебя.

– Я люблю тебя. Я так люблю тебя. Положи мне руку на голову, — сказала она, все еще пряча лицо в подушку. Он положил ей руку на голову и погладил, и вдруг она подняла лицо с подушки и крепко прижалась к нему, и теперь ее лицо было рядом с его лицом, и он обнимал ее, и она плакала.

Он держал ее крепко и бережно, ощущая всю длину ее молодого тела, и гладил ее по голове, и целовал соленую влагу на ее глазах, и когда она всхлипывала, он чувствовал, как вздрагивают под рубашкой ее маленькие круглые груди.

– Я не могу поцеловать тебя, — сказала она. — Я не умею.

– Совсем это и не нужно.

– Нет. Я хочу тебя поцеловать. Я все хочу делать.

– Совсем не нужно что-нибудь делать. Нам и так хорошо. Только на тебе слишком много надето.

– Как же быть?

– Я помогу тебе.

– Теперь лучше?

– Да. Гораздо. А тебе разве не лучше?

– Да. Гораздо лучше. И я поеду с тобой, как сказала Пилар.

– Да.

– Только не в приют. Я хочу с тобой.

– Нет, в приют.

– Нет. Нет. Нет. С тобой, и я буду твоя жена.

Они лежали рядом, и все, что было защищено, теперь осталось без защиты. Где раньше была шершавая ткань, все стало гладко чудесной гладкостью, и круглилось, и льнуло, и вздрагивал, и вытягивалось, длинное и легкое, теплое и прохладное, прохладное снаружи и теплое внутри, и крепко прижималось, и замирало, и томило болью, и дарило радость, жалобное, молодое и любящее, и теперь уже все было теплое и гладкое и полное щемящей, острой, жалобной тоски, такой тоски, что Роберт Джордан не мог больше выносить это и спросил:

– Ты уже любила кого-нибудь?

– Никогда.

Потом вдруг сникнув, вся помертвев в его объятиях:

– Но со мной делали нехорошее.

– Кто?

– Разные люди.

Теперь она лежала неподвижно, застывшая, точно труп, отвернув голову.

– Теперь ты не захочешь меня любить.

– Я тебя люблю, — сказал он.

Но что-то произошло в нем, и она это знала.

– Нет, — сказала она, и голос у нее был тусклый и безжизненный. — Ты меня не будешь любить. Но, может быть, ты отвезешь меня в приют. И я буду жить в приюте, и никогда не буду твоей женой, и ничего вообще не будет.

– Я тебя люблю, Мария.

— Нет. Это неправда, — сказала она. Потом жалобно и с надеждой, словно цепляясь за последнее:

— Но я никогда никого не целовала.

— Так поцелуй меня.

— Я хотела тебя поцеловать, — сказала она. — Но я не умею. Когда со мной это делали, я дралась так, что ничего не видела. Я сопротивлялась, пока... пока один не сел мне на голову, а я его укусила, — и тогда они завязали мне рот и закинули руки за голову, а остальные делали со мной нехорошее.

— Я тебя люблю, Мария, — сказал он. — И никто ничего с тобой не делал.

Тебя никто не смеет тронуть и не может. Никто тебя не трогал, зайчонок.

— Ты правда так думаешь?

— Я не думаю, я знаю.

— И ты меня не разлюбил? — Она опять стала теплая рядом с ним.

— Я тебя люблю еще больше.

— Я постараюсь поцеловать тебя очень крепко.

— Поцелуй меня чуть-чуть.

— Я не умею.

— Ну просто поцелуй.

Она целовала его в щеку.

— Не так.

— А куда же нос? Я всегда про это думала — куда нос?

— Ты поверни голову, вот. — И тогда их губы сошлись тесно-тесно, и она лежала совсем вплотную к нему, и понемногу ее губы раскрылись, и вдруг, прижимая ее к себе, он почувствовал, что никогда еще не был так счастлив, так легко, любовно, ликующе счастлив, без мысли, без тревоги, без усталости, полный только огромного наслаждения, и он сказал: — Мой маленький зайчонок. Моя любимая. Моя длинноногая радость.

— Как ты сказал? — спросила она как будто откуда-то издалека.

— Моя радость, — сказал он.

Так они лежали, и он чувствовал, как ее сердце бьется около его сердца, и своей ногой легонько поглаживал ее ногу.

— Ты пришла босиком, — сказал он.

— Да.

— Значит, ты знала, что ляжешь тут?

— Да.

— И не боялась?

— Боялась. Очень. Но еще больше боялась, как это будет, если снимать башмаки.

— Который теперь час, ты не знаешь?

— Нет. А разве у тебя нет часов?

— Есть. Но они за твоей спиной.

— Достань их.

— Не хочу.

— Так посмотри через мое плечо.

Было ровно час. Циферблат ярко светился в темноте мешка.

<...>

Если ты не видел первый день революции в маленьком городке, где все друг друга знают и всегда знали, значит, ты ничего не видел. Большинство людей, что стояли на площади двумя шеренгами, были в этот день в своей обычной одежде, в той, в которой работали в поле, потому что они торопились скорее попасть в город. Но некоторые, не зная, как следует одеваться для такого случая, нарядились по-праздничному, и теперь им было стыдно перед другими, особенно перед теми, кто брал приступом казармы. Но снимать свои новые куртки они не хотели, опасаясь, как бы не потерять их или как бы их не украли. И теперь, стоя на солнцепеке, обливались потом и ждали, когда это начнется.

Вскоре подул ветер и поднял над площадью облако пыли, потому что земля уже успела подсохнуть под ногами у людей, которые ходили, стояли, топтались на месте, а какой-то человек в темно-синей праздничной куртке крикнул: «*Agua! Agua!*» [Воды! Воды! (исп.)] Тогда пришел сторож, который каждое утро поливал площадь, размотал шланг и стал поливать, прибывая водой пыль, сначала по краям площади, а потом все ближе и ближе к середине. Обе шеренги расступились, чтобы дать ему прибить пыль и в центре площади; шланг описывал широкую дугу, вода блестела на солнце, а люди стояли, опершись кто на цеп или дубинку, кто на белые деревянные вилы, и смотрели на нее. Когда вся площадь была полита и пыль улеглась, шеренги опять сомкнулись, и какой-то крестьянин крикнул: «Когда же наконец нам дадут первого фашиста? Когда же хоть один вылезет из исповедальни?»

— Сейчас, — крикнул Пабло, показавшись в дверях Ayuntamiento. — Сейчас выйдут.

Голос у него был хриплый, потому что ему приходилось кричать, и во время осады казарм он наглотался дыма.

— Из-за чего задержка? — спросил кто-то.

— Никак не могут покаяться в своих грехах! — крикнул Пабло.

— Ну ясно, ведь их там двадцать человек, — сказал кто-то еще.

— Больше, — сказал другой.

— У двадцати человек грехов наберется порядочно.

— Так-то оно так, только, я думаю, это уловка, чтобы оттянуть время. В такой крайности хорошо, если хоть самые страшные грехи вспомнишь.

— Тогда запасись терпением. Их там больше двадцати человек, и даже если они будут каяться только в самых страшных грехах, и то сколько на это времени уйдет.

— Терпения у меня хватит, — ответил первый. — А все-таки чем скорей кончим с этим, тем лучше. И для них и для нас. Сейчас июль месяц, работы много. Хлеб мы сжали, но не обмолотили. Еще не пришло время праздновать и веселиться.

— А сегодня все-таки попразднуем, — сказал другой. — Сегодня у нас праздник Свободы, и с сегодняшнего дня — вот только разделаемся с этими — и город и земля будут наши.

— Сегодня мы будем молотить фашистов, — сказал кто-то, — а из мякины поднимется свобода нашего pueblo [народа (исп.)].

<... >

Мы стояли в самом конце шеренги, у обрыва, и он взял у меня треуголку и пустил ее с обрыва из-под руки таким движением, каким пастухи пускают камень в быка, чтобы загнать его в стадо. Треуголка полетела далеко, у нас на глазах она становилась все меньше и меньше, блестя лаком в прозрачном воздухе, и наконец упала в реку. Я оглянулась и увидела, что во всех окнах и на всех балконах теснятся люди, и увидела две шеренги, протянувшиеся через всю площадь, и толпу под окнами Ayuntamiento, и оттуда доносились громкие голоса, а потом я услышала крики, и кто-то сказал: «Вот идет первый!» И это был дон Бенито Гарсиа. Он с непокрытой головой вышел из дверей и медленно спустился по ступенькам, и никто его не тронул; он шел между шеренгами людей с цепями, и никто его не трогал. Он миновал первых двоих, четверых, восьмерых, десятерых, и все еще никто не трогал его, и он шел и шел, высоко подняв голову; мясистое лицо его посерело, а глаза то смотрели вперед, то вдруг начинали бегать по сторонам, но шаг у него был твердый. И никто его не трогал.

С какого-то балкона крикнули: «Que pasa, cobardes? Что же вы, трусы?» Но дон Бенито все шел между двумя шеренгами, и никто его не трогал. И вдруг я увидела, как у одного крестьянина, стоявшего за три человека от меня, задергалось лицо, он кусал губы и так крепко сжимал свой цеп, что пальцы у него побелели. Он смотрел на дону Бенито, который подходил все ближе и ближе, а его все еще никто не трогал. Потом, не успев дон Бенито поравняться с крестьянином, как он высоко поднял свой цеп, задев соседа, и со всего размаху ударил дону Бенито по голове, и дон Бенито посмотрел на него, а он ударил его снова и крикнул: «Получай, cabron!» [испанское ругательство, буквально: козел] И на этот раз удар пришелся по лицу, и дон Бенито закрыл лицо руками, и его стали бить со всех сторон, и до тех пор били, пока он не упал на землю. Тогда тот, первый, позвал на подмогу и схватил дону Бенито за ворот рубашки, а другие схватили его за руки и поволокли лицом по земле к самому обрыву и сбросили оттуда в реку. А тот человек, который первый его ударил, стал на колени на краю обрыва, смотрел ему вслед и кричал: «Cabron! Cabron! O, cabron!» Он был арендатором дону Бенито, и они никак не могли поладить между собой. У них был спор из-за одного участка у реки, который дон Бенито отнял у этого человека и сдал в аренду другому, и этот человек уже давно затаил против него злобу. Он не вернулся на свое место в шеренгу, а так и остался у края обрыва и все смотрел вниз, туда, куда сбросили дону Бенито.

После дону Бенито из Ayuntamiento долго никто не выходил. На площади было тихо, потому что все ждали, кто будет следующий. И вдруг какой-то пьянчуга заорал во весь голос: «Que saiga el toro! Выпускай быка!»

Потом из толпы, собравшейся у окон Ayuntamiento, крикнули: «Они не хотят идти! Они молятся!»

Тут заорал другой пьянчуга: «Тащите их оттуда! Тащите — чего там!

Прошло время для молитв!»

Но из Ayuntamiento все никто не выходил, а потом я вдруг увидела в дверях человека.

Это шел дон Федерико Гонсалес, хозяин мельницы и бакалейной лавки, первый фашист в нашем городе. Он был высокий, худой, а волосы у него были зачесаны с виска на висок, чтобы скрыть лысину. Он был босой, как его

взяли из дому, в ночной сорочке, заправленной в брюки. Он шел впереди Пабло, держа руки над головой, а Пабло подталкивал его дробовиком в спину, и так они шли, пока дон Федерико Гонсалес не ступил в проход между шеренгами. Но когда Пабло оставил его и вернулся к дверям Ayuntamiento, дон Федерико не смог идти дальше и остановился, подняв глаза и протягивая кверху руки, точно думал ухватиться за небо.

— У него ноги не идут, — сказал кто-то.

— Что это с вами, дон Федерико? Ходить разучились? — крикнул другой.

Но дон Федерико стоял на месте, воздев руки к небу, и только губы у него шевелились.

— Ну, живей! — крикнул ему со ступенек Пабло. — Иди! Что стал?

Дон Федерико не смог сделать ни шагу. Какой-то пьянчуга ткнул его сзади цепом, и дон Федерико прынул на месте, как норовистая лошадь, но не двинулся вперед, а так и застыл, подняв руки и глаза к небу.

Тогда крестьянин, который стоял недалеко от меня, сказал:

— Нельзя так! Стыдно! Мне до него дела нет, но это представление нужно кончать. — Он прошел вдоль шеренги и, протолкавшись к дону Федерико, сказал: — С вашего разрешения. — И, размахнувшись, ударил его дубинкой по голове.

Дон Федерико опустил руки и прикрыл ими лысину, так что длинные жидкие волосы свисали у него между пальцами, и, втянув голову в плечи, бросился бежать, а из обеих шеренг его били цепами по спине и по плечам, пока он не упал, и тогда те, кто стоял в дальнем конце шеренги, подняли его и сбросили с обрыва вниз. Он не издал ни звука с той минуты, как Пабло вытолкнул его из дверей дробовиком. Он только не мог идти. Должно быть, ноги не слушались.

<...>

Каковы ж тогда его политические убеждения? Нет у него теперь никаких, сказал он себе. Но об этом никому нельзя говорить, подумал он. Нельзя даже мысли такой допускать. А чем ты хочешь заняться после войны? Вернусь в Штаты и опять буду преподавать для заработка испанский язык и напишу правдивую книгу. Обязательно напишу, сказал он себе. И это будет нетрудно.

Надо поговорить о политике с Пабло. Любопытно, как шло его политическое развитие? Слева направо, вероятно; классический путь в духе старика Лерру.

У Пабло много общего с Лерру. Да и Прието не лучше. Пабло и Прието одинаково верят в конечную победу. У всех у них политика конокрадов. Я стою за Республику как форму правления, но Республика должна будет выгнать вон всю эту шайку конокрадов, которая завела ее в тупик перед началом мятежа. Можно ли найти еще народ, вожди которого были бы такими истинными его врагами?

Враги народа. Выражение, без которого можно обойтись. Да, это ходячее выражение не стоит употреблять. Вот что сделала с ним ночь с Марией. Он уже успел стать политическим фанатиком и ханжой, похожим на какого-нибудь твердолобого баптиста, и словечки вроде «враги народа» сами собой приходят ему в голову. Революционно-патриотические штампы. Его разум приучился некритически воспринимать и употреблять их. Конечно, в них заключена правда, но слишком уж легко они слетают с языка. Но после того, что было ночью и сегодня днем, все это предстало перед ним более ясно и отчетливо. Странная

вещь фанатизм. Чтоб быть фанатиком, нужно быть абсолютно, непререкаемо уверенным, что ты прав, а ничто так не укрепляет эту уверенность, как воздержание. Воздержание лучшее средство против ереси.

Любопытно, выдержит ли этот тезис дальнейшее углубление. Вероятно, именно потому коммунисты так воюют с духом богемы. Долой богему, то, чем грешил Маяковский. Но ведь Маяковский теперь снова причислен к лику святых. Да, потому что он уже покойник. Ты и сам скоро будешь покойником. Ну, нечего думать о таких вещах. Думай лучше о Марии.

Мария была тяжелым испытанием для его фанатизма. Решимости его она не поколебала, но ему теперь очень не хотелось умирать. Он охотно отказался бы от героической или мученической кончины. Он не хотел повторять Фермопилы, не собирался разыгрывать Горация на этом мосту или соперничать с тем голландским мальчиком, который заткнул пальцем дырку в плотине. Нет. Он хотел подольше побыть с Марией. Вот, собственно говоря, и все. Он хотел очень, очень долго быть с Марией.

<...>

Когда он первый раз попал в отель Гэйлорда — местопребывание русских в Мадриде, ему там не понравилось, обстановка показалась слишком роскошной и стол слишком изысканным для осажденного города, а разговоры, которые там велись, слишком вольными для военного времени. Но я очень быстро привык, подумал он. Не так уж плохо иметь возможность вкусно пообедать, когда возвращаешься после такого дела, как вот это. А в тех разговорах, которые сперва показались ему вольными, как выяснилось потом, было очень много правды. Вот найдется о чем порассказать у Гэйлорда, когда все будет кончено, подумал он. Да, когда все будет кончено.

Там, у Гэйлорда, можно было встретить знаменитых испанских командиров, которые в самом начале войны вышли из недр народа и заняли командные посты, не имея никакой военной подготовки, и оказывалось, что многие из них говорят по-русски. Это было первое большое разочарование, испытанное им несколько месяцев назад, и оно навело его на горькие мысли. Но потом он понял, в чем дело, и оказалось, что ничего тут такого нет. Это действительно были рабочие и крестьяне. Они участвовали в революции 1934 года, и когда революция потерпела крах, им пришлось бежать в Россию, и там их послали учиться в Военную академию для того, чтобы они получили военное образование, необходимое для командира, и в другой раз были готовы к борьбе.

Во время революции нельзя выдавать посторонним, кто тебе помогает, или показывать, что ты знаешь больше, чем тебе полагается знать. Он теперь тоже постиг это. Если что-либо справедливо по существу, ложь не должна иметь значения.

Там же, у Гэйлорда, можно было повстречать простого каменщика из Галисии, Энрике Листера, который теперь был командиром дивизии и тоже говорил по-русски. Туда же приходил столяр из Андалузии, Хуан Модесто, которому только что поручили командование армейским корпусом. Он тоже не в Пуэрто-де-Санта-Мария научился русскому языку, разве только если там были курсы Берлица, которые посещали столяры. Из всех молодых командиров он

пользовался самым большим доверием у русских, потому что он был настоящим партийцем, «стопроцентным», как они любили говорить, щеголяя этим американизмом.

Да, без Гэйлорда нельзя было бы считать свое образование законченным. Именно там человек узнавал, как все происходит на самом деле, а не как оно должно бы происходить. Я, пожалуй, только начал получать образование, подумал он. Любопытно, придется ли продолжить его? Все, что удавалось узнать у Гэйлорда, было разумно и полезно, и это было как раз то, в чем он нуждался. Правда, в самом начале, когда он еще верил во всякий вздор, это ошеломило его. Но теперь он уже достаточно разбирался во многом, чтобы признать необходимость скрывать правду, и все, о чем он узнавал у Гэйлорда, только укрепляло его веру в правоту дела, которое он делал. Приятно было знать все, как оно есть на самом деле, а не как оно якобы происходит. На войне всегда много лжи. Но правда о Листере, Модесто и El Campesino гораздо лучше всех небылиц и легенд. Когда-нибудь эту правду не будут скрывать ни от кого, но пока он был доволен, что существует Гэйлорд, где он может узнать ее.

Но от Гэйлорда до этой пещеры — долгий путь, подумал он. Нет, не этот путь долгий. Долгим будет путь из этой пещеры до Гэйлорда. Первый раз он попал к Гэйлорду с Кашкиным, и ему там не понравилось. Кашкин сказал, что ему непременно нужно познакомиться с Карповым, потому что Карпов очень интересуется американцами и потому что он самый ярый поклонник Лопе де Вега и считает, что нет и не было в мире пьесы лучше «Овечьего источника». Может быть, это и верно, но он, Роберт Джордан, не находил этого.

У Гэйлорда ему не понравилось, а Карпов понравился. Карпов — самый умный из всех людей, которых ему приходилось встречать. Сначала он ему показался смешным — тщедушный человечек в сером кителе, серых бриджах и черных кавалерийских сапогах, с крошечными руками и ногами, и говорит так, точно сплевывает слова сквозь зубы. Но Роберт Джордан не встречал еще человека, у которого была бы такая хорошая голова, столько внутреннего достоинства и внешней дерзости и такое остроумие.

Кашкин наговорил о Роберте Джордане бог знает чего, и Карпов первое время был с ним оскорбительно вежлив, но потом, когда Роберт Джордан, вместо того чтобы корчить из себя героя, рассказал какую-то историю, очень веселую и выставлявшую его самого в непристойно-комическом свете, Карпов от вежливости перешел к добродушной грубоватости, потом к дерзости, и они стали друзьями.

В этой войне ни одна из сторон не имеет своего Гранта, своего Шермана или своего Слонуолла Джексона. И Джеба Стюарта тоже не видно. И Шеридана тоже. Зато Мак-Клелланов сколько угодно. У фашистов кишмя кишит Мак-Клелланами, а у нас их по меньшей мере трое.

И военных гениев тоже пока не выдвинула эта война. Ни одного. Даже похожего ничего не было. Клебер, Лукач и Ганс, командуя Интернациональными бригадами, с честью выполнили свою роль в обороне Мадрида, но потом старый, лысый, очкастый, самодовольный, как филин глупый, неинтересный в разговоре, по-бычьему храбрый и тупой, раздутый пропагандой защитник Мадрида Миаха стал так завидовать популярности Клебера, что заставил русских отстранить его от командования и отправить в Валенсию. Клебер был хороший

солдат, но ограниченный и слишком разговорчивый для того дела, которым занимался. Гольц был хороший командир и отличный солдат, но его все время держали на положении подчиненного и не давали ему развернуться.

Они были коммунистами и сторонниками железной дисциплины. Дисциплина, насаждаемая ими, делает из испанцев хороших солдат. Листер был особенно строг насчет дисциплины, и он сумел выковать из дивизии настоящую боеспособную единицу. Одно дело — удерживать позиции, другое — пойти на штурм позиций и захватить их, и совсем особое дело — маневрировать войсками в ходе боевых действий, думал Роберт Джордан, сидя в пещере за столом. Интересно, как Листер, такой, каким я его знаю, справится с этим, когда двойное управление будет снято. А может быть, оно не будет снято, подумал он. Может быть, они не уйдут. Может быть, они еще укрепятся. Интересно, как относятся русские ко всему этому делу. Гэйлорд, вот где можно все узнать. Есть много вопросов, насущных для меня, ответ на которые я могу получить только у Гэйлорда.

<...>

Из пятерых людей, добравшихся до вершины холма, трое были ранены. Глухому одна пуля попала в мякоть ноги и две в левую руку. Его мучила жажда, раненая нога затекла, одна рана в руке нестерпимо ныла. Кроме того, у него сильно болела голова, и, лежа в ожидании самолетов, он вспомнил испанскую шутку: «*Нау que tomar la muerte como si fuera aspirina*», что означает: «Смерть нужно принимать, как таблетку аспирина». Но вслух он эту шутку не повторил. Он усмехнулся где-то внутри сковывавшей голову боли, внутри тошноты, подступавшей к горлу, едва он шевелил рукой или оглядывался на то, что осталось от его отряда.

Все пятеро расположились на вершине, как зубцы пятиконечной звезды. Коленями и руками они рыли землю и делали из глины и камней бугорки, за которыми можно было спрятать голову и плечи. Потом, пользуясь этим прикрытием, они принялись соединять отдельные бугорки вместе. У восемнадцатилетнего Хоакина был стальной шлем, которым он рыл землю и набирал ее, чтобы передавать другим.

Этот шлем достался ему, когда взрывали эшелон. Он был продырявлен пулей, и все смеялись над Хоакином за то, что он не бросил его. Но Хоакин молотком разровнял зазубренные края отверстия, потом вогнал в него деревянную пробку и отрезал торчавший кусок вровень с поверхностью шлема.

Когда началась стрельба, он с размаху нахлобучил шлем на голову с такой силой, что в голове у него зазвенело, как от удара медной кастрюлей, и потом, когда лошадь под ним была убита, в этом последнем, свистом пуль, треском пуль, пеньем пуль подгоняемом беге, от которого сохло во рту, подгибались колени и перехватывало дыхание в груди, шлем давил его невероятной тяжестью и точно железным обручем стягивал готовый расколоться лоб.

Но он его не сбросил. И теперь рыл им землю, работая с испуганным упорством автомата. Он еще не был ранен.

— Пригодился-таки наконец, — сказал ему Глухой своим низким, сипловатым голосом.

— Resistir y fortificar es veneer, — сказал Хоакин, с трудом ворочая языком во рту, пересохшем больше от страха, чем от обычной в бою жажды.

Это был один из лозунгов Испанской коммунистической партии, и значил он: сопротивляйся и укрепляйся, и ты победишь.

Глухой отвернулся и глянул вниз, где один из кавалеристов, укрывшись за большим валуном, готовился открыть огонь. Глухой очень любил мальчика, но ему сейчас было не до лозунгов.

— Что ты такое сказал?

Один из партизан повернул голову от сооружения, которое возводил. Он лежал все время ничком и, не поднимая подбородка с земли, осторожно укладывал камни.

Хоакин, не отрываясь от работы, повторил лозунг своим ломающимся мальчишеским голосом.

— Какое последнее слово? — переспросил партизан, не поднимавший подбородка с земли.

— Veneer, — сказал мальчик. — Победишь.

— Mierda [дерьмо (ит.)], — сказал партизан, не поднимавший подбородка с земли.

— Есть еще один, который к нам подходит, — сказал Хоакин, выкладывая лозунги так, как будто это были талисманы. — Пасионария говорит: лучше умереть стоя, чем жить на коленях.

— И все равно mierda, — сказал тот, а другой партизан бросил через плечо:

— А мы не на коленях, а на брюхе.

— Эй, ты, коммунист! А ты знаешь, что у твоей Пасионарии сын, такой, как ты, в России с самого начала движения?

— Это неправда, — сказал Хоакин.

— Que va, неправда, — сказал партизан. — Мне это говорил динамитчик, которого так по-чуждому звали. Он был той же партии, что и ты. Чего ему врать.

— Это неправда, — сказал Хоакин. — Не станет она прятать сына в России от войны.

— Хотел бы я сейчас быть в России, — сказал другой партизан из отряда Глухого. — Может, твоя Пасионария и меня послала бы в Россию, а, коммунист?

— Если ты так веришь в свою Пасионарию, попроси ее, чтоб она нас сейчас убрала с этого холма, — сказал третий, с перевязанным бедром.

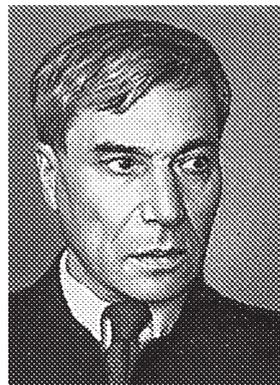
— Тебя фашисты уберут, не беспокойся, — сказал тот, который не поднимал подбородка с земли.

— Не надо так говорить, — сказал Хоакин.

— Оботри материнское молоко с губ и подай мне земли в своей шляпе, — сказал партизан, не поднимавший подбородка. — Никому из нас не увидеть сегодня, как зайдет солнце.

<...>

Пастернак Борис Леонидович (1899–1960)



Поэт, прозаик, переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1958 год.

Родился в Москве, в артистической семье: отец — известный художник, мать — пианистка. После окончания 5-ой Московской гимназии, поступает в Московский университет, изучает юриспруденцию, затем философию. В 1912 г. проводит семестр в Марбургском университете (Германия). Серьезно занимался музыкой — брал уроки композиции у А.Н. Скрябина.

Первый поэтический сборник «Близнец в тучах» вышел в 1914 г., второй — «Поверх барьеров» — в 1917 г. После выхода в 1922 г. третьей книги стихов «Сестра моя — жизнь», становится одним из наиболее популярных советских поэтов. Эта популярность еще укрепилась после выхода поэм «Девятьсот пятый год», «Лейтенант Шмидт» и книг стихов «Второе рождение» (1932) и «На дальних поездах» (1945).

Замысел романа «Доктор Живаго» вызревал едва ли не с двадцатых годов, однако непосредственно на воплощение этой идеи ушло целое десятилетие 1946 — 1956 гг. После завершения романа Пастернак предпринял несколько неудачных попыток опубликовать его. О романе ходило много слухов, автор неоднократно читал друзьям отрывки и давал читать рукопись, о нем узнали за границей, и после почти детективных приключений он был напечатан (на итальянском языке) итальянским издателем Фельтринелли. В 1958 г. выходит русское издание, произведшее сенсацию. Пастернак становится вторым после И.А. Бунина русским писателем лауреатом Нобелевской премии.

В советской прессе начинается безудержная травля Пастернака (см. «Стенограмму общемосковского собрания писателей 31 октября 1958 года», стр. 423), закончившаяся отказом от премии, исключением из ССП и скорой смертью писателя.

Роман был распространен в стране как в самиздатском, так и в тамиздатском вариантах. Еще большую популярность имели «Стихотворения Юрия Живаго» под названием «Стихи из романа» (некоторые из них были опубликованы в журнале «Знамя» в 1954 году, см. т. 1, кн. 2, стр. 7). Сам роман впервые был опубликован в журнале «Новый мир» в 1988 году (№ 1-4).

С наибольшей полнотой творчество Пастернака представлено в «Собрании сочинений» в пяти томах, вышедшем в издательстве «Художественная литература» в 1989 — 92 годах.

ДОКТОР ЖИВАГО

Часть седьмая. «В дороге»

<...>

Кто же был, однако, этот человек? Удивительно, как на такие посты выдвинулся и мог на них удержаться беспартийный, которого никто не знал, потому что, будучи родом из Москвы, он по окончании университета уехал учительствовать в провинцию, а с войны попал надолго в плен, до недавнего времени отсутствовал и считался погибшим.

Передовой железнодорожник Тиверзин, в семье которого Стрельников воспитывался мальчиком, рекомендовал его и за него поручился. Люди, от которых зависели назначения того времени, ему поверили. В дни неумеренного пафоса и самых крайних взглядов революционность Стрельникова, тоже ни перед чем не останавливавшегося, выделялась своей подлинностью, фанатизмом, не напетым с чужого голоса, а подготовленным всею его жизнью и не случайным.

Стрельников оправдал оказанное ему доверие.

Его послужной список последнего периода содержал усть-неминское и ниже-кельмесское дела, дело губасовских крестьян, оказавших вооруженное сопротивление продовольственному отряду, и дело о разграблении маршрута с продовольствием четырнадцатым пехотным полком на станции Медвежья Пойма. В его формуляр входило дело о солдатах-разинцах, поднявших восстание в городе Туркатуе и с оружием в руках перешедших на сторону белогвардейцев, и дело о военном мятеже на речной пристани Чиркин Ус, с убийством командира, оставшегося верным советской власти.

Во все эти места он сваливался как снег на голову, судил, приговаривал, приводил приговоры в исполнение, быстро, сурово, бестрепетно.

Разъездами его поезда был положен предел повальному дезертирству в крае. Ревизия рекрутирующих организаций все изменила. Набор в Красную армию пошел успешно. Приемочные комиссии заработали лихорадочно.

Наконец в последнее время, когда белые стали наседать с севера и положение было признано угрожающим, на Стрельникова возложили новые задачи, непосредственно военные, стратегические и оперативные. Результаты его вмешательства не замедлили сказаться.

Стрельников знал, что молва дала ему прозвище Расстрельникова. Он спокойно перешагнул через это, он ничего не боялся.

Он был родом из Москвы и был сыном рабочего, принимавшего в девять-сот пятом году участие в революции и за это пострадавшего. Сам он остался в эти годы в стороне от революционного движения по причине малолетства, а в последующие годы, когда он учился в университете, вследствие того, что молодые люди из бедной среды, попадая в высшую школу, дорожат ею больше и занимаются прилежнее, чем дети богатых. Брожение обеспеченного студенчества его не затронуло. Из университета он вышел с огромными познаниями. Свое историко-филологическое образование он собственными силами пополнил математическим.

По закону он не обязан был идти в армию, но пошел на войну добровольцем, в чине прапорщика взят был в плен и бежал в конце семнадцатого года на родину, узнав, что в России революция.

Две черты, две страсти отличали его.

Он мыслил незаурядно ясно и правильно. И он в редкой степени владел даром нравственной чистоты и справедливости, он чувствовал горячо и благородно.

Но для деятельности ученого, пролагающего новые пути, его уму недоставало дара нечаянности, силы, непредвиденными открытиями нарушающей бесплодную стройность пустого предвидения.

А для того чтобы делать добро, его принципиальности недоставало беспринципности сердца, которое не знает общих случаев, а только частные, и которое велико тем, что делает малое.

Стрельников с малых лет стремился к самому высокому и светлому. Он считал жизнь огромным ристалищем, на котором, честно соблюдая правила, люди состязаются в достижении совершенства.

Когда оказалось, что это не так, ему не пришло в голову, что он не прав, упрощая миропорядок. Надолго загнав обиду внутрь, он стал лелеять мысль стать когда-нибудь судьей между жизнью и коверкающими ее темными началами, выйти на ее защиту и отомстить за нее.

Разочарование ожесточило его. Революция его вооружила.

— Живаго, Живаго, — продолжал повторять Стрельников у себя в вагоне, куда они перешли. — Что-то купеческое. Или дворянское. Ну да: доктор из Москвы. В Варыкино. Странно. Из Москвы и вдруг в такой медвежий угол.

— Именно с этой целью. В поисках тишины. В глушь, в неизвестность.

— Скажите, какая поэзия. Варыкино? Здешние места мне знакомы. Бывшие кръюгеровские заводы. Часом не родственнички? Наследники?

— К чему этот насмешливый тон? При чем тут «наследники»? Хотя жена действительно...

— Ага, вот видите. По белым стосковались? Разочарую. Опоздали. Округ очищен.

— Вы продолжаете издеваться?

— И затем — доктор. Военный. А время военное. Это уже прямо по моей части. Дезертир. Зеленые тоже уединяются в лесах. Ищут тишины. Основание?

— Дважды ранен и освобожден вчистую по негодности.

— Сейчас вы представите записку Наркомпроса или Наркомздрава, рекомендующую вас как «вполне советского человека», как «сочувствующего» и удостоверяющую вашу «лояльность». Сейчас страшный суд на земле, милостивый государь, существа из Апокалипсиса с мечами и крылатые звери, а не вполне сочувствующие и лояльные доктора. Впрочем, я сказал вам, что вы свободны, и не изменю своему слову. Но только на этот раз.

<...>

Часть девятая. «Варыкино»

Он приближался к лесному перекрестку, где от прямого пути на Варыкино ответвлялась боковая дорога в рыбацью слободу Васильевское на реке Сакме. В

месте их раздвоения стоял третий в окрестностях столб с сельскохозяйственной рекламой. Близ этого перепутья застигал доктора обыкновенно закат. Сейчас тоже вечерело.

Прошло более двух месяцев с тех пор, как в одну из своих поездок в город он не вернулся к вечеру домой и остался у Ларисы Федоровны, а дома сказал, что задержался по делу в городе и заночевал на постоялом дворе у Самдевятова. Он давно был на «ты» с Антиповой и звал ее Ларою, а она его — Живаго. Юрий Андреевич обманывал Тоню и скрывал от нее вещи, все более серьезные и непозволительные. Это было неслыханно.

Он любил Тоню до обожания. Мир ее души, ее спокойствие были ему дороже всего на свете. Он стоял горой за ее честь, больше чем ее родной отец и чем она сама. В защиту ее уязвленной гордости он своими руками растерзал бы обидчика. И вот этим обидчиком был он сам.

Дома в родном кругу он чувствовал себя неуличенным преступником. Неведение домашних, их привычная приветливость убивали его. В разгаре общей беседы он вдруг вспоминал о своей вине, цепенел и переставал слышать что-либо кругом и понимать.

Если это случалось за столом, проглоченный кусок застревал в горле у него, он откладывал ложку в сторону, отодвигал тарелку. Слезы душили его. «Что с тобой? — недоумевала Тоня. — Ты, наверное, узнал в городе что-нибудь нехорошее? Кого-нибудь посадили? Или расстреляли? Скажи мне. Не бойся меня расстроить. Тебе будет легче».

Изменил ли он Тоне, кого-нибудь предпочтя ей? Нет, он никого не выбирал, не сравнивал. Идеи «свободной любви», слова вроде «прав и запросов чувства» были ему чужды. Говорить и думать о таких вещах казалось ему пошлостью. В жизни он не срывал «цветов удовольствия», не причислял себя к полубогам и сверхчеловекам, не требовал для себя особых льгот и преимуществ. Он изнемогал под тяжестью нечистой совести.

Что будет дальше? — иногда спрашивал он себя и, не находя ответа, надеялся на что-то несбыточное, на вмешательство каких-то непредвиденных, приносящих разрешение обстоятельств.

Но теперь было не так. Он решил разрубить узел силою. Он вез домой готовое решение. Он решил во всем признаться Тоне, вымолить у нее прощение и больше не встречаться с Ларою.

Правда, тут не все было гладко. Осталось, как ему теперь казалось, недостаточно ясным, что с Ларою он порывает навсегда, на веки вечные. Он объявил ей сегодня утром о желании во всем открыться Тоне и о невозможности их дальнейших встреч, но теперь у него было такое чувство, будто сказал он это ей слишком смягченно, недостаточно решительно.

Ларисе Федоровне не хотелось огорчать Юрия Андреевича тяжелыми сценами. Она понимала, как он мучится и без того. Она постаралась выслушать его новость как можно спокойнее. Их объяснение происходило в пустой, не обжитой Ларисой Федоровной комнате прежних хозяев, выходявшей на Купеческую. По Лариным щекам текли неощутимые, не признаваемые ею слезы, как вода шедшего в это время дождя по лицам каменных статуй напротив, на доме с фигурами. Она искренне, без напускного великодушия, тихо приговаривала:

«Делай как тебе лучше, не считайся со мною. Я все переборю». И не знала, что плачет, и не утирала слез.

При мысли о том, что Лариса Федоровна поняла его превратно, и что он оставил ее в заблуждении, с ложными надеждами, он готов был повернуть и скакать обратно в город, чтобы договорить оставшееся недосказанным, а главное, распротиться с ней гораздо горячее и нежнее, в большем соответствии с тем, чем должно быть настоящее расставание на всю жизнь, навеки. Он едва пересилил себя и продолжал путь.

По мере того как низилось солнце, лес наполнялся холодом и темнотой. В нем запахло лиственной сыростью распаренного веника, как при входе в предбанник. В воздухе, словно поплавки на воде, недвижно распластались висячие рои комаров, тонко нывшие в унисон, все на одной ноте. Юрий Андреевич без числа хлопал их на лбу и шее, и звучным шлепкам ладони по потному телу удивительно отвечали остальные звуки верховой езды: скрип седельных ремней, тяжеловесные удары копыт наотлет, вразмашку, по чмокающей грязи, и сухие лопающиеся залпы, испускаемые конскими кишками. Вдруг вдали, где застрял закат, зашелкал соловей.

<...>

Часть четырнадцатая. «Опять в Варыкине»

Они разговаривали уже давно, несколько битых часов, как разговаривают одни только русские люди в России, как в особенности разговаривали те утрашенные и тосковавшие и те бешеные и иступленные, какими были в ней тогда все люди. Вечерело. Становилось темно.

Помимо беспокойной разговорчивости, которую Стрельников разделял со всеми, он говорил без умолку еще и по какой-то другой, своей причине.

Он не мог наговориться и всеми силами цеплялся за беседу с доктором, чтобы избежать одиночества. Боялся ли он угрызений совести или печальных воспоминаний, преследовавших его, или его томило недовольство собой, в котором человек невыносим и ненавистен себе и готов умереть со стыда? Или у него было принято какое-то страшное, неотменимое решение, с которым ему не хотелось оставаться одному и исполнение которого он откладывал, насколько возможно, болтовнёю с доктором и его обществом?

Так или иначе Стрельников скрывал какую-то важную, тяготившую его тайну, предаваясь во всем остальном тем более расточительным душевным излипаниям.

Это была болезнь века, революционное помешательство эпохи. В помыслах все были другими, чем на словах и во внешних проявлениях. Совесть ни у кого не была чиста. Каждый с основанием мог чувствовать себя во всем виноватым, тайным преступником, неизобличенным обманщиком. Едва являлся повод, разгул самобичующего воображения разыгрывался до последних пределов. Люди фантазировали, наговаривали на себя не только под действием страха, но и вследствие разрушительного болезненного влечения, по доброй воле, в состоянии метафизического транса и той страсти самоосуждения, которой дай только волю, и ее не остановишь.

Сколько таких предсмертных показаний, письменных и устных, прочел и выслушал в свое время крупный военный, а иногда и военно-судный деятель Стрельников. Теперь сам он был одержим сходным припадком саморазоблачения, всего себя переоценивал, всему подводил итог, все видел в жаровом, изуродованном, бредовом извращении.

Стрельников рассказывал беспорядочно, перескакивая с признания на признание.

— Это было под Читой. Вас поражали диковинки, которыми я набил шкапы и ящики в этом доме? Это все из военных реквизиций, которые мы производили при занятии Красной Армией Восточной Сибири. Разумеется, я не один это на себе перетащил. Жизнь всегда баловала меня людьми верными, преданными. Эти свечи, спички, кофе, чай, письменные принадлежности и прочее частью из чешского военного имущества, частью японские и английские. Чудеса в решете, не правда ли? «Не правда ли» было любимое выражение моей жены, вы, наверное, заметили. Я не знал, сказать ли вам это сразу, а теперь признаюсь. Я пришел повидаться с нею и дочерью. Мне слишком поздно сообщили, будто они тут. И вот я опоздал. Когда из сплетен и донесений я узнал о вашей близости с ней и мне в первый раз назвали имя «доктор Живаго», я из тысячи промелькнувших передо мною за эти годы лиц непостижимейшим образом вспомнил как-то раз приведенного ко мне на допрос доктора с такой фамилией.

— И вы пожалели, что не расстреляли его?

Стрельников оставил это замечание без внимания. Может быть, он даже не расслышал, что собеседник прервал его монолог собственной вставкой. Он продолжал рассеянно и задумчиво:

— Конечно, я ее ревновал к вам, да и теперь ревную. Могло ли быть иначе? В этих местах я прячусь только последние месяцы, когда провалились другие мои явки, далеко на востоке. Меня должны были привлечь к военному суду по ложному оговору. Его исход легко было предугадать. Я не знал никакой вины за собой. У меня явилась надежда оправдаться и отстоять свое доброе имя в будущем, при лучших обстоятельствах. Я решил исчезнуть с поля зрения заблаговременно, до ареста и в промежутке скрываться, скитаться, отшельничать. Может, я спасся бы в конце концов. Меня подвел втершийся в мое доверие молодой проходимец.

Я уходил через Сибирь зимой пешком на запад, прятался, голодал. Зарывался в сугробы, ночевал в занесенных снегом поездах, которых целые нескончаемые цепи стояли тогда под снегом на Сибирской магистрали.

Скитания столкнули меня с мальчишкой-бродягой, будто бы недостреленным партизанами в строю остальных казненных, при общем расстреле. Будто бы он выполз из толпы убитых, отдышался, отлежался и потом стал кочевать по разным логовищам и берлогам, как я. По крайней мере так он рассказывал. Негодяй подросток, порочный, отсталый, из реалистов-второгодников, выгнанный из училища по неспособности.

Чем подробнее рассказывал Стрельников, тем ближе доктор узнавал мальчика.

— Имя Терентий, по фамилии Галузин?

— Да.

— Ну тогда все о партизанах и расстреле правда. Он ничего не выдумал.

— Единственная хорошая черта была у мальчика — обожал мать до безумия.

Отец его пропал в заложниках. Он узнал, что мать в тюрьме и разделит участь отца, и решил пойти на все, чтобы освободить ее. В уездной Чрезвычайной комиссии, куда он пришел с повинною и предложением услуг, согласились простить ему все грехи ценой какой-нибудь крупной выдачи. Он указал место, где я отсиживался. Мне удалось предупредить его предательство и вовремя исчезнуть.

Сказочными усилиями, с тысячею приключений я прошел Сибирь и переехал сюда, в места, где меня знают как облупленного и меньше всего ожидали встретить, не предполагая с моей стороны такой дерзости. И действительно, меня долго еще разыскивали под Читой, пока я забирался то в этот домик, то в другие убежища здесь в окрестностях. Но теперь конец. Меня и тут выследили. Послушайте. Смеркается. Приближается час, которого я не люблю, потому что давно уже потерял сон. Вы знаете, какая это мука. Если вы спалили еще не все мои свечи — прекрасные, стеариновые, не правда ли? — давайте поговорим еще чуть-чуть. Давайте проговорим сколько вы будете в состоянии, со всею роскошью, ночь напролет, при горящих свечах.

— Свечи целы. Только одна пачка начата. Я жег найденный здесь керосин.

— Хлеб у вас есть?

— Нет.

— Чем же вы жили? Впрочем, что я глупости спрашиваю. Картошкой. Знаю.

— Да. Ее тут сколько угодно. Здешние хозяева были опытные и запасливые. Знали, как ее засыпать. Вся в сохранности в подвале. Не погнила и не померзла. Вдруг Стрельников заговорил о революции.

17

Все это не для вас. Вам этого не понять. Вы росли по-другому. Был мир городских окраин, мир железнодорожных путей и рабочих казарм. Грязь, теснота, нищета, поругание человека в труженике, поругание женщины. Была смеющаяся, безнаказанная наглость разврата, маменькиных сынков, студентов белоподкладочников и купчиков. Шуткою или вспышкой пренебрежительного раздражения отделялись от слез и жалоб обобранных, обиженных, обольщенных. Какое олимпийство тунеядцев, замечательных только тем, что они ничем себя не утрудили, ничего не искали, ничего миру не дали и не оставили!

А мы жизнь приняли, как военный поход, мы камни ворочали ради тех, кого любили. И хотя мы не принесли им ничего, кроме горя, мы волоском их не обидели, потому что оказались еще большими мучениками, чем они.

Однако перед тем как продолжать, считаю долгом сказать вам вот что. Дело в следующем. Вам надо уходить отсюда, не откладывая, если только жизнь дорога вам. Облава на меня стягивается, и чем бы она ни кончилась, вас ко мне припутают, вы уже в мои дела замешаны фактом нашего разговора. Кроме того, тут много волков, я на днях от них отстреливался.

— А, так это вы стреляли?

— Да. Вы, разумеется, слышали? Я шел в другое убежище, но не доходя, по разным признакам понял, что оно раскрыто, и тамошние люди, наверное, погибли. Я у вас недолго пробуду, только переночую, а утром уйду. Итак, с вашего позволения, я продолжаю.

Но разве Тверские-Ямские и мчащиеся с девочками на лихачах франты в заломленных фуражках и брюках со штрипками были только в одной Москве, только в России? Улица, вечерняя улица, вечерняя улица века, рысаки, саврасы, были повсюду. Что объединило эпоху, что сложило девятнадцатое столетие в один исторический раздел? Нарождение социалистической мысли.

Происходили революции, самоотверженные молодые люди всходили на баррикады. Публицисты ломали голову, как обуздать животную беззастенчивость денег и поднять и отстоять человеческое достоинство бедняка. Явился марксизм. Он усмотрел, в чем корень зла, где средство исцеления. Он стал могучей силой века. Все это были Тверские-Ямские века, и грязь, и сияние святости, и разврат, и рабочие кварталы, прокламации и баррикады.

Ах, как хороша она была девочкой, гимназисткой! Вы понятия не имеете. Она часто бывала у своей школьной подруги в доме, заселенном служащими Брестской железной дороги. Так называлась эта дорога вначале, до нескольких последующих переименований.

Мой отец, нынешний член Юрятинского трибунала, служил тогда дорожным мастером на вокзальном участке. Я заходил в тот дом и там ее встречал. Она была девочкой, ребенком, а настороженную мысль, тревогу века уже можно было прочесть на ее лице, в ее глазах. Все темы времени, все его слезы и обиды, все его побуждения, вся его накопленная месть и гордость были написаны на ее лице и в ее осанке, в смеси ее девической стыдливости и ее смелой стройности. Обвинение веку можно было вынести от ее имени, ее устами. Согласитесь, ведь это не безделица. Это некоторое предназначение, отмеченность. Этим надо было обладать от природы, надо было иметь на это право.

— Вы замечательно о ней говорите. Я ее видел в то же время, именно такую, как вы ее описали. Воспитанница гимназии соединилась в ней с героинею недетской тайны. Ее тень распластывалась по стене движением настороженной самозащиты.

Такою я ее видел. Такою помню. Вы это поразительно выразили.

— Видели и помните? А что вы для этого сделали?

— Это совсем другой вопрос.

— Так вот, видите ли, весь этот девятнадцатый век со всеми его революциями в Париже, несколько поколений русской эмиграции, начиная с Герцена, все задуманные царевубийства, неисполненные и приведенные в исполнение, все рабочее движение мира, весь марксизм в парламентах и университетах Европы, всю новую систему идей, новизну и быстроту умозаключений, насмешливость, всю, во имя жалости выработанную вспомогательную безжалостность, все это впитал в себя и обобщенно выразил собою Ленин, чтобы олицетворенным возмездием за все содеянное обрушиться на старое.

Рядом с ним поднялся неизгладимо огромный образ России, на глазах у всего мира вдруг запыхавшей свечой искупления за все бездолие и невзгоды человечества. Но к чему я говорю вам это все? Для вас ведь это кимвал бряцающий, пустые звуки.

Ради этой девочки я пошел в университет, ради нее сделался учителем и поехал служить в этот, тогда еще неведомый мне, Юрятин. Я поглотил кучу книг и приобрел уйму знаний, чтобы быть полезным ей и оказаться под рукой, если бы

ей потребовалась моя помощь. Я пошел на войну, чтобы после трех лет брака снова завоевать ее, а потом, после войны и возвращения из плена, воспользовался тем, что меня считали убитым, и под чужим, вымышленным именем весь ушел в революцию, чтобы полностью отплатить за все, что она выстрадала, чтобы отмыть начисто эти печальные воспоминания, чтобы возврата к прошлому больше не было, чтобы Тверских-Ямских больше не существовало. И они, она и дочь, были рядом, были тут! Скольких сил стоило мне подавлять желание броситься к ним, их увидеть! Но я хотел сначала довести дело своей жизни до конца. О, что бы я сейчас отдал, чтобы еще хоть раз взглянуть на них. Когда она входила в комнату, точно окно распахивалось, комната наполнялась светом и воздухом.

— Я знаю, как она была дорога вам. Но простите, имеете ли вы представление, как она вас любила?

— Виноват. Что вы сказали?

— Я говорю, представляете ли вы себе, до какой степени вы были ей дороги, дороже всех на свете?

— Откуда вы это взяли?

— Она сама мне это говорила.

— Она? Вам?

— Да.

— Простите. Я понимаю, это просьба неисполнимая, но, если это допустимо в рамках скромности, если это в ваших силах, восстановите, пожалуйста, по возможности точно, что именно она вам говорила.

— Очень охотно. Она назвала вас образцом человека, равного которому она больше не видела, единственным по высоте неподдельности, и сказала, что если бы на конце земли еще раз замаячило видение дома, который она когда-то с вами делила, она ползком, на коленях, протащила бы к его порогу откуда угодно, хоть с края света.

— Виноват. Если это не посягательство на что-то для вас неприкосновенное, припомните, когда, при каких обстоятельствах она это сказала?

— Она убирала эту комнату. А потом вышла на воздух вытряхнуть ковер.

— Простите, какой? Тут два.

— Тот, который больше.

— Ей одной такой не под силу. Вы ей помогали?

— Да.

— Вы держались за противоположные концы ковра, она откидывалась, высоко взмахивая руками, как на качелях, и отворачивалась от летевшей пыли, жмурилась и хохотала? Не правда ли? Как я знаю ее привычки! А потом вы стали сходитья вместе, складывая тяжелый ковер сначала вдвое, потом вчетверо, и она шутила и выкидывала при этом разные штучки? Не правда ли? Не правда ли?

Они поднялись со своих мест, отошли к разным окнам, стали смотреть в разные стороны. После некоторого молчания Стрельников подошел к Юрию Андреевичу. Ловя его руки и прижимая их к груди, он продолжал с прежней торопливостью:

— Простите, я понимаю, что затрагиваю нечто дорогое, сокровенное. Но если можно, я еще расспрошу вас. Только не уходите. Не оставляйте меня одного.

Я скоро сам уйду. Подумайте, шесть лет разлуки, шесть лет невысказанной выдержки. Но мне казалось, — еще не вся свобода завоевана. Вот я ее сначала добуду, и тогда я весь принадлежу им, мои руки развязаны. И вот все мои построения пошли прахом. Завтра меня схватят. Вы родной и близкий ей человек. Может быть, вы когда-нибудь ее увидите. Но нет, о чем я прошу? Это безумие. Меня схватят и не дадут оправдываться. Сразу набросаются, окриками и бранью зажимая рот. Мне ли не знать, как это делается?

<...>

Из черновых набросков и планов Юрия Живаго

Относительно того, что революция и марксизм не тождества. Большевики взяли верх над остальными благодаря бесчестности своих принципов, приспособляющихся к меняющимся обстоятельствам.

Они начали как левейшие из социалистов, чтобы быть допущенными к законному соревнованию с другими подвидами Социал. демократии и ценой демагогии вышли вперед к крайнему солдатскому и матросскому крылу тогдашней столичной массы.

Затем они стали пугачевцами, чтобы взбунтовать страну ничего с марксизмом общего не имеющим, чем «Грабь награбленное» и проч<ими> лозунгами его предсказанными в «Бесах». Преуспев в насаждении анархии во всей России, они решили приостановить все процессы на этой точке, и чтобы застраховать себя вовремя от каких-либо перемен, вспомнили, что они марксисты и стали силой внедрять марксизм в мозгах как лучшее средство для усыпления их и приведения в состояние застоя.

<...>

Источник: Пастернак Б. Собрание сочинений. В 5-ти т. Т.3. Доктор Живаго: Роман. М.: Худож. лит., 1990.

**ПУБЛИЦИСТИКА,
ДОКУМЕНТЫ,
МЕМОАРЫ,
ЭССЕ**

Чаадаев
Петр Яковлевич
(1794–1856)



Философ, публицист.

Участник Отечественной войны 1812 г. Отказался от карьеры личного адъютанта императора Александра I, заявив, что не желает быть «шутком» при монархе. В 1821 г. был принят в Северное Общество декабристов. В 1823-26 гг. жил за границей. Философско-исторические взгляды Чаадаева сложились под влиянием идей католического провиденциализма и социального христианства (Ф. Ламенне и др).

В главном сочинении — «Философические письма» (написаны в 1829-31 гг.) высказывал мысли об отлученности России от всемирной истории, о духовном застое и национальном самодовольстве, препятствующих осознанию и исполнению ею предначертанной свыше исторической миссии. За публикацию первого письма (1836) был закрыт журнал «Телескоп», а Николай I, по прочтении, наложил резолюцию: «... нахожу, что содержание есть смесь дерзостной бессмысленности, достойной умалишенного...», после чего Чаадаев «высочайшим повелением» был объявлен сумасшедшим. В «Апологии сумасшедшего» (1837), написанной в ответ на обвинения, выразил веру в историческую будущность России.

Философские произведения Чаадаева оказалось возможным публиковать только после Манифеста 17 октября 1905 г. Они вышли в очень сокращенном виде в издательстве «Путь» в 1913-14 гг.

Попытки опубликовать сочинения Чаадаева в 20-х-30-х годах не увенчались успехом: для советской власти они были столь же неприемлемыми, сколь и для царской.

Первые публикации некоторых сочинений и писем Чаадаева появились в середине 80-х годов. И только в 1991 г. издательство «Наука» выпустило двухтомное «Полное собрание сочинений и писем». До этого отдельные фрагменты ходили в Самиздате.

ФИЛОСОФИЧЕСКИЕ ПИСЬМА

<...>

Народы — существа нравственные, точно так, как и отдельные личности. Их воспитывают века, как людей воспитывают годы. Про нас можно сказать, что мы составляем как бы исключение среди народов. Мы принадлежим к тем из них, которые как бы не входят составной частью в род человеческий, а существуют лишь для того, чтобы преподать великий урок миру. Конечно, не пройдет без следа и то наставление, которое нам суждено дать, но кто знает день, когда мы вновь обретем себя среди человечества, и сколько бед испытаем мы до свершения наших судеб?

Народы Европы имеют общее лицо, семейное сходство. Несмотря на их разделение на ветви латинскую и тевтонскую, на южан и северян, существует общая связь, соединяющая их всех в одно целое, явная для всякого, кто углубится в их общую историю. Вы знаете, что еще сравнительно недавно вся Европа носила название Христианского мира и слово это значилось в публичном праве. Помимо общего всем характера, каждый из народов этих имеет свой особый характер, но все это только история и традиция. Они составляют идейное наследие этих народов. А каждый отдельный человек обладает своей долей общего наследия, без труда, без напряжения подбирает в жизни рассеянные в обществе знания и пользуется ими. Проведите параллель с тем, что делается у нас, и судите сами, какие элементарные идеи мы можем почерпнуть в повседневном обиходе, чтобы ими так или иначе воспользоваться для руководства в жизни? И заметьте, что речь идет здесь не об учености, не о чтении, не о чем-то литературном или научном, а просто о соприкосновении сознаний, о мыслях, которые охватывают ребенка в колыбели, окружают его среди игр, которые нашептывает, лаская, его мать, о тех, которые в форме различных чувств проникают до мозга его костей вместе с воздухом, которым он дышит, и которые образуют его нравственную природу ранее выхода в свет и появления в обществе. Хотите знать, что это за мысли? Это мысли о долге, справедливости, праве, порядке. Они происходят от тех самых событий, которые создали там общество, они образуют составные элементы социального мира тех стран. Вот она, атмосфера Запада, это нечто большее, чем история или психология, это физиология европейского человека. А что вы видите у нас?

Не знаю, можно ли вывести из сказанного сейчас что-либо вполне бесспорное и построить на этом непреложное положение; но очевидно, что на душу каждой отдельной личности из народа должно сильно влиять столь странное положение, когда народ этот не в силах сосредоточить своей мысли на таком ряде идей, которые постепенно развертывались в обществе и понемногу вытекали одна из другой, когда все его участие и общем движении человеческого разума сводится к слепому, поверхностному, очень часто бестолковому подражанию другим народам. Вот почему, как Вы можете заметить, всем нам не хватает какой-то устойчивости, какой-то последовательности в уме, какой-то логики. Силлогизм Запада нам незнаком. В лучших головах наших есть нечто, еще худшее, чем легковесность. Лучшие идеи, лишённые связи и последовательности, как бесплодные заблуждения парализуются в нашем мозгу. В природе человека теряться, когда он не находит способа связаться с тем, что было до него и что будет после него; он тогда утрачивает всякую твердость, всякую уверенность; не руководимый ощущением непрерывной длительности, он чувствует себя заблудившимся в мире. Такие растерянные существа встречаются во всех странах; у нас это общее свойство. Тут вовсе не то легкомыслие, в котором когда-то упрекали французов и которое, впрочем, было не чем иным, как легким способом постигать вещи, что не исключало ни глубины, ни широты ума, вносило столько прелести и обаяния в обращение; тут беспечность жизни без опыта и предвидения, не имеющая отношения ни к чему, кроме призрачного существования личности, оторванной от своей среды, не считающейся ни с честью, ни с успехами какой-либо совокупности идей и интересов, ни даже с родовым наследием дан-

ной семьи и со всеми предписаниями и перспективами, которые определяют и общественную и частную жизнь в строе, основанном на памяти о прошлом и на тревоге за будущее. В наших головах нет решительно ничего общего, все там обособлено и все там шатко и неполно. Я нахожу даже, что в нашем взгляде есть что-то до странности неопределенное, холодное, неуверенное, напоминающее отличие народов, стоящих на самых низших ступенях социальной лестницы. В чужих краях, особенно на Юге, где люди так одушевлены и выразительны, я столько раз сравнивал лица своих земляков с лицами местных жителей и бывал поражен этой немотой наших лиц.

Иностранцы ставили нам в заслугу своего рода беспечную отвагу, особенно замечательную в низших классах народа; но имея возможность наблюдать лишь отдельные черты народного характера, они не могли судить о нем в целом. Они не заметили, что то самое начало, которое делает нас подчас столь отважными, постоянно лишает нас глубины и настойчивости; они не заметили, что свойство, делающее нас столь безразличными к превратностям жизни, вызывает в нас также равнодушие к добру и злу, ко всякой истине, ко всякой лжи, и что именно это и лишает нас тех сильных побуждений, которые направляют нас на путях к совершенствованию; они не заметили, что именно вследствие такой ленивой отваги, даже и высшие классы, как ни прискорбно, не свободны от пороков, которые у других свойственны только классам самым низшим; они, наконец, не заметили, что если мы обладаем некоторыми достоинствами народов молодых и отставших от цивилизации, то мы не имеем ни одного, отличающего народы зрелые и высококультурные. Я, конечно, не утверждаю, что среди нас одни только пороки, а среди народов Европы одни добродетели, избави Бог. Но я говорю, что для суждения о народах надо исследовать общий дух, составляющий их сущность, ибо только этот общий дух способен вознести их к более совершенному нравственному состоянию и направить к бесконечному развитию, а не та или другая черта их характера.

Массы подчиняются известным силам, стоящим у вершин общества. Непосредственно они не размышляют. Среди них имеется известное число мыслителей, которые за них думают, которые дают толчок коллективному сознанию нации и приводят ее в движение. Незначительное меньшинство мыслит, остальная часть чувствует, в итоге же получается общее движение. Это справедливо для всех народов земли; исключения составляют только некоторые одичавшие расы, которые сохранили из человеческой природы один только внешний облик. Первобытные народы Европы, кельты, скандинавы, германцы, имели своих друидов, своих скальдов, своих бардов, которые на свой лад были сильными мыслителями. Взгляните на народы северной Америки, которых искореняет с таким усердием материальная цивилизация Соединенных Штатов: среди них имеются люди, удивительные по глубине. А теперь, я вас спрошу, где наши мудрецы, где наши мыслители? Кто из нас когда-либо думал, кто за нас думает теперь?

<...>

АПОЛОГИЯ СУМАСШЕДШЕГО

<...>

Милосердие, говорит ап. Павел, все терпит, всему верит, все переносит: итак, будем все терпеть, все переносить, всему верить, — будем милосердны. Но прежде всего, катастрофа, только что столь необычайным образом искажившая наше духовное существование и кинувшая на ветер труд целой жизни, является в действительности лишь результатом того зловещего крика, который раздался среди известной части общества при появлении нашей статьи, едкой, если угодно, но конечно вовсе не заслуживавшей тех криков, какими ее встретили.

В сущности, правительство только исполнило свой долг; можно даже сказать, что в мерах строгости, применяемых к нам сейчас, нет ничего чудовищного, так как они, без сомнения, далеко не превзошли ожиданий значительного круга лиц. В самом деле, что еще может делать правительство, одушевленное самыми лучшими намерениями, как не следовать тому, что оно искренно считает серьезным желаньем страны? Совсем другое дело — вопли общества. Есть разные способы любить свое отечество; например, самоед, любящий свои родные снега, которые сделали его близоруким, закоптелую юрту, где он, скорчившись, проводит половину своей жизни, и прогорклый олений жир, заражающий вокруг него воздух зловонием, любит свою страну конечно иначе, нежели английский гражданин, гордый учреждениями и высокой цивилизацией своего славного острова; и без сомнения, было бы прискорбно для нас, если бы нам все еще приходилось любить места, где мы родились, на манер самоедов. Прекрасная вещь — любовь к отечеству, но есть еще нечто более прекрасное — это любовь к истине. Любовь к отечеству рождает героев, любовь к истине создает мудрецов, благодетелей человечества. Любовь к родине разделяет народы, питает национальную ненависть и подчас одевает землю в траур; любовь к истине распространяет свет знания, создает духовные наслаждения, приближает людей к Боже-ству. Не через родину, а через истину ведет путь на небо. Правда, мы, русские, всегда мало интересовались тем, что — истина и что — ложь, поэтому нельзя и сердиться на общество, если несколько язвительная филиппика против его немощей задела его за живое. И потому, смею уверить, во мне нет и тени злобы против этой милой публики, которая так долго и так коварно ласкала меня: я хладнокровно, без всякого раздражения, стараюсь отдать себе отчет в моем странном положении. Не естественно ли, скажите, чтобы я постарался уяснить по мере сил, в каком отношении к себе подобным, своим согражданам и своему Богу стоит человек, пораженный безумием по приговору высшей юрисдикции страны?

Я никогда не добивался народных рукоплесканий, не искал милостей толпы; я всегда думал, что род человеческий должен следовать только за своими естественными вожжами, помазанниками Бога, что он может подвигаться вперед по пути своего истинного прогресса только под руководством тех, кто тем или другим образом получил от самого неба назначение и силу вести его; что общее мнение отнюдь не тождественно с безусловным разумом, как думал один великий писатель нашего времени; что инстинкты масс бесконечно более страстны, более узки и эгоистичны, чем инстинкты отдельного человека, что так называе-

мый здоровый смысл народа вовсе не есть здоровый смысл; что не в людской толпе рождается истина; что ее нельзя выразить числом; наконец, что во всем своем могуществе и блеске человеческое сознание всегда обнаруживалось только в одиноком уме, который является центром и солнцем его сферы. Как же случилось, что в один прекрасный день я очутился перед разгневанной публикой, — публикой, чьих похвал я никогда не добивался, чьи ласки никогда не тешили меня, чьи прихоти меня не задевали? Как случилось, что мысль, обращенная не к моему веку, которую я, не желая иметь дело с людьми нашего времени, в глубине моего сознания завещал грядущим поколениям, лучше осведомленным, — при той гласности в тесном кругу, которую эта мысль приобрела уже издавна, как случилось, что она разбила свои оковы, бежала из своего монастыря и бросилась на улицу, вприпрыжку среди остолбенелой толпы? Этого я не в состоянии объяснить. Но вот что я могу утверждать с полной уверенностью.

Уже триста лет Россия стремится слиться с Западной Европой, заимствует отсюда все наиболее серьезные свои идеи, наиболее плодотворные свои познания и свои живейшие наслаждения. Но вот уже век и более, как она не ограничивается и этим. Величайший из наших царей, тот, который, по общепринятому мнению, начал для нас новую эру, которому, как все говорят, мы обязаны нашим величием, нашей славой и всеми благами, какими мы теперь обладаем, полтора-ста лет назад пред лицом всего мира отрекся от старой России. Своим могучим дуновением он смёл все наши учреждения; он вырыл пропасть между нашим прошлым и нашим настоящим и грудой бросил туда все наши предания. Он сам пошел в страны Запада и стал там самым малым, а к нам вернулся самым великим; он преклонился пред Западом и встал нашим господином и законодателем. Он ввел в наш язык западные речения; свою новую столицу он назвал западным именем; он отбросил свой наследственный титул и принял титул западный; наконец, он почти отказался от своего собственного имени и не раз подписывал свои державные решения западным именем. С этого времени мы только и делали, что, не сводя глаз с Запада, так сказать, вбирали в себя веяния, приходившие к нам отсюда, и питались ими. Должно сказать, что наши государи, которые почти всегда вели нас за руку, которые почти всегда тащили страну на буксире без всякого участия самой страны, сами заставили нас принять нравы, язык и одежду Запада. Из западных книг мы научились произносить по складам имена вещей. Нашей собственной истории научила нас одна из западных стран; мы целиком перевели западную литературу, выучили ее наизусть, нарядились в ее лоскутья и наконец стали счастливы, что походим на Запад, и гордились, когда он снисходительно соглашался причислять нас к своим.

Надо сознаться — оно было прекрасно, это создание Петра Великого, эта могучая мысль, овладевшая нами и толкнувшая нас на тот путь, который нам суждено было пройти с таким блеском. Глубоко было его слово, обращенное к нам: «Видите ли там эту цивилизацию, плод стольких трудов, — эти науки и искусства, стоившие таких усилий стольким поколениям! все это ваше при том условии, чтобы вы отказались от ваших предрассудков, не охраняли ревниво вашего варварского прошлого и не кичились веками вашего невежества, но целью своего честолюбия поставили единственно усвоение трудов, совершенных всеми народами, богатств, добытых человеческим разумом под всеми широта-

ми земного шара». И не для своей только нации работал великий человек. Эти люди, отмеченные Провидением, всегда посылаются для всего человечества. Сначала их присваивает один народ, затем их поглощает все человечество, подобно тому, как большая река, оплодотворив обширные пространства, несет затем свои воды в дань океану. Чем иным, как не новым усилием человеческого гения выйти из тесной ограды родной страны, чтобы занять место на широкой арене человечества, было зрелище, которое он явил миру, когда, оставив царский сан и свою страну, он скрылся и последних рядах цивилизованных народов? Таков был урок, который мы должны были усвоить; мы действительно воспользовались им и до сего дня шли по пути, который предначертал нам великий император. Наше громадное развитие есть только осуществление этой великолепной программы. Никогда ни один народ не был менее пристрастен к самому себе, нежели русский народ, каким воспитал его Петр Великий, и ни один народ не достиг также более славных успехов на поприще прогресса. Высокий ум этого необыкновенного человека безошибочно угадал, какова должна быть наша современная точка на пути цивилизации и всемирного умственного движения. Он видел, что, за полным почти отсутствием у нас исторических данных, мы не можем утвердить наше будущее на этой бессильной основе; он хорошо понял, что, стоя лицом к лицу со старой европейской цивилизацией, которая является последним выражением всех прежних цивилизаций, нам незачем задыхаться в нашей истории и незачем тащиться, подобно западным народам, чрез хаос национальных предрассудков, по узким тропинкам местных идей, по изрытым колеям туземной традиции, что мы должны свободным порывом наших внутренних сил, энергическим усилием национального сознания овладеть предназначенной нам судьбой. И вот он освободил нас от всех этих пережитков прошлого, которые загромождают быт исторических обществ и затрудняют их движение; он открыл наш ум всем великим и прекрасным идеям, какие существуют среди людей; он передал нам Запад сполна, каким его сделали века, и дал нам всю его историю за историю, все его будущее за будущее.

Неужели вы думаете, что, если бы он нашел у своего народа богатую и плодотворную историю, живые предания и глубоко укоренившиеся учреждения, он не поколебался бы кинуть его в новую форму? Неужели вы думаете, что будь пред ним резко очерченная, ярко выраженная народность, инстинкт организатора не заставил бы его, напротив, обратиться к этой самой народности за средствами, необходимыми для возрождения его страны?

И, с другой стороны, позволила ли бы страна, чтобы у нее отняли ее прошлое и, так сказать, навязали ей прошлое Европы? Но ничего этого не было. Петр Великий нашел у себя дома только лист белой бумаги и своей сильной рукой написал на нем слова Европа и Запад; и с тех пор мы принадлежим к Европе и Западу. Не надо заблуждаться: как бы велик ни был гений этого человека и необычайная энергия его воли, то, что он сделал, было возможно лишь среди нации, чье прошлое не указывало властно того пути, по которому она должна была двигаться, чьи традиции были бессильны создать ее будущее, чьи воспоминания смелый законодатель мог стереть безнаказанно. Если мы оказались так послушны голосу государя, звавшего нас к новой жизни, то это, очевидно, потому, что в нашем прошлом не было ничего, что могло бы оправ-

дать сопротивление. Самой глубокой чертой нашего исторического облика является отсутствие свободного почина в нашем социальном развитии. Приглядитесь хорошенько, и вы увидите, что каждый важный факт нашей истории пришел извне, каждая новая идея почти всегда заимствована. Но в этом наблюдении нет ничего обидного для национального чувства; если оно верно, его следует принять — вот и все. Есть великие народы, — как и великие исторические личности, — которые нельзя объяснить нормальными законами нашего разума, но которые таинственно определяет верховная логика Провидения: таков именно наш народ; но, повторяю, все это нисколько не касается национальной чести. История всякого народа представляет собою не только вереницу следующих друг за другом фактов, но и цепь связанных друг с другом идей. Каждый факт должен выражаться идеей; чрез события должна нитью проходить мысль или принцип, стремясь осуществиться: тогда факт не потерян, он провел борозду в умах, запечатлелся в сердцах, и никакая сила в мире не может изгнать его оттуда. Эту историю создает не историк, а сила вещей. Историк приходит, находит ее готовою и рассказывает ее; но придет он или нет, она все равно существует, и каждый член исторической семьи, как бы ни был он незаметен и ничтожен, носит ее в глубине своего существа. Именно этой истории мы и не имеем. Мы должны привыкнуть обходиться без нее, а не побивать камнями тех, кто первый подметил это.

<...>

Источник: Библиотека «Вехи» (<http://www.vehi.net/index.html>)

ВЕХИ

Сборник статей о русской интеллигенции

Москва. Издательство В.М. Саблина

1909 г.

В сборник вошли статьи виднейших русских философов: Н.А. Бердяева, С.Н.Булгакова, М.О. Гершензона (который был инициатором создания сборника), А.С. Изгоева, Б.А. Кистяковского, П.Б. Струве, С.Л. Франка.

Сборник был попыткой переосмысления результатов первой русской революции и роли в ней интеллигенции. Выступая с критикой идеологии и практических установок революционной, социалистически настроенной интеллигенции — атеистического материализма, политического радикализма, идеализации народа (в марксизме — пролетариата) и т.п. авторы «Вех» провозглашали примат духовной жизни над общественной: внутренняя жизнь личности есть единственная творческая сила человеческого бытия.

Сборник имел оглушительный и скандальный успех: после выхода в марте 1909 г., когда за два дня было продано 2853 экземпляра, в течение года осуществлено 4 переиздания. За год в печати появилось около двухсот (!) откликов на сборник, большей частью критических, а то и просто враждебных (от Ленина: «энциклопедия либерального ренегатства», до Толстого, писавшего, что содержание сборника носит в основном отрицательный, разоблачительный характер, в нем нет позитивной, творческой программы, которая бы ответила на исконно русский народный вопрос: «что же делать?»).

Провидческий, если не пророческий характер идей авторов «Вех» был осознан едва ли не через столетие.

Начиная с 1950-х годов, сборник широко распространялся в Самиздате.

М.О. Гершензон

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ СБОРНИКА «ВЕХИ»

Не для того, чтобы с высоты познанной истины доктринерски судить русскую интеллигенцию, и не с высокомерным презрением к ее прошлому писаны статьи, из которых составился настоящий сборник, а с болью за это прошлое и в жгучей тревоге за будущее родной страны. Революция 1905-6 гг. и последовавшие за нею события явились как бы всенародным испытанием тех ценностей, которые более полувека как высшую святыню блюла наша общественная мысль. Отдельные умы уже задолго до революции ясно видели ошибочность этих духовных начал, исходя из априорных соображений; с другой стороны, внешняя неудача общественного движения сама по себе, конечно, еще не свидетельствует о внутренней неверности идей, которыми оно было вызвано. Та-

ким образом, по существу поражение интеллигенции не обнаружило ничего нового. Но оно имело громадное значение в другом смысле: оно, во-первых, глубоко потрясло всю массу интеллигенции и вызвало в ней потребность сознательно проверить самые основы ее традиционного мировоззрения, которые до сих пор принимались слепо на веру; во-вторых, подробности события, т. е. конкретные формы, в каких совершились революция и ее подавление, дали возможность тем, кто в общем сознавал ошибочность этого мировоззрения, яснее уразуметь грех прошлого и с большей доказательностью выразить свою мысль. Так возникла предлагаемая книга: ее участники не могли молчать о том, что стало для них осознательной истиной, и вместе с тем ими руководила уверенность, что своей критикой духовных основ интеллигенции они идут навстречу общесоциальной потребности в такой проверке.

Люди, соединившиеся здесь для общего дела, частью далеко расходятся между собою как в основных вопросах «веры», так и в своих практических пожеланиях: но в этом общем деле между ними нет разногласий. Их общей платформой является признание теоретического и практического первенства духовной жизни над внешними формами общежития, в том смысле, что внутренняя жизнь личности есть единственная творческая сила человеческого бытия и что она, а не самодовлеющие начала политического порядка, является единственно прочным базисом для всякого общественного строительства. С этой точки зрения, идеология русской интеллигенции, всецело покоящаяся на противоположном принципе — на признании безусловного примата общественных форм, — представляется участникам книги внутренне ошибочной, т. е. противоречащей естеству человеческого духа, и практически бесплодной, т. е. неспособной привести к той цели, которую ставила себе сама интеллигенция, — к освобождению народа. В пределах этой общей мысли между участниками нет разногласий. Исходя из нее, они с разных сторон исследуют мировоззрение интеллигенции, и если в некоторых случаях, как, например, в вопросе о ее «религиозной» природе, между ними обнаруживается кажущееся противоречие, то оно происходит не от разномыслия в указанных основных положениях, а оттого, что вопрос исследуется разными участниками в разных плоскостях.

Мы не судим прошлого, потому что нам ясна его историческая неизбежность, но мы указываем, что путь, которым до сих пор шло общество, привел его в безвыходный тупик. Наши предостережения не новы: то же самое неустанно твердили от Чаадаева до Соловьева и Толстого все наши глубочайшие мыслители. Их не слушали, интеллигенция шла мимо них. Может быть, теперь разбуженная великим потрясением, она услышит более слабые голоса.

Н.А. Бердяев

ФИЛОСОФСКАЯ ИСТИНА И ИНТЕЛЛИГЕНТСКАЯ ПРАВДА

<...>

С русской интеллигенцией в силу исторического ее положения случилось вот какого рода несчастье: любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру, к народному благу парализовала любовь к истине, почти что уничтожила интерес к истине. А философия есть школа любви к истине, прежде всего к истине. Интеллигенция не могла бескорыстно отнестись к философии, потому что корыстно относилась к самой истине, требовала от истины, чтобы она стала орудием общественного переворота, народного благополучия, людского счастья. Она шла на соблазн великого инквизитора, который требовал отказа от истины во имя счастья людей. Основное моральное суждение интеллигенции укладывается в формулу: да сгинет истина, если от гибели ее народу будет лучше житься, если люди будут счастливее; долой истину, если она стоит на пути заветного клича «долой самодержавие». Оказалось, что ложно направленное человеколюбие убивает боголюбие, так как любовь к истине, как и к красоте, как и ко всякой абсолютной ценности, есть выражение любви к Божеству. Человеколюбие это было ложным, так как не было основано на настоящем уважении к человеку, к равному и родному по Единому Отцу; оно было, с одной стороны, состраданием и жалостью к человеку из «народа», а с другой стороны, превращалось в человекопоклонство и народопоклонство. Подлинная же любовь к людям есть любовь не против истины и Бога, а в истине и в Боге, не жалость, отрицающая достоинство человека, а признание родного Божьего образа в каждом человеке. Во имя ложного человеколюбия и народолюбия у нас выработался в отношении к философским исканиям и течениям метод заподозривания и сыска. По существу в область философии никто и не входил; народникам запрещала входить ложная любовь к крестьянству, марксистам — ложная любовь к пролетариату. Но подобное отношение к крестьянству и пролетариату было недостатком уважения к абсолютному значению человека, так как это абсолютное значение основано на божеском, а не на человеческом, на истине, а не на интересе. Авенариус оказался лучше Канта или Гегеля не потому, что в философии Авенариуса увидели истину, а потому, что вообразили, будто Авенариус более благоприятствует социализму. Это и значит, что интерес поставлен выше истины, человеческое выше божеского. Опровергать философские теории на том основании, что они не благоприятствуют народничеству или социал-демократии, значит презирать истину. Философа, заподозренного в «реакционности» (а что только у нас не называется «реакционным»!), никто не станет слушать, так как сама по себе философия и истина мало кого интересуют. Кружковой отселятине г. Богданова всегда отдадут предпочтение перед замечательным и оригинальным русским философом Лопатиным. Философия Лопатина требует серьезной умственной работы, и из нее не вытекает никаких программных лозунгов, а к философии Богданова можно отнестись исключительно эмоционально, и она вся укладывается в пятикопеечную брошюру. В

русской интеллигенции рационализм сознания сочетался с исключительной эмоциональностью и с слабостью самоценной умственной жизни.

И к философии, как и к другим сферам жизни, у нас преобладало демагогическое отношение: споры философских направлений в интеллигентских кружках носили демагогический характер и сопровождались недостойным поглядыванием по сторонам с целью узнать, кому что понравится и каким инстинктам что соответствует. Эта демагогия деморализует душу нашей интеллигенции и создает тяжелую атмосферу. Развивается моральная трусость, угасает любовь к истине и дерзновение мысли. Заложенная в душе русской интеллигенции жажда справедливости на земле, священная в своей основе жажда, искажается. Моральный пафос вырождается в мономанию. «Классовые» объяснения разных идеологий и философских учений превращаются у марксистов в какую-то болезненную навязчивую идею. И эта мономания заразила у нас большую часть «левых». Деление философии на «пролетарскую» и «буржуазную», на «левую» и «правую», утверждение двух истин, полезной и вредной, — все это признаки умственного, нравственного и общекультурного декаданса. Путь этот ведет к разложению общеобязательного универсального сознания, с которым связано достоинство человечества и рост его культуры.

Русская история создала интеллигенцию с таким душевным укладом, которому противен был объективизм и универсализм, при котором не могло быть настоящей любви к объективной, вселенской истине и ценности. К объективным идеям, к универсальным нормам русская интеллигенция относилась недоверчиво, так как предполагала, что подобные идеи и нормы помешают бороться с самодержавием и служить «народу», благо которого ставилось выше вселенской истины и добра. Это роковое свойство русской интеллигенции, выработанное ее печальной историей, свойство, за которое должна ответить и наша историческая власть, калечившая русскую жизнь и роковым образом толкавшая интеллигенцию исключительно на борьбу против политического и экономического гнета, привело к тому, что в сознании русской интеллигенции европейские философские учения воспринимались в искаженном виде, приспособлялись к специфически интеллигентским интересам, а значительнейшие явления философской мысли совсем игнорировались. Искажен и к домашним условиям приспособлен был у нас и научный позитивизм, и экономический материализм, и эмпириокритицизм, и неокантианство, и ницшеанство.

<...>

С.Н. Булгаков

ГЕРОИЗМ И ПОДВИЖНИЧЕСТВО

(Из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции)

I

Россия пережила революцию. Эта революция не дала того, чего от нее ожидали. Положительные приобретения освободительного движения все еще остаются, по мнению многих, и по сие время по меньшей мере проблематичными. Русское общество, истощенное предыдущим напряжением и неудачами, находится в каком-то оцепенении, апатии, духовном разброде, унынии. Русская государственность не обнаруживает пока признаков обновления и укрепления, которые для нее так необходимы, и, как будто в сонном царстве, все опять в ней застыло, скованное неодолимой дремой. Русская гражданственность, омрачаемая многочисленными смертными казнями, необычайным ростом преступности и общим огрубением нравов, пошла положительно назад. Русская литература залита мутной волной порнографии и сенсационных изделий. Есть от чего прийти в уныние и впасть в глубокое сомнение относительно дальнейшего будущего России. И во всяком случае, теперь, после всего пережитого, невозможны уже как наивная, несколько прекраснодушная славянофильская вера, так и розовые утопии старого западничества. Революция поставила под вопрос самую жизнеспособность русской гражданственности и государственности; не посчитавшись с этим историческим опытом, с историческими уроками революции, нельзя делать никакого утверждения о России, нельзя повторять задов ни славянофильских, ни западнических.

После кризиса политического наступил и кризис духовный, требующий глубокого, сосредоточенного раздумья, самоуглубления, самопроверки, самокритики. Если русское общество действительно еще живо и жизнеспособно, если оно таит в себе семена будущего, то эта жизнеспособность должна проявиться прежде всего и больше всего в готовности и способности учиться у истории. Ибо история не есть лишь хронология, отсчитывающая чередование событий, она есть жизненный опыт, опыт добра и зла, составляющий условие духовного роста, и ничто так не опасно, как мертвенная неподвижность умов и сердец, косный консерватизм, при котором довольствуются повторением задов или просто отмахиваются от уроков жизни, в тайной надежде на новый «подъем настроения», стихийный, случайный, неосмысленный.

Вдумываясь в пережитое нами за последние годы, нельзя видеть во всем этом историческую случайность или одну лишь игру стихийных сил. Здесь произнесен был исторический суд, была сделана оценка различным участникам исторической драмы, подведен итог целой исторической эпохи. «Освободительное движение» не привело к тем результатам, к которым должно было привести, не внесло примирения, обновления, не привело пока к укреплению государственности (хотя и оставило росток для будущего — Государственную Думу) и к подъему народного хозяйства не потому только, что оно оказалось слишком слабо для борьбы с темными силами истории, — нет, оно и потому еще не могло победить, что и

само оказалось не на высоте своей задачи, само оно страдало слабостью от внутренних противоречий. Русская революция развила огромную разрушительную энергию, уподобилась гигантскому землетрясению, но ее созидательные силы оказались далеко слабее разрушительных. У многих в душе отложилось это горькое сознание как самый общий итог пережитого. Следует ли замалчивать это сознание, и не лучше ли его высказать, чтобы задаться вопросом, отчего это так?..

Мне приходилось уже печатно выражать мнение, что русская революция была интеллигентской. Духовное руководство в ней принадлежало нашей интеллигенции, с ее мировоззрением, навыками, вкусами, социальными замашками. Сами интеллигенты этого, конечно, не признают — на то они и интеллигенты — и будут, каждый в соответствии своему катехизису, называть тот или другой общественный класс в качестве единственного двигателя революции. Не оспаривая того, что без целой совокупности исторических обстоятельств (в ряду которых первое место занимает, конечно, несчастная война) и без наличности весьма серьезных жизненных интересов разных общественных классов и групп не удалось бы их сдвинуть с места и вовлечь в состояние брожения, мы все-таки настаиваем, что весь идейный багаж, все духовное оборудование, вместе с передовыми бойцами, застрельщиками, агитаторами, пропагандистами, был дан революции интеллигенцией. Она духовно оформляла инстинктивные стремления масс, зажигала их своим энтузиазмом, — словом, была нервами и мозгом гигантского тела революции. В этом смысле революция есть духовное детище интеллигенции, а, следовательно, ее история есть исторический суд над этой интеллигенцией.

<...>

III

<...>

Интеллигенция стала по отношению к русской истории и современности в позицию героического вызова и героической борьбы, опираясь при этом на свою самооценку. Героизм — вот то слово, которое выражает, по моему мнению, основную сущность интеллигентского мировоззрения и идеала, притом героизм самообожения. Вся экономия ее душевных сил основана на этом самочувствии.

Изолированное положение интеллигента в стране, его оторванность от почвы, суровая историческая среда, отсутствие серьезных знаний и исторического опыта, все это взвинчивало психологию этого героизма. Интеллигент, особенно временами, впадал в состояние героического экстаза, с явно истерическим оттенком. Россия должна быть спасена, и спасителем ее может и должна явиться интеллигенция вообще и даже имярек в частности, и помимо его нет спасителя и нет опасения. Ничто так не утверждает психологии героизма, как внешние преследования, гонения, борьба с ее перипетиями, опасность и даже погибель. И — мы знаем — русская история не скупилась на это, русская интеллигенция развивалась и росла в атмосфере непрерывного мученичества, и нельзя не преклониться перед святыней страданий русской интеллигенции. Но и преклонение перед этими страданиями в их необъятном прошлом и тяжелом настоящем, перед этим «крестом» вольным или невольным, не заставит молчать о том, что все-таки остается истиной, о чем нельзя молчать хотя бы во имя пиетета перед мартирологом интеллигенции.

Итак, страдания и гонения больше всего канонизируют героя и в его собственных глазах, и для окружающих. И так как, вследствие печальных особенностей русской жизни, такая участь постигает его нередко уже в юном возрасте, то и самосознание это: тоже появляется рано, и дальнейшая жизнь тогда является лишь последовательным развитием в принятом направлении. В литературе и из собственных наблюдений каждый без труда найдет много примеров тому, как, с одной стороны, полицейский режим калечит людей, лишая их возможности полезного труда, и как, с другой стороны, он содействует выработке особого духовного аристократизма, так сказать, патентованного героизма, у его жертв. Горько думать, как много отраженного влияния полицейского режима в психологии русского интеллигентского героизма, как велико было это влияние не на внешние только судьбы людей, но и на их души, на их мировоззрение. Во всяком случае, влияние западного просветительства, религии человекобожества и самообожения нашли в русских условиях жизни неожиданного, но могучего союзника. Если юный интеллигент — скажем, студент или курсистка — еще имеет сомнения в том, что он созрел уже для исторической миссии спасителя отечества, то признание этой зрелости со стороны министерства внутренних дел обычно устраняет и эти сомнения. Превращение русского юноши или вчерашнего обывателя в тип героический по внутренней работе, требующейся для этого, есть несложный, большею частью кратковременный процесс усвоения некоторых догматов религии человекобожества и quasi-научной «программы» какой-либо партии и затем соответствующая перемена собственного самочувствия, после которой сами собой вырастают героические котурны. В дальнейшем развитии страдания, озлобление вследствие жестокости властей, тяжелые жертвы, потери довершают выработку этого типа, которому тогда может быть свойственно что угодно, только уже не сомнения в своей миссии.

Героический интеллигент не довольствуется поэтому ролью скромного работника (даже если он и вынужден ею ограничиваться), его мечта — быть спасителем человечества или по крайней мере русского народа. Для него необходим (конечно, в мечтаниях) не обеспеченный минимум, но героический максимум. Максимализм есть неотъемлемая черта интеллигентского героизма, с такой поразительной ясностью обнаружившаяся в годину русской революции. Это — не принадлежность какой-либо одной партии, нет — это самая душа героизма, ибо герой вообще не мирится на малом. Даже если он и не видит возможности сейчас осуществить этот максимум и никогда ее не увидит, в мыслях он занят только им. Он делает исторический прыжок в своем воображении и, мало интересуясь перепрыгнутым путем, вперяет свой взор лишь в светлую точку на самом краю исторического горизонта. Такой максимализм имеет признали идейной одержимости, самогипноза, он сковывает мысль и вырабатывает фанатизм, глухой к голосу жизни. Этим дается ответ и на тот исторический вопрос, почему в революции торжествовали самые крайние направления, причем непосредственные, задачи момента определялись все максимальнее и максимальнее (вплоть до осуществления социальной республики или анархии). От чего эти более крайние и явно безумные направления становились все сильнее и сильнее и, при общем полевении нашего трусливого и пассивного общества, легко подчиняющегося силе, оттесняло собою все более умеренное (достаточно вспомнить ненависть к «кадетам» со стороны «левого блока»).

<...>

IV

С максимализмом целей связан и максимализм средств, так прискорбно проявившийся в последние годы. В этой неразборчивости средств, в этом героическом «все позволено» (предуказанном Достоевским еще в «Преступлении и наказании» и в «Бесах») сказывается в наибольшей степени человекобожеская природа интеллигентского героизма, присущее ему самообожение, поставление себя вместо Бога, вместо Провидения, и это не только в целях и планах, но и путях и средствах осуществления. Я осуществляю свою идею и ради нее освобождаю себя от уз обычной морали, я разрешаю себе право не только на имущество, но и на жизнь и смерть других, если это нужно для моей идеи. В каждом максималисте сидит такой маленький Наполеон от социализма или анархизма. Аморализм или, по старому выражению, нигилизм есть необходимое последствие самообожения, здесь подстерегает его опасность саморазложения, ждет неизбежный провал. И те горькие разочарования, которые многие пережили в революции, та неизгладимая из памяти картина своеволия, экспроприаторства, массового террора, все это явилось не случайно, но было раскрытием тех духовных потенций, которые необходимо таятся в психологии самообожения.

<...>

М.О. Гершензон

ТВОРЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ

III

<...>

И тут образовался заколдованный круг. Так как сознанию все же необходим какой-нибудь материал, над которым оно могло бы работать, то этим материалом для мышления русской интеллигенции явилась та самая общественность, которую больше всего и был вызван отрыв сознания от личности. Центр жизни переместился в гипертрофированный орган. С первого пробуждения сознательной мысли интеллигент становился рабом политики, только о ней думал, читал и спорил, ее одну искал во всем—в чужой личности, как и в искусстве, и проживал жизнь настоящим узником, не видя Божьего света. Так образовался круговорот: чем больше люди уходили в общественность, тем больше калечилось их сознание, а чем больше оно калечилось, тем жаднее оно бросалось на общественность. В юности действовал общий пример, общественное мнение, а с годами мысль уже настолько привыкала жить не дома, что ей больше ничего не оставалось, как толкаться на площади, хотя бы она сама там ничего не делала, а только слушала из-за чужих спин или даже вовсе не слушала. Один работал в политике—вел пропаганду между рабочими; другой с увлечением читал Лаврова, — этот хоть слушая; а большинство—люди Чехова—просто коптили небо, не смея да и не умея войти в себя или даже просто жить непринужденно.

Казалось бы, нас могла исцелить великая литература, выросшая у нас в эти годы. Она не была связана нашими духовными путями. Истинный художник прежде всего внутренне независим, ему не предпишешь ни узкой области интересов, ни

внешней точки зрения: он свободно воспринимает всю полноту явлений и всю полноту собственных переживаний. Свободны были и наши великие художники, и, естественно, чем подлиннее был талант, тем ненавистнее были ему шоры интеллигентской общественно-утилитарной морали, так что силу художественного гения у нас почти безошибочно можно было измерять степенью его ненависти к интеллигенции: достаточно назвать гениальнейших — Л. Толстого и Достоевского, Тютчева и Фета. И разве не стыдно знать, что наши лучшие люди смотрели на нас с отворачиванием и отказывались благословить наше дело? Они звали нас на иные пути — из нашей духовной тюрьмы на свободу широкого мира, в глубину нашего духа, в постижение верных тайн. То, чем жила интеллигенция, для них словно не существовало; в самый разгар гражданственности Толстой славил мудрую «глупость» Каратаева и Кутузова, Достоевский изучал «подполье», Тютчев пел о первозданном хаосе, Фет — о любви и вечности. Но за ними никто не пошел. Интеллигенция рукоплескала им, потому что уж очень хорошо они пели, но оставалось непоколебимой. Больше того, в лице своих духовных вождей — критиков и публицистов — она творила партийный суд над свободной истиной творчества и выносила приговоры: Тютчеву — на невнимание, Фету — на посмеяние, Достоевского объявляла реакционным, а Чехова индифферентным. Художественной правде, как и жизненной, мешала проникнуть в души закоренелая предвзятость сознания.

Личностей не было — была однородная масса, потому что каждая личность духовно оскоплялась уже на школьной скамье. Откуда было взяться ярким индивидуальностям, когда единственное, что создает личное своеобразие и силу — сочетание свободно раскрывшейся чувственности с самосознанием, — отсутствовало? Формализм сознания — лучшее нивелирующее средство в мире. За все время господства у нас общественности яркие фигуры можно было встретить у нас только среди революционеров, и это потому, что активное революционерство было у нас подвижничеством, т.е. требовало от человека огромной домашней работы сознания над личностью, в виде внутреннего отречения от дорогих связей, от надежд на личное счастье, от самой жизни; неудивительно, что человек, одержавший внутри себя такую великую победу, был внешне ярок и силен. А масса интеллигенции была безлична, со всеми свойствами стада: тупой косностью своего радикализма и фанатической нетерпимостью.

<...>

А.С. Изгоев

ОБ ИНТЕЛЛИГЕНТСКОЙ МОЛОДЕЖИ

III

<...>

Русская молодежь мало и плохо учится, и всякий, кто ее искренно любит, обязан ей постоянно говорить это в лицо, а не петь ей дифирамбы, не объяснять возвышенными мотивами социально-политического характера того, что сплошь и рядом объясняется слабой культурой ума и воли, нравственным разгильдяйством и привычкой к фразерству.

Превосходство русского студенчества над студентами англо-американскими льстецы нашей молодежи основывают на том, что английские студенты на первый план выдвигают спорт и заботу о своих мышцах, что из них вырабатывается мускулистое животное, чуждающееся каких-либо духовных интересов. Это опять-таки неправда. Конечно, в быте английских студентов есть много традиционно-английского, что русскому покажется странным, даже недостойным интеллигентного человека. Но нельзя все-таки упускать из виду, что английское «мускулистое животное», о котором с таким презрением говорят наши интеллигенты, во многих отношениях составляет недосыгаемый идеал для русского интеллигента. Английский студент, прежде всего, здоров.

<...>

...средний массовый интеллигент в России большею частью не любит своего дела и не знает его. Он — плохой учитель, плохой инженер, плохой журналист, непрактичный техник и проч., и проч. Его профессия представляет для него нечто случайное, побочное, не заслуживающее уважения. Если он увлечется своей профессией, всецело отдастся ей — его ждут самые жестокие сарказмы со стороны товарищей, как настоящих революционеров, так и фразерствующих бездельников. Но приобрести серьезное влияние среди населения, получить в современной жизни большой удельный вес можно, только обладая солидными, действительными специальными знаниями. Без этих знаний, кормясь только популярными брошюрами, долго играть роль в жизни невозможно. Если вспомнить, какое жалкое образование получают наши интеллигенты в средних и высших школах, станет понятным и антикультурное влияние отсутствия любви к своей профессии и революционного верхоглядства, при помощи которого решались все вопросы. История доставила нам даже слишком громкое доказательство справедливости сказанного. Надо иметь, наконец, смелость сознаться, что в наших государственных думах огромное большинство депутатов, за исключением трех-четырёх десятков кадетов и октябристов, не обнаружили знаний, с которыми можно было бы приступить к управлению и переустройству России.

...Во времена кризисов, народных движений или даже просто общественного возбуждения крайние элементы у нас очень быстро овладевают всем, не встречая почти никакого отпора со стороны умеренных. Интеллигенция с какой-то лихорадочной быстротой устремляется за теми, кто не на словах, а на деле постоянно рискует своею жизнью. «Большая совесть» дает себя чувствовать: — в мгновенном порыве человек зачеркивает всю свою старую, многолетнюю работу, которой он, очевидно, никогда не любил. В этой области происходят не только комедии, вроде известного превращения вице-губернатора, лет тридцать в разных чинах служившего «самодержавному правительству», в социал-демократа, но и серьезные идейные и житейские трагедии. Когда на другой день после 17 октября в России не оказалось достаточно сильных и влиятельных в населении лиц, чтобы крепкой рукой сдержать революцию и немедленно приступить к реформам, для проникательных людей стало ясно, что дело свободы временно проиграно и пройдет много лет упорной борьбы, пока начала этого манифеста воплотятся в жизни...

<...>

Б.А. Кистяковский

В ЗАЩИТУ ПРАВА

(Интеллигенция и правосознание)

I

Право не может быть поставлено рядом с такими духовными ценностями, как научная истина, нравственное совершенство, религиозная святость. Значение его более относительно, его содержание создается отчасти изменчивыми экономическими и социальными условиями. Относительное значение права дает повод некоторым теоретикам определять очень низко его ценность. Одни видят в праве только этический минимум, другие считают неотъемлемым элементом его принуждение, т. е. насилие. Если это так, то нет основания упрекать нашу интеллигенцию в игнорировании права. Она стремилась к более высоким и безотносительным идеалам и могла пренебречь на своем пути этою второстепенною ценностью.

Но духовная культура состоит не из одних ценных содержаний. Значительную часть ее составляют ценные формальные свойства интеллектуальной и волевой деятельности. А из всех формальных ценностей право, как наиболее совершенно развитая и почти конкретно осязаемая форма, играет самую важную роль. Право в гораздо большей степени дисциплинирует человека, чем логика и методология или чем систематические упражнения воли. Главное же, в противоположность индивидуальному характеру этих последних дисциплинирующих систем, право — по преимуществу социальная система, и притом единственная социально дисциплинирующая система. Социальная дисциплина создается только правом: дисциплинированное общество и общество с развитым правовым порядком — тождественные понятия.

С этой точки зрения, и содержание права выступает в другом освещении. Главное и самое существенное содержание права составляет свобода. Правда, это свобода внешняя, относительная, обусловленная общественной средой. Но внутренняя, более безотносительная, духовная свобода возможна только при существовании свободы внешней, и последняя есть самая лучшая школа для первой.

Если иметь в виду это всестороннее дисциплинирующее значение права и отдать себе отчет в том, какую роль оно сыграло в духовном развитии русской интеллигенции, то получатся результаты крайне неутешительные. Русская интеллигенция состоит из людей, которые ни индивидуально, ни социально не дисциплинированы. И это находится в связи с тем, что русская интеллигенция никогда не уважала права, никогда не видела в нем ценности; из всех культурных ценностей право находилось у нее в наибольшем загоне. При таких условиях у нашей интеллигенции не могло создаться и прочного правосознания, напротив, последнее стоит на крайне низком уровне развития.

<...>

II

Притупленность правосознания русской интеллигенции и отсутствие интереса к правовым идеям являются результатом застарелого зла — отсутствия какого бы то ни было правового порядка в повседневной жизни русского народа. По поводу этого Герцен еще в начале пятидесятых годов прошлого века писал: «правовая необеспеченность, искони тяготевшая над народом, была для него своего рода школою. Вопиющая несправедливость одной половины его законов научила его ненавидеть и другую; он подчиняется им как силе. Полное неравенство перед судом убило в нем всякое уважение к законности. Русский, какого бы он звания ни был, обходит или нарушает закон всюду, где это можно сделать безнаказанно; и совершенно так же поступает правительство». Дав такую безотрадную характеристику нашей правовой неорганизованности, сам Герцен, однако, как настоящий русский интеллигент прибавляет: «Это тяжело и печально сейчас, но для будущего это — огромное преимущество. Ибо это показывает, что в России позади видимого государства не стоит его идеал, государство невидимое, апофеоз существующего порядка вещей».

<...>

Основу прочного правопорядка составляет свобода личности и ее неприкосновенность. Казалось бы, у русской интеллигенции было достаточно мотивов проявлять интерес именно к личным правам. Искони у нас было признано, что все общественное развитие зависит от того, какое положение занимает личность. Поэтому даже смена общественных направлений у нас характеризуется заменой одной формулы, касающейся личности, другой. Одна за другой у нас выдвигались формулы: критически мыслящей, сознательной, всесторонне развитой, самосовершенствующейся, этической, религиозной и революционной личности. Были и противоположные течения, стремившиеся потопить личность в общественных интересах, объявлявшие личность «*quantite negligeable*» и отстаивавшие соборную личность. Наконец, в последнее время ницшеанство, штирнерианство и анархизм выдвинули новые лозунги самодовлеющей личности, эгоистической личности и сверхличности. Трудно найти более разностороннюю и богатую разработку идеала личности, и можно было бы думать, что, по крайней мере, она является исчерпывающей. Но именно тут мы констатируем величайший пробел, так как наше общественное сознание никогда не выдвигало идеала правовой личности. Об стороны этого идеала — личности, дисциплинированной правом и устойчивым правопорядком, и личности, наделенной всеми правами и свободно пользующейся ими, чужды сознанию нашей интеллигенции.

<...>

V

Правосознание всякого народа всегда отражается в его способности создавать организации и вырабатывать для них известные формы. Организации и их формы невозможны без правовых норм, регулирующих их, и потому возникновение организаций необходимо сопровождается разработкой этих норм. Русский народ в целом не лишен организаторских талантов; ему, несомненно,

присуще тяготение даже к особенно интенсивным видам организации; об этом достаточно свидетельствует его стремление к общинному быту, его земельная община, его артели и т. под. Жизнь и строение этих организаций определяются внутренним сознанием о праве и не праве, живущим в народной душе. Этот по преимуществу внутренний характер правосознания русского народа был причиной ошибочного взгляда на отношение нашего народа к праву. Он дал повод сперва славянофилам, а затем народникам предполагать, что русскому народу чужды «юридические начала», что, руководясь только своим внутренним сознанием, он действует исключительно по этическим побуждениям. Конечно, нормы права и нормы нравственности в сознании русского народа недостаточно дифференцированы и живут в слитном состоянии. Этим, вероятно, объясняются и дефекты русского народного обычного права; оно лишено единства, а еще больше ему чужд основной признак всякого обычного права — единообразное применение.

Но именно тут интеллигенция и должна была бы прийти на помощь народу и способствовать как окончательному дифференцированию норм обычного права, так и более устойчивому их применению, а также их дальнейшему систематическому развитию. Только тогда народническая интеллигенция смогла бы осуществить поставленную ею себе задачу способствовать укреплению и развитию общинных начал; вместе с тем сделалось бы возможным пересоздание их в более высокие формы общественного быта, приближающиеся к социалистическому строю. Ложная исходная точка зрения, предположение, что сознание нашего народа ориентировано исключительно этически, помешало осуществлению этой задачи и привело интеллигентские надежды к крушению. На одной этике нельзя построить конкретных общественных форм. Такое стремление противоестественно; оно ведет к уничтожению и дискредитированию этики и к окончательному притуплению правового сознания.

Всякая общественная организация нуждается в правовых нормах, т.е. в правилах, регулирующих не внутреннее поведение людей, что составляет задачу этики, а их поведение внешнее. Определяя внешнее поведение, правовые нормы, однако, сами не являются чем-то внешним, так как они живут прежде всего в нашем сознании и являются такими же внутренними элементами нашего духа, как и этические нормы. Только будучи выраженными в статьях законов или примененными в жизни, они приобретают и внешнее существование. Между тем, игнорируя все внутреннее или, как теперь выражаются, интуитивное право, наша интеллигенция считала правом только те внешние, безжизненные нормы, которые так легко укладываются в статьи и параграфы писаного закона или какого-нибудь устава. Чрезвычайно характерно, что наряду с стремлением построить сложные общественные формы исключительно на этических принципах наша интеллигенция в своих организациях обнаруживает поразительное пристрастие к формальным правилам и подробной регламентации; в этом случае она проявляет особенную веру в статьи и параграфы организационных уставов. Явление это, могущее показаться непонятным противоречием, объясняется именно тем, что в правовой норме наша интеллигенция видит не правовое убеждение, а лишь правило, получившее внешнее выражение.

<...>

VI

Характеризуя правосознание русской интеллигенции, мы рассмотрели ее отношение к двум основным видам права — к правам личности и к объективному правопорядку. В частности, мы попытались определить, как это правосознание отражается на решении вопросов организационных, т. е. основных вопросов конституционного права в широком смысле. На примере наших интеллигентских организаций мы старались выяснить, насколько наша интеллигенция способна участвовать в правовой реорганизации государства, т. е. претворении государственной власти из власти силы во власть права. Но наша характеристика была бы неполна, если бы мы не остановились на отношении русской интеллигенции к суду. Суд есть то учреждение, в котором прежде всего констатируется и устанавливается право. У всех народов, раньше чем развилось определение правовых норм путем законодательства, эти нормы отыскивались, а иногда и творились путем судебных решений. Стороны, внося спорные вопросы на решение суда, отстаивали свои личные интересы; но каждая доказывала «свое право», ссылаясь на то, что на ее стороне объективная правовая норма. Судья в своем решении давал авторитетное определение того, в чем заключается действующая правовая норма, причем опирался на общественное правосознание. Высоко держать знамя права и вводить в жизнь новое право судья мог только тогда, когда ему помогало живое и активное правосознание народа. Впоследствии эта созидаящая право деятельность суда и судьи была отчасти заслонена правотворческой законодательной деятельностью государства. Введение конституционных форм государственного устройства привело к тому, что в лице народного представительства был создан законодательный орган государства, призванный непосредственно выражать народное правосознание. Но даже законодательная деятельность народного представительства не может устранить значения суда для осуществления господства права в государстве. В современном конституционном государстве суд есть прежде всего хранитель действующего права; но затем, применяя право, он продолжает быть и созидателем нового права...

<...>

П.Б. Струве

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ

<...>

Религиозность или безрелигиозность интеллигенции, по-видимому, не имеет отношения к политике. Однако только по-видимому. Не случайно, что русская интеллигенция, будучи безрелигиозной в том неформальном смысле, который мы отстаиваем, в то же время была мечтательна, неделовита, легкомысленна в политике. Легковерие без веры, борьба без творчества, фанатизм без энтузиазма, нетерпимость без благоговения, — словом, тут была и есть налицо вся форма религиозности без ее содержания. Это противоречие, конечно,

свойственно по существу всякому окрашенному материализмом и позитивизмом радикализму. Но ни над одной живой исторической силой оно не тяготело и не тяготеет в такой мере, как над русской интеллигенцией. Радикализм или максимализм может находить себе оправдание только в религиозной идее, в поклонении и служении какому-нибудь высшему началу. Во-первых, религиозная идея способна смягчить углы такого радикализма, его жесткость и жестокость. Но кроме того, и это самое важное, религиозный радикализм апеллирует к внутреннему существу человека, ибо с религиозной точки зрения, проблема внешнего устройства жизни есть нечто второстепенное. Поэтому, как бы решительно ни ставил религиозный радикализм политическую и социальную проблему, он не может не видеть в ней проблемы воспитания человека. Пусть воспитание это совершается путем непосредственного общения человека с Богом, путем, так сказать, надчеловеческим, но все-таки это есть воспитание и совершенствование человека, обращающееся к нему самому, к его внутренним силам, к его чувству ответственности.

Наоборот, безрелигиозный максимализм, в какой бы то ни было форме, отменяет проблему воспитания в политике и в социальном строительстве, заменяя его внешним устройством жизни.

Говоря о том, что русская интеллигенция идейно отрицала или отрицает личный подвиг и личную ответственность, мы, по-видимому, приходим в противоречие со всей фактической историей служения интеллигенции народу, с фактами героизма, подвижничества и самоотвержения, которыми отмечено это служение. Но нужно понять, что фактическое упражнение самоотверженности не означает вовсе признания идеи личной ответственности как начала, управляющего личной и общественной жизнью. Когда интеллигент размышлял о своем долге перед народом, он никогда не додумывался до того, что выражающаяся в начале долга идея личной ответственности должна быть адресована не только к нему, интеллигенту, но и к народу, т. е. ко всякому лицу, независимо от его происхождения и социального положения. Аскетизм и подвижничество интеллигенции, полагавшей свои силы на служение народу, несмотря на всю свою привлекательность, были, таким образом, лишены принципиального морального значения и воспитательной силы.

Это обнаружилось с полной ясностью в революции. Интеллигентская доктрина служения народу не предполагала никаких обязанностей у народа и не ставила ему самому никаких воспитательных задач. А так как народ состоит из людей, движущихся интересами и инстинктами, то, просочившись в народную среду, интеллигентская идеология должна была дать вовсе не идеалистический плод. Народническая, не говоря уже о марксистской, проповедь в исторической действительности превращалась в разнузданность и деморализацию.

Вне идеи воспитания в политике есть только две возможности: деспотизм или охлократия. Предъявляя самые радикальные требования, во имя их призывая народ к действиям, наша радикальная интеллигенция совершенно отрицала воспитание в политике и ставила на его место возбуждение. Но возбуждение быстро сыграло свою роль и не могло больше ничего дать. Когда оно спало, момент был пропущен и воцарилась реакция. Дело, однако, вовсе не в том только, что пропущен был момент.

В настоящее время отвратительное торжество реакции побуждает многих забывать или замалчивать ошибки пережитой нами революции. Не может быть ничего более опасного, чем такое забвение, ничего более легкомысленного, чем такое замалчивание. Такому отношению, которое нельзя назвать иначе как политическим импрессионизмом, необходимо противопоставить подымающийся над впечатлениями текущего момента анализ морального существа того политического кризиса, через который прошла страна со своей интеллигенцией во главе.

Чем вложились народные массы в этот кризис? Тем же, чем они влагались в революционное движение XVII и XVIII веков, своими социальными страданиями и стихийно выраставшими из них социальными требованиями, своими инстинктами, аппетитами и ненавистями. Религиозных идей не было никаких. Это была почва, чрезвычайно благодарная для интеллигентского безрелигиозного радикализма, и он начал оперировать на этой почве с уверенностью, достойною лучшего применения.

Прививка политического радикализма интеллигентских идей к социальному радикализму народных инстинктов совершилась с ошеломляющей быстротой. В том, как легко и стремительно стала интеллигенция на эту стезю политической и социальной революционизации пострадавших народных масс, заключалась не просто политическая ошибка, не просто грех тактики. Тут была ошибка моральная. В основе тут лежало представление, что «прогресс» общества может быть не плодом совершенствования человека, а ставкой, которую следует сорвать в исторической игре, апеллируя к народному возбуждению.

Политическое легкомыслие и неделовитость присоединились к этой основной моральной ошибке. Если интеллигенция обладала формой религиозности без ее содержания, то ее «позитивизм», наоборот, был чем-то совершенно бесформенным. То были «положительные», «научные» идеи без всякой истинной положительности, без знания жизни и людей, «эмпиризм» без опыта, «рационализм» без мудрости и даже без здравого смысла.

Революцию делали плохо. В настоящее время с полной ясностью раскрывается, что в этом делании революции играла роль ловко инсценированная провокация. Это обстоятельство, однако, только ярко иллюстрирует поразительную неделовитость революционеров, их практическую беспомощность, но не в нем суть дела. Она не в том, как делали революцию, а в том, что ее вообще делали. Делали революцию в то время, когда задача состояла в том, чтобы все усилия сосредоточить на политическом воспитании и самовоспитании. Война открыла глаза народу, пробудила национальную совесть, и это пробуждение открывало для работы политического воспитания такие широкие возможности, которые обещали самые обильные плоды. И вместо этого что же мы видели? Две всеобщие стачки с революционным взвинчиванием рабочих масс (совет рабочих депутатов!), ряд военных бунтов, бессмысленных и жалких, московское восстание, которое было гораздо хуже, чем оно представилось в первый момент, бойкот выборов в первую думу и подготовка (при участии провокации!) дальнейших вооруженных восстаний, разразившихся уже после роспуска Государственной Думы. Все это должно было терроризировать и в конце концов смести власть. Власть была действительно терроризирована. Явились военно-полевые суды и бесконечные смертные казни. И затем государственный испуг превра-

тился в нормальное политическое состояние, в котором до сих пор пребывает власть, в котором она осуществила изменение избирательного закона, — теперь потребуются годы, чтобы сдвинуть страну с этой мертвой точки.

<...>

С.Л. Франк

ЭТИКА НИГИЛИЗМА

<...>

I

Нравственность, нравственные оценки и нравственные мотивы занимают в душе русского интеллигента совершенно исключительное место. Если можно было бы одним словом охарактеризовать умонастроение нашей интеллигенции, нужно было бы назвать его морализмом. Русский интеллигент не знает никаких абсолютных ценностей, никаких критериев, никакой ориентировки в жизни, кроме морального разграничения людей, поступков, состояний на хорошие и дурные, добрые и злые. У нас нужны особые, настойчивые указания, исключительно громкие призывы, которые для большинства звучат всегда несколько неестественно и аффектированно, чтобы вообще дать почувствовать, что в жизни существуют или, по крайней мере, мыслимы еще иные ценности и мерила, кроме нравственных, — что наряду с добром душе доступны еще идеалы истины, красоты, Божества, которые также могут волновать сердца и вести их на подвиги. Ценности теоретические, эстетические, религиозные не имеют власти над сердцем русского интеллигента, ощущаются им смутно и неинтенсивно и, во всяком случае, всегда приносятся в жертву моральным ценностям. Теоретическая, научная истина, строгое и чистое знание ради знания, бескорыстное стремление к адекватному интеллектуальному отображению мира и овладению им никогда не могли укорениться в интеллигентском сознании. Вся история нашего умственного развития окрашена в яркий морально-утилитарный цвет.

<...>

Если из двух форм человеческой деятельности — разрушения и созидания, или борьбы и производительного труда — интеллигенция всецело отдается только первой, то из двух основных средств социального приобретения благ (материальных и духовных) — именно распределения и производства — она также признает исключительно первое. Подобно борьбе или разрушению, распределение, в качестве механического перемещения уже готовых элементов, также противостоит производству, в смысле творческого созидания нового. Социализм и есть мировоззрение, в котором идея производства вытеснена идеей распределения. Правда, в качестве социально-политической программы социализм предполагает реорганизацию всех сторон хозяйственной жизни; он протестует против мнения, что его желания сводятся лишь к тому, чтобы отнять богатство у имущих и отдать его неимущим. Такое мнение действительно содержит искажающее упрощение социализма как социологической или экономической тео-

рии; тем не менее оно совершенно точно передает морально-общественный дух социализма. Теория хозяйственной организации есть лишь техника социализма; душа социализма есть идеал распределения, и его конечное стремление действительно сводится к тому, чтобы отнять блага у одних и отдать их другим. Моральный пафос социализма сосредоточен на идее распределительной справедливости и исчерпывается ею; и эта мораль тоже имеет свои корни в механико-рационалистической теории счастья, в убеждении, что условий счастья не нужно вообще созидать, а можно просто взять или отобрать их у тех, кто незаконно завладел ими, в свою пользу. Социалистическая вера — не источник этого одностороннего обоготворения начала распределения; наоборот, она сама опирается на него и есть как бы социологический плод, выросший на метафизическом древе механистической этики. Превознесение распределения насчет производства вообще не ограничивается областью материальных благ; оно лишь ярче всего сказывается и имеет наиболее существенное значение в этой области, так как вообще утилитаристическая этика видит в материальном обеспечении основную проблему человеческого устройства. Но важно отметить, что та же тенденция господствует над всем миропониманием русской интеллигенции. Производство благ во всех областях жизни ценится ниже, чем их распределение; интеллигенция почти так же мало, как о производстве материальном, заботится о производстве духовном, о накоплении идеальных ценностей; развитие науки, литературы, искусства и вообще культуры ей гораздо менее дорого, чем распределение уже готовых, созданных духовных благ среди массы. Т^ак наз^{ыв}аемая «культурная деятельность» сводится именно к распределению культурных благ, а не к их созиданию, а почетное имя культурного деятеля заслуживает у нас не тот, кто творит культуру — ученый, художник, изобретатель, философ, — а тот, кто раздает массе по кусочкам плоды чужого творчества, кто учит, популяризирует, пропагандирует.

В оценке этого направления приходится повторить, в иных словах, то, что мы говорили только что об отношении между борьбой и производительным трудом. Распределение, бесспорно, есть необходимая функция социальной жизни, и справедливое распределение благ и тягот жизни есть законный и обязательный моральный принцип. Но абсолютизация распределения и забвение из-за него производства или творчества есть философское заблуждение и моральный грех. Для того чтобы было что распределять, надо прежде всего иметь что-нибудь, а чтобы иметь — надо созидать, производить. Без правильного обмена веществ организм не может существовать, но ведь, в конце концов, он существует не самим обменом, а потребляемыми питательными веществами, которые должны откуда-нибудь притекать к нему. То же применимо к социальному организму в его материальных и духовных нуждах. Дух социалистического народничества, во имя распределения пренебрегающий производством, — доводя это пренебрежение не только до полного игнорирования, но даже до прямой вражды, — в конце концов, подтачивает силы народа и увековечивает его материальную и духовную нищету. Социалистическая интеллигенция, растратившая огромные сосредоточенные в ней силы на непроизводительную деятельность политической борьбы, руководимой идеей распределения, и не участвуя в созидании народного достояния, остается в метафизическом смысле бесплод-

ной и, вопреки своим заветным и ценнейшим стремлениям, ведет паразитическое существование на народном теле. Пора, наконец, понять, что наша жизнь не только несправедлива, но прежде всего бедна и убога; что нищие не могут разбогатеть, если посвящают все свои помыслы одному лишь равномерному распределению тех грошей, которыми они владеют; что пресловутое различие между «национальным богатством» и «народным благосостоянием» — различие между накоплением благ и доставкой их народу—есть все же лишь относительное различие и имеет реальное и существенное значение лишь для действительно богатых наций, так что если иногда уместно напоминать, что национальное богатство само по себе еще не обеспечивает народного благосостояния, то для нас бесконечно важнее помнить более простую и очевидную истину, что вне национального богатства вообще немислимо народное благосостояние. Пора, во всей экономии национальной культуры, сократить число посредников, транспортеров, сторожей, администраторов и распределителей всякого рода и увеличить число подлинных производителей. Словом, от распределения и борьбы за него пора перейти к культурному творчеству, к созиданию богатства.

<...>

Источник: Вехи. Из глубины. Приложение к журналу «Вопросы философии». Москва. Издательство «Правда». 1991.

Из глубины (De profundis)

Сборник статей о русской революции

Сборник включает статьи С.А. Аскольдова, Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, Вяч. Иванова, А.С. Изгоева, С.А. Котляревского, В.Н. Муравьева, П.И. Новгородцева, И.А. Покровского, П.Б. Струве, С.Л. Франка.

Судьба второго сборника о русской интеллигенции и ее роли в революциях 1917 г. — «Из глубины» (начальные слова первой строки 129 псалма Давида: Из глубины воззвах к Тебе, Господи! De profundis clamavi ad te, Domine!) отличалась от своего предшественника. Задуманный в марте 1918 г. Петром Струве, он должен был продолжить традицию «Вех», предсказания которых столь трагично сбывались в это время. Сборник готовился к печати в московской конторе журнала «Русская Мысль» на Сивцевом Вражке и печатался в типографии Кушнерева и К° под названием «Сборник Русской Мысли». Идея назвать книгу «Из глубины» принадлежала Семену Франку и сразу была принята Струве. В августе 1918 г. тираж был готов.

Однако, атмосфера тотального красного террора, начавшегося сразу после убийства Урицкого и покушения на Ленина, не позволяла и думать о том, чтобы пустить сборник в продажу. Весь тираж пролежал на складе до 1921 г., когда кто-то хотел дать ему ход, однако сборник был тут же изъят из обращения, а большинство авторов высланы из России на печально известном философском пароходе. Лишь Николаю Бердяеву удалось вывезти экземпляр сборника, с которого было осуществлено переиздание в парижском издательстве УМКА-Press в 1967 г. После этого он и стал доступен зарубежному, а затем и отечественному читателю.

С.А. Аскольдов

РЕЛИГИОЗНЫЙ СМЫСЛ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

I. Общее в революциях

Прежде чем говорить о религиозном смысле русской революции, мы поставим вопрос о религиозном смысле революции вообще. Однако есть ли что-либо типическое и общее для процесса, именуемого революцией? Если это понятие брать в его наиболее первоначальном и общем смысле, то, по-видимому, мы будем иметь дело с чем-то слишком общим и неопределенным и потому неподдающимся той или иной оценке. В сущности, всякий острый исторический кризис, несущий с собою тот или иной «переворот» внутренних государственных отношений, есть революция. В известном смысле и война есть революция. И это особенно ясно на переживаемой нами войне, составляющей с русской революцией

одно неразрывное целое. Дворцовые перевороты, например, убийство Павла I, по своим последствиям для жизни государства тоже могут подходить под понятие революции. Очевидно, что о таких разнообразных процессах не может быть высказано какого-либо единого суждения. Но сузим понятие революции, и мы получим уже некоторую определенность, которую в пределах поставленного нами вопроса нам нельзя не подвергнуть особому обсуждению. Мы будем разумеать под революцией ниспровержение народом того или иного государственного строя. Здесь имеются уже некоторые характерные, общие для процессов этого рода черты. Основной такой чертой является особая психология народных масс, чувствующих себя вершителями своей новой исторической судьбы. В революциях того типа, о котором мы говорим, новый строй возникает для народа не как внешняя перемена к лучшему или худшему, как бы дарованная судьбой через посредство тех или иных отдельных лиц, а как некий творческий почин и действие, исходящие от всех и каждого. Этот своеобразный психологический момент некоторого своеобразного «народного самодержавия», — самодержавия, носителями которого являются тысячи и миллионы, — является чем-то весьма важным и роковым для жизни народов. Конечно, можно сказать, что таким распыленным самодержавием является не только революция, как острый процесс переворота, но и всякая стойкая форма народовластия, например, всякая демократическая республика. Это несомненно так, однако все же мы должны признать этот момент в революции особенно подчеркнутым, поскольку в ней он переживается в особо резкой форме. Народоуправство *in statu nascendi*, т. е. в революции, и в тех или иных установившихся уже формах имеет все же далеко не одинаковую психологию не только по остроте переживаний, но даже и по существу, поскольку в установившихся формах событиями начинают управлять именно уже эти сложившиеся формы, признаваемые каждым-участником как уже некая непреодолимая для него внешность. Но именно в моменты ломки и кризисов стихия народоуправства еще бесформенна. В силу этого инстинктам своеволия дается неосуществимый при всяких стойких формах простор. Именно во время революций обманчивый мираж личной автономии в деле общественного устройства для всех и каждого гораздо сильнее и соблазнительнее, чем когда-либо. Этот соблазн своеволия с заразной быстротой и силой распространяется в революционных мятежах на миллионы душ, до того не помышлявших ни о каких своих правах или, во всяком случае, не признававших их в себе в качестве реальной силы. Что сказать об этом моменте с религиозной точки зрения? Очевидно, что в нем именно мы имеем наиболее явное и резкое нарушение того высшего религиозного принципа жизни, который составляет основу религиозной жизни, как индивидуальной, так и общественной, т. е. ее органическое единство. Революция есть по преимуществу власть множественности над государственным единством, в какой бы форме оно ни выражалось. В ней именно расплавляются те спайки, которые соединяли множественность элементов в стойкие формы государственности, и расплавляются не под влиянием каких-либо внешних формирующих сил, как это бывает в войнах, а именно под напором внутренних молекулярных сил общественного Целого. Именно в эти моменты множество овладевает целым, заступая место его формального и реального единства. Это овладение целым множественностью составляющих его частей образует всегда уже не-

который впоследствии неизгладимый навык самовластия со стороны множественности. Несомненно, что это освобождение множественности от тяготевшей над нею в данный момент формы единства, формы, иногда искаженной и в том или ином отношении ненормальной, может дать временный расцвет жизнедеятельности целого. Однако вместе с этим расцветом в природу общественного организма внедряется уже неизлечимая склонность к новым овладениям целым со стороны множественности. Революция — это процесс, создающий неизбежность своих рецидивов. И каждый такой рецидив является роковым приближением к последнему и непоправимому уже распаду целого на части, т. е. к смерти целого. Мы подчеркиваем, что этот своеобразный динамизм демократического принципа имеет преимущественное выражение и развитие именно в процессе революции и далеко не всегда — в стойких формах государственного народовластия. Эти стойкие формы всегда представляют в той или иной мере лишь обманчивый мираж демократического начала. Окристаллизовавшаяся государственность всегда налагает те или иные оковы на волю народа как множественность воль и незаметно для сознания народа подчиняет его принципу целого и его живого единства. В свою очередь, и это единство вовсе не должно непременно иметь свое эмпирическое выражение в лице монарха или того или иного диктатора. Оно может иметь свое осуществление в организации парламента, палаты, той или иной преобладающей партии, вообще в той или иной окристаллизовавшейся государственной конструкции. Динамика народовластия как действительного овладения государственным целым и его жизнью со стороны составляющей это целое множественности есть некоторое специфическое состояние как бы расплавленности всяческих конструкций, характеризующее именно революционные периоды в жизни народов. Мы утверждаем, что, по основному противоречию этой динамики с высшим религиозным принципом жизни, она всегда носит в себе начало «смерти общественного целого». В эпохи революций над страной всегда носится призрак смерти, подобно тому как это бывает в процессе всякой тяжелой болезни. Революция есть опаснейшая из болезней государственного и общечеловеческого целого. Точнее говоря, это даже не болезнь, а некоторая стадия в процессе многих общественных болезней, — именно та стадия, когда жизнь подавляется теми распадами и нарушениями физиологических отправления, которые уже грозят смертью. Однако, подобно тому как тяжелые болезни зачастую преодолеваются и даже иногда ведут к тому или иному обновлению заболевшего организма, так и революционные процессы сменяются возрождением жизни. Собственно духовное обновление приносит всякая болезнь, хотя бы в самой примитивной форме в виде того или иного диетического научения и устрашающего воздействия на человеческое благоразумие. Но вместе с тем революции, как и тяжелые болезни, несут свои уже неустранимые последствия, и в них общественный организм делает всегда некоторый бесповоротный, хотя, быть может, внешне и незаметный шаг к своему последнему пределу. В сущности, история вполне подтверждает это на отдельных примерах, из которых самыми поучительными являются крушения древних государственных организмов Греции и Рима. На демократии Афин это особенно ясно видно, в истории же Рима затушено еще многими привходящими обстоятельствами и процессами.

<...>

Н.А. Бердяев

ДУХИ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Введение

С Россией произошла страшная катастрофа. Она ниспала в темную бездну. И многим начинает казаться, что единая и великая Россия была лишь призраком, что не было в ней подлинной реальности. Не легко улавливается связь нашего настоящего с нашим прошлым. Слишком изменилось выражение лиц русских людей, за несколько месяцев оно сделалось неузнаваемым. При поверхностном взгляде кажется, что в России произошел небывалый по радикализму переворот. Но более углубленное и проникновенное познание должно открыть в России революционный образ старой России, духов, давно уже обнаруженных в творчестве наших великих писателей, бесов, давно уже владеющих русскими людьми. Многое старое, давно знакомое является лишь в новом обличье. Долгий исторический путь ведет к революциям, и в них открываются национальные особенности даже тогда, когда они наносят тяжелый удар национальной мощи и национальному достоинству. Каждый народ имеет свой стиль революционный, как имеет и свой стиль консервативный. Национальна была английская революция, и столь же национальна революция французская. В них узнается прошлое Англии и Франции. Каждый народ делает революцию с тем духовным багажом, который накопил в своем прошлом, он вносит в революцию свои грехи и пороки, но также и свою способность к жертве и к энтузиазму. Русская революция антинациональна по своему характеру, она превратила Россию в бездыханный труп. Но и в этом антинациональном ее характере отразились национальные особенности русского народа и стиль нашей несчастливой и губительной революции — русский стиль. Наши старые национальные болезни и грехи привели к революции и определили ее характер. Духи русской революции — русские духи, хотя и использованы врагом нашим на погибель нашу. Призрачность ее — характерно русская одержимость. Революции, происходящие на поверхности жизни, ничего существенного никогда не меняют и не открывают, они лишь обнаруживают болезни, таившиеся внутри народного организма, по-новому переставляют все те же элементы и являют старые образы в новых одеяниях. Революция всегда есть в значительной степени маскарад, и если сорвать маски, то можно встретить старые, знакомые лица. Новые души рождаются позже, после глубокого перерождения и осмысливания опыта революции. На поверхности все кажется новым в русской революции — новые выражения лиц, новые жесты, новые костюмы, новые формулы господствуют над жизнью; те, которые были внизу, возносятся на самую вершину, а те, которые были на вершине, упали вниз; властвуют те, которые были гонимы, и гонимы те, которые властвовали; рабы стали безгранично свободными, а свободные духом подвергаются насилию. Но попробуйте проникнуть за поверхностные покровы революционной России в глубину. Там узнаете вы старую Россию, встретите старые, знакомые лица. Бессмертные образы Хлестакова, Петра Верховенско-

го и Смердякова на каждом шагу встречаются в революционной России и играют в ней немалую роль, они подобрались к самым вершинам власти. Метафизическая диалектика Достоевского и моральная рефлексия Толстого определяют внутренний ход революции. Если пойти в глубь России, то за революционной борьбой и революционной фразеологией нетрудно обнаружить хрюкающие гоголевские морды и рожи. Всякий народ в любой момент своего существования живет в разные времена и разные века. Но нет народа, в котором соединялись бы столь разные возрасты, который так совмещал бы XX век с XIV веком, как русский народ. И эта разновозрастность есть источник нездоровья и помеха для цельности нашей национальной жизни.

<...>

С.Н. Булгаков

**НА ПИРУ БОГОВ
Pro et contra
СОВРЕМЕННЫЕ ДИАЛОГИ**

Произошло то, что Россия изменила своему призванию, стала его недостойна, а потому пала, и падение ее было велико, как велико было и призвание. Происходящее ныне есть как бы негатив русского позитива; вместо вселенского соборного всечеловечества — пролетарский интернационал и «федеративная» республика. Россия изменила себе самой, но не могла и не изменить. Великие задачи в жизни как отдельных людей, так и целых народов вверяются их свободе. Благодать не насилует, но и Бог поругаем не бывает. Потому следует наперед допустить разные возможности и уклонения путей. Этот вопрос, вы знаете, всегда интересовал С.В. Ковалевскую и с математической, и с общечеловеческой стороны, и она излила свою душу в двойной драме: как оно могло быть и как оно было, с одними и теми же действующими лицами, но с разной судьбой. Вот такая же двойная драма ныне начертана перстом истории о России; теперь мы переживаем печальное «как оно было», а тогда могли и должны были думать о том, «как оно могло быть».

<...>

...что иное могло получиться, если образованный класс, вот эта самая интеллигенция чуть не поголовно ушла из церкви и первым членом своего символа веры сделала безбожие, вторым — революцию, а третьим — социализм? Церковь незыблема, конечно, во всем, что касается стороны благодатно-божественной, но как сила культурно-историческая она нуждалась и нуждается в просвещенных деятелях, которых так много находит западное христианство. А где же они у нас? Нет, безбожие русской интеллигенции есть не только роковая для нее самая черта, но это есть проклятие и всей нашей жизни. Об этом давно у нас говорится, но теперь это для всех, имеющих очи, чтобы видеть, обнаружилось в ужасающей степени. И самое печальное, что в основе этого лежит не честно выстраданное неверие, но невероятно рели-

гиозное легкомыслие, своего рода суеверие. Посмотрите особенно на провинциальную интеллигенцию, так сказать, второго и третьего сорта: земского врача, фельдшера, учителя, акушерку. Хоть бы когда-нибудь они усомнились в своем праве надменно презирать веру народную! На их глазах люди рождаются, умирают, страдают, — совершается дивное и величественное таинство жизни, ежедневно восходит и заходит солнце, но ничего не шевелится в их душах, в них незыблемо царит писаревщина. Да этого еще мало! На русской интеллигенции лежит страшная и несмываемая вина, — гонения на церковь, осуществляемого молчаливым презрением, пассивным бойкотом, всей этой атмосферой высокомерного равнодушия, которой она окружила церковь. Вы знаете, какого мужества требовало просто лишь не быть атеистом в этой среде, какие глумления и заушения, чаще всего даже непреднамеренные, здесь приходилось испытывать. Я очень хорошо знаю русскую интеллигенцию и вполне отвечаю за то, что говорю. Да, с разрушительной, тлетворной силой этого гонения не идет ни в какое сравнение поднятое большевиками. Это последнее гонение дает силу, призывает на мученичество, исповедничество, а вот исповедывать веру в атмосфере интеллигентского шипа, глупых смешков, снисходительного пренебрежения — нет, это хуже большевизма, который в своем нигилизме есть, конечно, законнейшее порождение этой же самой интеллигенции, как она от этого ни отрекайся. И вот теперь судьба свела церковь и интеллигенцию в состоянии общей гонимости со стороны большевиков. Дай Бог, чтобы эта встреча повела и к внутреннему сближению.

<...>

Вяч. Иванов

НАШ ЯЗЫК

III

<...>

Что же мы видим ныне, в эти дни буйственной слепоты, одержимости и беспамятства?

Язык наш свят: его кощунственно оскверняют богомерзким бесивом — неимоверными, бессмысленными, безликими словообразованиями, почти лишь звучаниями, стоящими на границе членораздельной речи, понятными только как перекличка сообщников, как разинское «сарынь на кичку». Язык наш богат: уже давно хотят его обеднить, свести к насущному, полезному, механически-целесообразному; уже давно его забывают и растеривают — и на добрую половину позабыли и порастеряли. Язык наш свободен: его оскопляют и укрощают; чужеземною муштрой ломают его природную осанку, уродуют поступь. Величав и ширококрыл язык наш: как старательно подстригают ему крылья, как шарахаются в сторону от каждого вольного взмаха его памятливых крыл!

В обиходе образованных слоев общества уже давно язык наш растратил то истинное свое достоинство, которое Потебня называл «внутреннею формою слова». Она ссохлась в слове, опустошенном в ядре своем, как сгнивший орех, обратившемся в

условный ценовой знак, обеспеченный наличным запасом понятий. Орудие потребностей повседневного обмена понятиями и словесности обыденной, язык наших грамотеев уже не живая дубрава народной речи, а свинцовый набор печатника.

Чувствование языка в категории орудийности составляет психологическую подоснову и пресловутой орфографической реформы.

<...>

А.С. Изгоев

СОЦИАЛИЗМ, КУЛЬТУРА И БОЛЬШЕВИЗМ

I

Будут ли нынешние события хоть той грозой, которая очищает воздух и проясняет сознание? Или же минут эти дни и месяцы, полные мучительной тревоги, и люди, называющие себя русской интеллигенцией, поучающие словом и на письме народные массы, примутся за свое старое дело? Каждого, кто не отчаялся еще в России, кто еще верит, что «Россия будет», волнует, думаю, больше всего этот вопрос. Нам было дано первое предостережение в 1905—1906 годах. Немногие поняли тогда грозный для государства смысл открывшихся предзнаменований. Нынче нас постиг второй удар, неизмеримо более сильный сравнительно с первым. Вопрос, существует ли Россия, получил жестокий подлинный смысл. Россия в ее настоящем виде, раздробленная на отдельные куски, лишенная доступа к морю, своих пшеничных житниц, национального правительства, Россия с уничтоженной промышленностью, с десятками миллиардов совершенно обесцененных бумажных денег, с поколебленными основами народного труда, — такая Россия существовать не может. Но если случится чудо, и страна воскреснет, если силой тяготения соединятся, на первых порах хотя бы и не все, части разорванного целого, сможет ли этот зародыш воскресающего государства жить и развиваться, расти и крепнуть? Это в значительной степени зависит от идей правящих, руководящих групп. Опыт доказал нам, что без интеллигенции и помимо нее нельзя создать жизнеспособного правительства. Но из того же опыта мы знаем, что интеллигенция, воспитанная в идеях ложных и нежизненных, служит могучим орудием не созидания, а разрушения государства.

Поняла ли русская интеллигенция весь грозный смысл переживаемых событий? Извлекла ли она необходимые уроки? В нынешней обстановке, когда стихийным разливом смыты все постройки и нет еще физической возможности браться за созидание новых, трудно дать точный, объективный ответ на этот вопрос. Но читая то, что пишется, прислушиваясь к тому, что говорится в интеллигентских кругах, начинаешь иногда приходить в отчаяние. «Они ничего не забыли и ничему не научились». Но если так, если умственный багаж русской интеллигенции и после 1917—1918 гг. останется тот же самый, то ясно, что, даже спасшись теперь, государственный корабль, управляемый такими кормчими, вдребезги разобьется при третьем ударе. Основная причина нынешнего нашего бес-

примерного государственного разгрома в том, что интеллигенция совершенно не понимала ни природы человека и силы движущих им мотивов, ни природы общества и государства и условий, необходимых для их укрепления и развития. О человеке, об обществе и государстве наша интеллигенция составила себе фантастические, лживые и ложные представления. Она пользовалась ими как орудиями борьбы с самодержавием. Пока самодержавная власть была сильна, эта борьба происходила на поверхности, не проникая в толщу народа. Но монархическая власть, внутренне оторвавшаяся от народа и покоившаяся на узком фундаменте нескольких тысяч дворян-землевладельцев, не способна была выдерживать тяжести величайшей в истории войны. Монархия рухнула с поразительной быстротой. Русская интеллигенция в лице ее политических партий вынуждена была немедленно из оппозиции перестроиться в органы власти. Тут-то ее и постигло банкротство, заставившее, забыть даже провал монархии. Все главные политические, социально-экономические и психологические идеи, в которых столетие воспитывалась русская интеллигенция, оказались ложными и гибельными для народа. В роли критиков выступили не те или иные литераторы, а сама жизнь. Нет высшего авторитета. На критику жизни нет апелляции. Большевики и их господство и воплотили в себе всю эту критику жизни. Напрасно интеллигенция пытается спасти себя отводом, будто она не отвечает за большевиков. Нет, она отвечает за все их действия и мысли. Большевики лишь последовательно осуществили все то, что говорили и к чему толкали другие. Они лишь поставили точки над *i*, раскрыли скобки, вывели все следствия из посылок, более или менее красноречиво установленных другими. Добросовестность велит признать, что под каждым своим декретом большевики могут привести выдержки из писаний не только Маркса и Ленина, но и всех русских социалистов и сочувственников как марксистского, так и народнического толка. Единственное возражение, которое с этой стороны делалось большевикам, по существу, сводилось к уговорам действовать не так стремительно, не так быстро, не захватывать всего сразу. Это — не принципиальные возражения, а оговорки трусливого оппортунизма. Чхеидзе, Чернов, Церетели, Скобелев, Некрасов, Ефремов, Керенский говорили и проповедывали то, что принципиально должно было привести к господству большевизма, решившегося наконец воплотить в делах их речи.

Для будущности России важно, чтобы социалистической и радикальной интеллигенции не дано было возможности переложить на одних большевиков идейную ответственность за крах всей системы идей. Само собою разумеется, речь идет не об уголовной ответственности. Но в области идей должно быть твердо установлено, что между большевизмом и всеми леворадикальными и социалистическими течениями русской мысли существует тесная, неразрывная связь. Одно влечет за собой другое. Русские социалисты, очутясь у власти, или должны были оставаться простыми, ничего не делающими для осуществления своих идей болтунами, или проделать от «а» до ижицы все, что проделали большевики. Когда большевики на этом настаивают, они неопровержимы. Это оказалось истиной в 1917—1918 гг. Это истинно и для будущего.

<...>

VII

Главная причина нынешнего краха русского социализма в его ложном и лживом учении о человеке. Социализм высшего своего развития достиг в марксизме, научном социализме, экономическом материализме.

Всякому, кто задумается над русской революцией, не может не броситься в глаза, что социализм ошибался не только в своем отношении к высшим сторонам человеческой природы, к духовным стремлениям человека, но что он не понимал и стимулов его материальной деятельности, на которой собирался строить всю общественную жизнь и все социальные связи.

Социализм боролся с религией, национализмом, патриотизмом как явлениями реакционными, служащими препятствием на пути человечества ко всеобщему счастью. Но люди, которых социализм освободил от религии, оказались даже не людьми, а кровожадными, хищными зверями, опасными для всякого человеческого общежития. Лишенные связи с Богом, так, как они Его раньше понимали, эти люди оупели и морально, и умственно. Они почувствовали себя покинутыми пловцами в безбрежном море, лишенными всякой опоры, объатыми вечным страхом окончательной гибели. Их садическая жестокость нередко бывала лишь следствие <м> обуявшего их страха. С крушением веры в Бога у массы людей порвались и всякие социальные связи с ближними, исчез незыблемый критерий отношения к ним, т. е. исчезла основа нравственности. Под флагом социализма в русскую жизнь пришел даже не индивидуализм, законный и в известных пределах для нас необходимый, а противообщественный солипсизм, разрушающий социальные связи. Лозунги говорили о всеобщем братстве и равенстве, а в действительности всякий «социалист» действовал по правилу: каждый для себя, рви что можешь и где можешь.

<...>

...мы должны уметь отличить в социализме то здоровое, что в нем есть, от утопических фантазий, столь губительных для государства и народа. Социальные реформы в направлении постепенного обобществления созревших для этого производственных сил национального государства, демократическая гуманность, перешедшая к социализму от христианства, — вот и все, что есть в социализме ценного и жизненного. Все же остальное: и отрицание национальности и «буржуазной государственности», и провозглашение классовой диктатуры, и террористический способ насаждения экономического равенства и проч., и проч. — все это литературные фантазии, основанные на незнании человеческой природы, пагубные для народа и государства, отдаваемых силой иностранных армий ослепленным изуверам для производства социалистических опытов.

С.А. Котляревский

ОЗДОРОВЛЕНИЕ

<...>

... если нужно было искать среду, где вся патология русской интеллигенции раскрывалась бы с исключительной явственностью, этой среды нужно было бы искать в наших эмигрантских колониях с их полной оторванностью от окружающей жизни и народа, как будто бы эти колонии были окружены совсем чуждой им расой, с незнанием даже языка этого народа, с отсутствием интереса к таким очагам общечеловеческой цивилизации, как Париж и Лондон. Гнетущая материальная нужда не возбуждает энергию к исканию выхода, а окончательно как-то ее подрывает. Все время уходило во взаимных упреках, ссорах, в третейских судах, вся умственная жизнь исчерпывалась рассуждениями на программные темы и митингами протеста. Лишь немногие оказывались способными сколько-нибудь использовать свое заграничное пребывание в смысле более широкого образования; лишь весьма немногие сумели проникнуть в жизнь страны, куда занесла их судьба. Большинство же лишь сгущало ту невыносимую атмосферу истерического бессилия, свойственного нашим колониям, которая давала иностранцам часто столь превратное представление о русском национальном характере вообще и которая еще ждет своего бытописателя.

Наши революционные партии, так долго пораженные недугами подполья и эмиграции, не могли от них освободиться даже тогда, когда перед ними открывался путь свободной политической деятельности. Так было в 1905—1906 годах, так было в несравненно большей степени и в 1917 году, когда они оказались у влияния и власти. И какой дорогой ценой заплатила за это Россия!

<...>

На наших глазах произошло величайшее потрясение всех нравственных устоев русского народа, и если вообще мы способны что-нибудь понимать в наших испытаниях, мы должны понять, что эти устои держались сами на более глубоком основании народной веры. Когда она разрушалась и на месте ее насаждались чудовищный культ своеволия и классово-ненависти, этим предопределялась и великая грядущая катастрофа. Но именно здесь сказался инстинкт духовного самосохранения у народа, который, несмотря на все давление и все соблазны, пошел на призыв колокола своего родного храма. Мы еще не можем оценить всей силы этого несомненно начавшегося религиозного возрождения и не знаем, как глубоко пробудилась в душе русской интеллигенции воля к вере и к церкви. Одно можно сказать с уверенностью. Если настроение морализирующего субъективизма оказалось жизненно несостоятельным, то не менее несостоятельной окажется всякая попытка культурного класса построить свою жизнь на отказе и уходе от нравственных запросов. Но лишь тогда эти запросы перестанут выражаться в бесплодных и мучительных потрясениях мятущихся душ, когда они будут осознаны как религиозные искания. Ибо нет тех невыносимых для нашего чувства и нашего ума противоречий, которые бы не разрешились в божественном Разуме и в божественной Любви.

У неиссякаемых живительных источников должна русская интеллигенция искать восстановления своих сейчас столь жестоко надломленных сил. И тогда, излеченная от своих давних умственных извращений и душевных недугов, она найдет в себе и готовность и способность встать на дело творческого воссоздания России, которая является сейчас, как бы грудой развалин, свидетельствующей о великом содеянном грехе и великой уже понесенной каре...

П.И. Новгородцев

О ПУТЯХ И ЗАДАЧАХ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

5

<...>

Основной закон общественной жизни зиждется на связи общественного порядка с высшими объективными основами истории. Когда мысль человеческая отрывается от этой связи и пытается построить общую жизнь на началах придуманных и отвлеченных, она переворачивает и извращает все естественные отношения. Отсюда — неизбежное расстройство и разрушение, которые она приносит с собою.

Каждая утопия обещает человечеству устранение общественных противоречий, гармонию личности с обществом, единство жизни; и каждая утопия предполагает, что она знает такое универсальное средство, которое приведет к этому блаженному состоянию всеобщей гармонии и мира. Но именно поэтому каждая утопия представляет собою мечту о всецелом устройении, а вместе с тем и упрощении жизни. Предполагается, что можно найти одно слово, одно средство, одно начало, имеющее некоторый всемогущий и всеисцеляющий смысл, что можно согласно с этим началом устроить жизнь по разуму, освободить ее от противоречий, от разлада, от сложности, свести к единству, к согласию, к гармонической простоте.

История человеческая всегда шла и идет чрез возрастающие противоречия, чрез борьбу противоположных начал к высшей сложности. Достижимое для нее единство есть относительное сочетание многообразных различий и возрастающих связей, а не абсолютное примирение противоположностей. Свет разума направляет пути истории, но не устраняет ее творческой глубины, ее бесконечных возможностей, ее иррациональных основ. Вот почему каждая утопия предполагает перерыв истории, чудо социального преобразования и в своем осуществлении приводит к насилию над историей, к злым опытам социального знахарства и колдовства.

Предположение о возможности рационального устройства и упрощения жизни скрывает за собой и другое, еще далее и глубже идущее предположение: что зло и страдание могут быть побеждены разумом человеческим в совершенной общественности, что они связаны лишь с несовершенством учреждений и с неразумием отношений. Космологическую проблему зла и страдания здесь хотят решить в терминах социологических, зло мировое победить устройением социальных отношений. Но если борьба с общественным злом есть величайшая задача госу-

дарственного строительства, то опыт всецелого и немедленного искоренения этого зла, представляя собою самообольщение человеческого ума, оказывается злом еще худшим и приводит к бедствиям еще более тяжким и невыносимым.

<...>

В.Н. Муравьев

РЕВ ПЛЕМЕНИ

3

<...>

Со времени Петра начинается отрыв образованных русских классов от народа и усвоение ими нового западного миросозерцания. Народ остался при старом. Вплоть до нашего времени он жил запасом идей, верований, психологических и действенных навыков, накопленных в средних веках русской истории. Он продолжал жить исторически, воспринимая события и участвуя в них целостным, действенным образом. Но трагическое положение народа нашего заключалось в том, что народ не может существовать без связи с выделяемыми им постоянно образованными слоями. Они для народа то же, что цветок плодоносный для растения, — необходимый орган, обновляющий его жизнь идвигающий его развитие. Мы же находились в таком положении при наличии двух культур, что часть народа, получавшая образование, немедленно этим самым воспринимала чуждое народу миросозерцание, отрывалась от народа, жила вне связи с русской историей. От этого древнее миросозерцание наше не могло развиваться. Не развиваясь же, оно должно было зачахнуть и умереть. Три века держалось оно, несмотря на ожесточенную войну, объявленную ему интеллигенцией, и три века им держалось русское государство. Наконец, к началу XIX века народ оказался вовсе без миросозерцания. Старое умерло, нового он не усвоил.

Старая русская власть была гораздо ближе к народу, чем интеллигенция. Она не только механически опиралась на народ. Она была со всем, что ее окружало и ею питалось, частью русского образованного общества, сохранившей связь со своей историей. При всех ошибках старой власти надо признать, что она до последнего дня оставалась на своем посту и сделала возможное, со своей точки зрения, чтобы спасти остатки завещанного ей прошлым духовного наследия. На ней сказались, однако, общая трагедия русской действительности. Власть не в силах была заменить для народа образованные его слои. Власть не может восполнить отсутствие общественного мнения. И оторванность ее от последнего вскоре отразилась на ней самым губительным образом. Она перестала быть восприимчивой к прогрессу. Она перестала обновляться притоком свежих сил и идей. Она окостенела и сгнила. И мало-помалу, по мере того как умирало миросозерцание, ею искусственно защищаемое, умирала и русская власть. Надо удивляться тому, что она так долго существовала. Но откуда появилась русская интеллигенция? И почему она оторвалась от народа? Русское интеллигентское миросозерцание в том виде, в каком оно существовало в XIX веке, очень определено. В него вошла совокупность идей, отражавших все главные течения европейской мысли. Но отличительная черта

всего этого мирозерцания заключалась в том, что идеи эти усвоены были со свойственным русской душе максимализмом. Они доводились без колебаний до конца. Из них сделаны были бесстрашно все последние, самые суровые и нелепые выводы. Русские интеллигенты остались русскими людьми, искали в европейских откровениях последнюю религиозную правду. И в каждой идее, в каждой теории старательно, ни перед чем не останавливаясь, ее выводили.

<...>

И.А. Покровский

ПЕРУНОВО ЗАКЛЯТЬЕ

II

Переход от монархии к республике является вообще моментом критическим и опасным. Дело в том, что авторитет монархии и монарха покоится всегда на некотором иррациональном основании. Власть монарха в народной психике всегда снабжена в большей или меньшей степени такой или иной сверхразумной санкцией, вследствие чего этой власти повинуются легче и проще, особенно там, где она имеет за себя давность столетий. Власть же демократическая, выборная совершенно лишена подобной иррациональной поддержки; вся она должна опираться исключительно на рациональные мотивы и прежде всего на гражданское сознание необходимости порядка и власти вообще. Эти же рациональные мотивы далеко не всегда оказываются равными по силе прежним, и неудивительно поэтому, если современные социологи отмечают, что демократизация государства приводит сплошь и рядом к ослаблению психологического влияния власти и психологической силы закона. Ибо кто наделяет людей властью, кто издает законы? Наши же представители, т.е. в конечном счете мы сами. И вот власть и закон лишаются своего прежнего мистического авторитета. Таким образом, — говорит J. Cruet, — та самая идея народного суверенитета, которая дает закону наиболее солидное юридическое основание, в то же самое время психологически ослабляет его моральный авторитет; ведь в сущности всякий демократический и парламентарный режим есть ни что иное, как господство критического духа («le gouvernement de l'esprit critique»); в этом его самое лучшее и самое худшее...

При таких условиях совершенно понятно, что наш русский революционный переход от монархии к народоправству представлял в этом отношении исключительные опасности. Весь вопрос заключался в том, сумеет ли наш народ сразу и быстро, в необыкновенно трудной обстановке, в деле порядка и повиновения перейти от иррациональной основы к рациональной, сумеет ли он уловить свои подлинные национальные интересы и водворить в своих рядах надлежащую дисциплину.

Мы знаем, что история не была к нему в этом отношении добра, — она не дала ему постепенной и достаточной подготовки: умственная темнота и политическая невоспитанность народных масс ни для кого не составляли секрета.

Если можно было на что надеяться, так только на здоровый инстинкт народа, да... на разумное руководство им со стороны интеллигенции.

Как же повела себя эта последняя?

<...>

V

<...>

Интеллигенция должна, прежде всего, сознать и почувствовать всю ответственность за каждое слово, с которым она идет к народу. Не буду говорить о необходимости безусловной честности и искренности в проповедывании своих идей; но и при этом условии мы должны помнить, что сплошь и рядом высказанная мысль вызывает в коллективной психологии масс совсем иные эффекты, чем те, которые вытекали бы из объективного содержания самой этой мысли. Всякое умственное общение есть двухсторонний процесс, зависящий от свойств и особенностей психического аппарата обеих сторон, и если мы хотим добиться правильного понимания нашей мысли, мы должны считаться с особенностями аппарата воспринимающего. В противном случае могут получиться самые прискорбные побочные психологические рефлексы и ужасающие искажения, как это случилось ныне с такими понятиями, как демократия, социализм, буржуазия и т. д. Мы должны помнить вообще, что коллективная психология есть нечто в высшей степени сложное, полное явлений иррациональных и капризных: иной раз легко вызвать в ней бурю, но трудно эту бурю потом утишить. Однако первое, что должна сделать наша интеллигенция, — это честно и тщательно пересмотреть свой собственный багаж. Она должна признаться, что в нынешних тяжелых испытаниях она оказалась несостоятельной даже с точки зрения своей интеллигентности, т.е. с точки зрения своих знаний и своего понимания. Она оказалась полужнающей, а иногда и вовсе незнающей того, за разрешение чего она так смело бралась. Надо, таким образом, прежде нежели учить других, тщательнее поучиться самим.

П.Б. Струве

ИСТОРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

I

Русская революция оказалась национальным банкротством и мировым позором — таков непререкаемый морально-политический итог пережитых нами с февраля 1917 года событий.

Разыскание причин той поразительной катастрофы, которая именуется русской революцией и которая в отличие от внутренних кризисов, пережитых другими народами, означает величайшее во всех отношениях падение нашего народа, имеет первостепенное значение для всего его будущего. Конечно, судьбы народов движутся и решаются не рассуждениями. Они опреде-

ляются стремлениями, в основе которых лежат чувства и страсти. Но всякие такие стремления выливаются в идеи, в них формулируются. Явиться могучей движущей и творческой силой исторического процесса страсть может, только заострившись до идеи, а идея должна, в свою очередь, воплотиться в страсть. Для того, чтобы создать такую идею-страсть, которая призвана покорить себе наши чувства и волю, заразить нас до восторга и самозабвения, — мы должны сперва измерить всю глубину того падения, в котором мы оказались, мы должны прочувствовать и продумать наше унижение сполна и до конца. Это — важная очистительная работа самопознания. Отрицательно-самопознания, смешанного из раздумья, покаяния и негодования, недостаточно, однако, для возрождения нации. Необходимы ясные положительные идеи и превращение этих идей в могучие творческие страсти.

<...>

VI

Торжество социализма или коммунизма оказалось в России разрушением государственности и экономической культуры, разгулом погромных страстей, в конце концов поставившим десятки миллионов населения перед угрозой голодной смерти.

В том, что произошло, характерно и существенно своеобразное сочетание, с одной стороны, безмерной рационалистической гордыни ничтожной кучки вожжаков, с другой — разнузданных инстинктов и вожделений неопределенного множества людей, масс.

Таково реальное воплощение в жизни проповеди революционного социализма, опирающегося на идею классово-борьбы. Вожаки мыслят себе организацию общества согласно идеалам коммунизма как цель, разрыв существующих духовных связей и разрушение унаследованных общественных отношений и учреждений — как средство. Массы же не приемлют, не понимают и не могут понять конструктивной цели социализма, но зато жадно воспринимают и с увлечением применяют разрушительное средство.

«Patriotica», предисловие: «Между пороками русской общественности и пороками русской государственности есть роковая внутренняя связь, своего рода историческая круговая порука».

Поэтому идея социализма как организации хозяйственной жизни — безразлично, правильна или неправильна эта идея, — вовсе не воспринимается русскими массами; социализм (или коммунизм) мыслится ими только либо как раздел наличного имущества, либо как получение достаточного и равного пайка с наименьшей затратой труда, с минимумом обязательств. Раздел наличного имущества, равномерный или неравномерный, с признанием или непризнанием права собственности, во всяком случае ничего общего с социализмом как идеей организации хозяйственной жизни не имеет и есть не конструктивно-социалистическая, а отрицательно-индивидуалистическая манипуляция, простое перераспределение или перемещение благ или собственности из одних рук в другие.

«Справедливое распределение» в смысле получения каждым гражданином достаточного и равного пайка с наименьшими жертвами есть в лучшем случае

заключительный потребительный результат социализма. Без социалистической организации народного хозяйства этот результат безжизнен и висит в воздухе, есть чистейшее «проедание» без производства.

Таким образом, социализм как идея строительства планомерной организации хозяйства явился в русской жизни рационалистическим построением ничтожной кучки доктринеров-вожаков, поднятых волной народных страстей и вожделений, но бессильных ею управлять. Социализм же как идея раздела или передела имущества, означая конкретно уничтожение множества капитальных ценностей, упирается в пассивное потребление, или расточение, «проедание» благ, за которым не видится ничего, кроме голода и борьбы голодных людей из-за скудного и непрерывно скудеющего запаса благ.

<...>

С.Л. Франк

DE PROFUNDIS

III

Более глубокое определение источника зла, погубившего Россию, приходится отметить в лице нарастающего сознания гибельности социалистической идеи, захватившей широкие круги русской интеллигенции и просочившейся могучими струями в народные массы. Действительно, Россия произвела такой грандиозный и ужасный по своим последствиям эксперимент всеобщего распространения и непосредственного практического приложения социализма к жизни, который не только для нас, но, вероятно, и для всей Европы обнаружил все зло, всю внутреннюю нравственную порочность этого движения. На примере нашей судьбы мы начинаем понимать, что на Западе социализм лишь потому не оказал разрушительного влияния и даже, наоборот, в известной мере содействовал улучшению форм жизни, укреплению ее нравственных основ, что этот социализм не только извне сдерживался могучими консервативными культурными силами, но и изнутри насквозь был ими пропитан; короче говоря, потому, что это был не чистый социализм в своем собственном существе, а всецело буржуазный, государственный, несоциалистический социализм. У нас же, при отсутствии всяких внешних и внутренних преград и чужеродных примесей, при нашей склонности к логическому упрощению идей и прямолинейному выявлению их действительного существа, социализм в своем чистом виде разросся пышным махровым цветом и в изобилии принес свои ядовитые плоды. Вопреки всем распространенным попыткам затушевать идейную остроту нынешнего конфликта, необходимо открыто признать, что именно самые крайние из наших социалистических партий ярче и последовательнее всего выражают существо социализма — того революционно-бунтарского социализма, который выявил свой живой облик в 40-х годах. Ибо с позднейшим проникновением социализма в широкие народные массы и превращением его в длительное партийное движение в

рамках европейской буржуазной государственности четкость и резкая выразительность этого живого облика постепенно ступшеывалась и смягчалась. Уже так называемый «научный социализм» содержал непримиренную двойственность между разрушительным, бунтарским отрицанием культурно-социальных связей европейского общества и широко-терпимым, по существу консервативным, научно-эволюционным отношением к этим связям. Позднейшее же растворение социализма в мирное экономическое и политическое движение улучшения судьбы рабочего класса оставило от антинационального, противогосударственного и чисто разрушительного существа социализма едва ли не одну пустую фразеологию, лишенную всякого действительного значения. Внешне побеждая, социализм на Западе был обезврежен и внутренне побежден ассимилирующей и воспитательной силой давней государственной, нравственной и научной культуры. У нас же, где социализм действительно победил все противодействия и стал господствующим политическим умонастроением интеллигенции и народных масс, его торжество с неизбежностью привело к крушению государства и к разрушению социальных связей и культурных сил, на которых зиждется государственность.

Против этого понимания причин нашей катастрофы нельзя возражать в духе рассмотренного нами выше ходячего объяснения, указанием, что по существу своему русские народные массы совсем не подготовлены к восприятию социализма и по духу своему не социалистичны. Конечно, наши рабочие стремились не к социализму, а просто к привольной жизни, к безмерному увеличению своих доходов и возможному сокращению труда; наши солдаты отказались воевать не из идеи интернационализма, а просто как усталые люди, чуждые идеи государственного долга и помышлявшие не о родине и государстве, а лишь о своей деревне, которая далеко и до которой «немец не дойдет»; и в особенности столь неожиданно обращенные в «эсэров» крестьяне делили землю не из веры в правду социализма, а одержимые яростной корыстью собственников. Все это фактически бесспорно, но сила этого указания погашается более глубоким уяснением самого морально-психологического существа социализма. Ибо эта внутренняя ложь, это несоответствие между величием идей и грубостью прикрываемых ими реальных мотивов, столь драматически, с карикатурной резкостью обнаружившееся в наших условиях, с необходимостью вытекает из самого существа социализма. Революционный социализм, утверждающий возможность установления правды и счастья на земле механическим путем политического переворота и насильственной «диктатуры», — социализм, основанный на учении о верховенстве хозяйственных интересов и о классовой борьбе, усматривающий в корыстолюбии высших классов единственный источник всяческого зла, а в таком же по существу корыстолюбии низших классов — священную силу, творящую добро и правду, — этот социализм несет в себе имманентную необходимость универсального общественного лицемерия, освящения низменно-корыстных мотивов моральным пафосом благородства и бескорыстия. И потому и здесь не следует умалять значения чисто идейного и сверхиндивидуального начала: нас погубили не просто низкие, земные, эгоистические страсти народных масс, ибо эти страсти присущи при всяких условиях большинству людей и все же сдерживают

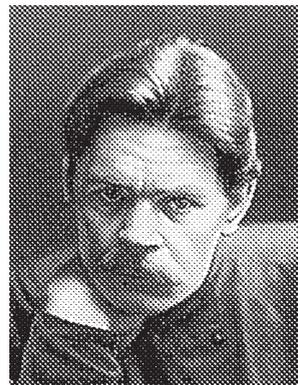
ся противодействием сил религиозного, морального и культурно-общественного порядка; нас погубило именно разнуздание этих страстей через прививку идейного яда социализма, искусственное накаление их до степени фанатической иступленности и одержимости и искусственная морально-правовая атмосфера, дававшая им свободу и безнаказанность. Неприкрытое, голое зло грубых вождельний никогда не может стать могущественной исторической силой; такой силой оно становится лишь когда начинает соблазнять людей лживым обликом добра и бескорыстной идеи.

Не подлежит, таким образом, сомнению, что революционный социализм, в своей чистой, ничем не смягченной и не нейтрализованной эссенции, оказался для нас ядом, который, будучи впитан народным организмом, неспособным выделить из себя соответствующих противоядий, привел к смертельному заболеванию, к гангренозному разложению мозга и сердца русского государства. Полное осознание этого факта есть существенный, необходимый момент того покаянного самопознания, вне которого нам нет спасения. Разрушительность социализма в последнем счете обусловлена его материализмом — отрицанием в нем единственных подлинно зиждательных и объединяющих сил общественной — именно органических внутренне-духовных сил общественного бытия. Интернационализм — отрицание и осмеяние организующей духовной силы национальности и национальной государственности, отрицание самой идеи права как начала сверхклассовой и сверхиндивидуальной справедливости и объективности в общественных отношениях, непонимание зависимости материального и морального прогресса от внутренней духовной годности человека, от его культурной воспитанности в личной и общественной жизни, механический и атомистический взгляд на общество как на арену чисто внешнего столкновения разъединяющих, эгоистических сил, — таковы главные из отрицательных и разлагающих мотивов этого материализма. Поскольку можно зрелище гибели собственной родины созерцать с точки зрения чисто научной любознательности, в нем можно усмотреть грандиозный эксперимент сведения к нелепости материалистического понимания исторической жизни. Ибо здесь показано воочию, что практический материализм, при отсутствии самодовлеющих сил духовного порядка, есть фактор не бытия и развития общества, а лишь его крушения и разложения.

<...>

Источник: Вехи. Из глубины. Приложение к журналу «Вопросы философии». М.: Правда, 1991.

Максим Горький
(Алексей Максимович Пешков)
(1868–1936)



Писатель, драматург, общественный деятель.

Родился в Нижнем Новгороде в обеспеченной семье столяра-краснодеревщика. «Свинцовые мерзости» его жизни в детстве и во время хождения в люди сильно преувеличены. В юности много бродяжничал по стране. Печататься начал с 1892 г. («Макар Чудра»). После публикации рассказов и повестей о романтической, яркой и беззаботной жизни бродяг получил всероссийскую известность как первый истинный пролетарий, ставший писателем. Пьеса «На дне» (1902) принесла ему всемирную известность.

В 1905 г. вступил в партию большевиков. Из своих весьма внушительных гонораров оказывал значительную финансовую помощь большевикам во время революции 1905 г. В 1906-1913 гг. жил на Капри, где и организовал финансировал партийную школу большевиков. Часто встречался и сблизился с В.И. Лениным.

Восторженно встретив Февральскую революцию, резко негативно отзывался в газете «Новая жизнь», фактическим главным редактором которой он был с апреля 1917 г., о предоктябрьской и, особенно, послеоктябрьской политике большевиков. После закрытия газеты по прямому указанию Ленина, вскоре покидает Россию (официально по состоянию здоровья) и живет в Сорренто. К началу 30-х годов финансовое положение Горького резко ухудшилось – его практически перестали печатать, и он был вынужден вернуться в СССР, где его ждал восторженный прием. Несмотря на огромную популярность и всевозможные почести, чувствовал себя в золотой клетке и несколько раз просился за границу. Но Сталин каждый раз отказывал, боясь разоблачения истинного положения в СССР. Обстоятельства смерти Горького до сих пор окончательно не выяснены.

Статьи Горького, напечатанные в 1917-18 гг. в «Новой жизни», были опубликованы им отдельной книгой «Несвоевременные мысли» в 1918 г. и в СССР не переиздавались до 1990 г. (Москва, Советский писатель). Показательно, что в этом издании на 185 стр. собственно текста Горького приходится 72 стр. вступительной статьи и 134 стр. комментариев. И это в 1990 г., после опубликования всего Солженицына, включая «Архипелаг»!

Первое издание:

М. Горький. Несвоевременные мысли. Заметки о революции и культуре. «Культура и свобода», Просветительское О-во в память 27-го февраля 1917 года. Петроград, Лиговская ул., 3.

НЕСВОЕВРЕМЕННЫЕ МЫСЛИ. ЗАМЕТКИ О РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И КУЛЬТУРЕ

I

Русский народ обвенчался со Свободой. Будем верить, что от этого союза в нашей стране, измученной и физически, и духовно, родятся новые сильные люди.

Будем крепко верить, что в русском человеке разгорятся ярким огнем силы его разума и воли, силы, погашенные и подавленные вековым гнетом полицейского строя жизни.

Но нам не следует забывать, что все мы — люди вчерашнего дня и что великое дело возрождения страны в руках людей, воспитанных тяжкими впечатлениями прошлого в духе недоверия друг к другу, неуважения к ближнему и уродливого эгоизма.

Мы выросли в атмосфере «подполья»; то, что мы называли легальной деятельностью, было, в сущности своей, или лучеиспусканием в пустоту, или же мелким политиканством групп и личностей, междуособной борьбой людей, чувство собственного достоинства которых выродилось в болезненное самолюбие.

Живя среди отравлявших душу безобразий старого режима, среди анархии, рожденной им, видя, как безграничны пределы власти авантюристов, которые правили нами, мы — естественно и неизбежно — заразились всеми пагубными свойствами, всеми навыками и приемами людей, презиравших нас, издевавшихся над нами.

Нам негде и не на чем было развить в себе чувство личной ответственности за несчастья страны, за ее постыдную жизнь, мы отравлены трупным ядом издохшего монархизма.

Публикуемые в газетах списки «секретных сотрудников Охранного отделения», — это позорный обвинительный акт против нас, это один из признаков социального распада и гниения страны, - признак грозный.

Есть и еще много грязи, ржавчины и всяческой отравы, все это не скоро исчезнет; старый порядок разрушен физически, но духовно он остается жить и вокруг нас, и в нас самих. Многоглавая гидра невежества, варварства, глупости, пошлости и хамства не убита; она испугана, спряталась, но не потеряла способности пожирать живые души.

Не нужно забывать, что мы живем в дебрях многомиллионной массы обывателя, политически безграмотного, социально невоспитанного. Люди, которые не знают, чего они хотят, — это люди опасные политически и социально. Масса обывателя еще не скоро распределится по своим классовым путям, по линиям ясно осознанных интересов, она не скоро организуется и станет способна к сознательной и творческой социальной борьбе. И до поры, пока не организуется, она будет питать своим мутным и нездоровым соком чудовищ прошлого, рожденных привычным обывателю полицейским строем.

Можно бы указать и еще на некоторые угрозы новому строю, но говорить об этом преждевременно да, пожалуй, и нецензурно.

Мы переживаем момент в высшей степени сложный, требующий напряжения всех наших сил, упорной работы и величайшей осторожности в решении

ях. Нам не нужно забывать роковых ошибок 1905-6 гг., — зверская расправа, последовавшая за этими ошибками, обессилила и обезглавила нас на целое десятилетие. За это время мы политически и социально развратились, а война, истребив сотни тысяч молодежи, еще больше подорвала наши силы, подорвав под корень экономическую жизнь страны.

Поколению, которое первым примет новый строй жизни, свобода досталась дешево; это поколение плохо знает страшные усилия людей, на протяжении целого века постепенно разрушавших мрачную крепость русского монархизма.

Обыватель не знал той адовой, кротовой работы, которая сделана для него, — этот каторжный труд неведом не только одному обывателю десятисот уездных городов российских.

<...>

Мы добивались свободы слова затем, чтобы иметь возможность говорить и писать правду.

Но говорить правду, — это искусство труднейшее из всех искусств, ибо в своем «чистом» виде, не связанная с интересами личностей, групп, классов, наций, — правда почти совершенно неудобна для пользования обывателя и неприемлема для него. Таково проклятое свойство «чистой» правды, но в то же время это самая лучшая и самая необходимая для нас правда.

<...>

Вот уже почти две недели, каждую ночь толпы людей грабят винные погреба, напиваются, бьют друг друга бутылками по башкам, режут руки осколками стекла и точно свиньи валяются в грязи, в крови. За эти дни истреблено вина на несколько десятков миллионов рублей и, конечно, будет истреблено на сотни миллионов.

Если б этот ценный товар продать в Швецию — мы могли бы получить за него золотом или товарами, необходимыми стране — мануфактурой, лекарствами, машинами.

Люди из Смольного, спохватясь несколько поздно, грозят за пьянство строгими карами, но пьяницы угроз не боятся и продолжают уничтожать товар, который давно бы следовало реквизировать, объявить собственностью обнищавшей нации и выгодно, с пользой для всех, продать.

Во время винных погромов людей пристреливают, как бешеных волков, постепенно приучая к спокойному истреблению ближнего.

В «Правде» пишут о пьяных погромах как о «провокации буржуев», — что, конечно, ложь, это «красное словцо», которое может усилить кровопролитие.

Развивается воровство, растут грабежи, бесстыдники упражняются во взяточничестве так же ловко, как делали это чиновники царской власти; темные люди, собравшиеся вокруг Смольного, пытаются шантажировать запуганного обывателя. Грубость представителей «правительства народных комиссаров» вызывает общие нарекания, и они — справедливые. Разная мелкая сошка, наслаждаясь властью, относится к гражданину как к побежденному, т.е. так же, как относилась к нему полиция царя. Орут на всех, орут как

будочки в Конотопе или Чухломе. Все это творится от имени «пролетариата» и во имя «социальной революции», и все это является торжеством звериного быта, развитием той азиатчины, которая гноит нас.

А где же и в чем выражается «идеализм русского рабочего», о котором так лестно писал Карл Каутский?

Где же и как воплощается в жизнь мораль социализма, — «новая» мораль?

Ожидая, что кто-нибудь из «реальных политиков» воскликнет с пренебрежением ко всему указанному:

— Чего вы хотите? Это — социальная революция!

Нет, — в этом взрыве зоологических инстинктов я не вижу ярко выраженных элементов социальной революции. Это русский бунт без социалистов по духу, без участия социалистической психологии.

<...>

XXXVI

Все настойчивее распространяются слухи о том, что 20-го октября предстоит «выступление большевиков» — иными словами: могут быть повторены отвратительные сцены 3-5 июля. Значит — снова грузовые автомобили, тесно набитые людьми с винтовками и револьверами в дрожащих от страха руках, и эти винтовки будут стрелять в стекла магазинов, в людей — куда попало! Будут стрелять только потому, что люди, вооруженные ими, захотят убить свой страх. Вспыхнут и начнут падать, отравляя злобой, ненавистью, мстостью, все темные инстинкты толпы, раздраженной разрухой жизни, ложью и грязью политики — люди будут убивать друг друга, не умея уничтожить своей звериной глупости.

На улицу выползет неорганизованная толпа, плохо понимающая, чего она хочет, и, прикрываясь ею, авантюристы, воры, профессиональные убийцы начнут «творить историю русской революции».

Одним словом — повторится та кровавая, бессмысленная бойня, которую мы уже видели и которая подорвала во всей стране моральное значение революции, пошатнула ее культурный смысл.

Весьма вероятно, что на сей раз события примут еще более кровавый и погромный характер, нанесут еще более тяжкий удар революции. Кому и для чего нужно все это? Центральный Комитет с.-д. большевиков, очевидно, не принимает участия в предполагаемой аванюре, ибо до сего дня он ничем не подтвердил слухов о предстоящем выступлении, хотя и не опровергает их.

Уместно спросить: неужели есть авантюристы, которые, видя упадок революционной энергии сознательной части пролетариата, думают возбудить эту энергию путем обильного кровопускания? Или эти авантюристы желают ускорить удар контрреволюции и ради этой цели стремятся дезорганизовать с трудом организуемые силы?

Центральный комитет большевиков обязан опровергнуть слухи о выступлении 20-го, он должен сделать это, если он действительно является сильным и свободно действующим политическим органом, способным управлять массами, а не безвольной игрушкой настроений одичавшей толпы, не орудием в руках бесстыднейших авантюристов или обезумевших фанатиков.

XXXVII

Министры социалисты, выпущенные из Петропавловской крепости Лениным и Троцким, разъехались по домам, оставив своих товарищей М.В. Бернацкого, А. И. Коновалова, М.И. Терещенко и других во власти людей, не имеющих никакого представления о свободе личности, о правах человека.

Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти, о чем свидетельствует их позорное отношение к свободе слова, личности и ко всей сумме тех прав, за торжество которых боролась демократия.

Слепые фанатики и бессовестные авантюристы сломя голову мчатся, якобы по пути к «социальной революции» — на самом деле это путь к анархии, к гибели пролетариата и революции.

На этом пути Ленин и соратники его считают возможным совершать все преступления, вроде бойни под Петербургом, разгрома Москвы, уничтожения свободы слова, бессмысленных арестов — все мерзости, которые делали Плеве и Столыпин.

Конечно — Столыпин и Плеве шли против демократии, против всего живого и честного в России, а за Лениным идет довольно значительная — пока — часть рабочих, но я верю, что разум рабочего класса, его сознание своих исторических задач скоро откроет пролетариату глаза на всю несбыточность обещаний Ленина, на всю глубину его безумия и его Нечаевско-Бакунинский анархизм.

Рабочий класс не может не понять, что Ленин на его шкуре, на его крови производит только некий опыт, стремится довести революционное настроение пролетариата до последней крайности и посмотреть — что из этого выйдет? Конечно, он не верит в возможность победы пролетариата в России при данных условиях, но, может быть, он надеется на чудо.

Рабочий класс должен знать, что чудес в действительности не бывает, что его ждет голод, полное расстройство промышленности, разгром транспорта, длительная кровавая анархия, а за нею — не менее кровавая и мрачная реакция.

Вот куда ведет пролетариат его сегодняшний вождь, и надо понять, что Ленин не всемогущий чародей, а хладнокровный фокусник, не жалеющий ни чести, ни жизни пролетариата.

Рабочие не должны позволять авантюристам и безумцам взваливать на голову пролетариата позорные, бессмысленные и кровавые преступления, за которые расплачиваться будет не Ленин, а сам же пролетариат.

Я спрашиваю:

Помнит ли русская демократия — за торжество каких идей она боролась с деспотизмом монархии?

Считает ли она себя способной и ныне продолжать эту борьбу?

Помнит ли она, что когда жандармы Романовых бросали в тюрьмы и в каторгу ее идейных вождей — она называла этот прием борьбы подлым? Чем отличается отношение Ленина к свободе слова от такого же отношения Столыпиных, Плеве и прочих полулюдей?

Не так же ли Ленинская власть хватает и тащит в тюрьму всех несогласномыслящих, как это делала власть Романовых?

Почему Бернацкий, Коновалов и другие члены коалиционного правитель-

ства сидят в крепости, — разве они в чем-то преступнее своих товарищей социалистов, освобожденных Лениным?

Единственным честным ответом на эти вопросы должно быть немедленное требование освободить министров и других безвинно арестованных, а также восстановить свободу слова во всей ее полноте.

Затем разумные элементы демократии должны сделать дальнейшие выводы, — должны решить, по пути ли им с заговорщиками и анархистами Нечаевского типа?

XXXVIII

Владимир Ленин вводит в России социалистический строй по методу Нечаева — «на всех парах через болото».

И Ленин, и Троцкий, и все другие, кто сопровождает их к гибели в тряси-не действительности, очевидно убеждены вместе с Нечаевым, что «правом на бесчестье всего легче русского человека за собой увлечь можно», и вот они хладнокровно бесчестят революцию, бесчестят рабочий класс, заставляя его устраивать кровавые бои, понукая к погромам, к арестам ни в чем не повинных людей, вроде А.В. Карташева, М.В. Бернацкого, А.И. Коновалова и других.

Заставив пролетариат согласиться на уничтожение свободы печати, Ленин и приспешники его узаконили этим для врагов демократии право зажимать ей рот; грозя голодом и погромами всем, кто не согласен с деспотизмом Ленина — Троцкого, эти «вожди» оправдывают деспотизм власти, против которого так мучительно долго боролись все лучшие силы страны.

«Послушание школьников и дурачков», идущих вместе за Лениным и Троцким, «достигло высшей черты», — ругая своих вождей заглазно, то уходя от них, то снова присоединяясь к ним, школьники и дурачки, в конце концов, покорно служат воле догматиков, и все более возбуждают в наиболее темной массе солдат и рабочих несбыточные надежды на беспечальное житье.

Вообразив себя Наполеонами от социализма, ленинцы рвут и мечут, довершая разрушение России — русский народ заплатит за это озерами крови.

Сам Ленин, конечно, человек исключительной силы; двадцать пять лет он стоял в первых рядах борцов за торжество социализма, он является одною из наиболее крупных и ярких фигур международной социал-демократии; человек талантливый, он обладает всеми свойствами «вождя», а также и необходимым для этой роли отсутствием морали и чисто барским, безжалостным отношением к жизни народных масс.

Ленин «вождь» и — русский барин, не чуждый некоторых душевных свойств этого ушедшего в небытие сословия, а потому он считает себя вправе проделать с русским народом жестокий опыт, заранее обреченный на неудачу.

Измученный и разоренный войною народ уже заплатил за этот опыт тысячами жизней и принужден будет заплатить десятками тысяч, что надолго обезглавит его.

Эта неизбежная трагедия не смущает Ленина, раба догмы, и его приспешников — его рабов. Жизнь, во всей ее сложности, не ведома Ленину, он не знает народной массы, не жил с ней, но он — по книжкам — узнал, чем мож-

но поднять эту массу на дыбы, чем — всего легче — разъярить ее инстинкты. Рабочий класс для Лениных то же, что для металлста руда. Возможно ли — при всех данных условиях — отлить из этой руды социалистическое государство? По-видимому, — невозможно; однако — отчего не попробовать? Чем рискует Ленин, если опыт не удастся?

Он работает как химик в лаборатории, с тою разницей, что химик пользуется мертвой материей, но его работа дает ценный для жизни результат, а Ленин работает над живым материалом и ведет к гибели революцию.

Сознательные рабочие, идущие за Лениным, должны понять, что с русским рабочим классом продельвается безжалостный опыт, который уничтожит лучшие силы рабочих и надолго остановит нормальное развитие русской революции.

<...>

III

Известная часть нашей интеллигенции, изучая русское народное творчество по немецкой указке, тоже очень быстро дошла до славянофильства, панславизма, «мессианства», заразив вредной идеей русской самобытности другую часть мыслящих людей, которые, мысля по-европейски, чувствовали по-русски, и это привело их к сентиментальному полубожанию «народа», воспитанного в рабстве, пьянстве, мрачных суевериях церкви и чуждого красивым мечтам интеллигенции.

Русский народ, — в силу условий своего исторического развития, — огромное дряблое тело, лишненное вкуса к государственному строительству и почти недоступное влиянию идей, способных облагородить волевые акты; русская интеллигенция — болезненно распухшая от обилия чужих мыслей голова, связанная с туловищем не крепким позвоночником единства желаний и целей, а какой-то еле различимой тоненькой нервной нитью.

Забитый до отупения жестокой действительностью, пьяненький, до отращения терпеливый и, по-своему, хитренький, московский народ всегда был и остается — совершенно чужд психологически российскому интеллигенту, богатому книжными знаниями и нищему знанием русской действительности. Тело плотно лежит на земле, а голова выросла высоко в небеса, — издали же, как известно, все кажется лучше, чем вблизи.

Конечно, мы совершаем опыт социальной революции, — занятие, весьма утешающее маньяков этой прекрасной идеи и очень полезное для жуликов. Как известно, одним из наиболее громких и горячо принятых к сердцу лозунгов нашей самобытной революции явился лозунг: «Грабь награбленное!»

Грабят — изумительно, артистически; нет сомнения, что об этом процессе самограбления Руси история будет рассказывать с величайшим пафосом.

Грабят и продают церкви, военные музеи, — продают пушки и винтовки, разворовывают интендантские запасы, — грабят дворцы бывших великих князей, расхищают все, что можно расхитить, продается все, что можно продать, в Феодосии солдаты даже людьми торгуют: привезли с Кавказа турчанок, армянок, курдов и продают их по 25 руб. за штуку. Это очень «самобытно», и мы можем гордиться — ничего подобного не было даже в эпоху Великой Французской революции.

Честные люди, которых у нас всегда был недостаток, ныне почти совсем перевелись; недавно я слышал приглашение такого рода:

– Поезжайте к нам, товарищ, а то у нас, кроме трех рабочих, ни одного честного человека нет!

И вот этот маломощный, темный, органически склонный к анархизму народ ныне призывается быть духовным водителем мира, Мессией Европы.

Казалось бы, что эта курьезная и сентиментальная идея не должна путать трагическую игру народных комиссаров. Но «водители народа» не скрывают своего намерения зажечь из сырых русских поленьев костер, огонь которого осветил бы западный мир, тот мир, где огни социального творчества горят более ярко и разумно, чем у нас, на Руси.

Костер зажгли, он горит плохо, воняет Русью, грязненькой, пьяной и жестокой. И вот эту несчастную Русь тащат и толкают на Голгофу, чтобы распять ее ради спасения мира. Разве это не «мессианство» во сто лошадиных сил?

А западный мир суров и недоверчив, он совершенно лишен сентиментализма. В этом мире дело оценки человека стоит очень просто: вы любите, вы умеете работать? Если так — вы человек, необходимый миру, вы именно тот человек, силою которого творится все ценное и прекрасное. Вы не любите, не умеете работать? Тогда, при всех иных ваших качествах, как бы они ни были превосходны, вы — лишний человек в мастерской мира. Вот и все.

А так как россияне работать не любят и не умеют, и западноевропейский мир это их свойство знает очень хорошо, то — нам будет очень худо, хуже, чем мы ожидаем...

Наша революция дала полный простор всем дурным и зверским инстинктам, накопившимся под свинцовой крышей монархии, и, в то же время, она отбросила в сторону от себя все интеллектуальные силы демократии, всю моральную энергию страны. Мы видим, что среди служителей Советской власти то и дело ловят взяточников, спекулянтов, жуликов, а честные, умеющие работать люди, чтоб не умереть от голода, торгуют на улицах газетами, занимаются физическим трудом, увеличивая массы безработных.

Это — кошмар, это чисто русская нелепость, и не грех сказать — это идиотизм!

Все условия действительности повелительно диктуют необходимость объединения демократии, для всякого разумного человека ясно, что только единство демократии позволит спасти революцию от полной гибели, поможет ей одолеть внутреннего врага и бороться с внешним. Но Советская власть этого не понимает, будучи занята исключительно делом собственного спасения от гибели, неизбежной для нее.

Устремив взоры свои в даль грядущего, она забывает о том, что будущее создается из настоящего. В настоящем страна имеет дезорганизованный рабочий класс, истребляемый в междоусобной бойне, разрушенную до основания промышленность, оципанное догола государство, отданное на поток и разграбление людям звериных инстинктов.

Власть бессильна в борьбе с этими людьми, бессильна, сколько бы она ни расстреливала «нечаянно» людей, ни в чем не повинных.

И она будет бессильна в этой борьбе до поры, пока не решится привлечь к делу строительства жизни все интеллектуальные силы русской демократии.

<...>

LVIII

Всякое правительство — как бы оно себя ни именovalo — стремится не только «управлять» волею народных масс, но и воспитывать эту волю сообразно своим принципам и целям. Наиболее демагогические и ловкие правительства обычно прикрашивают свое стремление управлять народной волей и воспитывать ее словами: «мы выражаем волю народа». Это, разумеется, не искренние слова, ибо, в конце концов, интеллектуальная сила правительства одолевает инстинкты масс, если же это не удастся правящим органам, они употребляют для подавления враждебной их целям народной воли физическую силу.

Резолюцией, заранее удуманной в кабинете, или штыком и пулей, но правительство всегда и неизбежно стремится овладеть волею масс, убедить народ в том, что оно ведет его по самому правильному пути к счастью.

Эта политика является неизбежной обязанностью всякого правительства: будучи уверенным, что оно разум народа, оно принуждается позицией своей внушать народу убеждение в том, что он обладает самым умным и честным правительством, искренно преданным интересам народа.

Народные комиссары стремятся именно к этой цели, не стесняясь — как не стесняется никакое правительство — расстрелами, убийствами и арестами несогласных с ним, не стесняясь никакой клеветой и ложью на врага.

Но, воспитывая доверие к себе, народные комиссары, вообще плохо знающие «русскую стихию», совершенно не принимают в расчет ту страшную психическую атмосферу, которая создана бесплодными мучениями почти четырехлетней войны и благодаря которой «русская стихия» — психология русской массы — сделалась еще более темной, хлесткой и озлобленной.

Г. г. народные комиссары совершенно не понимают того факта, что когда они возглашают лозунги «социальной» революции — духовно и физически измученный народ переводит эти лозунги на свой язык несколькими краткими словами:

— Громи, грабь, разрушай...

И разрушает редкие гнезда сельскохозяйственной культуры в России, разрушает города Персии, ее виноградники, фруктовые сады, даже оросительную систему, разрушают все и всюду.

А когда народные комиссары слишком красноречиво и панически кричат о необходимости борьбы с «буржуем», темная масса понимает это как прямой призыв к убийствам, что она доказала.

Говоря, что народные комиссары «не понимают», какое эхо будят в народе их истерические вопли о назревающей контрреволюции, я сознательно делаю допущение, несколько объясняющее безумный образ их действий, но отнюдь не оправдываю их. Если они влезли в «правительство», они должны знать, кем и при каких условиях они управляют.

Народ изболел, исстрадался, измучен неопишимо, полон чувства мести, злобы, ненависти, и эти чувства все растут, соответственно силе своей организуя волю народа.

Считают ли себя г. г. народные комиссары призванными выражать разрушительные стремления этой больной воли? Или они считают себя в

состоянии оздоровить и организовать эту волю? Достаточно ли сильны и свободны они для выполнения второй, настоятельно необходимой работы?

Этот вопрос они должны бы поставить пред собою со всей прямотой и решительностью честных людей. Но нет никаких оснований думать, что они способны поставить на суд разума и совести своей этот вопрос.

Окруженные взволнованной русской стихией, они ослепли интеллектуально и морально и уже теперь являются бессильной жертвой в лапах измученного прошлым и возбужденного ими зверя.

<...>

Из статей А.М. Горького в «Новой жизни», не включенных автором в основной корпус издания

Из статьи «В Москве»

(«Новая жизнь», № 175, 8(21) ноябрь 1917г.)

Круглые, гаденькие пульки шрапнели градом барабанят по железу крыш, падают на камни мостовой, — зрители бросаются собирать их «на память» и ползают в грязи.

В некоторых домах вблизи Кремля стены домов пробиты снарядами, и, вероятно, в этих домах погибли десятки ни в чем не повинных людей. Снаряды летали так же бессмысленно, как бессмыслен был весь этот шестидневный процесс кровавой бойни и разгрома Москвы.

В сущности своей Московская бойня была кошмарным кровавым избиением младенцев. С одной стороны — юноши красногвардейцы, не умеющие держать ружья в руках, и солдаты, почти не отдающие себе отчета — кого ради они идут на смерть, чего ради убивают? С другой — ничтожная количественно кучка юнкеров, мужественно исполняющих свой «долг», как это было внушено им.

Разумеется — это наглая ложь, что все юнкера «дети буржуев и помещиков», а потому и подлежат истреблению, это ложь авантюристов и бешеных догматиков. И если бы принадлежность к тому или иному классу решала поведение человека, тогда Симбирский дворянин Ульянов-Ленин должен стоять в рядах российских аграриев, бок о бок с Пуришкевичем, а Бронштейн-Троцкий — заниматься коммивояжерством.

Ужасно положение юношества в этой проклятой стране! Начиная с 60-х годов мы пытались пробить головами молодежи стену самодержавия, пятьдесят лет истреблялось русское юношество в тюрьмах, ссылке, каторге и — вот пред нами налицо трагический результат этой «политики»: в России нет талантливых людей, нет людей, даже просто способных работать. Самодержавие истощило духовную мощь страны, война физически истребила сотни тысяч молодежи, революция, развиваясь без энтузиазма, очевидно, не может воспитать сильных духом людей и продолжает процесс истребления юношества.

Я знаю, — сумасшедшим догматикам безразлично будущее народа, они смотрят на него как на материал для социальных опытов; я знаю, что для них

недоступны те мысли и чувства, которые терзают душу всякого искреннего демократа, — я не для них говорю.

Но — неужели обезумела вся демократия, неужели нет людей, которые, почувствовав ужас происходящего, вышвырнули бы обезумевших сектантов прочь из своей среды?

9 января — 5 января

(«Новая Жизнь» № 6 (220), 9 (22) января 1918 г.)

9-го января 1905 г., когда забитые, замордованные солдаты расстреливали, по приказу царской власти, безоружные и мирные толпы рабочих, к солдатам — невольным убийцам — подбегали интеллигенты, рабочие и в упор в лицо — кричали им:

— Что вы делаете, проклятые? Кого убиваете? Ведь это ваши братья, они безоружны, они не имеют зла против вас, — они идут к царю просить его внимания к их нужде. Они даже не требуют, а просят, без угроз, беззлобно и покорно! Опомнитесь, что вы делаете, идиоты!

Казалось, что эти простые, ясные слова, вызванные тоской и болью за безвинно убиваемых рабочих, должны бы найти дорогу к сердцу «кроткого» русского мужичка, одетого в серую шинель.

Но кроткий мужичок или бил прикладом совестливых людей, или колол их штыком, или же орал, вздрагивая от злобы:

— Расходись, стрелять будем!

Не расходились, и тогда он метко стрелял, укладывая на мостовую десятки и сотни трупов.

Большинство же солдат царя отвечало на упреки и уговоры унылым, рабским словом:

— Приказано. Мы ничего не знаем, — нам приказано...

И как машины, они стреляли в толпы людей. Не охотно, может быть, — скрепя сердце, но — стреляли.

5-го января 1918-го года безоружная петербургская демократия — рабочие, служащие — мирно манифестировала в честь Учредительного Собрания.

Лучшие русские люди почти сто лет жили идеей Учредительного Собрания — политического органа, который дал бы всей демократии русской возможность свободно выразить свою волю. В борьбе за эту идею погибли в тюрьмах, в ссылке и каторге, на виселицах и под пулями солдат тысячи интеллигентов, десятки тысяч рабочих и крестьян. На жертвенник этой священной идеи пролиты реки крови — и вот «народные комиссары» приказали расстрелять демократию, которая манифестировала в честь этой идеи. Напомню, что многие из «народных комиссаров» сами же, на протяжении всей политической деятельности своей, внушали рабочим массам необходимость борьбы за созыв Учредительного Собрания. «Правда» лжет, когда пишет, что манифестация 5 января была организована буржуями, банкирами и т.д., и что к Таврическому дворцу шли именно «буржуи», «калединцы».

«Правда» лжет, — она прекрасно знает, что «буржуям» нечему радоваться по поводу открытия Учредительного Собрания, им нечего делать в среде 246 социалистов одной партии и 140 — большевиков.

«Правда» знает, что в манифестации принимали участие рабочие Обуховского, Патронного и других заводов, что под красными знаменами Российской с.-д. партии к Таврическому дворцу шли рабочие Василеостровского, Выборгского и других районов.

Именно этих рабочих и расстреливали, и сколько бы ни лгала «Правда», она не скроет позорного факта.

«Буржуи», может быть, радовались, когда они видели, как солдаты и красная гвардия вырывают революционные знамена из рук рабочих, топчут их ногами и жгут на кострах. Но, возможно, что и это приятное зрелище уже не радовало всех «буржуев», ибо ведь и среди них есть честные люди, искренно любящие свой народ, свою страну.

Одним из таких был Андрей Иванович Шингарев, подло убитый какими-то зверями.

Итак, 5 января расстреливали рабочих Петрограда, безоружных. Расстреливали без предупреждения о том, что будут стрелять, расстреливали из засад, сквозь щели заборов, трусливо, как настоящие убийцы.

И точно так же, как 9 января 1905 года, люди, не потерявшие совесть и разум, спрашивали стрелявших:

— Что вы делаете, идиоты? Ведь это свои идут? Видите — везде красные знамена, и нет ни одного плаката, враждебного рабочему классу, ни одного возгласа, враждебного вам!

И так же, как царские солдаты — убийцы по приказу, отвечают:

— Приказано! Нам приказано стрелять.

И так же, как 9 января 1905 г., обыватель, равнодушный ко всему и всегда являющийся только зрителем трагедии жизни, восхищался:

— Здорово садят! И догадливо соображал:

— Эдак они скоро друг друга перехлопают!

Да, скоро. Среди рабочих ходят слухи, что красная гвардия с завода Эриксона стреляла по рабочим Лесного, а рабочие Эриксона подверглись обстрелу красной гвардии какой-то другой фабрики.

Этих слухов — много. Может быть, они — не верны, но это не мешает им действовать на психологию рабочей массы совершенно определенно.

Я спрашиваю «народных комиссаров», среди которых должны же быть порядочные и разумные люди:

«Понимают ли они, что, надевая петлю на свои шеи, они неизбежно удавят всю русскую демократию, погубят все завоевания революции?»

Понимают ли они это? Или они думают так: или мы — власть, или — пускай всё и все погибают?»

Источник: М. Горький. Несвоевременные мысли. Заметки о революции и культуре. М.: Советский писатель, 1990.

Шульгин Василий Витальевич (1878–1976)



Политический деятель, писатель.

Родился в Киеве, в семье профессора истории Киевского университета, основателя газеты «Киевлянин». По окончании юридического факультета Киевского университета стал земским гласным и почетным мировым судьей. Занимался журналистикой, с 1913 г. главный редактор «Киевлянина». С 1906 г. член Государственной думы, один из лидеров правого крыла, убежденный монархист. После Февральской революции член Временного комитета Государственной думы. Вместе с А.И. Гучковым принимал отречение от престола Николая II. Активный участник Белого движения, один из основателей Добровольческой армии. Эмигрировал, жил в Югославии, Польше, Франции. В 1925-26 гг. тайно посетил Советскую Россию, не подозревая, что все время находился под опекой ОГПУ, организовавшей эту поездку. В 1944 г. арестован в Югославии, перевезен в СССР и отправлен в ГУЛАГ до 1956 г.

Основные произведения:

«Дни» (1925), издана в СССР Ленинградским издательством «Прибой» в 1927 году.

«1920» (1927), издана в СССР Ленинградским издательством «Прибой» в 1927 году.

«Три столицы» (1928).

«Что нам в них не нравится. Об антисемитизме в России» (1929).

«Годы» (1979).

ДНИ

Последние дни «конституции»

<...>

Эта мысль об отречении государя была у всех, но как-то об этом мало говорили. Вообще же было только несколько человек, которые в этом ужасном сумбуре думали об основных линиях. Все остальные, потрясенные ближайшим, занимались тем, чем занимаются на пожарах: качают воду, спасают погибающих и пожитки, суетятся и бегают.

Мысль об отречении созревала в умах и сердцах как-то сама по себе. Она росла из ненависти к монарху, не говоря о всех прочих чувствах, которыми день и ночь хлестала нам в лицо революционная толпа. На третий день революции вопрос о том, может ли царствовать дальше государь, которому безнаказанно брошены в лицо все оскорбления, был уже, очевидно, решен в глубине души каждого из нас.

Обрывчатые разговоры были то с тем, то с другим. Но я не помню, чтобы этот вопрос обсуждался Комитетом Государственной думы, как таковым. Он был решен в последнюю минуту.

В эту ночь он вспыхивал несколько раз по поводу этих узеньких ленточек, которые сворачивал в руках Родзянко, читая. Ужасные ленточки! Эти ленточки были нитью, связывавшей нас с армией, с той армией, о которой мы столько заботились, для которой мы пошли на все... Весь смысл похода на правительство с 1915 года был один: чтобы армия сохранилась, чтобы армия дралась... И вот теперь по этим ленточкам надо было решить, как поступить... Что для нее сделать?..

<...>

И тут, собственно, это и решилось. Нас было в это время неполный состав. Были Родзянко, Миллюков, я, — остальных не помню... Но помню, что ни Керенского, ни Чхеидзе не было. Мы были в своем кругу. И потому Гучков говорил совершенно свободно. Он сказал приблизительно следующее:

— Надо принять какое-нибудь решение. Положение ухудшается с каждой минутой. Вяземского убили только потому, что он офицер... То же самое происходит, конечно, и в других местах... А если не происходит этой ночью, то произойдет завтра... Идучи сюда, я видел много офицеров в разных комнатах Государственной думы: они просто спрятались сюда... Они боятся за свою жизнь... Они умоляют спасти их... Надо на что-нибудь решиться... На что-то большое, что могло бы произвести впечатление... что дало бы исход... что могло бы вывести из ужасного положения с наименьшими потерями... В этом хаосе, во всем, что делается, надо прежде всего думать о том, чтобы спасти монархию... Без монархии Россия не может жить... Но, видимо, нынешнему государю царствовать больше нельзя... Высочайшее повеление от его лица — уже не повеление: его не исполнят... Если это так, то можем ли мы спокойно и безучастно дожидаться той минуты, когда весь этот революционный сброд начнет сам искать выхода... И сам расправится с монархией... Меж тем это неизбежно будет, если мы выпустим инициативу из наших рук.

Родзянко сказал:

— Я должен был сегодня утром ехать к государю... Но меня не пустили... Они объявили мне, что не пустят поезда, и требовали, чтобы я ехал с Чхеидзе и батальоном солдат...

— Я это знаю, — сказал Гучков. — Поэтому действовать надо иначе... Надо действовать тайно и быстро, никого не спрашивая... ни с кем не советуясь... Если мы сделаем по соглашению с ними, то это непременно будет наименее выгодно для нас... Надо поставить их перед свершившимся фактом... Надо дать России нового государя... Надо под этим новым знаменем собрать то, что можно собрать... для отпора... Для этого надо действовать быстро и решительно...

— То есть — точнее? Что вы предполагаете сделать?

— Я предполагаю немедленно ехать к государю и привезти отречение в пользу наследника... Родзянко сказал:

— Рузский телеграфировал мне, что он уже говорил об этом с государем... Алексеев запросил главнокомандующих фронтами о том же. Ответы ожидаются...

— Я думаю, надо ехать, — сказал Гучков. — Если вы согласны и если вы меня уполномочиваете, я поеду... Но мне бы хотелось, чтобы поехал еще кто-нибудь...

Мы переглянулись. Произошла продолжительная пауза, после которой я сказал:

— Я поеду с вами...

<...>

Мы обменялись еще всего несколькими словами. Я постарался уточнить: Комитет Государственной думы признает единственным выходом в данном положении отречение государя императора, поручает нам двоим доложить об этом его величеству и, в случае его согласия, поручает привезти текст отречения в Петроград. Отречение должно произойти в пользу наследника цесаревича Алексея Николаевича. Мы должны ехать вдвоем, в полной тайне.

<...>

Я отлично понимал, почему я еду. Я чувствовал, что отречение случится неизбежно, и чувствовал, что невозможно поставить государя лицом к лицу с Чхеидзе... Отречение должно быть передано в руки монархистов и ради спасения монархии.

Кроме того, было еще другое соображение. Я знал, что офицеров будут убивать именно за то, что они монархисты, за то, что они захотят исполнить свой долг присяги царствующему императору до конца. Это, конечно, относится к лучшим офицерам. Худшие приспособятся. И вот для этих лучших надо было, чтобы сам государь освободил их от присяги, от обязанности повиноваться ему. Он только один мог спасти настоящих офицеров, которые нужны были как никогда. Я знал, что в случае отречения... революции как бы не будет. Государь отречется от престола по собственному желанию, власть перейдет к регенту, который назначит новое правительство. Государственная дума, подчинившаяся указу о роспуске и подхватившая власть только потому, что старые министры разбежались, — передаст эту власть новому правительству. Юридически революции не будет.

Я не знал, удастся ли этот план при наличии Гиммеров, Нахамкесов и приказа № 1. Но, во всяком случае, он представлялся мне единственным. Для всякого иного нужна была реальная сила. Нужны были немедленно повинующиеся нам штыки, а таковых-то именно и не было...

<...>

В пятом часу ночи мы сели с Гучковым в автомобиль, который по мрачной Шпалерной, где нас останавливали какие-то посты и заставы, и по неузнаваемой, чужой Сергиевской довез нас до квартиры Гучкова. Там А.И. набросал несколько слов. Этот текст был составлен слабо, а я совершенно был неспособен его улучшить, ибо все силы были на исходе.

<...>

А вот теперь — Псков... Вот куда привел нас государь... Он ли — нас или мы — его, кто это рассудит? На земле — история, на небе — Бог..

<...>

Станции проносились мимо нас... Иногда мы останавливались... Помню, что А.И. Гучков иногда говорил краткие речи с площадки вагона... это потому, что иначе нельзя было... На перронах стояла толпа, которая все знала... То есть она знала, что мы едем к царю... И с ней надо было говорить...

<...>

Не помню, на какой станции нас соединили прямым проводом с генерал-адъютантом Николаем Иудовичем Ивановым. Он был, кажется, в Гатчине. Он сообщил нам, что по приказанию государя накануне, или еще 28-го числа, выехал по направлению к Петрограду... Ему было приказано усмирить бунт... Для этого, не входя в Петроград, он должен был подождать две дивизии, которые были сняты с фронта и направлялись в его распоряжение... В качестве, так сказать, верного кулака ему было дано два батальона георгиевцев, составлявших личную охрану государя. С ними он шел до Гатчины... И ждал... В это время кто-то успел разобрать рельсы, так что он, в сущности, отрезан от Петрограда... Он ничего не может сделать, потому что явились агитаторы, и георгиевцы уже разложились... На них нельзя положиться... Они больше не повинуются... Старик стремился повидаться с нами, чтобы решить, что делать...

Но надо было спешить... Мы ограничились этим телеграфным разговором...

<...>

Все же мы ехали очень долго... Мы мало говорили с А.И. Усталость брала свое... Мы ехали, как обреченные... Как все самые большие вещи в жизни человека, и это совершалось не при полном блеске сознания... Так надо было... Мы бросились на этот путь, потому что всюду была глухая стена... здесь, казалось, просвет... здесь было может быть... А всюду кругом было — оставь надежду...

<...>

Разве переходы монаршей власти из рук одного монарха к другому не спасали Россию? Сколько раз это было...

<...>

В 10 часов вечера мы приехали. Поезд стал. Вышли на площадку. Голубоватые фонари освещали рельсы. Через несколько путей стоял освещенный поезд... Мы поняли что это императорский...

Сейчас же кто-то подошел...

— Государь ждет вас...

И повел нас через рельсы. Значит, сейчас все это произойдет. И нельзя отратить?

Нет, нельзя... Так надо... Нет выхода... Мы пошли, как идут люди на все самое страшное, — не совсем понимая... Иначе не пошли бы...

Но меня мучила еще одна мысль, совсем глупая...

Мне было неприятно, что я являюсь к государю небритый, в смятом воротничке, в пиджаке...

<...>

С нас сняли верхнее платье. Мы вошли в вагон.

Это был большой вагон-гостиная. Зеленый шелк по стенкам... Несколько столов... Старый, худой, высокий, желтовато-седой генерал с аксельбантами...

Это был барон Фредерике...

— Государь император сейчас выйдет... Его величество в другом вагоне...

Стало еще безотраднее и тяжелее...

В дверях появился государь... Он был в серой черкеске... Я не ожидал его увидеть таким...

Лицо?

Оно было спокойно...

Мы поклонились. Государь поздоровался с нами, подав руку. Движение это было скорее дружелюбно...

— А Николай Владимирович?

Кто-то сказал, что генерал Ружский просил доложить, что он немного опоздает.

— Так мы начнем без него.

Жестом государь пригласил нас сесть... Государь занял место по одну сторону маленького четырехугольного столика, придвинутого к зеленой шелковой стене. По другую сторону столика сел Гучков. Я — рядом с Гучковым, наискось от государя. Против царя был барон Фредерике...

Говорил Гучков. И очень волновался. Он говорил, очевидно, хорошо продуманные слова, но с трудом справлялся с волнением. Он говорил не гладко... и глухо.

Государь сидел, опершись слегка о шелковую стену, и смотрел перед собой. Лицо его было совершенно спокойно и непроницаемо.

Я не спускал с него глаз. Он изменился сильно с тех пор... Похудел... Но не в этом было дело... А дело было в том, что вокруг голубых глаз кожа была коричневая и вся разрисованная белыми черточками морщин. И в это мгновение я почувствовал, что эта коричневая кожа с морщинками, что это маска, что это не настоящее лицо государя и что настоящее, может быть, редко кто видел, может быть, иные никогда ни разу не видели... А я видел тогда, в тот первый день, когда я видел его в первый раз, когда он сказал мне:

— Оно и понятно... Национальные чувства на Западе России сильнее... Будем надеяться, что они передадутся и на Восток...

Да, они передались. Западная Россия заразила Восточную национальными чувствами. Но Восток заразил Запад... властеборством.

И вот результат... Гучков — депутат Москвы, и я, представитель Киева, — мы здесь... Спасаем монархию через отречение... А Петроград?

Гучков говорил о том, что происходит в Петрограде. Он немного овладел собой... Он говорил (у него была эта привычка), слегка прикрывая лоб рукой, как бы для того, чтобы сосредоточиться. Он не смотрел на государя, а говорил, как бы обращаясь к какому-то внутреннему лицу, в нем же, Гучкове, сидящему. Как будто бы совести своей говорил.

Он говорил правду, ничего не преувеличивая и ничего не утаивая. Он говорил то, что мы все видели в Петрограде. Другого он не мог сказать. Что делалось в России, мы не знали. Нас раздавил Петроград, а не Россия...

Государь смотрел прямо перед собой, спокойно, совершенно непроницаемо. Единственное, что, мне казалось, можно было угадать в его лице: Эта длинная речь — лишняя...

В это время вошел генерал Рузский. Он поклонился государю и, не прерывая речи Гучкова, занял место между бароном Фредериксом и мною... В эту же минуту, кажется, я заметил, что в углу комнаты сидит еще один генерал, волосами черный, с белыми погонами... Это был генерал Данилов.

Гучков снова заволновался. Он подошел к тому, что, может быть, единственным выходом из положения было бы отречение от престола.

Генерал Рузский наклонился ко мне и стал шептать:

— По шоссе из Петрограда движутся сюда вооруженные грузовики... Неужели же ваши? Из Государственной думы.

Меня это предположение оскорбило. Я ответил шепотом, но резко:

— Как это вам могло прийти в голову? Он понял.

— Ну, слава Богу, простите... Я приказал их задержать.

Гучков продолжал говорить об отречении. Генерал Рузский прошептал мне:

— Это дело решенное... Вчера был трудный день... Буря была...

— ...И, помолясь Богу... — говорил Гучков...

При этих словах по лицу государя впервые пробежало что-то... Он повернул голову и посмотрел на Гучкова с таким видом, который как бы выражал: Этого можно было бы и не говорить...

<...>

Гучков окончил. Государь ответил. После взволнованных слов А.И. голос его звучал спокойно, просто и точно. Только акцент был немножко чужой — гвардейский:

— Я принял решение отречься от престола... До трех часов сегодняшнего дня я думал, что могу отречься в пользу сына, Алексея... Но к этому времени я переменял решение в пользу брата Михаила... Надеюсь, вы поймете чувства отца...

Последнюю фразу он сказал тише...

<...>

К этому мы не были готовы. Кажется, А.И. пробовал представить некоторые возражения... Кажется, я просил четверть часа — посоветоваться с Гучковым... Но это почему-то не вышло... И мы согласились, если это можно назвать согласием, тут же... Но за это время столько мыслей пронеслось, обгоняя одна другую...

Во-первых, как мы могли не согласиться?.. Мы приехали сказать царю мнение Комитета Государственной думы... Это мнение совпало с решением его собственным... а если бы не совпало? Что мы могли бы сделать? Мы уехали бы обратно, если бы нас отпустили... Ибо мы ведь не вступили на путь тайного насилия, которое практиковалось в XVIII веке и в начале XIX...

Решение царя совпало в главном... Но разошлось в частности... Алексей или Михаил перед основным фактом — отречением — все же была частность... Допустим, на эту частность мы бы не согласились... Каков результат? Прибавился бы только один лишний повод к неудовольствию. Государь передал пре-

стол вопреки желанию Государственной думы. И положение нового государя было бы подорвано.

Кроме того, каждый миг был дорог. И не только потому, что по шоссе движутся вооруженные грузовики, которых мы достаточно насмотрелись в Петрограде и знали, что это такое, и которые генерал Рузский приказал остановить (но остановят ли?), но еще и вот почему: с каждой минутой революционный сброд в Петрограде становится наглее, и, следовательно, требования его будут расти. Может быть, сейчас еще можно спасти монархию, но надо думать и о том, чтобы спасти хотя бы жизнь членам династии.

Если придется отречься и следующему, — то ведь Михаил может отречься от престола...

Но малолетний наследник не может отречься — его отречение недействительно.

И тогда что они сделают, эти вооруженные грузовики, движущиеся по всем дорогам?

Наверное, и в Царское Село летят — проклятые...

И сделались у меня:

Мальчики кровавые в глазах...

<...>

А кроме того...

Если что может еще утишить волны, — это если новый государь воцарится, присягнув конституции.... Михаил может присягнуть. Малолетний Алексей — нет...

<...>

А кроме того...

Если здесь есть юридическая неправильность... Если государь не может отречься в пользу брата... Пусть будет неправильность!.. Может быть, этим выиграется время... Некоторое время будет править Михаил, а потом, когда все утомится, выяснится, что он не может царствовать, и престол перейдет к Алексею Николаевичу...

<...>

Все это, перебивая одно другое, пронеслось, как бывает в такие минуты... Как будто не я думал, а кто-то другой за меня, более быстро соображающий...

<...>

И мы согласились...

<...>

Государь встал... Все поднялись... Гучков передал государю набросок. Государь взял его и вышел.

<...>

Когда государь вышел, генерал, который сидел в углу и который оказался Юрием Даниловым, подошел к Гучкову. Они были раньше знакомы.

– Не вызовет ли отречение в пользу Михаила Александровича впоследствии крупных осложнений, в виду того что такой порядок не предусмотрен законом о престолонаследии?

Гучков, занятый разговором с бароном Фредериксом, познакомил генерала Данилова со мною, и я ответил на этот вопрос. И тут мне пришло в голову еще одно соображение, говорящее за отречение в пользу Михаила Александровича.

– Отречение в пользу Михаила Александровича не соответствует закону о престолонаследии. Но нельзя не видеть, что этот выход имеет при данных обстоятельствах серьезные удобства. Ибо если на престол взойдет малолетний Алексей, то придется решать очень трудный вопрос: останутся ли родители при нем или им придется разлучиться. В первом случае, т.е. если родители останутся в России, отречение будет в глазах тех, кого оно интересует, как бы фиктивным... В особенности это касается императрицы... Будут говорить, что она так же правит при сыне, как при муже... При том отношении, какое сейчас к ней, — это привело бы к самым невозможным затруднениям. Если же разлучить малолетнего государя с родителями, то, не говоря о трудности этого дела, это может очень вредно отразиться на нем. На троне будет подрастать юноша, ненавидящий все окружающее, как тюремщиков, отнявших у него отца и мать... При болезненности ребенка это будет чувствоваться особенно остро...

<...>

Через некоторое время государь вошел снова. Он протянул Гучкову бумагу, сказав:

– Вот текст...

Это были две или три четвертушки — такие, какие, очевидно, употреблялись в Ставке для телеграфных бланков. Но текст был написан на пишущей машинке.

Я стал пробегать его глазами, и волнение, и боль, и еще что-то сжало сердце, которое, казалось, за эти дни уже лишилось способности что-нибудь чувствовать... Текст был написан теми удивительными словами, которые теперь все знают...

«В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы, и в согласии с Государственной думой признали мы за благо отречься от престола государства Российского и сложить с себя верховную власть. Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие нашему брату, нашему великому князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на престол государ-

ства Российского. Заповедуем брату нашему править делами государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены. Во имя горячо любимой родины, призываем всех верных сынов отечества к исполнению своего святого долга перед ним, повиновением царю в тяжелую минуту всенародных испытаний помочь ему, вместе с представителями народа, вывести государство Российское на путь победы, благоденствия и славы. Да поможет Господь Бог России.

Николай».

* * *

К тексту отречения нечего было прибавить... Во всем этом ужасе на мгновение пробился один светлый луч... Я вдруг почувствовал, что с этой минуты жизнь государя в безопасности... Половина шипов, вонзившихся в сердце его подданных, вырывались этим лоскутком бумаги. Так благородны были эти прощальные слова... И так почувствовалось, что он так же, как и мы, а может быть, гораздо больше, любит Россию...

<...>

Источник: Шульгин В.В. Годы. Дни. 1920 год. М.: Новости, 1990.

Мельгунов

Сергей Петрович

(1880–1956)

Историк, редактор, политический деятель.

Сын историка. Окончил Московский университет в 1904 г. Один из основателей и видных деятелей партии Народных социалистов (1907). Основатель издательства «Задруга» (1911), журнала «Голос минувшего» (1913). После Октябрьского переворота находился в Москве нелегально. Арестован в 1920 г. в связи с делом «Тактического центра», выпущен в 1921 г. С 1922 г. в эмиграции в Париже.

Основные произведения:

Участие в коллективных изданиях «Великая реформа»;

«Отечественная война и русское общество»;

«Масонство в его прошлом и настоящем»;

«Красный террор в России, 1918-1923» (1923);

«Трагедия адмирала Колчака» (т.1-3, 1930-31);

«На путях к дворцовому перевороту» (1931);

«Как большевики захватили власть» (1939);

«Судьба императора Николая II после отречения» (1951);

«Воспоминания и дневники» (1964).

Отрывки из «Красного террора» ходили в Самиздате с конца 50-х годов.

КРАСНЫЙ ТЕРРОР В РОССИИ, 1918-1923

Институт заложников

«Террор — бесполезная жестокость,
осуществляемая людьми,
которые сами боятся».

Энгельс

17-го августа 1918 г. в Петербурге бывшим студентом, юнкером во время войны, социалистом Каннегиссером был убит народный комиссар Северной Коммуны, руководитель Петербургской Чрезвычайной Комиссии — Урицкий. Официальный документ об этом акте гласит: «При допросе Леонид Каннегиссер заявил, что он убил Урицкого не по постановлению партии, или какой-нибудь организации, а по собственному побуждению, желая отомстить за арест офицеров и расстрел своего друга Перельцвейга».

28-го августа социалистка Каплан покушалась на жизнь Ленина в Москве. Как ответила на эти два террористических акта советская власть?

По постановлению Петроградской Чрезвычайной Комиссии — как гласит официальное сообщение в «Еженедельнике Чрез. Ком.» 20-го октября (№ 5) — расстреляно 500 человек заложников. Мы не знаем и, вероятно, никогда не узнаем точной цифры этих жертв — мы не знаем даже их имен. С уверенностью однако можно сказать, что действительная цифра значительно превосходит цифру приведенного позднейшего полуофициального сообщения (никакого официального извещения никогда не было опубликовано). В самом деле, 23-го марта 1919 года английский военный священник Lombard сообщал лорду Керзону: «в последних числах августа две барки, наполненные офицерами, потоплены и трупы их были выброшены в имени одного из моих друзей, расположенном на Финском заливе; многие были связаны по двое и по трое колючей проволокой».

Что же это, неверное сообщение? Но об этом факте многие знают и в Петрограде и в Москве. Мы увидим из другого источника, что и в последующее время большевистская власть прибегала к таким варварским способам потопления врагов (напр., в 1921 г.).

Один из очевидцев петроградских событий сообщает такие детали:

«Что касается Петрограда, то, при беглом подсчете, число казненных достигает 1.300, хотя большевики признают только 500, но они не считают тех многих сотен офицеров, прежних слуг и частных лиц, которые были расстреляны в Кронштадте и Петропавловской крепости в Петрограде без особого приказа центральной власти, по воле местного Совета; в одном Кронштадте за одну ночь было расстреляно 400 чел. Во дворе были вырыты три больших ямы, 400 человек поставлены перед ними и расстреляны один за другим».

«Истерическим террором» назвал эти дни в Петрограде один из руководителей Вс. Чр. Ком., Петерс, в интервью, данном газетному корреспонденту в ноябре: «Вопреки распространенному мнению, — говорил Петерс, — я вовсе не так кровожаден, как думают». В Петербурге «мягкотелые революционеры были выведены из равновесия и стали чересчур усердствовать. До убийства Урицкого в Петрограде не было расстрелов, а после него слишком много и часто без разбора, тогда как Москва в ответ па покушение на Ленина ответила лишь расстрелом нескольких царских министров». И тут же однако не слишком кровожадный Петере грозил: «я заявляю, что всякая попытка русской буржуазии еще раз поднять голову встретит такой отпор и такую расправу, перед которой побледнеет все, что понимается под красным террором»

Оставляю пока в стороне совершенно ложное утверждение Петерса, что до убийства Урицкого в Петрограде не было смертных казней. И так, в Москве за покушение социалистки на Ленина расстреляно лишь несколько царских министров! Петерс не постыдился сделать это заявление, когда всего за несколько дней перед тем в том же «Еженедельнике Ч.К.» (№ 6) был опубликован весьма укороченный список расстрелянных за покушение на Ленина. Их было опубликовано через два месяца после расстрела 90 человек». Среди них были и министры, были офицеры, как были и служащие кооперативных учреждений, присяжные поверенные, студенты, священники и др. Мы не знаем числа расстрелянных. Кроме единственного сообщения в

«Еженедельнике Ч.К.» никогда ничего больше не было опубликовано. А между тем мы знаем, что людей в эти дни в Москве по общим сведениям было расстреляно больше 300.

Те, которые сидели в эти поистине мучительные дни в Бутырской тюрьме, когда были арестованы тысячи людей из самых разнообразных общественных слоев, никогда не забудут своих душевных переживаний. Это было время, названное одним из очевидцев «дикой вакханалией красного террора». Тревожно и страшно было по ночам слышать, а иногда и присутствовать при том, как брали десятками людей на расстрел. Приезжали автомобили и увозили свои жертвы, а тюрьма не спала и трепетала при каждом автомобильном гудке. Вот войдут в камеру и потребуют кого-нибудь «с вещами» в «комнату душ» — значит на расстрел. И там будут связывать попарно проволокой. Если бы вы знали, какой это был ужас! Я сидел в эти дни в тюрьме, и сам переживал все эти страшные кошмары. Возьму один рассказ очевидца:

«В памяти не сохранились имена многих и многих, уведенных на расстрел из камеры, в которой сидел пишущий эти строки в Ленинские августовские дни 1918 года, но душераздирающие картины врезались в память и вряд ли забудутся до конца жизни...»

«Вот группа офицеров, в числе пяти человек, через несколько дней после «Ленинского выстрела» вызывается в «комнату душ». Некоторые из них случайно были взяты при облаве на улице. Сознание возможности смерти не приходило им в голову, они спокойно подчинились своей судьбе — сидеть в заключении...

И вдруг... «с вещами по городу в комнату душ». Бледные, как полотно, собирают они вещи. Но одного выводной надзиратель никак не может найти. Пятый не отвечает, не откликается. Выводной выходит и возвращается с заведующим корпусом и несколькими чекистами. Поименная проверка. Этот пятый обнаруживается... Он залез под койку. Его выволакивают за ноги... Неистовые звуки его голоса заполняют весь коридор. Он отбивается с криком: «За что? Не хочу умирать!» Но его осиливают, вытаскивают из камеры... и они исчезают... и вновь появляются во дворе... Звуков уже не слышно... Рот заткнут тряпками.

Молодой прапорщик Семенов арестован за то, что во время крупного пожара летом 1918 года на Курском вокзале (горели вагоны на линии), находясь среди зрителей, заметил, что вероятно вагоны подожгли сами большевики, чтобы скрыть следы хищения. Его арестовали, а вместе с ним арестовали на квартире его отца и брата. Через три месяца после допроса следователь уверил его, что он будет освобожден. Вдруг... «с вещами по городу». И через несколько дней его фамилия значилась в числе расстрелянных. А через месяц при допросе отца следователь сознался ему, что сын был расстрелян по ошибке, «в общей массе» расстрелянных.

Однажды к нам в камеру ввели юношу лет 18-19, ранее уведенного из нашего коридора. Он был арестован при облаве на улице в июле 1918 г. около храма Христа Спасителя. Этот юноша рассказал нам, что через несколько дней по привозе его в В.Ч.К., его вызвали ночью, посадили на автомобиль, чтобы отвезти на расстрел (в 1918 году расстреливали не в подвале, а за городом). Совер-

шенно случайно кто-то из чекистов обратил внимание, что расстрелять они должны не молодого, а мужчину средних лет. Справились, — оказалось фамилия и имя те же самые, отчества расходятся, и расстреливаемому должно быть 42 года, а этому 18. Случайно жизнь его была спасена и его вернули к нам обратно.

<...>

Мы найдем длинные списки опубликованных заложников и заложниц за дезертиров, напр., в «Красном воине». Здесь вводится даже особая рубрика для некоторых заложников: «приговор к расстрелу условно».

Расстреливали и детей и родителей. И мы найдем засвидетельствованные и такие факты. Расстреливали детей в присутствии родителей и родителей в присутствии детей. Особенно свирепствовал в этом отношении Особый Отдел В. Ч. К., находившийся в ведении полусумасшедшего Кедрова. Он присылал с «фронтов» в Бутырки целыми пачками малолетних «шпионов» от 8—14 лет. Он расстреливал на местах этих малолетних шпионов-гимназистов.

Я лично знаю ряд таких случаев в Москве.

Какое дело кому до каких-то моральных пыток, о которых пытался говорить в своем письме П. А. Кропоткин. В Чрезвычайных Комиссиях не только провинциальных, но и столичных, практиковались самые настоящие истязания и пытки. Естественно, письмо П. А. Кропоткина оставалось гласом вопиющего в пустыне. Если тогда не было расстрелов среди тех, кто был объявлен заложником, то, может быть, потому, что не было покушений...

Прошел еще год. И во время Кронштадтского восстания тысячи были захвачены в качестве заложников. Затем появились новые заложники в лице осужденных по известному процессу социалистов-революционеров смертников. Эти жили до последних дней под угрозой условного расстрела!

<...>

«Заложники — капитал для обмена...» Эта фраза известного чекиста Ладиса, может быть, имела некоторый смысл по отношению к иностранным подданным, во время польско-русской войны. Русский заложник — это лишь форма психического воздействия, это лишь форма устрашения, на котором построена вся внутренняя политика, вся система властвования большевиков.

Знаменательно, что большевиками собственно осуществлено то, что в 1881 г. казалось невозможным самым реакционным кругам. 5-го марта 1881 года гр. Камаровский впервые высказал в письме к Победоносцеву мысль о групповой ответственности. Он писал: «... не будет ли найдено полезным объявить всех уличенных участников в замыслах революционной партии за совершенные ею неслыханные преступления, состоящими вне закона и за малейшее их новое покушение или действие против установленного законом порядка в России ответственными поголовно, in corpore, жизнью их».

Такова гримаса истории или жизни...

«Едва ли, действительно, есть более яркое выражение варварства, точнее, господства грубой силы над всеми основами человеческого общества, чем этот институт заложничества» — писал старый русский революционер Н. В. Чайковский по поводу заложничества в наши дни. «Для того, чтобы дойти не только до

применения его на практике, но и до открытого превозглашения, нужно действительно до конца эмансипироваться от этих веками накопленных ценностей человеческой культуры и внутренне преклониться перед молохом войны, разрушения и зла».

«Человечество потратило много усилий, чтобы завоевать... первую истину всякого правосознания:

– Нет наказания, если нет преступления» — напоминает выпущенное по тому же поводу в 1921 г. воззвание «Союза русских литераторов и журналистов в Париже».

«И мы думаем, что как бы ни были раскалены страсти в той партийной и политической борьбе, которая таким страшным пожаром горит в современной России, но эта основная, эта первая заповедь цивилизации не может быть поправа ни при каких обстоятельствах:

– Нет наказания, если нет преступления.

Мы протестуем против возможного убийства ни в чем неповинных людей.

Мы протестуем против этой пытки страхом. Мы знаем, какие мучительные ночи проводят русские матери и русские отцы, дети которых попали в заложники. Мы знаем, точно также, что переживают заложники в ожидании смерти за чужое, не ими совершенное, преступление.

И потому мы говорим:

– Вот жестокость, которая не имеет оправдания.

– Вот варварство, которому не должно быть места в человеческом обществе...»

«Не должно быть...» Кто слышит это?

<...>

Источник: Мельгунов С.П. Красный террор в России. М.: СП «PUICO», «P.S.», 1990.

Гуль
Роман Борисович
(1896–1986)

Писатель, редактор, журналист.

Родился в Пензе. Добровольцем ушел на фронт первой мировой войны. После захвата власти большевиками воевал на стороне белых. В эмиграции занимался журналистикой, написал несколько хорошо встреченных публикой и прессой биографий (Бакунин, Дзержинский, Котовский, Савинков). После второй мировой войны переезжает в США, где в течение двадцати лет редактирует «Новый Журнал». Написал трехтомные мемуары «Я унес Россию». Отрывки этих мемуаров и некоторые другие произведения ходили в Самиздате.

КРАСНЫЕ МАРШАЛЫ

ВОРОШИЛОВ

Из ворот Кремля

Над Москвой — светло-голубые облака. Горят купола полузаброшенных церквей. Вздываются остовы недостроенных конструктивных домов. На древней Красной площади, где двести лет назад Петр Великий собственноручно рубил головы мятежным стрельцам, наркомвоен Клим Ворошилов принимает парад красных войск.

На замкнутой караулами громадной площади в каре сведена молодцеватая пехота в стрелецких шишаках. Волнуется кавалерия. Приготовились оркестры. Но вот подана команда. Замерли войска. И глаза площади, не отрываясь, глядят на ворота Кремля.

Из этих ворот выезжала колымага Ивана Грозного, выезжал верховой, с боярами, Борис Годунов, выезжала карета разорванного каляевской бомбой великого князя Сергея. Древние ворота Кремля растворяются медленно. На горячем жеребце медленно, совершенно один выезжает наркомвоен Ворошилов.

И вдруг, как бешеные, со всех сторон загревели серебряные фанфары. С фанфарами, тушами оркестров смешались крики.

Кряжистый, с скуластым лицом, крепко сидит на играющем коне бывший слесарь Клим Ворошилов. Под музыку навстречу ему едут красные командиры с рапортами. Красная Армия бурно приветствует своего вождя.

А девять лет назад на эту же площадь выезжал Троцкий. Выезжал на автомобиле.

Троцкисты любят анекдот: «Когда из кремлевских ворот показывался Троцкий, все говорили: «Глядите, глядите, Троцкий, Троцкий!» Теперь, когда из ворот выезжает Ворошилов, все говорят: «Глядите, глядите, какая лошадь, нет, каккая лошадь!»

Но Троцкий в Турции, и Ворошилова едва ли выбьешь из седла анекдотом.

После Троцкого выезжал и другой маршал революции, наркомвоен Михаил Фрунзе. Но в 1925 году под ножом кремлевского хирурга он умер от наркоза. На хирургический стол недомогающего Фрунзе уговорило лечь политбюро. И после этой кремлевской операции поползли жуткие слухи, напоминающие времена Борджиа. Говорили, что Фрунзе замыслил переворот, что больное сердце не могло выдержать наркоза. И как бы в подтверждение слухов, жена Фрунзе покончила самоубийством.

После смерти Фрунзе выехал близкий Сталину человек — Климентий Ефремович Ворошилов — русский, народный, низовой. И ладно скроен, и крепко шпит. Ширококостный, прочный, волосы с проседью, грубоватое, открытое лицо в тяжелых морщинах. Он — силен. Глядит чуть свысока и подозрительно, украшенный четырьмя орденами Красного Знамени, бывший крановщик Луганского завода. Он умеет повелевать и хорошо знает, что такое большая государственная власть.

Если Сталин — это хитрость и талант макиавеллиевских комбинаций, то Ворошилов весь — безудержность и русская бесшабашность. Сотрудники Ворошилова, бывшие генералы и полковники, говорят: «Если Климентий Ефремович вспылит — ураган!» И Ворошилов сам сознается, что «излишне горяч». Но именно эта «горячность» и выбросила рабочего-самоучку на верх государственной лестницы, сделав военным министром. Кроме бунтарского темперамента, у военного министра России нет ничего.

Простому уму Ворошилова чужды теории и схемы. Когда на заседании наркомфина экономисты говорят о «контрольных цифрах» и «динамическом коэффициенте», Ворошилов только потряхивает крепкой головой и, усмехаясь в стриженные по-европейски усы, шепчет на ухо соседу:

– Ди-на-ми-чес-кий коэффициент! Вот пойми! Без водки не разберешься...

Ничего не поделаешь. Царская Россия не научила ничему военного министра СССР. Ворошилов знал только два года ученья в сельской школе. Зато царизм выковал в нем крепкую волю к сопротивлению. Воля, даже преувеличенная воля к большой власти, есть у выросшего в донских степях Ворошилова. Недаром о военном министре острят москвичи, что мировая история делится на два периода: один от доисторической эпохи до Климента Ефремовича; другой от Климента Ефремовича и далее... И Москва, шутя, называет Ворошилова Климом 1-м.

Ни интеллигентности, ни наследственной культуры у Ворошилова нет. Рабочие Луганска рассказывают, что в подпольной работе, которую вел среди них в 900-х годах этот отчаянный машинист крана, у Ворошилова на все была только одна поговорка: «Черт возьми, что мы будем смотреть!»

В этом — весь Ворошилов. Этот донской «большевик по темпераменту» очертя голову с юности бросился в водоворот революционного движения. И под этой водой налетел на Ленина. «Черт возьми, что мы будем смотреть!» История России в октябре 1917 года высказалась за Ленина и за Ворошилова. И, в дет-

стве ходившего по миру просить милостыню, Ворошилова Октябрь вынес на верх государственной карьеры, предложив кресло военного министра России.

Первый маршал

С 1921 по 1924 год Ворошилов — командующий Северо-Кавказским военным округом. С 1924-го по 1925-й — Московским. С 1925-го — он народный комиссар по военным и морским делам и председатель Реввоенсовета СССР. А с 1926-го — член правящего Россией всесильного Политбюро ЦК ВКП(б).

Ворошилов подлинный первый маршал республики и глава армии. Когда в «Марше Буденного», по иронии судьбы написанном на мотив еврейской свадебной песни, красноармейцы поют о Ворошилове «готов он умереть за СССР», это — верно. Ворошилов умрет за СССР хотя бы потому, что вместе с СССР он — военный министр 160-миллионного государства, а без СССР — паденье.

Говорят, Ворошилов не забыл поговорку: «Черт возьми, что мы будем смотреть!» Но бывшего металлиста уже не узнать ни по речам, ни по внешности. Он военный с ног до головы. Окруженный бывшими царскими генералами и красными маршалами, Ворошилов ждет побед своей армии. Среди головки советского генералитета читает коминтерновские доклады о противоречиях английского и американского капитала и о неминуемом, по его мнению, столкновении этих сил, влекущем войну для СССР на Дальнем Востоке. Вместе со своим помощником Тухачевским Ворошилов занят планами будущей мобилизации, воздушной, химической, бактериологической подготовкой, созданием сети заводов, работающих на оборону.

— Нам не нужны завоевания, но в случае нападения мы не отдадим ни пяди русской земли! — заявил Ворошилов в речи о Дальнем Востоке.

Это звучит уже не столько «Коминтерном», сколько «Климом 1-м».

Но первый маршал в сталинском политбюро иногда говорит некоминтерновские речи. Ему это можно, у него преимущество, он водитель армии, и, когда выезжает из Кремля принимать парады, встречные крики в его честь бурны.

Как когда-то стареющий Марий показывал римлянам свою еще силу и свежесть, с молодежью меча диск и выступая в публичных гимнастических упражнениях, так и военный министр России показывает себя народу.

Ворошилов участвует в 100-верстном пробеге красных командиров-кавалеристов. Подымаясь на седло, чтобы вместе с другими знаменитыми маршалами ехать по тем донским степям, где когда-то с Буденным ходили в атаки, смеясь, говорит:

— А ну-ка! Мы со старым Маузером еще не подкачаем!

И хоть не первым среди конников пришел Ворошилов к старту, зато никого такой бурей оваций не встретил ипподром, как подъехавшего шагом Ворошилова.

Ворошилов еще бурен, темпераментен. Раньше певал частушки, теперь у профессоров учится петь оперные арии, а старые песни о том, как «потеряла я колечко», поет только в буйной, грузно залившей за галстук «скобелевской» военной компании.

Отдавая дань старым традициям Империи, красный министр увлекается кулисами балета и театра. Это было бы малоинтересно, если бы не соприкасалось с высокой политикой. Вся Россия знает, как однажды в романе с красивой артисткой Ворошилов узнал, что его любовница не что иное, как подсланный к военному министру начальником ленинградского ГПУ Мессингом секретный сотрудник. Неизвестна сцена с актрисой. Но к Мессингу Ворошилов явился в деловой кабинет, и тут произошла неевропейская сцена. Всесильного начальника ГПУ военный министр избил так, как дрался когда-то еще на луганских боях молодым рабочим. По требованию Ворошилова политбюро в 24 часа сняло Мессинга с должности.

Ворошилов может «схватиться в споре» в политбюро со Сталиным, стукнуть кулаком по столу, на шуметь. Но Сталин, мастер макиавеллиевских комбинаций, умеет укротить хоть и буйного, хоть и стучащего по столу Ворошилова. Когда в заседании политбюро по вопросу о коллективизации крестьянской России Ворошилов стал сопротивляться, Сталин встретил протест Ворошилова ироническим смехом и заявлением, что «наркомвоен испугался». Разыгрался скандал, бешеный Ворошилов бросил Сталину в лицо пачку красноармейских писем, кричал: «Ты хочешь восстановить против нас всю мужицкую Россию!» Но маршал — отходчив. Сталин взял, уговорил, сломал Ворошилова будущей «славой и мощью» Красной Армии, ее будущими победами под водительством Ворошилова, после пятилетнего плана, который «без коллективизации немислим». И первый маршал не в первый раз сдался генеральному секретарю.

В Ворошилове уже мало осталось от буйного, непокорного Володьки. Этот отяжелевший военный министр давно оторвался от слесарей и шахтеров Донбасса. Оттуда ему пишут, просят о нуждах, жалуются рабочие. Сами едут в Москву ходоки посмотреть на бывшего слесаря, не задремал ли он в красном кресле? Помнят Клима ходившим по миру за милостыней сопливым Климоккой, лампоносцем Климушкой, забойщиком Климом и буйным Володькой.

Москва. Древний Кремль. Часовые. Дворцы. Гулкие коридоры. Затянутая коврами приемная. Адьютанты. Секретари. Суровая тишина. Наконец — кабинет министра.

Из-за стола подымается поседелый, отяжелевающий, коренастый, среднего роста человек в красноармейской форме со всеми четырьмя орденами Красного Знамени. Вот он.

Ворошилов смеется. Принимает так, как принимают знающие власть, но умеющие играть самую искреннюю позу вельможи большого государства. Только тут не европейский, а пролетарский тон.

— Ах ты, курья нога, а ты все такой же! — И хлопает короткопалой, когда-то заскорузлой рукой по плечу гостя.

Бог весть какой конец сужден шумной карьере военного министра СССР. Годится ли еще на крупные роли этот 52-летний первый маршал? Или, став сановником и вельможей России, министр-слесарь просто-напросто сладко дремлет в завоеванном кровью кремлевском кресле?

Источник: Гуль Р.Б. Красные маршалы: Исторические романы и очерки. М.: ТЕРРА, 1995.

Валентинов (Вольский)
Николай Владиславлевич
(1879–1964)



Общественный и политический деятель, публицист.

Родился в дворянской семье в Моршанске. В 1904 г. за участие в уличной манифестации был арестован. После выхода из тюрьмы тайно перешел границу и добрался до Женевы, где стал на какое-то время постоянным собеседником Ленина. Играл значительную роль в социал-демократическом движении, первоначально примыкал к большевикам, но, разошедшись с Лениным по философским проблемам, с 1904 г. перешел в лагерь меньшевиков. Эмигрировал из СССР в 1930 г. В дореволюционный период стремился соединить принципы «классического» марксизма с естественнонаучными и философскими воззрениями Э. Маха и Р. Авенариуса, что послужило причиной разрыва с Лениным. В начале XXв. Валентинов участвовал в философской полемике «реалистов» и «идеалистов», резко критикуя «идеалистические» учения Е. Трубецкого, П. Струве, С. Булгакова и др. В эмиграции опубликовал цикл книг о личности, творчестве и философских идеях В.И. Ленина.

Основные произведения:

«Встречи с В.И. Лениным»;

«Малознакомый Ленин»;

«Ранние годы Ленина».

ВСТРЕЧИ С ЛЕНИНЫМ

<...>

Хорошим способом узнать побольше о Ленине мне казался разговор о художественной литературе. Какие произведения он любил, какие люди ему в них интересны, что в них нравится или не нравится? Я сказал об этом В.В. Воровскому — в отделе его комната была рядом со мною; до отъезда в Россию он часто со мною вел разговор на самые разнообразные темы. С ним можно было говорить о многом: о дифференциалах, интегралах, механике и художественной литературе. Воровский улыбнулся.

— Поисследовать Ленина хотите, ну что же — попробуйте. Он всех нас исследует, займемся и мы им. Я тоже этим делом занимался. Но предупреждаю — Ильич очень часто любит делать «глухое ухо». Я хотел однажды узнать — читал ли он Шекспира, Байрона, Мольера, Шиллера. В ответ ни да, ни нет не получил, все же понял, что никого из них он не читал и дальше того, что слышал в гимназии, не пошел. Изучая в Сибири немецкий язык, он прочитал в подлиннике «Фауста» Гете, даже выучил наизусть несколько тирад Мефистофеля. Вы

здесь недавно, поживете подольше — непременно услышите, как в полемике с кем-нибудь Ленин пустит стрелу:

Ich salutiere den gelehrten Herrn

Irr habt mich weidlich Switzen machen.—

Но, кроме «Фауста», ни одну другую вещь Гете не знает, он делит литературу на нужную ему и ненужную, а какими критериями пользуется при этом различии — мне неясно. Для чтения всех сборников «Знания» он, видите ли, нашел время, а вот Достоевского сознательно игнорировал. «На эту дрянь у меня нет свободного времени». Прочитав «Записки из Мертвого дома» и «Преступление и наказание», он «Бесы» и «Братьев Карамазовых» читать не пожелал. «Содержание сих обоих пахучих произведений, — заявил он, — мне известно, для меня этого предостаточно». «Братьев Карамазовых» начал было читать и бросил: от сцен в монастыре стошнило. Что же касается «Бесов» — это явно реакционная гадость, подобная «Панургову стаду» Крестовского, терять на нее время у меня абсолютно никакой охоты нет. Перелистал книгу и швырнул в сторону. Такая литература мне не нужна — что она мне может дать?»

После того, что услышал от Воровского, желание «поисследовать» Ленина с помощью его отзывов о художественной литературе не уменьшилось, а скорее увеличилось. Как к этому приступить? Ведь было бы смешно ни с того ни с другого спрашивать: Владимир Ильич, сочинения какого автора и почему вы больше всего любите? То, что я мог в этой области получить, могло бы быть только случайным и при случайно возникшем разговоре. Так, случайно я узнал, что Ленин любит «Войну и мир» Толстого, а морально-философские размышления, которые вклеены в роман, считает глупостью. Это ничего не давало. Я не встречал еще ни одного русского человека, заявившего, что он не ценит и не любит это произведение.

Мимолетный разговор было о романах Гончарова. «Обрыв» Ленин совсем не ценил. Главного героя романа Райского назвал «никчемным болтуном» и другим, уже непечатным словом, а в поднадзорном Марке Волохове видел «скверную карикатуру на революционеров». Отношение к «Обломову» Гончарова у него было иным и весьма оригинальным.

— Я бы взял не кое-кого, а даже многих из наших партийных товарищей, запер бы их на ключ в комнате и заставил читать «Обломова». Прочитали? А ну-ка еще раз. Прочитали? А ну-ка еще раз. А когда взмолятся, больше, мол, не можем, тогда следует приступить к допросу: а поняли ли вы, в чем суть обломовщины? Почувствовали ли, что она и в вас сидит? Решили ли твердо от этой болезни избавиться?

Случайно узнал, что в гимназии Ленин написал сочинение на тему «Пророк» Пушкина, однако разговор о том был прерван и больше не возобновлялся. Лишь позднее мне стало известно, что в Симбирской гимназии, где учился Ленин, литературу преподавал Ф.М. Керенский — отец Александра Федоровича Керенского. Это он многим своим ученикам, в том числе и Ленину, внушил великое почтение и любовь к Пушкину. Немилосердно ругая сына Керенского и очень хорошо отзываясь о Керенском-отце, Ленин рассказывал об этом П.А. Красикову, а разговор о том возник по следующему поводу. В 1921 г. (или 1920-м — не могу точно сказать) Ленин посетил ВХУТЕМАС — Высшее художественное училище

в Москве. Если не ошибаюсь, в какой-то заметке есть о том и у Крупской. На вопрос Ленина, что читает сейчас молодежь, любит ли она, например, Пушкина, — студенты и студентки ВХУТЕМАСа почти единогласно ответили, что Пушкин «устарел», они его не признают, он «буржуй», представитель «паразитического феодализма», им никто теперь не может увлекаться и все они стоят за Маяковского — он революционер, а как поэт намного выше Пушкина. Ленин слушал это, пожимая плечами. Стихи Маяковского он совершенно не переносил. После посещения ВХУТЕМАСа, беседа с Красиковым, Ленин говорил:

— Совершенно не понимаю увлечения Маяковским. Все его писания — штукарство, тарабарщина, на которую наклеено слово «революция». По моему убеждению, революции не нужны играющие с революцией шуты гороховые вроде Маяковского. Но если решат, что и они ей нужны, — пусть будет так. Только пусть люди меру знают и не охальничают, не ставят шутов, хотя бы они клялись революцией, выше «буржуя» Пушкина и пусть нас не уверяют, что Маяковский на три головы выше Беранже.

— Я передаю, — рассказывал мне Красиков, — подлинные слова Ленина. Можете их записать. Давайте сделаем большое удовольствие Ильичу — трахнем по Маяковскому. Так статью и озаглавим: «Пушкин или Маяковский?». Нужны ли революции шуты гороховые? Конечно, на нас накинута, а мы скажем: обратитесь к товарищу Ленину, он от своих слов не откажется.

Статья не была написана, но, оставляя в стороне вопрос о нашей компетентности в этой области, она могла быть напечатанной, тогда как теперь, когда Сталин изрек, что «Маяковский был и остается талантливейшим поэтом советской эпохи», «Правда» (№ 12, авг., 1951 г.), как всегда, лживо заявила, что «многие стихи Маяковского написаны под непосредственным впечатлением выступлений тов. Сталина», — всякая критика сего поэта стала невозможной — ее приказано считать «клеветой классового врага».

Более основательным был у меня разговор с Лениным о Некрасове. Ленин его превосходно знал и, конечно, любил. Ничего удивительного в том нет. На иконостасе нескольких революционных поколений Некрасов неизменно и по праву занимал место любимой иконы. Если что мне и показалось странноватым, так это почти нежное сочувствие Ленина крестьянофильским пассажирам в стихотворениях Некрасова и особенно в «Кому на Руси жить хорошо». В моих глазах это плохо увязывалось с марксистской любовью Ленина к пролетариату — ведь обычно его мыслили как антипода крестьянства. Говоря о Некрасове, я заметил (знаю теперь — ошибочно), что, хотя он много писал о деревне, — у него нет особо хороших описаний природы.

— Ошибаетесь, глубоко ошибаетесь! — воскликнул Ленин. — А ну-ка попробуйте найти лучшее, чем у Некрасова, описание ранней весны. — И, картавя, катая «р», он продекламировал:

Идет, гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний Шум,
Как молоком облитые,
Стоят сады вишневые,
Тихохонько шумят.

Пригреты теплым солнышком,
Шумят повеселелые
Сосновые леса.
А рядом новой зеленью
Лепечут песню новую
И липа бледнолистая,
И белая березынька
С зеленою косой.

Ленин после этого два раза, точно вталкивая в меня, чтобы я это понял, повторил:

И липа бледнолистая,
И белая березынька
С зеленою косой.

– А вы любите липу? — спросил я.

– Это самое, самое любимое мною дерево!

С большим жаром продекламированный «Зеленый Шум» и то, что мимоходом уже приходилось слышать от него, — мне показали, что Ленин действительно любит природу, хотя об этом нельзя предположить, судя, например, по тем невероятно, до дикости грубым строкам, которые изредка он посвящал искусству и литературе. «Поэтическая» любовь к природе у человека столь мало поэтического, как Ленин, конечно, вызвала у меня удивление, а через несколько дней мне пришлось испытать и другое удивление.

Некая дама приехала в Женеву с специальной целью познакомиться с Лениным. У нее от Калмыковой (*persona grata*, дававшая в 1901—1903 гг. деньги на «Искру») было письмо к Ленину. Имея его, она была уверена, что будет им принята с должным вниманием и почтением. После свидания дама жаловалась всем, что Ленин принял ее с «невероятной грубостью», почти «выгнал» ее. Гусев передал об ее сетованиях Ленину, и тот пришел в величайшее раздражение:

– Эта дура сидела у меня два часа, отняла меня от работы, своими расспросами и разговорами довела до головной боли. И она еще жалуется. Неужели она думала, что я за ней буду ухаживать. Ухажерством я занимался, когда был гимназистом, на это теперь нет ни времени, ни охоты. И за кем ухаживать? Эта дура — подлинный двойник Матрены Семеновны, а с Матреной Семеновной я никаких дел иметь не желаю.

– Какая Матрена Семеновна? — с недоумением спросил Гусев.

– Матрена Семеновна Суханчикова из «Дыма» Тургенева. Стыдно не знать Тургенева.

С этого дня, к величайшему моему удивлению и особому удовольствию (Тургенева я очень любил), я узнал, что Ленин великолепно знает Тургенева, намного лучше меня. Он помнил и главные его романы, и рассказы, и даже крошечные вещицы, названные Тургеневым «Стихотворения в прозе». Он, очевидно, читал Тургенева очень часто и усердно, и некоторые слова, выражения Тургенева, например, из «Нови», «Рудина», «Дыма», ввелись в его лексикон. Кроме Воровско-

го и меня, этого никто не замечал. Так, по поводу самоубийства в Сибири Федосеева он сказал: «Однако Федосеев не был барчуком и хлюпиком вроде Нежданова» (персонаж из «Нови»). Другой раз от Ленина можно было услышать: «Это не человек, а китайский болванчик, слова, слова, а дел нет» (лишь немножко измененная фраза из «Рудина»). Он очень часто пользовался ненавистным ему образом Ворошилова из романа «Дым» Тургенева. Представление о нем у Ленина обычно сопровождалось накатом жгучего презрения. Обозвать кого-нибудь из пишущей братии Ворошиловым он считал одним из сильнейших оскорблений, и из произведений Ленина мы знаем, что таким эпитетом немилосердно злоупотреблял. Например, в статье «Аграрный вопрос и критика Маркса», напечатанной в «Заре» (№ 2—3, 1901 г.), полемизируя с В.М. Черновым, Ленин 14 раз именует его Ворошиловым, делая к этому добавления вроде: «Ворошилов извращает», «Ворошилов безбожно путает», «Ворошилов хвастается», «За Ворошиловым не угнаться» и т.д. Явно наслаждаясь, что нашел наименование достаточно ругательное, он в той же статье называет Ворошиловым проф. С.Н. Булгакова (за большую работу последнего «Капитализм и земледелие»), австрийского социалиста Герца, писавшего на ту же тему, сотрудников журнала «Sozialistische Monatshefte», чтобы, в конце концов, заявить, что Ворошиловы, «критикующие взгляды Маркса на аграрный вопрос» — «везде одинаковы: и в России, и в Австрии».

К бежавшему в 1902 г. из ссылки молодому Троцкому Ленин одно время относился с большим благоволением, но после съезда Троцкий оказался в рядах меньшевиков, и Ленин иначе как Ворошиловым его уже не называл, причем для большего клеймения к Ворошилову присоединил эпитет «Балалайкин» (Щедрина). Помню — 1 мая 1904 г. в Женеве Троцкий на митинге эмигрантов произнес излишне цветистую, все же эффектную речь. Когда я передал Ленину мое впечатление об этом выступлении, в глазах его пробежал насмешливый огонек: «С печалью констатирую — вам нравятся речи Ворошиловых-Балалайкиных».

— Но вы не можете отрицать, что Троцкий превосходный оратор?

— Все Ворошиловы-Балалайкины — ораторы. В эту категорию входят недочувшиеся краснобай-семинаристы, болтающие о марксизме приват-доценты и паскудничающие адвокаты. У Троцкого есть частицы от всех этих категорий.

Через полтора месяца в категорию Ворошиловых попаду и я!

<...>

Жизнь больших исторических фигур — а кто будет отрицать, что Ленин вошел в большую историю? — всегда интересует людей. Все хотят знать (биографы спешат на это ответить) не только, чем облагодетельствовал мир, например, Наполеон или сколько сотен тысяч людей он отправил на тот свет, но кем он был, как жил, что любил, как любил. Только обладая множеством данных, вплоть до мелочей, можно иметь перед глазами полный, не вымышленный образ человека, «сделавшего историю». С этой точки зрения могла быть интересной появившаяся в издании Bandinieri книга «Les amours secretes de Lenine», написанная двумя авторами — французом (вероятно, он был только переводчиком) и русским. Впервые в виде статей она появилась в 1933 г. в газете «Intransigeant». За книгу многие ухватились, даже много писали о ней, поверив, что у Ленина были интим-

ные отношения с некоей Елизаветой К. — дамой «аристократического происхождения». В доказательство авторы приводили якобы письма Ленина к этой К. Даже самый поверхностный анализ названного произведения немедленно обнаруживает, что оно плод тенденциозной и очень неловкой выдумки. Но если у Ленина не было этой секретной любви — отсюда не следует выводить, что в течение всей своей жизни он оставался верным только Крупской и не имел связи с другой женщиной. Это очень интимная область, о ней было как-то неловко писать, но теперь, когда имя этой «другой женщины» названо полностью в печати, (со слов А. М. Коллонтай, ее называет г. Марсель Боди в апрельском номере 1952 г. журнала «Preuves»), — ничто уже не мешает подробно рассказать об этом происшествии в жизни Ленина, никогда не бывшем секретом для его старых товарищей (Зиновьева, Каменева, Рыкова). Ленин был глубоко увлечен, скажем — влюблен, в Инессу Арманд — его компаньонку по большевистской партии. Влюблен, разумеется, по-своему, т. е., вероятно, поцелуй между разговором о предательстве меньшевиков и резолюцией, клеймящей капиталистических акул и империализм. Инесса Арманд родилась в 1879 г. в Париже, ее родители французы, отец артист, избравший псевдонимом имя Стеффен. После смерти родителей Инесса осталась бесприютным ребенком и была взята на попечение своей тетки, бывшей гувернанткой в семье Евгения Арманд, имевшего фабрику шерстяных изделий в Пушкино, в 30 километрах от Москвы. Инесса воспитывалась вместе с А.Е. Армандом — сыном фабриканта и за него потом вышла замуж (от этого брака трое детей). На путь революционной деятельности Инессу, по-видимому, толкнул старший брат ее мужа — Борис Евгеньевич, еще в 1897 г. привлекавшийся полицией за хранение мимеографа для печатания революционных прокламаций. Но этот сын фабриканта, агитировавший рабочих против своего отца, постепенно «отрезвляется» и от революции отходит; наоборот, Инесса все более и более страстно ей предается. В качестве агитаторши и пропагандистки она выступает сначала в Пушкино, потом в Москве. Те, кому приходилось ее видеть в Москве в 1906 г., надолго запомнили ее несколько странное, нервное, как будто асимметричное лицо, очень волевое, с большими гипнотизирующими глазами. Ее арестовывают в первый раз в 1905 г., потом в 1907 г. и отправляют на два года в ссылку в Архангельскую губернию, не дождавись двух месяцев до окончания срока, она скрывается за границу, в Брюссель, где слушает лекции в университете. Несмотря на ее разрыв с мужем, происшедший, кажется, без всяких драм, семья Арманд ее снабжает средствами. Все время своей эмиграции, т. е. до 1917 г., в деньгах она не нуждается. В 1910 г. она приезжает в Париж, и здесь происходит ее знакомство с Лениным. В кафе на avenue d'Orleans его часто видят в ее обществе. В 1911—1912 гг. внимание, которым ее окружает Ленин, все время растет. Оно бросается в глаза даже такому малонаблюдательному человеку, как французский социалист-большевик Шарль Рапопорт: «Ленин, — рассказывал он, — не спускал своих монгольских глаз с этой маленькой француженки» («avec ses petits yeux mongols ilepiait cette petite francaise»). Наружность Инессы, ее интеллектуальное развитие, характер делали из нее фигуру, бесспорно, более яркую и интересную, чем довольно-таки бесцветная Крупская. Ленин ценил в Инессе — пламенность, энергию, очень твердый характер, упорность.

— Ты, — писал он ей 15 июля 1914 г., — из числа тех людей, которые раз-

вертываются, крепнут, становятся сильнее и смелее, когда они одни на ответственном посту.

Он восхищался ее знанием иностранных языков; в этом отношении она была для него незаменимым помощником на международных конференциях в Кантале и Циммервальде в 1915 г. и на первом и втором Конгрессе Коминтерна в 1919-м и 1920 гг. Он доверял и ее знанию марксизма: в 1911 г. в партийной школе в Longjumeau (около Парижа) поручил ей вести дополнительные семинарские занятия с лицами, слушающими его лекции по политической экономике. Наконец, Инесса была превосходная музыкантша, она часто играла Ленину «*Senate Pathétique*» Бетховена, а для него это голос Сирены. «Десять, двадцать, сорок раз могу слушать *Sonate Pathétique*, и каждый раз она меня захватывает и восхищает все более и более», — говорил Ленин.

После смерти Ленина Политбюро вынесло постановление, требующее от партийцев, имеющих письма, записки, обращения к ним Ленина, передать их в архив Центрального Комитета, что с 1928 г. фактически было передачей в полное распоряжение Сталина. Этим путем, нужно думать, попали в архив и письма Ленина к Инессе. В отличие от писем, обращенных к другим лицам, почти всех напечатанных еще до 1930 г., письма Ленина к Инессе — за исключением трех напечатанных в 1939 г. — начали появляться в «Большевике» лишь в 1949 г., т. е. 25 лет после смерти Ленина. Ряд понятных соображений («разоблачение интимной жизни Ильича») препятствовало их появлению. Только в 1951 г. — 27 лет после смерти Ленина — в 35 томе четвертого издания его сочинений опубликованы (конечно, не все, а с осторожным выбором!) некоторые письма, свидетельствующие, что отношения Ленина с Инессой были столь близкими, что он обращался к ней на ты. Из писем можно установить, что это интимное сближение произошло осенью 1913 г. Инесса тогда только что бежала из России, куда поехала с важными поручениями Ленина и попала в тюрьму. Ленин и Крупская жили в это время в Кракове. В своих «Воспоминаниях» Крупская пишет: «Осенью 1913 г. мы все очень сблизились с Инессой. У нее (после сидения в тюрьме) появились признаки туберкулеза, но энергия не убавилась. У нее много было какой-то жизнерадостности и горячности. Уютнее и веселее становилось, когда приходила Инесса. Мы с Ильичем и Инессой много ходили гулять. Ходили на край города, на луг (луг по-польски — блонь). Инесса даже псевдоним себе с этих пор взяла — Блонина. Инесса была хорошая музыкантша. Очень хорошо играла многие вещи Бетховена. Ильич особенно любил *Sonate Pathétique* и просил ее постоянно играть...»

<...>

Знала ли Крупская об отношениях между Лениным и Инессой? Не могла не знать, трудно было не заметить. Со слов той же Коллонтай (она хорошо знала Инессу и с нею переписывалась), Марсель Боди сообщает, что Крупская хотела «отстраниться», но Ленин не шел, не мог идти на такой разрыв. «Оставайся», — просил он. С точки зрения кодекса Колосова, здесь все данные, чтобы расстаться с прошлым, не бояться упреков, не поддаваться мелким чувствам — раскаянию и сожалению. Но Ленин не хотел расстаться с прошлым, он любил Крупскую и вместе с тем Инессу — налицо два параллельных чувства. Жизнь

оказалась не влезающей ни в т. н. «революционные» декларации Колосова, ни в чепуху о «пролетарском браке» и «классовой точке зрения в любви». Нельзя не отметить проявленное потом Крупской, совершенно особое, мужество самозабвения. Под ее редакцией вышел сборник статей, посвященных «Памяти Инессы Арманд», и ее портрет и теплые строки о ней она поместила в своих воспоминаниях (см. издание 1932 г.). Это требовала память о Ленине. Далеко не всякая женщина могла бы так забыть себя...

<...>

Ленин был бурный, страстный и пристрастный человек. Его разговоры, речи во время прогулок о Бунде, Акимове, Аксельроде, Мартове, борьбе на съезде, где, по его признанию, он «бешено хлопал дверями», были злой, ругательской, не стесняющейся в выражениях полемикой. Он буквально исходил желчью, говоря о меньшевиках. Моментами он останавливался посередине тротуара и, запустив пальцы под отворот жилетки (даже когда был в пальто), то откидываясь назад, то подскакивая вперед, громил своих врагов, не обращая никакого внимания, что на его жестикуляцию с некоторым удивлением смотрят прохожие. С подобным проявлением страсти ведущееся «говорение» — и не один день, а в течение многих дней, — несомненно, должно было изнашивать его, утомлять, отымать у него часть запаса энергии, а она после приступа ража была у него в отлив, подсекалась колебанием и сомнениями. Обращаю на это внимание по следующим соображениям. Насколько я знаю, Ленин с самого утра принимался за писание и писал до завтрака (по-русски до обеда). После него он снова садился писать до 4 часов, когда выходил гулять. Однако на прогулках, хотя он выходил для отдыха, работа над книгой (переход от «шепота» к «говорению»), в сущности, продолжалась, трата умственной энергии не прекращалась. Возвратясь домой, он иногда до позднего часа продолжал писать. Вероятно, при таком расписании дня, у Ленина на разговоры с Крупской, на объяснение, «говорение» ей того, что пишет, оставалось меньше времени, чем она того хотела. Она могла чувствовать, что при составлении «Шаг вперед — два шага назад» не занимает того положения, которое привыкла иметь во время прежних работ Ленина. Уходы «Ильича» на прогулку, главное — траты, пусть даже частицы, его энергии на «поучение» какого-то Самсонова она должна была считать ненужными, вредными для дела, утомляющими Ильича и вместе с тем в какой-то степени ущемляющими ее право быть единственным и «первым слушателем». Возможно, что я ошибаюсь, но так я объясняю появление у Крупской недовольства мною, постепенно нараставшее против меня раздражение и переход его уже в несдерживаемый гнев. Крайне любопытно, что до яростной стычки со мною, происшедшей в июне, по поводу философских вопросов, Ленин в течение почти трех месяцев не обращал внимания на гнев Крупской. В одной из следующих глав я приведу неоспоримое свидетельство, что еще в начале июня он продолжал ко мне «благоволить».

Не могу окончить эту главу воспоминаний, не дав дополнительных, более подробных сведений о двух особых психологических состояниях Ленина, столь бросившихся мне в глаза во время прогулок с ним, когда он писал «Шаги». Это состояние ража, бешенства, неистовства, крайнего нервного напряжения и сле-

дующее за ним состояние изнеможения, упадка сил, явного увядания и депрессии. Все, что позднее, после смерти Ленина, удалось узнать и собрать о нем, с полной неоспоримостью показывает, что именно эти перемежающиеся состояния были характерными чертами его психологической структуры.

В «нормальном» состоянии Ленин тяготел к размеренной, упорядоченной жизни без всяких эксцессов. Он хотел, чтобы она была регулярной, с точно установленными часами пищи, сна, работы, отдыха. Он не курил, не выносил алкоголя, заботился о своем здоровье, для этого ежедневно занимался гимнастикой. Он — воплощение порядка и аккуратности. Каждое утро, перед тем как начать читать газеты, писать, работать, Ленин, с тряпкой в руках, наводил порядок на своем письменном столе среди своих книг. Плохо держащуюся пуговицу пиджака или брюк укреплял собственноручно, не обращаясь к Крупской. Пятно на костюме старался вывести немедленно бензином. Свой велосипед держал в такой чистоте, словно это был хирургический инструмент. В этом «нормальном» состоянии Ленин представляется наблюдателю трезвейшим, уравновешенным, «благонравным», без каких-либо страстей человеком, которому претит беспорядочная жизнь, особенно жизнь богемы. В такие моменты ему нравится покойная жизнь, напоминающая Симбирск. «Я уже привык, — писал он родным в 1913 г., — к обиходу краковской жизни, узкой, тихой, сонной. Как ни глух здешний город, а я все же больше доволен здесь, чем в Париже».

Это равновесие, это «нормальное» состояние бывало только полосами, иногда очень кратковременными. Он всегда уходил из него, бросаясь в целиком его захватывающие «увлечения». Они окрашены совершенно особым аффектом. В них всегда элемент неистовства, потери меры, азарта. Крупская крайне метко назвала их ражем (как она говорила — «ражью»). В течение его ссылки в Сибири можно хорошо проследить чередование разных видов ленинского ража. Купив в Минусинске коньки, он и утром и вечером бегаёт на реку кататься, «поражает» (слова Крупской) жителей села Шушенского «разными гигантскими шагами и испанскими прыжками». Он любил с нами состязаться, пишет Лепешинский. «Кто со мною вперегонки?» И впереди всех несется Ильич, напрягающий всю свою волю, все свои мышцы, лишь бы победить во что бы то ни стало и каким угодно напряжением сил. Другой раж — охотничий. Ленин обзавелся ружьем, собакой и до изнеможения рыщет по лесам, полям, оврагам, отыскивая дичь. Он отдавался охоте, говорит тот же Лепешинский, с таким «пылом страсти», что в поисках дичи был способен пробегать в день «по кочкам и болотам сорок верст». Шахматы — третий раж. Он мог сидеть за шахматами с утра до поздней ночи, и игра до такой степени заполняла его мозг, что он бредил во сне... Крупская слышала, как во сне он вскрикивал: если он конем пойдет сюда, я отвечу турой. Можно указать и четвертый раж.

«Ильич, — писала родным Крупская, — заявлял, что не любит и не умеет собирать грибы, а теперь его из леса не вытащишь, приходит в настоящую грибную раж». Эта «раж» неоднократно на него находила. Летом 1916 г. Ленин и Крупская из дома отдыха Чудивизе (недалеко от Цюриха) спешили по горным тропинкам на поезд. Накрапывал дождик, скоро превратившийся в ливень. В лесу Ленин увидел белые грибы, немедленно впал в азарт и, несмотря на ливень, бросился их собирать. «Мы вымокли до костей, опоздали, конечно, на

поезд», все-таки грибной раж свой Ленин удовлетворил вполне: бросил собирать грибы только тогда, когда наполнил ими целый мешок.

Подобного рода раж, но еще с большим неистовством, он вносил и в свою общественную, революционную и интеллектуальную деятельность. В 1916 г. он писал Инессе Арманд:

«Вот она судьба моя! Одна боевая кампания за другой. И это с 1893 года. И ненависть пошляков из-за этого. Ну, я все же не променял бы сей судьбы на мир с пошляками».

Источник: Вождь: Ленин, которого мы не знали. Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1991.

МАЛОЗНАКОМЫЙ ЛЕНИН

Из главы «Ульяновский фонд»

<...>

Окончив университет и став помощником присяжного поверенного, Ленин в 1892 году в Самаре попробовал вести в суде некоторые гражданские дела и быстро к ним охладел. Изучение Маркса его интересовало неизмеримо больше, чем посещение судебной палаты. В Петербурге в 1893-1895 годах он занимался адвокатурой ещё меньше. Над ним не капало. М.А. Сильвин в 1894 году спросил Ленина как идёт его юридическая работа. Ленин ответил: «Работы в сущности никакой нет», что за год, если не считать обязательных выступлений в суде, он не заработал даже столько, сколько стоит помощнику присяжного поверенного выборка документов... «Об адвокатской работе, — передаёт Сильвин, — он скоро вовсе перестал думать».

На какие же деньги он жил? Средства ему давала мать. Но невозможно допустить, чтобы 25-летний Ленин был настолько ленив, циничен и эгоистичен, что, не ища заработка, мог с лёгким сердцем принимать от матери денежную помощь, если бы знал, что источником существования всей семьи «лишь пенсия». В октябре 1893 года находясь в Петербурге, Ленин писал матери: « Попрошу прислать деньжонок: мои подходят к концу ... Оказалось, что за месяц с 9/IX по 9/X израсходовал всего 54 р. 30 коп., не считая платы за вещи (около 10 р.) и расходов по одному судебному делу (тоже около 10р.)...».

Указывая, что часть расходов в 74 рубля не каждый месяц повторится, Ленин всё же признавал, что «всё-таки получается расход чрезмерный — 38 р. в месяц... Видимое дело, нерасчётливо жил: на одну конку, например, истратил в месяц 1 р. 36 к. Вероятно, пообживусь, меньше расходовать буду».

В качестве примера своей нерасчётливости он ссылается на «коночные» издержки. Нельзя не усмехнуться по поводу этой ссылки, показывающей, что применение хитрого манёвра — издавна черта Ленина. В самом деле: затраты на конку составляли ничтожную часть произведённых им расходов. Если бы он совсем отказался от конки, а стал передвигаться по столице только пешком — экономия была бы нуль. Однако для полного оправдания в глазах матери своих расходов ссылка на конку — очень важна. Она должна свидетельствовать (Ле-

нин толкает на этот вывод), что расчётливость его достигает крайних пределов и потому не может быть и мысли, что он делает «чрезмерные расходы».

Суть вопроса всё же не в этом. Пенсия матери, получаемая ею от царского правительства в качестве вдовы директора народных училищ, действительно статского советника, кавалера Станислава 1-ой степени, составляла в месяц 100 рублей. Даже много позднее то была значительная сумма. И всё-таки возникает вопрос — могла ли М.А. Ульянова покрывать расходы сына Владимира не только в 74 рубля в месяц, а хотя бы в меньшей сумме, если бы в её распоряжении была только сторублёвая пенсия? Ведь кроме Владимира и Анны на её полном иждивении находилась дочь Мария, учившаяся в гимназии, сын Дмитрий, студент университета, ничего не зарабатывавший ни тогда, ни долго потом. После ареста и всякой перипетии Дмитрий Ильич кончил Университет в Юрьеве в 1901 году и лишь в 1902 году поступил на службу. Он начал иметь заработок в 28 лет, как и Ленин, то есть, по нашему воззрению, ненормально поздно. В цитированном выше письме Ленина к матери есть такая фраза: «Напиши, в каком положении твои финансы: получила ли сколько-нибудь от тётки? получила ли сентябрьскую аренду от Крушвица? много ли осталось от задатка (500 р.) после расходов на переезд и устройство?».

Расспросы Ленина, показывая, что он хотел быть *tres au courant* денежных дел матери, «фамильного фонда», бросают некоторый свет на источники доходов Ульяновых. Тётка, им упоминаемая, конечно, Анна Александровна Веретенникова, жившая в Казани и ведавшая имением Кокушкино. Это имение в то время приносило какой-то доход или должно было приносить, раз Ленин спрашивает — прислала ли тётка часть дохода, причитающегося его матери в качестве совладелицы Кокушкина. Что же касается фразы «получила ли сентябрьскую аренду от Крушвица» — то она требует подробных объяснений.

В 1887 году (год казни старшего сына) семейство Ульяновых навсегда оставляет Симбирск и переезжает в Казань. В мае 1889 года, вместо того чтобы лето провести, как до сих пор делалось, в казанском имении — Кокушкине, Ульяновы отправляются в Самарскую губернию, на хутор вблизи деревни Алакаевки, в 50 верстах от Самары. Хутор купила мать Ленина в декабре 1888 года, даже не видя его. Эта покупка, сделанная при посредстве будущего мужа Анны Ильиничны, Марка Елизарова, служившего в то время в Самарском мировом суде, — довольно странная операция. Хутор занимал 83, 5 десятины, из них четвертая часть была под оврагами, водой, дорогами. А так как за всё имение было уплачено 7 500 рублей, то десятина удобной, годной под пашню, земли обошлась в 123 рубля! Таких высоких цен в Самарской губернии не было и двадцать лет позднее.

Мать Ленина, покупая хутор, хотела, чтобы сын вёл хозяйство, и действительно в первый год по приезде в Алакаевку Владимир Ульянов этим занялся: был заведён скот, посеяна пшеница, подсолнух. Но, как потом Ленин рассказывал Крупской, — ведение хозяйства с обращением к крестьянам Алакаевки ставило его в «ненормальные с ними отношения». Поэтому он от хозяйства отказался и стал вести на хуторе беспечную жизнь «барина», приехавшего на дачу. В липовой аллее Алакаевки он с удобством готовился к сдаче государственного экзамена в Университете Петербурга, сугубо изучая марксизм, и написал свою пер-

вую работу — статью «Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни».

С попыткой её напечатать у Ленина связаны весьма неприятные воспоминания. Дело в том, что, заразившись с 1887 года, под влиянием сочинений Чернышевского, дикой ненавистью к либералам и либерализму вообще, он считал, что не может и не должен иметь никаких отношений с этой мерзкой породой «общественной фауны». Однако желание напечатать написанную статью у него было столь велико, что несмотря на пылающее презрение к либералам, Ленин послал свою статью в редакцию московского либерального журнала «Русская Мысль». Редакция печатать её отказалась. Совсем не потому, как со злобой уверял Ленин Туган-Барановского, что боялась заложенных в статье марксистских идей, а по другой и простой причине: эта прославленная советскими биографами работа была лишь сдобренным ненужными словечками простым пересказом замечательной книги В.Е. Постникова «Южнорусское крестьянское хозяйство», вышедшей в Москве в 1891 году. Отказ проклятых либералов напечатать его произведение был для Ленина большим ударом по его самолюбию (а оно уже тогда было непомерным), и он долгое время скрывал от всех своё обращение в «Русскую Мысль». Книгу же Постникова Ленин ещё раз широко использовал в своём исследовании «Развитие капитализма в России».

В Самаре семейство Ульяновых жило зимой, а на лето переселялось на хутор. Так происходило в 1889-1893 годах, но в августе этого года Ленин из Алакаевки уехал в Петербург, а немного позднее мать с другими детьми переселилась в Москву.

Что в хозяйственном отношении происходило на хуторе, когда Ульяновы навсегда покидают Алакаевку? На это можно ответить: то же самое, что началось в Алакаевке уже на второй год покупки хутора, но вряд ли и об этом было бы приятно напоминать Ленину, и вот по какой причине. Из статьи проф. Волина в «Историческом Журнале», 1945, кн. 4, видна ужасающая бедность крестьян Алакаевки, соседей хутора Ульяновых. В ней было 34 двора (семейства), земельная площадь, им принадлежащая, составляла только 65 десятин — неполных две десятины в среднем на двор, причём 5 дворов никакой земли не имели. Хутор Ульяновых не походил на «латифундию», тем не менее, в нём одном было столько же удобной земли, как у 34 крестьянских дворов, в которых взрослых и детей было 197 душ, в 39 раз больше населения хутора. Алакаевские крестьяне до крайности нуждались в земле, но Ульяновы ни в каком виде им свою землю не предложили, а предпочли — что было выгоднее — отдать её в аренду некоему предпринимателю Крушвицу. Это о нём идёт речь в письме Ленина, когда он спрашивает мать, получила ли она «сентябрьскую аренду от Крушвица» и «много ли осталось от задатка (500 р.)», который, вероятно, в счёт будущей аренды должен был внести тот же Крушвиц.

В упомянутой статье, посланной в «Русскую Мысль», Ленин с негодованием говорил о «кулацких элементах, арендующих землю в размере, далеко превышающем потребность» и «отбивающих у бедных землю, нужную тем на продовольствие». Мы видим, что сам Ленин именно в такой операции был участником. Крестьян Алакаевки он и его семейство не эксплуатировали. Чтобы не было «ненормальных отношений» с ними, хозяйство Ленин не вёл, предпочитал получать доход от хутора не прямо из рук крестьян, а через арендатора Крушвица,

и это позволяло ему без угрызения марксистской совести быть чистеньким и жить беспечно в Алакаевке. Сдача хутора в аренду происходила с 1890 года по конец 1897 года, когда Ульяновы в декабре этого года продали его за ту же сумму, за которую он был куплен. Приняв во внимание, что за это время они получали арендные суммы, нужно заключить, что весьма странная и по дорогой цене покупка Алакаевского хутора в конце концов оказалась выгодной.

Уже цитированный проф. Волин указал, что на покупку хутора пошли деньги, вырученные от продажи дома в Симбирске. Это только его предположение, видимо основывающееся на том, что будто бы Илья Николаевич Ульянов, умирая, никаких денежных сумм семейству не оставил. Анна Ильинична могла бы внести в этот вопрос полную ясность, но, следуя принятому всеми Ульяновыми правилу «прибедниваться» и о действительном своём положении никому не говорить, — она вместо этого отделяется туманными словами о том, что семья проживала «понемногу из оставшегося после отца». А у отца были и деньги, которые незадолго до своей смерти ему прислал очень его любивший и воспитавший его старший брат, живший в Астрахани и имевший там какое-то пошивочное предприятие. Можно сказать, что на эти деньги, а не на вырученные от продажи дома в Симбирске, — был куплен Алакаевский хутор.

В 1897 году от всякого недвижимого имущества М.А. Ульянова постаралась избавиться. Продан дом в Самаре, ликвидирована всякая связь с казанским имением Кокушкино, продан хутор Алакаевка. Деньги, положенные в банк, может быть частью превращённые в государственную ренту, вместе с пенсией М.А. Ульяновой составили особый «фамильный фонд», которым очень умело в течение многих лет распоряжалась всегда расчётливая мать Ленина. Все черпали из этого фонда: старшая сестра Ленина Анна, Ленин, младший брат Дмитрий и младшая сестра Мария. Богатства, как видим, никогда не было, но в течение долгого времени был недостаток, позволявший членам семьи Ульяновых многие годы не иметь заработка, производить траты вроде частых поездок за границу, которые были бы просто невозможны, если бы «вся семья жила лишь на пенсию матери».

<...>

Из главы «Чудесная ссылка»

<...>

Как на самом деле жилось Ленину в ссылке — можно довольно ясно себе представить по свидетельству Крупской: «Дешевизна в этом Шушенском была поразительная, — писала Крупская. — Например, Владимир Ильич за своё «жалованье» — восьмирублёвое пособие — имел чистую комнату, кормёжку, стирку и чинку белья — и то считалось, что дорого платит . . . Правда, обед и ужин был простоват — одну неделю для Владимира Ильича убивали барана, которым кормили его изо дня в день, пока всего не съест; как съест — покупали на неделю мяса, работница во дворе — в корыте, где корм скоту заготавливали, рубила купленное мясо на котлеты для Владимира Ильича, — тоже на целую неделю... В общем ссылка прошла неплохо».

Мало сказать — неплохо. Она была чудесна. Что ссылка была совсем не

страшна — Ленин это почувствовал очень скоро по своём водворении в Шушенском. «Сегодня ровно месяц, как я здесь, и я могу повторить то же самое: и квартирой и столом вполне доволен ...» (письмо от 20 июня 1897 года).

Бараны и котлеты с добавлением горы картофеля, огурцов, кислой капусты, свёклы, а в качестве десерта сибирских ватрушек, очевидно, шли Ленину впрок. О минеральной воде, прописанной для его желудка швейцарским доктором, «я и думать забыл и надеюсь, что скоро забуду и её название» (письмо от 20 июня 1897 года). А четыре месяца спустя в письме к матери он добавляет: «Здесь тоже все нашли, что я растолстел за лето, загорел и высмотрю совсем сибиряком. Вот что значит охота и деревенская жизнь! Сразу все питерские болести побоку!».

Ленин в ссылке приобрёл столь упитанный вид, что приехавшая в Шушенское в мае 1898 года вместе с Крупской её мать, увидев его, не могла воздержаться от возгласа: «Эк вас разнесло!». «Он ужасно поздоровел, и вид у него блестящий сравнительно с тем, какой был в Питере», — сообщала Крупская Марии Александровне Ульяновой в письме от 22 мая 1898 года. Пожив немного в Шушенском, она сама должна была откровенно признать, что их ссылка действительно одно только удовольствие. «Вообще теперешняя наша жизнь напоминает «форменную» дачную жизнь, только хозяйства своего нет. Ну, да кормят нас хорошо, молоком поят вволю, и все мы тут процветаем. Я ещё не привыкла к теперешнему здоровому виду Володи, в Питере-то я его привыкла видеть всегда в довольно прихварывающем состоянии» (письмо от 26 июня 1898 года).

Чтобы сделать жизнь ещё более удобной и отвечающей их вкусам и потребностям, супруги Ленины перешли от пансиона у чужих людей к собственному хозяйству, приобретя всё, что нужно для его ведения. Заботу о нём взяла на себя Елизавета Васильевна, а на подмогу наняли прислугу. «Наконец мы наняли прислугу, девочку лет 15, за 21/2 р. в месяц + сапоги, придёт во вторник, следовательно, нашему самостоятельному хозяйству конец. Напасли на зиму всякой всячины» (письмо Крупской от 9 октября 1898 года). О том же предмете две недели спустя: «Наняли девочку, которая теперь и помогает маме по хозяйству и всю чёрную работу справляет».

<...>

Из главы «Миф о жизни впроголодь»

<...>

Вернёмся, однако, к вопросу, бедствовал ли в эмиграции Ленин. Владимиров в упомянутой выше брошюре приносит тому следующее доказательство: квартира Ленина в Париже «состояла из одной комнаты с альковом и маленькой кухней». С Лениным и Крупской в то время жила её мать и Мария Ильинична. Жить вчетвером в крошечной квартире — в одной комнате — крайне тягостно, и если Ленину пришлось идти на такую тяготу, то, очевидно, у него не было денег, и он действительно бедствовал. «Свидетельство» Владимирова о тяжком жилищном положении Ленина вошло в историю, и вот что 30 лет спустя писала об этой парижской квартире «Правда» 21 января 1954 года: «В четырнадцатом районе города есть скромная улица под названием Бонье. Здесь в

доме № 24 жил и работал Владимир Ильич . . . Дружъя Советского Союза в 1945 году установили на стене дома мемориальную доску. На мраморе видны силуэт Владимира Ильича и надпись по-французски: «Ленин. 22 апреля 1870 г. — 21 января 1924 г. Ленин жил в этом доме с декабря 1908 года по июль 1909 года». В этой квартире «маленькая комната была его кабинетом, кухня служила и столовой и приёмной».

Нечто другое о той же квартире на улице Бонье писала Крупская в своих «Воспоминаниях»: «Квартира была нанята на краю города, около самого городского вала, на одной из прилегающих к Авеню д'Орлеан улиц, на улице Бонье, недалеко от парка Монсури. Квартира была большая, светлая и даже с зеркалами над каминами (это было особенностью новых домов). Была там комната для моей матери, для Марьи Ильиничны, которая приехала в это время в Париж, наша комната с Владимиром Ильичём и приёмная. Но эта довольно шикарная квартира весьма мало соответствовала нашему жизненному укладу и нашей привезённой из Женевы “мебели”».

Как видим, биографы Ленина, чтобы прославить его «бедность», не стесняются плодить грубую ложь. Она становится ещё более выпирающей, если напомнить, что сам Ленин писал 19 декабря 1908 года своей сестре Анне: «Мы едем сейчас из гостиницы на свою новую квартиру . . . Нашли очень хорошую квартиру, шикарную и дорогую 840 франков + налог около 60 frs да + консьержке тоже около того в год. По-московски это дёшево (4 комнаты, кухня + чуланы, вода, газ), по-здешнему дорого. Зато будет поместительно и, надеемся, хорошо. Вчера купили мебель для Маняши. Наша мебель привезена из Женевы».

Ленин прав: квартира почти в 1000 франков в то время считалась дорогой; в годовом бюджете квартирная плата вряд ли могла составлять 25%. Такого процента в Париже нигде нельзя было найти. Но, предположив, что в бюджете Ленина плата за квартиру всё-таки занимала такую крупную долю, нужно вывести, что его годовой бюджет должен бы быть около 4000 франков, чтобы иметь возможность располагать нанятой «шикарной» квартирой. А 4000 франков в 1908 году и в последующие годы — весьма значительная сумма. Она не меньше чем в три раза превышала средний заработок рабочих Франции. Ленин не был беспечной богемой. Если бы не знал, что не может оплатить дорогую квартиру, он её не взял бы. Значит, у него были деньги и в достаточном количестве. Откуда же легенда, что он «бедствовал»?

Крупская писала, что шикарности квартиры не соответствовала их мебель. Мебель у них всегда была жалкая, но причиной было не бедственное положение, а ненужность при частых передвижениях из одной страны в другую обзаводиться солидной мебелью. При спешном переезде, например, из Мюнхена в Лондон, Ленин продал их мебелировку за 12 марок, то есть почти даром, только бы от неё отвязаться. Крупская говорит, что при отсутствии должной мебелировки квартира на улице Бонье «была неуютна до крайности». И при лучшей мебелировке квартира Ленина всё равно казалась бы неуютной, каким-то временным и неустроенным жильём. Это идёт уже от самой Крупской, совершенно лишённой присущей многим женщинам способности создавать уют, делать жильё привлекательным.

В июле 1909 года, покинув улицу Бонье, Ленин переселился в дом № 4 по

улице Marie-Rose. На этом доме тоже с 1945 года мемориальная доска с барельефным изображением Ленина и указанием, что он жил здесь в 1909-1912 годах.

Переезд в меньшую, чем на улице Бонье, квартиру объясняется совсем не тем, что он впал в «бедность». Сестра Маняша решила возвратиться в Россию, и исчез смысл иметь лишнюю комнату и за неё платить. Квартира на Мари-Роз, где за границей Ленин жил дольше, чем где-либо, светла, гигиенична и очень удобна. Из передней направо — большая комната с балконом и видом через улицу на тенистый сад напротив (на его месте теперь церковь). Это кабинет Ленина. Отсюда дверь в поместительный альков не с французским *lit national*, а с двумя железными, русского образца кроватями Ленина и Крупской. Из передней налево — другая, ещё большая комната для матери Крупской, Елизаветы Васильевны, и вместе с тем для занятий Крупской. На той же стороне — маленькая и совсем не тёмная кухня, в которую вёл небольшой коридор. Большим плюсом квартиры было то, что она имела центральное отопление. Хотя в квартиру на улице Бонье приходила прислуга и в круг её обязанностей входило приносить уголь и зажигать печи, французские «саламандры» Ленину и Крупской очень надоели. Поэтому-то они так и ухватились за квартиру на улице Мари-Роз. Ленин, видимо, придавал большое значение этой стороне. В письмах к родным он и Крупская неоднократно об этом упоминали. «У нас квартира с отоплением оказалась даже чересчур тёплой», — сообщал Ленин матери в письме от 4 ноября 1909 года. «У нас паровое отопление и очень тепло», — снова пишет он матери в начале декабря. «Разница от прошлого года только та, что квартира очень тёплая» (письмо Крупской к матери Ленина от 20 декабря 1909 года). Квартира на улице Мари-Роз стоила на 140 франков дешевле, чем на улице Бонье, но для тех лет её справедливо считали дорогой. Если бы Ленин жил «впроголодь» — мог ли он иметь эту квартиру?

<...>

Источник: сайт Русский мир (<http://www.russkymir.ru>)

Г.А. Соломон

ВБЛИЗИ ВОЖДЯ: СВЕТ И ТЕНИ.
Ленин и его семья

Глава 9

Ленин характеризует разных известных лиц. — Ленин об Ю.О. Мартове. — Ленин об А. Луначарском. — Ленин о М. Горьком. — Ленин о Троцком. — Ленин о В.И. Засулич. — Ленин о Литвинове; тифлисская экспроприация; Литвинов и Мартов; они не сошлись и что из-за этого произошло. — Ленин о Вересаеве. — Ленин о Воровском. — Ленин о Г.А. Алексинском.

Я заканчиваю описание этого первого приезда Ленина в Брюссель. И в заключение считаю не бесполезным для характеристики Ленина привести его отзывы о разных более или менее известных деятелях, сделанные им в это его посещение меня в Брюсселе.

Я выше говорил, что незадолго до его приезда в Брюсселе же читал доклад покойный Юлий Осипович Мартов. И вот, говоря о нем, Ленин с обычными своими ужимками и лукавым видом, сказал мне:

— Хотя Ю.О., как известно, мой большой друг... вернее, бывший друг, но, к сожалению, он великий талмудист мысли, и что к чему, — это ему не дано...

О недавно смещенном с поста наркомпроса А.В. Луначарском, который незадолго до него тоже читал доклад в Брюсселе на зыбкую тему романа Арцыбарева «Санин», он говорил не только зло, но и с нескрываемым омерзением, ибо, настолько я знаю, в известных отношениях Ленин был очень чистый человек, с искренней гадливостью относившийся ко всякого рода эксцессам, как пьянство, половая распущенность и пр.

В свой приезд Луначарский тоже гостил у меня и тоже пробыл три-четыре дня. Я хорошо знал его покойного брата, доктора Платона Васильевича, моим товарищем по работе (революционной) в Москве и арестованным так же, как и я, 1 марта 1901 г. Естественно поэтому, что я встретил Анатолия Луначарского очень приветливо. Но уже после весьма кратковременного знакомства с ним я раскусил его и понял, что это был, хотя внешне и блестящий человек, но совершенно пустой малый и морально очень неразборчивый... Он жил тогда на о. Капри под сенью Горького, о котором он говорил с самым пошлым подобострастием, так же как и об его жене (актрисе М.Ф. Андреевой, — ред.). Он усиленно уговаривал и меня переехать на Капри, причем все время говорил в таком духе, что вот он вернется на Капри, повидается с Горьким и «главное с Марией Федоровной» и поговорит с ними обо мне и уверен, что они согласятся приютить и меня. Все это говорилось тоном какого-то приживала... Я просил его весьма определенно не хлопотать, говорил, что с отвращением вспоминаю о Горьком и об его жене... Но тем не менее вскоре после его отъезда я получил от него письмо, в котором он сообщал, что очень хлопотал обо мне перед Горьким и в конце концов добился и от Горького, а «главное от Марии Федоровны» согласия на то, чтобы я приехал к ним на Капри и что меня у Горьких на их вилле ждет пре-

красная комната и пр... Конечно, я поспешил ответить ему, что, как я говорил ему при свидании, я не хочу и не могу согласиться на это приглашение и вступить в ряды того хора паразитов, который окружает «великого Горького».

В Брюсселе Луначарский отметил гомерическим пьянством. Так, помню, после одного угощения (пьянство и пр.), данного ему его поклонниками, мне пришлось в четыре часа утра увозить его к себе домой грязного, пьяного, скверно ругавшегося и все время лезшего в драку, бывшего посуду...

Я рассказал об его брюссельских подвигах Ленину, показал ему письмо Луначарского ко мне с выражением «согласия» Горьких на мой приезд на Капри, и Ленин тут-то и сделал самую беспощадную характеристику своему будущему коллеге по совнаркому, будущему «министру народного просвещения».

— Это, знаете, настоящий фигляр, не имеющий ничего общего с покойным братом Платоном. По своим убеждениям и литературно-художественным вкусам он мог бы сказать устами Репетилова (персонаж комедии «Горе от ума» А. Грибоедова, — ред.): «Да, водевиль есть нечто, а прочее все гниль...» Да и в политике он типичный Репетилов: «Шумим, братец, шумим!»... Не так давно его укусила муха богоискательства, конечно, также фиглярно, как весь он фиглярен, то есть просто стал в новую позу. Но, знаете, как тонко посмеялся над ним по этому поводу Плеханов... Это было во время партийного съезда (РСДРП, V (Лондонского) в 1907 г., — ред.)... Плеханов в кулуарах, конечно, вдруг подходит к нему какими-то кротко монашескими мелкими шажками, останавливается около него, крестится на него и тоненьким дискантом пропел ему: «святой отче Анатолий, моли Бога о нас!»... Скажу прямо, — это совершенно грязный тип, кутила и выпивоха, и развратник, на Бога поглядывает, а по земле пошаривает, моральный альфонс, а, впрочем, черт его знает, может быть не только моральный... Подделался к Горькому, поет ему самые пошлые дифирамбы, а того ведь хлебом не корми, лишь пой ему славословие... ну и живет у них на Капри и на их счет... (Несмотря на такое мнение о нем, Ленин назначил его руководителем образования и воспитания русского юношества!.. — Автор.)

И тут, же, придравшись к этому случаю, Ленин посвятил несколько слов и «великому Горькому».

— Это, доложу я вам. тоже птица... Очень себе на уме, любит деньгу. Ловко сумел воспользоваться добрым Короленкой (В.Г. Короленко, известный русский писатель, — ред.) и др., благодаря им взобрался на литературный Олимп, на котором и кочевряжится и с высоты которого ругает направо и налево и грубо оплевывает всех и вся... И подобно Анатолию Луначарскому, которого он пригрел и возложил на лоно, тоже великий фигляр и фарисей, по русской поговорке «спереди благ муж, а сзади всякую шаташеса»... Впрочем, человек он полезный, ибо, правда, из тщеславия, дает деньги на революцию и считает себя так же, как и Шаляпин (Ф.И. Шаляпин, великий русский певец и актер, — ред.), «преужаснейшим» большевиком...

— А знаете вы его жену, Андрееву? — перебив сам себя, спросил он вдруг меня, и на мой утвердительный ответ сказал: «Знаете, у Горького есть один рассказ, где какой-то из его героев, говоря своему товарищу о лешем, так характеризует его: «Леший, вишь, вон он какой — одна тебе ноздря...» — Как ноздря? — спрашивает удивленный собеседник. — «Да так-просто ноздря и больше

ничего. — вот он каков леший-то»... Так вот Мария Федоровна похожа именно на горьковского лешего, ха-ха-ха! — и Ленин весело расхохотался, довольный своим, по-моему, действительно метким сравнением.

Очень зло отзывался Ленин и о Троцком, который в те времена мирно прозябал среди меньшевиков, все время, — это уже у него было от молодых ногтей, — крикливо позируя и фиглярничая. Характеристика, сделанная Лениным, была не только зла, но и глубоко верна. Мне она вспомнилась впоследствии уже в Москве, когда «маршал» Троцкий стал во главе Красной армии и одерживал одну за другой победы, выступая с крикливыми речами «а ля Наполеон», причем за спиной его стоял никто иной, как Сталин, в качестве политического комиссара (не называясь официально им), неумный, но напористый и лично, по отзывам всех, знающих его, до самозабвения решительный и отважный человек.

— Чтобы охарактеризовать вам Троцкого, — говорил Ленин, хитро щуря свои глазки с выражением непередаваемого злого лукавства, — я вам расскажу один еврейский анекдот... Богатая еврейка рождает. Богатство сделало ее томной дамой, она кое-как лопочет по-французски. Ну, само собой, для родов приглашен самый знаменитый врач. Роженица лежит и по временам, томно закатывая глаза, стонет, но на французский манер: «о, мон Дье!» (О, мой Бог, фр., — ред.) Муж ее сидит с доктором в соседней комнате и при каждом стоне тревожно говорит доктору: «ради Бога, доктор, идите к ней, она так мучается...» Но врач курит сигару и успокаивает, говоря, что он знает, когда он должен вмешаться в дело природы... Это тянется долго. Вдруг из спальни доносится: «ой, вай мир, гевальт!» (Боже мой, евр., — ред.). Тогда доктор, сказав «ну, теперь пора», направился в спальную... Вот вспомните мои слова, что, как революционер, Троцкий — страшный трус, и мне так и кажется, что в решительную минуту его прорвет и он заорет на своем языке «гевальт»...

— Мне особенно вспомнилось это пророчество, когда при приближении к Петербургу армии Юденича (в 1919г., — ред.), Ленин командировал в Петербург покойного Красина, ибо растерявшийся Троцкий (и Зиновьев с ним) обратился к жителям Петербурга с воззванием, рекомендуя им защищаться (это против регулярной и технически хорошо оборудованной армии!) постройкой баррикад. Тогда же один товарищ, имени которого я не назову, сказал мне, по поводу этой растерянности Троцкого, что «у него шея чешется от страха перед белыми».

О Плеханове Ленин говорил с известным, хотя и недобрым почтением:

— Он, знаете, склизкий и ершистый, — так голыми руками его не возьмешь. Но крупная личность с громадным значением в истории рабочего движения, настоящий апостол русского марксистского социализма, впрочем, с сильным креном в сторону буржуазии...

О покойной В.И. Засулич он отозвался так:

— Есть такая детская песенка, точно написанная на Веру Ивановну:

Жила-была старица
В тишине под дубом.
Пошла в баню париться,
— Братья, возликуем!..
И, как баба умная

Взяла пук мочала...
Песня эта длинная,
– Начинай с начала!

И опять повторяется то же самое, как в песне «у попа была собака». Вот вам и вся Вера Ивановна...

Признаюсь, я и тогда, так же как и сейчас, не понимаю, в чем соль этой нелепой характеристики. Одно несомненно, что в нее было вложено, на мой взгляд, много какой-то бессильной и беззубой злобы, причина которой мне неясна... Я знаю, что, когда-то давно В.И. Засулич встретила молодого тогда еще Ленина, ставшего в ряды эмиграции, с отменным участием и теплотой, о чем мне говорил кто-то из членов семьи Ульяновых с восторгом...

Очень зло Ленин отзывался и о Литвинове, ныне благополучно добившемся поста наркоминдела. Незадолго до своего приезда в Брюссель, Ленин направил ко мне Литвинова с особой рекомендацией, в которой он просил меня принять Литвинова, как одного из выдающихся товарищей, гонимого и международной полицией, и меньшевиками. Литвинов был в то время герой, имя которого довольно долго не сходило со страниц мировой печати. Я напомним вкратце его историю.

В 1907 г. (а м.б., и в 1906 году) в Тифлисе состоялась крупная экспроприация: на артельщиков, везших 200 000 рублей, напали кавказские революционеры и отобрали эти деньги, причем все дело обошлось без пролития крови. Я не буду приводить имен, замешанных в этом старом деле, ставшем уже достоянием истории. Революционеры, вступившие в 1905 г. в открытый бой с царским правительством, смотрели на это дело, как на один из актов военных действий. В нем принимал участие и такой известный революционер, человек незапятнанной честности, как Камо (Тер-Петросян С.А., — ред.) (Личность эта по своим похождениям почти легендарная. Известно, как он, арестованный в Берлине, чтобы его не выдали русской полиции, добивавшейся этого, два года, находясь в тюрьме, притворялся сумасшедшим: он все время идиотски смеялся, приручил пойманного им воробья, не расставаясь с ним даже во время допросов, в комиссии для освидетельствования его умственных способностей танцевал и прыгал, как дурачок, ел всяких насекомых и таким образом он добился того, что его не выдали. Автор.), армянин, почти легендарный герой, недавно погибший на Кавказе во время несчастья с мотоциклетом (попал под машину, но не на Кавказе, а в Москве в 1922 г., — ред.). И вся захваченная при этом «эксе» сумма (состоявшая из билетов пятисотрублевого достоинства) была передана партии, или вернее сказать большевикам. Все участники этой экспроприации остались неуловимыми. Русская полиция рвала и метала и, конечно, приняла все меры к тому, чтобы арестовать тех, кто попытался бы разменять эти пятисотрублевки, номера которых были известны полиции.

И вот, кажется в 1907 или 1908 г. в Париже был арестован Литвинов, причем прокуратура инкриминировала ему попытку разменять эти билеты и его участие в экспроприации. Он просидел в тюрьме всего около двух недель, все время подвергаясь допросам, но в конце концов был освобожден за отсутствием улик. Но кроме властей, на него нападали особенно энергично охранявшие чистоту своих риз меньшевики в своем журнале «Социал-демократ».

Вскоре Ленин направил его в Англию через Бельгию, где он пробыл, тоже гостя у меня, несколько дней. И, рассказывая мне об этой истории, он сообщил мне нечто, относящееся к «белым ризам» Мартова, что я оставляю всецело на его совести.

Меньшевики встретили его в Париже прямо в штывы, но Ю.О. Мартов обещал молчать и не поднимать шума, если он поделится с ними частью экспроприированных денег, причем Мартов требовал для своей группы (меньшевиков) 15 000 рублей. Литвинов соглашался дать только 5 000 р., торгуясь дальше, соглашался, понемногу добавляя, дать 7 000 р. Здесь он уперся, и «сделка» не состоялась. Тогда Мартов открыл против Литвинова свирепую атаку, в чем можно убедиться, прочтя соответствующие номера «Социал-демократа» той эпохи. Мне лично вспоминается одна особенно недостойная статья Мартова, в которой он, не стесняясь выдавать революционные, весьма конспиративные, псевдонимы Литвинова и, обрушиваясь на него, писал об этом деле... На меня лично это выступление Мартова, с которым я находился в самых хороших товарищеских отношениях, произвело столь отвратительное впечатление, что при встрече с ним в Петербурге года два спустя, в литературном обществе, когда он подошел ко мне с протянутой для пожатия рукой, я не поздоровался с ним, не пожал ему руки, в упор глядя ему в глаза, сказав только одно слова — «Литвинов»... И с тех пор мы не кланялись друг с другом.

В разговоре со мной Ленин коснулся и этого дела. Я отдавал дань стойкости и выдержанности Литвинова и его самопожертвованию. Ленин, однако, все время саркастически морщился.

— Да, конечно, вы правы... и стойкость, и выдержка, — сказал он. — Но, знаете ли, ведь это все качества хорошего спекулянта и игрока, — они, ведь, тоже подчас идут на самопожертвование, это вес качества умного и ловкого еврея-коробейника (подлинная фамилия Литвинова была Валлахмакс, — ред.), но никак не крупного биржевого дельца. И в его преданность революции я и на грош не верю и просто считаю его прожженной бестией, но действительно артистом в этих делах, хотя и мелким до глупости— Ну, подумайте сами, как можно было не сойтись с Мартовым? Ведь это глупо и мелко, набавил бы еще три тысячи, и они сошлись бы... А теперь вот в «Социал-демократе» идет истерика, визг и гвалт... И я вам скажу просто и откровенно; из Литвинова никогда не выйдет крупного деятеля — он будет гоняться за миллионами, но по дороге застрянет из-за двугривенного. И он готов всякого продать. Одним словом, — вдруг с бесконечным раздражением закончил он, — это мелкая тварь, ну и черт с ним!..

Вообще в этот приезд мы много говорили с Лениным о разных общественных деятелях. Узнав о моей близости с В.В. Вересасвым (известный писатель, — ред.) и всей его семьей, он очень зло, не в бровь, а в глаз, охарактеризовал его, как литератора:

— Он просто представляет собою нечто среднее между публицистом и беллетристом, или нечто, ни два, ни полтора, а по меткой сибирской поговорке, просто «никто»...

Уничтожающую характеристику сделал он и об известном впоследствии советском сановнике В.В. Воровском, писавшем в социалистической печати под псевдонимом «Орловский».

Это типичный Молчалин (персонаж комедии «Горе от ума» А. Грибоедова, ред.), переложенный на революционные нравы, но с польскими чертами какого-то не то Пшексюцюльского, не то Кшенсюцюльского ... Его девизом может служить: «в мои годы могут ли сметь свое суждение иметь», а впрочем, «падам до ног, аллеж стою, целую ренчки, аллеж свои» и всегда он готов при случае «дать в морду», если к этому представляется безопасная возможность. А кроме того, я думаю, он и на руку нечист и просто стопроцентный карьерист...

Об известном Г.А. Алексинском, бывшем ярком члене 2 Государственной Думы, тоже незадолго до того приезжавшем в Брюссель с докладом о романе «Красная Звезда», Ленин отозвался так: — Яркий, Божьей милостью, оратор, но самый настоящий пустоцвет и сума переметная и когда-нибудь должен застрять между двух стульев.

Заканчивая эту главу, в которой я привожу мнения Ленина о разных лицах, вновь вспоминаю, что он несколько раз говорил о своей матери и всегда резкий и какой-то злой, он поразительно для всех знавших его, как-то весь смягчался, глаза его приобретали какое-то сосредоточенное выражение, в котором было и много теплой, не от мира сего, ласки и просто обожания, и когда он характеризовал ее словом «святая», это нисколько не напоминало французского *oh, ma mere, c'est une sainte!*

Источник: Соломон Г. А. Вблизи вождя: Свет и тени. Ленин и его семья. М.: Москвитянин, 1991.

Ленин (Ульянов)
Владимир Ильич
(1870—1924)



Партийный и государственный деятель, основатель Советского государства, первый председатель Совнаркома Советской России.

Предсмертные записки и письма В.И. Ленина предназначались им для прочтения на XII съезде ВКП (б). Однако усилиями И.В. Сталина и объединившихся с ним в борьбе против Л.Д. Троцкого, Г.Е. Зиновьева и Л.Б. Каменева на XII съезде эти документы не были оглашены. Лишь после смерти В.И. Ленина они были зачитаны на XIII съезде, но не на открытом заседании, а на закрытых собраниях отдельных делегаций.

Вновь вопрос об оглашении «Завещания» встал на XV съезде в 1927 году, когда оно было опубликовано в «Бюллетенях XV съезда ВКП (б)», распространявшихся среди делегатов съезда, однако не вошло в изданный после съезда стенографический отчет.

С начала 30-х годов документ объявлен фальшивкой и при арестах служил серьезнейшей уликой в антисоветской контрреволюционной деятельности (см. справку о Варламе Шаламове, т. 1, кн. 1, стр. 133).

В 1956 г. текст «Завещания» был роздан делегатам XX съезда КПСС, а затем опубликован отдельным изданием и в дополнительном 36-ом томе 4-го издания Собрания сочинений В.И. Ленина. До этого ходил в Самиздате.

ПИСЬМО К СЪЕЗДУ
(«*Политическое завещание*»)

Я советовал бы очень предпринять на этом съезде ряд перемен в нашем политическом строе.

Мне хочется поделиться с Вами теми соображениями, которые я считаю наиболее важными.

В первую голову я ставлю увеличение числа членов ЦК до нескольких десятков или даже до сотни. Мне думается, что нашему Центральному Комитету грозили бы большие опасности на случай, если бы течение событий не было бы вполне благоприятно для нас (а на это мы рассчитывать не можем), — если бы мы не предприняли такой реформы. ... Что касается до первого пункта, т. е. до увеличения числа членов ЦК, то я думаю, что такая вещь нужна и для поднятия авторитета ЦК, и для серьезной работы по улучшению нашего аппарата, и для предотвращения того, чтобы конфликты небольших частей ЦК могли получить слишком непомерное значение для всех судеб партии... Мне думается, что устойчивость нашей партии благодаря такой мере выиграла бы в тысячу раз.

23. XII. 22г. Ленин

II

Продолжение записок. 24 декабря 22 г.

Под устойчивостью Центрального Комитета, о которой я говорил выше, я разумею меры против раскола, поскольку такие меры вообще могут быть приняты...

Наша партия опирается на два класса и поэтому возможна ее неустойчивость и неизбежно ее падение, если бы между этими двумя классами не могло состояться соглашения. На этот случай принимать те или иные меры, вообще рассуждать об устойчивости нашего ЦК бесполезно...

Я имею в виду устойчивость, как гарантию от раскола на ближайшее время, и намерен разобрать здесь ряд соображений чисто личного свойства.

Я думаю, что основным в вопросе устойчивости, с этой точки зрения, являются такие члены ЦК, как Сталин и Троцкий. Отношения между ними, по моему, составляют большую половину опасности того раскола, который мог бы быть избегнут и избежанию которого, по моему мнению, должно служить, между прочим, увеличение числа членов ЦК до 50, до 100 человек.

Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. С другой стороны, тов. Троцкий, как доказала уже его борьба против ЦК в связи с вопросом о НКПС, отличается не только выдающимися способностями. Лично он, пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК, но и чрезмерно хватающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела.

Эти два качества двух выдающихся вождей современного ЦК способны ненароком привести к расколу, и если наша партия не примет мер к тому, чтобы этому помешать, то раскол может наступить неожиданно.

Я не буду дальше характеризовать других членов ЦК по их личным качествам. Напомню лишь, что октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, конечно, не являлся случайностью, но что он также мало может быть ставим им в вину лично, как меньшевизм Троцкому.

Из молодых членов ЦК хочу сказать несколько слов о Бухарине и Пятакове. Это, по моему, самые выдающиеся силы (из самых молодых сил), и относительно их надо бы иметь в виду следующее: Бухарин не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также законно считается любимцем всей партии, но его теоретические воззрения очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нем есть нечто схоластическое (он никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики).

25.XII. Затем Пятаков — человек несомненно выдающейся воли и выдающихся способностей, но слишком увлекающийся администраторством, чтобы на него можно было положиться в серьезном политическом вопросе.

Конечно, и то, и другое замечание делается мной лишь для настоящего времени в предположении, что оба эти выдающиеся и преданные работники не найдут случая пополнить свои знания и изменить свои односторонности.

Ленин.

III

Продолжение записок. 26 декабря 1922 г.

... Я представляю себе дело таким образом, что несколько десятков рабочих, входя в состав ЦК, смогут лучше, чем кто бы то ни было другой, заняться проверкой, улучшением и пересозданием нашего аппарата. ...Рабочие, входящие в ЦК, должны быть, по моему мнению, преимущественно не из тех рабочих, которые прошли длинную советскую службу., потому что в этих рабочих уже создались известные традиции и известные предубеждения, с которыми именно желательно бороться.

В число рабочих членов ЦК должны войти преимущественно рабочие, стоящие ниже того слоя, который выдвинулся у нас за пять лет в число советских служащих, и принадлежащие ближе к числу рядовых рабочих и крестьян... Я думаю, что такие рабочие, присутствуя на всех заседаниях ЦК, на всех заседаниях Политбюро, читая все документы ЦК, могут составить кадр преданных сторонников советского строя, способных, во-первых, придать устойчивость самому ЦК, во-вторых, способных действительно работать над обновлением и улучшением аппарата.

Ленин.

4 января 1923 г. Ленин продиктовал небольшое добавление:

Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общении между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом, именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д. Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью. Но я думаю, что с точки зрения предохранения от раскола и с точки зрения написанного мною выше о взаимоотношении Сталина и Троцкого, это не мелочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение.

Ленин.

Хрущев
Никита Сергеевич
(1894–1971)



Партийный и государственный деятель, мемуарист.

Родился в селе Калиновка в крестьянской семье, вскоре переехавшей в Донбасс, где с 1912 г. Хрущев работал слесарем на заводах и шахтах. Председатель Комитета бедноты (комбед) в Калиновке, участник гражданской войны, политработник в частях 1-й Конной армии. С 1918 г. член РКП(б). Окончил рабфак Донецкого индустриального института (1925) и Промакадемию, где учился в одной группе с Н.С. Аллилуевой, женой И.В. Сталина. Именно благодаря ей вождь уже тогда обратил внимание на Хрущева, который был избран по его рекомендации секретарем парторганизации Промакадемии, бывшей в то время главной кузницей хозяйственных партийных кадров. Впоследствии постоянно находился на ответственной партийной и хозяйственной работе на Украине, затем в Москве. С 1939 г. — член Политбюро ВКП(б).

Как и все высшие руководители того времени повинен в массовых репрессиях. После смерти Сталина в результате закулисной борьбы становится первым секретарем ЦК КПСС, а вскоре и Председателем Совета министров.

Выступление Хрущева на XX съезде КПСС с разоблачением т.н. культа личности Сталина, какими бы мотивами он не руководствовался, явилось первым камнем, брошенным в монолит коммунистической власти и приведшим, в конце концов, к ее падению.

Лишенный в октябре 1964 г. всех партийных и государственных постов, отправленный на пенсию и фактически содержавшийся под домашним арестом, Хрущев начинает диктовать воспоминания, переправляет их на Запад, где они и публикуются, несмотря на яростное сопротивление брежневского руководства. Вскоре «Воспоминания» попадают в СССР и становятся достоянием Самиздата.

ДОКЛАД Н.С. ХРУЩЕВА
XX съезду
Коммунистической партии Советского Союза
25 февраля 1956 г.

Товарищи! В Отчетном докладе Центрального Комитета партии XX съезду, в ряде выступлений делегатов съезда, а также и раньше, на Пленумах ЦК КПСС, немало говорилось о культе личности и его вредных последствиях.

После смерти Сталина Центральный Комитет партии стал строго и последовательно проводить курс на разъяснение недопустимости чуждого духу марксизма-ленинизма возвеличивания одной личности, превращения ее в какого-

то сверхчеловека, обладающего сверхъестественными качествами, наподобие бога. Этот человек будто бы все знает, все видит, за всех думает, все может сделать; он непогрешим в своих поступках.

Такое понятие о человеке, и, говоря конкретно, о Сталине, культивировалось у нас много лет.

В настоящем докладе не ставится задача дать всестороннюю оценку жизни и деятельности Сталина. О заслугах Сталина еще при его жизни написано вполне достаточное количество книг, брошюр, исследований. Общеизвестна роль Сталина в подготовке и проведении социалистической революции, в гражданской войне, в борьбе за построение социализма в нашей стране. Это всем хорошо известно. Сейчас речь идет о вопросе, имеющем огромное значение и для настоящего и для будущего партии, — речь идет о том, как постепенно складывался культ личности Сталина, который превратился на определенном этапе в источник целого ряда крупнейших и весьма тяжелых извращений партийных принципов, партийной демократии, революционной законности.

В связи с тем, что не все еще представляют себе, к чему на практике приводил культ личности, какой огромный ущерб был причинен нарушением принципа коллективного руководства в партии и сосредоточением необъятной, неограниченной власти в руках одного лица, Центральный Комитет партии считает необходимым доложить XX съезду Коммунистической партии Советского Союза материалы по этому вопросу.

<...>

Мы должны серьезно разобрать и правильно проанализировать этот вопрос для того, чтобы исключить всякую возможность повторения даже какого-либо подобия того, что имело место при жизни Сталина, который проявлял полную нетерпимость к коллективности в руководстве и работе, допускал грубое насилие над всем, что не только противоречило ему, но что казалось ему, при его капризности и деспотичности, противоречащим его установкам. Он действовал не путем убеждения, разъяснения, кропотливой работы с людьми, а путем навязывания своих установок, путем требования безоговорочного подчинения его мнению. Тот, кто сопротивлялся этому или старался доказывать свою точку зрения, свою правоту, тот был обречен на исключение из руководящего коллектива с последующим моральным и физическим уничтожением. Это особенно проявилось в период после XVII съезда партии, когда жертвами деспотизма Сталина оказались многие честные, преданные делу коммунизма выдающиеся деятели партии и рядовые работники партии.

<...>

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что даже в разгар ожесточенной идейной борьбы против троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев и других к ним не применялись крайние репрессивные меры. Борьба велась на идейной основе. Но через несколько лет, когда социализм был уже в основном построен в нашей стране, когда были в основном ликвидированы эксплуататорские классы, когда коренным образом изменилась социальная структура советского общества, резко сократилась социальная база для враждебных партий, полити-

ческих течений и групп, когда идейные противники партии были политически давно уже разгромлены, против них начались репрессии.

И именно в этот период (1935-1937-1938 гг.) сложилась практика массовых репрессий по государственной линии сначала против противников ленинизма — троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев, давно уже политически разбитых партий, а затем и против многих честных коммунистов, против тех кадров партии, которые вынесли на своих плечах гражданскую войну, первые, самые трудные годы индустриализации и коллективизации, которые активно боролись против троцкистов и правых, за ленинскую линию партии. Сталин ввел понятие «враг народа». Этот термин сразу освобождал от необходимости всяких доказательств идейной неправоты человека или людей, с которыми ты ведешь полемику: он давал возможность всякого, кто в чем-то не согласен со Сталиным, кто был только заподозрен во враждебных намерениях, всякого, кто был просто оклеветан, подвергнуть самым жестоким репрессиям, с нарушением всяких норм революционной законности. Это понятие «враг народа» по существу уже снимало, исключало возможность какой-либо идейной борьбы или выражения своего мнения по тем или иным вопросам даже практического значения. Основным и, по сути дела, единственным доказательством вины делалось, вопреки всем нормам современной юридической науки, «признание» самого обвиняемого, причем это «признание», как показала затем проверка, получалось путем физических мер воздействия на обвиняемого.

Это привело к вопиющим нарушениям революционной законности, к тому, что пострадали многие совершенно ни в чем не виновные люди, которые в прошлом выступали за линию партии.

Следует сказать, что и в отношении людей, которые в свое время выступали против линии партии, часто не было достаточно серьезных оснований, чтобы их физически уничтожить. Для обоснования физического уничтожения таких людей и была введена формула «враг народа».

Ведь многие лица, которых впоследствии уничтожили, объявив их врагами партии и народа, при жизни В.И. Ленина работали вместе с Лениным. Некоторые из них и при Ленине делали ошибки, но, несмотря на это, Ленин использовал их на работе, поправлял, стремился к тому, чтобы они оставались в рамках партийности, вел их за собой.

<...>

Всем хорошо известно, как непримирим был Ленин к идейным противникам марксизма, к тем, кто уклонялся от правильной партийной линии. В то же время Ленин, как это видно из зачитанного документа, из всей практики его руководства партией, требовал самого внимательного партийного подхода к людям, которые проявляли колебания, имели отступления от партийной линии, но которых можно было вернуть на путь партийности. Ленин советовал терпеливо воспитывать таких людей, не прибегая к крайним мерам.

В этом проявлялась мудрость Ленина в подходе к людям, в работе с кадрами.

Совсем иной подход был характерен для Сталина. Сталину были совершенно чужды ленинские черты — проводить терпеливую работу с людьми, упорно и кропотливо воспитывать их, уметь повести за собой людей не путем принуж-

дения, а оказывая на них воздействие всем коллективом с идейных позиций. Он отбрасывал ленинский метод убеждения и воспитания, переходил с позиций идейной борьбы на путь административного подавления, на путь массовых репрессий, на путь террора. Он действовал все шире и настойчивее через карательные органы, часто нарушал при этом все существующие нормы морали и советские законы.

Произвол одного лица поощрял и допускал произвол других лиц. Массовые аресты и ссылки тысяч и тысяч людей, казни без суда и нормального следствия породжали неуверенность в людях, вызывали страх и даже озлобление.

<...>

Известно, что Зиновьев и Каменев при жизни В.И. Ленина совершили немало других крупных ошибок. В своем «завещании» Ленин предупредил, что «октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, конечно, не являлся случайностью»: но Ленин не ставил вопроса об их аресте и, тем более, о их расстреле. Или возьмем, к примеру, троцкистов. Сейчас, когда прошел достаточный исторический срок, мы можем говорить о борьбе с троцкистами вполне спокойно и довольно объективно разобраться в этом деле. Ведь вокруг Троцкого были люди, которые отнюдь не являлись выходцами из среды буржуазии. Часть из них была партийной интеллигенцией, а некоторая часть — из рабочих. Можно было бы назвать целый ряд людей, которые в свое время примыкали к троцкистам, но они же принимали и активное участие в рабочем движении до революции, и в ходе самой Октябрьской социалистической революции, и в укреплении завоеваний этой величайшей революции. Многие из них порвали с троцкизмом и перешли на ленинские позиции. Разве была необходимость физического уничтожения таких людей? Мы глубоко уверены, что если бы жив был Ленин, то такой крайней меры в отношении многих из них не было бы принято.

Таковы лишь некоторые факты истории. А разве можно сказать, что Ленин не решался применять к врагам революции, когда это действительно требовалось, самые жестокие меры? Нет, этого никто сказать не может. Владимир Ильич требовал жестокой расправы с врагами революции и рабочего класса и, когда возникала необходимость, пользовался этими мерами со всей беспощадностью.

<...>

Ленин применял суровые меры в самых необходимых случаях, когда в наличии были эксплуататорские классы, бешено сопротивлявшиеся революции, когда борьба по принципу «кто — кого» неизбежно принимала самые острые формы, вплоть до гражданской войны. Сталин же применял самые крайние меры, массовые репрессии уже тогда, когда революция победила, когда укрепилось Советское государство, когда эксплуататорские классы были уже ликвидированы и социалистические отношения утвердились во всех сферах народного хозяйства, когда наша партия политически окрепла и закалилась как количественно, так и идейно. Ясное дело, что здесь были проявлены со стороны Сталина в целом ряде случаев нетерпимость, грубость, злоупотребление властью. Вместо доказательств своей политической правоты и мобилизации масс, он нередко шел по линии репрессий и физического уничтожения не только дей-

ствительных врагов, но и людей, которые не совершали преступлений против партии и Советской власти. В этом никакой мудрости нет, кроме проявления грубой силы, что так беспокоило В.И. Ленина.

Центральный Комитет партии за последнее время, особенно после разоблачения банды Берия, рассмотрел ряд дел, сфабрикованных этой бандой. При этом обнаружилась весьма неприглядная картина грубого произвола, связанного с неправильными действиями Сталина.

Как показывают факты, Сталин, воспользовавшись неограниченной властью, допускал немало злоупотреблений, действуя от имени ЦК, не спрашивая мнения членов ЦК и даже членов Политбюро ЦК, зачастую не ставя их в известность о единолично принимаемых Сталиным решениях по очень важным партийным и государственным вопросам.

<...>

Если в первые годы после смерти Ленина съезды партии и пленумы ЦК проводились более или менее регулярно, то позднее, когда Сталин начал все более злоупотреблять властью, эти принципы стали грубо нарушаться. Особенно это проявилось за последние полтора десятка лет его жизни. Разве можно считать нормальным тот факт, что между XVIII и XIX съездами партии прошло более тринадцати лет, в течение которых наша партия и страна пережили столько событий? Эти события настоятельно требовали принятия партией решений по вопросам обороны страны в условиях Отечественной войны и по вопросам мирного строительства в послевоенные годы. Даже после окончания войны съезд не собирался более семи лет. Почти не созывались пленумы Центрального Комитета. Достаточно сказать, что за все годы Великой Отечественной войны фактически не было проведено ни одного Пленума ЦК. Правда, была попытка созвать Пленум ЦК в октябре 1941 года, когда в Москву со всей страны были специально вызваны члены ЦК. Два дня они ждали открытия Пленума, но так и не дождались. Сталин даже не захотел встретиться и побеседовать с членами Центрального Комитета. Этот факт говорит о том, насколько был деморализован Сталин в первые месяцы войны и как высокомерно и пренебрежительно относился он к членам ЦК.

В этой практике нашло свое выражение игнорирование со стороны Сталина норм партийной жизни, попрание им ленинского принципа коллективности партийного руководства.

Произвол Сталина по отношению к партии, к ее Центральному Комитету особенно проявился после XVII съезда партии, состоявшегося в 1934 году.

Центральный Комитет, располагая многочисленными фактами, свидетельствующими о грубом произволе в отношении партийных кадров, выделил партийную комиссию Президиума ЦК, которой поручил тщательно разобраться в вопросе о том, каким образом оказались возможными массовые репрессии против большинства состава членов и кандидатов Центрального Комитета партии, избранного XVII съездом ВКП(б). Комиссия ознакомилась с большим количеством материалов в архивах НКВД, с другими документами и установила многочисленные факты фальсифицированных, дел против коммунистов, ложных обвинений, вопиющих нарушений социалистической законности, в результате чего по-

гибли невинные люди. Выясняется, что многие партийные, советские, хозяйственные работники, которых объявили в 1937-1938 годах «врагами», в действительности никогда врагами, шпионами, вредителями и т. п. не являлись, что они, по существу, всегда оставались честными коммунистами, но были оклеветаны, а иногда, не выдержав зверских истязаний, сами на себя наговаривали (под диктовку следователей-фальсификаторов) всевозможные тяжкие и невероятные обвинения. Комиссия представила в Президиум ЦК большой документальный материал о массовых репрессиях против делегатов XVII партийного съезда и членов Центрального Комитета, избранного этим съездом. Этот материал был рассмотрен Президиумом Центрального Комитета.

Установлено, что из 139 членов и кандидатов в члены Центрального Комитета партии, избранных на XVII съезде партии, было арестовано и расстреляно (главным образом в 1937-1938 гг.) 98 человек, то есть 70 процентов. (Шум возмущения в зале).

Что собой представлял состав делегатов XVII съезда? Известно, что 80 процентов состава участников XVII съезда с правом решающего голоса вступили в партию в годы революционного подполья и гражданской войны, то есть до 1920 года включительно. По социальному положению основную массу делегатов съезда составляли рабочие (60 процентов делегатов с правом решающего голоса).

Поэтому совершенно немыслимо было, чтобы съезд такого состава избрал Центральный Комитет, в котором большинство оказалось бы врагами партии. Только в результате того, что честные коммунисты были оклеветаны и обвинения к ним были фальсифицированы, что были допущены чудовищные нарушения революционной законности, 70 процентов членов и кандидатов ЦК, избранных XVII съездом, были объявлены врагами партии и народа.

Такая судьба постигла не только членов ЦК, но и большинство делегатов XVII съезда партии. Из 1966 делегатов съезда с решающим и совещательным голосом было арестовано по обвинению в контрреволюционных преступлениях значительно больше половины — 1108 человек. Уже один этот факт говорит, насколько нелепыми, дикими, противоречащими здравому смыслу были обвинения в контрреволюционных преступлениях, предъявленные, как теперь выясняется, большинству участников XVII съезда партии. (Шум возмущения в зале).

Нужно помнить, что XVII съезд партии вошел в историю как съезд победителей. Делегатами съезда были избраны активные участники строительства нашего социалистического государства, многие из них вели самоотверженную борьбу за дело партии в дореволюционные годы в подполье и на фронтах гражданской войны, они храбро дрались с врагами, не раз смотрели в глаза смерти и не дрогнули. Как же можно поверить, чтобы такие люди в период после политического разгрома зиновьевцев, троцкистов и правых, после великих побед социалистического строительства оказались «двурушниками», перешли в лагерь врагов социализма?

Это произошло в результате злоупотребления властью со стороны Сталина, который начал применять массовый террор против кадров партии. Почему массовые репрессии против актива все больше усиливались после XVII съезда партии? Потому, что Сталин к этому времени настолько возвысился над парти-

ей и над народом, что он уже совершенно не считался ни с Центральным Комитетом, ни с партией. Если до XVII съезда он еще признавал мнение коллектива, то после полного политического разгрома троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев, когда в результате этой борьбы и побед социализма было достигнуто сплочение партии, сплочение народа, Сталин все больше и больше переставал считаться с членами ЦК партии и даже с членами Политбюро. Сталин полагал, что он может теперь сам вершить все дела, а остальные нужны ему как статисты, всех других он держал в таком положении, что они должны были только слушать и восхвалять его.

После злодейского убийства С.М. Кирова начались массовые репрессии и грубые нарушения социалистической законности. Вечером 1 декабря 1934 года по инициативе Сталина (без решения Политбюро — это было оформлено опросом только через 2 дня) было подписано секретарем Президиума ЦИК Енукидзе следующее постановление:

«1) Следственным властям — вести дела обвиняемых в подготовке или совершении террористических актов ускоренным порядком;

2) Судебным органам — не задерживать исполнения приговоров о высшей мере наказания из-за ходатайств преступников данной категории о помиловании, так как Президиум ЦИК Союза ССР не считает возможным принимать подобные ходатайства к рассмотрению;

3) Органам Наркомвнудела — приводить в исполнение приговоры о высшей мере наказания в отношении преступников названных выше категорий немедленно по вынесении судебных приговоров».

Это постановление послужило основанием для массовых нарушений социалистической законности. Во многих фальсифицированных следственных делах обвиняемым приписывалась «подготовка» террористических актов, и это лишало обвиняемых какой-либо возможности проверки их дел даже тогда, когда они на суде отказывались от вынужденных своих «признаний» и убедительно опровергали предъявленные им обвинения. Следует сказать, что обстоятельства, связанные с убийством т. Кирова, до сих пор таят в себе много непонятного и загадочного и требуют самого тщательного расследования. Есть основания думать, что убийце Кирова — Николаеву кто-то помогал из людей, обязанных охранять Кирова. За полтора месяца до убийства Николаев был арестован за подозрительное поведение, но был выпущен и даже не обыскан. Крайне подозрительным является то обстоятельство, что, когда прикрепленного к Кирову чекиста 2 декабря 1934 года везли на допрос, он оказался убитым при «аварии» автомашины, причем никто из сопровождающих его лиц при этом не пострадал. После убийства Кирова руководящие работники Ленинградского НКВД были сняты с работы и подвергнуты очень мягким наказаниям, но в 1937 году были расстреляны. Можно думать, что их расстреляли затем, чтобы замести следы организаторов убийства Кирова. (Движение в зале).

Массовые репрессии резко усилились с конца 1936 года после телеграммы Сталина и Жданова из Сочи от 25 сентября 1936 года, адресованной Кагановичу, Молотову и другим членам Политбюро, в которой говорилось следующее: «Считаем абсолютно необходимым и срочным делом назначение т. Ежова на пост наркомвнудела. Ягода явным образом оказался не на высоте своей задачи

в деле разоблачения троцкистско-зиновьевского блока. ОГПУ опоздал в этом деле на 4 года. Об этом говорят все парработники и большинство областных представителей НКВД». Следует кстати заметить, что с парработниками Сталин не встречался и поэтому мнение их знать не мог.

Эта сталинская установка о том, что «НКВД опоздал на 4 года» с применением массовых репрессий, что надо быстро «наверстать» упущенное, прямо толкала работников НКВД на массовые аресты и расстрелы.

Приходится отметить, что эта установка была навязана и февральско-мартовскому Пленуму ЦК ВКП(б) 1937 года. В резолюции Пленума по докладу Ежова «Уроки вредительства, диверсий и шпионажа японо-немецко-троцкистских агентов» говорилось:

«Пленум ЦК ВКП(б) считает, что все факты, выявленные в ходе следствия по делам антисоветского троцкистского центра и его сторонников на местах, показывают, что с разоблачением этих злейших врагов народа Наркомвнудел запоздал, по крайней мере, на 4 года». Массовые репрессии проводились в то время под флагом борьбы с троцкистами. Представляли ли в действительности в это время троцкисты такую опасность для нашей партии и Советского государства? Следует напомнить, что в 1927 году, накануне XV съезда партии, за троцкистско-зиновьевскую оппозицию голосовало всего лишь 4 тыс. человек, тогда как за линию партии голосовало 724 тысячи. За 10 лет, которые прошли с XV съезда партии до февральско-мартовского Пленума ЦК, троцкизм был полностью разгромлен, многие бывшие троцкисты отказались от своих прежних взглядов и работали на различных участках социалистического строительства. Ясно, что оснований для массового террора в стране в условиях победы социализма не было.

В докладе Сталина на февральско-мартовском Пленуме ЦК 1937 года «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников» была сделана попытка теоретически обосновать политику массовых репрессий под тем предлогом, что по мере нашего продвижения вперед к социализму классовая борьба должна якобы все более и более обостряться. При этом Сталин утверждал, что так учит история, так учит Ленин.

<...>

Используя установку Сталина о том, что чем ближе к социализму, тем больше будет и врагов, используя резолюцию февральско-мартовского Пленума ЦК по докладу Ежова, провокаторы, пробравшиеся в органы государственной безопасности, а также бессовестные карьеристы стали прикрывать именем партии массовый террор против кадров партии и Советского государства, против рядовых советских граждан. Достаточно сказать, что количество арестованных по обвинению в контрреволюционных преступлениях увеличилось в 1937 году по сравнению с 1936 годом более чем в десять раз!

<...>

Теперь, когда расследованы дела в отношении некоторых из этих мнимых «шпионов» и «вредителей», установлено, что эти дела являются фальсифицированными. Признания многих арестованных людей, обвиненных во вражес-

кой деятельности, были получены путем жестоких, бесчеловечных истязаний. В то же время Сталин, как сообщают члены Политбюро того времени, не рассылал им заявлений ряда оклеветанных политических деятелей, когда те отказывались от своих показаний на суде Военной коллегии и просили объективно расследовать их дело. А таких заявлений было немало, и Сталин, несомненно, был ознакомлен с ними.

<...>

Сложилась порочная практика, когда в НКВД составлялись списки лиц, дела которых подлежали рассмотрению на Военной коллегии, и им заранее определялась мера наказания. Эти списки направлялись Ежовым лично Сталину для санкционирования предлагаемых мер наказания. В 1937-1938 годах Сталину было направлено 383 таких списка на многие тысячи партийных, советских, комсомольских, военных и хозяйственных работников и была получена его санкция.

Значительная часть этих дел сейчас пересматривается и большое количество их прекращается как необоснованные и фальсифицированные. Достаточно сказать, что с 1954 года по настоящее время Военной коллегией Верховного суда уже реабилитировано 7679 человек, причем многие из них реабилитированы посмертно.

Массовые аресты партийных, советских, хозяйственных, военных работников нанесли огромный ущерб нашей стране, делу социалистического строительства. Массовые репрессии отрицательно влияли на морально-политическое состояние партии, порождали неуверенность, способствовали распространению болезненной подозрительности, сеяли взаимное недоверие среди коммунистов. Активизировались всевозможные клеветники и карьеристы.

<...>

Мы обвиняем Ежова в извращениях 1937 года, и правильно обвиняем. Но надо ответить на такие вопросы: разве мог Ежов сам, без ведома Сталина, арестовать, например, Косиора? Был ли обмен мнениями или решение Политбюро по этому вопросу? Нет, не было, как не было этого и в отношении других подобных дел. Разве мог Ежов решать такие важные вопросы, как вопрос о судьбе видных деятелей партии? Нет, было бы наивным считать это делом рук только Ежова. Ясно, что такие дела решал Сталин, без его указаний, без его санкции Ежов ничего не мог делать.

Мы сейчас разобрались и реабилитировали Косиора, Рудзутака, Постышева, Косарева и других. На каком же основании они были арестованы и осуждены? Изучение материалов показало, что никаких оснований к этому не было. Арестовывали их, как и многих других, без санкций прокурора. Да в тех условиях никакой санкции и не требовалось: какая еще может быть санкция, когда все разрешал Сталин. Он был главным прокурором в этих вопросах. Сталин давал не только разрешения, но и указания об арестах по своей инициативе. Об этом следует сказать, чтобы была полная ясность для делегатов съезда, чтобы вы могли дать правильную оценку и сделать соответствующие выводы. Факты показывают, что многие злоупотребления были сделаны по указанию Сталина,

не считаясь с какими-либо нормами партийной и советской законности. Сталин был человек очень мнительный, с болезненной подозрительностью, в чем мы убедились, работая вместе с ним. Он мог посмотреть на человека и сказать: «Что-то у вас сегодня глаза бегают» или: «Почему вы сегодня часто отворачиваетесь, не смотрите прямо в глаза?». Болезненная подозрительность привела его к огульному недоверию, в том числе и по отношению к выдающимся деятелям партии, которых он знал много лет. Везде и всюду он видел «врагов», «двурушников», «шпионов».

Имея неограниченную власть, он допускал жестокий произвол, подавлял человека морально и физически. Создавалась такая обстановка, при которой человек не мог проявить свою волю.

<...>

Единовластие Сталина привело к особо тяжким последствиям в ходе Великой Отечественной войны. Если взять многие наши романы, кинофильмы и исторические «исследования», то в них совершенно неправдоподобно изображается вопрос о роли Сталина в Отечественной войне. Обычно рисуется такая схема. Сталин все и вся предвидел. Советская Армия чуть ли не по заранее начертанным Сталиным стратегическим планам проводила тактику так называемой «активной обороны», то есть ту тактику, которая, как известно, допустила немцев до Москвы и Сталинграда. Применяв такую тактику, Советская Армия только благодаря гению Сталина перешла в наступление и разгромила врага. Всемирно-историческая победа, одержанная Вооруженными Силами Советской страны, нашим героическим народом, приписывается в такого рода романах, кинофильмах и «исследованиях» всецело полководческому гению Сталина.

Надо внимательно разобраться в этом вопросе, так как это имеет огромное, не только историческое, но прежде всего политическое, воспитательное, практическое значение. Каковы факты в этом вопросе?

До войны в нашей печати и во всей воспитательной работе преобладал хвастливый тон: если враг нападет на священную советскую землю, то мы ответим на удар врага тройным ударом, войну будем вести на территории противника и выиграем ее малой кровью. Однако эти декларативные заявления далеко не во всем подкреплялись практическими делами, чтобы обеспечить действительную неприступность наших границ.

В ходе войны и после нее Сталин выдвинул такой тезис, что трагедия, которую пережил наш народ в начальный период войны, является якобы результатом «внезапности» нападения немцев на Советский Союз. Но ведь это, товарищи, совершенно не соответствует действительности. Как только Гитлер пришел к власти в Германии, он сразу же поставил перед собой задачу разгромить коммунизм. Об этом фашисты говорили прямо, не скрывая своих планов. Для осуществления этих агрессивных планов заключались всевозможные пакты, блоки, оси, вроде пресловутой оси Берлин-Рим-Токио. Многочисленные факты предвоенного периода красноречиво доказывали, что Гитлер направляет все свои усилия для того, чтобы развязать войну против Советского государства, и сконцентрировал большие войсковые соединения, в том числе танковые, поблизости от советских границ. Из опубликованных теперь документов видно, что еще 3 апре-

ля 1941 года Черчилль через английского посла в СССР Криппса сделал личное предупреждение Сталину о том, что германские войска начали совершать передислокацию, подготавливая нападение на Советский Союз. Само собой разумеется, что Черчилль делал это отнюдь не из-за добрых чувств к советскому народу. Он преследовал здесь свои империалистические интересы — сравнить Германию и СССР в кровопролитной войне и укрепить позиции Британской империи. Тем не менее Черчилль указывал в своем послании, что он просит «предостеречь Сталина, с тем чтобы обратить его внимание на угрожающую ему опасность». Черчилль настойчиво подчеркивал это и в телеграммах от 18 апреля и в последующие дни. Однако эти предостережения Сталиным не принимались во внимание. Больше того, от Сталина шли указания не доверять информации подобного рода, с тем чтобы-де не спровоцировать начало военных действий.

Следует сказать, что такого рода информация о нависающей угрозе вторжения немецких войск на территорию Советского Союза шла и от наших армейских и дипломатических источников, но в силу сложившегося предвзятого отношения к такого рода информации в руководстве она каждый раз направлялась с опаской и обставлялась оговорками.

Так, например, в донесении из Берлина от 6 мая 1941 года военно-морской атташе в Берлине капитан 1-го ранга Воронцов доносил: «Советский подданный Бозер... сообщил помощнику нашего морского атташе, что, со слов одного германского офицера из ставки Гитлера, немцы готовят к 14 мая вторжение в СССР через Финляндию, Прибалтику и Латвию. Одновременно намечены мощные налеты авиации на Москву и Ленинград и высадка парашютных десантов в приграничных центрах...»

<...>

Несмотря на все эти чрезвычайно важные сигналы, не были приняты достаточные меры, чтобы хорошо подготовить страну к обороне и исключить момент внезапности нападения. Были ли у нас время и возможности для такой подготовки? Да, и время, и возможности были. Наша промышленность находилась на таком уровне развития, что она была в состоянии полностью обеспечить Советскую Армию всем необходимым. Это подтверждается хотя бы тем, что, когда в ходе войны была потеряна почти половина всей нашей промышленности, в результате занятия врагом Украины, Северного Кавказа, западных районов страны, важных промышленных и хлебных районов, советский народ сумел организовать производство военных материалов в восточных районах страны, пустить там в ход вывезенное из западных промышленных районов оборудование и обеспечить наши Вооруженные Силы всем необходимым для разгрома врага.

Если бы наша промышленность была вовремя и по-настоящему мобилизована для обеспечения армии вооружением и необходимым снаряжением, то мы понесли бы неизмеримо меньше жертв в этой тяжелой войне. Однако такой мобилизации своевременно проведено не было. И с первых же дней войны обнаружилось, что наша армия вооружена плохо, что мы не имели достаточного количества артиллерии, танков и самолетов для отпора врагу.

Советская наука и техника дали перед войной великолепные образцы танков и артиллерии. Но массовое производство всего этого не было налажено, и

мы начали перевооружение армии по существу в самый канун войны. В результате этого в момент нападения врага на советскую землю у нас не оказалось в нужных количествах ни старой техники, которую мы снимали с вооружения, ни новой техники, которую собирались вводить. Очень плохо было с зенитной артиллерией, не налажено было производство бронебойных снарядов для борьбы с танками. Многие укрепленные районы оказались к моменту нападения беспомощными, так как старое вооружение с них было снято, а новое еще не введено.

Да дело, к сожалению, не только в танках, артиллерии и самолетах. К моменту войны мы не имели даже достаточного количества винтовок для вооружения людей, призываемых в действующую армию. Помню, как в те дни я позвонил из Киева тов. Маленкову и сказал ему:

– Народ пришел в армию и требует оружие. Пришлите нам оружие. На это мне Маленков ответил:

– Оружие прислать не можем. Все винтовки передаем в Ленинград, а вы вооружайтесь сами. (Движение в зале).

<...>

Когда фашистские войска уже вторглись на советскую землю и начали военные действия, из Москвы последовал приказ — на выстрелы не отвечать. Почему? Да потому, что Сталин вопреки очевидным фактам считал, что это еще не война, а провокация отдельных недисциплинированных частей немецкой армии и что если мы ответим немцам, то это послужит поводом для начала войны.

<...>

А к чему привела такая беспечность, такое игнорирование очевидных фактов? Это привело к тому, что в первые же часы и дни противник истребил в наших пограничных районах огромное количество авиации, артиллерии, другой военной техники, уничтожил большое количество наших военных кадров, дезорганизовал управление войсками, и мы оказались не в состоянии преградить ему путь в глубь страны.

Весьма тяжкие последствия, особенно для начального периода войны, имело также то обстоятельство, что на протяжении 1937-1941 годов, в результате подозрительности Сталина, по клеветническим обвинениям, истреблены были многочисленные кадры армейских командиров и политработников. На протяжении этих лет репрессировано было несколько слоев командных кадров, начиная буквально от роты и батальона и до высших армейских центров, в том числе почти полностью были уничтожены те командные кадры, которые получили какой-то опыт ведения войны в Испании и на Дальнем Востоке.

<...>

Таким образом, грозная опасность, которая нависла над нашей Родиной в первый период войны, явилась во многом результатом порочных методов руководства страной и партией со стороны самого Сталина.

<...>

Военные знают, что уже с конца 1941 года вместо ведения крупных маневренных операций с обходами противника с флангов, с заходами в его тылы Сталин требовал непрерывных лобовых атак, с тем чтобы брать село за селом. И мы несли на этом огромные потери до тех пор, пока нашему генералитету, который выносил на своих плечах всю тяжесть ведения войны, не удалось изменить положение дел и перейти к ведению гибких маневренных операций, что сразу дало серьезное изменение положения на фронтах в нашу пользу.

Тем более позорным и недостойным явился факт, когда после нашей великой победы над врагом, давшейся нам очень тяжелой ценой, Сталин начал гнать многих из тех полководцев, которые внесли свой немалый вклад в дело победы над врагом, так как Сталин исключал всякую возможность, чтобы заслуги, одержанные на фронтах, были приписаны кому бы то ни было, кроме его самого.

<...>

Товарищи! Обратимся к некоторым другим фактам. Советский Союз по праву считается образцом многонационального государства, ибо у нас на деле обеспечены равноправие и дружба всех народов, населяющих нашу великую Родину.

Тем более вопиющими являются действия, инициатором которых был Сталин и которые представляют собой грубое попрание основных ленинских принципов национальной политики Советского государства. Речь идет о массовом выселении со своих родных мест целых народов, в том числе всех коммунистов и комсомольцев без каких бы то ни было исключений. Причем такого рода выселение никак не диктовалось военными соображениями.

Так, уже в конце 1943 года, когда на фронтах Великой Отечественной войны определился прочный перелом в ходе войны в пользу Советского Союза, принято было и осуществлено решение о выселении с занимаемой территории всех карачаевцев. В этот же период, в конце декабря 1943 года, точно такая же участь постигла все население Калмыцкой автономной республики. В марте 1944 года выселены были со своих родных мест все чеченцы и ингуши, а Чечено-Ингушская автономная республика ликвидирована. В апреле 1944 года с территории Кабардино-Балкарской автономной республики выселены были в отдаленные места все балкарцы, а сама республика переименована в Кабардинскую автономную республику. Украинцы избежали этой участи потому, что их слишком много и некуда было выслать. А то он бы и их выселил. (Смех, оживление в зале).

В сознании не только марксиста-ленинца, но и всякого здравомыслящего человека не укладывается такое положение — как можно возлагать ответственность за враждебные действия отдельных лиц или групп на целые народы, включая женщин, детей, стариков, коммунистов и комсомольцев, и подвергать их массовым репрессиям, лишениям и страданиям.

<...>

Произвол Сталина давал себя знать не только при решении вопросов внутренней жизни страны, но и в области международных отношений Советского Союза.

На июльском Пленуме ЦК подробно обсуждались причины возникновения конфликта с Югославией. При этом отмечалась весьма неблагоприятная роль Сталина. Ведь в «югославском деле» не было таких вопросов, которые нельзя было бы

разрешить путем товарищеского партийного обсуждения. Для возникновения этого «дела» не было серьезных оснований, вполне возможно было не допустить разрыва с этой страной. Это не значит, однако, что у югославских руководителей не было ошибок или недостатков. Но эти ошибки и недостатки были чудовищно преувеличены Сталиным, что привело к разрыву отношений с дружественной нам страной...

... Следует также напомнить о «деле врачей-вредителей». (Движение в зале). Собственно, никакого «дела» не было, кроме заявления врача Тимашук, которая, может быть под влиянием кого-нибудь или по указанию (ведь она была негласным сотрудником органов госбезопасности), написала Сталину письмо, в котором заявляла, что врачи якобы применяют неправильные методы лечения.

Достаточно было такого письма к Сталину, как он сразу сделал выводы, что в Советском Союзе имеются врачи-вредители, и дал указание-арестовать группу крупных специалистов советской медицины. Он сам давал указания, как вести следствие, как допрашивать арестованных. Он сказал: на академика Виноградова надеть кандалы, такого-то бить. Здесь присутствует делегат съезда, бывший министр госбезопасности т. Игнатьев. Сталин ему прямо заявил:

— Если не добьетесь признания врачей, то с вас будет снята голова. (Шум возмущения в зале).

Сталин сам вызывал следователя, инструктировал его, указывал методы следствия, а методы были единственные — бить, бить и бить. Через некоторое время после ареста врачей мы, члены Политбюро, получили протоколы с признаниями врачей. После рассылки этих протоколов Сталин говорил нам: — Вы слепцы, котятка, что же будет без меня — погибнет страна, потому что вы не можете распознать врагов.

Дело было поставлено так, что никто не имел возможности проверить факты, на основе которых ведется следствие. Не было возможности проверить факты путем контакта с людьми, которые давали эти признания.

Но мы чувствовали, что дело с арестом врачей — это нечистое дело. Многих из этих людей мы лично знали, они лечили нас. И когда после смерти Сталина мы посмотрели, как создавалось это «дело», то увидели, что оно от начала до конца ложное.

Это позорное «дело» было создано Сталиным, но он не успел его довести до конца (в своем понимании), и поэтому врачи остались живыми. Теперь все они реабилитированы, работают на тех же постах, что и раньше, лечат руководящих работников, включая и членов Правительства. Мы им оказываем полное доверие, и они добросовестно исполняют, как и раньше, свой служебный долг.

<...>

Мы должны со всей серьезностью отнестись к вопросу о культе личности. Этот вопрос мы не можем вынести за пределы партии, а тем более в печать. Именно поэтому мы докладываем его на закрытом заседании съезда. Надо знать меру, не питать врагов, не обнажать перед ними наших язв. Я думаю, что делегаты съезда правильно поймут и оценят все эти мероприятия. (Бурные аплодисменты.) Товарищи! Нам нужно решительно, раз и навсегда развенчать культ личности, сделать надлежащие выводы как в области идейно-теоретической, так и в области практической работы. Для этого необходимо:

Во-первых, по-большевистски осудить и искоренить как чуждый духу марксизма-ленинизма и несовместимый с принципами партийного руководства и нормами партийной жизни культ личности, вести беспощадную борьбу против всех и всяческих попыток возродить его в той или иной форме.

Восстановить и последовательно проводить во всей нашей идеологической работе важнейшие положения учения марксизма-ленинизма о народе, как творце истории, создателе всех материальных и духовных богатств человечества, о решающей роли марксистской партии в революционной борьбе за преобразование общества, за победу коммунизма.

В связи с этим нам предстоит провести большую работу над тем, чтобы с позиций марксизма-ленинизма критически рассмотреть и поправить получившие широкое хождение ошибочные взгляды, связанные с культом личности, в области исторической, философской, экономической и других наук, а также в области литературы и искусства. В частности, необходимо в ближайшее время провести работу по созданию полноценного, составленного с научной объективностью марксистского учебника по истории нашей партии, учебников по истории советского общества, книг по истории гражданской войны и Великой Отечественной войны.

Во-вторых, последовательно и настойчиво продолжать проводимую в последние годы Центральным Комитетом партии работу по строжайшему соблюдению во всех партийных организациях, сверху донизу, ленинских принципов партийного руководства, и прежде всего высшего принципа — Коллективности руководства, по соблюдению норм партийной жизни, закрепленных Уставом нашей партии, по развертыванию критики и самокритики.

В-третьих, полностью восстановить ленинские принципы советского социалистического демократизма, выраженные в Конституции Советского Союза, вести борьбу против произвола лиц, злоупотребляющих властью. Необходимо до конца исправить нарушения революционной социалистической законности, которые накопились за длительный период в результате отрицательных последствий культа личности.

<...>

Источник: сайт Хронос (Hrono.ru)

Гинзбург (Аксенова)
Евгения Семеновна
(1906–1977)



Профессор, журналистка, писательница.

Родилась в Москве. Окончила Казанский университет по специальности история. Профессор истории Казанского университета, партийный активист. Сотрудничала в партийной печати. В 1937 г. после ареста мужа – секретаря горкома партии, арестована как жена врага народа. 18 лет провела в тюрьмах, лагерях и ссылке. В 1955 г. реабилитирована.

Мемуары «Крутой маршрут» были очень распространены в Самиздате. В 1967 г. опубликованы в Италии. В СССР впервые вышли в 1990 г.

КРУТОЙ МАРШРУТ

ЧАСТЬ I

Глава третья **ПРЕЛЮДИЯ**

Последовавшие затем два года можно назвать прелюдией к той симфонии безумия и ужаса, которая началась для меня в феврале 1937 года.

Через несколько дней после ареста Эльвова в редакции «Красной Татарии» состоялось партийное собрание, на котором мне впервые были предъявлены обвинения в том, чего я НЕ делала.

Оказывается, я НЕ разоблачила троцкистского контрабандиста Эльвова. Я НЕ выступила с уничтожающей рецензией на сборник материалов по истории Татарии, вышедший под его редакцией, а даже приняла в нем участие. (Моя статья, относившаяся к началу XIX века, при этом совершенно не критиковалась). Я ни разу НЕ выступала против него на собраниях.

Попытки апеллировать к здравому смыслу были решительно отбиты.

– Но ведь не я одна, а никто в нашей областной парторганизации не выступал против него...

– Не беспокойтесь, каждый ответит за себя. А сейчас речь идет о вас!

– Но ведь ему доверял обком партии. Коммунисты выбрали его членом горкома.

– Вы должны были сигнализировать, что это неправильно. Для этого вам и дано высшее образование и ученое звание.

– А разве уже доказано, что он троцкист? Последний наивный вопрос вызвал взрыв священного негодования.

– Но ведь он арестован! Неужели вы думаете, что кого-нибудь арестовывают, если нет точных данных?

На всю жизнь я запомнила все детали этого собрания, замечательного для меня тем, что на нем я впервые столкнулась с тем нарушением логики и здравого смысла, которому я не уставала удивляться в течение всех последующих 20 с лишком лет, до самого XX съезда партии, или по крайней мере до сентябрьского Пленума 1953 года.

...В перерыве партийного собрания я зашла в свой редакционный кабинет. Хотелось побыть одной, обдумать дальнейшее поведение. Как держаться, чтобы не уронить своего партийного и человеческого достоинства? Щеки мои пылали. Минутами казалось, что схожу с ума от боли незаслуженных обвинений.

Скрипнула дверь. Вошла редакционная стенографистка Александра Александровна. Я часто диктовала ей. Жили с ней дружно. Пожилая, замкнутая, пережившая какую-то личную неудачу, она была привязана ко мне.

– Вы неправильно ведете себя, Е. С. Признавайте себя виновной. Кайтесь.

– Но я ни в чем не виновата. Зачем же лгать партийному собранию?

– Все равно вам сейчас вынесут выговор. Политический выговор. Это очень плохо. А вы еще не каетесь. Лишнее осложнение.

– Не буду я лицемерить. Объявят выговор — буду бороться за его отмену.

Она взглянула на меня добрыми, оплетенными сетью морщинок глазами и сказала те самые слова, которые говорил мне при последней встрече Эльвов.

– Вы не понимаете происходящих событий. Вам будет очень трудно.

Наверно, сейчас, попав в такое положение, я «покаялась» бы. Скорее всего. Ведь «я и сам теперь не тот, что прежде: неподкупный, гордый, чистый, злой». А тогда я была именно такая: неподкупная, гордая, чистая, злая. Никакие силы не могли меня заставить принять участие в начавшейся кампании «раскаяний» и «признаний ошибок».

Большие многолюдные залы и аудитории превратились в исповедальни. Несмотря на то, что отпущения грехов давались очень туго (наоборот, чаще всего покаянные выступления признавались «недостаточными»), все же поток «раскаяний» ширился с каждым днем. На любом собрании было свое дежурное блюдо. Каялись в неправильном понимании теории перманентной революции и в воздержании при голосовании оппозиционной платформы в 1923 году. В «отрыжке» великодержавного шовинизма и в недооценке второго пятилетнего плана. В знакомстве с какими-то грешниками и в увлечении театром Мейерхольда.

Бия себя кулаками в грудь, «виновные» вопили о том, что они «проявили политическую близорукость», «потеряли бдительность», «пошли на примиренчество с сомнительными элементами», «лили воду на мельницу», «проявляли гнилой либерализм».

И еще много-много таких формул звучало под сводами общественных помещений. Печать тоже наводнилась раскаянными статьями. Самый неприкрытый заячий страх водил перьями многих «теоретиков». С каждым днем возрастали роль и значение органов НКВД.

Редакционное партсобрание вынесло мне выговор «за притупление политической бдительности». Особенно настаивал на этом редактор Коган, сменивший в это время Красного. Он произнес против меня настоящую прокурорскую речь,

в которой я фигурировала как «потенциальная единомышленница Эльвова».

Через некоторое время обнаружилось, что сам Коган имел оппозиционное прошлое, а его жена была личным секретарем Смилги и принимала участие в известных «проводах Смилги» в Москве при отъезде Смилги в ссылку. Чтобы отвлечь внимание от себя, Коган проявлял страшное рвение в «разоблачении» других коммунистов, в том числе и таких политически неопытных людей, как я. В конце 1936 года Коган, переведенный к тому времени в Ярославль, бросился под поезд, не в силах больше переносить ожидания ареста.

Немного поднялось мое настроение в связи с тем, что секретарь райкома партии оказался таким же «непонятливым», как я. Когда мой выговор поступил по моей апелляции на бюро райкома, он удивился:

– За что же ей выговор? Ведь Эльвова знали все. Ему доверяли обком и горком. Или за то, что по одной улице с ним ходила?

И выговор отменили, оставив (по настоянию других членов бюро, лучше секретаря разобравшихся в том, что требовалось от них «на данном этапе») — поставить на вид «недостаточную бдительность».

<...>

Глава восьмая НАСТАЛ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ

И вот он наступил — этот девятьсот проклятый год, ставший рубежом для миллионов. Я встретила его, этот последний Новый год моей первой жизни, под Москвой, в доме отдыха ЦИК СССР Астафьево, около Подольска.

Вернувшись в Казань после разговора с Ярославским, я застала Алешу, старшего сына, тяжело больным малярией. Врачи советовали сменить климат. Наступали школьные зимние каникулы, и увезти его было можно. Муж достал путевки в Астафьево. Он был очень доволен, что я снова уеду.

– Лучше тебе сейчас поменьше быть в Казани, на глазах...

Теперь мучительная тревога терзала и его. Уже шли аресты. Они уже коснулись очень хорошо знакомых нам людей. Одним из первых был взят директор Туберкулезного института профессор Аксянцев, старый член партии. Следом за ним — директор университета Векслин, чья безоглядная преданность партии вошла в Казани в поговорку. Этот человек в рваной шинелишке прошел всю гражданскую, переходя с фронта на фронт. Герой Перекопа...

Муж стал теперь больше бывать дома. Его измучили заседания, на которых он как член бюро обкома сидел в президиуме и должен был молча выслушивать, как склоняли и спрягали эльвовское дело и меня как его участницу.

Ему было непривычно оставаться по вечерам дома. Он молча мерил шагами комнату, время от времени останавливался и произносил:

– Кто его знает, Векслина-то... Человек увлекающийся! Может, и вправду сотворил что-нибудь...

Он стал теперь внимательно присматриваться к детям, с которыми раньше только шутил. Даже заметил, что у Васи вытертое пальтишко. Надо новое.

Но стоило мне начать откровенный разговор о происходящих событиях, как он немедленно становился на ортодоксальные позиции. Мне он, конечно, ве-

рил безоговорочно, знал, что я ни в чем не виновата. Но тех оценок положения, которые начинали довольно четко складываться у меня в сознании, он, член бюро обкома, не разделял. Его больше, устраивало предположение, что в отношении меня персонально произошла ошибка. Он по-рыцарски вел себя на многочисленных собраниях, где от него требовали «отмежеваться» от жены. Там он заявлял, что знает свою жену как честную коммунистку. Но дома иногда...

— Что же это происходит в нашей партии, а, Паша? — спрашивала я.

— Сложно, конечно, Женюша. Ну что поделаешь! Особый этап в развитии нашей партии...

— Что же это за этап? Что всем членам партии предстоит ехать по этапу? — горько острою я. Он раздражается.

— Ты прости, Женюша, но в таких шуточках нехороший привкус есть. Ты личную свою обиду отбрось. На партию не обижаются.

Иногда между нами возникали на этой почве серьезные конфликты. Помню одну тяжелую сцену поздно вечером, в безлюдном Дядском садике, напротив нашего дома. Мы вышли пройтись перед сном. Против воли разговор сворачивал все в ту же колею. Я сказала что-то злое и насмешливое по адресу Ярославского. Муж вспыхнул:

— Что ты говоришь! С тобой и впрямь в тюрьму попадешь!

Я вырвала у него свою руку. Он, испугавшись своих резких слов, хотел удержать её, но я снова рванулась, и так сильно, что мои маленькие золотые часики упали в сугроб, оторачивавший аллею сада. Мы искали их потом больше часа и не нашли.

В наших позах, когда мы, склонившись над сугробом, разрывали его голыми руками, в наших лицах, взбудораженных ссорой, уже чувствовалась тень вплотную надвинувшейся катастрофы. Самое страшное было в том, что каждый из нас читал на лице другого отчетливую мысль: ведь мы только делаем вид, что расстроены пропажей часов и обязательно хотим найти их. На самом деле — нам не до них. Ведь пропала жизнь. И еще, каждый делает вид, что эта ссора важна для него и волнует. А в действительности, что значит ТЕПЕРЬ супружеская ссора? Ведь мы уже вне жизни, вне обычных человеческих отношений. Но это был только подтекст, невысказанный даже самим себе.

...Астафьево — пушкинское место, бывшее имение князя Вяземского — было в свое время «Ливадией» столичного масштаба; на зимних каникулах там в большом количестве отдыхали «ответственные дети», делившие всех окружающих на категории соответственно марке машин. «Линкольщики» и «Бьюишники» котировались высоко, «Фордошников» третировали. Мы принадлежали к последним, и Алеша сразу уловил это.

— Противные ребята, — говорил он, — ты только послушай, мамочка, как они отзываются об учителях...

Несмотря на то, что в Астафьеве кормили, как в лучшем ресторане, а вазы с фруктами стояли в каждом номере и пополнялись по мере опустошения, некоторые дамы, сходясь в курзале, брюзгливо критиковали местное питание, сравнивая его с питанием в «Соснах» и «Барвихе».

Это был настоящий пир во время чумы. Ведь 90 процентов тогдашнего астафьевского населения было обречено, и почти все они в течение ближайших

месяцев сменили комфортабельные астафьевские комнаты на верхние и нижние нары Бутырской тюрьмы. Их дети, так хорошо разбиравшиеся в марках автомобилей, стали питомцами специальных детдомов. И даже шоферы были привлечены за «соучастие» в чем-то. Но пока еще никто не знал о приближении чумы, и пир шел вовсю.

Подошел новогодний вечер. Накрыли в столовой обильный стол. Дамы нарядились. Алеша потребовал, чтобы и я надела новое платье.

— Ну что ты, мамуля. Нельзя в старом. Я люблю, когда ты красивая...

Без пяти 12, когда уже были налиты бокалы, меня вдруг вызвали к телефону. Побежала радостно, думала — муж. В начале января должна была состояться сессия ЦИК. Наверно, приехал в Москву, хочет поздравить.

И вдруг в трубке забасил голос одного случайного, не очень симпатичного знакомого, который почему-то решил поздравить меня.

Пока я выслушивала его приветствия, пока добежала до столовой — Новый год уже наступил. Я вошла в столовую, когда гонг ударял в двенадцатый раз. Алеша, отвернувшись в другую сторону, чокался с кем-то. Когда он повернулся ко мне, уже прошло две минуты тридцать седьмого года.

Мне не пришлось его встретить вместе с Алешей. И он разлучил нас навсегда.

Глава девятая ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПАРТИИ

В начале февраля мы вернулись в Казань, и я сразу узнала, что меня вызывают в райком партии. Почему Ярославский решил передать разбор моего «дела» опять в Казань — не знаю. Может, после моих дерзостей ему не хотелось больше со мной встречаться? А вернее всего — было общее решение передать дела об исключениях в низовые организации. Ведь таких дел с каждым днем становилось все больше. КПК уже не справлялся с объемом работы.

Это случилось седьмого февраля. Секретарь райкома — мой бывший слушатель по Татарскому коммунистическому университету Бикташев. Надо было видеть, какой гримасой боли искажалось его лицо, пока зачитывалось «дело». Я почти не помню, какие именно обвинения предъявлялись мне на этот раз, какие формулировки пришли теперь на смену последней московской редакции. Я почти не слушала. И я и все члены бюро райкома знали, что вопрос об исключении предрешен. И мне и им хотелось возможно сократить тягостную процедуру.

— Вопросы?

— Нет.

— Выступления?

— Нет.

— Может быть, вы хотите что-нибудь сказать, Е. С.? — хриплым голосом спрашивает Бикташев, не поднимая глаз, опущенных на лежащее перед ним «дело». Видно, как он боится, что я начну что-нибудь говорить. Неужели неясно, что он сам страдает, что он ничего не может?

Но я понимаю все, и я уже ничего не хочу говорить. Я тихонько иду к двери и только говорю шепотом:

– Решайте без меня...

Все мы знаем, что это нарушение устава, что в отсутствии члена партии нельзя выносить о нем решений. Но разве теперь до устава! И Бикташев только об одном спохватывается:

– А билет... он с вами?

И точно поперхнувшись, выкашливает:

– Вы оставьте его...

Пауза. Теперь мы с Бикташевым смотрим друг другу в глаза. Перед нами возникают одни и те же картины прошлого... Десять лет тому назад я, молоденькая начинающая преподавательница, учу его, полуграмотного татарского паренька, пришедшего из деревни. В том, что этот паренек стал секретарем райкома, немалая доля и моих усилий. Сколько их было — трудностей, радостей преодоления, исправленных тетрадок! Какими они были веселыми и любознательными — эти узкие монгольские глазки! И какие они тусклые и покрасневшие сейчас...

Все это проносится передо мной и — уверена! — перед ним. И голос его уже откровенно дрожит, когда он повторяет:

– Оставьте билет... пока...

В этом коротком «пока» выражена слабая попытка утешить, обнадежить. Оставь, мол, пока, а там получишь обратно. Ведь не навек же все эти дела!

Мне делается жалко моего бывшего ученика Бикташева, хорошего, любознательного парня. Ему сейчас хуже, чем мне. В этом театре ужасов одним актерам даны роли жертв, другим — палачей. Последним хуже. У меня хоть совесть чиста.

– Да, билет со мной.

Он еще новенький. Только в 1936-м был всесоюзный обмен партбилетов. Как я берегла его, как боялась потерять! Я кладу его на стол.

На улице, у дверей райкома дежурил мой муж. Пошли пешком. В трамвай нельзя было с такими лицами. Полдороги молчали. Потом он спросил:

– Ну что?

– Оставила билет...

Он тихо охнул. Теперь и ему уже было ясно, как близок край пропасти.

Глава десятая ЭТОТ ДЕНЬ...

Между исключением из партии и арестом прошло восемь дней. Все эти дни я сидела дома, закрывшись в своей комнате, не подходя к телефону. Ждала... И все мои близкие ждали. Чего? Друг другу мы говорили, что ждем отпуска мужа, который был ему обещан в такое необычное время. Получит отпуск — поедет опять в Москву, хлопотать. Попросим Разумова... Он член ЦК.

В душе отлично знали, что ничего этого не будет, что ждем совсем другого. Мама и муж попеременно дежурили около меня. Мама жарила картошечку.

«Поешь, деточка. Помнишь, ты любила такую, когда была маленькой?» Муж, возвращаясь откуда-нибудь, звонил условным звонком и вдобавок громко кричал: «Это я, я, откройте». И в голосе его звучало: «Это еще я, а не они».

«Чистили» домашнюю библиотеку. Няня ведрами вытаскивала золу. Горели «Портреты и памфлеты» Радека, «История Западной Европы» Фридлянда и Слуцкого, «Экономическая политика» Бухарина. Мама «со слезами заклиний» умолила меня сжечь даже «Историю новейшего социализма» Каутского. Индекс расширялся с каждым днем. Аутодафе принимало грандиозные размеры. Даже книжку Сталина «Об оппозиции» пришлось сжечь. В новых условиях и она стала нелегальщиной.

За несколько дней до моего ареста был взят второй секретарь горкома партии Биктагиров. Прямо с заседания бюро, которое он вел. Зашла секретарша.

– Тов. Биктагиров, вас там спрашивают.

– Во время заседания? Что они?.. Я занят, скажите... Но секретарша вернулась.

– Они настаивают.

Он вышел. Ему предложили одеться и «проехать тут недалеко».

Этот арест озадачил и потряс моего мужа еще больше, чем мое исключение из партии. Секретарь горкома! Тоже «оказался»?

– Нет, это уж что-то чекисты наши перегнули. Придется им многих выпустить...

Он хотел убедить себя, что это проверка, какое-то недоразумение, временное и отчасти даже комичное. А вот, в следующий выходной Биктагиров, возможно, будет снова сидеть в «Ливадии» за столом и с улыбкой рассказывать, как его чуть было не приняли за врага народа.

Но по ночам было очень плохо. Сколько машин проходило мимо окон нашей спальни, выходявших на улицу! И каждую надо было «прослушать», холодея, когда казалось, что она замедляет ход перед нашим домом. Ночью даже оптимизм моего мужа уступал место СТРАХУ, великому СТРАХУ, сжавшему горло всей страны.

– Павел! Машина!

– Ну и что же, Женюша? Город большой, машин много...

– Остановилась! Право, остановилась... Муж босиком подскакивает к окну.

Он бледен. Преувеличенно спокойным голодом он говорит:

– Ну вот видишь, грузовик!

– А они всегда на легковых, да?

Засыпали только после шести утра. А утром снова новые вести об «оказавшихся».

– Слышали? Петров-то оказался врагом народа! Подумать только — как ловко маскировался!

Это значило, что этой ночью увезли Петрова.

Потом приносили кучу газет. И уже нельзя было отличить, которая из них «Литературная», которая, скажем, «Советское искусство». Все они одинаково выли и кричали о врагах, заговорах, расстрелах...

Жуткие были ночи. Но это случилось как раз днем.

Мы были в столовой: я, муж и Алеша. Моя падчерица Майка была на катке. Вася у себя в детской. Я гладила белье. Меня часто тянуло теперь на физическую работу. Она отвлекала мысли. Алеша завтракал. Муж читал вслух кни-

гу, рассказы Валерии Герасимовой. Вдруг зазвонил телефон. Звонок был такой жем пронзительный, как в декабре тридцать четвертого.

Несколько минут мы не подходим к телефону. Мы очень не любим сейчас телефонных звонков. Потом муж произносит тем самым неестественно-спокойным голосом, которым он теперь так часто разговаривает:

— Это, наверное, Луковников. Я просил его позвонить.

Он берет трубку, прислушивается, бледнеет как полотно и еще спокойнее добавляет:

— Это тебя, Женюша... Веверс... НКВД... Начальник секретно-политического отдела НКВД Веверс был очень мил и любезен. Голос его журчал, как весенний ручеек.

— Приветствую вас, товарищ. Скажите, пожалуйста, как у вас сегодня со временем?

— Я теперь всегда свободна. А что?

— О-о-о! Всегда свободна! Уже упали духом?.. Все это преходяще. Так вы, значит, могли бы сегодня со мной встретиться? Видите ли, нам нужны кой-какие сведения об этом Эльвове. Дополнительные сведения. Ох, и подвел же он вас! Ну, ничего! Сейчас все это выясняется.

— Когда прийти?

— Да когда вам удобнее. Хотите — сейчас, хотите — после обеда.

— А вы меня долго задержите?

— Да минут так сорок. Ну, может быть, час.... Муж, стоящий рядом, все слышит и знаками, шепотом настойчиво советует мне идти сейчас.

— Чтобы он не думал, что ты боишься. Тебе бояться нечего! И я заявляю Веверсу, что приду сейчас.

— Может быть, забежать к маме?

— Не надо. Иди сразу. Чем скорее выяснится все это — тем лучше.

Муж помогает мне торопливо одеться. Я отсылаю Алешу на каток. Он уходит, не попрощавшись со мной... Больше я его уже не увидела.

По какому-то странному совпадению маленький Вася, привыкший к моим постоянным отъездам и отлучкам и всегда совершенно спокойно реагировавший на них, на этот раз выбегает в прихожую и начинает настойчиво допытываться:

— А ты, мамуля, куда? Нет, а куда? А я не хочу, чтобы ты шла...

Но мне сейчас нельзя смотреть на детей, нельзя целовать их. Иначе я сейчас, сию минуту умру. Я отворачиваюсь от Васи и кричу:

— Няня, возьмите ребенка! Я не могу его сейчас видеть...

Да, пожалуй, лучше не видеть и маму. Все равно — совершается неизбежное и его не умолишь отсрочками. Захлопывается дверь. Я и сейчас помню этот звук. Все. Больше я уже никогда не открывала эту дверь, за которой я жила с моими дорогими детьми.

На лестнице встретила Майка. Она шла с катка. Эта всегда все понимала интуитивно. Она не спросила ни слова, не поинтересовалась, куда мы идем в такое неуточное время. Прижалась, плотно к стене и широко раскрыла глаза. Они были огромные, голубые. И такое недетское понимание горя и ужаса было на этом двенадцатилетнем лице, что оно снилось мне потом годами.

Внизу у входа встретила еще наша старая няня Фима. Она сбежала вниз, чтобы что-то сказать мне. Но посмотрела в мое лицо и ничего не сказала, только мелко перекрестила вслед.

– Педиком?

– Да, пройдемся напоследок.

– Не говори глупостей. Так не арестовывают. Просто им нужны сведения.

– У меня нет никаких сведений.

Долго идем молча. Погода прекрасная. Яркий февральский день. Снег выпал только утром. Он еще очень чист.

– Последний раз идем вместе, Паша. Я уже государственная преступница.

– Не говори таких глупостей, Женюша. Я уже говорил тебе. Если арестовывать таких, как ты, то надо арестовывать всю партию.

– Иногда у меня и мелькает такая безумная мысль. Уж не всю ли и собираются арестовывать?

Я уже жду привычной реакции мужа. Он должен сейчас прикрикнуть на меня за такие кощунственные слова. Но вдруг... Вдруг он раздражается «еретической» речью. Выражает уверенность в честности многих арестованных «врагов народа», произносит гневные слова по адресу... По очень высоким адресам. И я рада, что мы опять мыслим одинаково. Я воображала тогда, что поняла уже почти все. А на деле меня ждало еще много горестных открытий.

Но вот и знаменитый дом — Черное озеро.

– Ну, Женюша, мы ждем тебя к обеду...

Какое жалкое лицо у него сразу, как дрожат губы! Вспоминается его старый уверенный хозяйский тон старого коммуниста, партийного работника.

– Прощай, Паша. Мы жили с тобой хорошо...

Я даже не говорю «береги детей». Я знаю, что он не сможет их сберечь.

Он снова успокаивает меня какими-то общими словами, которых я уже не различаю. Я устремляюсь к бюро пропусков, но вдруг слышу срывающийся голос.

– Женюша! Оглядываюсь.

– До свидания, Женюшенька!

И взгляд... Пронзительный взгляд затравленного зверя, измученного человека. Тот самый взгляд, который потом так часто встречался мне ТАМ.

<...>

<...>

ЧАСТЬ III

Глава восемнадцатая

ЗА ОТСУТСТВИЕМ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

...И вот настал этот день. Сколько раз за нескончаемые годы я мечтала о нем, пыталась представить себе конкретные обстоятельства этого момента, этой минуты полного освобождения, окончательного ухода из-под гнетущей десницы, давящей и раздавливающей меня! Об этом мечталось то так, то этак, но неизменно мечты были связаны с представлением о каком-то катаклизме, о шквале, который сметет урод-

ливые античеловеческие установления, о ком-то Благородном, кто откроет перед нами двери тюрем и лагерей, а мы — мы ХЛЫНЕМ на свободу, на вольный ветер.

Меньше всего я могла себе представить, что эту страстно вымечтанную свободу мы будем получать из рук все того же (выражаясь по-нынешнему) «истеблишмента», будем стоять за этой свободой в огромных очередях, захлебываясь в потоке казенных бумаг, лениво составляемых все теми же бюрократами, в лучшем случае равнодушными, в худшем — еле скрывающими свое недовольство этими непредвиденными эксцентричными реформами.

И, однако, все это было именно так. Был знойный летний день. В очереди к полковнику, выдававшему справки о реабилитации, сидело, стояло, переминалось на отекавших ногах свыше двухсот человек. Голова у меня кружилась от спертого воздуха и нетерпения. Минутами я забывала разницу между этой эпохальной бумагой и сине-лиловым штампом магаданской комендатуры, продлевавшим мне жизнь на две недели. Старалась подбадривать себя мыслями о свободе, но чувство горечи не оставляло меня. Да разве свобода ТАК приходит?

Уже ближе к вечеру мне удалось наконец протиснуться в ближайшую к двери десятку. Входим все десятеро сразу. Усталым жестом полковник предлагает нам рассестись на скамейке вдоль стены и вызывает к себе по фамилиям. Этот пожилой человек — хозяин справок о реабилитации — умаялся не меньше нас. Ему очень жарко. Мы-то в легких тряпках, а он при полном мундире, застегнутом на все пуговицы. Пот струится по его лысеющему лбу, и он то и дело прерывает работу, чтобы вытереть лоб носовым платком. Фамилию он переспрашивает трижды, как глухой.

— Вот, — протягивает он мне бумажку, — прочтите внимательно. Обратите внимание: при утере не возобновляется.

Кроме справки, которую я не успеваю прочесть, он дает мне листок из блокнота с записанным на нем телефонным номером.

— А это что?

— Телефон комиссии партконтроля. Сюда будете звонить по вопросу о восстановлении в партии.

— Что-о?

Я так потрясена этим неожиданным поворотом дела, на лице моем такая растерянность, что полковник несколько оживляется и вглядывается в меня, как в живого человека.

— Вы разве не хотите партийной реабилитации?

— Я... Я...

Я просто не верю своим ушам. Мне, вчерашней парии, предлагают вернуться в ряды правящей партии. Меня охватывает смятение.

— А как будете анкеты заполнять при оформлении на работу? — совсем уже по-свойски говорит полковник.

— А если беспартийная?

— А вы не беспартийная. Вы — исключенная из партии. И следующий вопрос в анкете будет: состояли ли в партии, когда и каким образом выбыли? И вы должны будете написать ту формулировку, которая у вас в деле: исключена за контрреволюционную троцкистскую террористическую деятельность... Так что звоните по этому номеру!

Каждого выходящего из полковничьего кабинета сразу окружает толпа ожидающих в вестибюле. Они буквально вырывают из рук только что полученную справку, сравнивают формулировки, делятся различными глубокомысленными выкладками о том, какая реабилитация ПОЛНАЯ, какая — в чем-то ограниченная. Сразу находятся крючкотворы не хуже самих авторов справок. Они уверяют, что существует большая разница между формулировками «за отсутствием состава преступления» и «за недоказанностью обвинения»...

Моя справка — первый сорт. «За отсутствием состава преступления». Знатоки поздравляют меня. Находятся, правда, и скептики, разглядывающие бумагу на свет, ищущие в ней каких-то тайных водяных знаков, условных номеров и серий... А я как-то не очень вслушиваюсь во все это, а больше всего боюсь, не смяли бы они мою бумажку, не изорвали бы, сохрани Бог! Ведь при утере не возобновляется.

Но вот от полковника выходят новые люди, внимание отвлекается от меня, и мой драгоценный документ возвращается в мои руки. Теперь я бреду в полном изнеможении по улице Воровского (ах, да ведь она Поварская, Поварская... Только что сообразила, что это она!). Вообще с тех пор, как я оставила Тоню в Ленинграде, я как-то отпустила вожжи, стала легко расслабляться, реже обедать, позволяла себе долго и бесцельно бродить по улицам. Делаю над собой усилие. Надо подтянуться. Надо сейчас же ехать к Тоне Ивановой. Они там все волнуются, ждут меня со справкой. Сейчас я предъявлю им ее. Где же она, кстати? Меня вдруг обливает ледяным ужасом. Останавливаюсь посреди Арбатской площади, открываю сумочку и начинаю судорожно рыться в ней. Нету справки! Перебираю квитанции прошлогодней давности (проклятая манера совать все бумажки в сумку, а вытряхивать ее раз в году!)... Нету справки. Я погибла... И снова, стоя посреди площади, под стук бешено колотящегося сердца, перебираю бумажки, скопившиеся в сумочке. Что же это такое?

Меня выводит из этого состояния отчаянный скрежет автомобильных тормозов и дикая брань, которой осыпает меня водитель грузовика. Захваченная поисками справки, я не заметила, что чуть не погибла под колесами этой тяжелой грязноватой колесницы, которые в середине пятидесятых годов еще ходили по старой Арбатской площади.

— Так и так и так! — орал вне себя шофер. — Деревенщина чертова! Машка с трудоднями! Наедут в город, а ходить-то не умеют! И от самой бы только мокроенько осталось, и меня бы в тюрягу засадила! Чтоб тебе!..

Но даже и более сильные его выражения, которые я опускаю, я принимаю с полной кротостью и со счастливой улыбкой. Во-первых, он прав: я бессовестно нарушила все правила движения пешеходов, я даже мельком не взглядывала на светофоры. А во-вторых... Во-вторых, какое все это может иметь значение, когда нашлась, НАШЛАСЬ моя справка! Оказывается, я положила ее не в сумочку, а туда, куда за восемнадцать лет привыкла прятать все самое для меня ценное, — на грудь, за лифчик...

Я еще и еще раз ошупываю себя, слышу божественный хруст моей драгоценной бумаги за лифчиком и бормочу извинения вслед уехавшему шоферу грузовика. Совсем обессиленная, добираюсь до фонтана, стоящего перед входом в арбатское метро, и падаю на скамейку рядом со стариками, отдыхающими

ми, опираясь на старорежимные трости, с мамашами детей, играющих у фонтана в мячик. Вынимаю свою справку и впервые с полным вниманием начинаю перечитывать ее. Ага! Вон в чем дело! Здесь сказано: «По вновь открывшимся обстоятельствам...» Какие же, интересно, обстоятельства вновь раскрылись перед моими неподкупными судьями? Может быть, они нашли подлинного преступника-террориста и выяснили, что не я, а именно он убил... Но кто убит-то? Ведь при миллионах террористов НИКТО, абсолютно никто не был убит... Киров только... Но имя его убийцы мы все в лагерях знали твердо. Так... Почитаем дальше... «Дело прекратить за отсутствием состава преступления». В сознании всплывает излюбленная фраза, которой утешали и умиряли нас наиболее «гуманные» тюремщики. «Разберутся! Если не виноваты, разберутся и выпустят». И вот разобрались. И двадцати лет не прошло, как сам Верховный суд авторитетно заявляет: нет состава преступления!

Никак не соберусь с силами — встать со скамейки и войти в метро. Вдруг ко мне подходят двое провинциалов — он и она — с тяжелыми чемоданами в руках и рюкзаками за плечами.

— Не подскажите, девушка, как нам добраться до Казанского вокзала?

Эта вроде бы ничего не значащая мелочь вдруг приводит меня в хорошее настроение. Во-первых, они назвали меня девушкой. Значит, к исходу пятого десятка я еще не выгляжу старухой. Во-вторых, они спросили меня, как добраться до Казанского вокзала. Не до Мылги, не до Эльгена, не до дома Васькова и даже не до Лефортова, а просто до Казанского вокзала. И я со всем старанием и подробностями объясняю им, где пересаживаться и переходить.

Вспоминаю, что когда я рылась в сумочке, разыскивая свою пропавшую грамоту, то видела там на дне обломок шоколадки. С аппетитом съедаю его и решительно встаю со скамейки. Оглядываюсь вокруг. Откормленные московские голуби, тогда еще очень модные, упоенно переговариваются друг с другом. Девочка в красном платье деловито скачет через веревочку. В двери метро непрерывно вливаются люди. Сейчас и я присоединюсь к ним. Вольюсь в общий поток. Возможно ли? Я такая же, как все!

«За отсутствием состава преступления...»

Источник: Евгения Гинзбург. Крутой маршрут: Хроника времен культа личности. М.: Книга, 1991.

Адамова-Слиозберг
Ольга Львовна
(1902–1991)



Родилась в Самаре, в семье портного. Окончила самарскую частную женскую гимназию им. Н.А. Хардиной (1919). После переезда в Москву поступила в Московский университет, затем вышла замуж за Юдея Закгейма, доцента Московского университета (1928). В 1936 г. муж был арестован и расстрелян, в том же году арестована была и Слиозберг. Осуждена на 8 лет тюремного заключения. Срок отбывала на Соловках, затем в лагерях на Колыме. В 1944 г. освободилась, вышла замуж за Николая Адамова. Вскоре стараниями мужа выбралась на материк, 3 года жила нелегально в Москве с родителями и детьми. В 1949 г. была повторно арестована и сослана в Караганду, где познакомилась с Ю. Айхенвальдом, А. Есениным-Вольпиным, Н. Коржавиным. В 1951 г. мужа арестовали и отправили в лагерь в Джезказган. В 1954 г. со Слиозберг была снята «вечная» ссылка, ей удалось забрать мужа из лагеря после его активирования по состоянию здоровья.

В 1955 г. Слиозберг возвращается в Москву, в 1956 г. ее реабилитируют.

ПУТЬ

<...>

Следствие

Я просидела в ожидании первого допроса пять дней.

Наглядевшись и наслушавшись, я несколько потеряла оптимизм, с которым готовилась объяснить и доказать, что мой муж и я совершенно невиновны. Но все же я считала себя совсем другим человеком, чем мои соседки по камере, связанные с какими-то очень важными людьми, втянутые в политическую борьбу.

Я человек беспартийный, мой муж тоже, он занимается наукой. Может быть, и есть какой-то заговор, но почему я должна отвечать за него?

Я представила себе следователя, умного и тонкого, как Порфирий из «Преступления и наказания», я ставила себя на его место и была уверена, что в два счета поняла бы кто передо мной находится, и немедленно отпустила бы такого человека на волю.

Наконец меня вызвали.

Попала я к какому-то совсем не важному следователю лет двадцати пяти. Кабинет был маленький, совсем не роскошный, наверное, днем здесь была канцелярия. В углу стояли две удочки, видно, мой следователь после ночной работы собирался ехать на рыбалку.

После первого допроса следователь записал: я признаюсь, что мой муж был троцкистом и у нас были троцкистские сборища.

Я написала: нет.

И вот так мы просидели всю ночь. Следователь говорил скучным голосом:

— Подумайте, признайтесь, — и смотрел на часы. Через десять минут он снова говорил: — Подумайте. — И снова смотрел на часы. Пока я думала, он ходил по кабинету, несколько раз подходил к удочкам и что-то поправлял.

Следующим вопросом следователя было:

— Что вы слышали о смерти Аллилуевой? Отчего она умерла?

Я спокойно и уверенно ответила:

— Она умерла от аппендицита, я сама читала в «Правде».

Следователь стукнул кулаком по столу:

— Лжете! Вы слышали совсем другое! У меня есть сведения!

И вдруг я с ужасом вспомнила, что месяца два тому назад я была в гостях у старого большевика Тронина, человека, глубоко мною уважаемого. Один из гостей, Розовский, рассказывал, что Аллилуева застрелилась после того, как Сталин при гостях грубо ее оборвал, когда она заступилась за Бухарина. Этот Розовский (он был завмагом) был арестован до меня, мы думали, за какую-то растрату. Он, конечно, мог на следствии передать этот разговор о смерти Аллилуевой в моем присутствии.

Стало страшно. Тронин и его семья будут привлечены за распространение антисоветских слухов. И ведь... «был бы человек, а статья найдется»... Да я ведь уже сказала, что не слышала никаких разговоров о смерти Аллилуевой. А Розовский, может быть, об этом и не говорил на следствии. Вся моя решимость ничего не скрывать от следователя окончательно исчезла. Я повторяла: «Я читала в «Правде», она умерла от аппендицита», — а сама тряслась от страха, что Розовский говорил на следствии о самоубийстве Аллилуевой и я выгляжу лгуньей.

Наконец следователь сказал:

— Подумайте в камере. Учтите, что только чистосердечное признание даст вам шанс увидеть своих детей. Упорное запирательство характеризует вас как опытного политического борца. Идите и думайте. Я вернулась в камеру в половине шестого. Александра Михайловна и Соня решили, что меня, по всем признакам, рассматривают как очень мелкого преступника и я получу от трех до пяти лет лагеря. Женя говорила, что меня освободят. По этому поводу спорили, а я внутренне оледенела: все это так далеко было от того умного и справедливого следствия, которого я ожидала! Я впервые поняла реальную возможность, что меня осудят, и я потеряю детей.

И я снова стала мечтать о том, чтоб меня вызвали, и я смогла бы доказать, что я неповинна. Мысль о Розовском и его версии о смерти Аллилуевой меня не оставляла. Я не спала все ночи и дрожала от страха.

Через две недели меня действительно вызвали, и все повторилось, вплоть до удочек, которые очень занимали следователя, а меня резали по нервам. Разговора о Розовском не было, и я поняла, что он ничего обо мне не сказал.

Через два месяца меня вызвали в третий раз, и следователь показал мне протокол, подписанный рукой моего мужа, где на вопрос, был ли он троцкистом, муж ответил: «Да».

— Как это может быть! — воскликнула я. — Это неправда!

— Это, конечно, правда, но он уж нас помучил, пока мы добились от него признания!

При этом следователь как-то криво усмехнулся, и я поняла, что мужа моего истязали, били, если он подписал такое. Я содрогнулась, на минуту мне показалось, что я сейчас упаду. Потом я поняла одну вещь, и она наполнила меня гордостью за него и любовью: на меня-то он ничего не показал, как с ним ни бились следователи, как его ни терзали! И я поклялась, что не подпишу ложных показаний на него, хотя бы после его «признания» они и не имели значения.

Опять я просидела шесть часов. На этот раз следователь кричал, стучал по столу кулаком; обзывал меня политической проституткой, обещал, что я никогда не увижу своих детей, что их отдадут в детский дом, чтобы изолировать от влияния моей разложившейся семьи. Этого я боялась больше всего потому, что в детских домах детям меняли фамилии, и их уже никогда нельзя было найти. Так говорили у нас в камере. Я думаю, что эти слухи распространяли сами следователи, чтобы нас еще больше запугать.

И я опять вернулась в камеру и опять ждала, но больше меня не вызывали.

Следствие кончилось.

Я была «разоблачена».

Следователь составил материал для суда, в котором он доказывал, что я была преступница, подлежащая тяжелому, мучительному наказанию и изгнанию из жизни.

Он был моложе меня. Где-то он сейчас живет. Я думаю, что его даже совесть не тревожит. Ведь он «исполнял свой долг»!

<...>

Соловки

После приговора нас ввели в большую камеру с наскоро сколоченными нарами (раньше здесь, вероятно, помещался клуб), и там мы пробыли два дня. Об этих двух днях я помню только стоны, крики, просьбы дать свидания с детьми и родными.

От свидания с детьми я отказалась сразу же, я считала, что привести их сюда — значит, ранить на всю жизнь. В силах ли я видеть мать и отца, я еще не решила, но начальство рассудило за нас: нам не дали никакого свидания, погрузили в поезд и повезли на Соловки. Мы ехали четыре дня. Рядом в купе ехал писатель Виленский-Сибиряков. Он был тяжело болен — язва желудка. В нашей 105-й камере сидела его жена, Марфа Митрофановна Виленская. Я вспоминала всякие мелочи о ней и ему рассказывала. Он жадно слушал, это была последняя весточка от жены, с которой он прожил тридцать лет. Они вместе отбывали до революции ссылку в Сибири, потому он и взял себе псевдоним Сибиряков. Он умер потом на Соловках. Дочь его я встречала на Колыме.

По Белому морю нас везли на пароходе «СЛОН» (Соловецкий лагерь особого назначения). Все говорили, что это к счастью, но ведь всех заключенных везли на этом пароходе, а вряд ли их ожидало большое счастье!

На Соловках не были готовы камеры, и временно нас поместили в большую камеру, бывшую трапезную. Печи там огромные, в полстены, очень теплые,

полы добротные, из аршинных досок. Стены беленые, диваны деревянные со спинками. Подали неплохой обед. В комнату несколько раз заходил начальник тюрьмы Монахов — высокий, полный, с добродушным лицом.

Мы, видимо, его очень интересовали. В одно из посещений он сказал:

– Да что же вы натворили, что такие приговора?

А потом в следующий раз вдруг сказал:

– Ну, сидеть вам по восемь да по десять лет, разбирайтесь по желанию по четыре, по пять человек.

Это было поразительно: никогда никто так не делал, наоборот, если люди дружили — их разъединяли. Все волновались: легко сказать, выбрать товарища на восемь лет.

Мне было ясно, с кем я не хочу быть: я очень боялась людей, которые плачут и стонут. Я не хотела сидеть с меньшевичками и троцкистками. Ближе всех мне была Женя Быховская, но с ней соединиться было нельзя, так как у нее по приговору была одиночка.

Женя сидела в углу и была уже отрешена ото всех, ей не о чем было говорить с нами, полными планов совместной жизни, ее ожидало одиночество. Сердце у меня зашло от острой жалости, но надо было устраивать свою жизнь. Я прошла мимо нее, не глядя, и подошла к Жене Гольцман.

Она сидела рядом с молодой красивой девушкой, которая прижималась к ней. Девушку эту я знала. Она была падчерицей профессора Д. Звали ее Лида.

Эту Лиду мы с Женей решили взять к себе в камеру. Мы очень жалели ее и, кроме того, хотели дать ей образование, так как она окончила только семилетку.

Четвертой к нам в камеру попросилась Зина Станицына, которую я знала по Лубянской тюрьме. С Зиной нас сблизило то, что ее посадил Муратов, товарищ моего мужа, который оговорил и нас.

Женя сказала, что у нее есть условие: мы не должны нарушать тюремных правил перестукиванием. Она коммунистка и, где бы ни была, будет подчиняться советским законам. Мы установили такой порядок: вставали в 8 часов и час делали гимнастику при открытом окне. Потом завтракали и садились за учебу. 2 часа в день Женя занималась с нами английским языком, 2 часа Зина учила нас математике. Час я занималась с Женей французским и час с Лидой русским, потом я читала французские книги, которых в библиотеке было 250 томов, и все очень хорошие.

Лида была очень музыкальна и иногда напевала чистой и нежной колоратурой.

Женя читала Ленина и Маркса, Зина занималась векторным анализом, а Лида пыхтела над уроками по математике, русскому и английскому. Женя строго следила, чтобы «Правда», которую мы получали, прочитывалась нами от начала до конца. Она ни за что не спускала мне, когда я просматривала газету, а не читала ее как следует.

Час в день мы гуляли на старом кладбище, заросшем травой и сиренью. Там между двух березок была одна плита, всегда навевавшая на меня грусть и раздумье:

«Кошевой Запорожской Сечи, имярек (я забыла), родился тогда-то, в возрасте 75 лет за буйство был заточен в монастырь и прожил там до ста трех лет. Потом был освобожден, но, смирившись душой (в сто три года!), пожелал дожить свои дни в тишине и молитвах. Умер ста десяти лет».

Я читала надпись на могиле «смирившегося душой кошевого» и думала о том, что я освобожусь в сорок один год, что потом я еще, наверное, буду жить и вспоминать эти восемь лет как эпизод моей долгой жизни. Но я никак не могла этому поверить.

В 8 часов мы снова раздевались и делали гимнастику при открытых окнах, потом пили чай, и дневная работа была окончена.

Мы никогда не лежали на постелях и не спали днем, чтобы утомиться и спать ночью.

Это был очень хороший режим, и, кажется, только наша камера ввела у себя такой. В остальных камерах много плакали, читали, лежа в кровати, много вспоминали прошлую жизнь. Потом, когда через года полтора нас соединили, мы от них резко отличались, как будто приехали с курорта.

Монахов частенько к нам заглядывал. Он, наверное, и в глазок смотрел, потому что, как-то зайдя, увидел, что мы по-английски читаем какую-то статью, и сказал:

– Здорово вы продвинулись! А я никак не одолею, три раза принимался.

Женя ему шутя сказала:

– Включайтесь в наш кружок, мы вас живо научим.

Он замахал руками:

– Нет уж, избавьте, к себе меня не включайте, лучше проживу без английского!

Но не долго он прожил, бедняга! В конце 1937 года его за либерализм в общении с «врагами народа» арестовали. Говорят, Монахов умер на пересылке во Владивостоке.

Он скрасил нам год жизни в тюрьме. Это был очень хороший человек.

Тяжелы были ночи. Устав, я засыпала как убитая, но в два часа просыпалась, как от укола в сердце. Больше спать я не могла, и часы до подъема были невероятно мучительны. Вставать, читать не разрешали, вертеться было нельзя, очень чутко спала Женя, жалко было ее будить. Я лежала тихо, с закрытыми глазами и училась не вспоминать. Малейшее ослабление воли, и всплывают лица детей, мужа, матери. Нельзя, нельзя, а то начнешь кричать.

В эти ночи я узнала, что можно управлять мыслями: одни пускать, другие гнать. Можно не вспоминать, не жалеть, не терзаться чувством вины перед собой, перед мужем, перед матерью за то, что недоделала что-то, кого-то обидела, мало любила, мало жалела. Можно... Но очень трудно. После такой ночи я вставала, как избитая, и входила в норму только после часа гимнастики перед открытым окном.

Один раз к нам пришел фельдшер давать лекарство. Сзади, как всегда, стоял конвоир (фельдшер был заключенный). Вливая Лиде в глаза капли, он прошептал:

– Умер Сергей Луковецкий, просил передать на волю: невиновен. Умираю коммунистом.

В другой раз он шепнул:

– Умерла Соня Ашкенази. Утром нашли.

Я вспомнила ее прекрасные глаза и то, как она меня поцеловала перед судом.

Умерла.

Так мы прожили целый год. А осенью 1937 года вдруг перестали давать книги из библиотеки. Мы жили без книг месяцы, и, наконец, нам дали новый

каталог, где учебники были в объеме средней школы, иностранных и научных книг вообще не было. Каталог художественной литературы занимал пять страничек на машинке. Разрешалось брать по одной книге на неделю. Это был ужасный удар. Мы плакали, как будто получили дополнительный срок. Мы гадали, почему так сделали, и Женя предположила, что через книги заключенные переписывались, сами виноваты.

Особенно тяжело было, когда в уборной нам давали нарезанные страницы из наших любимых книг. Как-то я получила полстранички Гейне, в другой раз кусочек из «Казаков» Толстого.

Тогда же нам перестали давать газеты. В эти дни я впервые поссорилась с Женей.

К нам в камеру вошел Виноградов, наш корпусной. Это был комсомолец, не слишком умный парень, но мы его любили. Видно, он хотел подражать Монахову, потому что пытался нас воспитывать: бывало, пожалуемся, что холодно, он отвечает: «Натопят. Советская тюрьма не наказывает, а воспитывает». Или придет к нам в камеру и сделает что-то вроде политинформации про стахановцев, а закончит укоризненно: «Видите, как народ работает, а вы вот натворили и сидите».

Последнее время Монахова не было видно, а Виноградов к нам не заходил уже два месяца. Сегодня вошел — как будто его подменили.

— Встать! Мы встали.

— Претензии есть?

— Нет.

Он повернулся уходить. Тогда я его спросила, почему нам не дают газет.

— Таково расписание.

— Вы сами говорили — советская тюрьма воспитывает, а как же воспитывать без газет?

Он замаялся. И вдруг ему на помощь пришла Женя. Лекторским тоном она сказала:

— Воспитывают политически неграмотных, а такие, как мы, должны отвечать за свои поступки!

Виноградов обрадовался и закивал головой:

— Точно, точно!

И шмыгнул в дверь от дальнейшей дискуссии.

Я налетела на Женю:

— Как ты смеешь вмешиваться, когда я спрашиваю корпусного?

Она была немного смущена:

— Ну, ты видишь, что он не знает, как ответить.

Появилось свободное время. Мы слепили из хлеба шахматы и стали играть. Три дня увлекались шахматами, а на четвертый вошел Виноградов, сгреб шахматы и сказал:

— Запрещается.

— Ну, а это почему? — спросила я Женю. — Просто чтобы мучить.

— Прошу тебя не говорить фраз, граничащих с клеветой. Значит, кто-то в шахматы клеивал политические документы.

Я махнула рукой и больше не стала говорить, уж очень ей трудно было подыскивать оправдание.

Два дня нас не водили гулять, а когда мы вышли на прогулку — ахнули. Наше милое кладбище было разделено на загончики с высокими стенами. Ни одной травинки, ни кустика не было на земле. Две березки были срублены. Плита с надписью осталась и сиротливо лежала посреди двора.

Однажды, когда мы в тюремных длинных трусах и самодельных лифчиках делали гимнастику, открылась дверь и вошла целая комиссия. Вид у нас был жалкий: серо-белые бязевые трусы до колен, лифчики из портянок. При открытом окне, и еще открыли дверь, стало очень холодно, и мы стояли, синие от холода, на сквозняке.

Впереди шел полковник в серой каракулевой шапке и полушубке с таким же воротником. У полковника было розовое лицо, пахло от него парикмахерской и вином. Сзади человека четыре военных, а позади всех наш Виноградов.

— Что это такое? — спросил полковник Виноградова, брезгливо указывая на нас. — Что это такое? Я вас спрашиваю. Это дом отдыха или тюрьма? В домах отдыха занимаются спортом, а в тюрьмах отбывают наказание. Безобразия! Немедленно прекратить!

Мы сделали движение, чтобы одеться.

— Стоять! Почему не по правилам заправлены койки? Почему открыто окно? Это не спортзал, а камера!

На столе лежала книга — воспоминания Елизаровой о Ленине.

Я вдруг сказала:

— А Ленин сидел в царской тюрьме и два часа в день занимался гимнастикой. Это ведь тоже была тюрьма.

Полковник крикнул:

— Молчать! — повернулся и вышел. Все ушли. Дверь заперли. Через пять минут вернулся Виноградов, сказал:

— Гимнастикой заниматься запрещается. — Взял воспоминания Елизаровой и ушел.

Как-то в библиотеке дали книгу Барбюса «Сталин». Там был большой портрет Сталина. Лида почему-то стала восхищаться его лицом.

— А вам он нравится? — спросила она меня. Накопившаяся злоба прорвалась:

— Нет, я не люблю лиц с маленькими лбами.

Женя вскинулась:

— Я считаю это политическим выступлением!

— Не люблю людей с маленькими лбами, не люблю брюнетов, обожаю блондинов, синеглазых блондинов, большелобых, синеглазых блондинов, хоть ты меня убей!

Женя отвернулась и перестала со мной разговаривать.

В камере стало так тяжело, что я обрадовалась, когда через неделю Виноградов велел мне собираться с вещами.

Я попрощалась со всеми. Женя подошла, поцеловала меня и сказала:

— Я думаю, ты едешь на пересмотр дела. У тебя ведь такой пустяк! Желаю счастья!

Ох, какой она была оптимист.

Я вышла.

Меня ввели в камеру, где сидели четыре женщины. Познакомившись, я узнала, что все они имели приговоры по статье 58-10 по три года, до сих пор были в лагере, теперь сроки их окончились. Когда их взяли из лагеря в тюрьму, они были уверены, что их отправляют на материк для освобождения.

Задержка их очень волновала. Утешали себя тем, что закрыта навигация.

Потом они спросили обо мне и с ужасом узнали, что я террористка и приговорена к восьми годам тюремного заключения.

Когда я попыталась им объяснить, что теперь все либо террористы, либо шпионы и имеют сроки по восемь, десять лет, они явно мне не поверили. Ведь три года назад, чтобы получить такой срок, надо было что-то сделать.

Этот разговор был в первый вечер моего прихода, а на завтра я заметила, что все они смущены, шепчутся между собой и что-то хотят мне сказать. Наконец, Нема Рабинович, старшая из них, сказала мне:

— У нас уже позади наше наказание, мы готовимся начать новую жизнь. У нас дела были мелкие, случайные, у вас совсем другое. Я думаю, что вы не обидитесь на нас, если те недолгие дни, что мы пробудем здесь, не будем с вами общаться.

Вот так номер! Уж этого я никак не ожидала.

И мы начали жить в небольшой камере — пятнадцати — впятером, причем я сидела в одном углу, а они все четверо в другом. Мне кажется, им было еще хуже, чем мне, ужасно стыдно. Но я им мучительно завидовала. Они говорили друг с другом, иногда смеялись, играли в какие-то загадки, все вместе ели.

Я сидела одна. Ни книг, ни бумаги у меня не было, и единственное, что я могла делать, — это сочинять в уме стихи да курить папиросу за папиросой. Так прошло пять дней. Наконец, мне принесли книгу. (Им принесли четыре книги, и они могли меняться.) Я читала свою книгу порционно, по тридцать страниц в день, а тридцать страниц — это для меня на один зуб, и с завистью поглядывала, как у них лежат книги, а они не читают, предпочитая обсуждать свою будущую судьбу.

Прошло еще три дня. И вдруг вошел корпусной и вызвал Нему Рабинович без вещей! Значит, решили все, на освобождение. Прошло минут пятнадцать. Вошел корпусной, вызвал без вещей Машу Яровую, а Нема появилась в дверях бледная как полотно. Маша вышла. Нема еще не произнесла ни слова. Потом сказала:

— Прибавили срок до десяти лет. Еще отбывать семь лет.

Села на койку и начала курить папиросу за папиросой. Открылась дверь, и с рыданиями вбежала Маша и бросилась на постель:

— Довесили семерку, это Бог нас наказал за бедную Ольгу. У меня все восемь дней сердце разрывалось, на нее глядя! Довесили, довели. Семь, семь, семь лет!

Две остальные вышли и вошли обратно с плачем и криками. Было тяжело смотреть, как жизнь разбила все их планы и мечты. Нема и Маша рвались к детям, оставленным у чужих людей, Нюра Иванова собиралась соединиться с одним лагерником из уголовных, кончавшим срок весной. Она хотела его ждать, строила планы, как будет до весны его поддерживать, посылать ему посылки.

Шуру Алексееву ждала мать, которая еле дожила до окончания срока своей единственной дочери. Она ей писала каждую неделю: «Вот осталось двенадцать недель, вот одиннадцать, вот десять, жду, жду, жду».

Прошло несколько часов, принесли кипяток. У меня были какие-то леденцы. Я пошла на их половину.

— Давайте мириться! Угощаю. — Я положила на стол леденцы. — Я не сержусь на вас, откуда вы могли знать? Но теперь, пожалуй, мне с вами опасно: у меня восемь, а у вас по десять.

Человек живуч! Вечером мы сидели все впятером на постели у Маши Яровой, и я рассказывала им французский роман «На дне пропасти» Жоржа Онне. Это был один из самых душераздирающих романов, которые я брала для практики во французском языке из тюремной библиотеки. Эти романы сослужили мне хорошую службу: я их передавала с вариациями и прослыла в тюрьме и лагере отличным рассказчиком.

Весной 1938 года к нам в камеру привели двух женщин, которые, заболев, отстали от своего этапа. От них я узнала, что женская тюрьма на Соловках ликвидируется, и всех заключенных перевозят на материк. То же ожидало и нас. Я мысленно оглядела полтора года, прожитые на Соловках. Дни как-то проходили в занятиях математикой, языками, чтении книг, разговорах. Но ночи!

Беспокойная белая ночь.
Тени башен на окна нависли.
Я устала в мозгу ворочать,
Точно камни, тяжелые мысли...
Только вспомнишь о дальнем мире,
Точно жало до сердца дотронется.
Меж камней осторожно лавируя,
Я себя вывожу из бессонницы.
Это значит, что, стиснув зубы,
Я решила терпеть и ждать.
Чайки стонут криливо и грубо,
Ночь проходит — надо спать.

В нашу камеру на Соловках вошла бледная худенькая девушка.

— Я из карцера, — сказала она. — Меня зовут Аня Бублик.

Около меня была свободная койка. Аня легла на нее и очень скоро заснула. Она сильно кашляла. Видно, была так замучена, что не просыпалась до вечера. Вечером к ней зашел врач Востоков. Он был, как и мы, заключенный и относился к нам внимательно, сочувственно. К сожалению, он недолго у нас пробыл, вскоре его заменили вольнонаемным чиновником. Востоков послушал Аню и спросил:

— Туберкулезом болела?

— В детстве, потом выздоровела.

Он дал ей какие-то порошки, а мне сказал:

— Очень близко не дышите.

И мы поняли, что у нее чахотка. Аня тоже поняла. Из десяти обитателей нашей камеры большинство боялись с ней говорить, боялись заразиться, а я не

боялась. Так тошно было мне в это время, что хотелось умереть. Да и как было оставить эту девочку одну в такое страшное для нее время? Мы целыми днями говорили с Аней, она рассказала мне свою историю.

Родилась она в Харбине, где отец ее работал на железной дороге. Когда дорогу передали китайцам, служащим предложили на выбор: либо принять китайское подданство и остаться работать на КВЖД, либо уехать в СССР и сохранить подданство советское. Родители Ани остались в Харбине, а она, горячая комсомолка, мечтала уехать в Россию. Мать на коленях умоляла ее остаться, многие пугали тяжелыми условиями жизни в СССР, но Аня была непреклонна. Она приехала в Москву и поступила в институт иностранных языков (английский язык она знала с детства). Жила она в общежитии и была в восторге от Москвы, от вуза.

Но через три месяца ее арестовали по подозрению в шпионаже, была такая удивительная статья «П.Ш.». С 10 годами срока она была прислана на Соловки. Потом на Колыме я встречала многих, прежде работавших на КВЖД, с этой статьей. Возмущению ее не было предела. По-своему она боролась: демонстративно не вставала, когда входило начальство, говорила громко, без разрешения открывала форточку. Естественно, попала в карцер. А условия в карцере были такие: во-первых, надо было догола раздеться и надеть грязный тюремный халат. Камера без окна. Питание — 400 г хлеба в день и две кружки горячей воды. Топчан вносят на 6 часов, остальное время надо стоять или ходить по двухметровой камере, или сидеть на залитом водой полу. Карцер давали на срок 4 — 5 и до 20 дней. Должно быть, сильно она обозлила начальника тюрьмы, что он дал этой бедной девочке 20 дней. Впервые в моей тюремной жизни я столкнулась с таким сроком. Обычно и после пяти дней выходили больными.

Аня прожила у нас в камере месяц. Ей делалось все хуже, и в одну печальную ночь у нее началось горловое кровотечение. Аню забрали в больницу. Умерла она через два дня. Ей был 21 год.

Как ни странно, я не заразилась.

<...>

Магадан. Мой первый лагерь

После четырех лет тюрьмы, в которой главным наказанием, унижающим человеческое достоинство, было лишение труда, мы приехали в Магаданский лагерь. Нас приняли хорошо. Мы резко отличались от лагерников зеленой бледностью лиц, испуганным видом и полной бестолковостью. Первые три дня мы не работали, отдыхали и целыми днями обсуждали преимущества лагерной жизни перед тюремной. Мы видели людей и говорили с ними.

Население лагеря (около 1000 человек) нам казалось огромным: столько людей, столько бесед, так много можно найти друзей!

Природа. Мы ходили внутри огороженной проволокой зоны и смотрели на небо, смотрели на дальние сопки, подходили к чахлым деревьям и гладили их руками. Мы дышали влажным морским воздухом, ощущали на лицах моросящий дождь, садились на влажную траву, прикасались руками к земле. Мы жили без всего этого четыре года, а оказывается, это совершенно необходимо, без этого нельзя чувствовать себя нормальным человеком.

Труд. Мы мечтали о труде и говорили о нем словами, которые казались лагерникам, ненавидящим подневольный тяжелый труд, высокопарными, глупыми и неискренними.

И вот наступил третий день лагерной жизни, когда нам сказали, что те, кто чувствует себя в силах, может выходить на работу. (Обязательный выход был через неделю).

Накануне мы волновались, как перед праздником. 18 человек, в том числе и я, решили пойти на работу. Так хотелось выйти за зону, пройти по улице, попасть в неогороженное пространство, увидеть лес, море.

— Выбирайте себе бригадира, — сказал разводящий.

Бригадиром выбрали меня. Я осмотрела уже хозяйским взглядом свою бригаду. Интеллигентные лица, седые головы. Два профессора, одна писательница, две пианистки, одна балерина, человек шесть партработников. Все горожанки. У всех атрофированы мускулы четырехлетним бездействием. Все мечтают доказать трудом, какие они честные, как хотят работать, какие они советские люди. Нас выводят за зону, и мы идем строящимся городом.

Приходим на большой пустырь на окраине города. На холме стоит почти достроенное здание больницы, где веселые румяные девицы протирают окна, переговариваются между собой и заигрывают с охраной, с мужчинами-монтажниками.

Моросит колымский дождь, но нам весело чувствовать его, нам кажется, что мы почти на свободе.

Подходит десятник Колмогорский. Это стройный мужчина лет сорока, щегольски, на наш взгляд, одетый, в серой каракулевой папаше, блестящих сапогах, в телогрейке, туго стянутой широким поясом. С любезной улыбкой он обращается ко мне и объясняет задание:

— Вы будете копать канаву. Она начата, имеет метр глубины. Надо углубить ее до трех метров. Норма выработки грунта — девять кубометров в день на человека. Вы лично можете не работать, норма на бригадира не дается. Продолжительность рабочего дня в летнее время — пятнадцать часов. Один час перерыва на обед. Начало работы в шесть часов утра, конец — в девять вечера. Обед привезут в час.

После этого он выдает тяжелые ржавые лопаты, и мы приступаем к работе. Мы не понимаем, что это такое девять кубометров, мы смутно понимаем, что значит пятнадцатичасовой рабочий день. Мы полны энтузиазма.

Я расставляю свою гвардию через три метра человек от человека, становлюсь сама, и начинаем работать. Я заявила, что перекур будет по сигналу каждый час на десять минут.

Моросит дождь. Грунт — глина. Оказывается, что лопата очень плохо входит в грунт, и мы захватываем только на кончик мокрую глину. Глина ужасно тяжелая и обладает противным свойством сваливаться с лопаты, пока довольно медленно доносишь ее наверх, на бровку. Выкинуть ее рывком у нас не хватает сил. Все же мы мужественно принимаемся за работу. Часов у меня нет, но я ясно чувствую, что прошло ужасно много времени, я устала до изнеможения.

— Перекур! — объявляю я.

Моя мужественная бригада протестует:

– Что вы, прошло не более двадцати минут!

Конечно, может быть, и двадцать минут, но у меня нет больше сил и нет сил ни у кого. Мы кладем лопаты и садимся на черенки.

– Кончай перекур! — команду я, и мы опять начинаем копать.

До обеда мы делаем, наверное, тридцать перекуров, и все труднее и труднее дать команду на работу и встать и втыкать ржавую, неудобную, облепленную глиной лопату в грунт и выбрасывать обидно маленькие комки глины на бровку.

Привозят обед, роскошный, с нашей точки зрения. Уха из свежей кеты, куски жареной кеты и даже кисель. Как мы ни устали, мы едим с удовольствием. (Тогда мы еще не знали, что первую неделю всем положено усиленное питание, причем независимо от выработки. Потом начнется голод, потому что норму мы выполнить не сможем.)

Кажется, что звонок на работу прозвенел невероятно быстро. Мы становимся по местам и копаем. Рядом со мной стоит маленькая мужественная женщина Рая Гинзбург. Я вижу, как пот льется у нее со лба неестественно обильными ручьями. Она работает, закусив губу, но каждый раз, когда я собираюсь объявить перекур, она торгуется со мной: «Еще десять лопат». Она же толкает меня: «Давайте сигнал на работу».

Я смотрю на нее с уважением. У нее маленькие изнеженные руки и хрупкая фигурка. У нее большое сердце. Она никогда не работала физически. Она гораздо слабее меня, но выдержаннее. Я люблю ее и стараюсь по ней равняться.

День тянется невероятно медленно. Подходит Колмогорский. Я стараюсь по его виду определить, много ли мы сделали, но не могу понять.

В один из перерывов к нам подходят девицы из бригады поломоек и смеются:

– Ну, Колмогорский вам угодил. Это работенка!

– А вы делаете норму, справляетесь? — спрашиваю я.

– Мы? По три нормы и платочки обвязываем. Мы привычные, в лагере уже по 5 — 7 лет.

Я с уважением смотрю на них.

– А что за человек Колмогорский?

– Он кончает срок, по лагерям с 1930 года. Казак. Мальчик не промах, устроился неплохо, девок хоть отбавляй.

Мы копаем. Наверное, никогда не будет отбоя. Я теряю счет перекурам, и под конец дня даже Рая не протестует, когда я объявляю перерыв.

Мы копаем, а дождь моросит, наши тяжелые бушлаты мокры насквозь, глина облепила обувь. Мы копаем. Наконец звонок. Отбой. Обратный путь кажется невероятно длинным.

В первый день мы минуем столовую, заходим в барак умыться перед ужином. Но оказывается, что вернуться в столовую невыносимо, нет сил. Мы валимся на койки, мгновенно засыпаем, и очень скоро раздастся звонок на подъем. В дальнейшем мы уже прямо с работы, грязные и облепленные глиной, ужинаем, а потом добираемся до барака.

Мы копаем три дня. С тревогой мы смутно понимаем, что канава не подвигается, что ни о каких девяти кубометрах в день на человека не может быть и речи. Но я все же почему-то надеюсь, что мы сделали довольно много. Ведь мы так старались!

К концу третьего дня приходит Колмогорский с метром и замеряет. Потом странно ухмыляется и приглашает меня зайти в контору. Я захожу и вижу роскошно накрытый стол. На столе скатерть из чистого мешка, спирт, банка сгущенки, соленая кета, зеленый лук, сало. Мне это кажется фееричным. Он приглашает меня за стол, и я сажусь. Он угощает меня спиртом и заявляет, что отказываться нельзя, «иначе блат будет поломан».

Я храбро первый раз в жизни пью спирт. Это очень противно, но я понимаю, что с ним надо установить хорошие отношения.

От спирта ноги слабеют, но голова еще ясная. Я перехожу к дипломатической беседе.

— Плохо, очень плохо. Вы сделали 3 процента нормы. Наверное, ваши бабочки по кустам с мужиками шныряют?

— Что вы, у нас такой состав бригады! Все порядочные женщины. Почти все бывшие члены партии, они стараются изо всех сил! Но нам трудна эта работа, женщины пожилые, горожанки, после четырех лет тюрьмы... Дайте нам другую работу, хотя бы мыть полы и окна, мы покажем, как добросовестно мы будем работать...

— Оставьте! Ну, сделали бы полнормы, а то 3 процента. Согласитесь, что это маловато. Признавайтесь, бегают ваши дамы к мужчинам?

— Нет, нет! Разве вы не видите, какие это люди? Как они стараются изо всех сил. Ведь это же культурные люди, бывшие члены партии.

И вдруг я вижу, что с лица Колмогорского кто-то сдернул маску любезного собеседника:

— Ах, бывшие члены партии? Вот если бы вы были проститутки, я дал бы вам мыть окошечки, и вы делали бы по три нормы. Когда эти члены партии в 1929 году раскулачивали меня, выгоняли из дома с шестью детьми, я им говорил: «Чем же дети-то виноваты?» Они мне отвечали: «Таков советский закон». Так вот, соблюдайте советский закон, выбрасывайте по 9 кубометров грунта! — Он хохотал. — Соблюдайте советский закон!

Я повернулась и пошла.

— Подождите-ка, дамочка! Ведь вы-то не были членом партии, я видел ваше дело. Буду с вами откровенным. Вы мне очень нравитесь. Я хотел бы иметь порядочную женщину, мне надоели эти проститутки. На тяжелой работе, на голоде вы пропадете. Я вас переведу бригадиром к девушкам в дом, буду о вас заботиться.

Перед моими глазами стояли лица Раи, Розы Боровой и других женщин. Все они ждали меня, надеялись.

— Я не согласна, — ответила я. — Будь что будет! Я хочу к своим.

— Что ж, вольному воля, — сказал Колмогорский. Я возвратилась в свою бригаду. Я была со своими.

<...>

Мираж

Сталь закаляют, разогревая ее докрасна и потом опуская в ледяную воду.

Многие просили о пересмотре дела, писали заявления на имя прокурора СССР и письма Сталину.

Я не писала ни разу не из гордости, а потому, что была глубоко убеждена, что из этого ничего не выйдет.

И еще одно: я поняла, что выдержать смогу, только стиснув зубы, не ослабляя души несбыточными мечтами.

Но мать моя жила надеждой. Она, как на службу, в течение первых четырех лет после моего ареста каждый день ходила «хлопотать». Начиная от прокурора СССР и до приемных Калинина и Пешковой, не было учреждения, где она не сидела бы в бесконечных очередях, не просила бы о пересмотре моего дела, не плакала бы, пытаясь тронуть сердца невероятным для нее фактом, что ее дочь, мать двоих детей, ни за что ни про что сидит в тюрьме. Она и мне писала, что хлопочет, успокаивала меня обещаниями разных высоких людей, но я не придавала ни малейшего значения ее надеждам, считала, хорошо, что она что-то делает, это ее утешает, а толку никакого не выйдет.

И вот каких только чудес не бывает! Она добилась пересмотра моего дела!

Так как дело было состряпано уж очень небрежно, а главное, было какое-то временное ослабление режима, дело было пересмотрено, и 3 июня 1940 года я была полностью реабилитирована в обвинении террора против Кагановича.

Лето 1940 года мы жили на Птичьем острове, расположенном на слиянии двух горных рек. На этом острове был большой лес, который мы рубили, и очень много плавника, который надо было разобрать и связать в плоты. Бригадир у нас был хороший, раскулаченный сибиряк Саша, на берегу стояли большие, никем не учтенные штабеля плавника, и всегда можно было показать, что их сложили мы. Так что работали спокойно, Саша нас не притеснял, и показатели всегда были хорошие, что обеспечивало нам первую категорию питания. Кроме того, мужчины, вязавшие плоты, такие же, как Саша, раскулаченные сибиряки, ловили рыбу и угощали нас, да и птичьих гнезд на острове было много, и часто мы находили утиные яйца. За весь мой срок это было самое легкое лето.

Однажды утром приехал из Эльгена завхоз и привез почту. Мне была телеграмма: «3 июня 1940 г. постановлением Верховного суда СССР за номером та-ким-то ты полностью реабилитирована. Счастливы». Подписи всей семьи.

И тут началось! Я ходила как пьяная от мечтаний. Я ласкала детей, мать, отца и рассказывала им все, что пережила, я представляла себе свое возвращение во всех деталях, начиная со встречи на Казанском вокзале и до той блаженной минуты, когда я положу голову на мамины колени.

Начали поступать письма. Мама подробно рассказывала мне, как она хлопотала, как все ее отговаривали и даже пугали, что вышлют из Москвы, а она не обращала внимания и добилась правды. Как в день пересмотра она с раннего утра и до пяти часов вечера сидела под дождем на улице у здания суда, а потом вышел какой-то человек в форме МГБ и сказал ей: «Ну, мать, поздравляю, освободили вашу дочку». И у этого человека на глазах были слезы.

Мама писала мне, что все время скрывала от детей, что я арестована, говорила, будто я в командировке, а теперь все рассказала, ведь мальчику уже 10 лет, а девочке 8 и они могут понять.

Но время шло, а мне никто не сообщал о пересмотре дела. Прошло лето, наступила зима.

Как сон, кончилась легкая жизнь на Птичьем острове. Нас перевели на рытье канав. Свирепствовала колымская зима с пятидесятиградусными морозами.

И вот однажды на канаву, где мы работали, пришла бригадир Аня Орлова и остановилась около меня. Она долго молчала, а потом сказала:

– Крепись, Ольга! — и протянула мне телеграмму. Там было написано: «Прокурор СССР опротестовал решение Верховного суда, при вторичном рассмотрении дела ты осуждена на 8 лет лишения свободы за недонесение на мужа (ст.58, п. 12). Мужайся. Мама».

Я молча передала телеграмму своим. Ее читали, и никто ничего не говорил. Аня участливо на меня глядела.

– Ты бы пошла в барак, полежала.

– Нет, не хочу. — Я принялась колотить кайлом. Остаться сейчас одной в бараке, в бездействии, было невыносимо.

Ночью, накрывшись с головой, я повторяла, как заклинание: «Выдержу. Еще три года и четыре месяца. Выдержу. Сорок месяцев. Выдержу. Даю тебе слово, мама. Ты меня дождешься. Выдержу».

А потом приходили письма, посланные раньше телеграммы, и в них мама писала, как добилась правды, как ждут меня дети, как все счастливы.

Нет, человек крепче стали.
Что сталь!
Дойти, доползти, довлачиться,
уткнуться в родные колени.
Уткнуться в родные колени и плакать.

Иль, может, молиться?
Одна мне отрада на свете,
боли моей утоленье —
уткнувшись в твои колени,
плакать, как плачут дети.
Не имут мертвые сраму,
погибшей — одно утешенье —
священное имя Мама
шептать у твоих коленей!

<...>

Освобождение

В 1941 году должна была освободиться Надя Федорович, которая была арестована в 1936 году, имела срок 5 лет.

У нее на воле остался девятилетний сын, нервный, самолюбивый мальчик. Он сначала жил с бабушкой, а когда бабушка в 1938 году умерла, скитался по родственникам, которые тяготились им и, продержав его год-полтора, старались сплавить к другим дядькам и теткам. Он писал матери жалобы на родню: «Своим дают хлеб с маслом, а мне с маргарином, ношу только обноски с Леньки да Сашки, нового мне ничего не покупают». И еще: «Мальчишки говорят — твой мать с отцом арестанты».

Надя считала дни до освобождения и мечтала взять к себе сына.

Ко дню ее освобождения, 25 июня 1941 года, мы приготовили Наде целое приданое: кто подарил ей юбку, кто сорочку, кто платок. Надя была первая, кто кончал срок. О том, что началась война, мы не знали. (Газет не давали.) Но что-то чувствовалось в воздухе тревожное, Надя нервничала и, готовясь к воле, не верила, что она придет.

Наступил день 25 июня, наступил и прошел. Прошел еще томительный месяц. Наконец Надю вызвали к начальнику лагеря на 12 часов.

Утром мы, как всегда, ушли на работу. Надя осталась в бараке. Я перед разводом подошла к ней.

– Может быть, последний раз тебя вижу, кончились твои муки.

– Не знаю, — ответила Надя, — что-то сердце болит.

Вечером вернулись. Надя сидит у печки, курит.

Дневальная шепотом предупреждает: «Не подходите, психует, не освободили».

Надя расписалась, что остается в лагере «впредь до особого распоряжения».

А сын-то ведь знал, что Надя освобождается 25 июня, она все просила его не ссориться с родней, потерпеть немного. Она с ужасом думала, как сын воспримет ее письмо, где она ему сообщала, что встреча откладывается на неопределенное время. Но сын письма не получил, цензура не пропустила такое криминальное сообщение, что человек кончил срок, а его оставили «впредь до особого распоряжения».

Надя не знала, что письмо не отправлено, ждала ответа и не получала. Вдруг зимой 1942 года получает письмо от неизвестного человека, который подобрал Борю на полустанке где-то около Иркутска, в жестоком воспалении легких, взял к себе и выходил. Он упрекал Надю, что она, освободившись, забыла сына, что она дурная мать, наверное, вышла замуж и живет себе, поживает, в то время как ее четырнадцатилетний мальчик, проехав зайцем из-под Рязани до Иркутска, погибает от голода.

Мы уже знали, что война, что письма не пропускают. Надя побежала к начальнику лагеря, писала заявления прокурору, металась, как львица в клетке, но везде встречала холодный ответ: «Переписка прекращена до особого распоряжения».

Так она и не узнала, что с сыном и где он, а сын беспризорничал, попал в банду и уже в 1947 году объявился в Колымском лагере уголовников со сроком в пять лет.

Подошел срок освобождения и еще нескольким женщинам, но всех, с тяжелыми политическими статьями, оставляли впредь до особого распоряжения. Образовалась целая плеяда «пересидчиков». Правда, на миру и смерть красна, другие, будучи как-то подготовленными, воспринимали это не так трагически, как Надя, но все же было несколько случаев самоубийств: люди не выдерживали мысли о том, что «воля», которой ждали, считая недели и дни, отодвигается на неопределенное время.

В лагере делалось все тяжелее и тяжелее. Мучительный и непрерывный голод, свирепая дисциплина, всеобщее уныние. В этой обстановке 27 апреля 1944 года подходил для меня срок освобождения.

Если верить письмам моих родных, то Верховный суд переименовал ст. 58/8 (террор) на 58/12 (недонесение). Это была самая легкая из политических ста-

тей, и с ней освобождали в срок. Но ведь мне в течение четырех лет не сообщали официально о перемене статьи, и я не знала, было ли такое постановление в действительности или мать обманули, и все осталось по-прежнему. Я истосковалась. Зима 1943 — 1944 годов была самой для меня тяжелой. Мне кажется, я немного помешалась, никак не могла переключиться на что-нибудь другое, все время гадала, освободят или нет. Шла с работы, гадала: если дойду до барака к пяти часам — освободят, если позже — нет. Если вон до той сосны 100 шагов — освободят, если больше — нет, и т.д.

Наконец, первого апреля 1944 года меня вызвали и сообщили, что 21.11.1940 года мне переменили статью на 58/12.

Воля стала реальностью.

Последние недели я жила, как в тумане, стала чужда лагерным интересам, боялась мечтать о воле и не знала, о чем мечтать. Говорили, что к родным в Россию все равно не пустят.

Мечтала, что приду с работы в свою комнату, запру дверь (обязательно запру дверь), лягу на кровать, и при настоящей электрической лампе буду читать книгу из библиотеки.

Мечтала, что буду есть досыта. Что в страшный колымский мороз не буду ходить на работу в лес, устроюсь где-нибудь в конторе, в тепле. Мечтала, что не будет проверок, ругани, мата, не буду жить вместе с проститутками и воровками, мечтала, что летом в воскресенье пойду гулять на целый день, буду идти по дороге, сколько захочу, и никто мне этого не запретит, не заорет: «Приставить ногу! Шаг вправо, шаг влево — стреляю». А о большем не мечтала, боялась разочарований.

27 апреля меня освободили день в день. Из всей нашей партии освободилась я одна. Остальные пересиживали до 1947 года.хлопоты моей матери сохранили мне три года жизни.

Все считали, что я счастливица. А я все время плакала. Я не знала, как буду жить одна, без родных, без товарищей, с которыми сблизилась в лагере.

Я сразу же подала заявление с просьбой разрешить мне выезд на «материк», но получила ответ, что закрепляюсь навсегда на Колыме.

Навсегда. Сколько раз я подписывала это «навсегда»!

Навсегда на Колыме, «навечно» в Караганде, навсегда запрещен въезд в Москву.

Эта вечность оказалась ограниченной двенадцатью годами, до Двадцатого съезда, но как долго тянулись эти двенадцать лет!

<...>

Возвращение

Итак, в начале июля 1946 года я выехала с Колымы.

Ехали мы целый месяц: 6 дней пароходом, 19 дней поездом, да еще ждали 5 дней в порту Находка, пока сформируют эшелон.

Я жадно глядела на людей, которые были эти годы «по эту сторону», пережили войну и не знали лагерей. Люди были огрубелые, измученные. Удивило, что в очереди за кипятком женщины, поругавшись, кричали: «Ты человек или милиционер?»

В наше время (до 1936 года) милиционером не ругались, тогда было «моя милиция меня бережет».

Один раз на перроне ко мне подошел человек, махнул рукой по направлению к востоку и сказал:

— Оттуда? — и протянул мне пачку чая. — Возьмите, пожалуйста, возьмите. Разве мы не знаем, сколько зазря маялись?

Человек был в старой военной гимнастерке. С виду рабочий лет сорока.

Я телеграфировала домой со всех остановок, где был телеграф, но меня не встретили. В последний день, где-то около Ряжска, нас загнали в тупик, и мы простояли 18 часов. Потом повезли по Окружной дороге к Рижскому вокзалу, и утром 6 августа мы подъехали к Москве.

Никого не встречали. (Для того нас и кружили.)

Я была так растеряна, что не знала, как доехать до дому (а до дому шел трамвай № 25). Какой-то мужчина взялся меня доставить до дому за 200 рублей и доставил за полчаса на трамвае.

Я вошла в свою квартиру. В квартире была одна старушка родственница. Мать с отцом и дети были на даче, сестра и брат двое суток встречали меня на вокзале и уехали передохнуть.

Через пятнадцать минут за мной приехала жена брата, а еще через час собрались все родные, и все удивлялись, что я не седая старуха, не истеричка, не плачу, не кричу, а разговариваю, как все.

Сестра рассказывала, что они с братом встречали много поездов и подходили ко всем старушкам, им казалось, что это я (а мне было 44 года). Я сбросила лагерное платье, жена брата дала мне свой синий английский костюм и желтую вязаную кофточку. Тогда я только была рада, что прилично оделась, но потом оказалось, что костюм мой выбран необыкновенно удачно.

Мы поехали на дачу. Дети встречали все поезда уже третий день. Сестра сказала мне, что дочь одета в голубое платье, а сын в желтую рубашку. Поезд подходил к станции Соколовская. Я глядела во все глаза. На платформе было много людей, но я не находила своих ребят. Вдали бегали какие-то мальчик и девочка, но я не могла понять, мои это или нет. Когда поезд остановился, на меня налетела высокая девочка, почти девушка (ей было пятнадцать лет) и каким-то неестественным голосом закричала:

— Мама! Мама? Мама!

Сестра сказала:

— Шурик, что же ты?

И подошел парень, высокий, нескладный, с ломающимся голосом. И у парня были глаза не то мои, не то моего мужа. И еще губы он поджал, как отец, когда волновался...

Мы вошли в калитку нашего сада. На террасе сидела в кресле мама, а сзади стояла старшая сестра — врач, со шприцем наготове (боялась, что у матери не выдержит сердце).

Больше всех изменилась мама. Из крепкой шестидесятилетней женщины, которая могла перестирать сто штук белья и натереть полы не хуже полотера, она превратилась в древнюю старуху, не встающую с кресла.

— Ты, ты, — сказала мама, и слезы покатались у нее из глаз. — Господи, дожила! Дожила! Ты, ты!

Я подбежала, встала на колени, уткнулась головой в ее грудь, в ее руки, вдыхала ее запах.

– Мама!

А она боялась нарушить счастье встречи сердечным припадком, прижимала руки к сердцу, беззвучно плакала и говорила:

– Дожила, дожила.

Отец был в санатории в Болшеве. Он ослеп на один глаз, а на другом глазу созревала катаракта. Перед операцией снятия катаракты его решили подлечить. Назавтра я с детьми поехала в санаторий. Я с сыном села на скамейку в саду, а дочку мы послали за бабушкой, чтобы она его подготовила. Через несколько минут показалась высокая фигура отца. Он почти бежал, вытянув руки, как слепой, и кричал:

– Где, где?

Эллочка шла за ним и растерянно говорила:

– Тише, бабушка, ты же обещал мне не волноваться!

Я подбежала к нему, подхватила его, мы оба плакали. Люди говорили:

– Наверно, дочка с фронта пришла.

Вечером за столом я спросила:

– Правда ли, что Сталин очень болен?

Никто не знал, а сын ответил очень многозначительно:

– Я не знаю, болен ли он, но если бы он был болен, и нужно было бы отдать ему свою кровь и умереть, я это сделал бы.

Я поняла, что это мне урок и предупреждение, и замолчала. Еще помню слова сына. Я рассказывала, что в нашем эшелоне стоял у дверей теплушки парень в пиджаке, накинутом на плечи. Как-то этот пиджак слетел, и парень прыгнул за ним, так и отстал от поезда. Сын заметил:

– Наверное, в кармане был комсомольский билет. Я тоже прыгнул бы.

В другой раз я его спросила:

– Шурик, ты помнил меня, папу, нашу прежнюю жизнь? Ты вспоминал нас?

Он ответил резко:

– Нет, я ничего не помню, не вспоминал никогда.

А потом, недели через две:

– Мама, ты нарочно надела синюю юбку и желтую кофточку?

– Почему ты так думаешь?

– Так ведь ты ушла в синей юбке и желтой кофточке, и я был уверен, откроется дверь, и ты войдешь в синей юбке и желтой кофточке. Так оно и вышло.

Я только тут вспомнила, как я была одета при аресте. А он-то помнил. Знает, вспоминал.

С дочерью сложилось все очень просто. Мы спали с ней на одной кровати, она прижималась ко мне своим нежным полудетским-полудевичьим телом, я вдыхала аромат ее волос, губ, и мне казалось, что я не расставалась с ней ни на один день. Она была убеждена, что маме надо все рассказывать, и вскоре я узнала все ее пятнадцатилетние секреты, горести и радости. Это было ясное, прелестное существо, изливавшее на меня море нерастроченной нежности.

С сыном было сложнее. Я боялась рассказать ему о том, что открылось мне «по ту сторону». Вероятно, я смогла бы убедить его, что многое в стране небла-

гополучно, что его кумир — Сталин весьма далек от совершенства, но ведь ему было семнадцать лет. Если бы я ему все объяснила, и он согласился со мной, смог ли бы он аплодировать при упоминании Сталина, смог ли бы писать «письма» Сталину, говорить на политзанятиях «мудрый, гениальный», говорить, что у нас в стране справедливость.

А если бы не смог, он погиб бы!

А если бы смог, какой надлом, какое двурушничество, какая двойная жизнь! Нет. На это я не могла его обречь. И я боялась быть с ним откровенной. Но чем-то я постепенно завоевала его душу. Он внимательно присматривался ко мне. Примерно месяца через три он сказал мне:

— Мама, ты мне нравишься.

— Чем, сынок?

— Тем, что ты не похожа на тетю Соню.

Соня была наша дальняя родственница, у которой был арестован муж, когда-то очень большой человек. Соню выселили из ее квартиры в доме правительства, но почему-то не выслали из Москвы.

Она ходила по знакомым и родственникам, побиравлась, плакала, вспоминала былое величие. Шурик не выносил ее заискивающего тона, ее сенсационных сплетен, ее жалких попыток поддержать увядающую красоту губной помадой и какой-то лиловой пудрой. В свое время она бывала за границей и теперь шепотом говорила, как там хорошо, а у нас все плохо.

Сын почувствовал правильно. Даже тогда мне не казалось, что у нас все плохо. О, как любила я Москву, в которой жила как на вулкане, как любила я жизнь, в которую меня не пускали, как я ненавидела, как остро я ненавидела тех, кто изуродовал нашу прекрасную жизнь, кто заткнул рот и связал руки народу.

Я твердо знала, что, погостив две недели, я обязана уехать куда-нибудь километров за 200 — 250 от Москвы, где меня пропишут. Но кругом было так безмятежно, мы жили на даче, где не было ни одного чужого человека, казалось, никто не обращал на меня внимания.

Несколько раз я порывалась уехать. Один раз отправилась даже в город Гусь-Хрустальный, сняла там комнату и прописалась. Стала искать работу, что было нелегко. А потом мой хозяин мне сказал:

— Поезжайте-ка вы, Ольга Львовна, в Москву, если вас будут спрашивать, в тот же день получите от меня телеграмму. Тут многие так делают.

Я заплатила ему за три месяца вперед, поехала в Москву и стала жить в семье.

Мать была, как ребенок. Она плакала, когда я уезжала, и говорила:

— Зачем тебе уезжать? Никто не узнает, что ты живешь у нас. А если и узнают, скажем, что ты приехала проведать больную мать. Кто это осудит?

Я мучительно думала, что на даче было относительно безопасно, а в городе, в доме, где меня знает так много людей, начнутся разговоры, кто-нибудь догадается, что я живу без прописки, придут, схватят, в лучшем случае, я снова буду обречена на одиночество, на изгнание, на бездомность, неприкаянность. Говорят, что иногда ловят таких, без прописки, высылают в двадцать четыре часа, а при повторном нарушении могут даже отправить в лагерь. Надо бы уехать. Но куда? Как?

Сколько раз я замирала от малейшего стука или неожиданного звонка и наивно пряталась за шкаф! По ночам я клялась себе уехать, а утром опять сидела у постели умирающей матери и обещала ей:

– Не бойся, мамочка, я не уеду, я буду с тобой!

Самые горькие минуты мне доставлял горячо любимый отец, который в свои семьдесят лет не очень хорошо разбирался в современной жизни. Не раз я заставляла его на скамеечке у калитки нашего сада с каким-нибудь старичком или старушкой за увлекательной беседой, и эти его старички глядели на меня со слезами на глазах и говорили: «Страдалица, невинная, наконец-то вы вознаграждены судьбой! У вас такие чудесные дети, такие родители!»

«Папа, опять ты рассказывал обо мне! Я же умоляла тебя молчать!» — упрекала я его.

«Ты какая-то странная! Иван Матвеевич (или Марья Петровна) чудеснейшей души человек; он тебе так сочувствует, а ты его подозреваешь, что он может донести!»

После дачи мы переехали в город, в квартиру на Петровке, где я прожила шестнадцать лет. Естественно, что многие знали меня и мою горестную историю. Я старалась днем не выходить на улицу. Но отец-то мой имел и там много чудесных приятелей, и вот не раз ко мне подходили во дворе какие-то старушки и таинственно шептали: «Не бойтесь, никто на вас не заявит, живите спокойно, страдалица невинная!»

Можно себе представить, как спокойно я могла жить, но вместе с тем я не имела сил уехать от прикованной к постели матери, от ослепшего отца и (наверное, это было самым сильным) от детей, которых я никогда не любила так сильно, как в этот период взаимного узнавания, сближения, обретения.

Самое удивительное, что я прожила в Москве на Петровке три года, и на меня никто не донес, хотя о моем существовании знали десятки людей. Все эти три года я жила в непрерывном страхе.

Надо сказать, что я все чаще стала вспоминать Николая. Вначале встреча с детьми и родными полностью отключила меня от мыслей о нем. Он писал мне довольно сухие, краткие письма (он вообще не умел писать теплые письма). У меня даже было подозрение, что в его жизнь вошла другая женщина. Ведь он был еще достаточно молод (44 года), красив, обаятелен. К тому же в моем сердце жила обида за наше прощание. Простились мы несколько странно. Ждали шофера, который должен был за мной заехать. Николай играл в шахматы с товарищем. Когда пришла машина, он крикнул товарищу: «Не уходи, окончим партию». Он проводил меня, поцеловал, вернулся к шахматам. Меня больно задело такое прощание. Никак не могла забыть игру в шахматы и его равнодушие к моему отъезду. Я была обижена. Хотя он сказал: «Жди меня, я к тебе приеду», — я не придавала значения этим словам, они прозвучали просто как «До свидания». К тому же я знала, что выезд с Колымы, да еще мужчине, практически невозможен. Много позже я поняла, что поведение Николая при прощании было для него ширмой: он был слишком горд, чтобы позволить мне себя жалеть.

И вот, когда я считала наши отношения законченными, он с первого же дня начал искать все возможные пути, чтобы вырваться с Колымы. Получив отказы во всех официальных инстанциях, он написал своим друзьям (не-

которые из них занимали достаточно видные посты), но никто не смог ему помочь. Так прошло года два. Наконец ему «повезло»: он заболел гриппом, и к нему пришла молодая вольная врач, недавно присланная по распределению вместе с мужем, тоже врачом, на Колыму. Она не подозревала, что за люди, в каком количестве и в каких условиях содержатся в лагерях. Николай просветил ее. Сначала она ужаснулась и усомнилась, но не поверить Николаю было невозможно. У него был особый дар рассказывать так, что все сомнения пропадали. Она попала под его влияние, стала часто приходить к нему, они подружились.

Когда все попытки получить разрешение на выезд с Колымы окончились неудачей, Николай узнал, что его приятельница-врач формирует группу туберкулезников для отправки на материк. Он стал уговаривать ее включить его в эту группу. Она долго сопротивлялась, понимая, что, помимо всего прочего, он может заразиться. Но Николай сказал, что тогда он просто погибнет: он решил объявить голодовку и не выходить на работу, за что получил бы статью 58-14 (саботаж на производстве). Зная Николая, она поняла, что он обязательно так и поступит, и сдалась. Она послала на анализ чужую мокроту, и Николай был включен в партию.

Ехали они в страшной антисанитарии. На пароходе их поместили в маленькую каюту, где они спали впитык друг к другу. Посуда не мылась, а слегка полоскалась холодной водой. Естественно, что Николай заразился, хотя сильный организм далеко не сразу дал болезни проявиться.

Итак, в один прекрасный день у нас на Петровке появился Николай.

Встреча наша с ним была очень теплой.

Он очень понравился моим родителям и детям. Дочка, раскрыв рот, слушала его рассказы, а рассказчик он был замечательный.

Жить в Москве ему, как и мне, было нельзя. Один из его друзей работал директором заводика в небольшом городке в 200 км от Москвы. Николай уехал туда и устроился на работу, снял комнату. Он приезжал к нам в Москву, звал меня к себе, но я никак не могла решиться расстаться с детьми и родителями и продолжала свое нелегальное существование.

Даже мама настаивала, чтобы он забрал меня к себе, она видела, как я боюсь жить в Москве без прописки, как прячусь от каждого звонка и стука. К тому же в это время в Москве шли аресты. Говорили, что к семидесятилетию юбилею Сталина чистят Москву. Я знала кое-кого, кто, как и я, жил без прописки. Мы заметались. Некоторые срочно уехали (между прочим, это не помогло, арестовывали даже по деревням). В моем узком кругу было два случая самоубийства — покончили с собой Ольга Радович и Липа Каплан. Я поняла, что надо уезжать.

Возможность жить законно, без страха проверок, доносов, жить с Николаем, которого недавно считала потерянным навсегда, — это ведь счастье!

Мы решили уехать. На 30 августа Николай купил билеты, должен был за мной приехать.

29 августа, когда я сидела на даче у постели матери и мирно читала ей книгу, вошли двое молодых людей в хорошо сшитых коверкотовых костюмах и попросили меня следовать за ними...

Я увидела искаженное ужасом лицо матери. Она начала:

– Она не живет здесь, она навестила больную мать. Я больна, я, наверное, скоро умру... Она навестила... Она...

У мамы начался сердечный припадок. Она задыхалась, и в промежутках, когда могла вздохнуть, цеплялась за мою руку и продолжала свою бесполезную, святую ложь, продолжала защищать свое дитя.

– Она навестила... Я умираю... Отпустите ее... Она не живет с нами... Она навестила...

Я осторожно оторвала руку мамы и встала.

– Я иду с вами.

Подошел отец. Он смотрел своими полуслепыми глазами. Ему только недавно сняли катаракту, и он чуть-чуть видел. На его бедных глазах были слезы.

– Товарищи, я объясню вам, она приехала навещать мать...

Его не слушали.

– Мать больна, мать, и я вот не вижу. Она приехала навещать мать.

Больше я никогда не видела ни матери, ни отца. Вскоре после моего второго ареста они оба умерли.

– Возьмите с собой вещи, ведь вы знаете, что надо, вас не учить.

Я подошла к шкафу.

Зачем я буду брать с собой вещи? Они пригодятся детям. Ведь совершенно ясно, что я не буду жить. Второй раз пережить это? Нет. Я не взяла ничего, кроме полотенца, зубной щетки и пачки папирос. Я твердо знала, что мне надо умереть.

Но как?

<...>

Источник: Адамова-Слизберг О.Л. Путь. М.: Моск. ист.- лит. о-во «Возвращение», 1993.

Заболоцкий
Николай Алексеевич
(1903–1958)



Поэт.

Родился в Казани в семье сельского агронома. В 1920 г. по окончании реального училища в г. Уржуме переехал в Москву и одновременно поступил на филологический и медицинский факультеты университета. Через год переехал в Петроград, где поступил в Герценовский педагогический институт.

Начинал как детский писатель. Находился под влиянием В.Хлебникова и «Обериутов», однако вскоре выработал свой собственный стиль, в котором сочетались пантеистический подход к природе с примитивистскими стилистическими экспериментами: «Столбцы» (1929), «Торжество земледелия» (1933). Много занимался переводами: «Слово о полку Игореве», «Витязь в тигровой шкуре». В 1938 г. был арестован и провел в заключении в Бамлаге и Алтайлаге до 1944 г., после чего был сослан на два года в Караганду.

В 1981 г. на английском языке за рубежом вышла книга «История моего заключения», опубликованная в СССР в 1986 г.

Наиболее полным изданием является Собрание сочинений в трех томах, М.: «Художественная литература», 1983.

ИСТОРИЯ МОЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1

Это случилось в Ленинграде 19 марта 1938 г. Секретарь Ленинградского отделения Союза писателей Мирошниченко вызвал меня в Союз по срочному делу. В его кабинете сидели два не известных мне человека в гражданской одежде.

— Эти товарищи хотят говорить с вами, — сказал Мирошниченко.

Один из незнакомцев показал мне свой документ сотрудника НКВД.

— Мы должны переговорить с вами у вас на дому, — сказал он.

В ожидавшей меня машине мы приехали ко мне домой, на канал Грибоедова. Жена лежала с ангиной в моей комнате. Я объяснил ей, в чем дело. Сотрудники НКВД предъявили мне ордер на арест.

— Вот до чего мы дожили, — сказал я, обнимая жену и показывая ей ордер.

Начался обыск. Отобрали два чемодана рукописей и книг. Я попрощался с семьей. Младшей дочке было в то время 11 месяцев. Когда я целовал ее, она впервые пролепетала: «Папа!» Мы вышли и прошли коридором к выходу на лестницу. Тут жена с криком ужаса догнала нас. В дверях мы расстались.

Меня привезли в Дом предварительного заключения (ДПЗ), соединенный с так называемым Большим домом на Литейном проспекте. Обыскали, отобрали чемодан, шарф, подтяжки, воротничок, срезали металлические пуговицы с костюма, заперли в крошечную камеру. Через некоторое время велели оставить вещи в какой-то другой камере и коридорами повели на допрос.

— Начался допрос, который продолжался около четырех суток без перерыва. Вслед за первыми фразами слышались брань, крик, угрозы. Ввиду моего отказа признать за собой какие-либо преступления меня вывели из общей комнаты следователей, и с этого времени допрос велся главным образом в кабинете моего следователя Лупандина (Николая Николаевича) и его заместителя Меркурьева. Этот последний был мобилизован в помощь сотрудникам НКВД, которые в то время не справлялись с делами ввиду большого количества арестованных.

Следователи настаивали на том, чтобы я сознался в своих преступлениях против советской власти. Так как этих преступлений я за собою не знал, то понятно, что и сознаваться мне было не в чем.

— Знаешь ли ты, что говорил Горький о тех врагах, которые не сдаются? — спрашивал следователь. — Их уничтожают!

— Это не имеет ко мне отношения, — отвечал я.

Апелляция к Горькому повторялась всякий раз, когда в кабинет входил какой-либо посторонний следователь и узнавал, что допрашивают писателя.

Я протестовал против незаконного ареста, против грубого обращения, криков и брани, ссылаясь на права, которыми я, как и всякий гражданин, обладаю по советской конституции.

— Действие конституции кончается у нашего порога, — издевательски отвечал следователь.

Первые дни меня не били, стараясь разложить меня морально и измотать физически. Мне не давали пищи. Не разрешали спать. Следователи сменяли друг друга, я же неподвижно сидел на стуле перед следовательским столом — сутки за сутками. За стеной, в соседнем кабинете, по временам слышались чьи-то неистовые вопли. Ноги мои стали отекают, и на третьи сутки мне пришлось разорвать ботинки, так как я не мог более переносить боли в стопах. Сознание стало затуманиваться, и я все силы напрягал для того, чтобы отвечать разумно и не допустить какой-либо несправедливости в отношении тех людей, о которых меня спрашивали. Впрочем, допрос иногда прерывался, и мы сидели молча. Следователь что-то писал, я пытался дремать, но он тотчас будил меня.

По ходу допроса выяснялось, что НКВД пытается сколотить дело о некоей контрреволюционной писательской организации. Главой организации предполагалось сделать Н. С. Тихонова. В качестве членов должны были фигурировать писатели-ленинградцы, к этому времени уже арестованные: Бенедикт Лившиц, Елена Тагер, Георгий Куклин, кажется, Борис Корнилов, кто-то еще и, наконец, я. Усиленно допытывались сведений о Федине и Маршаке. Неоднократно шла речь о Н.М. Олейникове, Т.И. Табидзе, Д.И. Хармсе и А.И. Введенском — поэтах, с которыми я был связан старым знакомством и общими литературными интересами. В особую вину мне ставилась моя поэма «Торжество Земледелия», которая была напечатана Тихоновым в журнале «Звезда» в 1933 г. Зачитывались «изобличающие» меня «показания» Ливши-

ца и Тагер, однако прочитать их собственными глазами мне не давали. Я требовал очной ставки с Лившицем и Тагер, но ее не получил.

На четвертые сутки, в результате нервного напряжения, голода и бессонницы, я начал постепенно терять ясность рассудка. Помнится, я уже сам кричал на следователей и грозил им. Появились признаки галлюцинации: на стене и паркетном полу кабинета я видел непрерывное движение каких-то фигур. Вспоминается, как однажды я сидел перед целым синклитом следователей. Я уже нимало не боялся и презирал их. Перед моими глазами перелистывалась какая-то огромная воображаемая мной книга, и на каждой ее странице я видел все новые и новые изображения. Не обращая ни на что внимания, я разъяснял следователям содержание этих картин. Мне сейчас трудно определить мое тогдашнее состояние, но помнится, я чувствовал внутреннее облегчение и торжество свое перед этими людьми, которым не удастся сделать меня бесчестным человеком. Сознание, очевидно, еще теплилось во мне, если я запомнил это обстоятельство и помню его до сих пор.

Не знаю, сколько времени это продолжалось. Наконец меня вытолкнули в другую комнату. Оглушенный ударом сзади, я упал, стал подниматься, но последовал второй удар — в лицо. Я потерял сознание. Очнулся я, захлебываясь от воды, которую кто-то лил на меня. Меня подняли на руки, и мне показалось, начали срывать с меня одежду. Я снова потерял сознание. Едва я пришел в себя, как какие-то не известные мне парни поволокли меня по каменным коридорам тюрьмы, избивая меня и издеваясь над моей беззащитностью. Они втоптали меня в камеру с железной решетчатой дверью, уровень пола которой был ниже пола коридора, и заперли в ней. Как только я очнулся (не знаю, как скоро случилось это), первой мыслью моей было: защищаться! Защищаться, не дать убить себя этим людям или, по крайней мере, не отдать свою жизнь даром! В камере стояла тяжелая железная койка. Я подтащил ее к решетчатой двери и подпер ее спинкой дверную ручку. Чтобы ручка не соскочила со спинки, я прикрутил ее к кровати полотенцем, которое было на мне вместо шарфа. За этим занятием я был застигнут моими мучителями. Они бросились к двери, чтобы раскрутить полотенце, но я схватил стоящую в углу швабру и, пользуясь ею как пикой, оборонялся насколько мог и скоро отогнал от двери всех тюремщиков. Чтобы справиться со мной, им пришлось подтащить к двери пожарный шланг и привести его в действие. Струя воды под сильным напором ударила в меня и обожгла тело. Меня загнали этой струей в угол и после долгих усилий вломилась в камеру целой толпой. Тут меня жестоко избили, испинали сапогами, и врачи впоследствии удивлялись, как остались целы мои внутренности — настолько велики были следы истязаний.

Я очнулся от невыносимой боли в правой руке. С завернутыми назад руками я лежал прикрученный к железным перекладинам койки. Одна из перекладин врезалась в руку и нестерпимо мучила меня. Мне чудилось, что вода заливает камеру, что уровень ее поднимается все выше и выше, что через мгновение меня зальет с головой. Я кричал в отчаянии и требовал, чтобы какой-то губернатор приказал освободить меня. Это продолжалось бесконечно долго. Дальше все путается в моем сознании. Вспоминаю, что я пришел в себя на деревянных нарах. Все вокруг было мокро, одежда промокла насквозь, рядом валялся пиджак, тоже мокрый и тяжелый, как камень. Затем, как сквозь сон, помню, что

какие-то люди волокли меня под руки по двору... Когда сознание снова вернулось ко мне, я был уже в больнице для умалишенных.

Тюремная больница Института судебной психиатрии помещалась недалеко от Дома предварительного заключения. Здесь меня держали, если я не ошибаюсь, около двух недель: сначала в буйном, потом в тихом отделениях.

Состояние мое было тяжелое: я был потрясен и доведен до невменяемости, физически же измучен истязаниями, голодом и бессонницей. Но остаток сознания еще теплился во мне или возвращался ко мне по временам. Так, я хорошо запомнил, как, раздевая меня и принимая от меня одежду, волновалась медицинская сестра: у нее тряслись руки и дрожали губы. Не помню и не знаю, как лечили меня на первых порах. Помню только, что я пил по целой стопке какую-то мутную жидкость, от которой голова делалась деревянной и бесчувственной. Вначале, в припадке отчаяния, я торопился рассказать врачам обо всем, что было со мною. Но врачи лишь твердили мне: «Вы должны успокоиться, чтобы оправдать себя перед судом». Больница в эти дни была моим убежищем, а врачи если и не очень лечили, то, по крайней мере, не мучили меня. Из них я помню врача Гонтарева и женщину-врача Келчевскую (имя ее Нина, отчества не помню).

Из больных мне вспоминается умалишенный, который, изображая громкоговоритель, часто вставал в моем изголовье и трубным голосом произносил величания Сталину. Другой бегал на четвереньках, лая по-собачьи. Это были самые беспокойные люди. На других безумие накатывало лишь по временам. В обычное время они молчали, саркастически улыбаясь и жестикулируя, или неподвижно лежали на своих постелях.

Через несколько дней я стал приходить в себя и с ужасом понял, что мне предстоит скорое возвращение в дом пыток. Это случилось на одном из медицинских осмотров, когда на вопрос врача, откуда взялись черные кровоподтеки на моем теле, я ответил: «Упал и ушибся». Я заметил, как переглянулись врачи: им стало ясно, что сознание вернулось ко мне и я уже не хочу винить следователей, чтобы не ухудшить своего положения. Однако я был еще очень слаб, психически неустойчив, с трудом дышал от боли при каждом вдохе, и это обстоятельство на несколько дней отсрочило мою выписку.

Возвращаясь в тюрьму, я ожидал, что меня снова возьмут на допрос, и приготовился ко всему, лишь бы не наклеветать ни на себя, ни на других. На допрос меня, однако, не повели, но втолкнули в одну из больших камер, до отказа наполненную заключенными. Это была большая, человек на 12—15, комната, с решетчатой дверью, выходящей в тюремный коридор. Людей в ней было человек 70—80, а по временам доходило и до 100. Облака пара и специфическое тюремное зловоние неслись из нее в коридор, и я помню, как они поразили меня. Дверь с трудом закрылась за мной, и я оказался в толпе людей, стоящих вплотную друг возле друга или сидящих беспорядочными кучами по всей камере. Узнав, что новичок — писатель, соседи заявили мне, что в камере есть и другие писатели, и вскоре привели ко мне П.Н. Медведева и Д.И. Выгодского, арестованных ранее меня. Увидав меня в жалком моем положении, товарищи пристроили меня в какой-то угол. Так началась моя тюремная жизнь в прямом значении этого слова.

Большинство свободных людей отличаются от несвободных общими характеристиками для них признаками. Они достаточно уверены в себе, в той или иной

мере обладают чувством собственного достоинства, спокойно и разумно реагируют на внешние раздражения... В годы моего заключения средний человек, без всякой уважительной причины лишенный свободы, униженный, оскорбленный, напуганный и сбитый с толку той фантастической действительностью, в которую он внезапно попадал, чаще всего терял особенности, присущие ему на свободе. Как пойманный в силки заяц, он беспомощно метался в них, ломился в открытые двери, доказывая свою невинность, дрожал от страха перед ничтожными выродками, потерявшими свое человекоподобие, всех подозревал, терял веру в самых близких людей и сам обнаруживал наиболее низменные свои черты, доселе скрытые от постороннего глаза. Через несколько дней тюремной обработки черты раба явственно выступали на его облике, и ложь, возведенная на него, начинала пускать свои корни в его смятенную и дрожащую душу.

В ДПЗ, где заключенные содержались в период следствия, этот процесс духовного растрепания людей только лишь начинался. Здесь можно было наблюдать все виды отчаяния, все проявления холодной безнадежности, конвульсивного истерического веселья и цинического наплевательства на все на свете, в том числе и на собственную жизнь. Странно было видеть этих взрослых людей, то рыдающих, то падающих в обморок, то трясущихся от страха, затравленных и жалких. Мне рассказывали, что писатель Адриан Пиотровский, сидевший в камере незадолго до меня, потерял от горя всякий облик человеческий, метался по камере, царапал грудь каким-то гвоздем и устраивал по ночам постыдные вещи на глазах у всей камеры. Но рекорд в этом отношении побил, кажется, Валентин Стенич, сидевший в камере по соседству. Эстет, сноб и гурман в обычной жизни, он, по рассказам заключенных, быстро нашел со следователями общий язык и за пачку папирос подписывал любые показания. Справедливость требует сказать, что наряду с этими людьми были и другие, сохранившие ценой величайших усилий свое человеческое достоинство. Зачастую эти порядочные люди до ареста были совсем маленькими, скромными винтиками нашего общества, в то время как великие люди мира сего нередко превращались в тюрьме в жалкое подобие человека. Тюрьма выводила людей на чистую воду, только не в том смысле, как этого хотели Заковский и его начальство.

Весь этот процесс разложения человека проходил на глазах у всей камеры. Человек не мог здесь уединиться ни на миг, и даже свою нужду отправлял он в открытой уборной, находившейся тут же. Тот, кто хотел плакать, — плакал при всех, и чувство естественного стыда удесяттеряло его муки. Тот, кто хотел покончить с собою, — ночью, под одеялом, сжав зубы, осколком стекла пытался вскрыть вены на руке, но чей-либо бессонный взор быстро обнаруживал самоубийцу, и товарищи обезоруживали его. Эта жизнь на людях была добавочной пыткой, но в то же время она помогла многим перенести их невыносимые мучения.

Камера, куда я попал, была подобна огромному, вечно жужжавшему муравейнику, где люди целый день топтались друг подле друга, дышали чужими испарениями, ходили, перешагивая через лежащие тела, ссорились и мирились, плакали и смеялись. Уголовники здесь были смешаны с политическими, но в 1937—1938 гг. политических было в десять раз больше, чем уголовных, и потому в тюрьме уголовники держались робко и неуверенно. Они были нашими владыками в лагерях, в тюрьме же были едва заметны. Во главе камеры стоял вы-

борный староста по фамилии Гетман. От него зависел распорядок нашей жизни. Он сообразно тюремному стажу распределял места — где кому спать и сидеть, он распределял довольствие и наблюдал за порядком. Большая слаженность и дисциплина требовались для того, чтобы всем устроиться на ночь. Места было столько, что люди могли лечь только на бок, вплотную прижавшись друг к другу, да и то не все враз, но в две очереди. Устройство на ночь происходило по команде старосты, и это было удивительное зрелище соразмерных, точно рассчитанных движений и перемещений, выработанных многими «поколениями» заключенных, принужденных жить в одной тесно спрессованной толпе и постепенно передающих новичкам свои навыки.

Днем камера жила вялой и скучной жизнью. Каждое пустяковое житейское дело: пришить пуговицу, починить разорванное платье, сходить в уборную — выростало здесь в целую проблему. Так, для того чтобы сходить в уборную, нужно было отстоять в очереди не менее чем полчаса. Оживление в дневной распорядок вносили только завтрак, обед и ужин. В ДПЗ кормили сносно, заключенные не голодали. Другим развлечением были обыски. Обыски устраивались регулярно и носили унижительный характер. Цели своей они достигали только отчасти, так как любой заключенный знает десятки способов, как уберечь свою иголку, огрызок карандаша или самое большое свое сокровище — перочинный ножичек или лезвие от самобрейки. На допросы в течение дня заключенных почти не вызывали.

Допросы начинались ночью, когда весь многоэтажный застенок на Литейном проспекте озарялся сотнями огней и сотни сержантов, лейтенантов и капитанов госбезопасности вместе со своими подручными приступали к очередной работе. Огромный каменный двор здания, куда выходили открытые окна кабинетов, наполнялся стоном и душераздирающими воплями избиваемых людей. Вся камера вздрагивала, точно электрический ток внезапно пробегал по ней, и немой ужас снова появлялся в глазах заключенных. Часто, чтобы заглушить эти вопли, во дворе ставились тяжелые грузовики с работающими моторами. Но за треском моторов наше воображение рисовало уже нечто совершенно неопишваемое, и наше нервное возбуждение доходило до крайней степени.

От времени до времени брали на допрос того или другого заключенного. Процесс вызова был такой.

— Иванов! — кричал, подходя к решетке двери, тюремный служащий.

— Василий Петрович! — должен был ответить заключенный, называя свое имя-отчество.

— К следователю!

Заключенного выводили из камеры, обыскивали и вели коридорами в здание НКВД. На всех коридорах были устроены деревянные, наглухо закрывающиеся будки, нечто вроде шкафов или телефонных будок. Во избежание встреч с другими арестованными, которые показывались в конце коридора, заключенного обычно вталкивали в одну из таких будок, где он должен был ждать, пока встречного уведут дальше.

По временам в камеру возвращались уже допрошенные; зачастую их вталкивали в полной прострации, и они падали на наши руки; других же почти вносили, и мы потом долго ухаживали за этими несчастными, прикладывая хо-

лодные компрессы и отпаивая их водой. Впрочем, нередко бывало и так, что тюремщик приходил лишь за вещами заключенного, а сам заключенный, вызванный на допрос, в камеру уже не возвращался.

Издательство и побои испытывал в то время каждый, кто пытался вести себя на допросах не так, как это было угодно следователю, т. е., попросту говоря, всякий, кто не хотел быть клеветником.

Дав. Ис. Выгодского, честнейшего человека, талантливого писателя, старика, следователь таскал за бороду и плевал ему в лицо. Шестидесятилетнего профессора математики, моего соседа по камере, больного печенью (фамилию его не могу припомнить), следователь-садист ставил на четвереньки и целыми часами держал в таком положении, чтобы обострить болезнь и вызвать нестерпимые боли. Однажды по дороге на допрос меня по ошибке втолкнули в чужой кабинет, и я видел, как красивая молодая женщина в черном платье ударила следователя по лицу и тот схватил ее за волосы, повалил на пол и стал пинать ее сапогами. Меня тотчас же выволокли из камеры, и я слышал за спиной ее ужасные вопли.

Чем объясняли заключенные эти вопиющие извращения в следственном деле, эти бесчеловечные пытки и истязания? Большинство было убеждено в том, что их всерьез принимают за великих преступников. Рассказывали об одном несчастном, который при каждом избиении неистово кричал: «Да здравствует Сталин!» Два молодца лупили его резиновыми дубинками, завернутыми в газету, он, корчась от боли, славословил Сталина, желая этим доказать свою правоту. Тень догадки мелькала в головах наиболее здравомыслящих людей, а иные, очевидно, были недалеко от истинного понимания дела, но все они, затравленные и терроризированные, не имели смелости поделиться мыслями друг с другом, так как не без основания полагали, что в камере снуют соглашения и тайные осведомители, вольные и невольные. В моей голове созрела странная уверенность в том, что мы находимся в руках фашистов, которые под носом у нашей власти нашли способ уничтожать советских людей, действуя в самом центре советской карательной системы. Эту свою догадку я сообщил одному старому партийцу, сидевшему со мной, и с ужасом в глазах он сознался мне, что и сам думает то же, но не смеет никому заикнуться об этом. И действительно, чем иным могли мы объяснить все те ужасы, которые происходили с нами, — мы, советские люди, воспитанные в духе преданности делу социализма? Только теперь, восемнадцать лет спустя, жизнь наконец показала мне, в чем мы были правы и в чем заблуждались...

После возвращения из больницы меня оставили в покое и долгое время к следователю не вызывали. Когда же допросы возобновились, — а их было еще несколько, — никто меня больше не бил, дело ограничивалось обычными угрозами и бранью. Я стоял на своем, следствие топталось на месте. Наконец в августе месяце я был вызван «с вещами» и переведен в «Кресты».

Я помню этот жаркий день, когда, одетый в драповое пальто, со свертком белья под мышкой, я был приведен в маленькую камеру «Крестов», рассчитанную на двух заключенных. Десять голых человеческих фигур, истекающих потом и изнемогающих от жары, сидели, как индийские божки, на корточках вдоль стен по всему периметру камеры. Поздоровавшись, я разделся догола и сел между ними, одиннадцатый по счету. Вскоре подо мной на каменном полу образовалось большое влажное пятно. Так началась моя жизнь в «Крестах».

В камере стояла одна железная койка, и на ней спал старый капитан Северного флота, общепризнанный староста камеры. У него не действовали ноги, отбитые на допросе в Архангельске. Старый морской волк, привыкший смотреть в глаза смерти, теперь он был беспомощен, как ребенок.

В «Крестах» меня на допросы не водили: следствие было, очевидно, закончено. Сразу и резко ухудшилось питание, и, если бы мы не имели права прикупать продукты на собственные деньги, мы сидели бы полуголодом.

В начале октября мне было объявлено под расписку, что я приговорен Особым совещанием (т. е. без суда) к пяти годам лагерей «за троцкистскую контрреволюционную деятельность». 5 октября я сообщил об этом жене, и мне было разрешено свидание с нею: предполагалась скорая отправка на этап.

Свидание состоялось в конце месяца. Жена держалась благоразумно, хотя ее с маленькими детьми уже выслали из города и моя участь была ей известна. Я получил от нее мешок с необходимыми вещами, и мы расстались, не зная, увидимся ли еще когда-нибудь...

Этап тронулся 8 ноября, на другой день после отъезда моей семьи из Ленинграда. Везли нас в теплушках, под сильной охраной, и дня через два мы оказались в Свердловской пересыльной тюрьме, где просидели около месяца. С 5 декабря, дня советской конституции, начался наш великий сибирский этап — целая одиссея фантастических переживаний, о которой следует рассказать поподробнее.

Везли нас с такими предосторожностями, как будто мы были не обыкновенные люди, забитые, замордованные и несчастные, но какие-то сверхъестественные злодеи, способные в каждую минуту взорвать всю вселенную, дай только нам шаг ступить свободно. Наш поезд, состоящий из бесконечного ряда тюремных теплушек, представлял собой диковинное зрелище. На крышах вагонов были установлены прожектора, заливавшие светом окрестности. Тут и там на крышах и площадках торчали пулеметы, было великое множество охраны, на остановках выпускались собаки овчарки, готовые растерзать любого беглеца. В те редкие дни, когда нас выводили в баню или вели в какую-либо пересылку, нас выстраивали рядами, ставили на колени в снег, завертывали руки за спину. В таком положении мы стояли и ждали, пока не закончится процедура проверки, а вокруг смотрели на нас десятки ружейных дул, и сзади, наседавая на наши пятки, яростно выли овчарки, вырываясь из рук проводников. Шли в затылок друг другу.

— Шаг в сторону — открываю огонь! — было обычное предупреждение.

Впрочем, за весь двухмесячный путь из вагона мы выходили только в Новосибирске, Иркутске и Чите. Нечего и говорить, что посторонних людей к нам не подпускали и за версту.

Шестьдесят с лишком дней мы тащились по Сибирской магистрали, простаивая целыми сутками на запасных путях. В теплушке было, помнится, человек сорок народу. Стояла лютая зима, морозы с каждым днем все крепчали и крепчали. Посередине вагона топилась маленькая чугунная печурка, около которой сидел дневальный и смотрел за нею. Вначале мы жили на два этажа — одна половина людей помещалась внизу, а вторая — вверху, на высоких нарах, устроенных по обе стороны вагона, на уровне немного ниже человеческого роста. Но вскоре нестерпимый мороз загнал всех нижних жителей на нары, но и здесь, сбившись в кучу и согревая друг друга собственными телами, мы жесто-

ко страдали от холодов. Понемногу жизнь превратилась в чисто физиологическое существование, лишенное духовных интересов, где все заботы человека сводились лишь к тому, чтобы не умереть от голода и жажды, не замерзнуть и не быть застреленным, подобно зачумленной собаке...

В день полагалось на человека 300 граммов хлеба, дважды в день — кипяток и обед из жидкой баланды и черпачка каши. Голодным и иззябшим людям этой пищи, конечно, не хватало. Но и этот жалкий паек выдавался нерегулярно и, очевидно, не всегда по вине обслуживающих нас привилегированных уголовных заключенных. Дело в том, что снабжение всей этой громады арестованных людей, двигавшихся в то время по Сибири нескончаемыми эшелонами, представляло собой сложную хозяйственную задачу. На многих станциях из-за лютых холодов и нераспорядительности начальства невозможно было снабдить людей даже водой. Однажды мы около трех суток почти не получали воды и, встречая Новый, 1939 год где-то около Байкала, должны были лизать черные закоптелые сосульки, выросшие на стенах вагона от наших же собственных испарений. Это новогоднее пиршество мне не удастся забыть до конца жизни.

В том же вагоне я впервые столкнулся с миром уголовников, которые стали проклятием для нас, осужденных влачить свое существование рядом с ними, а зачастую и под их началом.

Уголовники — воры-рецидивисты, грабители, бандиты, убийцы со всей многочисленной свитой своих единомышленников, соучастников и подручных различных мастей и оттенков — народ особый, представляющий собой общественную категорию, сложившуюся на протяжении многих лет, выработавшую свои особые нормы жизни, свою особую мораль и даже особую эстетику. Эти люди жили по своим собственным законам, и законы их были крепче, чем законы любого государства. У них были свои вожаки, одно слово которых могло стоить жизни любому рядовому члену их касты. Все они были связаны между собой общностью своих взглядов на жизнь, и у них эти взгляды не отделялись от их житейской практики. Исконные жители тюрем и лагерей, они искренно и глубоко презирали нас — разнокалиберную, пеструю, сбитую с толку толпу случайных посетителей их захребетного мира. С их точки зрения, мы были жалкой тварью, не заслуживающей уважения и надлежащей самой беспощадной эксплуатации и смерти. И тогда, когда это зависело от них, они со спокойной совестью уничтожали нас с прямого или косвенного благословения лагерного начальства.

Я держусь того мнения, что значительная часть уголовников действительно незаурядный народ. Это действительно чем-то выдающиеся люди, способности которых по тем или иным причинам развились по преступному пути, враждебным разумным нормам человеческого общежития. Во имя своей морали почти все они были способны на необычайные, порой героические поступки; они без страха шли на смерть, ибо презрение товарищей было для них во сто раз страшнее любой смерти. Правда, в мое время наиболее крупные вожаки уголовного мира были уже уничтожены. О них ходили лишь легенды, и все уголовное население лагерей видело в этих легендах свой идеал и старалось жить по заветам своих героев. Крупных вожаков уже не было, но идеология их была жива и невредима.

Как-то само собой наш вагон распался на две части: 58-я статья поселилась на одних нарах, уголовники — на других. Обреченные на сосуществование, мы с

затаенной враждой смотрели друг на друга, и лишь по временам эта вражда прорывалась наружу. Вспыхивали яростные ссоры, готовые всякую минуту перейти в побоище. Помню, как однажды, без всякого повода с моей стороны, замахнулся на меня поленом один из наших уголовников, подверженный припадкам и каким-то молниеносным истерикам. Товарищи удержали его, и я остался невредимым. Однако атмосфера особой психической напряженности не проходила ни на миг и накладывала свой отпечаток на нашу вагонную жизнь.

От времени до времени в вагон являлось начальство с поверкой. Для того чтобы пересчитать людей, нас перегоняли на одни нары. С этих нар по особой команде мы переползали по доске на другие нары, и в это время производился счет. Как сейчас вижу эту картину: черные от копоти, заросшие бородами, мы, как обезьяны, ползем друг за другом на четвереньках по доске, освещаемые тусклым светом фонарей, а малограмотная стража держит нас под наведенными винтовками и считает, считает, путаясь в своей мудреной цифири.

Нас заедали насекомые, и две бани, устроенные нам в Иркутске и Чите, не избавили нас от этого бедствия. Обе эти бани были сущим испытанием для нас. Каждая из них была похожа на преисподнюю, наполненную дико гогочущей толпой бесов и бесенят. О мытье нечего было и думать. Счастливец чувствовал себя тот, кому удавалось спасти от уголовников свои носильные вещи. Потеря вещей обозначала собой почти верную смерть в дороге. Так оно и случилось с некоторыми несчастными: они погибли в эшелоне, не доехав до лагеря. В нашем вагоне смертных случаев не было.

Два с лишним месяца тянулся наш скорбный поезд по Сибирской магистрали. Два маленьких заледенелых оконца под потолком лишь на короткое время дня робко освещали нашу теплушку. В остальное время горел огарок свечи в фонаре, а когда не давали свечи, весь вагон погружался в непроглядный мрак. Тесно прижавшись друг к другу, мы лежали в этой первобытной тьме, внимая стуку колес и предаваясь безутешным думам о своей участи. По утрам лишь краем глаза видели мы в окно беспредельные просторы сибирских полей, бесконечную занесенную снегом тайгу, тени сел и городов, осененные столбами вертикального дыма, фантастические отвесные скалы байкальского побережья... Нас везли все дальше и дальше, на Дальний Восток, на край света...

В первых числах февраля прибыли мы в Хабаровск. Долго стояли здесь. Потом вдруг потянулись обратно, доехали до Волочаевки и повернули с магистрали к северу, по новой железнодорожной ветке. По обе стороны дороги замелькали колонны лагерей с их караульными вышками и поселки из новеньких пряничных домиков, построенных по одному образцу. Царство БАМа встречало нас, своих новых поселенцев. Поезд остановился, загрохотали засовы, и мы вышли из своих убежищ в этот новый мир, залитый солнцем, закованный в пятидесятиградусный холод, окруженный видениями тонких, уходящих в самое небо дальневосточных берез.

Так мы прибыли в город Комсомольск-на-Амуре.

<1956>

Источник: Заболоцкий Н.А. Огонь, мерцающий в сосуде.../М.: Педагогика-пресс, 1995.

Паустовский
Константин Георгиевич
(1892–1968)



Писатель.

Родился в Москве в семье железнодорожного статистика. Позже вместе с родителями переехал в Киев, где окончил гимназию и начал учиться в Киевском университете, затем перевелся в Московский университет. В годы учебы Паустовского в гимназии в альманахе «Огни» был опубликован его первый рассказ — «На воде» (1912).

Первая мировая война заставила его прервать учебу. После революции 1917 г. Паустовский работал некоторое время журналистом в Москве, затем жил в Киеве, Одессе. С 1923 г. — редактор РОСТА, в 30-е — журналист газеты «Правда» и нескольких журналов. После выхода в свет повести «Кара-Бугаз» оставил службу и полностью отдался писательскому творчеству. Паустовский вновь много путешествовал по России, Украине, Белоруссии. Особенно долго он любил жить в Мещерском краю, который вдохновил писателя на множество прекрасных, удивительно лиричных рассказов.

Основные произведения:

«Кара-Бугаз» (1932);

«Северная повесть» (1938);

«Золотая роза» (1955);

«Повесть о жизни» (1945-1963), а также большое количество рассказов («Мещерская сторона», «Телеграмма», «Дождливый рассвет», «Летние дни», «Исаак Ливитан», «Приказ по военной школе», «Молитва мадам Бове», «Корзина с еловыми шишками» и др.)

Опубликованный в 1956 г. в «Новом мире», роман В.Д. Дудинцева «Не хлебом единым» о драматической судьбе изобретателя, сталкивающегося с бюрократической системой, не смотря на вполне соцреалистическую форму произведения, вызвал бурную полемику, как в печати, так и в среде творческой интеллигенции. Приводимый текст представляет собой краткую запись выступления К.Г. Паустовского на обсуждении романа В.Д. Дудинцева в Центральном Доме Литератора. Редкая по тем временам по своей искренности и бескомпромиссности речь вызвала широкий резонанс и распространялась в Самиздате.

КРАТКАЯ ЗАПИСЬ
речи К. Паустовского
на обсуждении романа Дудинцева
«Не хлебом единым»

Я не собираюсь говорить о литературных достоинствах и недостатках, но я считаю, что пора полным голосом говорить без обиняков.

Товарищи! Для меня Дудинцев — явление весьма значительное, крупное. Роман Дудинцева — это первое сражение с Дроздовыми (Дроздов — один из героев романа, директор комбината, противостоящий главному герою — изобретателю Лопаткину. М.Б.), на которых наша литература должна накинуться, пока они не будут уничтожены в нашей стране. Поэтому меня смущали слова, в которых я уловил оттенок, что это не так страшно, потому что это будто бы прошлый день, и сейчас остались остатки Дроздовых. Ничего подобного! Дроздовых тысячи и сейчас. Я хочу сказать об этом. Меня радует одно обстоятельство: те самые люди, которые в какой-то мере солидаризируются с Дроздовыми, не нашли возможным здесь присутствовать. Меня это в известной мере радует. Совесть писателя должна быть в полной мере совестью народа. Дудинцев вызвал огромную тревогу, которая существует в каждом из нас. Тревогу за моральный облик человека, за его чистоту, за нашу культуру.

Книга Дудинцева — это беспощадная правда, которая единственно нужна народу на его трудном пути к новому общественному строю. Книга Дудинцева — это очень серьезное предупреждение: Дроздовы не уменьшились, они существуют.

Сравнительно недавно мне довелось быть среди Дроздовых довольно длительное время и очень много с ними встречаться. Это было на теплоходе «Победа». Половина пассажиров — интеллигенция, художники, рабочие, актеры. Это один слой, который занимал 2-й и 3-й классы. Каюты «люкс» и 1-й класс занимал другой слой — заместители министров, крупные хозяйственники и прочие номенклатурные работники. С ними у нас ничего общего не было и не могло быть, потому что по мнению 2-го и 3-го классов Дроздовы, занимавшие половину теплохода, были не только невыносимы своей спесью, своим абсолютным равнодушием, даже своей враждебностью ко всему, очевидно, кроме своего положения и собственного чванства.

Кроме того, они поражали своим диким невежеством. Пускать таких людей за пределы нашей родины, по-моему, преступление (аплодисменты), потому что у них — Дроздовых — очевидно, совершенно различные понятия о престиже страны и советского человека. Достаточно таких весьма классических вопросов, которые задавали эти люди проводникам, гидам, переводчикам. Приведу только два примера, и это будет достаточно. Один из Дроздовых, занимавший очень большой пост в прошлом, спросил про картину Рафаэля: «Что это нарисовано? Суд над Муссолини?». Я слышал такой вопрос в Акрополе: «Как пролетариат мог допустить разрушение Акрополя?».

Кроме того, все что есть хорошего на Западе, подлежит осуждению. Например, когда мой сосед, ленинградский писатель, сказал: «Какое море по цвету замечательное!», один из Дроздовых, который стоял рядом, заметил: «А у нас что, море хуже по цвету? Надо будет проверить этого товарища!». Это мелочь,

но в данном случае достаточная, чтобы мы видели лицо Дроздовых. Я говорю о тревоге, которая пронизывает каждого из нас, которая пронизывает Дудинцева. Где корни этой тревоги? Почему так встревожен Дудинцев, безусловно человек большого мужества, большой совести?

Дело в том, что в нашей стране безнаказанно существует, даже, в некоторой степени, процветает новая каста обывателей. Это новое племя хищников и собственников, не имеющих ничего общего ни с революцией, ни с нашей страной, ни с социализмом. Эти циники и мракобесы, не боясь и не стесняясь никого, на той же «Победе» вели совершенно погромные антисемитские речи. Таких Дроздовых тысячи, и не надо закрывать глаза.

Но важнейшая заслуга Дудинцева, который ударил по самому главному, в том, что он пишет о самом страшном явлении в нашем обществе. И на это ни в коем случае нельзя закрывать глаза, если мы не хотим, чтобы Дроздовы затопили всю нашу страну. Откуда это взялось? Откуда эти разговоры о низкопоклонстве? Откуда эти рвачи и предатели, считающие себя в праве говорить от имени народа, который они в сущности презирают и ненавидят, но продолжают говорить от его имени. Они не знают мнения народа, но они — любой из Дроздовых — могут совершенно свободно выйти на трибуну и сказать, что и как думает народ. Вы извините, что я говорю слишком резко, но я считаю, что тут не может быть никаких полунамеков, потому что это слишком грустно и слишком опасно.

Откуда они явились?

Это — последствия культа личности, причем этот термин я считаю деликатным. Это темная опара, на которой взошли эти люди, начиная с 1937 года. Обстановка приучила их смотреть на народ, как на навоз. Они дожили до наших дней, как это ни странно на первый взгляд. Они воспитывались на потворстве самым низким инстинктам, их оружие клевета, интрига, моральное убийство и просто убийство. И если бы не было Дроздовых, то в нашей стране были бы такие великие талантливые люди как Мейерхольд, Бабель, Артем Веселый, многие, многие другие. Их уничтожили Дроздовы. Тут надо вскрыть всю глубину причин, почему эти люди были уничтожены во имя собственного вонючего благополучия этих Дроздовых. Мы не можем себе представить, почему такая бездна талантливых и прекрасных людей исчезла, а если бы не исчезла, а если бы они существовали, у нас бы был полнейший расцвет культуры.

Источник: самиздатская рукопись.

СТЕНОГРАММА ОБЩЕМОСКОВСКОГО СОБРАНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ

31 октября 1958 года
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЕТ С.С. СМИРНОВ

С. Смирнов:

Товарищи, общее собрание писателей Москвы, посвященное обсуждению решения объединенного заседания Президиума Правления СП СССР, Бюро Оргкомитета СП РСФСР и Президиума МО СП РСФСР о поведении Б. Пастернака, объявляю открытым.

Если не будет возражений, есть предложение, чтобы Президиум сегодняшнего собрания избрать в составе членов Президиума Правления МО, членов Бюро Оргкомитета и членов Секретариата СП СССР. Нет возражений против этого? (Принимается). Тогда прошу членов Президиума занять места.

В нескольких словах хочу коснуться истории вопроса. Дело в том, что группа московских писателей, возмущенная поведением Б. Пастернака, составила письмо, которое предполагалось опубликовать в газете и которое подписало большое число московских писателей. Я оглашу фамилии, которые стоят под этим письмом. (Оглашает список).

Как видите, здесь не только московские писатели, но и те, которые в этот период находились в Москве. Это письмо должно быть опубликовано в печати, но возникла мысль: почему письмо подписано только группой московских литераторов, разве Московская организация в целом не хочет выразить свое мнение по поводу того, что произошло в нашей среде? И было решено созвать это совещание, чтобы прозвучал голос всего коллектива московских писателей.

Нам, московской организации, нельзя пройти спокойно мимо этого тяжелого факта предательства, которое произошло в нашей среде.

Теперь несколько слов по существу дела.

Мы все знаем Б. Пастернака — некоторые лично, некоторые понаслышке. И я был бы неправ, если бы сказал, что Б. Пастернак — это тот поэт, которого знал и знает наш советский народ. Нет поэта более далекого от народа, чем Б. Пастернак, поэта более эстетствующего, в творчестве которого так звучало бы сохранившееся в первозданной чистоте дореволюционное декадентство. Все поэтическое творчество Б. Пастернака лежало вне настоящих традиций русской поэзии, которая всегда горячо откликалась на все события в жизни своего народа.

Узкий круг читателей был уделом поэта и узкий круг друзей и почитателей, окружавший его в нашей литературе. И этот узкий круг друзей — почитателей Пастернака постепенно создавал ему какой-то ореол, и приобрела весьма широкое хождение в нашей среде легенда о Пастернаке.

Легенда о поэте, который является совершенно аполитичным, таким ребенком, в политике ничего не понимающим, запершимся в своем замке «чистого искусства» и создающим там свои талантливые произведения. Говорили, что это человек глубоко аполитичный, но вполне лояльный с Советской властью,

даже пытавшийся что-то отразить в своем творчестве из борьбы своего народа, хотя эти попытки — это ничтожная часть его творчества. Наконец, они говорили, что это глубоко порядочный человек, это старый интеллигент с его особой, исключительной порядочностью.

Это была среда, узкий круг, окружавший Пастернака с оханиями и аханиями по поводу его таланта и величия в литературе. Нечего греха таить, что были такие люди из друзей Пастернака, которые заявляли на заседаниях, что, когда произносят имя Пастернака — надо вставать.

И вот эта легенда получила распространение не только в кругу друзей Пастернака. Эта легенда сейчас разоблачена и похоронена произведением и поведением Пастернака. Я имею в виду историю с романом «Доктор Живаго». Этот роман, над которым много лет работал Пастернак, и который, как он сам заявляет, является главным трудом его жизни, был им написан и сдан в редакцию «Нового мира». Как мне известно, товарищи, ознакомившись с этой рукописью, были поражены. Они, наверно, были поражены тем, что — аполитичный, ребенок в политике — Пастернак создал произведение остро политическое, все насквозь пронизанное политическим мотивом. Они не были удивлены художественной стороной этого произведения — это была весьма средняя проза, это произведение отнюдь не было каким-то значительным с точки зрения художественной, но вся идея, вся система философии этой вещи глубоко поразила товарищей из «Нового мира», которые считали Пастернака своим товарищем, советским писателем, советским гражданином. Философия, вся система поведения людей не имела ничего общего с нашим советским образом мышления.

Я не буду пересказывать письма редколлегии «Нового мира», которое было опубликовано в «Литературной газете» и которое в очень (я бы даже сказал) смягченной, исключительно вежливой и даже бережной форме говорило о недостатках всего замысла, всей философии романа.

Мне хочется только кое-что добавить от себя. Я прочитал роман «Доктор Живаго» от первой до последней страницы, и мне хочется поделиться эмоционально своим собственным восприятием этого романа.

Читателю вообще не трудно обнаружить, кто является любимым героем автора, через каких героев писатель высказывает свои сокровенные, главные мысли, но особенно трудно обмануть нас — читателей искушенных. И мы сразу видим — где люди, служащие рупором автора. Я смело могу утверждать, что именно в образе доктора Живаго Пастернак сконцентрировал свою собственную философию. Я осмелюсь утверждать, что между доктором Живаго и Пастернаком можно поставить знак равенства. Об этом говорит вся философия Живаго, как она подносится, и говорит образ жизни существования Пастернака в нашей стране и в нашей литературе.

Какова же философия этого романа, как я воспринял этот роман?

Здесь сидят многие из вас, кто пережил, кто участвовал в Великой Октябрьской социалистической революции, в гражданской войне, в последующем строительстве, которое развернулось у нас. Здесь сидят люди моего поколения, мои товарищи по Отечественной войне, солдаты Отечественной войны. Все мы — участники 40-летней истории нашего государства, истории величественной, которой мы по праву гордимся, истории, рамки которой когда-то в 1917 г. были

ограничены; можно сказать, ячейка нашего будущего общества была тогда ограничена стенами Смольного. Но мы увидели, как за 40 лет эти рамки, эти стены раздвинулись на восток и на запад. И мы знаем, что вся эта история была бы невозможна без Великой Октябрьской революции. И вы поймете чувство оскорбления, чувство настоящего гнева, с каким мне пришлось закрыть эту книгу на последней странице!

Эта книга, где любимые герои автора называют революцию и гражданскую войну, все великие события, которые происходят в их время, мировыми дрязгами, которые марксизм, идеями которого мы живем, они пытаются опровергнуть как науку, когда основной принцип нашей жизни — коллективизм — назван презрительным словом «стадность». По мнению автора, эта стадность делает человека ординарным, принижает его. Мы не раз слышали эту философию от наших врагов, и это словечко «стадность» нам повторяют самые ненавидистые наши враги.

Роман, где вся система образов подобрана так, что все мало-мальски светлое, освещенное интеллектом гибнет, задавленное, растоптанное силами революции, и остаются только люди тупые, низкие, алчные, жестокие. Вся система образов этого романа подобрана именно так. Роман, где вся борьба народа в годы революции и гражданской войны за светлые идеи Октябрьской революции представлена только как цепь жестокостей, казней, интриг вождей. Цепь несправедливостей — вот как все это изображено. Я был оскорблен не только как советский человек, я был оскорблен и как русский человек, потому что ни одного светлого образа из среды русского народа не преподнес Пастернак в своем романе. Все эти образы страшные, жестокие, и у читателя остается чувство оскорбления национального достоинства.

Я был оскорблен и как интеллигент, и как человек, потому что вся философия этого романа, прикрытая маской христолоубия и гуманизма, насквозь антигуманистична. Все в жизни людей, их исторические судьбы — все это, по мнению доктора Живаго, который, повторяю, я глубоко убежден, в очень большой степени, если не целиком, исповедует идеи Пастернака, — все это ничто перед интеллектом талантливого одиночки. Только этот интеллект создает ценности, только он смотрит сверху на всю эту борьбу, не участвуя в ней, уходя от нее. Только он судит с высоты своего интеллекта все, что происходит.

Вы, очевидно, помните — это было приведено в «Литературной газете», — когда доктор Живаго говорит о своих друзьях, что все вы имеете ценность только потому, что вы жили в одно время со мной, только потому, что вы меня знали.

Я, наконец, был оскорблен этим романом, как солдат Отечественной войны, как человек, которому приходилось на войне плакать над могилами погибших товарищей, как человек, которому приходится сейчас писать о героях войны, о героях Брестской крепости, о других замечательных героях войны, которые раскрыли героизм нашего народа с удивительной силой.

Я был оскорблен потому, что и главные и любые герои этого романа прямо и беззастенчиво проповедуют философию предательства. Черным по белому проходит в романе мысль о том, что предательство вполне естественно, что талантливый интеллигент-одиночка может перейти в любой лагерь.

Вероятно, всех нас, бывших на войне, прошедших весь наш путь, оскорби-

ла сцена, когда доктор Живаго находится у партизан и когда он волей обстоятельств начинает стрелять в приближающихся белых, которым он сочувствует. Это страшная сцена, сцена оскорбляющая.

Но этой сценой не ограничивается в романе эта философия предательства. Например, одна из главных героинь этого романа прямо говорит, что когда приходили белые, то о ней заботился командующий белыми войсками, и она заявляет, что быть в одном лагере с красными могут только ординарные люди, только ординарные люди могут быть по одну сторону баррикад, исповедовать что-то определенное.

Таким образом, товарищи, роман «Доктор Живаго», по моему глубокому убеждению, является апологией предательства.

Я помню, когда мы говорили об этом на Президиуме, у одного товарища прозвучало сравнение доктора Живаго с Климом Самгиным. Кошунственным звучит само сравнение с Горьким. Но уж если говорить об этом, то надо сказать, что Горький разоблачает Клима Самгина, разоблачает предательство, а здесь предатель возведен в сан героя и предательство воспевается как человеческая доблесть.

Естественно, что так же, как роман является актом предательства всех наших людей, всего светлого, под знаменем чего Пастернак прожил 40 лет в нашей стране, так естественно, что и все последующее поведение Пастернака было цепью предательств.

Товарищи из редакции «Нового мира», встревоженные романом, смущенные, непонимающие, желающие считать, что Пастернак был введен самим собой в чудовищное заблуждение, что это какое-то наваждение, говорили прямо о той пропасти, которую открывает этот роман. Они, наконец, передали ему письмо, которое вы читали в «Литературной газете». И вот, товарищи, вместо того, чтобы прислушаться к этим настойчивым, серьезным, дружелюбным и даже излишне бережным, как я убедился в этом после того, как прочитал роман, предупреждениям, вместо того, чтобы сделать это, Борис Пастернак продает свою рукопись за рубеж. Уже этот поступок ставит, по существу, Бориса Пастернака вне наших рядов, вне рядов советских писателей. Он передал эту рукопись итальянскому издателю Фельтринелли, который является ренегатом, перебежчиком из лагеря прогресса в лагерь врага, а вы знаете, что нет врага хуже ренегата и что ренегат особенно сильно ненавидит то, чему он изменил.

Вы можете критиковать нас, руководство Московского отделения, вы можете высказать нам свою претензию, почему сразу после того, как Пастернак отправил эту рукопись за рубеж, совершил антипатриотический поступок, недостойный чести и совести советского писателя, — почему Пастернак не был исключен из наших рядов. Вы будете правы, поскольку наши надежды на порядочность, на честь и совесть советского писателя, которые должны были быть у Пастернака, — эти надежды наши оказались исчерпанными. Но вместе с тем мы не можем не говорить о том, что это показатель, может быть, излишней бережности к товарищу, который ошибается. Мы тоже до некоторой степени разделяли легенду о порядочности Пастернака, и мы считали, что он одумается, что он увидит наконец все, что он написал, в том свете, как это предстает перед читателем, что он ужаснется этому и сделает из этого вывод — заберет свою рукопись, спрячет этот роман. До последнего момента мы думали, что Пастер-

нак одумается. Ему дали слишком много времени и возможность — для того, чтобы одуматься.

Но все это время Б. Пастернак вел нечестную игру, которая затеяна врагами. Он ждал выхода романа за рубежом. И наконец роман вышел за рубежом. Вы знаете, какая это была находка для зарубежной реакции, для наших врагов. Вокруг этого романа началась бешеная свистопляска. Пастернака начали объявлять самым талантливым писателем и поэтом, а до этого времени его стихи, по существу, не знали. Но даже буржуазная критика сейчас уже начала говорить о художественной слабости романа, которую невозможно было не видеть. И буржуазная критика прямо писала, что этот роман не является явлением русской прозы, что в нем очень много художественных слабостей, и говорила прямо, что весь шум, поднятый вокруг этого романа, — этот шум имеет политическую основу, потому что наши враги для себя в это время делали соответствующие выводы. Первое время не было еще речи о Нобелевской премии, пока не последовало давления из-за океана, только после этого вопрос о Нобелевской премии Пастернаку встал на очередь.

И Пастернак в силу своих личных особенностей оказался абсолютно неспособным понять положение, в котором он оказался. Но среди нас была легенда о поэте Пастернаке, потому и терпели и думали, что в последний момент найдутся у Пастернака остатки чести и совести писателя и советского гражданина, которые заставят его действовать правильно.

Я хочу несколько слов сказать о мужестве [...] которые проявил во всем этом деле глава нашей писательской организации, председатель ее К.А. Федин, он, которого все сидящие в зале глубоко уважают, сделал все для того, чтобы спасти Пастернака, для того, чтобы разъяснить ему всю опасность его положения.

К.А. Федин при присуждении премии Пастернаку пошел к нему и в дружеском разговоре и во имя дружеских прежних отношений он сказал, что — пойми, идет речь не о литературе, тут чистая политика. Ты оказался пешкой в игре политических интриганов, и что ты стоишь перед последним рубежом, переступив который, ты порвешь связи с русской литературой и русским народом.

Это была долгая беседа, в которой Пастернак начал спорить, но в конце концов он сказал, что подумает и посоветуется. И если он что-нибудь надумает, то придет к нему. Он не пришел к Федину. Премия ему была присуждена, и вслед за тем в адрес Нобелевского комитета, как мы знаем из иностранных источников, была послана Пастернаком следующая телеграмма (в адрес Шведской Академии): «Бесконечно признателен. Тронут. Удивлен. Сконфужен. Пастернак». (Шум в зале, движение. Возглас: Позор!)

Одновременно Пастернак принял западных корреспондентов и сказал, что счастлив и что хотел бы поехать в Стокгольм получить премию.

После этого этот человек, который был всегда внутренним эмигрантом, окончательно разоблачил себя как врага своего народа и литературы. Этот акт поставил окончательно точку политического и морального падения Пастернака. Этот акт завершил круто его предательские действия.

Нельзя не упомянуть, что, в отличие от других, Нобелевские премии по литературе все чаще идут из политических соображений, ничего не имеющих общего с литературой.

Я вам напомню, что они ухитрились не заметить Толстого, Горького, Маяковского, Шолохова, но зато заметили Бунина. И только тогда, когда он стал эмигрантом, и только потому, что он стал эмигрантом и врагом советского народа.

Премия по литературе была присуждена такому врагу советского народа, как В. Черчилль. Премия Нобеля была присуждена фашиствующему французскому писателю Камю, который во Франции очень мало известен, а морально представляет личность, рядом с которой никогда не сядет ни один порядочный писатель. Это Камю прислал дружескую телеграмму Б. Пастернаку. Конечно, этот факт окончательно расценен в глазах народа и показал, что все наши надежды на то, что у Пастернака осталось хоть сколько-нибудь чести и совести, оказались тщетными.

Естественно, вся советская литературная общественность реагировала на действия Пастернака, а он унижительно принял премию, данную ему как политическому врагу нашего государства. Были опубликованы материалы, поступили многочисленные письма и идут они от возмущенной советской общественности действиями Пастернака.

В субботу приходили к нам в Союз писателей студенты и приклеили к воротам здания плакаты. На объединенном Президиуме Правления Союза писателей, Оргкомитета и Московского отделения были обсуждены поступки Пастернака. Писатели из разных городов и республик с большим единодушием выражали свое гневное отношение к поведению Пастернака.

На этом объединенном заседании Пастернака не было. Пастернака приглашали на это заседание, послали повестку, но он не пришел и вместо этого прислал в адрес собрания письмо, которое я оглашу. (Зачитывает письмо. В зале шум).

Но, товарищи, я думаю, всем вам ясно, что это письмо показывает, что Борис Пастернак ничего не понял и ничему не научился. Мне хочется, просто потому, что товарищи наспех слушали это письмо, прокомментировать некоторые места этого письма.

Может быть, оставим на совести Пастернака, что ему стало плохо и поэтому он не смог приехать, хотя прием иностранных корреспондентов оказался вполне допустимым и полезным для его здоровья!

Он считает, что можно быть советским человеком и писать книги, подобные «Доктору Живаго»! Он хочет применить этот чисто территориальный признак, но я думаю, товарищи, совершенно ясно, что советского писателя мы не определяем только по территориальному признаку. Вы понимаете, что порой под советского человека маскируются враги, засылаемые к нам из других государств!

Он пишет, что: «Я не ожидаю, чтобы правда восторжествовала и чтобы была соблюдена справедливость». Я невольно подумал о том, как он пишет о стадности, и, конечно, он считает нас с вами стадом, неспособным подняться до высоты его интеллекта.

Что же касается того, что он ждал (я не вникаю в сущность событий) — ждал цензурованного издания, чтобы оно послужило основой для иностранного перевода. Но, товарищи, это просто фокус! Он, конечно, понимал, что ренегат Фельтринелли никогда это издание не выпустит и напечатает с особым удовлетворением эти антисоветские места, и только это даст возможность за рубежом говорить, что вот — Пастернака заставили эти места срезать! Это, конеч-

но, была провокационная идея. И когда он, «делая голубые глаза», говорил, что почему нельзя было выпустить некоторые неприемлемые места и три года тому назад этот роман напечатать, то, товарищи, вы понимаете хорошо, что это сделать было невозможно, это потребовало бы очень большой работы и большого времени, потому что вся система романа была такая. Я оставлю на его совести вопрос о самомнении. Его телеграмма подтверждает только старую русскую пословицу, что «уничуждение паче гордости».

Мне хочется остановиться на п. 7 его письма, где он говорит по поводу того, что Нобелевскую премию он может перевести в Комитет Защиты Мира. Но, товарищи, я думаю, что каждый почувствовал этот страшный торгашеский тон. Он пытается откупиться от грозящих ему неприятностей суммой денег. Он не понимает, что только предатель может мерить цену предательства в золоте, а для порядочных людей цена предательства измеряется только моральной категорией.

Этот человек, который отказывался подписать Стокгольмское воззвание (спросите у Андроникова, сколько часов он потратил, чтобы убедить Пастернака подписать воззвание), этот человек предлагает сейчас передать в Комитет Защиты Мира деньги, полученные ценой предательства. Это — цинизм, это — оскорбление!

Он пытается здесь намекнуть, что мы уже реабилитировали некоторых, реабилитируете и меня! Я думаю, что по этому поводу нечего говорить, что это недостойное совершенно сопоставление и не может быть и мыслимо ни у кого такого сопоставления, которое делает Пастернак! Одним словом, это письмо, товарищи, еще раз показало нам, что из себя представляет Пастернак, окончательно помогло всем нам выяснить его лицо.

Решение Президиума объединенного заседания было единодушным, и, как вы знаете, Пастернак был лишен звания советского литератора и исключен из Союза писателей. Зная мнение многих моих товарищей по Московскому отделению, слыша многие возмущенные разговоры людей, которых до глубины души возмутил этот поступок Пастернака, я не сомневаюсь, что и сегодня наше мнение о поведении Пастернака, вероятно, будет единодушным. Но мне кажется, что наряду с осуждением этого поведения, этого позорного поступка, мы должны говорить и о чем-то другом. Мне кажется, что этот тяжелый урок многому нас учит. Во-первых, он разбивает вдребезги какие-либо разговоры о возможности аполитичной литературы. Когда решаются судьбы народов мира и происходят огромные политические события, когда подытоживается жизнь человечества и решается вопрос, по какому пути идти, в наше время не может быть литературы, отгороженной от политики, никаких разговоров о чистом искусстве не может быть.

Есть только две стороны у баррикады, как правильно сказал на нашем заседании П. Нилин, — никакой третьей стороны быть не может. И всякая попытка сесть между двух стульев неизбежно приводит к тому, что можно сесть на стул врага и часто частичка «а» в слове «аполитичный» переходит в частичку «анти». Об этом стоит подумать кое-кому из друзей Пастернака, защитников в той или иной степени позиции чистого искусства.

И во-вторых, мы должны прямо в лицо себе сказать, что мы допускали сами, чтобы вокруг Пастернака курили фимиам, делали из него божка, допускали положение, что при имени Пастернака надо вставать. И вот к чему это привело! Мы должны уяснить себе весь вред такого рода восхвалений, совершенно безу-

держных. Эти люди, которые курили фимиам вокруг Пастернака, все больше кружили ему голову.

(С места: Кто курил фимиам? Зачем скрывать здесь имена?)

Мы говорим об этом не для расправы, не для того, чтобы наказывать этих людей. Здесь большие принципиальные выводы надо сделать, и здесь должен произойти какой-то очистительный разговор, и тем, кто курил этот фимиам, надо собрать свое мужество и совесть, чтобы выйти на эту трибуну и сказать, что: я был из тех, кто кружил голову Пастернаку и подсаживал его на пьедестал. Вероятно, найдутся такие люди! (С места: Так и получается, что все время гладим по голове...) Я уже сказал, что все это послужит тяжелым уроком для нас, и сегодня нам надо провести очистительный разговор по этому поводу.

Об этом надо говорить еще и потому, что этот урок должен сплотить нас. Эта подлость в наших рядах должна показать нам, как ничтожна мелкая групповая борьба, которая имеет место еще у нас, борьба мелких честолюбий, литературного тщеславия, которая во многом портит нашу литературную атмосферу перед лицом больших задач, которые стоят перед литературой. Об этом мы также должны говорить сегодня.

Меня не очень сильно волнует во всем этом деле судьба самого Пастернака. Я, когда закрыл эту книгу, как-то невольно согласился со словами т. Семичастного, сказанными им на Пленуме ЦК комсомола. Может быть, это были несколько грубоватые слова и сравнения со свинством, но, по существу, это действительно так. Ведь 40 лет среди нас жил и кормился человек, который являлся нашим замаскированным врагом, носившим в себе ненависть и злобу. Так же, как доктор Живаго, он боялся открыто перебежать на сторону врага.

Мне особенно понравилась та вторая часть выступления т. Семичастного в его выступлении на Пленуме, когда он говорил о том, что мало превратить Пастернака из эмигранта внутреннего в эмигранта полноценного. Мне также кажется, что пусть он и фактически будет находиться в антисоветском лагере, пусть продолжает получать премии. Достаточно у нас было перебежчиков, достаточно пустолаек, лающих на нас. Но, как говорит одна восточная пословица: «Собака лает, а караван будет идти»...

Я вспоминаю, как норвежский народ казнил писателя Кнута Гамсуна, который перешел на сторону немцев в годы немецкой оккупации, когда в отгороженный забором его дом летели его сочинения! Народ показывал ему, что не желает держать в руках его книги.

Мне кажется, что достоин такой гражданской казни и Б. Пастернак, и кажется, что нам следует обратиться к правительству с просьбой лишить Пастернака советского гражданства! (Аплодисменты). И открыть ему дорогу в тот лагерь, в который он давно перебежал! Хочу остановиться еще на одном слухе, циркулирующем в последнее время и здесь, в литературной среде, и в зарубежной печати. Усиленно муссируются слухи, что якобы Б. Пастернак отказался от Нобелевской премии. Должен сказать, что ни в одной советской инстанции такого заявления нет, и мы ничего об этом официально не знаем. Должен сказать, что в иностранной печати нигде не появилась, а только комментируется телеграмма, якобы присланная в адрес Шведской Академии Пастернаком. Комментаторы пишут, что телеграмма эта такого содержания: «В связи с реакцией

советского общества я вынужден отказаться от оказанной мне чести...»

Судите сами! Это еще более подлая провокация, которая продолжает ту же самую линию предательства. Думаю, что комментарии здесь излишни, — вы сами понимаете, что каждый акт в этом направлении является новым предательством со стороны Пастернака, новой подлостью.

Вот то, что я хотел сообщить в своем докладе. Разрешите перейти к обсуждению вопроса и первое слово предоставить Л. Ошанину.

Л. Ошанин:

Товарищи! Нам нужно трезво и спокойно понять то, что произошло. В той общей, очень острой холодной войне, которая ведется сейчас против нас, — это долго подготавливавшийся и очень тонко рассчитанный удар. Пастернак был все время под наблюдением наших соседей, Пастернак был все время окружен огромным количеством иностранцев, и то, что думал и делал Пастернак, было очень хорошо известно за рубежом. Могли ли мы, когда узнали об этом, сказать, что это единственное, случайное, нехарактерное для всего его пути, что он другой? Каждый из нас, вероятно, имеет свои впечатления, каждый из нас имел свои встречи с Пастернаком. Я хочу рассказать только один маленький штрих, который меня совершенно потряс.

Это было в 1945 году, когда в первый раз в Союзе писателей вручались медали «За доблестный труд в Отечественной войне». Вы все помните обстановку в стране, обстановку необычайного единства, вы помните то ощущение праздника, когда наконец прозвучал салют Победы.

Тогда, встретив в клубе Пастернака, я ему говорю: «Б. Л., завтра будут вручать медаль, и в списке я видел вашу фамилию, так что вам надо быть здесь в клубе», на что он ответил: «Я, может быть, пришлю сына».

В этом было такое пренебрежение не только к правительственной награде, но и к той огромной радости, к тому духу единства, которым был полон народ!

Я не могу забыть, как мы сидели и ожидали здесь в клубе Андроникова, который ездил в Переделкино, чтобы поставить свои подписи под Стокгольмским воззванием. Мы помним, как он много ходил перед Пастернаком, чтобы он поставил свою подпись; мы помним его реакцию на венгерские события.

В докладе, который мне довелось делать на Московском Пленуме по вопросу поэзии, я помню, что тогда, внимательно изучив последние стихи Пастернака, я центром доклада сделал разбор двух стихотворений — Твардовского и Пастернака, об отношении к искусству. Товарищи, которые были на Пленуме, помнят этот разговор. Это было стихотворение, в котором все было сказано, в котором было презрение к народу, ощущение себя сверхчеловеком, это было ощущение чужого человека, и я сказал тогда об этом в докладе. Я в докладе сказал, что перед нами внутренний эмигрант, после чего мне говорили: зачем же так резко?

Мы давно знаем, что рядом с нами живет человек, которого трудно назвать по-настоящему советским человеком. Но за талант и необычайное возвеличение этого таланта и поднятие его на какой-то невиданный пьедестал мы возились с ним непростительно долго.

Когда мы разбирали на Президиуме этот вопрос, то мы поняли, что в этом была необычайная бережность, излишняя, как мы теперь видим, и желание сохранить человека и поверить ему.

Вы помните, что Пастернак вдруг, сочиняя разные вещи, написал несколько строчек о Ленине, и настоящих.

(Голос с места: А вы сразу умилились...)

Видимо, товарищ, подавший голос, в ту пору умилился... Он иногда выдавал советского толка стихотворения. Он жил так все время, очень хитро пряча сущность того, что он думает, и это привело к тому, что мы непрерывно возились с ним. Это серьезный наш недостаток.

Теперь, когда мы говорим — как жить дальше, то мне кажется, что прав Сергей Сергеевич, который говорит, что это должно быть для нас хорошим уроком, что это должно привести к тому, за что мы непрерывно боремся, — к очень большому чувству локтя. А вот мелкое честолюбие, о котором говорил С. Смирнов, мешает нам иногда существовать и решать очень большие вопросы.

Мне хочется призвать вас всех к очень большой и дружной работе, потому что сейчас, как никогда, мир на нас смотрит, как никогда, сейчас наше с вами слово здесь на трибуне и слово за письменным столом имеет непосредственное грандиозное значение в той борьбе, которая происходит в мире. Мы все думали — что же миндальничать? Что скажут т. н. друзья за рубежом? Мы должны думать о них, но мы не должны бояться, мы не должны оглядываться бесконечно, как оглядывались с Пастернаком. Мы должны нести свою правду и, когда нашему народу нанесено такое совершенно необычайное оскорбление, у нас не может быть никакого другого решения.

Пастернак, по существу, является ярчайшим примером космополита в нашей среде. У нас было много разговоров. Это настоящий законченный образец космополита. Вы, Сергей Сергеевич, сравнивали Самгина с Живаго, но Горький разоблачил Самгина, а здесь Самгин выступает в роли автора романа. Тут можно спорить, точно это или не точно, но разоблаченный Горьким самгинизм здесь присутствует.

Мне кажется, что если действительно Пастернак, который всю свою жизнь, по существу, прожил внутренним эмигрантом, во время, когда все больше и больше самых лучших людей мира обращают к нам свои дела, сердца, взоры, — ухитрился не понять того, где он живет, если Пастернак в своем письме, которое он к нам прислал, за каждой строчкой которого стоит настоящий иезуит, где он пишет, что он нас прощает, пишет: «Я знаю, что вы под давлением обстоятельств это сделаете, но я вас прощаю», вы слабые люди, а я сильный человек, то мы очень хорошо знаем Пастернака в других проявлениях. Мы знаем его разговор о Мандельштаме. Если этот человек не желает жить с нашим пародом, если он не хочет работать на коммунизм, не понимая того, что это единственное, что есть в мире, что может спасти человечество от того пути, на который его толкает империализм, если человек последние годы находил время возиться с боженькой, если этот человек держит все время нож, который все-таки всадил нам в спину, то не надо нам такого человека, такого члена ССП, не надо нам такого советского гражданина!

С.С. Смирнов: Слово предоставляется К.Л. Зелинскому.

К.Л. Зелинский:

В прошлом году я имел возможность очень внимательно и, как говорится, с карандашом в руках прочитать роман «Доктор Живаго». У меня не получи-

лось разговора с автором и не могло получиться. У меня осталось очень тяжелое чувство от чтения этого романа. Я почувствовал себя буквально оплеванным. Вся моя жизнь казалась мне оплеванной в этом романе. Все, во что я вкладывал силы на протяжении 40 лет, творческая энергия, упования, надежды, — все это было заплевано.

И действительно, здесь дело не в отдельных поправках, которые могли быть внесены автором в роман. Для человека моего поколения, который еще помнил Пастернака где-то в окружении Маяковского, не так просто было придти к сознанию, что передо мной внутренний эмигрант, враг, совершенно враждебный идейно, человечески, во всех смыслах чужой человек.

Этот роман с точки зрения художественной представляет собой яркий образец декадентской литературы — и фрагментарность формы, и всевозможные отступления, растянутость, лишние диалоги, огромное количество цитат из евангелия, из псалмов (я просто удивился, откуда такая начитанность узко церковной литературой). Он действительно наполнен пошлыми, мещанскими, обывательскими анекдотами, вроде того, что марксизм — самая далекая от жизни наука и т. п. Я не хочу перечислять всю эту мерзость, дурно пахнущую, оставляющую очень скверное впечатление. Для меня это было очень странно, потому что я видел в Пастернаке поэта, художника, который опустился до такого уровня. Но дальнейшее, что мы узнали, раскрыло как-то еще больше весь подтекст и такую страшную вещь, о которой здесь правильно сказал Смирнов, — предательскую психологию, предательский комплекс во всем.

Вы должны знать, товарищи, имя Пастернака сейчас на Западе, откуда я приехал, это синоним войны. Пастернак — это знамя холодной войны. Не случайно за это имя уцепились самые реакционные, самые монархические, самые разнузданные круги. Портреты Пастернака печатают на первых страницах газет рядом с другим предателем Чан Кай-Ши.

Вот в моих руках газетка, которая издается в Риме, которую я только что привез, — «Дейли Америкен», издающаяся на английском языке. Видите, на первой странице портрет Пастернака и комментарии по поводу присуждения ему премии. Здесь говорится о том, что присуждение Нобелевской премии за роман «Доктор Живаго» является литературной атомной бомбой против коммунистического режима. Далее говорится о том, что якобы какой-то шведский критик назвал присуждение этой премии ударом в лицо советскому правительству. Вот как враги восприняли присуждение Пастернаку Нобелевской премии. Повторяю: Пастернак — это война, это знамя холодной войны.

Но я хочу разоблачить, рассеять ту легенду, которая создается вокруг Пастернака, о том, что якобы у нас, в советской стране, не оценили этого большого художника, а что вот на Западе лучшие круги интеллигенции его высоко ценят. Это абсолютная неправда.

Я был в числе товарищей в составе советской делегации, которая участвовала на Международном конгрессе писателей в Неаполе. Там присутствовало около 400 делегатов от разных стран. Над зданием, где происходил конгресс, развевались флаги 22 государств. Там были голландцы, западные немцы, англичане, бельгийцы, французы, представители самых различных стран. Но этот конгресс проходил под знаком поисков солидарности, дружбы, создания како-

го-то единства. II очень интересный факт: на этом конгрессе упоминались имена не только замечательных русских классиков Толстого, Горького, Достоевского, но упоминалось имя Маяковского наряду с другими писателями мира. Там были разные писатели, в том числе и вовсе не относившиеся к нам дружелюбно (например, в числе писателей присутствовал известный писатель академик Андрэ Шамсон), но никто на этом конгрессе не произнес имя Пастернака. Почему? Да потому, что это было бы бестактно, потому что каждый понимал, что это то же самое, что неприличный звук в обществе, потому что люди, желающие найти какие-то контакты друг с другом, не могли произнести это имя. Это очень характерно. Это показывает серьезность сдвига, который происходит сейчас в мире. Я уже не говорю о нашем замечательном Ташкентском конгрессе, где тоже имя Пастернака просто не могло фигурировать. Это легенда — думать о том, что якобы мы недооцениваем Пастернака, а кто-то на Западе — лучшие ценители, рафинированные эстеты и вообще знатоки искусства высоко ценят Пастернака.

Еще несколько примеров, которые говорят о том, что Пастернак — это война, и все честные, порядочные люди и за рубежом это понимают, и те, которые не хотят раздувать пламя холодной войны, те, которые не на стороне поджигателей войны, они стремятся выразить это всеми возможными средствами. В субботу, 25 октября, в Риме Общество «Италия— СССР» устроило в честь нашей делегации прием — встречу с римской интеллигенцией. После доклада тов. Щегловского, который дал очень выразительную картину наших контактов, международных связей, которые существуют у советских писателей с зарубежными литераторами, который убедительно показал, как широко знакомят у нас читателя с итальянской литературой, поднимается в аудитории некий критик Пауль Милан, который специализировался на том, что он был занят пропагандой Пастернака и его творчества, и задает нам такой вопрос: «Я хочу, чтобы все члены делегации (а нас было четверо), чтобы все они высказали свое отношение к Пастернаку», — надеюсь, что мы, делегация, не получили инструкции из Красной Москвы, как-нибудь спутаемся. И еще задал несколько провокационных вопросов. Но мы единодушно сказали: «Нет», и «Нет» сказала аудитория, которая нам устраивала овации. Тут Милану не удалось вбить клин между нами и римской интеллигенцией. Нас поздравляли и приходили пожимать нам руки.

Ко мне пришел русский священник, который присутствовал на собрании. Почему? За что? За то, что я сказал, что у Пастернака, который якобы возглавляет идеи христианского гуманизма, но что у нас в нашей стране церковь не противопоставляет себя правительству. Это показывает, что Пастернак одинок, это самый жалкий реакционный отщепенец. Американские газетенки — вот кто его поддерживает. Это невозможный анахронизм, это то, что пахнет таким нафталином, что это выпадает из всего круга умственной жизни не только нашей страны, но и на Западе.

Наша делегация стала объектом нападок со стороны буржуазных газет в связи с этой премией, которая брошена, как атомная бомба. Писатели, не только прогрессивные, наперекор выражали нам сочувствие. К., который устраивал прием в честь делегации, приходил в гостиницу, чтобы подчеркнуть, что «мы с вами, друзья, не думайте, что мы в том лагере».

Я не называю имени одного итальянского писателя, не желая навлечь на него неприятности, но это видный итальянский ученый и писатель, который сделал перевод книг Пастернака на итальянский язык. Он говорил, что в эти дни, в дни после присуждения Нобелевской премии, его квартира превратилась в осажденный лагерь для буржуазных журналистов. Яркая антисоветская сенсация была организована. Но этот человек не является коммунистом, он запер свою квартиру и пришел к нам и сказал: я не буду участвовать. Пастернак — это война. Я не буду в ней участвовать.

Так что мы должны понять, что Пастернак, который казался нам человеком, сделанным из слоновой кости, эстетом, неземным существом, — оказался одним из самых ярких, самых резких выразителей именно политической борьбы. И это есть очень серьезный теоретический урок, который нам надо сделать, о том, как искусство на практике... Казалось бы, что из себя это представляет.

В заключение мне хочется сказать вот по какому вопросу, о котором здесь уже говорил тов. Смирнов, — относительно окружения Пастернака, относительно некоторых из нас, которые в известной мере повинны в том, что создавали ему микроклимат, культ личности, обожание, восхваление.

Я так же, как и тов. Смирнов, считаю, что те, которые в этом повинны, должны себя узнать и сказать. Это слишком серьезный урок для всех нас. Я думаю, что мы должны задуматься над вопросом о характере даже нашей воспитательной работы, потому что действительно наша иногда бережливость, дружеское отношение, они часто теряют свою принципиальную грань и начинают превращаться в ту форму либерализма, которая становится поддержкой врага. Я помню, что я сам, прочитав телеграмму Пастернака, поверил, что он будет роман переделывать.

Для нашего старшего поколения не так легко придти к сознанию, что перед тобой твой сосед — твой враг, причем очень опасный, очень извилистый, очень тонкий враг, который может под прикрытием обладания эстетическими ценностями нанести тебе удар в спину. Это человек, который держит нож за пазухой.

Об одном случае я все-таки расскажу, о том, что окружение Пастернака прибегало к такой мере, чтобы терроризировать тех, кто становился на путь критики Пастернака. Так, например, когда появилась моя статья «Поэзия и чувство современности», в Президиуме Академии Наук меня встретил заместитель редактора журнала «Вопросы языкознания» В.В. Иванов. Он демонстративно не подал мне руки за то, что я покритиковал стихотворение Пастернака. Это была политическая демонстрация с его стороны. И я хочу, чтобы эти слова достигли до его ушей и чтобы он нашел в себе мужество выступить в печати и высказать свое отношение к Пастернаку.

Да, должна быть проведена очистительная работа, и все мы должны понять, на какую грань нас может завести это сочувствие к эстетическим ценностям, если это сочувствие и поддержка идет за счет зачеркивания марксистского подхода. Этот лжеакадемик должен быть развеян.

Товарищи, наша страна идет к великому подъему. Мы все идем навстречу XXI съезду партии, на котором будут названы цифры, о которых мечтал Ленин, — цифры о том, как мы уже будем перегонять капиталистический мир.

Все люди во всем мире, на всех континентах — в Европе, Азии, Африке, — все взоры лучших людей обращены к нам. И вот в этой обстановке этот мерзостный, отвратительный случай, он нас сегодня лихорадит и идет вразрез тому, что происходит в мире.

Я совершенно согласен с тем, что мы должны сказать этому человеку, который перестал быть советским гражданином: «Иди, получай там свои 30 сребреников! Ты нам сегодня здесь не нужен, а мы будем строить тот мир, которому мы посвятили свою жизнь!» (Аплодисменты).

С.С. Смирнов: Слово предоставляется Валерии Герасимовой.

Валерия Герасимова:

Товарищи! Вся эта история с Пастернаком каким-то образом совпала во времени с таким для меня важнейшим моментом всей моей жизни, как 40-летие комсомола. И вот я хочу выступить здесь под давлением того, что я называю своими собственными убеждениями. Дело в том, что в хорошем письме редколлегии «Нового мира» (я не знаю, с опозданием оно появилось или без опоздания) — книга Пастернака проанализирована довольно умно и тонко, с большими подробностями, и те моменты, которые в ней развернуты, заставили особенно остро и очень отчетливо прочувствовать тот безграничный контраст между тем, что пишет Пастернак, и тем, чем жило наше поколение, которое когда-то чрезвычайно смело вошло в строительство нашей жизни, вошло в партию, вошло в строительство нашей советской литературы.

Дело в том, что на этих вечерах, посвященных 40-летию комсомола, приходилось вспоминать как раз о тех моментах, которые извращенно даны в книге Пастернака. Когда я читала страницы его «Доктор Живаго» (когда доктор вместо того, чтобы стрелять в наступающих белогвардейцев, притаившись, стреляет в дерево и лишь случайно попадает в одного — Сережу, добровольного белогвардейца, и что Сережа спасен потому, что пуля попадает в ладанку, повешенную на грудь Сережи его мамой), меня, человека, который помнит это все и пережил, — меня не могли оставить равнодушной все эти прилагательные к тем лицам, которых я помню в своей юности. Эти «выразительные и привлекательные» лица белогвардейской молодежи — я помню совершенно другими. Приходилось и слышать и говорить на вечерах комсомола о том, как эти молодые люди, выходцы из привилегированных семей, расстреливали и запарывали во времена колчаковщины тех парней и девушек, которые стремились отстаивать правду нашей жизни, правду социализма, дело коммунизма.

И — интересная деталь. Когда я выходила из одного из собраний, я увидела — просто стоят люди и читают «Литературную газету». Я не могу вам сказать сейчас, кто были эти люди: были ли они рабочие или интеллигенты, — потому что у нас облик сливается одной категории людей с людьми других профессий и с интеллигенцией. И вот я услышала, по-моему, очень хорошее и меткое замечание.

Один товарищ, читая как раз это письмо редколлегии «Нового мира», говорит: «Господи (или другой термин он употребил, не помню), и он еще сомневается, что нужна была Октябрьская революция, — так, что ли, выходит?!»

— Да, сомневается. И по вопросу о белогвардейцах — как будто пересматривает этот вопрос.

А следующий говорит: «Да это не доктор Живаго, а давным-давно Мертваго!» (Смех).

И действительно, товарищи, это так. Невероятной архаичностью (я подчеркиваю это слово) повеяло на меня со страниц, которые развернуты в письме редколлегии «Нового мира».

Или этот вопрос о массе, которую Пастернак изображает как быдло, как темную силу.

Совершенно иначе и очень любовно решают наши советские авторы эту проблему. Разве — не так же проблемы личности и массы поставлены в «Разгроме» Фадеева? Вы помните это жалкое отребье и убогого индивидуалиста Мечика, — как он проигрывает на фоне этих «темных» и «диких» людей, как Морозко и его товарищи по партизанскому отряду! Ведь эта масса, пусть темная и задавленная наследием царского строя, — это великая масса, и ее величие понял даже Блок в своих «Двенадцати», когда он пишет, в завуалированной форме, о своем восхищении этими матросами, которые боролись и отдали жизнь за дело революции! Вопрос этот разработан талантливо в нашей советской литературе и позорно возвращаться к старым позициям, как это пробовал сделать Пастернак.

Или вопрос о нашей интеллигенции. Нечего фальсифицировать историю и утверждать, что вся интеллигенция приняла Октябрь сразу. Конечно, это было не так, и, конечно, какая-то часть ударилась в лагерь «докторов Живаго». Все это было; и были, наконец, и прямые враги. Но шли годы, и интеллигенция морально перевоспитывалась. Некоторая часть откололась в стан наших прямых врагов, но великие идеи коммунизма сделали свое дело. Интеллигенция стала органической частью всего великого трудового народа. И когда я читала строки о том, что Пастернак видит в докторе Живаго «цвет нации», цвет духовной жизни, цвет интеллигенции, то совсем другие образы встали передо мной.

Вспомните «Депутата Балтики», вспомните профессора Полежаева, прообразом которого был замечательный ученый Тимирязев! Вспомните, товарищи, человека, о котором я никогда не могу забыть, и мы вправе гордиться, что он в нашей среде, и мы с ним вместе сидели в зале заседаний, — это великий педагог Антон Макаренко. Вот такая интеллигенция была действительно цветом нации. Вот та интеллигенция, к которой мы, каждый по-своему (в меру своего взлета), вправе себя причислить.

Я скажу одно: что мне было радостно слышать, когда К. Зелинский, который бывал за границей, сказал нам, что, очевидно, эта провокация не удалась. Народ и интеллигенция всего мира почуяли запах этой провокации. Но оставим мертвое — мертвым, а мы строим наше вечно живое дело в нашей советской литературе, на благо нашему живому и сильному социалистическому обществу. (Аплодисменты.)

Председательствующий **С.С. Смирнов**: Слово предоставляется В.О. Перцову.

В.О. Перцов:

Вот уже прошло, пожалуй, больше недели с тех пор, как факты, которые послужили причиной созыва нашего сегодняшнего собрания, стали известны. Появились статьи — и в «Правде», и в «Литературной газете», и то непосредственное ощущение негодования, которое было в первый момент, казалось бы, должно было улечься. Но вот сегодня, когда С.С. Смирнов огласил те докумен-

ты, которые не всем были известны, — лично я впервые слышу, например, эту омерзительную эпистолярную часть о творчестве Пастернака, адресованную туда, — я должен сказать, что чувство негодования не может улететь.

Одна вещь поразила меня, между прочим, в тех тезисах, которые были здесь оглашены. Это тот факт, что автор «Доктора Живаго» считал для себя смягчающим обстоятельством то, что он свой роман передал в иностранное издательство тогда, когда появился роман Дудинцева. Но я думаю, что это — совершенно различные вещи. При всех серьезных идеологических ошибках Дудинцева, это все же разные вещи, над которыми следует задуматься.

Хочется отдать отчет в том, что представляет собой этот человек, который оказался предателем. Тут говорили по преимуществу люди старшего поколения, к числу которых отношусь и я. Я был связан с литературной группой, к которой имел отношение и Б. Пастернак. Я встречал его в обществе В. Маяковского. Вопрос действительно не так прост, и если тут предлагали выйти на трибуну тем товарищам, которые были очарованы творчеством Пастернака, — для этого были какие-то основания.

Б. Пастернак является мастером стиха. Здесь предлагали выйти товарищам, которые курили ему фимиам. Я не могу быть в этом ряду образцом того, что человек думал так, а потом стал думать иначе, я не курил ему фимиам, но никогда не думал о возможности той низости, свидетелями которой мы являемся. Я должен сказать: в условиях этой чрезвычайно острой моральной атмосферы, в которой мы обсуждаем действия этой фигуры, — я должен сказать, что представления о роли Б. Пастернака в советской поэзии, как мастера, были, конечно, преувеличены. Дело в том, что, если в решении нашей писательской организации говорилось о том, что Союз писателей стремился бережно охранять и помочь ему, я должен признаться, что мы не всегда понимали ту сложную игру, которую вел и давал в своей литературной продукции Б. Пастернак.

Здесь приводились факты и о том, что Пастернака знают мало в нашей стране, знает узкий круг литературных ценителей. За пределами особо гурманистски настроенных молодых людей стихи его малоизвестны и их не понимают. Это объясняется тем, что его стихи при том, что там всегда есть ряд эффектных строк и необычных метафор, они в целом распадаются, — в них нет того единства формы, которая дается большой идеей. У него нет такой идеи, нет чувства, которое давало бы основания для выработки цельной художественной формы.

И конечно, товарищи, разобраться нам во всем этом необходимо. Пастернак — индивидуалист. Он занят разработкой только маленьких вещей вокруг себя. Это поэзия, которую можно было бы характеризовать, как «восемьдесят тысяч верст вокруг собственного пупа». И эта задача, как поэтическая задача, не может рождать большого художника. Поэтому формулировка, которую дала Шведская Академия по поводу продолжения Б. Пастернаком традиций русской поэзии и прозы, — эта формулировка является просто невежественной формулировкой.

Мы не можем сказать, что то, что написано на русском языке, продолжает русские традиции, не можем считать продолжением русских традиций такой роман, как роман «Навыи чары» Сологуба, хотя он написан на русском языке и имеет известную эстетическую ценность. Или такой роман, как позор-

ный роман «Санин» Арцыбашева, или признать русской традицией такую вещь, как эпопею А. Белого «Я», — это бешеное исступление индивидуализма!

И потому, товарищи, мы должны отвергнуть эту формулировку и внутренне понять, что к развитию русских традиций в литературе это индивидуалистическое, антикоммунистическое творчество отношения не имеет.

Здесь тов. Смирнов говорил в своем выступлении относительно порядочности Пастернака. Я, не будучи в числе поклонников и куривших фимиам, в молодые годы опубликовал одну статью о Пастернаке, которая мне дорого стоила, потому что мои товарищи на меня напали за эту статью. Статья эта называлась «Вымышленная фигура». Эта статья была о художественном значении Пастернака и о тех его идейных сторонах, о которых я сейчас говорю. Тогда на меня напали мои товарищи Асеев и Шкловский. Они тогда верили, что из Пастернака можно еще сделать человека.

Я думаю, что это не только вымышленная, преувеличенная в художественном отношении фигура, но это и подлая фигура. Тут вам не объявляли, и это совершенно не нужно, а в «Литературной газете» была только одна фраза из т. н. «Автобиографии» Пастернака, которая теперь, как мне известно, опубликована в Париже. Я читал эту автобиографию, он ее предлагал в качестве вступления к сборнику «Избранного» в Гослитиздат. Ничего более гнусного, чем там написанное о Маяковском, я не читал, а ведь Маяковский сыграл большую роль в жизни Пастернака, и если были у него когда-то человеческие вещи, те, которые написаны в 1925 году по воспоминаниям революции 1905 года, то сам Пастернак говорил, что Маяковский сыграл большую роль в том, что эти вещи были написаны, и что там были чувства, которые там, правда, мелькнули маленьким эпизодом.

Что же он написал о Маяковском? Он в своих тезисах ссылается на какое-то письмо тов. Сталина. По-видимому, это то письмо он имеет в виду, о котором он пишет в своей автобиографии. Когда я услышал эту фразу (а вы помните, что тов. Сталин назвал Маяковского лучшим, талантливейшим поэтом советской эпохи), то я послал автору этого определения письмо с выражением благодарности за то, что он вывел меня из того ложного положения, в котором я очутился, получая признание в том, что он, Пастернак, лучший, талантливейший поэт советской эпохи. И он говорит, что у него нет сомнений! Это такое непонимание себя в литературе и в мире, которое является результатом полного разрыва с людьми, сказавшемся и в поэзии его, и в поведении. Затем теперь, когда он представил свой роман, а не письмо на имя руководителя нашего правительства, в Шведскую Академию, то там его соискание увенчалось успехом, там его признали.

Я читал роман. Я должен сказать, что написанное и опубликованное в «Литературной газете» письмо редакции «Нового мира» очень точно. Там нет никаких натяжек. Тон, который [...] редакцию надежды и желания что-то сделать, помочь этому человеку, только тон может сейчас вызвать возражение.

По существу это совершенно верно, и поэтому нужно еще добавить, что это довольно нудное и насквозь обнажающее пружины идеологической схемы повествование. Самые темные, самые реакционные стороны этого позорного десятилетия, о котором говорил Горький, самые ничтожные стороны того, что называется Достоевщиной и что ни в какой мере не охватывает величия этого русского писателя, — все это нашло отражение в этом романе. Я прочту эту

цитату: «Пусть мир погибнет, лишь бы мне чай пить». Вот эта философия, она двигала пером автора на протяжении его чрезвычайно пухлого, длинного и тяжело читаемого произведения. Вот место, о котором упоминал С.С. Смирнов: «Загадка жизни — загадка смерти. Прелесть обнажения — это пожалуйста, это мы понимаем, а мелкие мировые дразги, вроде перестройки земного шара, это увольте, это не по нашей части». Сергей Сергеевич совершенно прав как читатель. И поверьте мне, если вы хоть сколько-нибудь признаёте тот опыт, который есть в нашей критике для анализа советской литературы и литературы вообще, то могу сказать, что «Доктор Живаго» — это [...] за то, что Живаго говорит, — за это отвечает автор.

Что же делать с этим автором, с этим «сверхчеловеком», с господином Пастернаком? Вы знаете, что Ленин говорил: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». Пастернак же держит себя так, как будто бы он свободен от общества, и он действительно от нашего общества свободен. Он от того общества, вот там он действительно будет слугой и там служение ему будет легко. Если это так, то нужно действительно сделать выводы, облегчить его положение — пусть переселяется туда, где ему будет легко писать, где у него не будет немислимых и ужасных для нас фраз, которыми он должен был оправдывать в своем письме свое поведение.

Мне кажется, что тов. Семичастный прав. Мне и многим нашим товарищам просто даже трудно себе представить (я являюсь его соседом), что живут люди в писательском поселке, и не могу себе представить, что у меня останется такое соседство. Пусть он туда уезжает, и нужно дать ему эту возможность и надо просить об этом, чтобы он не попал в предстоящую перепись населения. (Аплодисменты).

Вся эта отвратительная история с Пастернаком, конечно, не долго будет жить в нашей памяти в смысле переживаний. У нас есть хорошие задачи и думаю, что каждый из вас сейчас работает с особым подъемом, с желанием сделать как можно лучше, но уроки извлечь все-таки из этого дела нужно.

Я скажу только об этом уроке (вообще уроков может быть больше), о том, о чем в перерыве мы говорили с товарищами, эта мысль приходила многим: мы поздно опубликовали письмо редакционной коллегии «Нового мира». Когда стало известно, что он передал рукопись буржуазному издательству, я считаю, что это уже стало общественным фактом, и тем более когда книга вышла, тогда нужно было это письмо опубликовать, и мы вступили бы тогда в разговор с буржуазным миром в более выгодной позиции для нас. Это упущение нам нужно запомнить, и, постаравшись извлечь уроки, которыми эта история богата, давайте, товарищи, по-настоящему хорошо работать.

С.С. Смирнов: Слово предоставляется А. И. Безыменскому.

А.И. Безыменский:

Мне не понадобится много времени, чтобы сформулировать свое мнение по вопросу, стоящему сегодня в повестке дня.

В сегодняшней день длительные споры, которые велись в течение громадного количества времени вокруг фигуры и творчества Пастернака, должны быть кончены одним коротким разговором. Когда пролетарские писатели группы «Октябрь» давали в 20-х и 30-х годах жестокую характеристику социальной и эстетической сути произведений Пастернака, мы все-таки вели с ним спор так, как

будто Пастернак был внутри литературы. Когда в 1934 году на I съезде писателей группа пролетарских писателей, в том числе Сурков, Первомайский, я и другие, давали жесточайший бой Бухарину, объявившему Пастернака таким писателем, на творчество которого должны ориентироваться все советские писатели, когда мы тогда с трибуны I съезда продолжали давать жестокую характеристику социальной и эстетической сути произведений Пастернака, мы все-таки разговаривали с ним так, как будто он внутри советской литературы. Сегодняшний день Пастернак своим поганым романом и своим поведением поставил себя вне советской литературы и вне советского общества. (Аплодисменты).

Дорогие товарищи! Весь этот месяц я непрерывно выступал на собраниях комсомольцев, посвященных 40-летию комсомола. Позавчера этот месяц закончился изумительным праздником во Дворце Спорта. Там было 12 тысяч человек. Это был комсомол. Это был Центральный Комитет комсомола, это были представители сегодняшнего 18-миллионного комсомола, это были представители всех поколений комсомола, всех 67 миллионов человек, которые прошли через комсомол, как сказал сам докладчик. И, товарищи, когда говорил т. Семичастный о Пастернаке и когда была бурная оvação, это был голос многомиллионного сегодняшнего и всего комсомола. Что же сказал Семичастный? Давайте это прочтем:

«Пастернак настолько обрадовал наших врагов, что они ему присудили Нобелевскую премию, не считаясь с художественными достоинствами его книжонки. Этот человек жил в нашей среде, а теперь взял и плюнул в лицо народу. Пастернак — это внутренний эмигрант, и пусть бы он действительно стал эмигрантом, отправился бы в свой капиталистический рай. Я уверен, что и общественность и правительство никаких препятствий ему не чинили бы, а, наоборот, считали бы, что этот его уход от нашей среды освежил бы воздух».

Вот тут-то и была настоящая оvação молодости нашей страны, высокой, сушей и лучшей. В этом духе я считаю нужно принять резолюцию. Решение, которое принято об исключении из Союза, правильно, но это решение должно быть дополнено. Русский народ правильно говорит: «Дурную траву — вон с поля!» (Аплодисменты).

С.С. Смирнов: Слово предоставляется А.В. Софронову.

А.В. Софронов:

Товарищи! Мнение единодушно, и надо сказать, что мнение советских писателей единодушно не только между собой, но и с многими нашими друзьями за рубежом, даже там, где мы меньше всего предполагаем.

В июне этого года мне с группой журналистов пришлось быть в Чили, стране, с которой у нас с 1947 года нет никаких дипломатических отношений. Мне довелось провести вечер и ночь за разговором с одним очень интересным человеком — перуанским писателем, эмигрантом из Перу в Чили, очень видным перуанским писателем, который просидел 10 лет в тюрьме, а затем был выслан из страны. Этот человек не коммунист, не социалист, человек, стоящий на перепутье. В машине, когда мы с ним ехали по Вальпараисо, он сказал, что после того, как появились ваши спутники и многое, что сопутствовало им в Советском Союзе, если меня спросят, по какую сторону баррикад я буду, я буду с вами. Конечно, мы разговаривали много и о литературе.

Нам иногда кажется, что за пределами Москвы, за пределами Советского Союза мало интересуются подробностями нашей литературы. Оказывается, это не так. Даже там, в этом небольшом чилийском городе Вальпараисо, писатель Дельмаг был очень подробно информирован о некоторых событиях нашей литературы. Так, он сказал мне: «Странно вы себя ведете с Борисом Пастернаком, он ваш враг». Я книгу не читал тогда и сейчас не читал. Я говорю: «Знаете, это очень странный человек, заблуждающийся, с ложной философией, у нас его считают несколько юродивым». Он говорит: «Бросьте, какой он юродивый! Он совсем не юродивый. Он всю свою политическую программу — программу отрицания Октябрьской революции — изложил очень ясно, очень подробно и очень зловредно для вас, потому что эта книжка (а она распространялась до получения Нобелевской премии уже в течение полутора лет главным образом на английском и даже на русском языке) приносит здесь вред и является знаменем антисоветской пропаганды».

И мы в этом убедились не один раз — и в Сант-Яго и в Буэнос-Айресе, где задавали нам соответствующие вопросы на пресс-конференциях и т. д. Это для нас большой и тяжелый урок, он тяжелый еще и потому, что мы в какой-то степени с запозданием решаем этот вопрос. Вчера я выступал в авиационной Академии, меня окружили после выступления военные и спрашивали: «Что же вы, писатели, проморгали, когда все это было давным-давно известно... (Голоса: Правильно спросили!)»

Я тоже думаю, что правильно спросили. И если бы мы все достаточно принципиальны были в этих оценках всяческих явлений вплоть до этих явлений, то мы могли бы своевременно дать правильную оценку Пастернаку.

Тут правильно говорил т. Смирнов относительно вот этого «чистого искусства».

Каждый из нас прошел жизненный путь — один пришел с завода, другой с учебной скамьи и т. д., всегда в этих случаях невольно сопоставляешь свой жизненный путь. И вот я вспомнил — откуда появилось мое понимание Пастернака. Я знал Безыменского, Жарова, Маяковского и других поэтов. И вдруг, когда я попал на курсы молодых поэтов в 1934 году (писал свои стихи, но не читал Пастернака), нам привезли Пастернака в сопровождении секретаря партийной организации, видно, как нам объяснили, на случай того, что, если он не так скажет, секретарь партийной организации поправит его. (Смех в зале.)

Но он ничего определенного не говорил, он говорил только и давал отрицательные оценки писателям и поэтам, в том числе и Бедному, и проявил всякого рода юродничество. Потом я был на съезде писателей в 1934 году, представлял литературную группу «Ростсельмаша». И для меня было непонятным все, это не первая дискуссия, которая шла вокруг имени Пастернака. И та апологетическая оценка, которую дал его творчеству Бухарин и его все друзья, а мы все были на стороне таких товарищей, как Сурков и др., которые выступили с оповедью Бухарину.

Мы сами иногда, честное слово, не потому, что мы бываем подозрительны друг к другу, и чистосердечные замечания и советы воспринимаем не так как надо. Вот я помню обсуждение стихов Пастернака в 1944—1945 гг. Шла война, было все страшно, такие были сложности, а в зале Союза писателей воспевалась такая апологетика на оды Пастернака, это в тот момент, когда шла война,

миллионы людей отдавали жизнь... и такая апологетика стихов Пастернака. Некоторые, выступая, говорили, правда очень мягко, что, Борис Леонидович, вам надо было бы жизнь поближе узнать, вам надо быть ближе к жизни. Потом он подошел ко мне и сказал, что да, это очень интересно. И он потом ездил куда-то. Но такое богослужение, которое устраивалось вокруг имени Пастернака, нам не к лицу. И я думаю, что сейчас, когда все это совершилось, когда очень точно названная легенда о Пастернаке пришла к логическому завершению, для нас это решение идейной, идеологической жизни.

Больше принципиальности, больше доверия в этом смысле друг к другу. Нам надо ликвидировать мелкие разногласия. Мы же, товарищи, советские писатели, стоящие на позициях нашей Коммунистической партии, Советской власти, мы прошли сорок один год, за это время каждый свое вложил в жизнь нашего народа и государства. Мелочи, как говорят, надо убить. И надо в этом смысле больше ценить друг друга.

Мы должны больше внимания обращать на нашу молодежь. Ко мне пришли два юноши — одному 20, другому 23 года. Они сказали: «Вы нас не пугайтесь, мы из салона Пастернака». Я сказал им, что я не пугаюсь. И они дали стихи. У каждого по 20—30 стихотворений. Среди них по одному стихотворению о целине, а остальное пастернаковский сплав. Кто эти юноши? Один с завода, другой из колхоза... Так где же встретили вы этот логический индивидуализм, антисоветчину, какой ветер вас туда занес? Я спросил: «Как на вас повлиял Пастернак?» Они сказали, что нет, он говорит, что писатель должен служить поэзии. Я тогда понял, откуда у этих неустойчивых ребяташек такое настроение. Мне потом сказали, что они ревизионисты. Но я все-таки напечатал одно стихотворение. Это наши советские ребята.

И надо иметь в виду, что у Пастернака были знакомства, дружба, и Пастернак несомненно влиял на какую-то часть творческой молодежи. (Голоса: Правильно!) И нам нужно всем вместе и в СП развенчать эту легенду о Пастернаке, о «чистом искусстве» и развенчать эту легенду в сознании многих о Пастернаке как о замечательном поэте. Эту легенду мы должны с вами развеять. Я тоже сидел в спортзале в Лужниках и слышал речь Семичастного о Пастернаке. У нас двух мнений по поводу Пастернака не может быть. Не хотел быть советским человеком, советским писателем — вон из нашей страны! (Аплодисменты).

<...>

Сергей Антонов:

Товарищи! Шведские академики словесности, в отличие от Шведской Академии, которая присуждает научные премии, с каждым годом все больше и больше это большое, святое дело оценки художественных произведений, которые должны войти в мировую сокровищницу искусства, это большое и святое дело чаще и чаще заменяют грязным политиканством, направленным на разжигание вражды между народами, на разжигание вражды к коммунизму и на разжигание вражды к нашей стране.

Пять мудрецов, которые заседают в Шведской Академии словесности и которые решают эти вопросы, — они уже не первый раз присуждают Нобелевские премии за литературу людям, которые на это имеют не очень много права.

Для того чтобы вести эту недостойную игру, этим пяти мудрецам из Шведской Академии словесности приходится каждый год выискивать в разных концах земного шара подходящие фигуры, — я бы сказал, с одной стороны, популярные, и, с другой стороны, фигуры, которые были бы марионетками, петрушками для того, чтобы вести такую низкую политиканскую работу.

Чем дальше идет время, тем труднее найти такие фигуры, потому что силы мира растут, и фигуры, которым присуждаются Нобелевские премии по литературе в последние годы, все снижаются. Примером этого может служить фигура Камю — коллаборациониста французского, о котором сами французы со стыдом вспоминают сейчас.

И очень жалко, что в 1958 году такой фигурой, такой петрушкой для того, чтобы вести грязную, антисоветскую работу, — была выбрана фигура человека, который существовал в нашей советской писательской организации. Нашли фигуру Пастернака! Те 40 или 50 тысяч американских долларов, которые получил Пастернак, — это не премия, это благодарность за соучастие в преступлении против мира и покоя на планете, против социализма, против коммунизма. Вот что это такое!

И мне кажется, что Нобель перевернулся бы в своем гробу, если бы ему стало известно, куда тратится сейчас его наследство (в зале шум), потому что у него было сказано в завещании о том, что, в частности, он ассигнует эти деньги за труды, способствующие торжеству дела мира.

Что же, в сущности, произошло? Что принесет это? Можно сказать попросту, чтобы было понятно: человек поставил пушку и собрался стрелять по своим, когда написал этот роман. Его предупредили, ему написали письмо — дельное и вразумительное. В этом письме было сказано, что ты, братец, собрался стрелять по своим; причем сказано было очень вежливо. Тогда Пастернак, как он пишет в сегодня опубликованном письме, — «считая шире возможности советского писателя, чем они есть», — переставил эту пушку за границу и стал оттуда палить!

Может быть, предположим, он недопонял, что он делает, но ему во французских газетах написали, и портрет его там поместили, и написали, что человек бьет по коммунизму. Тогда он после этого написал телеграмму в ответ на эту премию, что «бесконечно счастлив и горд!».

Все это выглядит чрезвычайно тяжело. Когда говорят о «чистом искусстве», то действительно это чистое искусство, которое может прельстить в первое время, — это чистое искусство превращается в грязное искусство, антисоветскую клевету. В конце концов к этому дело приходит. И вот мне кажется, что то решение, которое мы приняли об исключении Пастернака из Союза писателей, — его приняли слишком поздно, как мне кажется. Можно было бы принять это решение год тому назад. Надо дополнить это решение — решением о том, чтобы Пастернак не был не только членом Союза писателей, но не был бы и советским гражданином. (Аплодисменты).

С.С. Смирнов: Слово имеет Борис Слуцкий.

Борис Слуцкий:

Поэт обязан добиваться признания у своего народа, а не у его врагов. Поэт должен искать славы на родной земле, а не у заморского дяди. Господа шведс-

кие академики знают о Советской земле только то, что там произошла ненавистная им Полтавская битва и еще более ненавистная им Октябрьская революция (в зале шум). Что им наша литература? В год смерти Льва Николаевича Толстого Нобелевская премия присуждалась десятый раз. Десять раз подряд шведские академики не заметили гения автора «Анны Карениной». Такова справедливость и такова компетентность шведских литературных судей! Вот у кого Пастернак принимает награду и вот у кого он ищет поддержки! Все, что делаем мы, писатели самых различных направлений, — прямо и откровенно направлено на торжество идей коммунизма во всем мире. Лауреат Нобелевской премии этого года почти официально именуется лауреатом Нобелевской премии против коммунизма. Стыдно носить такое звание человеку, выросшему на нашей земле. (Аплодисменты).

<...>

Галина Николаева:

История Пастернака — это история предательства. В этой истории для меня, например, как для писателя и как для человека, является интересным один момент: является интересным то, что в ней есть своя закономерность. Это в какой-то степени доведенный до своей последней точки индивидуалист.

В этой истории как бы выявилась сущность, которая была прикрыта, не отчетливо выражена еще года два тому назад. В частности, она выглядит очень отчетливо, со всей очевидностью в какой-то закономерности сейчас.

Многие из выступавших здесь товарищей не любили и не воспринимали поэзии Пастернака. Я принадлежу к людям, которые многие его стихи любили и воспринимали. Я люблю его стихи, посвященные чувству любви к природе, посвященные Ленину, Шмидту и т. д., но, несмотря на то, что отдельные строки этих стихов доходили до меня, у меня было всегда досадное чувство: почему этот человек, с таким незаурядным поэтическим даром так ограничен и замкнут в своем маленьком мире? И всегда, когда читала его, я откладывала книгу с чувством невольного огорчения и надежды.

Мне кажется и казалось, что этот одаренный человек не видит того, что делается, не выходит за пределы того мирка, где он живет, не видит людей, о которых мы пишем, людей, которые достойны высокого поэтического накала. Казалось, что Пастернак найдет какой-то другой путь, казалось, что рано или поздно он придет к нему.

Письмо товарищей из «Нового мира» слишком мягко и продиктовано, очевидно, той же надеждой, что рано или поздно этот индивидуалист, живущий в нашей стране, осознает необходимость другого пути.

Мы читаем роман о докторе Живаго и можем с твердостью сказать, что это такой плевок в наш народ, в то большое дело, которое делается у нас, которого трудно было ожидать даже от Пастернака. Но все же и у меня, когда писали об этом романе, о том, что ему присуждена Нобелевская премия и т. д., все же теплилась еще какая-то надежда, что, может быть, человек придет сюда к нам и скажет: я не хочу этой презренной премии, признаю, товарищи, что я попался в лапы реакции, — такая надежда у меня была. Но вместо этого мы получили трусливое письмо и эту телеграмму, которая ничего не меняет, — о том, что он

вынужден отказаться от премии под напором общественности (а не под напором своего собственного внутреннего понимания того, что произошло!).

Этот человек ни разу не пришел ни на одно наше собрание, на которых мы взволнованно говорили о нем. Все это, вместе взятое, заставляет нас быть единомышленным — т. е. не только исключить его из Союза, но просить правительство сделать так, чтобы человек этот не носил высокого звания советского гражданина. Некоторые товарищи говорят, что опасно пустить его, как щуку в воду. Но мы не боимся его, не считаем его опасным, а делаем это потому, что он нам противен. Мы знаем, что за рубежом много у нас врагов, пусть будет еще одним больше — дело коммунизма от этого не пострадает, и мы будем продолжать строить наше коммунистическое общество. И я присоединяюсь к тому, что не место этому человеку на Советской земле.

И еще один урок для каждого из нас: всегда соблюдать глубочайший интерес к общественному мнению, к народному суждению, преданность делу социализма — это должно стать основой творчества каждого советского писателя. (Аплодисменты).

<...>

В. Солоухин:

Товарищи, говорят иногда, что Б. Пастернак в каких-то определенных датах своей жизни был то лоялен по отношению к нашему обществу и Советской власти, то постепенно отходил от этого, проходя постепенно эволюцию отщепенца. Но мне кажется, что это неверно, так как его поэтическое дарование, комнатное, камерное, — само говорит за себя. Время от времени сквозь его непонятные народу строки проскальзывали совершенно определенные вещи. Возьмите хотя бы такие строфы:

Кашне от ветра заслонясь, —
Я крикну в фортку детворе, —
Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе!

И это в то время, когда наша страна переживала какие-то трудности! Находишь у него еще другие, более конкретно выраженные вещи:

Я слежу за разворотом действий
И играю в них во всех пяти (?)
Я один. Повсюду фарисейство.
Жизнь прожить, не поле перейти.

Здесь все очень ярко выражено и очень прямо! Это его изоляция.

Напрасно в дни великого совета,
Где высшим строем отданы места,
Оставлена вакансия поэта
Она опасна, если не пуста... (?)

Если разобраться в этих строках, то ясно, что настоящий поэт должен находиться в оппозиции к обществу, в котором живет! Вот почему «Доктор Живаго» не является исключением в его творческой биографии. Здесь все закономерно. Говорят, что он не понял гражданской войны, не понял революции. Но мы знаем замечательные примеры обратного, знаем, что А. Толстой, замечательный русский писатель, интеллигент и к тому же граф, — представитель класса, который не принял Октябрьской революции, — написал ярчайшие страницы о гражданской войне, сумел разобраться во всем этом. Знаем, как реагировал на это В. Брюсов, М. Горький — культурнейший человек нашего времени. Это говорит о том, что все это — сознательная проповедь индивидуализма, достойная внутреннего эмигранта.

Об этом же свидетельствует и то, что он не понял, что присуждение ему Нобелевской премии не является фактом содействия развитию культуры и искусства, а лишь политическим актом борьбы с коммунизмом. Разве этого можно не понять? Б. Пастернак совсем не так наивен, как многие из нас думают.

Некоторые товарищи высказывали мысль, что для западного читателя «Доктор Живаго» не так уж интересен, — эмигрантская печать публиковала о нашей стране и о нашем народе вещи еще похлеще. Кроме того, «Доктор Живаго» это вещь о двадцатых годах, по существу, весьма мало интересных, — но эта книга в целом является орудием холодной войны против коммунизма... Разве не мог он это не понять, считая себя таким высоким интеллектом, этой простой, элементарной вещи?

Сейчас идет разговор — поскольку он является внутренним эмигрантом, то не стоит ли ему стать на самом деле эмигрантом? В связи с этим мне вспомнилась такая аналогия. Когда наша партия критиковала ревизионистскую политику Югославии, то были разговоры — а вдруг она окончательно шатнется и уйдет в тот лагерь. И мудрый Мао Дзе-дун в устном выступлении сказал, что этого никогда не будет потому, что американцам нужно, чтобы она была в нашем лагере.

И вот Пастернак, когда станет настоящим эмигрантом, — он там не будет нужен. И нам он не нужен, и о нем скоро забудут. Когда какая-нибудь американская миллионерша попадет в автомобильную катастрофу, то будут о ней шуметь, а Пастернака совершенно забудут. Вот тут и будет для него настоящая казнь. Он там ничего не сможет рассказать интересного, и через месяц его выбросят как съеденное яйцо, как выжатый лимон. И тогда это будет настоящая казнь за предательство, которое он совершил.

<...>

С. Баруздин:

Товарищи, завтра исполняется неделя, как наш народ узнал о деле Пастернака, и вот об этом стоит сказать, потому что народ в том понятии, в каком мы понимаем советского человека, не знал Пастернака как писателя. Он узнал его как предателя. И нет ничего более страшного для человека, для писателя быть узанным своим народом на 41-м году жизни Советской власти только как предатель. Вот самое позорное, что есть в Пастернаке.

Два слова о письме Пастернака. Товарищи, что можно говорить о человеке,

который черным по белому в суровый час своей жизни пишет: «...честь, оказанную мне, современному писателю, живущему в России и, следовательно, советскому...» Вот все, что есть советского в Пастернаке, только то, что он живет в России, где есть Советская власть. Пастернак об этом сам сказал, и наверняка это письмо будет известно за пределами нашего собрания. Что можно после этого требовать? Есть хорошая русская пословица: «Собачьего нрава не изменишь». Мне кажется, что самое правильное — обратиться Пастернаку из нашей страны поскорее. (Аплодисменты).

<...>

Л. Мартынов:

Товарищи, я вижу, что у нас, здесь присутствующих, не расходятся мнения в оценке поведения Пастернака. Все мы хотели помочь Пастернаку выбраться из этой так называемой башни из слоновой кости, но он сам не захотел из этой башни на свежий воздух настоящей действительности, а захотел в клоаку.

Вопрос ясен. Что тут я могу добавить? Несколько дней назад мы были в Италии, в той стране, где впервые был опубликован роман и где люди, таким образом, имели время с ним ознакомиться, о нем подумать, в нем разобраться. И действительно, когда во Флоренции один научный работник в беседе со мной резко высказался против романа, сказал, что Пастернак ничего не понял в том, что произошло в мире, не захотел понять Октябрьской революции — можно было подумать, что это личное мнение одного итальянца. Но когда в Риме в многолюдном зале большинство присутствующих встретило аплодисментами нашу советскую оценку всего этого дела и когда многие повставали с мест и пошли, не желая слушать запутанных возражений нашего оппонента (кстати, единственного), когда люди разных возрастов и профессий окружили нас, выражая одобрение, то не было никакого сомнения в этой оценке. Я уверен, что так дело обстоит и будет обстоять повсюду. Живые, стремящиеся к лучшему будущему люди, не за автора «Доктора Живаго». Если Пастернаку и кружит голову сенсационная трескотня известных органов заграничной печати, то большинство человечества эта шумиха не обманет, и, как правильно заметил Солоухин, интерес к этой сегодняшней, вернее, уже вчерашней сенсации вытеснится иной сенсацией, но интересы, симпатии к нашей борьбе за лучшее будущее, за благополучие человечества не остынут, а будут расти с каждым днем.

Так пусть Пастернак останется со злопыхателями, которые льстят ему премией, а передовое человечество есть и будет с нами.

<...>

Б. Полевой:

Товарищи! Мне нет надобности повторяться потому, что все товарищи, которые прошли через эту трибуну, в выводах своих сказали то, что я наметил для того, чтобы сказать здесь. Мне только хочется сказать вам, как человеку, которому по роду своих писательских обязанностей приходится слушать и читать записи зарубежных передач, о том, как в стане самых оголтелых врагов оценивается роман Пастернака и его награждение.

Вот заметка «Голоса Америки» — «Антикоммунист в коммунистическом лагере». Вот заглавие из западногерманского журнала «Дер Штерн» — «Самый большой удар по коммунизму». Вот заглавие из приложения к «Нью-Йорк Таймс» — «Крупнейший удар по советской культуре».

Но что же, они люди, которые все это инсценировали, инспирировали, которые поднимали пустую книгу, они знают, что они замышляли и радуются этому делу. Горячая война, которая отшумела, знала своих предателей. Был такой генерал Власов, который вместе со своими приближенными людьми перешел в стан наших врагов, воевал против нас и как предатель закончил свою отвратительную жизнь. Холодная война тоже знает своих предателей, и Пастернак, по существу, на мой взгляд, это литературный Власов, это человек, который, живя с нами, питаясь нашим советским хлебом, получая на жизнь в наших советских издательствах, пользуясь всеми благами советского гражданина, изменил нам, перешел в тот лагерь и воюет в том лагере. Генерала Власова советский суд расстрелял (с места: Повесил), и весь народ одобрил это дело, потому что, как тут правильно говорилось, — худую траву — и с поля вон. Я думаю, что изменника в холодной войне тоже должна постигнуть соответствующая и самая большая из всех возможных кар. Мы должны от имени советской общественности сказать ему: «Вон из нашей страны, господин Пастернак. Мы не хотим дышать с вами одним воздухом». (Аплодисменты).

Источник: «Горизонт»: Общественно-политический ежемесячник. № 9 (454). М. 1988

Грачев Рид
(Вите Рид Иосифович)
(Род. 1935)



Прозаик, поэт, эссеист, переводчик.

Родился в Ленинграде в 1935 г. Вырос без отца. Мать и бабушка погибли в блокадном Ленинграде. Восемь лет Грачев провел в детском доме. С 1949 г. жил в Риге у дяди. В 1953 г. поступил на отделение журналистики филфака ЛГУ. После окончания университета год работал в рижской комсомольской газете. Затем вернулся в Ленинград.

Переводил А. де Сент-Экзюпери и А. Камю.

В 50-е гг. писал короткие рассказы, которые не публиковались. Оказал большое влияние на поэтов ленинградской поэтической группы «Горожанин» (В. Марамзин, И. Ефимов). Его творческая жизнь прекратилась к концу 60-х годов по причине душевной болезни.

В 1967 г. опубликован сборник рассказов «Где твой дом». Некоторые произведения печатались в эмигрантских журналах. В 1994 г. в Москве вышел сборник стихотворений и эссе «Ничей брат».

ПОЧЕМУ ИСКУССТВО НЕ СПАСЕТ МИР

Такая постановка вопроса может казаться странной: ходячая истина «искусство спасет мир» если и вспоминается, то в шутку, однако, серьезность отношения к искусству, огромность аппарата, ведающего художественным творчеством, наконец, нетерпимость к иным творческим принципам, иным языкам в искусстве, даже в развитии принципов реализма, унаследованного от русского XIX века, могут быть объяснены только верой в спасительный смысл творческого труда.

Нельзя же допустить, что все люди настолько глупы, настолько ограничены, настолько злы, чтобы вкладывать в дело искусства всю свою «жизненную силу», отдавать ему жизнь, следуя одному и тому же узкому принципу, подавляя все, что возникает вокруг него! Вокруг — это сказано не ради гладкого стиля: человек, заблудившись в лесу, не должен ставить себе цель выбраться из леса, движимый этой целью, он вернется на прежнее место, описав круг. Нельзя также допустить, что люди настолько безумны, чтобы ставить самим себе цель выбраться откуда угодно. Однако, круг замыкается на наших глазах: если не формализм, не абстракция, не художественный произвол (окружение главного пути), то содержательность, конкретность и закономерность в творчестве. Если одни сеют плевелы, а другие — пшеницу, то, конечно же, нужно изгнать сеятелей сорняков и продолжать сеять пшеницу. Пшеница спасает мир. Духовный мир спасает духовная пшеница.

Мне бы хотелось в этой статье сыграть роль агронома, выйти на поле, где посеяна духовная пшеница. Прошу пока что поверить мне на слово: поле пусто, поле сухо, поле черство. Пшеница не проросла. Почему? На этот вопрос ответить легко: она не проросла потому, что у нее нет зародышей. Не то, чтобы они были убиты, — их просто нет. Как агроном, я озабочен вопросом: почему нет зародышей? Виновата ли в этом поле, почва или сеятели, или сама пшеница? Я знаю, что на этом поле сеяли, что пшеница всходила и давала урожай. Сеяли слово — всходила мысль. Мысль вела к действию. Можно разобраться в качестве и происхождении прежних удач. Для этого нужно отправиться туда, где они начинались.

Может быть, дальнейшее рассуждение покажется специалистам спорным, но, может быть, в конечном счете оно убедит и неспециалиста. Решение вопроса представляется мне более важным по своим общечеловеческим последствиям, чем этого можно от вопроса ожидать. Доводы, которыми я буду пользоваться, не заимствованы ниоткуда, хотя, возможно, в тех или иных сочетаниях они возникали у каждого, кто задумывался над характером современной литературы и писал об этом.

Я вижу следующие вехи в истории слова как общечеловеческого явления: во-первых, развитие способности к индивидуальному мышлению после Периклова века у древних греков, где тираны издали закон против Сократа: «не учить искусству говорить». Эта линия создала философию личности от Платона до Плотина и Парменида — привела ко времени зарождения христианства. Вторая линия спускалась из Иудеи, от библии и на границах трех национальных культур — греческой, римской и иудейской — создала идейный сплав, из которого родилась первая «Общечеловеческая» книга — Евангелие. Побочным продуктом этого слияния было появление Корана. Пока на основе «священного писания» распространялась письменность, средиземноморская культура переживала упадок, формировалась средневековая Европа, грозя самой себе безвыходным тупиком. Выходом из этого тупика стало Возрождение.

Хочу обратить внимание на основной факт: наше время есть прямое развитие, продолжение и повторение эпохи Возрождения, ее размножение как духовной нормы, попытка строительства общечеловеческой духовной культуры. Эта попытка заведомо обречена на неуспех: Возрождение не было первым шагом на пути освобождения человечества; оно было единственным успешным шагом внутри христианского человечества, где от человека до богов лежит бесконечный космический путь совершенствования.

Возрождение целиком выразилось в попытке человека одним прыжком преодолеть это воображаемое пространство. Христианская идея предопределила здесь и направление, и характер освобождения, но в ее жестком и ограниченном законе по-прежнему бились свойства собственно человеческие. Последующие поколения запомнили единственное чисто человеческое чувство, освобожденное в Возрождении: радость жизни. На «запахе» этого чувства они пронесли с собой до сего дня все уродливо-человеческое и бесчеловечное, вместе с потребностью вочеловечиться — орудия освобождения, которые сделали жизнь человека Возрождения трагической.

Главное уродство Возрождения — выделение личной «Жизненной силы» как содержания жизни и орудия творчества. Христианская атмосфера сделала возможным ужасающее нас отношение между человеком и природой: природа есть высшая творческая сила вне человека, и человек должен с нею сравняться в искусстве. С этого момента естественность человека исчезает, все есть искусство, и задача человека — стать таким же творцом, как природа. Смысл его жизни: выращивать духовную пшеницу на воображаемом поле и удовлетворяться плодами своего собственного труда. Человек должен сравняться с природой и в могуществе — творец всемогущ. Он употребляет свое искусство, чтобы овладеть силами природы: он должен стать прекрасным и могущественным богом — претворить свою низменную природу. Только такой идеал и только такое самоунижение человека, как отправная точка развития, делают возможным такое движение.

Человек, понятный по Возрождению и утверждающийся по его логике, непрерывно колеблется между «низким» и «высоким». Возможность вочеловечиться, вернуть себе нравственную самостоятельность заведомо исключена. Утверждая себя в силе, он обязывает всех принять данный им закон и распространяет психическую неустойчивость как объективную норму человеческого существования. Возникает «естественный» отбор: выживают самые сильные особи — они продолжают логику поведения «князей» той эпохи (самое понятие «великого человека» в любой из областей копирует князя и гения, короля и художника при нем) — и самые изворотливые (те же князья и торговцы, умножающие свои богатства за счет чужого труда).

Тотальное уничтожение естественности вызывает естественную реакцию: естественность не может уже существовать сама по себе, путь к общечеловеческому полностью закрыт, реакция может быть выражена только в слове. Появляются «титаны» Возрождения: Сервантес обнаруживает бессмысленность нравственного, то есть собственно человеческого величия. Шекспир выкрикивает трагедию человека, считающего себя царем, трагедию любви как невозможной естественности. Путь к воцарению идет через убийства, торжество царствования омрачается предчувствием смерти, обрывается смертью. Эпоха не знает любви: это или шотландская близость, или «протест вдвоем» против бесчеловечного хода жизни. Ромео и Джульетта не любят друг друга: они вместе радуются жизни, пока другие жизнерадостные особи не отнимают у них жизнь. Подлинная любовь — не разделена.

Меня могут обвинить в искажении картины, принято считать, что Возрождение — все в борьбе старого нравственного принципа в новом и в утверждении нового. Так рассуждают современные попы Возрождения. «Новый нравственный принцип» претендует на всечеловечность, но даже в своих вершинных проявлениях он извивается в противоречиях. Гениальный ремесленник Леонардо (гениальность — максимальная «сила жизни», искусство — мастерское ее воспроизведение) видит божественность, он способен ощутить и выразить ее, он знает дистанцию между собой и совершенным человеком, он полон сил, но он умирает, не оставив нам пути, на котором можно достигнуть совершенства. Умирает тот Леонардо, который понимал, что людям нельзя давать в руки средства уничтожения, умирает кроткий Леонардо, всегда уступавший наглецу

Микеланджело — смертен в этой истории изуродованный эмбрион человеческой личности Леонардо, а тот Леонардо, изобретения которого — от пулеметов до отравляющих веществ и аэропланов — были развиты и с успехом применены в двух уже мировых войнах — не умер! Вот тот «бессмертный» нравственный принцип, который на протяжении четырех веков бесчинствует на земле, превращая живых в рабов машин и умножая трупы!

Думаю, что этого примера достаточно и для того, чтобы понять, почему современный мир судорожно вцепляется в духовный опыт Возрождения, пытается машинными средствами (тирании) отделить реальность человеческих отношений эпохи от ее творческих проявлений и навязать самому себе эту «лучшую» сторону ограниченной, уродливой, смертной эпохи. С одной стороны — мертвое имущество Возрождения, с другой — смертный принцип человеческих отношений, которым мы пользуемся как орудием, будто бы способным избавить нас от «багажа». Неужели никто не чувствует, что в современном искусстве, взятом в его лучших проявлениях и в принципах, с нами говорит, нас молит и нам сочувствует Творение Человеческих Рук, которому подчинены и сердце человека, и его жизнь?

Мы бы, наверное, раньше избавились от этого чудовищного наваждения, если бы не одно немаловажное обстоятельство, о котором речь пойдет ниже. Буржуа — «человек при предмете», бодрый или страдающий — явление исключительно западное, обнаженное, очевидное. Он — окончательный продукт цивилизации, возникшей на христианском Возрождении. Гибель произойдет не оттого, что идея бога станет невозможной, а оттого, что человек полностью утратит свойство нравственной самостоятельности. На этот процесс, на движение к погибели, на проникновение этого тлетворного духа с тревогой смотрела Россия глазами своей литературы.

Здесь важно с самого начала отделить самое проявление от души народа, чтобы не спутать одно с другим, как это делает на протяжении полувека наука о литературе. Все отличие русской классической литературы от европейской, шедшей по следам Возрождения и все более уклонявшейся от нравственной реакции на чудовищное историческое событие к самовыражению личности дохристианского типа (Сократ, Платон и т.д.), в том, что она-то была реакцией на чуждую культуру, и не просто на чуждую, а на чужую, потому что бесчеловечную (прошу не путать с выражением «негуманную»).

Европейскому «дару» подражания природе Россия, естественно, вынужденно противопоставила нравственную одаренность, то самое нравственное величие, над возможностью которого насмеялся иезуит Сервантес. Если Шекспир писал для того, чтобы поправить нравственный вывих человеку Возрождения, то Пушкин, еще более Лермонтов, еще более Гоголь, и, наконец, вполне отчетливо — Достоевский, Толстой и меньше Чехов писали потому, что вторжение средиземноморского бешенства и бесовства ранило их общечеловеческую душу, и только поэтому они были народны. Достоевский не равен Шекспиру — он неизмеримо выше его: Шекспир исправляет нравы царя, а Достоевский защищает Человека от царскости.

Русская литература невольно оказалась последним словом уродливой культуры Возрождения: она показала человеческий взгляд на корчи царя и бога,

каковым вообразил себя охристианенный язычник, обитатель Европы. Страдающая старуха почувствовала это почти немедленно и вспоминала этот целебный источник всякий раз, когда наносила себе очередное увечье. Но — чтобы оправиться для следующего пароксизма — Россия не могла исцелить дух Европы и потому, что ее нравственное творчество сталкивалось с вневременным, страдающим от собственной «гениальности» ремесленником, и потому, что этот делец уже въелся в Россию настолько, что даже Блоку, усвоившему русскую правду из первых рук, виделась «Америки новой звезда» над страной, настолько сам он уже был обезчеловечен. Но главное: Европа и Азия осознанно шли от слова к душе, Россия неосознанно — от души к слову.

Французская еврейка Симона Вайль и французский породнившийся с трудом граф Сент-Экзюпери в своих индивидуальных библиях как символ веры записывали: «Надо, чтобы ребенок не плакал» (Вайль), «Пусть утешится маленькая девочка» (Сент-Экзюпери). Узнаете? Это так переведено на язык европейской души — «чтоб не плакало дите»! Еще горше дите заплачет от таких переводов, еще горше плачет от перевода общечеловеческой его души в душу европейскую и американскую. Этот «перевод» происходил на грани двух веков, перед революциями. В мелком, мизерном дележе «культурного наследия», происходившем в журнальчиках больших городов, была еще какая-то тень человеческого смысла: опираясь на русскую литературу, Мережковские, Розановы, Брюсовы выставляли напоказ свои «я», рылись в ней, воюя со своими притеснителями — с теми, кто пытался возвести русскую классику в символ веры буржуазного правопорядка. И вопрос шел о том же, о чем шел он в последние годы: о реализме.

Если «охранители», понимая и эксплуатируя «целебность» классической литературы, настаивали на школьном преклонении перед книгами (а не на внимании к их нравственному смыслу, что, к примеру, помогло бы многим ощутить, что нос у человека может быть органом тщеславия), то «личности» кривлялись, как школьники за спиной учителя, радуясь тому, что могут кривляться наконец открыто, и выискивали у Толстого смачные подробности, и исследовали, был ли Гоголь некрофилом, и возмущались Достоевским — у него, видите ли, в одной сцене три истерики — разве это реализм?

Кто убил народную душу? Кто превратил школу, печать, огромный издающий аппарат в памятник русской литературе — кровавой ране русской души? Человеческой души, потому что нигде больше ее не видно, все без нее страдают умиранием, корчатся, кричат? Человек Возрождения — индивидуальный или коллективный, поселившийся в нас. Без нее, без ее всекрещения, без возврата к ней человечество ожидает неподвижность в страдании, обнаженное предчувствие смерти — ибо Царь умирает! Можно называть современные освободительные движения социалистическими, и это будет заблуждением: везде, пробужденный, встает «новый Князь» Макиавелли, ищущий нового могущества, радующийся жизни как свободе убивать... Но у физической силы, возведенной в принцип жизни, есть предел: физическая энергия человека исчерпаема. Никакой, даже самый искусный, Князь не минует смерти. Никакая, даже самая искусная, машина человеческого общежития не продержится дольше, чем может выдержать человеческое отвращение к самому себе.

Ханжи ждут гения. Понимая всю противоречивость, всю отвратительность своего бюрократического прозябания, они ждут барина, который приедет и рассудит их. Человек Возрождения восстал против Бога. Устрашившись себя самого, он будет покорно ждать своего хозяина и порки... Но нет ни бога, ни дьявола, есть жизнь и есть смерть. Нет жизни после смерти, но есть смерть при жизни. Есть умирание и есть болезнь. От болезней нужно лечиться. Мы внимаем гаерству заезжих «ученых»: мелодраматический вопль о том, что Америка гибнет от себя самое, говорит нам больше, чем наша совесть. Приятно смотреть на чужую смерть — все-таки не своя. А, между тем, из положения, где человек становится жертвой своих потребностей, рабом своего брюха и тела, есть простой, индивидуальный выход, которого Америка не знает, потому что нигде не была Россией: задний ход. Страдаешь от потребностей, от учреждений, от машин — страдай от собственной бесчеловечности и никому не жалуйся на несчастье, выбирайся из ямы, в которую залез. Несчастье не сближает. Люди родные не потому, что счастливы или несчастны, а потому, что — люди.

Америка никогда не была Россией, но мы-то — были! Все, что есть в нас от американцев, от французов, от немцев, от китайцев, от первобытной дикости нашей — сливается. Как бы нам не оказаться без родины самим! Туда смотрим. И все же ничего родного, кроме нашей души, у нас нет. Кибернетика скоро высчитает нам нашу душу, и мы в цифрах увидим, чем отличалась покойница от наших обновок. В Америке нет уже «измов» — есть «талант» и «успех». То же и во Франции. Наши тамошние «друзья» снисходительно критикуют наш «реализм» и делают вид, что честно борются с нашими культурными недостатками. Буржуа честен, спору нет. Он сам не может жить по-человечески, но в теории сведущ. А мы можем жить по-человечески и поэтому не живем никак, завидуем буржуям, отнимаем у детей право быть человеком.

А я думаю об уходе Толстого. К этому физическому движению на поверхности земли, к смертному ходу его толкнуло раздвоение: шел Царь, «великий человек», умирал — Человек. Все великие русские писатели принесли себя в жертву человеку Возрождения, то есть олицетворенной смерти, чтобы сохранить для людей нравственный смысл их будущих жизней. Человек Возрождения — самоубийца потому, что он «так хочет», русский писатель — самоубийца тогда, когда не пускает на родину Человека — человека Возрождения. Во время Отечественной войны прямые потомки Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Толстого и Достоевского, и Чехова, и Вл. Соловьева, и Всея Руси бросались грудью на пулеметы, изобретенные в XVI веке Леонардо да Винчи!

...А мы организованно обрабатываем «таланты», чтобы они лгали! Заменяем живое нравственное мертвым социальным. «Переводим» добро на дерьмо, как еще, слава богу, в народе говорят. Я обращаюсь к человеческой совести каждого причастного к литературному делу человека: речь идет не о пустяках. На нашем духовном поле сохнут бесплодные семена. Рядом, страдая от самих себя, произрастают плевелы. Никто из ныне пишущих не заслуживает эпитафии на могиле Достоевского. Смысл титанической защиты и утверждения Человека в русской литературе перестал быть общественным фактом. Нравственное одиочание русских людей сближает их с уродливым плебсом с берегов Средиземно-

го моря, со страдающими «гениальными» хищниками, которым скоро исполнится назначенный им Богом срок. Неужели мы позволим увлечь в грозящий разверзнутый ад — в какой бы форме он ни возник — самое ценное, что родилось и взросло на планете Земля? Неужели космическая беда человечества, пришедшего к нам с надеждой об исцелении, увидит на месте нашей души зеркало, в котором отразится ее харя?

Источник: журнал «Современник» (<http://www.sovremennik.com>)

Синявский
Андрей Донатович
(Абрам Терц)
(1925–1997)



Литературовед, писатель, критик.

Родился в Москве. Во время войны служил радиомехаником на военном аэродроме. После демобилизации учился на филологическом факультете МГУ. В 1952 г. защитил кандидатскую диссертацию. Работал в отделе советской литературы Института мировой литературы, преподавал в университете, в школе-студии МХАТа. Литературоведческие и искусствоведческие статьи А. Синявского печатались в периодической прессе, в том числе в наиболее прогрессивном журнале того времени «Новый мир». С середины 50-х годов печатается за границей под псевдонимом Абрам Терц. Осенью 1965 г. был арестован вместе с Ю. Даниэлем и в феврале 1966 г. осужден на семь лет. Процесс над двумя «отщепенцами», «оборотнями», «перевертышами», «двурушниками» и «изменниками родине», как их называла услужливая пресса и угодливые коллеги по писательскому цеху, явился уникальным почти во всем:

суд хотя бы частично был открытым — кроме негодующих представителей рабочих, крестьян и советской, главным образом, творческой интеллигенции, в зал смогли попасть люди с риском для себя делавшие записи, которые затем легли в основу «Белой книги по делу А. Синявского и Ю. Даниэля» (см. т. 2, стр. 422), составленную в 1966 году Александром Гинзбургом, вскоре поплатившимся за это лагерным сроком;

подсудимые, едва ли не впервые в нашей истории, не признали себя виновными и открыто отстаивали свое право как на инакомыслие, так и на открытое его выражение в любой форме, в том числе и печатании своих произведений за границей;

как в суд, так и в прессу было посланы десятки писем и телеграмм в поддержку подсудимых, причем авторы писем открыто называли себя, за что многие в последствии, так или иначе, пострадали.

По отсидке более двух третей срока в Мордовских лагерях, Синявский эмигрировал и поселился во Франции. Скончался он в 1997 г.

Основные произведения:

Книги о Пикассо, в соавторстве с И. Голомштоком (1960), «Поэзия первых лет революции» в соавторстве с А. Меньшутиным (1964), предисловие к сборнику Б. Пастернака «Стихотворения и поэмы» (1965), вышедшему буквально в момент ареста в Большой серии «Библиотеки поэта» и мгновенно ставшей раритетом, так как в большей части тиража предисловие было вырезано.

С 1955 по 1963 гг. были написаны рассказы «В цирке», «Ты и я», «Квартиранты», «Графоманы», «Гололедица», «Пхенц», повести «Суд идет», «Любимов», мини монография «Что такое соцреализм?» опубликованные за границей под псевдонимом Абрам Терц.

В лагере были написаны «Прогулки с Пушкиным» (1966-1968), «Голос из хора» (1966-1971), начата «В тени Гоголя» (1970-1973), опубликованные за границей соответственно в 1975, 1973, 1975 годах.

В эмиграции написаны «Опавшие листья» В.В. Розанова» (1982), роман «Спокойной ночи» (1984) и множество критических статей в издаваемом совместно со своей женой, М.В. Розановой, с 1978 г. журнале «Синтаксис».

Первые публикации на родине:

«Цена метафоры или преступление и наказание Синявского и Даниэля» М.: «Юнона», 1990; Абрам Терц (Андрей Синявский). Собрание сочинений в двух томах. М.: Старт, 1992.

ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

Что такое социалистический реализм? Что означает это странное, режущее ухо сочетание? Разве бывает реализм социалистическим, капиталистическим, христианским, магометанским? Да и существует ли в природе это иррациональное понятие? Может быть, его нет? Может быть, это всего лишь сон, пригрезившийся испуганному интеллигенту в темную, волшебную ночь сталинской диктатуры? Грубая демагогия Жданова или старческая причуда Горького? Фикция, миф, пропаганда?

Подобные вопросы, как мы слышали, возникают частенько на Западе, горячо обсуждаются в Польше, имеют хождение и в нашей среде, возбуждая ретивные умы, впадающие в ересь сомнения и критиканства.

А в это самое время советская литература, живопись, театр, кинематография надрываются от усилий доказать свое существование. А в это самое время миллиардами печатных листов, километрами полотна и пленки, столетиями часов исчисляется продукция социалистического реализма. Тысячи критиков, теоретиков, искусствоведов, педагогов ломают голову и напрягают голос, чтобы обосновать, разъяснить и втолковать его материалистическую сущность и диалектическое бытие. И сам глава государства, Первый секретарь ЦК, отрывает себя от неотложных хозяйственных дел, чтобы высказать веское слово по эстетическим проблемам страны.

Наиболее точное определение социалистического реализма дано в уставе Союза советских писателей: «Социалистический реализм, являясь основным методом советской художественной литературы и литературной критики, требует от художника правдивого, исторически-конкретного изображения действительности в ее революционном развитии. При этом правдивость и историческая конкретность художественного изображения действительности должны сочетаться с задачей идейной переделки и воспитания трудящихся в духе социализма».

Эта невинная формула служит тем фундаментом, на котором воздвигнута все здание социалистического реализма. В ней заключены и связь социалистического реализма с реализмом прошлого, и его отличие, новое качество. Связь состоит в правдивости изображения: отличие — в умении улавливать революционное развитие жизни и воспитывать читателей и зрителей в соответствии с этим развитием — в духе социализма.

Старые, или, как их часто называют, критические реалисты (за то, что они критиковали буржуазное общество) — Бальзак, Лев Толстой, Чехов — правдиво изображали жизнь, как она есть. Но они не знали гениального учения Маркса, не могли предвидеть грядущих побед социализма и уж во всяком случае не имели понятия о реальных и конкретных путях к этим победам.

Социалистический же реалист вооружен учением Маркса, обогащен опытом борьбы и побед, вдохновлен неослабным вниманием своего друга и наставника — коммунистической партии. Изображая настоящее, он слышит ход истории, заглядывает в будущее. Он видит недоступные обыкновенному глазу «зримые черты коммунизма». Его творчество — это шаг вперед по сравнению с искусством прошлого, самая высокая вершина в художественном развитии человечества, наиреалистичнейший реализм.

Такова в нескольких словах общая схема нашего искусства — удивительно простая и вместе с тем достаточно эластичная, чтобы вместить и Горького, и Маяковского, и Фадеева, и Арагона, и Эренбурга, и сотни других больших и маленьких социалистических реалистов. Но мы ничего не поймем в этой концепции, если будем скользить по поверхности сухой формулы и не задумаемся в ее глубокий сокровенный смысл.

В основе этой формулы — «правдивое, исторически-конкретное изображение действительности в ее революционном развитии» — лежит понятие цели, того всеохватывающего идеала, по направлению к которому неуклонно и революционно развивается правдиво изображаемая действительность. Запечатлеть движение к цели и способствовать приближению цели, переделывая сознание читателя в соответствии с этой целью, — такова цель социалистического реализма — самого целенаправленного искусства современности.

Цель — коммунизм, известный в юном возрасте под именем социализма. Поэт не просто пишет стихи, а помогает своими стихами строительству коммунизма. Это так же естественно, как и то, что рядом с ним аналогичным — целом занимаются скульптор, музыкант, агроном, инженер, чернорабочий, милиционер, адвокат и прочие люди, машины, театры, пушки, газеты.

Как вся наша культура, как все наше общество, искусство наше — насквозь телеологично. Оно подчинено высшему назначению и этим облагорожено. Все мы живем в конечном счете лишь для того, чтобы побыстрее наступил Коммунизм.

<...>

...Независимо от того, как произошел человек, его появление и судьба неотделимы от Бога. Это высшее понятие цели, доступное если не нашему пониманию, то хотя бы нашему желанию, чтобы такая цель была. Это конечная цель всего, что есть и чего нет, и бесконечная (и, вероятно, бесцельная) цель в себе. Ибо какие могут быть цели у Цели?

В истории есть периоды, когда присутствие Цели становится очевидным, когда мелкие страсти поглощаются стремлением к Богу, и Он начинает в открытую призывать к себе человечество. Так возникла культура христианства, уловившая Цель, быть может, в ее наиболее недоступном значении. Затем эпоха индивидуализма провозгласила Свободную личность

и принялась поклоняться ей как Цели, с помощью ренессанса, гуманизма, сверхчеловека, демократии, Робеспьера, сервиса и многих других молитв. Теперь мы вступили в эру новой всемирной системы — социалистической целесообразности.

С ее мыслимой вершины льется ослепительный свет. «Воображаемый мир, более материальный и соответствующий человеческим потребностям, чем христианский рай...» — так однажды назвал коммунизм советский писатель Леонид Леонов.

У нас не хватает слов, чтобы рассказать о коммунизме. Мы захлебываемся от восторга и, чтобы передать ожидающее нас великолепие, пользуемся в основном отрицательными сравнениями. Там, в коммунизме, не будет богатых и бедных, не будет денег, войн, тюрем, границ, не будет болезней, и может быть, даже смерти. Там каждый будет есть, сколько захочет, и работать, сколько захочет, и труд вместо страданий принесет одну радость. Как обещал Ленин, мы сделаем клозеты из чистого золота... Да что тут говорить:

Какие краски и слова нужны,
Чтоб те высоты увидеть смогли вы?
— Там проститутки девственно-стыдливы
И палачи, как матери, нежны.

Современный ум бессилён представить что-либо прекраснее и возвышеннее коммунистического идеала. Самое большее, на что он способен, это пустить в ход старые идеалы в виде христианской любви или свободной личности. Но выдвинуть какую-то цель посвежее он пока что не в состоянии.

Западный либерал-индивидуалист или русский интеллигент-скептик в отношении социализма находятся примерно в той же позиции, какую занимал римский патриций, умный и культурный, в отношении побеждающего христианства. Он называл новую веру в распятого Бога варварской и наивной, смеялся над сумасшедшими, что поклоняются кресту — этой римской гильотине, и считал бессмыслицей учение о Троице, непорочном зачатии, воскресении и т. п. Но высказать сколько-нибудь серьезные аргументы против идеала Христа как такового было свыше его сил. Правда, он мог еще утверждать, что лучшее в нравственном кодексе христианства заимствовано у Платона (современные христиане тоже иногда говорят, что свою благородную цель коммунисты прочитали в евангелии). Но разве мог он заявить, что Бог, понятый как Любовь и Добро, — это плохо, низко, безобразно. И разве можем мы сказать, что всеобщее счастье, обещанное в коммунистическом будущем, — это плохо?

Иль я не знаю, что в потемки тычась,
Вовек не вышла б к свету темнота,
И я — урод, и счастье сотен тысяч
Не ближе мне пустого счастья ста?

Борис Пастернак

Мы бессильны устоять перед чарующей красотой коммунизма. Мы живем слишком рано, чтобы выдумать новую цель, чтобы выскочить из себя — в коммунистические дали.

Гениальное открытие.

<...>

Телеологическая сущность марксизма наиболее очевидна в статьях, выступлениях и трудах его позднейших теоретиков, внесших в марксову телеологию четкость, ясность и прямоту военных приказов и хозяйственных распоряжений. В качестве образца можно привести рассуждения Сталина о назначении идей и теорий — из четвертой главы Краткого курса истории ВКП (б):

«Общественные идеи и теории бывают различные. Есть старые идеи и теории, отжившие свой век и служащие интересам отживающих сил общества. Их значение состоит в том, что они тормозят развитие общества, его продвижение вперед. Бывают новые, передовые идеи и теории, служащие интересам передовых сил общества. Их значение состоит в том, что они облегчают развитие общества, его передвижение вперед...»

Здесь каждое слово проникнуто духом целесообразности. Даже идеи, не способствующие продвижению к цели, имеют свое назначение — препятствовать продвижению к цели (вероятно, подобное назначение когда-то имел Сатана). «Идея», «надстройка», «оазис», «закономерность», «экономика», «производительные силы» — все эти отвлеченные, безличные категории вдруг ожили, приобрели плоть и кровь, уподобились богам и героям, ангелам и демонам. Они возымели цели, и вот со страниц философских трактатов и научных исследований зазвучали голоса великой религиозной Мистерии: «Надстройка для того и создается базисом, чтобы она служила ему»...

Здесь дело не только в специфическом обороте языка Сталина, которому мог бы позавидовать автор Библии. Телеологическая специфика марксистского образа мысли толкает к тому, чтобы все без исключения понятия и предметы подвести к Цели, соотносить с Целью, определить через Цель. И если история всех времен и народов есть лишь история прихода человечества к коммунизму, то и всемирная история человеческой мысли, собственно говоря, для того и существовала, чтобы возник «научный материализм», то есть марксизм, т. е. философия коммунизма. История философии, провозгласил Жданов, «является историей зарождения, возникновения и развития научного материалистического мировоззрения и его законов. Поскольку материализм вырос и развился в борьбе с идеалистическими течениями, история философии есть также история борьбы материализма с идеализмом». Разве не слышится в этих гордых словах возглас самого Бога: «Вся история мира есть история Меня, а поскольку Я утвердился в борьбе с Сатаной, история мира есть также история Моей борьбы с Сатаной!»

И вот она встала перед нами — единственная Цель мироздания, прекрасная, как вечная жизнь, и обязательная, как смерть. И мы кинулись к ней, ломая преграды и бросая по пути все, что могло замедлить наш стремительный бег. Мы освобождались без сожаления от веры в загробный мир, от любви к ближнему, от свободы личности и других предрассудков, достаточно подмо-

Современные христиане, оскоромившись духом индивидуализма с его свободными выборами, свободной конкуренцией, свободной печатью, порой злоупотребляют выражением «свобода выбора», которую нам якобы предоставил Христос. Это звучит как незаконное заимствование из парламентарной системы, с которой они свыклись, но которая не похожа на царство Божие, хотя бы потому, что в раю не выбирают ни премьера, ни президента.

<...>

Произведения социалистического реализма весьма разнообразны по стилю и содержанию. Но в каждом из них присутствует понятие Цели в прямом или косвенном значении, в открытом или завуалированном выражении. Это либо панегирик коммунизму и всему, что с ним связано, либо сатира на его многочисленных врагов, либо, наконец, — всякого рода описания жизни, «в ее революционном развитии», т. е. опять-таки в движении к коммунизму.

Советский писатель, избрав объектом творчества какое-либо явление, стремится повернуть его в определенном ракурсе, вскрыть заключенные в нем потенции, указывающие на прекрасную цель и наше приближение к цели. Поэтому большинству сюжетов, бытующих в советской литературе, свойственна удивительная целеустремленность. Они развиваются в одном, заранее известном направлении, которое имеет разные вариации и оттенки в зависимости от места, времени, жизненных обстоятельств и проч., но неизменно в своем основном русле и в своем итоговом назначении — еще и еще раз напомнить о торжестве коммунизма.

В этом смысле каждое произведение социалистического реализма еще до своего появления обеспечено счастливым финалом, по пути к которому обыкновенно движется действие. Этот финал может быть печальным для героя, подвергающегося в борьбе за коммунизм всевозможным опасностям. Тем не менее он всегда радостен с точки зрения сверхличной цели, и автор от своего имени или устами умирающего героя не забывает высказать твердую уверенность в нашей конечной победе. Утраченные иллюзии, разбитые надежды, неисполненные мечты, столь характерные для литературы иных времен и систем, противопоказаны социалистическому реализму. Даже если это трагедия, это «Оптимистическая трагедия», как назвал Вс. Вишневский свою пьесу с гибнущей центральной героиней и с торжествующим коммунизмом в финале.

Стоит сравнить некоторые названия западной и советской литературы, чтобы убедиться в мажорном тоне последней «Путешествие на край ночи» (Селин), «Смерть после полудня», «По ком звонит колокол» (Хемингуэй), «Каждый умирает в одиночку» (Фаллада), «Время жить и время умирать» (Ремарк), «Смерть героя» (Олдингтон), — «Счастье» (Павленко), «Первые радости» (Федин), «Хорошо!» (Маяковский), «Исполнение желаний» (Каверин), «Свет над землей» (Бабаевский), «Победители» (Багрицкий), «Победитель» (Симонов), «Победители» (Чирсков), «Весна в Победе» (Грибачев) и т. д.

Прекрасная цель, по направлению к которой разворачивается действие, иногда непосредственно выносится в конец произведения, как это блестяще делал Маяковский, все свои крупные вещи, созданные после революции, заканчивая словами о коммунизме или фантастическими сценами из жизни бу-

дущего коммунистического государства («Мистерия-Буфф», «150.000.000», «Про это», «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!», «Во весь голос»). Горький, писавший в советские годы в основном о дореволюционном времени, большинство своих романов и драм («Дело Артамоновых», «Жизнь Клима Самгина», «Егор Булычев и другие», «Достигаев и другие») заканчивал картинами победоносной революции, которая была великой промежуточной целью на пути к коммунизму и конечной целью для старого мира.

Но даже в тех случаях, когда произведения социалистического реализма не имеют столь великолепной развязки, она содержится в них сокровенно, иносказательно, притягивая к себе развитие характеров и событий. Например, многие наши романы и повести посвящены работе какого-нибудь завода, строительству электростанции, проведению сельскохозяйственных мероприятий и т. п. При этом хозяйственная задача, выполняемая по ходу сюжета (начали что-то строить — завязка, кончили что-то строить — развязка), изображается как необходимый этап на пути к высшей цели. В таком, целенаправленном виде даже чисто технические процессы приобретают напряженный драматизм и могут восприниматься с большим интересом. Читатель постепенно узнает, как, несмотря на все поломки, станок был пущен в дело, или как колхоз «Победа», вопреки дождливой погоде, собрал богатый урожай кукурузы, и, закрыв книгу, он с облегчением вздыхает, понимая, что нами сделан еще один шаг к коммунизму.

<...>

Не желая уронить себя перед Западом, мы порой перестаем быть последовательными и начинаем рассуждать о разнообразии индивидуальностей в нашем обществе, о богатстве интересов и, соответственно, — о разнообразии разногласий, конфликтов, противоречий, которые якобы должна отражать литература. Разумеется, мы отличаемся друг от друга возрастными, половыми, национальными и даже умственными особенностями. Но всякому, кто придерживается линии партии, должно быть ясно, что все это — разнообразие в пределах единообразия, разногласия в рамках единогласия, конфликты в бесконфликтности. У нас одна цель — коммунизм, одна философия — марксизм, одно искусство — социалистический реализм. Как замечательно выразился один советский писатель, не очень крупный по своему дарованию, но зато безупречный в политическом отношении, — «Россия пошла по своему пути — всеобщего единомыслия»: «Люди тысячи лет страдали от разномыслия. И мы, советские люди, впервые договорились между собой, говорим на одном, понятном для всех нас языке, мыслим одинаково о главном в жизни. И этим единомыслием мы сильны, и в нем наше преимущество перед всеми людьми мира, разорванными, разобщенными разномыслием...» (В. Ильенков. «Большая дорога», 1949 г. Роман удостоен Сталинской премии).

Прекрасно сказано! Да, мы действительно превосходим другие времена и народы по части единомыслия, мы похожи друг на друга и не стыдимся этого сходства, а тех, кто страдает излишним инакомыслием, мы сурово наказываем, изымая из жизни и литературы. В стране, где даже антипартийные эле-

менты признают свои ошибки и желают поскорее исправиться, где даже не-исправимые враги народа просят, чтобы их расстреляли, не может быть существенных разногласий, тем более — между честными советскими людьми и еще тем более — среди положительных героев, которые только и думают о том, как бы распространить повсеместно свои добродетели и перевоспитать последних инакомыслящих в духе единомыслия.

<...>

В лучшем произведении социалистического реализма за последние пять лет — в романе Л. Леонова «Русский лес», который первым в нашей литературе получил Ленинскую премию (введенную недавно правительством вместо Сталинских премий), есть одна замечательная сцена. Отважная девушка Поля с опасным заданием пробирается в тыл врага — дело происходит в Отечественную войну. В целях маскировки ей предписано выдавать себя за сторонницу немцев. В разговоре с гитлеровским офицером Поля некоторое время разыгрывает эту роль, но с большим трудом: ей морально тяжело говорить по-вражески, а не по-советски. Наконец она не выдерживает и открывает свое истинное лицо, свое превосходство над немецким офицером: «Я девушка моей эпохи... пусть самая рядовая из них, но я завтрашний день мира... и вам бы, стоя, стоя следовало со мной разговаривать, если бы вы хоть капельку себя уважали! А вы сидите предо мной, потому что ничто вы, а только лошадь дрессированная под главным палачом... Ну, нечего сидеть теперь, работай... веди, показывай, где у вас тут советских девчат стреляют?»

Тот факт, что своей пышной тирадой Поля губит себя и по сути дела идет вразрез с порученным ей военным заданием, не смущает автора. Он довольно просто выпутывается из создавшейся ситуации: благородное чистосердечие Поля перевоспитывает случайного старосту, который сотрудничал с немцами и присутствовал при этом разговоре. В нем внезапно пробуждается совесть, и он стреляет в немца и, погубив себя, спасает Полю.

Дело, однако, не в этом просветлении старосты, во мгновение ока превратившегося из отсталого в передового. Гораздо важнее другое: возведенная в квадрат неизменяемость, определенность, прямолинейность положительного героя. С точки зрения здравого смысла, поведение Поля может показаться глупостью. Но оно исполнено огромного религиозного и эстетического значения. Ни при каких условиях, даже для пользы дела, положительный герой не смеет казаться отрицательным. Даже перед врагом, которого нужно перехитрить, обмануть, он обязан продемонстрировать свои положительные свойства. Их нельзя скрыть, замаскировать: они написаны у него на лбу и звучат в каждом слове. И вот он уже побеждает врага не ловкостью, не умом, не физической силой, а одним своим гордым видом.

Поступок Поля расшифровывает многое из того, что кажется иноверцам явной натяжкой, глупостью, фальшью, в частности, — склонность положительных героев беседовать на возвышенные темы. Они твердят о коммунизме на работе и дома, в гостях и на прогулке, на смертном одре и на ложе любви. В этом нет ничего противоестественного. Они для того и созданы, чтобы при всяком удобном и неудобном случае являть миру образец целесообразности.

Работая,
мелочь соразмеряй
с великой
поставленной целью.

В. Маяковский

Только люди безжалостно прямые и твердые, как мечи, — только они пробьют...

М. Горький

Такого героя, как этот, еще не было. Хотя советские писатели гордятся великими традициями русской литературы XIX века, которым они всячески желают следовать и отчасти следуют, и хотя их постоянно упрекают на Западе за это рабское подражание старым литературным канонам, в данном случае — в положительном герое социалистического реализма — мы имеем обрыв, а не продолжение традиций.

Там, в прошлом столетии, господствовал совершенно иной тип героя, и вся русская культура жила и мыслила по-другому. По сравнению с фанатической религиозностью нашего времени XIX век представляется атеистическим, веротерпимым, нецелесообразным. Он мягок и дрябл, женствен и меланхоличен, полон сомнения, внутренних противоречий, угрызений нечистой совести. Может быть, за все сто лет по-настоящему верили в Бога лишь Чернышевский и Победоносцев. Да еще крепко верили неизвестное число мужиков и баб. Но эти еще не творили ни истории, ни культуры. Культуру творила кучка грустных скептиков, которые жаждали Бога, но лишь потому, что Бога у них не было.

Ну, а Достоевский, а Лев Толстой, а тысячи других богоискателей — от народников до Мережковского, затянувшего свои поиски чуть не до середины следующего столетия? Полагаю, искать — это значит не иметь. Тот, кто имеет, тот, кто по-настоящему верует, — не ищет. Чего ему искать, когда все ясно и нужно только следовать за Богом? Бога не находят, Бог сам нас — и на нас — находит, и, когда Он на нас нашел, мы перестаем искать, мы начинаем действовать — по Его Воле.

XIX столетие — все в поисках, в метаниях, в блужданиях с огнем и без огня, в неумении или нежелании найти себе постоянное место под солнцем, в неуверенности, в раздвоенности. Достоевский, сожалеющий о том, что русский человек слишком широк — надо бы сузить! — сам был настолько широким, что православие совмещал с нигилизмом и мог бы найти в своей душе всех Карамазовых сразу — Алешу, Митю, Ивана, Федора (некоторые говорят, что и Смердякова), и еще неизвестно, кого там было больше. Широта исключает веру (недаром мы сузили себя до марксизма, исполнив завет Достоевского), и кощунственность широты Достоевский хорошо понимал, вечно споря с самим собою и страстно желая прекратить этот спор, оскорбительный для единого Бога.

Но жажда Бога, желание верить — подобно поискам — возникают на пустом месте. Это еще не сама вера, и если желание предваряет веру (блаженны алчущие!), то примерно так же, как голод предваряет обед. Голодный всегда кушает с аппетитом, но всегда ли голодного ожидает дома обед? Голод XIX века, быть может, подготовил нас, русских, к тому, что мы с такой жадностью накиннулись

на пищу, приготовленную Марксом, и проглотили ее раньше, чем успели разобраться в ее вкусе, запахе и последствиях. Но сам по себе этот столетний голод был вызван катастрофическим отсутствием съестного, был голодом безбожия. Поэтому он был столь изнурительным и казался нестерпимым, заставляя ходить в народ, переходить из радикалов в ренегаты и обратно, спохватившись, вспоминать, что мы тоже как-никак христиане... И нигде не было утоления.

<...>

В поэме Блока «Двенадцать», созданной на стыке двух враждебных, исключаящих друг друга культур, есть один эпизод, который ставит точку в развитии любовной темы XIX столетия. Красногвардеец Петька, сам не желая того, сгоряча, убивает свою возлюбленную — проститутку Катьку. Это нечаянное убийство и муки утраченной любви воссоздают старую драму, известную нам со времен Лермонтова («Маскарад», «Демон») и во многих вариантах представленную в творчестве самого Блока (не от блоковских ли Пьеро и Коломбины пошли бестолковый Петька и толстомордьянская Катька со своим новым кавалером, франтоватым Арлекином-Ванькой?).

Но если прежние герои — все эти Арбенины и Демоны, вывернув наизнанку свою опустошенную душу, застывали в безысходной тоске, то Петьке, пошедшему по их стопам, этого сделать не удастся. Более сознательные товарищи его одергивают, воспитывают:

– Ишь, стервец, завел шарманку,

Что ты, Петька, баба что ль?

– Верно, душу наизнанку

Вздумал вывернуть? Изволь!

– Поддержи свою осанку!

– Над собой держи контроль!

.....

И Петруха замедляет

Торопливые шаги...

Он головку вскидывает,

Он опять повеселел...

Так рождается новый, еще невиданный герой. В кровавой борьбе с врагом — «выпью кровушку за зазнобушку, чернобровушку», в делах и страданиях новой эпохи — «Не такое нынче время, чтобы нянчиться с тобой!» — он исцеляется от бесплодной рефлексии и ненужных угрызений совести. Гордо вскинув голову и заметно повеселев, под знаменем нового бога, которого Блок по старой памяти назвал Иисусом Христом, он вошел в советскую литературу.

Вперед, вперед, Рабочий народ!

Лишний человек девятнадцатого столетия, перейдя в двадцатое еще более лишним, был чужд и непонятен положительному герою новой эпохи. Больше того, он казался ему гораздо опаснее отрицательного героя — врага, потому что враг подобен положительному герою — ясен, прямолинеен и по-своему целесо-

образен, только назначение у него отрицательное — тормозить движение к Цели. А лишний человек — какое-то сплошное недоразумение, существо иных психологических измерений, не поддающихся учету и регламентации. Он не за Цель и не против Цели, он — вне Цели, а этого быть не может, это фикция, кощунство. В то время как весь мир, определив себя по отношению к Цели, четко разделился на две враждебные силы, он прикидывался непонимающим и продолжал смешивать краски в двусмысленно-неопределенную гамму, заявляя, что нет ни красных, ни белых, а есть просто люди, бедные, несчастные, лишние люди.

Все рядком лежат,
— Не развестъ межой.
Поглядеть: солдат!
Где свой, где чужой?
Белый был — красным стал,
Кровь обагрила.
Красным был — белым стал,
Смерть побелила.

М. Цветаева

В борьбе религиозных партий он объявил себя нейтральным и выражал соболезнование и тем и другим:

И там, и здесь между рядами
Звучит один и тот же глас:
«Кто не за нас — тот против нас.
Нет безразличных — правда с нами».
А я стою один меж них
В ревушем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.

М. Волошин

Этих слов, таких же святотатственных, как одновременная молитва Богу и Дьяволу, нельзя было допустить. Всего правильнее было объявить их молитвой Дьяволу: «Кто не за нас — тот против нас». Так и поступила новая культура. Она вновь обратилась к типу лишнего человека, но лишь для того, чтобы доказать, что он вовсе не лишний, а вредный, опасный, отрицательный персонаж.

Начал этот священный поход, естественно, Горький. В 1901 году (в первом году XX века!) он набросал первую схему положительного героя и тут же обрушился на тех, кто «родился без веры в сердце», кому «ничто, никогда не казалось достоверным» и кто всю жизнь путался между «да» и «нет»: «Когда я говорю — да или — нет... я это говорю не по убеждению... а как-то так... я просто отвечаю, и — только. Право! Иногда скажешь — нет! и тотчас же подумаешь про себя — разве? а может быть, — да?» («Мещане»).

Этим лишним людям, вызывавшим его раздражение уже своей неопределенностью, Горький крикнул «Нет!» и назвал их «мещанами». В дальнейшем он до преде-

ла расширил понятие «мещанства», свалив туда всех, кто не принадлежал к новой религии: мелких и крупных собственников, либералов, консерваторов, хулиганов, гуманистов, декадентов, христиан, Достоевского, Толстого... Горький был принципиальным человеком, единственно верующим писателем современности, как назвал его в свое время Г. Чулков. Горький знал, что все отличное от Бога есть Дьявол.

В советской литературе переоценка лишнего человека и быстрое превращение его в отрицательного персонажа получили большой размах в 20-е годы — в годы формирования положительного героя. Когда их поставили рядом, всем стало ясно, что бесцельных героев нет, а есть лица целевые и антицелевые, что лишний человек — всего-навсего умело замаскированный враг, подлый предатель, требующий немедленного разоблачения и наказания. Об этом писали Горький в «Жизни Клима Самгина», Фадеев в «Разгроме» и многие другие. К. Федин в «Городах и годах» вытравливал из своего сердца последние капли жалости к этому, некогда обаятельному герою. Диссонансом прозвучал, пожалуй, лишь «Тихий Дон», в котором Шолохов, показав гибельную судьбу лишнего человека Григория Мелехова, послал ему свое прощальное сочувствие. Поскольку Мелехов принадлежал к простому народу, а не к интеллигенции, на этот поступок Шолохова посмотрели сквозь пальцы. Ныне роман считается образцом социалистического реализма. Этот образец, конечно, не имеет подражателей.

Вместе с тем другие лишние люди, желавшие сохранить жизнь, отреклись от своего прошлого и срочно перевоспитывались в положительных героев. Один из них недавно сказал: «На свете нет ничего омерзительнее межеумков... Да, да, я красный! Красный — черт вас побери!» (К. Федин. «Необыкновенное лето», 1949 г.). Последнее проклятие относится, разумеется, уже не к красным, а к белым.

Так бесславно скончался герой русской литературы XIX века.

<...>

Социалистический реализм исходит из идеального образца, которому он уподобляет реальную действительность. Наше требование — «правдиво изображать жизнь в ее революционном развитии» — ничего другого не означает, как призыв изображать правду в идеальном освещении, давать идеальную интерпретацию реальному, писать должное как действительное. Ведь под «революционным развитием» мы имеем в виду неизбежное движение к коммунизму, к нашему идеалу, в преображающем свете которого и предстает перед нами реальность. Мы изображаем жизнь такой, какой нам хочется ее видеть и какой она обязана стать, повинувшись логике марксизма. Поэтому социалистический реализм, пожалуй, имело бы смысл назвать социалистическим классицизмом.

В теоретических работах и статьях советских писателей и критиков иногда встречается термин «романтизм», «революционная романтика». О слиянии в социалистическом реализме реализма с романтизмом много писал Горький, который всегда тосковал по «возвышающему обману» и защищал право художника приукрашивать жизнь, изображая ее лучше, чем она есть. Эти призывы не остались втуне, хотя многие горьковские формулировки стыдливо замалчиваются теперь и подвергаются фарисейскому толкованию: нельзя же открыто признать, что нам нужна прекрасная ложь. Нет, нет, Боже упаси, мы против обмана, против ла-

кировки, мы пишем одну лишь правду, но при этом рисуем жизнь в революционном развитии... Зачем приукрашивать жизнь — она и без того прекрасна, мы не собираемся ее приукрашивать, а желаем выявить заключенные в ней ростки будущего... Романтизм, конечно, имеет право на существование, но наш романтизм вовсе не противоречит реализму... Революционная романтика (то же, что «ростки будущего», «революционное развитие») присуща самой жизни, которую мы правдиво изображаем, будучи самыми отъявленными романтиками... Все эти разговоры — обычная литературная политика, а на деле романтизм — и это чувствовал Горький — хорошо отвечает нашим вкусам: он тяготеет к идеальному, желаемое выдает за действительное, любит красивые побрякушки, не боится громких фраз. Поэтому он пользовался у нас известным успехом. Но несмотря на свою — соответствующую нам — природу и несмотря на предоставленные ему права, романтизм занял в нашем искусстве меньше места, чем можно было от него ожидать. Он охватил главным образом предысторию и начало социалистического реализма, который в свой зрелый период — последние двадцать-тридцать лет — имеет сравнительно слабую романтическую окраску.

Романтизм прочнее всего связан с Sturm und Drang-ом советской литературы, с первым пятилетием революции, когда в жизни и в искусстве господствовала стихия чувств, когда пламенный порыв к счастливому будущему и мировой размах еще не были полностью регламентированы строгим государственным порядком. Романтизм — это наше прошлое, наша молодость, о которой мы тоскуем. Это восторг воздетых знамен, взрыв страсти и гнева, это сверкание сабель и конское ржанье, расстрелы без суда и следствия, «Даешь Варшаву!», жизнь, сон и смерть под открытым небом, озаренным кострами кочующих, как древние орды, полков.

Нас водила молодость
В сабельный поход.
Нас бросала молодость
На Кронштадтский лед.
Боевые лошади
Уносили нас.
На широкой площади
Убивали нас.

Э. Багрицкий

Это не только сантименты уцелевших революционеров и растолстевших кавалеристов. И для участников революции и для тех, кто родился после нее, память о ней так же священна, как образ умершей матери. Нам легче согласиться, что все последовавшее за ней — измена делу революции, чем оскорбить ее словами упрека и подозрения. В отличие от партии, государства, МГБ, коллективизации, Сталина — революция не нуждается в оправдании коммунистическим раем, который нас ожидает. Она оправдана собою, эмоционально оправдана — как любовь, как вдохновение. И хотя революция совершалась во имя коммунизма, ее собственное имя звучит для нас не менее сладко. Может быть, даже более...

<...>

Искусство не боится ни диктатуры, ни строгости, ни репрессий, ни даже консерватизма и штампа. Когда это требуется, искусство бывает узкорелигиозным, тупогосударственным, безындивидуальным, и тем не менее великим. Мы восхищаемся штампами Древнего Египта, русской иконописи, фольклора. Искусство достаточно текуче, чтобы улечься в любое прокрустово ложе, которое ему предлагает история. Оно не терпит одного — эклектики.

Наша беда в том, что мы недостаточно убежденные соцреалисты и, подчинившись его жестоким законам, боимся идти до конца по проложенному нами самими пути. Вероятно, будь мы менее образованными людьми, нам бы легче удалось достичь необходимой для художника цельности. А мы учились в школе, читали разные книги и слишком хорошо усвоили, что существовали до нас знаменитые писатели — Бальзак, Мопассан, Лев Толстой. И был еще такой — как его? Че-че-че-Чехов. Это нас погубило. Нам тут же захотелось стать знаменитыми, писать, как Чехов. От этого противоестественного сожительства родились уроды.

Нельзя, не впадая в пародию, создать положительного героя (в полном соцреалистическом качестве) и наделить его при этом человеческой психологией. Ни психологии настоящей не получится, ни героя. Маяковский это знал и, ненавидя психологическую мелочность и дробность, писал утрированными пропорциями и преувеличенными размерами, писал крупно, плакатно, гомерически. Он уходил от бытописания, от сельской природы, он рвал с «великими традициями великой русской литературы» и, хотя любил и Пушкина, и Чехова, он не пытался им следовать.

Все это помогло Маяковскому встать вровень с эпохой и выразить ее дух полно и чисто — без чужеродных примесей. Творчество же многих других писателей переживает кризис именно в силу того, что они вопреки классицистической природе нашего искусства все еще считают его реализмом, ориентируясь при этом на литературные образцы XIX века, наиболее далекие от нас и наиболее нам враждебные. Вместо того, чтобы идти путем условных форм, чистого вымысла, фантазии, которыми всегда шли великие религиозные культуры, они стремятся к компромиссу, лгут, изворачиваются, пытаются соединить несоединимое: положительный герой, закономерно тяготеющий к схеме, к аллегории, — и психологическая разработка характера; высокий слог, декламация — и прозаическое бытописание; возвышенный идеал — и жизненное правдоподобие. Это приводит к самой безобразной мешанине. Персонажи мучаются почти по Достоевскому, грустят почти по Чехову, строят семейное счастье почти по Льву Толстому и в то же время, спохватившись, гаркают зычными голосами прописные истины, вычитанные из советских газет: «Да здравствует мир во всем мире!», «Долой поджигателей войны!» Это не классицизм и не реализм. Это полуклассицистическое полуискусство не слишком социалистического совсем не реализма.

По-видимому, в самом названии «социалистический реализм» содержится непреодолимое противоречие. Социалистическое, т. е. целенаправленное, религиозное искусство не может быть создано средствами литературы XIX века, именуемыми «реализмом». А совершенно правдоподобная картина жизни (с подробностями быта, психологии, пейзажа, портрета и т.д.) не поддается опи-

санию на языке телеологических умпостроений. Для социалистического реализма, если он действительно хочет подняться до уровня больших мировых культур и создать свою «Коммуниаду», есть только один выход — покончить с «реализмом», отказаться от жалких и все равно бесплодных попыток создать социалистическую «Анну Каренину» и социалистический «Вишневый сад». Когда он потеряет несущественное для него правдоподобие, он сумеет передать величественный и неправдоподобный смысл нашей эпохи.

К сожалению, этот выход маловероятен. События последних лет влекут наше искусство по пути полумер и полуправд. Смерть Сталина нанесла непоправимый урон нашей религиозно-эстетической системе, и возрожденным ныне культом Ленина трудно его восполнить. Ленин слишком человекоподобен, слишком реалистичен по самой своей природе, маленького роста, штатский. Сталин же был специально создан для гиперболы, его поджидавшей. Загадочный, всевидящий, всемогущий, он был живым монументом нашей эпохи, и ему недоставало только одного свойства, чтобы стать богом, — бессмертия.

Ах, если бы мы были умнее и окружили его смерть чудесами! Сообщили бы по радио, что он не умер, а вознесся на небо и смотрит на нас оттуда, помалкивая в мистические усы. От его нетленных мощей исцелялись бы паралитики и бесноватые. И дети, ложась спать, молились бы в окошко на сияющие зимние звезды Небесного Кремля...

Но мы не вняли голосу совести и вместо благочестивой молитвы занялись развенчанием «культы личности», нами ранее созданного. Мы сами взорвали фундамент того классицистического шедевра, который мог бы (ждать оставалось так немного!) войти наравне с пирамидой Хеопса и Аполлоном Бельведерским в сокровищницу мирового искусства.

Любая телеологическая система сильна своим постоянством, стройностью, порядком. Стоит один раз допустить, что бог нечаянно согрешил с Евой и, приревновав ее к Адаму, отправил несчастных супругов на исправительно-земные работы, как вся концепция мироздания пойдет прахом и возобновить веру в прежнем виде невозможно.

После смерти Сталина мы вступили в полосу разрушений и переоценок. Они медленны, непоследовательны, бесперспективны, а инерция прошлого и будущего достаточно велика. Сегдневные дети вряд ли сумеют создать нового бога, способного вдохновить человечество на следующий исторический цикл. Может быть, для этого потребуются дополнительные костры инквизиции, дальнейшие «культы личности», новые земные работы, и лишь через много столетий взойдет над миром Цель, имени которой сейчас никто не знает.

А пока что наше искусство топчется на одном месте — между недостаточным реализмом и недостаточным классицизмом. После понесенной утраты оно бессильно взлететь к идеалу и с прежней искренней высокопарностью славословить нашу счастливую жизнь, выдавая должное за реальное. В славословящих произведениях все более откровенно звучат подлость и ханжество, а успехом теперь пользуются писатели, способные по возможности правдоподобно представить наши достижения и по возможности мягко, деликатно, неправдоподобно — наши недостатки. Тот, кто сбивается в сторону излишнего правдоподобия, «реализма», терпит фиаско, как это случилось с нашумевшим рома-

ном Дудинцева «Не хлебом единым», который был публично предан анафеме за очернение нашей светлой социалистической действительности.

Но неужели мечты о старом, добром, честном «реализме» — единственная тайная ересь, на которую только и способна русская литература? Неужели все уроки, преподанные нам, пропали даром и мы в лучшем случае желаем лишь одного — вернуться к натуральной школе и критическому направлению? Будем надеяться, что это не совсем так и что наша потребность в правде не мешает работе мысли и воображения.

В данном случае я возлагаю надежду на искусство фантазмагорическое, с гипотезами вместо цели и гротеском взамен бытописания. Оно наиболее полно отвечает духу современности. Пусть утрированные образы Гофмана, Достоевского, Гойи, Шагала и самого социалистического реалиста Маяковского и многих других реалистов и не-реалистов научат нас, как быть правдивыми с помощью нелепой фантазии.

Утрачивая веру, мы не потеряли восторга перед происходящими на наших глазах метаморфозами бога, перед чудовищной перистальтикой его кишок — мозговых извилин. Мы не знаем, куда идти, но, поняв, что делать нечего, начинаем думать, строить догадки, предполагать. Может быть, мы придумаем что-нибудь удивительное. Но это уже не будет социалистическим реализмом.

1957

Источник: «Цена метафоры или преступление и наказание Синявского и Даниэля». М.: Юнона, 1990.

Камю Альбер (1913–1960)



Писатель, философ-экзистенциалист, лауреат Нобелевской премии по литературе (1957). Родился в Алжире, в семье сельскохозяйственного рабочего. Будучи студентом-философом Алжирского университета, вступил в коммунистическую партию, однако через год вышел из нее. Освобожденный в 1939 г. от военного призыва по состоянию здоровья, в 1942 г. Камю вступил в подпольную организацию Сопротивления «Комба»; редактировал ее нелегальную газету с тем же названием. В 1947 г. оставив работу в «Комба», начал писать для прессы публицистические статьи, собранные впоследствии в трех книгах под общим названием «Злободневные заметки» (*Actuelles*, 1950, 1953, 1958).

Поначалу настроения Камю носили «левый» характер, однако позже он отошел от них, и в памфлете «Бунтующий человек» (1951) вину за казарменные извращения и злоупотребления властью он возлагает на само коммунистическое учение, а не на отход от него, что воспринималось как кредо левой западной общественности.

Популярность Камю на Западе заставляла власти в СССР публиковать отдельные его произведения, но большая часть из них появилась через десятилетие после трагической смерти писателя (он погиб в автомобильной катастрофе).

В Самиздате ходили роман-притча «Чума» с явным антифашистским и антитоталитаристским подтекстом и так называемая «Нобелевская лекция».

ХУДОЖНИК И ЕГО ВРЕМЯ

Доклад, сделанный 14 декабря 1857 года
в большом лекционном зале
Упсальского университета

(Нобелевская лекция)

Один восточный мудрец всегда просил в своих молитвах аллаха, чтобы тот милостиво избавил его от жизни в интересное время. Поскольку мы не мудрецы, бог нас от этого не избавил, и мы живем в интересное время. Во всяком случае, оно не позволяет нам терять к нему интерес. И современным писателям это известно. Когда они говорят, их критикуют, на них нападают. Когда же они из скромности умолкают, вокруг только и говорят что об их молчании, шумно порицая их за него.

В этом оглушительном гомоне писатель не может больше рассчитывать на уединение, где никто не спугнет дорогие ему мысли и образы. До сих пор воздержание от слова, худо ли, бедно ли, всегда было возможным в истории человечества. Тот, кто не одобрял, имел возможность смолчать или заговорить о другом. Сегодня все изменилось, и даже молчание кажется подозрительным. Начиная с того момента, как оно также приняло значение выбора, в качестве такового заслуживающего либо кары, либо хвалы, художник, хочет он того или нет, берет на себя определенные обязательства. Слово «обязательство» кажется мне здесь более верным, нежели слово «ангажированность». И действительно, речь идет не о добровольном участии художника в чем бы то ни было, а скорее об обязательной воинской повинности. Любой художник обязан сегодня плыть на галерее современности. Он должен смириться с этим, даже если считает, что это судно насквозь пропахло сельдью, что на нем чересчур много надсмотрщиков и что вдобавок оно взяло неверный курс. Мы находимся в открытом море. И художник наравне с другими обязан сидеть за веслами, стараясь, насколько это возможно, не умереть, то есть продолжать жить и творить.

Дело это, по правде говоря, нелегкое, и я могу понять тех художников, которые примутся оплакивать прежнюю свою комфортную жизнь. Перемена их участи слишком груба и внезапна. Конечно, в цирках истории всегда встречались мученики и львы. Первые утешались надеждой на вечную загробную жизнь, вторые — исторической кровавой трапезой. Но до сих пор художнику всегда было обеспечено безопасное место на трибунах. Он пел для себя самого, в пространство, или же в лучшем случае песни его ободряли мученика и на миг отвлекали льва от его добычи. Теперь все по-другому: художник сам оказался на арене. И голос его поневоле изменился, он звучит куда менее уверенно.

Разумеется, сразу становится ясно, чего рискует лишиться искусство под гнетом этой постоянной обязанности. Оно в первую очередь утрачивает непринужденность и ту божественную свободу, которая пронизывает, например, творчество Моцарта. Теперь становится понятно, почему на современных произведениях лежит печать растерянности и озабоченности, от чего они так

часто и терпят провал. Легко объяснить, почему у нас ныне гораздо больше журналистов, чем писателей, больше бойскаутов от живописи, нежели Сезаннов, почему, наконец, «розовая библиотека» или «черная серия» вытеснили «Войну и мир» или «Пармскую обитель». Конечно, всегда модно противопоставить этому положению вещей всякие гуманистические ламентации, сделать тем, в кого непременно желал обратиться Степан Трофимович из «Бесов», — воплощенным упреком. Можно также, в подражание тому же персонажу, временами впадать в гражданскую скорбь. Но она — эта скорбь — ничего не изменяет в реальном мире. Так что лучше уж, на мой взгляд, отдать своей эпохе причитающуюся ей часть, раз она так жадно требует ее, и спокойно признать, что времена утонченных метров, писателей с «камелиями» и гениев в башнях из слоновой кости ушли, и ушли безвозвратно. Творить сегодня стало делом небезопасным. Всякая публикация ныне есть общественный акт, отданный на растерзание бурным страстям века, который никому ничего не прощает. Вопрос, следовательно, состоит не в том, насколько это вредит или не вредит искусству. Вопрос — для всех тех, кто не мыслит себе жизни без искусства и того, что оно заключает в себе, — лишь в возможности понять, в какой степени среди полицейских чинов стольких идеологий (какое множество религий и какое одиночество!) непостижимо странная свобода творчества еще возможна для нас.

Недостаточно сказать, что искусству угрожает государственная мощь. В этом случае дело обстоит бы очень просто: художник либо борется, либо капитулирует. Проблема осложняется, становится смертельно опасной с того момента, как замечаешь, что бой завязывается в самой душе художника. Ненависть к искусству, которую так часто демонстрирует наше общество, была бы в настоящее время не столь губельна, не находи она поддержки у самих художников. Художники прошлых времен ставили под сомнение лишь свой собственный талант. Нынешние сомневаются уже в необходимости своего искусства, иначе говоря, в самом смысле своего существования. Расин постыдился бы писать «Беренику» в 1957 году вместо того, чтобы выступать в защиту Нантского эдикта.

Это сомнение художника в праве искусства на существование имеет множество причин, но из них следует выделить только возвышенные. Оно объясняется в лучшем из случаев ощущением современного художника, что он лжет или говорит в пустоту, если не отражает в своих произведениях трагедию человеческой истории. И в самом деле: главная отличительная черта нашего времени — это бесцеремонное вторжение народных масс, с их бедственным положением, в мироощущение художника. Всем известно, что они, эти массы, существуют, хотя общество упорно старается забыть об этом. А то, что это известно, вовсе не есть заслуга избранников духа — художников, пусть даже лучших из лучших; нет, разуверьтесь в этом: просто сами массы, ощутив свою силу, больше не позволяют забывать о себе.

Есть еще и другие причины отказа художника от творчества, и некоторые из них гораздо менее возвышенны. Но каковы бы они ни были, все они преследуют ту же цель: обеспечить свободу творчества, нападая на основной его принцип — веру художника в самого себя. Как замечательно выразился Эмер-

сон, почитание человеком собственного гения — это лучшая религия в мире. А другой американский писатель XX века добавил: «Пока человек остается верен самому себе, все подвластно ему — правительство, общество, само солнце, луна и звезды». Ныне этот радужный оптимизм приказал долго жить. Художник в большинстве случаев стыдится самого себя и своих привилегий, если он таковые имеет. И он должен прежде всего ответить на вопрос, который задает самому себе: не является ли искусство в наши дни ненужной роскошью?

I

Первым честным ответом, который можно дать на этот вопрос, будет такой: да, действительно, случается, что искусство становится ненужной роскошью. Мы знаем, что возможно — всегда и везде — воспевать звезды, посиживая на палубе галеры, в то время как в трюме из последних сил гребут измученные каторжники; можно вести светскую болтовню на трибунах цирка, пока на арене лев рвет и пожирает свою незащитную жертву. И весьма затруднительно возразить что-либо против такого искусства, которое в прошлом пользовалось огромным успехом. Разве только вот что — с тех пор все немного изменилось, и в частности следующее: количество каторжников и мучеников на нашей планете увеличилось безмерно. И перед фактом стольких бедствий это искусство, если оно хочет по-прежнему оставаться ценностью, должно признать себя в наши дни ненужной роскошью.

И в самом деле, что может сказать оно нам? Если оно приспособится к требованиям нашего общества, в большей его части, оно превратится в пустячную забаву. Если же оно слепо отринет их, а художник решит замкнуться в своих грезах, оно и не выразит ничего, кроме отрешения. И мы, таким образом, получим произведения либо шутов, либо бесплодных формалистов, что в обоих случаях является искусством, весьма далеким от живой реальности. Вот уже почти целый век мы живем в обществе, которое даже нельзя назвать обществом денег (деньги, золото способны хотя бы возбуждать живые страсти!), а лишь обществом абстрактных символов денег. Мир торгашей можно определить как мир, где вещи исчезают, уступая свое место знакам. Когда правящий класс измеряет свои состояния не в арпанах земли, не в золотых слитках, а в столбиках цифр, точно соответствующих определенному количеству обменных операций, он тем самым поневоле начинает мистифицировать свой общественный опыт, свой универсум. Общество, основанное на знаках, являет собой по самой своей сути искусственное образование, где плотская сущность человека оказывается мистифицированной. Неудивительно поэтому, что наше общество избрало для себя в качестве религии мораль, основанную на формальных принципах, и что оно одинаково охотно украшает лозунгами «свобода» и «равенство» и тюрьмы свои, и финансовые храмы. Слова нельзя проституировать безнаказанно. Самая оклеветанная из сегодняшних ценностей — это, несомненно, свобода. Наши «светлые» умы (я всегда утверждал, что существует два вида интеллекта — интеллект умных и интеллект дураков) категорически утверждают, что свобода есть не что иное, как препятствие на пути истинного прогресса. Но подобные напыщенные глу-

пости могли быть изрекаемы лишь потому, что в течение ста последних лет общество торгашей нашло для свободы исключительное и одностороннее применение, считая ее скорее правом, чем долгом, и не боясь как можно чаще превращать принцип свободы в орудие угнетения. Так что же удивительного в том, что это общество требует от искусства, чтобы оно было не инструментом освобождения, а пустым словотворчеством, не имеющим никаких последствий, безобидной забавой?! Весь наш высший свет, страдающий сперва от денежных затруднений, а уж потом от сердечных горестей, в течение десятилетий вполне удовлетворялся подобным положением вещей — наличием светских романистов и предельно пустопорожним искусством, таким, о котором Оскар Уайльд, имея в виду самого себя до того, как он познал тяготы тюрьмы, сказал, что самый тяжкий порок — поверхностность.

Фабриканты искусства (я еще не говорю: художники) буржуазной Европы до и после 1900 года взяли себе за принцип безответственность, ибо ответственность предполагала мучительный разрыв с обществом (а те, кто порвал с ним, звались Рембо, Ницше, Стриндберг, и мы знаем, какой ценой они заплатили за этот шаг). Именно та эпоха породила искусство для искусства, на знамени которого начертан призыв к безответственности. Искусство для искусства, утеха художника-одиночки, — это именно искусственное искусство абстрактного, искусственного общества. И его логичное завершение — искусство светских салонов или же чисто формальное искусство, питающееся претенциозными выдумками и абстракциями, которое приводит к полному разрушению всякой реальности. Кучка таких произведений приводит в умиление кучку избранных, в то время как множество грубых подделок под искусство портит вкус остальному множеству людей. В конечном счете такое искусство утверждается вне общества и полностью отрезает себя от питающих его животворящих корней. Мало-помалу художник, даже высокопочитаемый, погружается в одиночество или, по крайней мере, отторгается от своего народа, который теперь будет знать его лишь по большой прессе или радио, создающими для широких масс его упрощенный, для всех удобный образ. И действительно, чем утонченнее искусство, тем больше нуждается он в популяризации. Таким образом, миллионы людей станут гордиться тем, что знают и понимают такого-то великого художника нашего времени, поскольку в газетах они вычитали, что он разводит у себя дома канареек или женится не реже чем раз в полгода. Сегодняшняя слава писателя состоит в том, что его обожают или презирают, не читая. Любой художник, задумавший добиться известности в нашем обществе, должен заранее приготовить к тому, что известен будет не он сам, а некто, носящий его имя, и этот некто в конце концов отречется от него, а быть может, однажды и убьет в нем истинного творца.

В результате нет ничего удивительного, что почти все стоящее, созданное в буржуазной Европе XIX—XX веков, например, в литературе, исполнено протеста против современного ему общества. Можно утверждать, что вплоть до начала Великой французской революции вся существовавшая тогда литература была в основном литературой соглашательской. Но, начиная с того момента, как буржуазное общество, рожденное революцией, установилось и окрепло, возникла литература бунта. И начала отрицать официально признан-

ные ценности — у нас, например, через носителей ценностей революционных — романтиков типа Рембо либо через хранителей ценностей аристократических, скажем Виньи или Бальзака. И в обоих случаях народ и аристократия, которые суть два источника любой цивилизации, высказывались против искусственного, мертвящего общества своего времени.

Но и этот протест, длившийся слишком долго и оттого застывший, стал также искусственным образованием, приведшим к другому виду бесплодия. Тема проклятого поэта, родившаяся в буржуазном обществе («Чаттертон» — лучшая тому иллюстрация), вылилась в предрассудок, который в конце концов стал диктовать следующий принцип: нельзя сделаться великим художником, не протестуя против своей эпохи, какова бы она ни была. Вполне законный в самом начале, принцип этот, утверждавший, что истинный художник не должен иметь ничего общего с миром чистогана, стал ложным с того момента, как начал гласить: художник может быть таковым, лишь восставая против всего на свете. Вот отчего многие наши творческие деятели мечтают сделаться проклятыми, горюют, когда это у них не получается, и жаждут одновременно и аплодисментов и свистков. Естественно, что общество, большое ныне усталостью или равнодушием, и хлопает, и освистывает наобум. Но от этого современный интеллектual не перестает лезть из кожи вон, чтобы возвеличить себя. В конечном счете, увлекшись отрицанием всего подряд, вплоть до традиций своего искусства, художник проникается иллюзией, что он создал в нем свои собственные законы, и начинает считать себя Творцом-вседержителем. По той же причине он проникается убеждением, что способен создавать свою собственную реальность. Но в отрыве от общества ему суждено создать лишь чисто формальные или абстрактные произведения, интересные как эксперимент, но лишённые живительной силы, свойственной настоящему, подлинному искусству, чья цель — объединять людей. В конечном счете между современными ухищрениями и абстракциями и творчеством Толстого или Мольера лежит такая же пропасть, как между договором на продажу еще не проросшего хлеба и вспаханной тучной бороздой.

II

Итак, искусство может стать ненужной роскошью. Что же удивительного, если люди вообще и художник в частности решили дать обратный ход и вернуться к правде. С этого момента они стали отрицать право художника на одиночество и предложили ему в качестве предмета творчества не собственные его мечты, а реальность, переживаемую в страданиях другими. Убежденные в том, что искусство для искусства как по тематике, так и по стилю ускользает от понимания широких масс или ничего не говорит об их правде, эти люди потребовали от художника, чтобы он начал говорить от их имени и во имя большинства народа. Пусть он отображает страдания и счастье всех на языке, понятном всем, и тогда он будет понят всеми. И наградой за абсолютную приверженность истине станет ему всеобщее доверие и согласие между людьми.

Этот идеал всемирного сообщества и в самом деле близок душе любого великого художника. Вопреки бытующему предрассудку именно он не имеет пра-

ва на одиночество. Искусство не может быть монологом. Даже никому не известный художник-одиночка, взывая к потомкам, вновь и вновь подтверждает свое глубинное призвание. Полагая невозможным диалог со своими глухими или равнодушными современниками, он поэтому стремится к гораздо более широкому диалогу с последующими поколениями.

Но для того чтобы говорить со всеми и обо всех, нужно говорить о том, что известно всем, о той реальности, которая знакома каждому из нас. Море, дожди, нужда, желание, борьба со смертью — вот что объединяет людей. Мы похожи друг на друга во всем, что вместе видим, во всем, от чего вместе страдаем. Мечты у каждого свои, но реальность этого мира есть наша общая родина. Следовательно, все запросы реализма вполне закономерны, ибо они глубочайшим образом связаны с художественным творчеством.

Итак, будем реалистами. Или, вернее, попытаемся ими стать, если такое вообще возможно. Ибо нельзя быть уверенным в том, что слово это однозначно и что реализм, даже если он столь желанен нам, достигим. Сначала давайте спросим себя, возможен ли чистый реализм в искусстве. Судя по декларациям натуралистов прошлого века, он есть точное воспроизведение реальности. А значит, он относится к искусству так же, как фотография — к живописи: первая воспроизводит, тогда как вторая избирает. Но что воспроизводит фотография и что есть реальность? Даже лучшая из фотографий в конечном счете не воспроизводит мир достаточно верно, она недостаточно реалистична. Что, например, более реально, чем человеческая жизнь, и как можно надеяться отобразить ее лучше, чем это делается в реалистических фильмах? Но при каких условиях возможно создание такого фильма? При условиях чисто воображаемых. И действительно, представьте себе идеальную камеру, направленную на человека круглые сутки и непрерывно фиксирующую малейшие его движения. Результатом явился бы фильм, демонстрация которого длилась бы всю человеческую жизнь перед зрителями, решившимися посвятить свою собственную жизнь исключительно интересу ко всем перипетиям существования другого человека. Но даже и при этих условиях такой трудновообразимый фильм не являлся бы реалистическим. По той простой причине, что реальность человеческой жизни заключается не только и не столько в самом герое фильма. Она теснейшим образом связана и с другими жизнями, влияющими на его собственную, прежде всего с жизнями близких и любимых его людей, которые потребовалось бы снимать в свою очередь, но также и с жизнями незнакомых ему окружающих, всемогущих и ничтожных сограждан, полицейских, преподавателей, неведомых шахтеров и строителей, дипломатов и диктаторов, религиозных реформаторов, художников, создающих мифы, управляющие нашим поведением, и, наконец, скромных представителей его величества случая, держащего в своих руках даже самые на первый взгляд упорядоченные судьбы. Следовательно, остается возможным только один-единственный реалистический фильм: тот, что снимается невидимой камерой и непрерывно показывается нам на экране размером с целый мир. Такое под силу лишь одному художнику-реалисту — Господу богу, если он существует. Все остальные поневоле были бы бессильны отразить реальность во всей ее полноте.

Вот почему художники, отвергающие буржуазное общество и его формальное искусство, но стремящиеся описывать реальность, и только ее одну, оказываются в трагическом тупике. Они должны быть реалистами, но не могут стать ими. Они хотят подчинить свое искусство реальной действительности, а ее невозможно описать, не прибегая к выбору, который подчиняет ее своеобразию искусства. Прекрасное и трагическое творчество первых лет русской революции наглядно демонстрирует нам эту пытку. Все, что Россия показала нам в эту эпоху, — Блок и великий Пастернак, Маяковский и Есенин, Эйзенштейн и первые певцы цемента и стали — являет собою блестящую лабораторию форм и тем, плодотворных и смятенных исканий. И, однако, пришлось отказаться от всего этого, придя к выводу, что нельзя быть реалистом, когда невозможен сам реализм. Диктатура там, как и повсюду, резала по живому: реализм, согласно ее принципам, был в первую очередь необходим и лишь затем возможен, при условии, что он согласится быть социалистическим. Каков же смысл этого декрета?

Он действительно искренне признает, что невозможно отображать реальность, не делая в ней выбора, и отвергает теорию реализма в том виде, в каком она была сформулирована в XIX веке. Остается лишь найти новый принцип выбора, по которому отныне и будет организован мир. И он находит его, но не в реальности, которая нас окружает, а в реальности, которая еще только будет, иначе говоря, в грядущем. Для того чтобы верно показать то, что есть, нужно изобразить то, что будет. Другими словами, настоящим объектом социалистического реализма является как раз то, что не имеет никакого отношения к реальности.

Противоречие это поистине грандиозно. Но если вдуматься, противоречиво само выражение «социалистический реализм». В самом деле, разве возможен социалистический реализм, если реальная действительность не является полностью социалистической? Она не является ею, например, в прошлом, да и в настоящем тоже не во всем. Ответ прост: художник должен отобразить в сегодняшней и вчерашней реальности только то, что подготавливает создание будущего Града солнца. И стало быть, следует, с одной стороны, отрицать и клеймить все то, что не является социалистическим в реальном мире, а с другой, восхищаться тем, что есть или будет социализмом. Отсюда неизбежно рождается пропагандистское искусство с его положительными и отрицательными героями, «розовая библиотека», впрочем отрезанная, вместе с формальным искусством, от сложной и живой действительности. И в конечном счете это искусство будет социалистическим ровно в той мере, в какой оно не будет реалистическим.

Эта эстетика, претендующая на реализм, становится просто-напросто новым видом идеализма, таким же бесплодным для истинного художника, как и идеализм буржуазный. Реальность откровенно ставится во главу угла, но лишь затем, чтобы ее легче было уничтожить. Искусство сводится к нулю. Оно служит и, служа, рабски прислуживает. Все, кто предусмотрительно остережется описывать реальную действительность, будут возведены в ранг реалистов и прославлены. Прочие подвергнутся жестокой цензуре под аплодисменты первых. Известность, которая в буржуазном обществе заключалась в том, что вас вовсе не читали или читали, не понимая, при тоталитарном режиме будет состоять в том, чтобы помешать быть прочитанными другим писателем. И здесь в который раз ис-

тинное искусство будет изуродовано, обречено на немощь, а всеобщее единение станет невозможным по милости именно тех, кто так страстно призывал к нему.

При такой неудаче самое простое было бы — признать, что так называемый социалистический реализм имеет весьма мало общего с большим искусством и что революционерам в интересах самой революции следовало бы поискать иную эстетику. Но увы! — защитники соцреализма во весь голос заявляют, что вне его никакое другое искусство невозможно. Да они прямо-таки кричат об этом. Но, по моему глубокому убеждению, они сами в это не верят, просто они раз и навсегда решили, что художественные ценности должны быть подчинены революционному процессу. Если бы они откровенно признали это, спорить с ними было бы куда легче. Можно отнестись с уважением к этому великому самоотречению людей, слишком остро страдавших от контраста между бедствиями широких масс и привилегиями, иногда отмечающими судьбу художника, и отвергающих теперь это нестерпимое различие между теми, кому затыкала рот нужда, и другими, чье призвание, напротив, заключалось в том, чтобы всегда самовыражаться. Словом, можно было бы понять этих людей, попытаться наладить с ними диалог, объяснить им, например, что уничтожение свободы творчества — не самый лучший способ восторжествовать над рабством и что глупо в ожидании всеобщей свободы слова отнимать эту свободу по крайней мере у немногих. Да, социалистическому реализму не мешало бы признать свое родство с реализмом политическим, которому он приходится братом-близнецом. Он жертвует искусством ради цели, далекой от искусства, — цели, которая, по его шкале ценностей, возможно, кажется ему наивысшей. В общем, соцреализм временно отменяет искусство, чтобы прежде всего установить справедливость. А когда справедливость установится — в неопределенном пока будущем, — возродится и искусство. Таким образом, к законам искусства применяется то самое золотое правило современных мудрецов, которое гласит, что, не разбив яиц, не изобразишь омлета. Но мы не должны поддаваться на этот подавляющий воображение здравый смысл. Чтобы приготовить вкусный омлет, недостаточно разбить тысячи яиц, и, мне кажется, искусство повара определяется вовсе не количеством битой скорлупы. Современные повара от искусства, напротив, должны бояться опрокинуть больше корзин с яйцами, чем хотели бы, иначе омлет цивилизации никогда больше не будет изготовлен и искусству не суждено будет возродиться. Варварство никогда не бывает временным. Оно не удовлетворяется частью добычи и, естественно, пожрав искусство, приступает к нравам. И тогда на почве, удобренной несчастьями и кровью людской, поднимаются чахлые ростки серой литературы, послушной прессы, портретов-фотографий и назидательных пьес, в которых религию заменяет ненависть. Искусство здесь выражается в казенном оптимизме — поистине худшей из всех художественных ценностей и самом смехотворном и жалком из всех видов роскоши.

Да и чему удивляться? Горе людское — это такой великий сюжет, что, вероятно, ни один художник не способен прикоснуться к нему, не опошлив, разве что он уподобится Китсу, по рассказам, столь чувствительному, что он мог бы ощутить чужую боль кончиками пальцев. Эта неспособность становится особенно явной, когда поднадзорная литература берется утешать такую боль офи-

циозными утешениями. Ложь искусства для искусства как бы игнорировала зло и, таким образом, принимала на себя ответственность за него. Но ложь реализма, которая берет на себя смелость признавать существование человеческих несчастий, предает человека так же откровенно, ибо использует их лишь для восхваления грядущего счастья, которое, будучи никому не ведомым, позволяет устраивать любые мистификации.

Обе эстетики, так долго противостоявшие друг другу, — та, что зовет к полному отрицанию реальности, и та, что призывает отбросить все, кроме реальности, в конечном счете, несмотря на их антагонизм, объединились — вдали от реальной действительности — в одной и той же лжи и ненависти к искусству. Академизму правых неведомы горе и нищета, которые академизм левых использует как оружие. Но в обоих случаях горе и страдания усугубляются, а искусство приходит в упадок.

III

Нужно ли заключать из сказанного, что ложь является самой сутью искусства? Напротив, я утверждаю, что направления, о которых я говорил до сих пор, ложны лишь в той мере, в какой они не касаются его. Так что же такое искусство? Это явление далеко не простое, вот что главное. И понять его куда труднее под крики стольких людей, обуянных страстным желанием все упрощать. С одной стороны, им хочется, чтобы гений был велик и недоступен в своем одиночестве, с другой — его непрерывно принуждают уподобляться всем окружающим. Увы, реальная действительность оказывается гораздо сложнее. И Бальзак выразил это в одной-единственной фразе: «Гений походит на всех, но никто не походит на него». Так же обстоит дело и с искусством, которое ничего не стоит без реальной действительности, но и без которого реальная действительность мало чего стоит. И в самом деле, разве может искусство обойтись без реальности и разве может оно подчиниться ей? Художник выбирает себе натуру в той же степени, что и она выбирает его. Искусство в каком-то смысле есть бунт против мира во всем, что есть в нем ускользающего и незавершенного: вот отчего художник стремится только к тому, чтобы придать иную форму реальности, которую он тем не менее обязан сохранить в ее первоизданном виде, ибо лишь такую она служит источником его вдохновения. В этом отношении все мы реалисты и никто не реалист. Искусство — это ни полный отказ, ни полное согласие с тем, что существует в этом мире. Но оно одновременно и отказ, и согласие, вот почему оно может быть лишь мучительной, бесконечно длящейся борьбой. Художник постоянно терзается этой раздвоенностью, не в силах отринуть реальность и, однако, навсегда приговоренный опротестовывать ее во всем, что есть в ней извечно незавершенного. Для создания натюрморта нужно, чтобы живописец и яблоко и противостояли друг другу, и взаимодействовали. И если формы — ничто без освещения, то они, в свою очередь, добавляют к этому освещению нечто свое. Реальный мир, который своей сияющей красотой созидает живые тела и статуи, принимает от них некий другой свет, повторяющий свет небесный. Вот тут-то, на полдороге от художника к объекту его творчества, и рождается высокий стиль.

Итак, дело вовсе не в том, должно ли искусство избегать реальности или подчиняться ей, а в том, какую именно часть реальности должно вобрать в себя произведение, чтобы не воспарить в облака или, наоборот, не стать безнадежно приземленным. Эту задачу каждый художник решает по-своему, так, как чувствует ее. Чем сильнее его бунт против реальной действительности, тем тяжелее, вероятно, будет уравновешивающий груз этой реальности. Но гнет этот никогда не сможет убить одинокую взыскующую душу художника. Самое возвышенное творение всегда — как у греческих трагиков, как у Мелвилла, Толстого или Мольера — будет уравновешивать меж собой реальную действительность и отказ человека от этой действительности; и то и другое будут непрерывно колебаться на этих весах, олицетворяющих собой саму жизнь с ее радостями и трагедиями. И вот постепенно возникает новый мир, отличающийся от повседневного и в то же время точно такой же; особый но и обыкновенный, полный первозданной неуверенности, вызванный к жизни — пусть хоть на несколько мгновений — силой духа и неудовлетворенностью страсти гения. Это и так и все же не так, мир — ничто и мир — все — вот двойственный, неумолчный вопль каждого истинного художника, вопль, не дающий ему успокоиться и закрыть глаза, вопль, который временами пробуждает к жизни для всех живущих в этом дремотном мире мимолетный, но ненавязчивый образ реальности, легко узнаваемый, хотя мы никогда раньше с нею не встречались.

Таким образом, сталкиваясь со своим веком, художник не может ни отвернуться от него, ни раствориться в нем. В первом случае его голос будет гласом вопиющего в пустыне. И напротив, если он берет этот мир как объект изображения, он тем самым утверждает свое собственное существование в качестве сюжета своего произведения и не может подчиниться реальности целиком и полностью. Иначе говоря, именно в тот самый миг, когда художник решается разделить судьбу окружающих, он утверждает себя как личность. И никогда он не сможет преодолеть эту двойственность. Он берет из истории то, что способен увидеть в ней сам, или то, что может сам пережить — прямо или косвенно, — иначе говоря, ее злободневность в узком смысле этого слова и людей, живущих сегодня, а вовсе не отношение данной злободневности к будущему, совершенно непредсказуемому для ныне творящего художника. Судить современного человека во имя человека, еще не существующего, — это занятие для пророков. Художник же может только оценивать предлагаемые ему мифы с точки зрения их влияния на живого, современного человека. А пророк — от религии ли, от политики ли — привык судить не относительно, а абсолютно и, насколько известно, редко лишает себя этого удовольствия. Художник такой возможности не имеет. Суди он обо всем с абсолютной точки зрения, он неизбежно станет делить реальную действительность на добро и зло без всяких нюансов и сотворит из нее мелодраму. А цель искусства состоит, напротив, вовсе не в том, чтобы диктовать законы или царить над умами; его цель прежде всего в том, чтобы понять. Иногда оно царит именно потому, что способно понимать. Но ни одно творение истинного гения никогда не строилось на ненависти и презрении. Вот почему художник в конце долгих своих блужданий отпускает грехи, вместо того чтобы предавать анафеме. Он не судит, он оправдывает. Он —

вечный адвокат живого человека именно потому, что тот живой. Он искренне встает на защиту людей из любви к ближнему, а не из любви к тому отдаленному, туманному будущему, которое топчет уже существующий гуманизм, низводя его до судебного кодекса. Великое же произведение в конечном счете, напротив, сбивает с толку всех судей. С его помощью художник одновременно воздаст почести самому возвышенному образу человека и склоняется перед последним из преступников. Оскар Уайльд писал, находясь в тюрьме: «Среди несчастных, заключенных вместе со мною в этом презренном месте, нет ни одного, кто не находился бы в символической связи с тайной жизни». Все верно, и эта тайна жизни совпадает с тайной искусства.

В течение ста пятидесяти лет писатели буржуазного общества, за весьма редкими исключениями, полагали, что имеют право жить в блаженной безответственности. Они и в самом деле прожили в ней и умерли — как и жили — одинокими. Мы же, писатели XX века, никогда больше не сможем оказаться в одиночестве. Напротив, мы должны ясно сознавать, что нам невозможно теперь бежать от всеобщего горя и нужды и что наше единственное оправдание — если таковое вообще имеется — состоит в том, чтобы говорить по мере сил и возможностей за тех, кто не в состоянии это сделать. Мы, именно мы, обязаны выступить от имени всех тех, кто страдает сегодня, каковы бы ни были мощь и сила, в прошлом или в будущем, государств и партий, их угнетающих: для художника не существует привилегированных палачей. Вот почему красота даже сегодня, особенно сегодня, не должна служить ни одной партии, она обязана помогать, на долгий или на короткий срок, лишь облегчению боли и достижению свободы человека. Один только ангажированный художник, не отказываясь от борьбы, отказывается по крайней мере от вступления в регулярную армию, то есть остается добровольцем. И тогда урок, извлекаемый им из красоты — если он извлечен честными средствами, — будет уроком не эгоизма, но сурового братства. Красота в таком понимании не поработила еще ни одного человека. Напротив, вот уже долгие тысячелетия каждый день и каждый миг она утешает миллионы угнетенных, а иногда, бывает, и освобождает навсегда некоторых из них. Вот мы наконец и подошли к определению величия искусства в его непрерывной, напряженной связи между горем и красотой, между любовью людей и безумием созидания, между непереносимым одиночеством и назойливой толпой, между отказом и согласием. Оно — искусство — идет узкой тропой, по обе стороны которой пропасти, именуемые фривольностью и пропагандой. И каждый шаг художника по острому гребню опасен, чреват гибелью. А ведь именно в этом смертельном риске — в нем лишь одном — и таится свобода творчества. Трудная свобода, скорее подобная монашеской схеме. Какой художник станет отрицать это? И какой художник осмелится утверждать, что он оказался на высоте положения в этой нескончаемой попытке? Подобная свобода подразумевает здоровый дух, здоровое тело и свой, особый стиль, который был бы и опорой души, и терпеливым, но упорным натиском. Как всякая другая свобода, она — непрерывный риск, изматывающая авантюра, вот отчего нынешние художники избегают ее — эту требовательную, опасную свободу, соглашаясь на любые виды рабства, лишь бы достичь душевного комфорта. Но если искусство не авантюра, что же оно такое и в чем его оправдание? Нет, свободному художнику, так же как и свободному человеку, не суждено познать ду-

шевный комфорт и успокоенность. Свободный художник — это тот, кто с величайшим трудом сам создает свой собственный жизненный порядок. И чем неистовее то, что он должен подчинить этому порядку, тем суровее будут ограничения и тем скорее он утвердит свою свободу. У Андре Жида есть высказывание, которое мне всегда нравилось, хотя его можно понимать двояко: «Искусство живет принуждением и умирает от свободы». Это верная мысль. Но из нее не следует выводить, что искусством возможно управлять. Искусство живет только тем принуждением, на которое само обрекает себя: от всех других оно гибнет. Без этого принуждения оно теряет точку опоры и погружается в мир иллюзий. Самое свободное и самое бунтарское искусство и будет самым классическим; оно увенчает титанический труд художника. Пока общество и его художники не соглашаются на этот долгий свободный поиск, пока они поддаются соблазну комфорта развлечений или конформизма, игре в искусство ради искусства или проповедям реализма, им грозят нигилизм и творческое бесплодие. Признать это — значит признать, что возрождение искусства зависит сегодня от нашего мужества и воли и ясного видения.

Да, возрождение это зависит от всех нас. И от нас зависит, чтобы Запад воспитал своих анти-Александров, которым предстоит вновь завязать гордиев узел цивилизации, разрубленный варварским мечом. Для этого мы должны безоговорочно принять на себя весь риск и все трудности свободы. Речь не о том, чтобы знать, удастся ли нам, стремясь к справедливости, сохранить свободу. Речь идет о понимании того факта, что, не обладая свободой, мы не создадим ничего, зато разом лишимся и будущей справедливости, и прежней красоты. Одна лишь свобода избавляет людей от разобщенности и рабства; она, и только она, воодушевляет миллионы одиноких сердец. И искусство, как свободная сущность, которую я попытался определить, объединяет там, где тирания сеет рознь. Так что же удивительного в том, что оно — враг всем видам угнетения? Что удивительного, что именно художники и интеллектуалы становятся первыми жертвами современных тиранических режимов — и правых и левых? Тиранам ведь отлично известно, что произведение искусства таит в себе мощный освободительный заряд, который представляется тайной лишь тем, кто не верует в свободу. Каждое великое творение обогащает и возвышает облик человека — вот и весь его секрет. И никаким концлагерям, никаким тюремным решеткам не уничтожить это потрясающее свидетельство человеческого достоинства. И лгут те, кто утверждает, будто можно временно отменить старую культуру, пока будет подготавливаться новая. Нельзя запретить человеку непрерывно говорить о своем величии и ничтожестве, как нельзя запретить ему дышать. Не существует культуры без наследия прошлого, и мы не можем и не должны ничего отвергать из нашей, западной культуры. Каковы бы ни были творения будущего, они все-таки будут нести в себе ту же тайну — тайну мужества и свободы, возвращенную отвагой тысяч художников всех времен и народов. Поистине, когда современная тирания доказывает нам, что художник, даже замкнувшийся в своем ремесле, все же враг общества, она совершенно права. Но этим утверждением она еще и воздает почести человеческой личности, которую ничто до сих пор не смогло раздавить и уничтожить.

Мой вывод будет прост. Он состоит в том, чтобы среди шума и ярости нашей истории сказать: «Возрадуемся!» И в самом деле, возрадуемся тому, что оказались свидетелями кончины лживой и изнеженной Европы, тому, что судьба столкнула нас с жестокими истинами. Возрадуемся, как положено обыкновенным людям, тому, что долгое наваждение наконец рассеялось, и мы явственно видим, что нам угрожает. И возрадуемся, как положено художникам, тому, что вырвались из трясины сна разума, из глухоты и слепоты, что обрели силу противостоять нищете и горю, тюрьмам и крови. Если при виде всего этого мы сумеем сохранить память о прожитых днях и людских лицах, если, напротив, созерцая красоту мира, мы не позабудем об униженных, — тогда, и только тогда, западное искусство мало-помалу вновь обретет свою царственную мощь. Конечно, в истории немного было художников, столкнувшихся с такими серьезными проблемами, как мы. Но именно оттого, что в наше время слова и фразы, даже самые немудреные, оплачиваются ценою крови и свободы, художнику приходится учиться произносить их с величайшей осторожностью. Опасность делает искусство классическим — ведь в конце концов всякое величие берет свое начало в риске.

Времена безответственных художников минули навсегда. Мы грустим о них — ведь нам было в них так уютно! Но давайте признаем, что испытание это в то же время увеличивает наши шансы на овладение истинным искусством, и с достоинством примем вызов. Свобода творчества недорого стоит, когда она имеет лишь одну цель — обеспечить удобство художнику. Для того чтобы та или иная ценность, добродетель укоренилась в обществе, достаточно хотя бы не лгать, говоря о ней, — иными словами, платить за нее каждый раз, как сможешь. Если свобода стала опасной, значит, ее вот-вот перестанут протиституировать. И я не могу одобрить, например, тех, кто скорбит сегодня об упадке мудрости. На первый взгляд они как будто правы. Но в действительности мудрость никогда не опускалась так низко, как в те времена, когда она была безобидной утехой кучки гуманистов-книжников. Сегодня же, когда ей грозят вполне реальные опасности, у нее, напротив, появились некоторые шансы на то, чтобы снова встать во весь рост и завоевать всеобщее уважение.

Рассказывают, что Ницше после разрыва с Лу Саломе погрузился в полное одиночество; подавленный и одновременно вдохновленный перспективой своего огромного труда, который ему теперь предстояло свершить без всякой помощи, он бродил ночами по горам, окаймляющим Генуэзский залив, и, разжигая гигантские костры из листьев и веток, глядел, как их пожирает огонь. Я часто думал об этом пламени, и мне случалось мысленно ставить перед ним некоторых людей и некоторые произведения искусства, дабы подвергнуть их испытанию этим очистительным огнем. Так вот, наша эпоха — это один из тех костров, чей невыносимый, опаляющий жар, без сомнения, обратит в пепел многие так называемые шедевры. Но есть и другие: эти устоят, не расплавятся в огне, и именно они станут для нас источником безграничного экстаза разума, имя которому «поклонение».

Можно, конечно, пожелать (я и сам желаю этого) не буйного пожарища, а тихого огонька, краткой отсрочки, отдохновения души, побуждающего к сладким мечтам. Но нет, наверное, иного покоя для художника, чем тот, что таит-

ся в самом сердце битвы. «Любая стена — это дверь», — сказал Эмерсон. Так не будем же отыскивать дверь, избегая стены, с которой столкнула нас судьба. Давайте искать отсрочку там, где ей положено быть: я хочу сказать — в самой гуще схватки. Ибо, по моему мнению (и на этом я закончу), там она как раз и находится. Говорят, великие идеи прилетают в мир на крыльях голубки. Прислушаемся: может быть, мы различим среди грома империй и наций слабый шелест крыльев, тихое дыхание жизни и надежды. Одни скажут, что надежду эту несет народ, другие — что несет ее человек. А я убежден, что она живет, дышит, существует благодаря миллионам одиночек, чьи творения и труды каждодневно отрицают границы и прочие грубые миражи истории, чтобы помочь хотя бы на миг ярче воссиять истине, вечно преследуемой истине, которую каждый из них своими страданиями и радостями возвышает для всех нас.

Источник: Альбер Камю. Бунтующий человек. М.: Политическая литература, 1990.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие составителя	5
Введение	8
Истоки и смысл советского Самиздата	17
Как читать «Антологию самиздата»	34

ПОЭЗИЯ

Волошин М. А.	39
<i>Дом поэта (фрагмент поэмы)</i>	40
<i>Россия (фрагмент поэмы)</i>	40
Гумилев Н. С.	48
<i>«Я конквистадор в панцыре железном...», Ягуар, Озеро Чад, Памяти Анненского, Рабочий</i>	49-53
Цветаева М. И.	54
<i>«Ветер, ветер, выметающий...», «В подвалах – красные окошки...», Петру, «Есть в стане моем – офицерская прямоть...», Чужому, «Целовалась с нищим, с вором, с горбачом...», Взятие Крыма, «Ох, грибок ты мой, грибочек...»</i>	54-60
Мандельштам О. Э.	61
<i>Зверинец, Кассандре, Ленинград, «Мы живем, под собою не чуя страны...», «Пусти меня, отдай меня, Воронеж...», «Это какая улица?...»</i>	63-66
Флоренский П. А.	67
<i>Оро (фрагмент поэмы)</i>	68-74
Ахматова А. А.	75
.... <i>Победителям, Борис Пастернак (Поэт), Воронеж, О. М., Памяти Сергея Есенина, «Муза ушла по дороге...», Молитва, Прогулка, Стихи о Петербурге, Любовь, «Дверь полуоткрыта...»</i>	76-80
<i>Цикл «Реквием» (справка + фрагменты)</i>	81-88
<i>Поэма без героя (справка + фрагменты)</i>	89-93
Андреев Д. Л.	94
<i>Ленинградский апокалипсис (фрагменты поэмы)</i>	95
Глазков Н. И.	101
<i>«Мне говорят, что Окна ТАСС...», «Писатель рукопись посеял...», На стадионе ..</i>	102

Есенин-Вольпин А. С.	103
<i>Никогда я не брал сохи, Не играл я ребенком с детьми,</i>	
<i>О сограждане, коровы и быки!</i>	
	104-06
Галансков Ю. Т.	107
<i>Человеческий манифест (поэма)</i>	
	108-10
Алешковский Юз	111
<i>Песня о Сталине, Окурочек</i>	
	111-13
Баркова А. А.	114
<i>Прокаженная, Робеспьер, Ненависть к другу, В бараке,</i>	
<i>О возвышающем обмане, Русь, «Загон для человеческой скотины...»,</i>	
<i>Возвращение, Российская тоска, Герой нашего времени</i>	
	115-21
Загряжский А. А.	122
<i>Ухто-Печерский тракт, Воркута</i>	
	122-23
Тагер Е. М.	124
<i>«Чтоб тяжести было меньше...», «Сверкала морозная чаша...»,</i>	
<i>«Все равно, умру в Ленинграде...», «И он умирает, как всякий другой...»,</i>	
<i>Моя незнакомка</i>	
	124-26
Фроловский М. Н.	128
<i>Соловки, Сонет, Кресты, Наше поколение,</i>	
<i>Сыну, который будет</i>	
	128-30
Чирков Ю. И.	131
<i>«Чернь бескрайняя, холодная...»,</i>	
<i>«Еще от «можжа» и до «можжа»...»</i>	
	131-32
Шаламов В. Т.	133
<i>Стланик, «Чем ты мучишь? Чем пугаешь?...»,</i>	
<i>«Модница ты, модница...», «В этой стылой земле, в этой каменной яме...»,</i>	
<i>«Память скрыла столько зла...», «Не старость, нет, – все та же юность...»,</i>	
<i>«Чтоб торопиться умирать...», «Я, как Ной, над морской волною...»,</i>	
<i>Инструмент, Зимний день, Жил-был, «Луна качает море...»,</i>	
<i>«Придворный соловей...», «Где жизнь? Хоть шелестом листа...»,</i>	
<i>«В воле твоей остановить...», Поэзии</i>	
	134-39
Народные лагерные песни	141
<i>Воркута-Ленинград, Ванинский порт, Эшелон, Новый год</i>	
	141-44

Горбовский Г. Я.	145
<i>Неве, После войны, Фонарики, Проклятие скуке, Доброе утро!</i>	145-48
Красильников М. М.	149
«Хочу узнать, тоскует вол о ком...», «Я не знаком с гносеологией...», «Огни присуща резкость фресковая...», «На улицах было душно...», «Он знал, что уфрет обязательно...»	149-52
Красовицкий С. Я.	153
<i>Натюрморт, Последняя надежда, Любовница палача</i>	153-55
Кропивницкий Е. Л.	156
«За стеной кого-то били...», «По витринам – из картона...», «Смята белая перина...», «Светлей луны у нас фонарь...», Самообман, <i>Поллитровка, Арестанты, Строительство, «Надоело просыпаться...»</i>	160
Кондратов А. М.	161
<i>Мои «Троицы», «Дорогие, смердящие граждане!», «Я хочу в сумасшедший дом...», «Предоставляем право муравьям...», «Небо казалось зелёным и кислым...», «Задавили на улице гадину...»</i>	161-63
Охрименко А. П.	164
«Венецианский мавр Отелло...», <i>О графе Толстом – мужике непростом, Батальонный разведчик</i>	164-67
Сатуновский Ян	170
«В некотором царстве...»	170
Слуцкий Б. А.	171
<i>Хозяин, Бог, Про евреев, Прозаики, «Всем лозунгам я верил до конца...», И срам и ужас, «Уменья нет сослаться на болезнь...», «Лакирую я действительность...», «Критики меня критиковали...», «Запах лжи, почти неуследимый...», «Покуда над стихами плачут...»</i>	171-76
Холин И. С.	177
«Дамба, клумба, облезлая липа...», «Рыба. Икра. Вина», «Жил за городом на даче...», «Кто-то выбросил рогажу...», «Познакомились у Таганского метро...», «Он говорил ей пошлости...»	177
Уфлянд В. И.	179
«Крестьянин крепок костями...», «Уже давным-давно замечено...», <i>Рассказ женщины, После симфонического оркестра, «Просто стало теплее от тополя...»</i>	179-82

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

Бунин И. А.	185
<i>Под серпом и молотом</i>	185
<i>Окаянные дни</i>	200
Замятин Е. И.	206
<i>Мы</i>	206
Булгаков М. А.	212
<i>Дьяволиада</i>	214
<i>Роковые яйца</i>	217
Пильняк Б. А.	222
<i>Повесть непогашенной луны</i>	223
Хармс Д. И.	228
<i>Из цикла «Случаи»</i>	228
Антуан де Сент-Экзюпери	231
<i>Письмо к заложнику</i>	231
Хемингуэй Э. М.	238
<i>По ком звонит колокол</i>	238
Пастернак Б. Л.	249
<i>Доктор Живаго</i>	250

ПУБЛИЦИСТИКА, ДОКУМЕНТЫ, МЕМУАРЫ, ЭССЕ

Чаадаев П. Я.	261
<i>Философические письма</i>	261
<i>Апология сумасшедшего</i>	264
Вехи (Сборник статей о русской интеллигенции)	268
М.О. Гершензон. <i>Предисловие к первому русскому изданию сборника «Вехи»</i>	268
Н.А. Бердяев. <i>Философская истина и интеллигентская правда</i>	270
С.Н. Булгаков. <i>Героизм и подвижничество</i>	272
М.О. Гершензон. <i>Творческое самосознание</i>	275
А.С. Изгоев. <i>Об интеллигентской молодежи</i>	276
Б.А. Кистяковский. <i>В защиту права</i>	278
П.Б. Струве. <i>Интеллигенция и революция</i>	281
С.Л. Франк. <i>Этика нигилизма</i>	284

Из глубины (De profundis) (Сборник статей о русской революции)	287
С.А. Аскольдов. <i>Религиозный смысл русской революции</i>	287
Н.А. Бердяев. <i>Духи русской революции</i>	290
С.Н. Булгаков. <i>На пиру богов. Pro et contra</i>	291
Вяч. Иванов. <i>Наш язык</i>	292
А.С. Изгоев. <i>Социализм, культура и большевизм</i>	293
С.А. Котляревский. <i>Оздоровление</i>	296
П.И. Новгородцев. <i>О путях и задачах русской интеллигенции</i>	297
В.Н. Муравьев. <i>Рев племени</i>	298
И.А. Покровский. <i>Перуново заклатье</i>	299
П.Б. Струве. <i>Исторический смысл русской революции</i> <i>и национальные задачи</i>	300
С.Л. Франк. <i>De Profundis</i>	302
 Максим Горький	 305
<i>Несвоевременные мысли. Заметки о русской революции и культуре</i>	305
 Шульгин В. В.	 317
<i>Дни</i>	317
 Мельгунов С. П.	 326
<i>Красный террор в России</i>	326
 Гуль Р. Б.	 331
<i>Красные маршалы</i>	331
 Валентинов Н. В.	 335
<i>Встречи с Лениным</i>	335
<i>Малознакомый Ленин</i>	344
 Соломон Г. А., <i>Вблизи вождя. Свет и тени</i>	 351
 Ленин В. И.	 357
<i>Письмо к Съезду</i>	357
 Хрущев Н. С.	 360
<i>Доклад XX съезду Коммунистической партии Советского Союза</i>	360
 Гинзбург Е. С.	 375
<i>Крутой маршрут</i>	375
 Адамова-Слиозберг О. Л.	 387
<i>Путь</i>	387

Заболоцкий Н. А.	410
<i>История моего заключения</i>	410
Паустовский К. Г.	420
<i>Краткая запись речи на обсуждении романа Дудинцева «Не хлебом единым»</i>	420
Стенограмма общесоюзного собрания писателей (31 октября 1958 года) ..	423
Грачев Рид	450
<i>Почему искусство не спасет мир</i>	450
Синявский А. Д.	457
<i>Что такой социалистический реализм</i>	458
Камю А.	474
<i>Художник и его время. (Нобелевская лекция)</i>	475

**Антология самиздата.
Неподцензурная литература в СССР.
1950-е - 1980-е гг.**

Том 1. Книга 1.

Под общей редакцией
Вячеслава Владимировича Игрунова

Автор проекта и составитель
Марк Шиович Барбакадзе

Редактор
Елена Семеновна Шварц

Корректор *Д.А. Шалаева*
Оформление *Е.С. Шварц, Г.В. Игрунов*
Верстка *Е.С. Шварц, Г.В. Игрунов*
Тех. редактор *Г.В. Игрунов*

Международный институт
гуманитарно-политических исследований
Москва, Газетный пер., 5

Подписано в печать 01.03.2005
Усл. печ. л. 40,3. Формат 70x100^{1/16}
Печать офсетная. Бумага офсетная.
Тираж 4900 экз. Заказ № 2420

Книга отпечатана с готовых диапозитивов в ПФ «Полиграфист»
160001, Россия, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3